МАРСЕЛЬ ПРУСТ

Под сенью девушек в цвету

Annotation

«Под сенью девушек в цвету» — второй роман цикла «В поисках утраченного времени», принесшего писателю славу. Обращает на себя внимание свойственная Прусту глубина психологического анализа, острота глаза, беспощадность оценок, когда речь идет о представителях «света» буржуазии. С необычной выразительностью сделаны писателем пейзажные зарисовки.

- Марсель Пруст
  - Часть первая.
  - Часть вторая
  - Комментарии
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23

- 24
- 25
- 26

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Другие книги серии «В поисках утраченного времени»

Приятного чтения!

Марсель Пруст
Под сенью девушек в цвету

Часть первая.
ВОКРУГ ГОСПОЖИ СВАН

Моя мать, когда зашла речь о том, чтобы в первый раз пригласить на обед де Норпуа, выразила сожаление, что профессор Котар уехал и что она перестала бывать у Свана, а между тем оба они представляют несомненный интерес для бывшего посла, но мой отец возразил, что такой знатный гость, такой блестящий ученый, как Котар, был бы кстати на любом обеде, а вот Сван с его хвастовством, с его манерой кричать на всех перекрестках о своих даже и неважных знакомствах, — самый обыкновенный похвальбишка, которого маркиз де Норпуа, воспользовавшись своим любимым выражением, непременно назвал бы «вонючкой». Некоторые, вероятно, помнят вполне заурядного Котара и Свана, у которого в области светских отношений скромность и сдержанность были возведены на высшую степень деликатности, а потому замечание моего отца требует хотя бы краткого пояснения. Дело в том, что к «сыну Свана», к Свану — члену Джокей-клоба, к бывшему другу моих родителей, прибавился новый Сван (и, по-видимому, то была не последняя его разновидность): Сван — муж Одетты. Приноровив к невысоким духовным запросам этой женщины свойственный ему инстинкт, желания, предприимчивость, он ради того, чтобы опуститься до уровня своей спутницы жизни, умудрился создать себе положение гораздо хуже прежнего. Вот почему он казался другим человеком. Так как он (продолжая бывать один у своих друзей, которым он не желал навязывать Одетту, раз они сами не настаивали на знакомстве с ней) повел совместно с женой иную жизнь и окружил себя новыми людьми, то вполне естественно, что, оценивая разряд, к какому принадлежали эти люди, и, следовательно, взвешивая, насколько встречи с ними льстят его самолюбию, он избрал мерилом не самых ярких представителей того общества, в котором он вращался до женитьбы, а давних знакомых Одетты. И тем не менее, когда становилось известно, что он собирается завязать отношения с невысокого полета чиновниками и с продажными женщинами — украшением министерских балов, то все удивлялись, как это Сван, который прежде, да, впрочем, и теперь, так мило умалчивал, что он получил приглашение в Твикенгем или в Бэкингем Пэлес, всюду раззванивает о том, что жена какого-нибудь помощника начальника отделения отдала визит г-же Сван. Могут возразить, что

простота элегантного Свана была лишь утонченной стороной его тщеславия и что на примере бывшего друга моих родителей, как и на примере некоторых других евреев, можно наблюдать последовательность этапов, через которые проходили его соплеменники: от наивнейшего снобизма и грубейшего хамства до изысканнейшей любезности. Однако основная причина заключалась не в этом, а в черте общечеловеческой: наши достоинства не представляют собой чего-то свободного, подвижного, чем мы вольны распоряжаться по своему благоусмотрению; в конце концов они так тесно сплетаются с действиями, которые нас вынуждают обнаруживать их, что если перед нами возникает необходимость в иного рода деятельности, то она застает нас врасплох, и нам даже не приходит в голову, что она обладает способностью пробудить в нас эти самые достоинства. Сван, заискивавший перед новыми знакомыми и гордившийся ими, был похож на отличающегося скромностью и душевным благородством большого художника, к концу жизни вдруг начинающего увлекаться кулинарией или садоводством и простодушно радующегося похвалам, расточаемым его кушаньям или клумбам, которые он не позволяет критиковать, тогда как критика его картин не вызывает в нем раздражения; а быть может, на того, кто способен подарить свою картину, но кого сердит проигрыш двухсот сантимов в домино.

Что касается профессора Котара, то он будет часто появляться значительно позднее у «покровительницы» в замке Распельер. Пока достаточно заметить следующее: перемена, происшедшая со Сваном, еще могла вызывать удивление, так как совершилась она, когда я, ничего не подозревая, встречался с отцом Жильберты на Елисейских полях, где он к тому же не разговаривал со мной и не имел случая похвастаться своими связями в политических кругах. (Впрочем, если бы он и похвастался, то я вряд ли сразу разглядел бы в нем честолюбца, — издавна сложившееся представление о человеке закрывает нам глаза и затыкает уши; моя мать три года не замечала, что ее племянница красит губы, как будто краска вся целиком растворялась в какой-нибудь жидкости, — не замечала, пока излишек краски, а быть может, какая-нибудь другая причина не вызвала явления, именуемого перенасыщением; вся не замечавшаяся до того времени краска кристаллизовалась, и моя мать, потрясенная этим внезапным цветовым разгулом, сказала, как сказали бы в Комбре, что это позор, и почти порвала с племянницей.) Другое дело — Котар: то время, когда он присутствовал при первых появлениях Свана у Вердюренов, было уже довольно далеким временем, а ведь и почести и звания приходят с годами; притом можно быть неучем, придумывать глупые каламбуры и

обладать особым даром, который никакое общее образование не заменит, как, например, талант выдающегося стратега или выдающегося клинициста. В самом деле, товарищи смотрели на Котара не только как на необразованного практика, в конце концов ставшего европейской знаменитостью. Самые умные из молодых врачей уверяли, — по крайней мере, в течение нескольких лет, так как всякая мода меняется; ведь она же и вырастает из потребности в перемене, — что если они когда-нибудь захворают, то не доверят свою драгоценную жизнь никому, кроме Котара. Общаться же они, разумеется, предпочитали с более образованными, более художественно восприимчивыми из своих наставников, с которыми можно было поговорить о Ницше, о Вагнере. Когда у г-жи Котар устраивались музыкальные вечера, на которые она в надежде, что ее муж станет деканом факультета, звала его коллег и учеников, он, вместо того чтобы слушать музыку, играл в соседней комнате в карты. Зато он славился находчивостью, проницательностью, точностью диагнозов. Заметим еще относительно поведения профессора Котара с такими людьми, как мой отец, что сущность, которую мы выказываем на склоне лет, хотя и часто, но не всегда выражает изначальную нашу сущность, раскрывшуюся или заглохшую, развернувшуюся или ужавшуюся; эта вторая натура представляет собой иногда нечто прямо противоположное первой, попросту говоря, представляет собой платье, вывернутое наизнанку. В молодости Котар везде, кроме обожавших его Вердюренов, своим растерянным видом, своей робостью, своей чрезмерной любезностью подавал повод для бесчисленных острот. Какой добрый друг посоветовал ему разыгрывать неприступность? Важность занимаемого положения помогла ему принять такой вид. Везде, за исключением Вердюренов, где он инстинктивно становился самим собой, он был холоден, рад был помолчать, проявлял решительность, когда нужно было говорить, не упускал случая сказать что-нибудь неприятное. Ему предоставлялась возможность испробовать новую манеру держать себя с пациентами, которые видели его впервые, у которых не было материала для сравнения и которые были бы очень удивлены, если б им сказали, что от природы профессор Котар совсем не груб. Больше всего он заботился о том, чтобы казаться бесстрастным, и даже на службе, когда над его очередным каламбуром покатывались все, от заведующего клиникой до новичка-практиканта, ни один мускул ни разу не дрогнул на его лице, которое, кстати сказать, изменилось до неузнаваемости после того, как он сбрил бороду и усы.

В заключение поясним, кто такой маркиз де Норпуа. Он был нашим

полномочным представителем до войны и послом в эпоху «16 мая», и, несмотря на это, к вящему удивлению многих, ему потом не раз поручалось представлять Францию в миссиях чрезвычайной важности, — даже в качестве контролера по уплате долгов в Египте, где он благодаря своим большим финансовым способностям оказал важные услуги, — поручалось радикальными правительствами, на службу к которым не пошел бы простой реакционно настроенный буржуа и у которых маркиз из-за своего прошлого, из-за своих связей, из-за своих взглядов, казалось бы, должен был быть на подозрении. Но, видимо, передовые министры отдавали себе отчет, что подобный выбор свидетельствует о том, на какую широту способны они, когда речь идет о насущных интересах Франции; они показывали этим, что они незаурядные политические деятели, — даже такая газета, как «Деба», удостаивала их звания государственных умов, — и, ко всему прочему, извлекали выгоду из аристократической фамилии маркиза, а также из интереса, какой вызывает, подобно непредвиденной развязке, неожиданное назначение. И еще они знали, что, выдвинув маркиза де Норпуа, они могут пользоваться этими преимуществами, будучи уверены в его политической лояльности, за каковую ручалось, — а вовсе не настораживало, — его происхождение. И тут правительство Французской республики не ошибалось. Прежде всего потому, что иные аристократы, с детства воспитанные на уважении к своей фамилии как к некоему духовному преимуществу, которое никто не властен у них отнять (и ценность которого достаточно хорошо известна не только их ровням, но и лицам еще более высокого происхождения), понимали, что они вольны не тратить усилий, какие без ощутимых результатов прилагают многие буржуа, произнося благонамеренные речи и знаясь с благомыслящими людьми. В то же время, стремясь возвыситься в глазах принцев и герцогов, стоявших непосредственно над ними, эти аристократы отдавали себе отчет, что могут достичь цели, прибавив к своей фамилии то, чего прежде она в себе не заключала и что поднимет их над теми, кто до сих пор был им равен: влияние в политических кругах, известность в литературе или художественном мире, крупное состояние. И, воздерживаясь от заигрывания с дворянчиком, который им не пригодится и вокруг которого увивается буржуазия, воздерживаясь от бесполезной с ним дружбы, потому что ни один из принцев их за это не поблагодарит, они дорожили хорошими отношениями с политическими деятелями, даже с франкмасонами, так как благодаря политическим деятелям перед ними могут открыться двери посольств, так как политические деятели могут поддержать их на выборах, хорошими отношениями с художниками и учеными, ибо эти могут помочь

«пролезть» в ту область, где они задают тон, наконец, со всеми, кто имеет возможность пожаловать новый знак отличия или женить на богатой.

Что же касается маркиза де Норпуа, то он еще вдобавок за свою долгую дипломатическую службу пропитался духом отрицания, рутинерства, консерватизма, «правительственным духом», названным так потому, что это действительно дух всех правительств и, в частности, при всех правительствах, дух канцелярий. На своем поприще он проникся неприязнью, страхом и презрением к более или менее революционным или хотя бы некорректным выступлениям, то есть к выступлениям оппозиции. Если не считать каких-нибудь невежд из простонародья и из высшего общества, для которых разница во вкусах ничего не значит, людей сближает не общность воззрений, а сродство душ. Академик типа Легуве, приверженец классицизма, скорее аплодировал бы речи в честь Виктора Гюго, произнесенной Максимом Дюканом или Мезьером, нежели речи в честь Буало, произнесенной Клоделем. Единства националистических взглядов достаточно, чтобы сблизить Барреса с его избирателями, которым должно быть в общем безразлично: что он, что Жорж Берри, но не с его коллегами по Академии, потому что, разделяя политические его убеждения, но обладая иным душевным строем, они предпочтут ему даже таких противников, как Рибо и Дешанель, к которым правоверные монархисты стоят гораздо ближе, чем к Моррасу или Леону Доде, хотя Моррас и Доде тоже мечтают о возвращении короля. Маркиза де Норпуа приучила к неразговорчивости его профессия, требовавшая осторожности и сдержанности, но не только профессия, а еще и сознание, что слова повышаются в цене и приобретают больше оттенков в глазах людей, чьи многолетние усилия, направленные к сближению двух стран, подытоживаются, выражаются — в речи, в протоколе — простым прилагательным, с виду банальным, однако таким, в котором им виден весь мир, и маркиза считали человеком очень сухим в той комиссии, где заседали он и мой отец и где все поздравляли моего отца с тем, что бывший посол явно к нему расположен. Моего отца это расположение удивляло больше, чем кого бы то ни было. Дело в том, что мой отец вообще не отличался особой приветливостью и не любил заводить новые знакомства, в чем он откровенно и признавался. Он понимал, что благорасположение дипломата есть следствие индивидуальной точки зрения, на которую становится каждый из нас, чтобы определить свои симпатии, и с которой человек скучный и надоедливый, при всем его уме и доброте, может меньше понравиться, чем другой, откровенный и веселый, многим кажущийся пустым, легкомысленным и ничтожным. «Де Норпуа опять

пригласил меня на обед; поразительно; в комиссии все ошеломлены — там он ни с кем не близок. Я уверен, что он мне еще расскажет что-нибудь потрясающее о войне семидесятого года». Моему отцу было известно, что, кажется, только маркиз де Норпуа предупреждал императора, что силы Пруссии растут и что она готовится к войне, и еще ему было известно, что Бисмарк высокого мнения об уме маркиза. Совсем недавно газеты писали, что в Опере, на торжественном спектакле в честь короля Феодосия, государь имел с маркизом де Норпуа продолжительную беседу. «Надо бы разузнать, так ли уж важен приезд короля, — сказал мой отец, живо интересовавшийся иностранной политикой. — Старик Норпуа обычно застегнут на все пуговицы, ну, а со мной он — в виде особой любезности — нараспашку».

Что касается моей матери, то посол, пожалуй, не мог особенно ее привлекать складом своего ума. Должен заметить, что речь де Норпуа являла собой полный набор устаревших оборотов, свойственных людям определенного рода занятий, определенного класса и времени, — времени, которое для этого рода занятий и для этого класса, вернее всего, еще не совсем прошло, — и порой мне становится жаль, что я не запомнил слово в слово всего, что он говорил. Тогда бы я удержал впечатление старомодности так же легко и таким же способом, как артист из Пале-Рояля, который на вопрос, где он отыскивает такие изумительные шляпы, ответил:

«Я не отыскиваю шляпы. Я их храню». Короче говоря, мне кажется, что моя мать находила маркиза де Норпуа отчасти «старозаветным», и когда эта старозаветность проявлялась в его манерах, то это ей даже нравилось, а вот старозаветность не мыслей, — мысли у маркиза де Норпуа были вполне современные, — но выражений не доставляла ей особого удовольствия. Однако она чувствовала, что восхищение дипломатом — это тонкая лесть ее мужу, к которому он особенно благоволит. Она полагала, что, укрепляя в моем отце хорошее мнение о маркизе де Норпуа и благодаря этому поднимая его в собственных глазах, она исполняет свой долг — делать жизнь приятней для своего мужа, так же как она исполняла свой долг, следя за тем, чтобы у нас в доме вкусно готовили и чтобы прислуга ходила по струнке. И так как она была неспособна лгать моему отцу, то, чтобы искренне хвалить посла, она убеждала себя, что очарована им. Впрочем, он в самом деле обворожал ее своим добродушным видом, несовременной учтивостью (настолько церемонной, что когда он шел, вытянувшись во весь свой высокий рост, и вдруг видел, что навстречу ему едет в экипаже моя мать, то, прежде чем поклониться, швырял только что

начатую сигару), плавной речью, старанием как можно реже упоминать о себе и говорить приятное своему собеседнику, необычайной аккуратностью в переписке, из-за которой у моего отца, только что отправившего ему письмо и узнавшего почерк маркиза на конверте, всякий раз мелькала мысль, что вследствие досадной случайности их письма разошлись; можно было подумать, что на почте для маркиза существуют особые, дополнительные выемки. Мою мать удивило, что маркиз так точен, несмотря на то, что так занят, и так внимателен, несмотря на то, что он всегда нарасхват: ей не приходило в голову, что эти «несмотря на» суть не что иное, как непонятые ею «потому что»; ей не приходило в голову, что (так же как старики поразительно сохраняются для своих лет, короли держат себя на редкость просто, а провинциалам бывают известны самые последние новости) маркиз де Норпуа в силу одной и той же привычки может при всей своей занятости быть столь исправным в переписке, может быть очаровательным в обществе и любезным с нами. Ошибка моей матери объяснялась еще тем, что моя мать, как все чересчур скромные люди, принижала то, что относилось к ней, и, следовательно, отделяла себя от других. Она « особенно ценила в приятеле моего отца то, что он так скоро нам отвечает, хотя ему каждый день приходится писать столько писем, — ценила потому, что выделяла из большого количества писем его ответ нам, а между тем его ответ нам был всего лишь одним из его ответов; точно так же она не рассматривала то, что маркиз де Норпуа сегодня обедает у нас, как одно из бесчисленных проявлений его общественной жизни: она забывала о том, что посол за время своей дипломатической службы привык смотреть на званый обед как на одну из своих обязанностей, что он привык проявлять на таких обедах укоренившуюся в нем обходительность, которую ему трудно было бы побороть в исключительном случае, когда он обедал у нас.

Первый обед, на котором у нас был маркиз де Норпуа, состоялся в тот год, когда я еще играл на Елисеиских полях, и он сохранился в моей памяти, потому что я тогда наконец увидел Берма на утреннем спектакле в «Федре», а еще потому, что, разговаривая с маркизом де Норпуа, я сразу и по-новому понял, насколько чувства, вызываемые во мне веем, что относится к Жильберте Сван и к ее родителям, отличаются от тех, какие эта семья внушает к себе всем остальным.

Заметив, по всей вероятности, какое уныние наводит на меня мысль о близящихся новогодних каникулах, во время которых, о чем предупредила меня сама Жильберта, мы с ней не увидимся, моя мать, чтобы порадовать меня, однажды сказала: «Я думаю, что, если ты по-прежнему горишь

желанием посмотреть Берма, отец, пожалуй, позволит тебе пойти в театр; повести тебя может бабушка».

И все же только благодаря маркизу де Норпуа, который сказал моему отцу, что мне не мешает посмотреть Берма, что это одно из таких событий в жизни молодого человека, которые запоминаются на всю жизнь, мой отец, до сих пор восставший против пустой траты времени и риска здоровьем из-за того, что он, к великому ужасу бабушки, называл вздором, склонился к мысли, что этот расхваленный послом спектакль в какой-то мере может наряду с другими великолепными средствами способствовать моей блестящей карьере. Бабушка в свое время пошла на большую жертву ради моего здоровья, которое она считала важнее пользы, какую может принести мне игра Берма, и теперь ее приводило в недоумение, что одного слова маркиза де Норпуа оказалось достаточно, чтобы родители пренебрегли моим здоровьем. Возлагая несокрушимые надежды рационалистки на свежий воздух и раннее укладывание в постель, она воспринимала это нарушение предписанного мне режима как несчастье и с удрученным видом говорила моему отцу: «До чего же вы легкомысленны!» — на что мой отец в сердцах отвечал: «Что такое? Теперь это уж вы не хотите, чтобы он шел в театр? Вот тебе раз! Да не вы ли с утра до вечера твердили нам, что это может принести ему пользу?»

Но маркиз де Норпуа изменил намерения моего отца и в гораздо более существенном для меня вопросе. Отцу давно хотелось, чтобы я стал дипломатом, а мне была невыносимо тяжела мысль, что если даже я буду на некоторое время оставлен при министерстве, то потом меня могут направить послом в одну из столиц и разлучить с Жильбертой. Я подумывал, не вернуться ли мне к моим литературным замыслам, которые у меня возникали и тут же вылетали из головы во время моих прогулок по направлению к Германту. Однако мой отец был против того, чтобы я посвятил себя литературе: он находил, что литература куда ниже дипломатии; он даже не считал это карьерой, пока маркиз де Норпуа, смотревший сверху вниз на новоиспеченных дипломатов, не убедил его, что писатель может пользоваться такой же известностью, так же много сделать и вместе с тем быть независимее сотрудников посольств.

— Вот уж чего я не ожидал: старик Норпуа ничего не имеет против того, чтобы ты занялся литературой, — сказал мне отец. А так как он сам был человек довольно влиятельный, то ему казалось, что все может уладить, всему может дать благоприятный исход беседа значительных лиц. — Я как-нибудь прямо из комиссии привезу его к нам поужинать. Ты с ним поговоришь, чтобы он мог составить о тебе определенное мнение.

Напиши что-нибудь хорошее и покажи ему; он очень дружен с редактором «Ревю де Де Монд», — он тебя туда введет, эта старая лиса все устроит; насколько я понял, насчет нынешней дипломатии он…

Блаженство не расставаться с Жильбертой вдохновляло меня, но не наделяло способностью написать прекрасную вещь, которую не стыдно было бы показать маркизу де Норпуа. Исписав несколько страниц, я уронил от скуки перо и заплакал злыми слезами оттого, что у меня нет таланта, что я бездарность и что я упускаю возможность остаться в Париже, связанную с приходом маркиза де Норпуа. Я утешался лишь тем, что меня отпустят на спектакль с участием Берма. Однако подобно тому, как мне хотелось посмотреть на морскую бурю там, где она разражается с особенной силой, точно так же я мечтал увидеть великую актрису только в одной из тех классических ролей, где она, по словам Свана, достигала совершенства. Ведь когда мы надеемся получить впечатление от природы или от искусства в чаянии какого-нибудь изумительного открытия, мы не без колебаний отдаем свою душу для менее сильных; впечатлений, которые могут дать неверное представление об истинно Прекрасном. Берма в лучших своих ролях: в «Андромахе», в «Причудах Марианны», в «Федре» — вот чего жаждало мое воображение. Я пришел бы в не меньший восторг, услыхав Берма, произносящую этот стих:

Ты покидаешь нас? Не сетуй на докуку и т. д., чем если бы гондола подвезла меня к картине Тициана во Фрари или к картинам Карпаччо в Сан Джордже дельи Скьяви. Я знал эти картины в одноцветных репродукциях, воспроизводимых в книгах, но сердце у меня колотилось, словно перед путешествием, когда я думал, что увижу их наконец воочию купающимися в воздухе и в свете золотого звучания. Обаяние Карпаччо в Венеции, Берма в «Федре», этих чудес живописи и сценического искусства, было так велико, что я носил их в себе живыми, то есть невидимыми, и если б я увидел Карпаччо в одной из зал Лувра или Берма в какой-нибудь совершенно неизвестной мне пьесе, я бы не испытал восторженного изумления от того, что наконец-то передо мной непостижимый и единственный предмет бесконечных моих мечтаний. Кроме того, ожидая от игры Берма откровений в области изображения благородства, скорби, я полагал, что игра актрисы станет еще сильнее, правдивее, если она проявит свой дар в настоящем произведении искусства и ей не придется вышивать узоры отвлеченной истины и красоты по ничтожной и пошлой канве.

Наконец, если б я смотрел Берма в новой пьесе, мне было бы трудно судить об ее искусстве, об ее дикции: я не мог бы отделить незнакомый мне текст от дополнений, вносимых в него интонациями и жестами, и у меня

было бы такое впечатление, что они с ним сливаются, тогда как старые вещи, — те, что я знал наизусть, — представлялись мне широкими, приберегаемыми для меня пространствами, только и ждущими, чтобы я без помех оценил выдумку Берма, которая распишет их al fresco непрерывными находками своего вдохновения. К несчастью, оставив большие театры и став звездой одного бульварного театрика, дела которого сразу пошли в гору, Берма уже не играла классику, и, сколько я ни следил за афишами, они объявляли о пьесах, только что написанных для нее модными драматургами; и вдруг однажды утром, проглядывая расклеенные на столбе афиши дневных спектаклей на новогодней неделе, я в первый раз увидел — в конце спектакля, после какой-то, должно быть, плохенькой пьески, заглавие которой показалось мне непроницаемым, ибо оно вмещало в себя все признаки незнакомого мне драматического произведения, — два действия «Федры» с участием г-жи Берма, а затем должны были идти днем «Полусвет», «Причуды Марианны», и вот это, подобно «Федре», были названия прозрачные, светящиеся, — так хорошо я знал самые вещи, — до дна озаренные улыбкой искусства. Когда я после афиш прочел в газетах, что Берма решила снова показаться публике в некоторых старых своих ролях, у меня появилось ощущение, будто они ей самой прибавили благородства. Значит, артистка понимала, что иные роли переживают интерес новизны и успех возобновления; она считала свое исполнение этих ролей музейной ценностью; она находила, что еще раз посмотреть эту ценность было бы поучительно для поколения, которое когда-то восхищалось ею, как поучительно посмотреть на нее для поколения, которое никогда прежде ее не видело. Выставляя на афише, среди пьес, предназначенных только для того, чтобы публике было где провести время, «Федру» — название не длиннее других и напечатанное таким же шрифтом, Берма применяла хитрость хозяйки дома, которая, прежде чем позвать к столу, знакомит вас с гостями и, не меняя тона, называет среди ничего вам не говорящих имен приглашенных: «Господин Анатоль Франс».

Мой доктор, — тот самый, который запретил мне путешествия, — отсоветовал моим родителям пускать меня в театр: я после этого заболею, может быть — надолго, и мои страдания не окупятся удовольствием. Страх заболеть мог бы остановить меня, если б я рассчитывал получить от представления только удовольствие, — страдания, которые мне придется испытать потом, сведут его к нулю. Но — как и от путешествия в Бальбек, как и от путешествия в Венецию, куда меня так тянуло, — я ожидал от дневного спектакля совсем не удовольствия: я ожидал познания истин, имевших отношение к миру более действительному, чем тот, где находился

я, и которое у меня уже не отнимут мелкие происшествия, хотя бы они причиняли боль моему телу, моему праздному существованию. Удовольствие, которое мог бы мне доставить спектакль, было для меня не больше чем формой, пожалуй, впрочем, необходимой для восприятия истин; и вот почему я хотел, чтобы предсказываемая мне доктором болезнь началась после спектакля, — иначе у меня будет испорчено и искажено впечатление. Посоветовавшись с доктором, родители решили не пускать меня на «Федру», а я их упрашивал. Я все твердил про себя стих:

Ты покидаешь нас? Не сетуй на докуку… — я перепробовал все интонации, чтобы тем неожиданнее была для меня интонация, которую нашла Берма. Таимая, как Святая святых за завесой, за которой я поминутно придавал ей новый вид, пользуясь приходившими мне на память выражениями Бергота из той его книги, что нашла Жильберта: «Пластическое благородство, христианская власяница, янсенистская бледность, принцесса Трезенская и Клевская, Микенская драма, дельфийский символ, солнечный миф», божественная Красота, которую должна была мне открыть игра Берма, царствовала в моем сознании, и днем и ночью не гасившем своего жертвенника, и только моим строгим и легкомысленным родителям предстояло решить, заключит ли оно в себе, — и уже навсегда, — совершенства Богини, как только завеса откинется и Богиня явится взору на том самом месте, где доселе возвышалось незримое ее изваяние. Не отводя мысленного взора от непостижимого образа, я с утра до вечера преодолевал препятствия, воздвигавшиеся моими домашними. Когда же препятствия рухнули, когда моя мать, — хотя спектакль приходился в день заседания комиссии, после которого отец собирался привезти к обеду маркиза де Норпуа, — сказала: «Ну хорошо, мы не станем тебя огорчать; если тебе кажется, что ты получишь такое огромное удовольствие, то пойди»; когда выход в театр, до сего времени запрещенный, зависел уже только от меня, — тут впервые, избавившись от необходимости добиваться осуществления своей мечты, я задал себе вопрос: а стоит ли идти, нет ли у меня самого, помимо запрета, налагавшегося родителями, причин отказаться от театра? Во-первых, если вначале жестокость родителей возмущала меня, то едва я получил их согласие, они стали мне так дороги, что мысль о том, как бы не встревожить их, возбуждала во мне самом такую тревогу, сквозь которую мне рисовалась целью жизни уже не истина, но любовь, а сама жизнь казалась хорошей или плохой в зависимости от того, счастливы или несчастны мои родители. «Если это вас огорчит, то я лучше уж не пойду», — сказал я матери, а та, наоборот, старалась вытравить во мне

тайную мысль, что она будет беспокоиться, так как, по ее словам, эта мысль испортила бы мне удовольствие от «Федры», ради которого они с отцом пошли на уступки. Но тут я почувствовал всю тяжесть моей обязанности получить удовольствие. Притом если я заболею, то поправлюсь ли к окончанию каникул, чтобы пойти на Елисейские поля, как только туда опять станет ходить Жильберта? Стремясь прийти к окончательному решению, я выдвигал против этих доводов представление о невидимом за завесой совершенстве Берма. На одну чашу весов я положил: «чувствовать, что мама беспокоится, рисковать Елисейскими полями», а на другую — «янсенистскую бледность, солнечный миф»; но в конце концов эти выражения тускнели в моем сознании, ничего уже мне не говорили, теряли вес; мои колебания час от часу становились мучительнее, так что если я теперь и выбирал театр, то лишь для того, чтобы прекратить их, чтобы избавиться от них навсегда. Надеясь положить конец моим мучениям, а не в чаянии интеллектуального обогащения и не под обаянием совершенства, позволил бы я теперь подвести себя уже не к Мудрой Богине, но к неумолимому и безымянному, безличному Божеству, которым ее ухитрились подменить за завесой. Внезапно все изменилось: мое желание посмотреть Берма было подхлестнуто, и я уже с радостным нетерпением ждал дневного спектакля; меня, как столпника, потянуло на место моего ежедневного стояния, с. недавних пор такого мучительного, и я увидел на столбе еще сырую, только что вывешенную подробную афишу «Федры» (откровенно говоря, не вызвавшую у меня ни малейшего интереса новым составом исполнителей других ролей). Афиша придавала одной из целей, между которыми колебалась моя нерешительность, нечто более конкретное и — поскольку на афише стояло не то число, когда я ее читал, а то, на какое был назначен спектакль, и указывалось его начало, — почти неизбежное; она говорила о том, что я уже на пути к достижению цели, и я подпрыгнул от радости при мысли, что в этот день и точно в этот час я, сидя на моем месте, замру в ожидании выхода на сцену Берма; боясь, что родители не успеют достать хорошие места для бабушки и для меня, я помчался домой, подгоняемый волшебными словами, заменившими в моем сознании «янсенистскую бледность» и «солнечный миф»: «Дамы в шляпах в партер не допускаются, после двух часов вход в зрительный зал воспрещен».

Увы! Этот первый спектакль принес мне глубокое разочарование. Отец предложил нам, бабушке и мне, по дороге в комиссию завезти нас в театр. Перед уходом он сказал матери: «Постарайся насчет обеда; ты не забыла, что я приеду с Норпуа?» Моя мать об этом помнила. И еще накануне

Франсуаза, счастливая тем, что ей предстоит заняться кулинарным искусством, — а у нее был несомненный талант кулинарки, — да еще вдохновляемая известием, что мы ждем гостя, зная, что она должна будет по рецепту, известному ей одной, приготовить заливное из говядины, переживала творческий подъем; Франсуаза придавала огромное значение качеству материала, из которого она творила, и потому, подобно Микеланджело, восемь месяцев проведшему в Каррарских горах, чтобы выбрать лучшие глыбы мрамора для памятника Юлию II, сама ходила на рынок за первейшего сорта ромштексом, голяшками и телячьими ножками. Франсуаза так стремительно совершала эти походы, что мама, заметив, какое у нее красное лицо начинала бояться, как бы старая наша служанка, подобно создателю гробницы Медичи в Пьетросантских каменоломнях, не заболела от переутомления. И уже накануне Франсуаза послала булочнику то, что она называла «нев-йоркским» окороком, чтобы он этот розовый мрамор облек хлебным мякишем. Считая, что язык человеческий не так богат, как принято думать, и не доверяя собственным ушам, она, вероятно впервые услыхав о йоркской ветчине и решив, что Йорк и Нью-Йорк — это что-то уж слишком много, подумала что ослышалась и что было произнесено уже знакомое ей название. Вот почему с тех пор в ее ушах или в глазах, если она читала объявление, перед словом «Йорк» неизменно стояло слово «Нью», которое она произносила: «Нев». И она вполне серьезно говорила судомойке:

«Сходи за ветчиной к Олида. Барыня наказывала непременно взять нев-йоркской».

В тот день Франсуаза была проникнута пламенной уверенностью великих творцов, тогда как мною владело мучительное беспокойство искателя. Разумеется, пока я не увидел Берма, я испытывал наслаждение. Я испытывал это наслаждение в скверике перед театром, под облетевшими каштанами, которые два часа спустя, как только зажгутся фонари и осветят каждую их веточку, заблестят металлическим блеском; я испытывал это наслаждение перед контролерами, чья служба в театре, чье продвижение, чья судьба зависели от великой артистки, ибо управляла театром она одна, а не призрачные, чисто номинальные директоры, сменявшие друг друга так, что никто этого не замечал, — перед контролерами, которые, не глядя на нас, взяли наши билеты и мысли которых были заняты совсем другим: в точности ли переданы все распоряжения г-жи Берма новому составу, точно ли известно, что клакеры ни в коем случае не должны аплодировать ей, что окна должны быть открыты, пока она не выйдет на сцену, а как только выйдет — чтобы все двери были заперты, что поблизости от нее должен

быть спрятан кувшин с горячей водой для того, чтобы вода поглощала пыль на сцене; да ведь и то сказать: можно ждать с минуты на минуту, что ее экипаж, запряженный парой гривачей, остановится перед театром, из экипажа выйдет в мехах г-жа Берма и, недовольным кивком ответив на приветствия, пошлет свою служанку узнать, оставлена ли для ее друзей литерная ложа, какая температура в зрительном зале, кто сегодня в ложах и как справляется со своими обязанностями женская прислуга, — театр и публика служили ей второй, находящейся ближе к поверхности оболочкой, которую она сейчас на себя набросит, более или менее удовлетворительным проводником для ее таланта. Я был счастлив и в зрительном зале; с тех пор как я узнал, что дело обстоит не так, как это долго рисовалось детскому моему воображению, что сцена — одна для всех, мне казалось, что другие зрители будут мне мешать, как мешает смотреть толпа; между тем я убедился в обратном: благодаря расположению мест в театре, являющему собой как бы символ всякого восприятия, каждый чувствует себя центром театра; и тут я понял, почему Франсуаза, которая однажды смотрела мелодраму, сидя в третьем ярусе, уверяла, придя домой, что у нее было самое лучшее место и что это совсем не далеко от сцены, как раз наоборот: ее смущала таинственная, одушевленная близость занавеса. Мое наслаждение еще усилилось, как только я начал различать за опущенным занавесом глухой шум, вроде того, какой слышится в яйце, когда из него должен вылупиться цыпленок, и вскоре шум стал громче, а потом вдруг из мира, недоступного нашему взору, обратился несомненно к нам в повелительной форме трех ударов, столь же волнующих, как сигналы, посылаемые с планеты Марс. И, — уж после поднятия занавеса, — когда стоявшие на сцене письменный стол и камин, впрочем, ничем не примечательные, дали понять, что сейчас на сцену выйдут не декламирующие актеры, каких я слышал на одном вечере, а просто-напросто люди, проводящие у себя дома один из дней своей жизни, в которую я вторгался невидимо для них, мое наслаждение все еще длилось; оно было нарушено непродолжительным отвлечением: только я напряг слух перед началом пьесы, как на сцене появилось двое мужчин, видимо, чем-то разгневанных, ибо они говорили так громко, что в зале, где находилось больше тысячи человек, было слышно каждое их слово, тогда как в маленьком кафе приходится спрашивать официанта, о чем говорят два подравшихся посетителя; но, изумленный тем, что публика слушает их спокойно, погруженный во всеобщее молчание, на поверхности которого там и сям стали появляться пузырьки смешков, я скоро сообразил, что эти нахалы — актеры и что одноактная пьеска, открывавшая спектакль,

началась. Антракт после пьески так затянулся, что вернувшиеся на свои места зрители от нетерпения затопали ногами. Я испугался; когда я читал в отчете о судебном процессе, что какой-то благородный человек пришел, не считаясь со своими интересами, заступиться за невинного, я всякий раз опасался, что с ним будут недостаточно любезны, что ему не изъявят признательности, что его не вознаградят с подобающей щедростью и что он от омерзения перейдет на сторону несправедливости; вот так и сейчас, не отделяя гения от добродетели, я боялся, что Берма возмутится безобразным поведением невоспитанной публики, а не обрадуется, — как я надеялся, — при виде знаменитостей, мнением которых она бы дорожила, и ее неудовольствие и презрение выразятся в плохой игре. И я молящим взором смотрел на топочущих грубиянов, которые своим неистовством могли разбить хрупкое и драгоценное впечатление, за которым я сюда пришел. Я почти уже не испытывал наслаждения, как вдруг началась «Федра». В первых явлениях второго действия Федра не появляется; и тем не менее, как только занавес взвился, а за ним и второй, из красного бархата, отделявший глубину сцены во всех пьесах с участием «звезды», на заднем плане показалась актриса, у которой внешность и голос были такие же, как, насколько я мог судить по описаниям, у Берма. Значит, роли перераспределены, и я напрасно так старательно изучал роль жены Тезея. Но тут подала реплику другая актриса. Вне всякого сомнения, я ошибся, приняв первую за Берма: вторая была еще больше на нее похожа, в частности — манерой говорить. Впрочем, обе сопровождали свои слова благородными жестами, — их жесты были мне хорошо видны, и, когда актриса приподнимала свои красивые пеплумы, я угадывал связь между этими движениями и текстом трагедии, так же как мне были понятны их верные интонации, то страстные, то насмешливые, раскрывавшие смысл стиха, который я прочел дома недостаточно внимательно. И вдруг в промежутке между двумя половинками красной завесы святилища, точно в рамке, показалась женщина, и по овладевшему мной страху, гораздо более мучительному, чем страх, который могла сейчас испытывать Берма, что ей помешает стук отворяемого окна, что шелест программы исказит звучание ее голоса, что партнерш наградят более дружными аплодисментами, чем ее, и это будет ей неприятно; по тому, что я еще цельнее, чем Берма, воспринимал с этой минуты зал, публику, актеров, пьесу и мое собственное тело как акустическую среду, ценность которой зависит лишь от того, насколько она благоприятна для переливов ее голоса, я понял, что две актрисы, которыми я только что восхищался, совсем не похожи на ту, ради кого я сюда пришел. И в тот же миг я перестал наслаждаться; как ни

напрягал я зрение, слух, разум, чтобы не пропустить малейшего повода для восторга перед игрой Берма, поводов я не находил. У ее партнерш я улавливал обдуманные интонации, подмечал красивые движения, а у нее — нет. Впечатление от ее игры было не более сильное, чем когда я сам читал «Федру» или чем если бы сейчас говорила сама Федра, — мне казалось, что талант Берма решительно ничего не прибавил. Я пытался составить себе более ясное представление об ее игре, определить, что же в ней хорошего, и потому мне хотелось, чтобы каждая интонация артистки звучала как можно дольше, чтобы каждое выражение ее лица застывало на какое-то время; во всяком случае, я старался употребить всю гибкость ума на то, чтобы заставить мое внимание перескочить через стих, разместить его со всеми удобствами и держать наготове, не растрачивать попусту ни единого мига из того времени, в течение которого звучит слово, длится жест и благодаря напряжению внимания проникнуть в них так же глубоко, как если бы мне на это было отпущено несколько часов. Но до чего же кратки были эти миги? Мое ухо не успевало воспринять один звук, как его уже сменял другой. В сцене, где Берма некоторое время стоит неподвижно, держа руку на уровне головы, искусственно освещенной зеленоватым светом, перед декорацией, изображающей море, зал загремел рукоплесканиями, но актриса уже перешла на другое место, и картина, которую мне хотелось осмыслить, исчезла. Я сказал бабушке, что мне плохо видно, и она дала мне бинокль. Но если человек, верящий в реальность вещей, пользуется искусственным способом для того, чтобы получше рассмотреть их, то это еще не значит, что он стал ближе к ним. Мне казалось, что теперь я вижу не Берма, а ее изображение в увеличительном стекле. Я отложил бинокль; но, быть может, уменьшенный расстоянием, различаемый моим зрением образ — это тоже образ искаженный; которая же из двух — Берма настоящая? Я возлагал большие надежды на ее объяснение с Ипполитом, для которого, если судить по тому, как искусно ее партнерши то и дело раскрывали мне смысл куда менее красивых стихов, она, конечно, найдет более неожиданные интонации, чем те, какие силился придумать я, читая у себя дома трагедию; но Берма даже не сумела достичь того же, чего достигли Энона и Ариция, — она одним тоном произнесла всю тираду, смазав резкие ее переходы, эффектностью которых не пренебрегла бы любая неопытная трагическая актриса, даже ученица; притом Берма так скоро проговорила весь монолог, что «только когда она произносила последний стих, до моего сознания дошла умышленная монотонность ее читки.

Наконец пробился мой первый восторг: он был вызван громом

аплодисментов. Я тоже зааплодировал и решил аплодировать как можно дольше, чтобы Берма из чувства признательности превзошла потом себя и я проникся уверенностью, что присутствовал на одном из лучших ее спектаклей. Любопытно, что восторг публики разбушевался, когда Берма показала ей, как я узнал потом, одну из самых счастливых своих находок. По-видимому, иные трансцендентные реальности излучают свет, который хорошо чувствует толпа. Так, например, когда происходит какое-нибудь событие, когда армии на границе грозит опасность, когда она разбита или одержала победу, доходящие до нас смутные вести, из коих человек образованный извлечет немного, вызывают в толпе непонятное для него волнение, в котором, — после того, как знатоки осветят ему положение на фронте, — он различает свойственное народу ощущение «ауры», окружающей важные события и видимой на расстоянии нескольких сотен километров. О победе узнают или задним числом, когда война кончилась, или мгновенно, по радости в глазах швейцара. О том, что Берма сыграла такое-то место гениально, узнают через неделю, из рецензии, или догадываются сразу, по овациям партера. Однако к свойственному толпе непосредственному чувству примешивается множество обманчивых чувств, и потому толпа в большинстве случаев аплодировала зря, а кроме того, эти взрывы аплодисментов механически вызывались предыдущими, — так море, вздувшееся от бури, все еще продолжает колыхаться, хотя ветер утих. И все-таки чем громче я аплодировал, тем больше нравилась мне игра актрисы. «По крайней мере, — говорила сидевшая рядом со мной довольно заурядного вида женщина, — она хоть старается: колотит себя изо всех сил, мечется, вот это я понимаю — игра!» И, счастливый тем, что я наконец понял, почему Берма выше всех, — хотя у меня и мелькало подозрение, что замечания моей соседки так же доказательны, как восклицание крестьянина, смотрящего на Джоконду или на Персея Бенвенуто: «А ведь здорово сделано! Из золота, да еще из какого! Хорошая работа!», — я упивался плохим вином восторга публики. Все же, как только занавес опустился, я почувствовал разочарование: я ожидал большего, но в то же время мне хотелось, чтобы это обманувшее мои ожидания удовольствие продолжалось; мне была бы тяжела мысль, что, выйдя из зрительного зала, я навсегда расстанусь с жизнью театра, которая в течение нескольких часов была и моей жизнью и от которой я, вернувшись домой, оторвался бы, как изгнанник, если б не надеялся, что дома я много узнаю о Берма от ее поклонника, кому я обязан был тем, что меня отпустили на «Федру», — от маркиза де Норпуа.

Перед обедом отец позвал меня в свой кабинет и познакомил с

маркизом. Как только я вошел, посол встал, протянул руку, наклонился ко мне, что ему было не так легко при его высоком росте, и внимательно посмотрел на меня своими голубыми глазами. Хотя знакомства маркиза с иностранцами, — в ту пору, когда он нес обязанности французского посла, — были знакомства мимолетные, все же эти иностранцы, в том числе — известные певцы, в общем значительно возвышались над уровнем посредственности, и маркизу представлялась возможность потом, когда о них шла речь в Париже или в Петербурге, вставить, что он отлично помнит вечер, который он с ними провел в Мюнхене или в Софии, — вот почему у него вошло в привычку проявлять к ним особое расположение и этим показывать, как он рад знакомству с ними; кроме того, будучи уверен, что, живя в столицах, встречаясь с интересными людьми, которые бывают в столицах проездом, изучая местные обычаи, человек приобретает такие глубокие познания, каких он не почерпнет в книгах по истории, географии, в книгах о нравах разных народов, об умственном движении Европы, маркиз испытывал на новом знакомом свою острую наблюдательность, чтобы уметь определять с первого взгляда, кто перед ним. Правительство давно уже не посылало де Норпуа за границу, но когда его с кемнибудь знакомили, глаза его, словно они не получали уведомления, что теперь он числится за штатом, предпринимали плодотворное исследование, меж тем как всем своим видом он старался показать, что он уже слыхал фамилию человека, которого ему представляют. Вот почему он говорил со мной ласково, приняв многозначительный вид человека, сознающего свою многоопытность, и одновременно наблюдая за мной с проницательным любопытством, в целях самообразования, как будто представлял собою какой-нибудь туземный обычай, достопримечательный памятник или гастролирующую знаменитость. Он проявлял величественную благожелательность мудрого ментора и вместе с тем пытливую любознательность юного Анахарсиса.

Он даже не заикнулся о «Ревю де Де Монд», но зато расспросил меня, как я поживаю, чем занимаюсь, расспросил, к чему у меня особая склонность, и я впервые услышал, что о моих склонностях говорят так, как будто их нужно развивать в себе, а между тем до сих пор я считал, что с ними нужно бороться. Он ничего не имел против моей склонности к литературе; напротив, он говорил о литературе почтительно, как о достойной уважения, прелестной особе из высшего круга, о которой у него сохранилось наилучшее воспоминание со времен то ли Рима, то ли Дрездена, но с которой он, к сожалению, редко встречается, так как у него много дел. Улыбаясь почти игривой улыбкой, он словно завидовал мне, что

я моложе и свободнее его и могу приятно проводить с ней время. Однако выражения, которыми он пользовался, совершенно не соответствовали тому представлению о литературе, какое я составил себе в Комбре, и тут я понял, что был вдвойне прав, отказавшись от нее. До сих пор я был убежден лишь в том, что у меня нет таланта; сейчас маркиз де Норпуа отбивал у меня всякую охоту писать. Мне не терпелось поделиться с ним своими мечтами: дрожа от волнения, я изо всех сил старался как можно чистосердечнее выразить все, что чувствовал, но еще ни разу не высказал; именно поэтому моя речь отличалась крайней неясностью. Быть может, в силу профессиональной привычки; быть может, оттого, что всякий влиятельный человек проникается спокойствием, когда у него спрашивают совета, ибо он заранее уверен, что нить разговора будет у него в руках, и предоставляет волноваться, напрягаться, лезть из кожи вон собеседнику; а еще, быть может, для того, чтобы обратить внимание на посадку своей головы (как ему казалось — греческой, несмотря на длинные бакенбарды), маркиз, когда ему что-нибудь излагали, сохранял полнейшую неподвижность черт лица, как будто вы обращались в глиптотеке к глухому античному бюсту. Ответ посла, поражавший своей неожиданностью, как удар молотка на аукционе или как дельфийский оракул, производил на вас тем более сильное впечатление, что ни одна складка на его лице не выдавала впечатления, какое производили на него вы, и не намекала на то, что он намеревался высказать вам.

— Вот как раз, — вдруг заговорил со мной маркиз так, словно моя судьба уже решена и когда я окончательно растерялся под его неподвижным взглядом, которого он не отводил от меня ни на миг, — у сына моего друга, mutatis mutandis[1], то же, что и у вас. (Он говорил о том, что у нас одна и та же наклонность, таким успокоительным тоном, как будто это была наклонность не к литературе, а к ревматизму, и ему хотелось убедить меня, что от этого не умирают.) Он даже предпочел уйти с Орсейской набережной, — а там стараниями его отца дорога была для него открыта, — и, не обращая внимания на то, что о нем станут говорить, начал писать. И он не раскаялся. Два года назад он выпустил, — он, конечно, гораздо старше вас, — книгу о чувстве бесконечного, возникающем на западном берегу озера Виктория-Ньянца, а в этом году — не столь значительный труд, впрочем написанный бойко, временами даже не без ехидства: об автоматическом оружии в болгарской армии, — эти два произведения создали ему имя. Он уже пробился, он далеко пойдет, — мне известно, что хотя его кандидатура еще не выдвигалась, о нем поговаривали, — в лестном для него смысле, — в Академии Моральных

Наук. Словом, нельзя сказать, чтобы он был уже в зените славы, но он, не щадя благородных усилий, завоевал себе прекрасное положение, и успех, который далеко не всегда выпадает на долю крикунов и выскочек, на долю смутьянов, которые мутят воду, чтобы ловить в ней рыбку, — успех увенчал его усилия.

Мой отец, возмечтав, что через несколько лет я буду академиком, преисполнился самых радужных надежд, и маркиз де Норпуа окончательно укрепил их в нем, когда после минутного колебания, как бы взвесив последствия своего поступка, протянул мне свою карточку и сказал: «Обратитесь к нему от моего имени — он может дать вам ценный совет», — приведя меня этим в такое смятение, словно он объявил мне, что завтра я поступаю на парусное судно юнгой.

Тетя Леония завещала мне вместе со всякой всячиной и громоздкой мебелью все свои наличные деньги, посмертно доказав этим, как она меня любила, о чем я не подозревал, пока она была жива. Впредь до моего совершеннолетия этим состоянием надлежало распоряжаться моему отцу, и он посоветовался с маркизом де Норпуа, как лучше его поместить. Маркиз рекомендовал бумаги, дающие небольшие проценты, но — зато вполне надежные, а именно — английские консолидированные фонды и русский четырехпроцентный заем. «Прочнее этого ничего нельзя придумать, — добавил маркиз, — доход, правда, не очень велик, зато вы можете быть совершенно спокойны за свой капитал». Отец в общих чертах рассказал маркизу, какие он уже сделал приобретения. Маркиз де Норпуа улыбнулся едва уловимой поздравительной улыбкой: как все капиталисты, он завидовал любому состоянию, однако из деликатности считал необходимым приветствовать владельца чуть заметным знаком одобрения; сам он был колоссально богат, а поэтому считал хорошим тоном делать вид, что чьи-либо мелкие доходы представляются ему значительными, а в это время тешить себя отрадной и успокоительной мыслью, что он-то получает куда больше дохода. Все же маркиз не преминул поздравить моего отца с тем, что, заботясь о «приумножении» состояния, он обнаружил «такой непогрешимый, такой тонкий, такой изысканный вкус». Можно было подумать, что маркиз приписывает соотношению биржевых ценностей и даже самим этим ценностям нечто вроде художественных достоинств. Когда мой отец заговорил с маркизом де Норпуа об одной из таких ценностей, сравнительно новой и мало кому известной, маркиз, приняв вид человека, тоже читающего книги, которые, как вам казалось, никто, кроме вас, не читал, заметил: «Ну еще бы, я одно время с интересом следил за ее котировкой, — это было любопытно», — и улыбнулся улыбкой

подписчика, вновь переживающего удовольствие, полученное от чтения романа, печатавшегося в журнале с продолжением. «Я бы на вашем месте подписался, как только объявят об очередной подписке. Это заманчиво — бумаги будут стоить соблазнительно дешево». Наименования некоторых старых бумаг, которые всегда легко спутать с названиями других акций, мой отец точно не помнил, а потому счел за благо выдвинуть ящик и показать их послу. Они очаровали меня; украшенные шпилями соборов и аллегорическими фигурами, они напоминали старые издания романтиков, которые я когда-то просматривал. Все, относящееся к одному времени, имеет черты сходства; художники, иллюстрирующие поэмы, написанные в ту или иную эпоху, выполняют заказы и акционерных обществ. И ничто так живо не напоминало тома «Собора Парижской Богоматери» и произведения Жерара де Нерваля, висевшие на витрине бакалейной лавки в Комбре, как именная акция Водной компании в прямоугольной раскрашенной раме, которую поддерживают речные божества.

Склад моего ума вызывал у отца презрение, но это его презрение до такой степени смягчалось ласковостью, что в общем его отношение ко мне нельзя было назвать иначе как нерассуждающей снисходительностью. Вот почему он не колеблясь послал меня за коротким стихотворением в прозе, которое я сочинил еще в Комбре, возвратившись с прогулки. Я писал его с восторгом, и мне казалось, что мой восторг непременно передастся читателям. Однако маркиза де Норпуа оно, по-видимому, не покорило, потому что он вернул мне его молча.

Маме дела отца внушали благоговение, и она робко вошла, только чтобы спросить, можно ли накрывать на стол. Она не могла принять участие в разговоре и боялась прервать его. Тем более что отец все время напоминал маркизу о важных мерах, которые они решили «отстаивать на следующем заседании комиссии, и напоминал он тем необычным тоном, каким говорят между собой при посторонних — точно школьники — двое коллег, которых в силу служебного положения связывают общие воспоминания, куда всем прочим вход воспрещен, и когда коллеги предаются подобного рода воспоминаниям, то они приносят извинения тем, кто присутствует при их разговоре.

Полная свобода лицевых мускулов, которой достиг маркиз де Норпуа, давала ему возможность слушать, делая вид, что он не слышит. Отец в конце концов почувствовал себя неловко. «Я хотел бы заручиться поддержкой комиссии…» — после долгих предисловий сказал он маркизу де Норпуа. Тут из уст аристократа-виртуоза, до сих пор неподвижного, как ждущий своей очереди оркестрант, излетело с такой же быстротой,

впрочем, произнесенное более резким тоном, как бы окончание начатой отцом фразы, только звучавшее в ином регистре: «…которую вы, конечно, созовете в самое ближайшее время, тем более что членов комиссии вы знаете лично, а сдвинуть их с места ничего не стоит». Само по себе это заключение не содержало в себе ничего потрясающего. Однако та неподвижность, которую до сих пор хранил маркиз, сообщала ему прозрачную ясность, ту почти вызывающую неожиданность, с какою молчащий рояль, когда ему пора вступать, отвечает виолончели в концерте Моцарта.

— Ну как, ты доволен спектаклем? — спросил меня отец, когда мы садились за стол: ему хотелось, чтобы я блеснул и чтобы маркиз де Норпуа оценил мой восторг. — Он только что видел Берма, — вы помните наш разговор? — обратившись к дипломату, спросил отец тоном, намекающим на что-то уже происшедшее, деловое и таинственное, как будто речь шла о заседании комиссии.

— Воображаю, в каком вы были восхищении, тем более что прежде вы ее, кажется, не видели. Ваш батюшка боялся, как бы эта затея вам не повредила: ведь вы, кажется, не очень крепки, не очень здоровы. Но я его переубедил. В наше время театры уже не те, что были хотя бы двадцать лет назад. Кресла довольно удобные, помещение проветривается, хотя до Германии и до Англии нам еще далеко, — они и в этом значительно опередили нас, как и во многом другом. Я не видел Берма в «Федре», но говорят, что играет она чудесно. И вы, конечно, были ею очарованы?

Маркиз де Норпуа, будучи в тысячу раз умнее меня, составил себе, конечно, верное представление об игре Берма, чего не сумел сделать я, и сейчас он поделится со мной своим мнением; отвечая на его вопрос, я попрошу объяснить мне, в чем заключается прелесть ее игры, и тогда окажется, что я все-таки был прав, мечтая увидеть Берма. В моем распоряжении была одна минута — мне надлежало воспользоваться ею и спросить маркиза о самом существенном. Но в чем заключалось это существенное? Все свое внимание я сосредоточил на моих неясных впечатлениях, и, не помышляя о том, чтобы понравиться маркизу де Норпуа, а желая, чтобы он открыл мне вожделенную истину, и не пытаясь заменить недоставшие мне слова заученными фразами, я смешался И в конце концов, чтобы вытянуть из маркиза, чем же так хороша Берма, признался, что разочарован.

— Что ж ты уверяешь, — боясь, как бы моя нечуткость не произвела на маркиза де Норпуа неблагоприятного впечатления, воскликнул отец, — что ж ты уверяешь, будто не получил удовольствия, а между тем твоя

бабушка рассказывала, что ты впитывал в себя каждое слово Берма, что ты пожирал ее глазами, что во всем зале только ты был таким зрителем?

— Ну конечно, я старался не пропустить ни одного ее слова, — мне хотелось понять, что же в ней такого замечательного. Понятно, она очень хороша…

— Если она очень хороша, то чего ж тебе еще нужно?

— Одна из главных причин успеха Берма, — обратившись к моей матери, чтобы втянуть ее в разговор и чтобы честно исполнить долг вежливости по отношению к хозяйке дома, заговорил маркиз де Норпуа, — это ее отменный вкус в выборе репертуара, — вот что всегда обеспечивает ей подлинный прочный успех. Она редко выступает в посредственных пьесах. Вот видите: она взялась за роль Федры. Вкус сказывается у нее во всем: в туалетах, в игре. Она с блеском выступала в Англии и в Америке, и хотя она часто там гастролировала, а все же не заразилась вульгарностью, присущей не Джону Булю, — обвинять в вульгарности Англию, во всяком случае — Англию времен Виктории, было бы несправедливо, — а дяде Сэму. Берма никогда не переигрывает, не надсаживает грудь. А ее дивный голос, — он всегда ее выручает, и владеет она им, я бы сказал, как певица!

После того, как представление кончилось, мой интерес к игре Берма все возрастал, ибо действительность уже не сковывала его и не ограничивала; но мне хотелось уяснить себе, чем этот интерес вызван; притом, пока Берма играла, он с одинаковой увлеченностью вбирал в себя все, что ее игра, нерасчленимая, как сама жизнь, давала моему зрению, моему слуху; мой интерес ничего не разобщал и не обособлял; вот почему он был бы счастлив, если б ему открылось его разумное начало в похвалах простоте артистки, ее тонкому вкусу; он всасывал в себя эти похвалы, брал над ними власть, как берет власть жизнерадостность пьяного над действиями соседа, которые чем-то умиляют его. «Верно, — думал я, — голос прелестный, никаких завываний, костюмы простые, какое благородство вкуса в том, что она выбрала „Федру“! Нет, я не разочарован!»

Подали холодное мясо с морковью, уложенное нашим кухонным Микеланджело на огромные кристаллы желе, напоминавшие глыбы прозрачного кварца.

— У вас, сударыня, первоклассный повар, — заметил маркиз де Норпуа. — А это очень важно. За границей мне приходилось жить довольно широко, и я знаю, как трудно найти безупречного кухаря. У вас сегодня роскошное пиршество.

В самом деле: Франсуаза, воодушевленная честолюбивым желанием

угодить почетному гостю обедом, в приготовлении которого она наконец-то столкнулась с трудностями, в преодолении коих она находила достойное применение для своих способностей, постаралась так, как она уже не старалась для нас, и вновь обрела свою неподражаемую комбрейскую сноровку.

— Вот чего вы не получите в ресторане, — я имею в виду перворазрядные рестораны: тушеное мясо с желе, которое не отзывало бы клеем, мясо, пропитавшееся запахом моркови, — это бесподобно! Можно еще? — спросил маркиз, сделав движение, показывавшее, что он хочет, чтобы ему подложили мяса. — Любопытно было бы испытать искусство вашего Вателя на кушанье совсем в другом роде, — например, как бы он справился с бефстроганов

Чтобы обед был еще приятнее, маркиз де Норпуа, в свою очередь, угостил нас историями, коими он часто потчевал сослуживцев, и приводил то смешную фразу, сказанную политическим деятелем, за которым водилась эта слабость и у которого фразы получались длинные, состоявшие из лишенных связи образов, то краткое изречение дипломата, славившегося аттицизмом. Но, откровенно говоря, критерий, прилагавшийся маркизом к этим двум способам выражаться, резко отличался от того, который я применял к литературе. Множество оттенков ускользало от меня; я не улавливал особой разницы между словами, какие маркиз произносил, трясясь от хохота, и теми, которыми он восхищался. Он принадлежал к числу людей, которые о моих любимых произведениях сказали бы так: «Значит, вы их понимаете? А я, признаться, не понимаю, я профан», — я же, со своей стороны, мог бы ответить ему тем же: я не отличал остроумия от глупости, красноречия от превыспренности, которые он обнаруживал в какой-нибудь реплике или речи, и так как он не приводил убедительных доказательств, почему вот это дурно, а вот это хорошо, то подобный род литературы представлялся мне таинственнее, непонятнее всякого иного. Одно лишь стало мне ясно, что в политике повторение общих мест — достоинство, а не недостаток. Когда маркиз де Норпуа пользовался выражениями, не сходившими с газетных столбцов, и произносил их значительно, чувствовалось, что они приобретают значительность только потому, что прибегает к ним он и что действенная их сила требует комментариев.

Моя мать возлагала большие надежды на салат из ананасов и трюфелей. Однако посол, задержав на этом кушанье проницательный взгляд наблюдателя, отведал его, не выходя за пределы дипломатической скрытности и не выразив своего мнения. Мать настойчиво предлагала

маркизу де Норпуа взять еще — он взял, но, вместо ожидаемого одобрения, сказал: «Я подчиняюсь, сударыня, но только потому, что вами это самым настоящим образом декретировано».

— Мы читали в газетах, что вы имели продолжительную беседу с королем Феодосием, — обратившись к маркизу, сказал мой отец.

— Да, правда, у короля редкая память на лица, и, увидев меня в партере, он соблаговолил припомнить, что я имел честь несколько дней подряд встречаться с ним при Баварском дворе, когда он еще и не думал воссесть на восточный престол. (Вам известно, что этот престол был ему предложен европейским конгрессом, а он, прежде чем дать согласие, очень колебался: он полагал, что этот престол ниже его происхождения — с точки зрения геральдической, самого благородного во всей Европе) Свитский генерал подошел ко мне, и я, разумеется, почел своим долгом исполнить желание его величества и поспешил засвидетельствовать ему свое почтение.

— Вы довольны результатами его пребывания?

— Чрезвычайно доволен! Можно было слегка опасаться, как столь юный монарх выйдет из затруднительного положения, да еще в таких щекотливых обстоятельствах. Я лично твердо верил в политический такт государя. Но должен сознаться, что он превзошел мои ожидания. Я получил сведения из самых достоверных источников, что тост, который он провозгласил в Елисейском дворце, от первого до последнего слова был сочинен им самим и по праву всюду возбудил интерес. Это был самый настоящий ход мастера, надо сознаться — довольно смелый, но эту его смелость вполне оправдывала сложившаяся обстановка. В дипломатических традициях есть, конечно, своя положительная сторона, но в настоящее время из-за них и его государство и наше жили в духоте, так что уже нечем было дышать. Ну так вот, один из способов напустить свежего воздуху — способ, который, вообще говоря, не рекомендуется, но который король Феодосии мог себе позволить, — это разбить окна. И король разбил окна так весело, что все пришли в восторг, и с такой точностью выражений, по которой сразу узнается порода просвещенных государей, а он принадлежит к ней по материнской линии. Он говорил о «сродстве душ», объединяющем его страну с Францией, и это выражение, хотя и не вошедшее в язык министерских чиновников, он употребил чрезвычайно удачно — в этом нет никакого сомнения. Как видите, литература бывает полезна даже в дипломатии, даже на троне, — обратившись ко мне, добавил маркиз. — Спору нет: это всем было давно известно, отношения между двумя державами были теперь прекрасные.

Требовалось только заявить об этом во всеуслышание. Ждали слова, и оно было поразительно удачно выбрано — вы видели, какое оно произвело впечатление. Я приветствовал его от всей души.

— Ваш друг де Вогубер в течение ряда лет способствовал сближению обеих стран — теперь он наверное доволен,

— Тем более что его величество по своему обыкновению держал это от него в тайне. Впрочем, это было тайной для всех, начиная с министра иностранных дел, — насколько мне известно, министру это не пришлось по душе. Кому-то, кто с ним беседовал, он ответил вполне определенно и так громко, чтобы его слышали те, что находились рядом: «Меня не спросили и не предупредили», — этим он ясно дал понять, что снимает с себя всякую ответственность. По правде сказать, это событие наделало много шуму, и я не поручусь, — с лукавой улыбкой добавил маркиз, — что некоторых моих коллег, строго придерживающихся линии наименьшего сопротивления, оно не вывело из равновесия. Что касается Вогубера, то вы же знаете, что он подвергался ожесточенным наладкам за его политику сближения с Францией, и он тяжело это переживал: это человек душевно ранимый, сердце у него золотое. Я это положительно утверждаю: хотя он моложе меня, много моложе, мы с ним близко знакомы, друзья с давних пор, я хорошо его знаю. Да кто его не знает? Кристальная душа. И это его единственный недостаток: сердце дипломата не должно быть до такой степени прозрачным. Тем не менее идут разговоры о том, что его переводят в Рим, — это большое повышение, но и махина на него сваливается изрядная. Между нами говоря, я полагаю, что хотя Вогубер нисколько не честолюбив, а все-таки он был бы очень доволен и ни в коем случае не стал бы просить, чтобы эта чаша его миновала. По всей вероятности, ему там будет очень хорошо; его прочат в Коисульту, и, по-моему, он, с его художественными наклонностями, будет отлично выглядеть в рамке дворца Фарнезе и галереи Карраччи. Во всяком случае, я не думаю, чтобы он в ком-нибудь вызывал ненависть; но вокруг короля Феодосия образовалась целая камарилья, более или менее подвластная Вильгельмштрассе, являющаяся ее послушным орудием, и она всеми силами старалась подставить Вогуберу ножку. Вогубер столкнулся не только с кулуарными интригами, — на него посыпались оскорбления продажных бумагомарак, и потом-то они, как все подкупленные газетчики, первые запросили «аман», но долгое время без зазрения совести выдвигали против нашего представителя такие вздорные обвинения, какие способны предъявить только темные личности. Больше месяца дружки Вогубера танцевали вокруг него танец скальпа (маркиз де Норпуа сделал ударение на

последнем слове). Но за битого двух небитых дают; Вогубер не оставил от этих оскорблений камня на камне, — еще тверже произнес де Норпуа и посмотрел таким грозным взглядом, что у нас кусок застрял в горле. — Есть хорошая арабская пословица:

«Собаки лают — караван проходит». — Приведя эту пословицу, маркиз де Норпуа молча обвел нас глазами, чтобы полюбоваться произведенным впечатлением. Впечатление было сильное — мы знали арабскую пословицу. В этом году она заменила влиятельным лицам другую: «Кто сеет ветер, пожнет бурю», требовавшую отдыха, так как она была не столь неутомима и живуча, как: «работать на чужого дядю». Такого рода видным деятелям хватало познаний ненадолго, обычно года на три. Конечно, статьи маркиза де Норпуа в «Ревю» не нуждались в подобного рода украшениях, коими он любил уснащать их, — и без цитат читатель почувствовал бы, что автор — человек солидный и хорошо информированный. Это было лишнее украшение, — маркиз де Норпуа вполне мог бы ограничиться фразами, которые он, выбрав для них наиболее подходящее место, вставлял в свои статьи: «Сент-Джеймский кабинет один из первых зачуял опасность», или: «Крайне обеспокоенный Певческий мост тревожным взглядом следил за эгоистической, но ловкой политикой двуглавой монархии», или: «Монтечиторио забил тревогу», или, наконец:

«…двойная игра, которую постоянно ведет Бельплац». По этим выражениям читатель непосвященный сразу узнавал и приветствовал старого дипломата. Но еще больше веса ему придавало и заставляло думать, что он человек в высшей степени образованный, умелое употребление цитат, которые ценились тогда особенно высоко: «Наладьте мне политику, и я налажу вам финансы», — как любил говорить барон Луи». (В те времена еще не вывезли с Востока: «Победа достается тому, кто вытерпит на четверть часа дольше, чем его противник», — как говорят японцы».)Благодаря репутации высокообразованного человека, да еще к тому же настоящего гения интриги, надевающего на себя личину равнодушия, маркиз де Норпуа прошел в Академию Моральных Наук. А некоторые даже подумали, что ему место во Французской Академии, когда, стремясь доказать, что мы можем прийти к соглашению с Англией через укрепление союза с Россией, он решительно заявил в печати: «Пусть знают на Орсейской набережной, пусть теперь же восполнят пробел во всех учебниках географии, пусть с треском проваливают всякого, кто претендует на степень бакалавра, если он не скажет:

«Все дороги ведут в Рим, но кто едет из Парижа в Лондон, тому не

миновать Петербурга».

— Короче говоря, — продолжал де Норпуа, обращаясь к моему отцу, — на такой головокружительный успех он даже и не рассчитывал. Он ждал любезного тоста (после туч, сгущавшихся за последние годы, и это уже было бы отлично), но не больше. Некоторые из присутствовавших утверждали, что при чтении тоста невозможно себе представить, какое он произвел впечатление: так чудесно говорил и построил король свой тост, — а ведь он славится красноречием, — так искусно подчеркивал он интонациями все тонкости. Мне передавали довольно любопытную подробность, лишний раз доказывающую, как много в короле Феодосии юношеского обаяния и как оно располагает к нему сердца. Меня уверяли, что именно при словах «сродство душ», а ведь они-то, в сущности говоря, и составили «гвоздь» речи и, — вот увидите, — долго еще будут комментироваться в министерствах, его величество, предчувствуя радость нашего посла, который воспримет эти слова как заслуженный венец своих усилий, можно сказать — своих мечтаний, короче говоря — как маршальский жезл, полуобернулся к Вогуберу и, устремив на него пленительный взгляд, взгляд Эттингенов, выделил это столь уместное выражение: «сродство душ», эту настоящую находку, и произнес его таким тоном, который ни у кого не оставил сомнений, что король употребил его не случайно, что он вкладывал в него вполне определенный смысл. Насколько мне известно, Вогуберу нелегко было побороть волнение, и, должен сознаться, отчасти я его понимаю. Один вполне достойный доверия человек сообщил мне, что после обеда, в узком кругу, король даже подошел к Вогуберу и тихо спросил: «Вы довольны своим учеником, дорогой маркиз?»

— Нет никакого сомнения, — заключил де Норпуа, — что этот тост сделал для упрочения союза между двумя государствами, для «сродства их душ», по замечательному выражению Феодосия Второго, больше, чем двадцатилетние переговоры. Если хотите, это всего лишь слова, но вы же видите, как они понравились, как их подхватила вся европейская пресса, какой интерес они вызвали, как по-новому они прозвучали. К тому же они вполне в стиле государя. Понятно, я не поручусь вам, что государь каждый день находит такие алмазы. Но на речи, к которым он готовится, а чаще — на живые беседы он с помощью какого-нибудь меткого словца кладет отпечаток — чуть было не сказал: печать — своей личности. Меня трудно заподозрить в недоброжелательном отношении к королю, хотя я и враг всяких новшеств в этой области. В девятнадцати случаях из двадцати такие приемы опасны.

— Да, мне думается, что последняя телеграмма германского императора была не в вашем вкусе, — вставил мой отец.

Маркиз де Норпуа посмотрел на потолок, как бы говоря: «Ах, эта!»

— Прежде всего, это с его стороны неблагодарность. Это больше, чем преступление, — это промах, это, я бы сказал, сверхъестественная глупость! Впрочем, если только никто его не попридержит, человек, отстранивший Бисмарка, способен постепенно отойти и от бисмарковской политики, а это — прыжок в неизвестность.

— Мой муж говорил мне, что, может быть, как-нибудь летом вы увезете его в Испанию, — я была бы так за него рада!

— Да, да, этот соблазнительный проект меня очень прельщает. А вы, сударыня, уже решили, как вы проведете каникулы?

— Может быть, поеду с сыном в Бадьбек — точно еще не знаю.

— Ах, Бальбек — чудное место, я там был несколько лет назад. Теперь там начинают строить премиленькие виллы, Я думаю, вы останетесь довольны. А скажите, пожалуйста, почему вы остановились именно на Бальбеке?

— Сыну очень хочется посмотреть тамошние церкви, особенно — церковь в самом Бальбеке. Я побаивалась, как бы утомительное путешествие, а главное — жизнь там не повредили его здоровью. Но я узнала, что в Бальбеке выстроили превосходную гостиницу, и он будет жить с полным комфортом, а это ему необходимо.

— Не забыть бы мне сказать про гостиницу одной даме — она непременно за это ухватится.

— Церковь в Бальбеке дивная, ведь правда? — спросил я, подавив в себе тоскливое чувство, вызванное сообщением, что Бальбек привлекателен своими премиленькими виллами.

— Да, церковь там неплохая, но она не выдерживает сравнения с такими отграненными драгоценностями, как, например, Реймский собор, Шартрский собор или, на мой вкус, такая жемчужина, как Сент-Шапель в Париже.

— Но ведь бальбекская церковь частично романская?

— Да, она в романском стиле, а романский стиль чрезвычайно холоден и ни в чем не предвосхищает ни изящества, ни силы воображения готических зодчих, которые претворяют камень в кружево. Если уж вы все равно будете в Бальбеке, то в бальбекской церкви следует побывать — она довольно любопытна; зайдите туда в дождливый день, когда вам нечего будет делать, — осмотрите гробницу Турвиля.

— Вы были вчера на банкете в министерстве иностранных дел? —

спросил маркиза мои отец. — Я не мог пойти.

— Нет, не был, — улыбаясь, ответил маркиз де Норпуа. — Откровенно говоря, я пожертвовал им для развлечения совершенно иного характера. Я ужинал у дамы, о которой вы, быть может, слыхали, — у прелестной госпожи Сван.

Моя мать вздрогнула, но тут же превозмогла себя: отличаясь повышенной чувствительностью, она заранее беспокоилась за моего отца, а до него все доходило не сразу. Неприятности, случавшиеся с ним, причиняли боль сначала ей — так дурные вести, касающиеся Франции, раньше узнаются за границей. Однако ей было любопытно, кого принимают у себя Сваны, и она задала маркизу де Норпуа вопрос, с кем он там встретился.

— Да понимаете ли… по-моему, в этом доме бывают главным образом… мужчины. Там были женатые мужчины, но их жены в тот вечер плохо себя чувствовали и не пришли, — ответил посол, пряча лукавство под личиной добродушия и придавая своему лицу в то время, как он обводил нас взглядом, мягкость и скромность — придавая как будто бы с целью затушевать ехидство, а на самом деле для того, чтобы ловко подчеркнуть его.

— Справедливость требует заметить, — добавил маркиз, — что там бывают и женщины, но… принадлежащие скорее… как бы это точнее выразиться? к республиканскому свету, чем к обществу Свана. (Маркиз четко выговаривал в этой фамилии звук «в».) Как знать? Может быть, со временем у них будет политический или литературный салон. Впрочем, Сваны, кажется, довольны своим положением. По-моему, Сван это даже слишком явно старается показать. Ведь Сван такой тонкий человек, но на сей раз он меня удивил: надо быть несдержанным, лишенным вкуса, почти лишенным такта, чтобы, как он, перечислять тех, к кому он и его жена приглашены на следующей неделе, а между тем гордиться близостью с этими людьми нет никаких оснований. Он все повторял: «У нас нет ни одного свободного вечера» — как будто это для него великая честь и как будто он — форменный выскочка, а ведь его же выскочкой не назовешь! У Свана было много друзей и даже подруг, и я не стану в это углубляться, я не хочу быть нескромным, но все-таки позволю себе заметить, что если не все и даже не большинство, то, во всяком случае, одна из них, очень важная дама, быть может, не выказала бы особого упорства и сблизилась бы с госпожой Сван, а уж тогда, вероятно, за ней последовал бы не один баран из панургова стада. Но, насколько мне известно, Сван не сделал ни одной попытки в этом направлении. И потом еще этот пудинг Нессельроде! После

такого лукуллова пиршества курс лечения в Карлсбаде мне вряд ли поможет. Вероятно, Сван почувствовал, что ему придется затратить слишком много усилий для преодоления препятствий. Его брак вызвал к себе недоброжелательное отношение — это несомненно. Поговаривали, будто Сван женился на богатой, но это дикое вранье. Словом, все это произвело неприятное впечатление. Притом, у Свана есть тетка, баснословная богачка, занимающая отличное положение в обществе, а ее муж благодаря своему состоянию представляет собой могучую силу. Так вот, тетка Свана мало того, что не пустила к себе госпожу Сван, — она повела самую настоящую кампанию за то, чтобы ее друзья и знакомые поступили точно так же. Это не значит, что все парижское высшее общество отвернулось от госпожи Сван… Нет! Конечно, нет! Да ведь и ее супруг за себя постоит. Как бы то ни было, непонятно зачем, Сван, у которого столько знакомых в самом избранном кругу, заискивает перед обществом, мягко выражаясь, смешанным. Я давно знаю Свана, и, откровенно говоря, мне было и странно и забавно наблюдать, как человек, прекрасно воспитанный, принятый в лучших домах, горячо благодарит правителя канцелярии министра почт за то, что он посетил их, и спрашивает, можно ли госпоже Сван навестить его жену. У меня такое впечатление, что Сван чувствует себя чужим в своем доме: это явно не его среда. И все-таки я не думаю, что Сван несчастлив. Правда, перед тем как им пожениться, она действовала некрасиво — она шла на прямой шантаж; стоило Свану в чем-нибудь отказать ей — и она лишала его встреч с дочерью. Бедный Сван, натура столь же утонченная, сколь и наивная, каждый раз уверял себя, что увоз дочери — простое совпадение, и не желал смотреть правде в глаза. Потом она постоянно закатывала ему сцены, и все были убеждены, что когда она достигнет своей цели и женит его на себе, тут-то она и развернется вовсю, и совместная их жизнь будет сущим адом. А вышло все наоборот! Многие хохочут до слез над тем, как Сван говорит о своей жене, делают из этого мишень для насмешек. Разумеется, никто не требовал, чтобы Сван, более или менее ясно представляя себе, что он… (помните известное выражение Мольера?), объявлял об этом urbi et orbi[2] но когда он утверждает, что его жена — чудесная супруга, все находят, что это преувеличение. А ведь на самом деле это не так уж далеко от истины. Чудесная, понятное дело, на свой образец, который не все мужья одобрили бы, но, между нами говоря, я не могу допустить, чтобы Сван, который знает ее давно и которого за нос не проведешь, не раскусил ее; она к нему привязана, — это для меня несомненно. Я склонен думать, что она ветрена, да ведь и Сван времени не теряет, если верить злым языкам, а вы

представляете себе, как сплетники прохаживаются на их счет. Но всеобщие опасения не оправдались: из чувства благодарности Свану за то, что он для нее сделал, она, по-видимому, стала, как ангел, кротка.

Эта перемена была, пожалуй, не столь чудодейственна, как она представлялась маркизу де Норпуа. Одетта не верила, что Сван в конце концов женится на ней; всякий раз, как она нарочно заводила разговор о том, что человек из высшего общества женился на своей любовнице, он хранил гробовое молчание; в лучшем случае, когда она прямо обращалась к нему с вопросом:

«Так ты не находишь, что он поступил хорошо, что он поступил прекрасно по отношению к женщине, которая пожертвовала ему своей молодостью?» — он сухо отвечал: «А я не говорю, что это плохо, — каждый поступает по-своему». Одетта была даже готова к тому, что, как он сам это говорил ей под горячую руку, Сван порвет с ней; дело в том, что не так давно одна скульпторша ей сказала: «От мужчин всего можно ожидать — это такие хамы!» — и Одетта, потрясенная этим пессимистическим изречением, начала выдавать его за свое и при всяком удобном случае повторяла с убитым видом, как бы говорившим: «Я бы нисколько не удивилась, если б это произошло, — такая уж моя доля». Вследствие этого утратило всякий смысл изречение оптимистическое, которым Одетта руководствовалась прежде: «Если мужчина вас любит, с ним можно делать все, что угодно, — они же идиоты» и которое выражалось у нее еще и в подмигиванье, каким обычно сопровождаются слова:

«Не бойтесь — он не разобьет». До поры до времени Одетта тяжело переживала то, что ее подруги, вышедшие замуж за своих любовников, с которыми они жили меньше, чем Одетта со Сваном, и не имели от них детей, пользующиеся теперь известным уважением, получающие приглашение на балы в Елисейский дворец, могли думать о поведении Свана. Более глубокий сердцевед, чем маркиз де Норпуа, вне всякого сомнения догадался бы, что озлобило Одетту именно это чувство унижения и стыда, что она не родилась с адским характером, что это беда поправимая, и для него не составило бы труда предсказать то, что потом и произошло, а именно — что перемена в жизни, замужество с почти сказочной быстротой прекратит вспышки Одетты, ежедневные и все-таки ей не свойственные. Удивительно было то удивление, какое вызвала у всех женитьба Свана на Одетте. Разумеется, лишь немногим дано постичь чисто субъективный характер явления, какое представляет собою любовь, постичь особый род творения — творения добавочной личности, носящей ту же фамилию, что и мы, и почти целиком слагающейся из элементов,

добытых из нас самих. Вот почему лишь немногим представляются естественными те огромные размеры, какие в конце концов принимает для нас человек, который рисуется им не таким, каков он на самом деле. Что же касается Одетты, то, при ее неспособности по достоинству оценить ум Свана, она, по крайней мере, запоминала названия его трудов, входила во все подробности его работы, так что фамилия Вермеера стала для нее не менее знакомой, чем фамилия ее портного; она до тонкости изучила черты Сванова характера, обычно не замечаемые или осмеиваемые посторонними, черты, дорогие сестре, возлюбленной, составляющим о них верное понятие; и мы держимся за эти черты, держимся даже за такие, которые нам больше всего хотелось бы исправить, оттого что у женщины в конце концов вырабатывается к ним снисходительная и дружественно-шутливая привычка, похожая на нашу собственную к ним привычку и на привычку наших родных, — так старинные связи приобретают некую долю силы и нежности; семейных привязанностей. Наша связь с человеком освящается, когда он, осуждая нас за какой-нибудь недостаток, становится на нашу же точку зрения. Своеобразием отличались не только черты характера Свана, но и его мышление, однако Одетте легче было уловить особенности его мышления, потому что своими корнями они все-таки уходили в его характер. Ей было жаль, что в Сване-писателе, в его напечатанных статьях этих черт оказывалось меньше, чем в его письмах или в устной речи, где он их рассыпал в изобилии. Она советовала ему быть в своих писаниях как можно щедрее на них. Ей так хотелось, потому что именно эти черты она больше всего в нем любила, но поскольку она питала к ним особое пристрастие, потому что они были наиболее своеобразны, то, пожалуй, она была права, желая, чтобы они отчетливо проступали в его трудах. Кроме того, Одетта, быть может, надеялась, что они придадут его трудам Живости, принесут ему наконец успех и благодаря этому ей удастся создать то, что у Вердюренов она научилась ставить выше всего: салон.

К числу тех, кому такой брак казался смешным и кто задавал себе вопрос: «Что подумает герцог Германтский, что скажет Бресте, если я женюсь на мадмуазель де Монморанси?», к числу тех, кто придерживался таких взглядов, двадцать лет назад принадлежал бы и Сван, Сван, который столько намучился, прежде чем попасть в Джокей-клоб, и мечтал о блестящей партии, которая, упрочив его положение, сделала бы из него одну из парижских знаменитостей. Однако образы, в которых такой брак рисуется заинтересованному лицу, требуют, как и всякие образы, пищи извне; иначе они поблекнут и расплывутся. Ваша самая пылкая мечта —

унизить человека, оскорбившего вас. Но если вы переедете и никогда больше не услышите о нем, то кончится дело тем, что ваш враг утратит для вас всякое значение. Если вы за двадцать лет растеряли тех, из-за кого вы стремились попасть в Джокей-клоб или в Академию, то в перспективе стать членом какого-либо из этих объединений уже не будет для вас ничего соблазнительного. Словом, продолжительная связь, так же как и отъезд, болезнь, уход в религию, вытесняет прежние образы. Когда Сван женился на Одетте, то с его стороны это не было отречением от светского тщеславия, потому что Одетта уже давно, в духовном смысле этого слова, оторвала его от света. Если бы дело обстояло не так, то и его заслуга была бы больше. Именно потому, что позорные браки предполагают отказ от более или менее почетного положения ради душевного уюта, они вызывают у всех особенно глубокое уважение. (К позорным бракам, конечно, не относятся браки из-за денег, ибо не было еще такого случая, когда бы супруги, один из которых продался, в конце концов не были бы приняты в свете — хотя бы по традиции, насчитывающей великое множество примеров, и для того, чтобы иметь только одну мерку и одну колодку.) С другой стороны, Сван, натура художественная, а не извращенная, во всяком случае получил бы известное наслаждение, спариваясь, как при скрещении пород, которое производят менделисты и о котором повествуется в мифологии, с существом другой породы, с эрцгерцогиней или с кокоткой, вступая в союз с особой царской фамилии или в неравный брак. При мысли о женитьбе на Одетте Свана волновал, и совсем не из снобизма, только один человек во всем мире: герцогиня Германтская. Напротив, Одетту она беспокоила меньше всего — Одетта думала лишь о тех, кто находился непосредственно над ней, а в эмпиреи она не залетала. Когда же Сван думал об Одетте как о своей жене, он всегда представлял себе тот момент, когда он приведет ее, а главное — свою дочь, к принцессе де Лом, которая вскоре, из-за смерти своего свекра, стала герцогиней Германтской. Ему нравилось представлять себе жену и дочь не где-нибудь, а именно у герцогини, и он умилялся, придумывая, что герцогиня скажет о нем Одетте, что скажет Одетта герцогине Германтской, вызывая в воображении, как ласкова будет герцогиня с Жильбертой, как она станет баловать ее и как это польстит его отцовскому самолюбию. Он разыгрывал сам с собой сцену знакомства с такой точностью вымышленных подробностей, какую обнаруживают люди, рассчитывающие, на что бы они употребили выигрыш, сумму которого они загадали. Если некий образ, сопутствуя нашему решению, в известной мере обосновывает его мы вправе сказать, что Сван женился на Одетте, чтобы познакомить ее и Жильберту, —

познакомить без свидетелей и, если возможно, так, чтобы никто никогда об этом не узнал, — с герцогиней Германтской. Из дальнейшего будет видно, что именно это единственное честолюбивое его желание, касавшееся светских знакомств его жены и дочери, так и осталось неосуществленным: на него было наложено строжайшее вето, и Сван умер, не предполагая, что герцогиня когда-нибудь с ними познакомится. Еще видно будет из дальнейшего, что герцогиня Германтская сблизилась с Одеттой и Жильбертой уже после смерти Свана. И, пожалуй, с его стороны было бы благоразумнее, — если уж придавать значение таким пустякам, — не представлять себе будущее с этой точки зрения, в чересчур мрачном свете, и не терять надежды, что чаемое сближение произойдет, когда его уже не станет и он не сможет этому порадоваться. Работа по установлению причинной связи в конце концов приводит ко всем достижимым целям, а значит, и к тем, которые представлялись наименее достижимыми, но только эта работа идет в иных случаях медленно, а мы еще замедляем ее своим нетерпением, которое, вместо того чтобы ускорить, тормозит ее, замедляем самым фактом нашего существования, и завершается она, когда обрывается наше стремление, а то и жизнь. Неужели Сван не знал этого по опыту и разве уже не было в его жизни, как предображения того, что должно произойти после его кончины, предображения посмертного счастья: женитьбы. на Одетте, которую он страстно любил, хотя она и не понравилась ему с первого взгляда, и на которой он женился, когда уже разлюбил ее, когда жившее в Сване существо, так безнадежно мечтавшее прожить всю жизнь с Одеттой, — когда это существо умерло?

Я заговорил о графе Парижском и спросил, не друг ли он Свана, — я боялся, что разговор примет иное направление.

— Совершенно верно, они друзья, — ответил маркиз де Норпуа, повернувшись ко мне и задерживая на моей скромной особе голубой взгляд, где, как в своей родной стихии, зыбились его огромная трудоспособность и его приспособляемость. — Ах да, — продолжал он, снова обращаясь к моему отцу, — надеюсь, это не будет с моей стороны проявлением неуважения к принцу (правда, лично мы с ним никак не связаны, — в моем, хотя и неофициальном, положении заводить с ним личные отношения мне было бы неудобно), если я сообщу вам один довольно любопытный случай: года четыре тому назад, самое позднее, в одной из стран Центральной Европы, на захолустной станции произошла неожиданная встреча принца с госпожой Сван. Разумеется, никто из приближенных его высочества не отважился спросить — понравилась ли она ему. Это было бы бестактно. Но когда в разговоре случайно

упоминалось ее имя, то, по некоторым, если хотите, неуловимым и тем не менее верным признакам, его собеседники догадывались, что принцу хотелось бы, чтобы они подумали, что она произвела на него скорее благоприятное впечатление.

— А нельзя ли представить ее графу Парижскому? — спросил мой отец.

— Право, не знаю! За принцев никогда нельзя ручаться, — ответил маркиз де Норпуа. — Бывает и так, что самые из них кичливые, те, что особенно любят по* чести, в то же время, когда они находят нужным вознаградить чью-либо верность, меньше всего считаются с общественным мнением, даже если оно вполне справедливо. Так вот, не подлежит сомнению, что граф Парижский очень высоко ценит преданность Свана, а помимо всего прочего, Сван — умнейший малый.

— Какое же впечатление сложилось у вас, господин посол? — отчасти из вежливости, отчасти из любопытства спросила моя мать.

Обычная сдержанность маркиза де Норпуа уступила место решительности знатока.

— Прекрасное! — ответил он.

Маркиз де Норпуа знал, что если человек игривым тоном заявляет о том, что он очарован женщиной, то это считается признаком в высшей степени остроумного собеседника, а потому он закатился смешком, от которого голубые глаза старого дипломата увлажнились, а испещренные красными жилками крылья его носа дрожали.

— Она просто обворожительна!

— А у них не ужинал писатель Бергот? — чтобы продолжить разговор о Сване, робко спросил я.

— Да, Бергот там был, — ответил маркиз де Норпуа, учтиво склонив голову в мою сторону: он как бы давал этим понять, что желает до конца быть любезным по отношению к моему отцу, которого он глубоко уважает, и потому снисходит даже к вопросам его сына, хотя этот мальчуган еще по возрасту не может рассчитывать на необыкновенную обходительность со стороны людей в возрасте маркиза. — А вы разве с ним знакомы? — спросил он, обратив на меня ясный взгляд, проницательность которого восхищала Бисмарка.

— Мой сын с ним не знаком, но он им очень увлекается, — сказала моя мать.

— А знаете, — снова заговорил маркиз де Норпуа, и под влиянием его слов мною овладели более сильные сомнения в моем умственном развитии, нежели те, что одолевали меня обыкновенно, — овладели, как только я

убедился, что то, что я возвел на недосягаемую для меня высоту, то, что мне казалось выше всего на свете, для него стоит на самой низкой ступени, — я этого увлечения не разделяю. Бергот, по-моему, флейтист; впрочем, надо отдать ему справедливость, играет он приятно, хотя слишком манерно, жеманно. Вот и все его достоинства, а это не так уж много. Его творчество не мускулисто, в его произведениях нет, если можно так выразиться, костяка. В них нет, — или почти нет, — действия, а главное, совсем нет размаха. Фундамент его книг непрочен, — вернее, они лишены фундамента. Согласитесь, что в наше время, когда жизнь с каждым днем становится все сложнее и у нас почти не остается времени, для чтения, когда карта Европы подверглась решительной перекройке и не сегодня-завтра, быть может, подвергнется перекройке еще более значительной, когда всюду возникает столько новых, чреватых грозными событиями проблем, мы имеем право требовать от писателя чего-то большего, чем остроумие, которое заставляет нас забывать в велеречивых и бесполезных спорах по поводу чисто формальных достоинств о том, что с минуты на минуту нас могут захлестнуть две волны варварства — извне и изнутри. Я сознаю, что изрыгаю хулу на священную школу, которую эти господа именуют Искусством для Искусства, но в наши дни есть задачи поважнее, чем музыкальный принцип расположения слов. Я не спорю: в слоге Бергота есть что-то пленительное, но в общем все это очень вычурно, очень мелко и очень вяло. Теперь, когда я узнал, что вы явно переоцениваете Бергота, мне стали понятнее те несколько строк, которые вы мне только что показали и которых я предпочел бы не касаться, тем более что вы сами так прямо и сказали, что это детская мазня. (Я и правда так выразился, но мнение у меня было совсем другое) Бор грехам терпит, в особенности — грехам молодости. Да и не у вас одного они на совести, — многие в ваши годы мнили себя поэтами. Но в том, что вы мне показали, видно дурное влияние Бергота. Вряд ли вас удивит, если я скажу, что там нет ни одного из достоинств Бергота: книги Бергота — это настоящие произведения искусства, впрочем, крайне поверхностного, он — мастер стиля, о котором вы в ваши годы не можете иметь хотя бы смутное понятие. А вот тем же недостатком, что и он, вы грешите: вы, как и Бергот, заботитесь прежде всего не о смысле, а о том, чтобы подобрать звучные слова, — содержание у вас на втором плане. Это все равно что ставить плуг перед волами. Даже у Бергота словесные побрякушки, ухищрения, напускание тумана, — все это, по-моему, ни к чему. Автор устроил приятный для глаз фейерверк, и все кричат, что это шедевр. Шедевры не так часто встречаются! В активе у Бергота, в его, если можно так выразиться, багаже нет ни одного романа,

отмеченного печатью истинного вдохновения, ни одной книги, которую хотелось бы поставить в заветный уголок своей библиотеки. Я не могу припомнить ни одной. Другое дело, что его творчество неизмеримо выше самого автора. Вот уж кто доказывает правоту одного умного человека, утверждавшего, что писатели не познаются по их книгам. Немыслимо представить себе человека, который до такой степени был бы не похож на свои произведения, более чванливого, более надутого, хуже воспитанного, чем Бергот. С одними он вульгарен, с другими говорит — точно книгу читает вслух, но только не свою, а очень скучную, чего, во всяком случае, про его книги не скажешь, — вот что такое Бергот. В голове у этого человека путаница, сумбур; таких, как он, наши предки называли краснобаями; его суждения производят на вас еще менее приятное впечатление от того, как он их высказывает. Не помню кто: то ли Ломени, то ли Сенг-Бев отмечает, что и у Виньи была та же отталкивающая черта. Но Бергот не написал ни «Сен-Марса», ни «Красной печати», а там есть просто хрестоматийные страницы.

Ошеломленный отзывом маркиза де Норпуа о моем отрывке, вспомнив, как трудно мне было что-нибудь написать или хотя бы о чем-нибудь серьезно подумать, я окончательно убедился, что я туп и не способен к литературе. В былое время весьма узкий круг моих впечатлений от Комбре и чтение Бергота действительно развивали во мне мечтательность, и я ожидал от нее многого. Но мое стихотворение в прозе как раз и представляло собой отражение тогдашней моей мечтательности; маркиз де Норпуа, вне всякого сомнения, это уловил и мгновенно угадал, что я — жертва чистейшего миража, пусть даже и дивного, сам же он на удочку не попался. Маркиз показал, какое я ничтожество (если посмотреть на меня со стороны, объективно, взглядом благожелательного и умнейшего знатока). Я был подавлен, уничтожен; мое сознание, подобно жидкости, объем которой зависит от сосуда, некогда расширялось до того, что могло заполнить собой необыкновенные способности гения, а теперь оно, убавившись, все целиком умещалось в узких пределах посредственности, назначенных ему и отведенных маркизом де Норпуа.

— Мое знакомство с Берготом, — обратившись к моему отцу, продолжал маркиз, — произошло при довольно-таки щекотливых обстоятельствах (это было даже отчасти пикантно). Несколько лет назад Бергот приехал в Вену, когда я был там послом, мне его представила княгиня Меттерних, он расписался и изъявил желание, чтобы я его пригласил. Его писания — это в известной мере (чтобы быть точным, скажем: в очень небольшой мере) гордость Франции — Франции, которую

я представлял за границей, и поэтому я посмотрел бы сквозь пальцы на личную жизнь Бергота, хотя мне она и претит. Но путешествовал он не один и рассчитывал, что я приглашу также его спутницу. Я человек не такой уж строгой морали и, как холостяк, имел возможность чуть-чуть шире растворять двери посольства, чем если б я был супругом и отцом семейства. Тем не менее я должен сознаться, что есть черта, за которой распущенность становится для меня нестерпимой и по контрасту с которой у меня вызывает еще большее отвращение тот учительский, — скажем прямо: тот проповеднический тон, каким Бергот рассуждает в своих книгах, состоящих из длиннейшего психологического анализа, откровенно говоря — довольно слабого, из тягостных раздумий, мучительных угрызений совести по пустякам, из празднословия (мы-то хорошо знаем, как дешево стоят такого рода проповеди), а между тем в своей личной жизни он проявляет полнейшую безответственность и цинизм. Словом, я уклонился от ответа, княгиня настаивала, но — безуспешно. Так что я не думаю, чтобы он питал ко мне особую приязнь и чтобы он был благодарен Свану за то, что Сван пригласил нас с ним в один и тот же вечер. Впрочем, он мог и попросить об этом Свана. С него все станется — ведь, в сущности, он же человек больной. В этом его единственное оправдание.

— А дочь госпожи Сван была на этом ужине? — спросил я маркиза де Норпуа, воспользовавшись моментом, когда мы переходили в гостиную и мне легче было скрыть волнение, чем если б я неподвижно сидел за столом при ярком свете.

У маркиза де Норпуа появилось выражение, как у человека, силящегося что-то вспомнить.

— Девочка лет четырнадцати — пятнадцати? Да, да, я припоминаю, что перед ужином ее представили мне как дочь нашего амфитриона. Должен вам сказать, что я ее почти не видел — она рано ушла спать. А может быть, она ушла к подругам — я уж теперь не помню. Однако вы, как видно, имеете полное представление о семействе Свана.

— Я играю с мадмуазель Сван на Елисейских полях. Она чудная девочка.

— Ах, вот оно что, вот оно что! Я тоже нахожу, что она прелестная девочка. Но все-таки я, ни в коей мере не желая задеть ваше пылкое чувство, позволил бы себе заметить, что ей всегда будет далеко до матери.

— Мне больше нравится мадмуазель Сван, но я и от ее матери в восторге: я хожу в Булонский лес только чтобы увидеть ее.

— Я им скажу — они обе будут крайне польщены. Когда маркиз де Норпуа произносил эти слова, он, как и все, при ком я говорил, что Сван —

умный человек, что его родные — почтенные биржевые маклеры, что у него прекрасная семья, все еще полагал, что я и о ком-нибудь другом буду с жаром говорить как об умном человеке, об его родных — как о почтенных биржевых маклерах, об его семье — как о прекрасной семье; это был тот момент, когда человек в здравом уме разговаривающий с сумасшедшим, еще не успел заметить что перед ним сумасшедший. Маркиз де Норпуа находил, что любоваться красивыми женщинами вполне естественно; он знал, что, когда кто-нибудь восхищается одной из них, принято делать вид, что подозреваешь этого человека, что он к ней неравнодушен, подшучивать над ним и предлагать ему свое содействие. Но, обещав поговорить обо мне с Жильбертой и ее матерью (что дало бы мне возможность, подобно олимпийскому богу, стать неуловимым, как ветер, или обратиться в старика, облик которого принимает Минерва, и невидимкой проникнуть в гостиную г-жи Сван, привлечь к себе ее внимание, занять ее мысли, вызвать у нее благодарность за мой восторг перед ней, добиться, чтобы она приняла меня за приятеля важной особы и предложила бывать у них, сделаться другом ее дома), эта важная особа, намеревавшаяся воспользоваться огромным влиянием, какое она имела на г-жу Сван, чтобы расположить ее в мою пользу, внезапно вызвала во мне прилив такой нежности, что я чуть не поцеловал белые, мягкие, сморщенные руки, которые маркиз де Норпуа как будто долго продержал в воде. Я даже сделал такое движение и решил, что оно осталось незамеченным. Да ведь нам и в самом деле трудно определить, что именно из наших речей и действий замечают окружающие; боясь переоценить себя и безмерно расширяя поле, где располагаются воспоминания других людей в течение всей их жизни, мы воображаем, будто все, что не является самым существенным в наших словах и движениях, не без труда проникает в сознание тех, с кем мы разговариваем, в, уж конечно, не удерживается в их памяти. Между прочим, на этом предположении основываются преступники, когда они задним числом подправляют свои показания, в надежде, что разноречивые их объяснения не сопоставит никто. И отнюдь не лишено вероятия, что если мы обратимся к тысячелетней истории человечества, то окажется, что и здесь точка зрения, согласно которой все на свете сохраняется, вернее точки зрения газетчика, согласно которой все обречено на забвение. В том же номере газеты, где моралист, принадлежащий к «цвету Парижа», восклицает по поводу какого-нибудь происшествия, какого-нибудь произведения искусства и, уж во всяком случае, по поводу певицы, пользующейся «минутной славой»: «Кто вспомнит об этом через десять лет?», на третьей странице в отчетах о заседаниях Академии Надписей

часто упоминается о менее важном событии, о дошедшем до нас полностью посредственном стихотворении времен фараонов. Быть может, не совсем так обстоит в короткой жизни отдельной личности. И все же, несколько лет спустя, в одном доме, где был в гостях маркиз де Норпуа и где я смотрел на него как на самую надежную опору, потому что он друг моего отца, человек снисходительный, ко всем нам благоволивший, да еще к тому же отличавшийся сдержанностью, которую он всосал с молоком Матери и к которой его потом приучила профессия, мне рассказали, когда посол удалился, что он припомнил, как я однажды вечером «чуть было не поцеловал ему руку», и тут я не только покраснел как рак, — меня ошеломило, во-первых, то, что маркиз де Норпуа совсем иначе говорил обо мне, чем я думал, а во-вторых, меня ошеломило содержимое его памяти; благодаря его «длинному языку» передо мной неожиданно открылись соотношения между рассеянностью и собранностью, памятливостью и забывчивостью, из коих слагается человеческое сознание; и я был так же потрясен, как в тот день, когда впервые прочел в книге Масперо, что точно известен список охотников, которых Ассурбанипал приглашал на облавы за тысячу лет до Рождества Христова.

— Ах, если вы исполните свое обещание, — воскликнул я после того, как маркиз де Норпуа объявил, что он передаст Жильберте и ее матери, что я восхищен ими, — если вы поговорите обо мне с госпожой Сван, — всей моей жизни не хватит, чтобы выразить вам благодарность, и моя жизнь будет принадлежать вам! Но дело в том, что я не знаком с госпожой Сван, я не был ей представлен

Прибавил я это для очистки совести и чтобы не создать впечатления, будто я хвастаюсь несуществующим знакомством. Но, произнося эти слова, я почувствовал, что они — лишние: как только я начал изъявлять маркизу свою признательность, — изъявлять с пылом, действовавшим на него охлаждающе, — я заметил, что по его лицу скользнуло выражение нерешительности и неудовольствия, а его опущенные, сузившиеся, скосившиеся глаза, напоминавшие убегающую линию одной из сторон геометрического тела, данного на рисунке в перспективе, смотрели на невидимого внутреннего собеседника так, как смотрят, когда не хотят, чтобы сказанное услышал другой собеседник, с которым только что шел разговор: в данном случае — я. Мне сразу стало ясно, что даже лютые мои враги, строя мне дьявольские козни, пожалуй, не придумали бы слов, которые могли бы так решительно повлиять на маркиза де Норпуа и заставить его отказаться от посредничества, а ведь мои слова еще слабо выражали охвативший меня порыв благодарности и, как я надеялся,

должны были растрогать маркиза и вдохновить его на то, чтобы без особых усилий осчастливить меня. В самом деле: выслушав меня, маркиз де Норпуа, словно незнакомец, с которым мы только что, к обоюдному удовольствию, казалось, сошлись во мнениях о прохожих, производивших на нас обоих впечатление пошляков, и который, неожиданно показав, что нас разделяет непроходимая пропасть, ощупывает свой карман и небрежно прибавляет: «Жаль, что я не захватил револьвера, — я бы уложил всех до одного», — маркиз де Норпуа, знавший, что нет менее важной услуги, нет ничего проще, чем порекомендовать кого-либо г-же Сван и ввести его к ней в дом, и заметивший, что как раз для меня это чрезвычайно ценно и, следовательно, очень трудно, решил, что выраженное мною желание, как будто бы — естественное, скрывает заднюю мысль, подозрительный расчет, какую-то мою давнюю провинность, из-за которой никто, не желая доставить г-же Сван неприятность, за это не берется. И тут я понял, что маркиз никогда не исполнит своего обещания и что даже если он в течение ряда лет будет видеться с г-жой Сван ежедневно, то ни разу не заговорит с ней обо мне. Впрочем, спустя несколько дней он узнал у нее то, что я просил, и через моего отца передал мне наведенную справку. Однако он не счел нужным поставить г-жу Сван в известность, кто просил его навести эту справку. Так она и не узнала, что я знаком с маркизом де Норпуа и как я мечтал побывать у нее; и, пожалуй, это было для меня не такое уж большое несчастье. Дело в том, что второе из этих сообщений вряд ли намного усилило бы воздействие первого — воздействие, кстати сказать, сомнительное. Одетта не набрасывала на свой уклад жизни, на свое обиталище покров волнующей тайны, и бывавший у нее знакомый не представлялся ей неким сказочным существом, каким он казался мне, готовому бросить в окно Сванам камень, если бы только я мог на нем написать, что я знаком с маркизом де Норпуа: я был уверен, что подобное послание, хотя и переданное столь невежливо, не восстановило бы против меня хозяйку дома, напротив — чрезвычайно возвысило бы меня в ее глазах. Но если бы даже я точно знал, что обещание, так и не исполненное маркизом де Норпуа, ни к чему не приведет, более того: повредит мне в глазах Сванов, у меня не хватило бы мужества, если б я уверился в готовности посла, отговорить его и отказаться от наслаждения, — как бы ни печальны были для меня его последствия, — ощутить, что хотя бы на миг мое имя и я сам вторглись в незнакомый мне дом и в неведомую мне жизнь Жильберты.

Когда маркиз де Норпуа ушел, отец стал просматривать вечернюю газету; я опять начал думать о Берма. Наслаждение, полученное мной от ее

игры, нуждалось в подкреплении, ибо оно далеко не оправдало моих ожиданий; вот почему оно поглощало все, что способно было питать его, — например, те достоинства Берма, которые признал за ней маркиз де Норпуа и которые мое восприятие поглотило мгновенно, как поглощает воду выжженный солнцем луг. Но тут отец показал мне заметку в газете: «Представление „Федры“ в театре, где собралась восторженно настроенная публика, среди которой находились выдающиеся артисты и критики, вылилось для г-жи Берма, игравшей роль Федры, в один из самых полных триумфов, когда-либо выпадавших ей на долю за все время ее блестящей артистической карьеры. У нас еще будет случай подробнее поговорить об этом спектакле, выросшем в настоящее театральное событие; пока ограничимся следующим: наиболее авторитетные ценители сошлись на том, что г-жа Берма дала совершенно новое толкование роли Федры, — одного из самых прекрасных и совершенных созданий Расина, — и что ее игра — это образец самого чистого и высокого искусства, каким нас порадовало наше время». Как только я усвоил это новое для меня выражение: «образец самого чистого и высокого искусства», оно прибавилось к неполному удовольствию, полученному мной в театре, оно послужило для него довеском, и в этом сочетании было нечто до того возбуждающее, что я воскликнул: «Какая великая артистка!» Конечно, можно подумать, что я был не вполне искренен. Но представим себе писателей, которые, оставшись неудовлетворенными только что написанным, читают славословие гению Шатобриана или думают о великом артисте, — о таком, с каким они мечтали бы стать наравне, — напевают, к примеру, фразу Бетховена и сравнивают звучащую в ней печаль с той, какую они хотели выразить в своей прозе: они до такой степени проникаются настроением гения, что, возвращаясь мыслью к своим произведениям, пропитывают их этим настроением, и сейчас писатели смотрят уже на эти произведения по-другому и, поверив в то, что они не лишены достоинств, восклицают: «А все-таки…» — не отдавая себе отчета, что в утешительный для них итог входят воспоминания о дивных страницах Шатобриана, которые они считают как бы своими, но ведь теперь это уже не их страницы; вспомним стольких мужчин, которые убеждены, что их любовницы им верны, хотя они прекрасно знают, что любовницы изменяют им направо и налево; вспомним, наконец, безутешных мужей, которые, потеряв любимых жен, словно художники, надеющиеся на то, что слава еще придет к ним, уповают на непредставимую жизнь в мире ином, или тех, кто, напротив, помышляя о совершенных ими грехах, которые им пришлось бы искупать после смерти,

возлагают надежды на спасительное небытие; вспомним еще и о туристах, которые восхищаются общей картиной путешествия, забывая о том, что они все время скучали, ну, а теперь ответим на вопрос: есть ли хоть одна из самых радостных мыслей, сосуществующих в глубине нашего мышления, которая сперва, как настоящий паразит, не требовала бы от другой, соседней мысли того, что составляет главную ее силу?

Моя мать, по-видимому, была не очень довольна, что отец перестал думать о моей «карьере». Вернее всего, она, заботясь прежде всего о том, чтобы правильный образ жизни укрепил мою нервную систему, огорчалась не столько моим отказом от дипломатического поприща, сколько моим увлечением литературой. «Оставь, пожалуйста! — воскликнул отец. — Прежде всего, человек должен любить свое дело. Ведь он уже не ребенок. Он прекрасно отдает себе отчет, в чем его призвание; трудно предположить, что вкус у него изменится; он сам понимает, где он найдет свое счастье». Нашел бы я свое счастье или не нашел, свободу выбора, предоставлявшуюся мне отцом, я в тот вечер воспринимал болезненно. Когда отец бывал неожиданно ласков со мной, мне хотелось поцеловать его в румяные щеки, над бородой, и не исполнял я свое желание только из боязни, что это может ему не понравиться. Сегодня, подобно автору, которого пугает мысль, что плоды его воображения, не имевшие в его глазах большой ценности, так как он не отделял их от себя, обязывают издателя выбирать бумагу и шрифт, пожалуй, чересчур для них красивые, я задавал себе вопрос, выйдет ли что-нибудь из моей страсти к сочинительству и не напрасно ли так много делает для меня отец. А его слова, что вкус у меня не изменится и что поэтому я найду свое счастье, заронили в мою душу два мучительных сомнения. Первое заключалось в том, что (ведь тогда я смотрел на каждый день как на канун моей еще не распустившейся жизни, которая расцветет только завтра утром) бытие мое уже началось и последующее будет мало чем отличаться от предшествовавшего. Второе сомнение, в сущности лишь по-иному выражавшееся, заключалось в том, что я не нахожусь вне Времени, что я подчинен его законам, так же как герои романов, которые именно поэтому наводили на меня такую тоску, когда я читал про них в Комбре, сидя в шалашике из ивовых прутьев. Теоретически мы знаем, что земля вертится, но на практике мы этого не замечаем; почва, по которой мы ступаем, представляется нам неподвижной, и мы чувствуем себя уверенно. Так же обстоит и со Временем. И чтобы дать почувствовать его бег, романисты, бешено ускоряя движение часовой стрелки, заставляют читателя в течение двух минут перескакивать через десять, через двадцать, через тридцать лет.

В начале страницы мы расстаемся с полным надежд любовником, а в конце следующей мы вновь встречаемся с ним, когда он, восьмидесятилетний, все позабывший старик, через силу совершает свою ежедневную прогулку по двору богадельни и плохо понимает, о чем его спрашивают. Сказав обо мне: «Он уже не ребенок, его вкус не изменится», и так далее, отец внезапно показал меня самому себе во Времени, и мне стало так тоскливо, как будто я — хотя еще и не впавший в детство обитатель богадельни, но, во всяком случае, герой, о котором автор равнодушным тоном, — а равнодушный тон есть самый безжалостный тон, — сообщает в конце книги: «Из деревни он выезжал все реже и реже. В конце концов он поселился там навсегда», и так далее.

Между тем отец, чтобы предупредить наши критические замечания по адресу гостя, сказал маме:

— Я не отрицаю, что старик Норпуа слегка «старозаветен», как вы выражаетесь. Когда он сказал, что «было бы бестактно» задавать вопрос графу Парижскому, я боялся, что вы расхохочетесь.

— Да нет, — возразила мать, — мне, напротив, очень нравится, что человек с таким положением и в такие годы сохранил некоторую долю наивности, — это говорит только о его порядочности и благовоспитанности.

— Ну конечно! Это не мешает ему быть тонким и умным, — я-то это знаю: в комиссии он совсем другой! — воскликнул отец; довольный тем, что мама оценила маркиза де Норпуа, он хотел доказать ей, что маркиз еще лучше, чем она о нем думает, ибо знал, что добросердечие так же склонно перехваливать, как и недооценивать из упрямства. — Как это он выразился?.. «За принцев никогда нельзя…»

— Да, да, именно так. Я обратила внимание, — это очень верно. Видно, что у него большой жизненный опыт.

— То, что он ужинал у Сванов и что, в общем, там собрались люди достойные, должностные лица, — это поразительно… Где же госпожа Сван подцепила всю эту публику?

— Ты заметил, сколько лукавства было в его наблюдении: «В этом доме бывают главным образом мужчины»?

И тут оба попытались воспроизвести интонацию маркиза де Норпуа, словно припоминая интонацию Брессана или Тирона в «Авантюристке» или «Зяте господина Пуарье». Но особенно смаковала одно из выражений маркиза де Норпуа Франсуаза: после этого прошло несколько лет, а ее все еще «разбирал смех», когда ей напоминали, что посол возвел ее в ранг «первоклассного повара», о чем моя мать поспешила ей сообщить, — так

военный министр сообщает, что его величество остался доволен смотром. А я успел забежать в кухню еще до прихода матери. Дело в том, что я вырвал обещание у Франсуазы, у этой жестокой пацифистки, что она не очень будет мучить кролика, которого ей предстояло зарезать, но еще не знал, как он умер; Франсуаза уверила меня, что все совершилось без каких бы то ни было осложнений и притом очень быстро: «Первый раз мне такой попался: хоть бы словечко сказал — как все равно немой». Я плохо знал язык животных и потому привел довод, что, может быть, кролики и не пищат, как пищат цыплята. «Ну уж мне-то вы не рассказывайте, будто кролики не пищат, как цыплята, — рассердившись на мое невежество, возразила Франсуаза. — Голоса у кроликов куда громче». К комплиментам маркиза де Норпуа Франсуаза отнеслась с горделивым простодушием, лицо ее выразило удовлетворение, а взгляд, — правда, на одно лишь мгновенье, — стал осмысленным — такой взгляд бывает у художника, когда с ним говорят об его искусстве. Моя мать прежде посылала ее в лучшие рестораны, чтобы она посмотрела, как там готовят. В тот вечер ее суждения о самых знаменитых заведениях доставили мне такое же удовольствие, какое я получил в свое время, узнав, что репутация актеров не соответствует их достоинствам. «Посол уверяет, — сказала Франсуазе моя мать, — что, кроме вас, никто так не умеет готовить холодное мясо и крем». Франсуаза выслушала мою мать со скромным видом, приняла похвалу как должное, а титул посла не произвел на нее впечатления; она отозвалась о маркизе де Норпуа с такой же благожелательностью, с какой отозвалась бы о всяко» человеке, который назвал бы ее поваром: «Милый старичок вроде меня». Ей очень хотелось посмотреть на него, но, зная, что мама терпеть не может, когда подглядывают у дверей и окон, и боясь, как бы другие слуга или швейцар не донесли маме, что она подсматривала (дело в том, что Франсуазе всюду мерещились «подножки» и «наговоры», игравшие в ее воображении туже роковую и постоянную роль, какую для многих играют интриги иезуитов или евреев), она, чтобы «барыня не рассердилась», удовольствовалась тем, что выглянула из окошка кухни, и общее впечатление от маркиза де Норпуа было у нее такое, что он «вылитый господин Легран»: такой же «вострун», хотя на самом деле у них не было ни одной общей черты. «Но чем же вы объясняете, что никто не умеет приготовить желе так, как вы (когда захотите)?» — спросила Франсуазу моя мать. «Не знаю, как оно у меня происходит», — ответила Франсуаза, не устанавливавшая отчетливой границы между глаголом «происходить», — по крайней мере, в некоторых его значениях, — и глаголом «выходить». В сущности, она говорила правду: она бы не

сумела, — а может быть, и не очень хотела, — открыть тайну своего искусства приготовлять отменные желе или кремы: так иные женщины, одевающиеся к лицу, не умеют говорить о своих нарядах, а иные великие певицы — о своем пении. Их объяснения мало что дают нам; так же обстояло дело и с готовкой Франсуазы. «Им бы все тяп-ляп — говорила она про поваров из лучших ресторанов. — И постом, нельзя все сразу. Мясо должно быть как губка — тогда оно впитывает весь сок. А все-таки в одном из этих самых кафе, по-моему, неплохо готовят. Конечно, у них не совсем такое желе, как у меня, но оно прямо тает во рту, а суфле — ни дать ни взять — взбитые сливки». — «Это не у Анри ли?» — спросил принявший участие в нашем разговоре отец, любивший ресторан на площади Гайон, где он в определенные дни обедал с друзьями. «Ну нет! — мягко возразила Франсуаза, хотя за этой мягкостью скрывалось глубокое презрение. — Я говорю о маленьком ресторанчике. У Анри, надо полагать, очень хорошо, но ведь это же не ресторан, это уж скорей… столовая» — «У Вебера?» — «Да нет же, сударь, я толкую про хороший ресторан. Вебер — это на Королевской, это не ресторан, это пивная. Да они там и подать-то, как следует быть, не умеют. По-моему, у них скатертей даже нет, ставят прямо на стол, — дескать, и так сойдет». — «У Сиро.» Франсуаза усмехнулась:

«Вот уж там, наверное, хорошо готовят, — там все больше дамы света. (Под „светом“ Франсуаза разумела „полусвет“.) Да ведь и то сказать: молодежи без этого нельзя». Мы заметили, что при всем своем видимом простодушии Франсуаза по отношению к знаменитым поварам была более беспощадным «товарищем», чем самая завистливая и пристрастная актриса по отношению к другим актрисам И все же Франсуаза тонко чувствовала свое искусство и уважала традиции — это явствовало из ее слов: «Нет, я знаю ресторан, где готовят на Славу, по-домашнему. Вот там еще потрафляют. Стараются. А уж сколько су огребают (Экономная Франсуаза считала на су, а не на луидоры, — так считают промотавшиеся игроки.) Барыня знает: это направо, на „Больших бульварах, немножечко в заду…“ Ресторан, которому Франсуаза отдавала должное, хотя и не без добродушной горделивости, оказался… Английским кафе.

На Новый год я сперва поздравил родственников вместе с мамой, — чтобы не утомлять меня, она заранее (с помощью маршрута, составленного моим отцом) установила порядок визитов, руководствуясь не столько степенью родства, сколько местожительством. Но когда мы вошли в гостиную одной нашей дальней родственницы, с которой мы начали, потому что она недалеко от нас жила, моя мать обомлела при виде лучшего друга самого обидчивого моего дяди, — он явился сюда с коробкой

каштанов то ли в сахаре, то ли в шоколаде и, разумеется, не преминет доложить дяде, что мы начали «новогодние визиты не с него. Дядя, конечно, будет оскорблен; по мнению дяди, мы должны от площади Магдалины поехать к Ботаническому саду, где живет он, от него — на улицу Святого Августина, а уж оттуда — в сторону Медицинского института, такой маршрут представлялся ему совершенно правильным.

Покончив с визитами (бабушка избавляла нас от визита к ней, так как на Новый год мы у нее обедали), я помчался на Елисейские поля, чтобы попросить нашу торговку, к которой несколько раз в неделю приходили от Сванов за пряниками, передать этому лицу письмо, а я еще в тот день, когда моя подруга так меня огорчила, решил написать ей на Новый год, — написать, что вместе со старым годом уходит и наша прежняя дружба, что с первого января я забываю обо всех неудовольствиях и разочарованиях и что мы с ней построим новую дружбу, такую прочную, что никакая сила уже не сокрушит ее, и такую прекрасную, что, как я надеялся, Жильберта хотя бы из самолюбия будет охранять ее красоту и вовремя предупреждать меня, как и я ее, о малейшей опасности. Когда я шел домой, на углу Королевской меня остановила Франсуаза: она покупала на лотке, самой себе в подарок, фотографии Пия IX и Распайля, ну, а я купил фотографию Берма. Постоянные восторги, вызывавшиеся артисткой, обедняли ее лицо, на котором застыло выражение, с каким она принимала их, не меняющееся, поношенное, как одежда у тех, кому не во что переодеться, и она ничем не привлекала к себе внимания, кроме складки над верхней губой, взлета бровей и еще некоторых черточек, всегда одних и тех же, образовавшихся, вернее всего, после ожога или нервного потрясения. Само по себе ее лицо не произвело на меня впечатления красивого лица, но оно было, наверное, так зацеловано, что создавало представление, а значит, и желание поцелуя: из глубины альбома оно все еще притягивало поцелуй своим кокетливо нежным взглядом и притворно наивной улыбкой. Да ведь у Берма и в самом деле многие молодые люди, наверное, будили такое желание, в котором она признавалась под маской Федры и которое ей так легко было исполнить — в частности, благодаря славе, красившей и молодившей ее. Вечерело; я остановился у столба с наклеенной на нем афишей спектакля, который должен был состояться первого января с участием Берма. Дул ветер, влажный и мягкий. Это время дня я особенно хорошо изучил; у меня было ощущение и предчувствие, что новогодний день ничем не отличается от других, что это не первый день нового мира, когда я мог бы все начать сызнова и перезнакомиться с Жильбертой, как в дни Творения, как будто прошлого не существовало, как будто отпали вместе со всеми уроками,

какие можно было извлечь из них для будущего, все обиды, которые она мне иной раз причиняла, — что это не первый день нового мира, ничего не сохранившего от старого… кроме одного: кроме моего желания, чтобы Жильберта любила меня. Поняв, что если мое сердце и хотело, чтобы вокруг меня обновилась вселенная, не удовлетворявшая его, то лишь потому, что мое сердце не изменилось, я подумал, что сердцу Жильберты тоже нет оснований меняться; я почувствовал, что новая дружба — это все та же дружба, точь-в-точь как новый год: ведь он же не отделен рвом от старого, — это только наша воля, бессильная настигнуть годы и переиначить их, без спросу дает им разные названия. Напрасно я желал посвятить этот год Жильберте и, подобно тому как прикрывают религией слепые законы природы, попытаться отметить новогодний день особым понятием, какое я о нем себе составил; я чувствовал, что он не знает, что мы называем его новогодним днем, что он окончится сумерками, не таящими для меня ничего нового; в мягком ветре, обдувавшем столб с афишами, я вновь узнал, я снова ощутил все ту же извечную и обычную материальность, привычную влажность, бездумную текучесть прошедших дней.

Я пришел домой. Я провел первое января так, как его проводят старики, у которых оно проходит иначе, чем у молодых, — не потому, что им уже не делают подарков, а потому что они уже не верят в Новый год. Подарок я получил, но не тот единственный, который мог бы доставить мне удовольствие: не записку от Жильберты. И все-таки я был еще молодя мог написать ей записку, выразить ей мои смутные любовные мечтания в надежде пробудить их у нее. Горе людей состарившихся в том, что они даже не думают о подобного рода письмах, ибо познали их тщету.

Когда я лег, уличный шум, в этот праздничный вечер длившийся дольше, чем обычно, не давал мне спать. Я думал о тех, кого в конце этой ночи ждет наслаждение, о любовнике, быть может — о целой ватаге развратников, которые, наверно, поедут к Берма после спектакля, назначенного, как я видел, на сегодня. Я даже не мог, чтобы унять волнение, которое вызывала во мне эта мысль в бессонную ночь, убедить себя, что Берма, вероятно, и не думает о любви, оттого что давным-давно вытверженные ею и произносимые со сцены стихи ежеминутно напоминают ей, что любовь прекрасна, о чем она, впрочем, сама хорошо знала, ибо ей удавалось воссоздать ее тревоги с такой небывалой силой и с такой неожиданной нежностью, что изведавшие эти тревоги, пережившие их зрители приходили в восторг. Я зажег свечу, чтобы еще раз увидеть ее лицо… При мысли, что сейчас, вне всякого сомнения, эти господа ласкают

ее лицо и что я не властен помешать им доставлять Берма сверхъестественную, смутную радость, как не властен помешать Берма доставлять такую же радость им, я испытывал волнение не столько сладостное, сколько мучительное, на душе у меня была тоска, которой придал необычную остроту рог, трубящий в карнавальную ночь и часто по большим праздникам, звучащий особенно заунывно именно потому, что раздается не «вечером, в глуши лесов», а в каком-нибудь кабачке, и это лишает его поэтичности. В этот миг мне, может статься, записка Жильберты была не нужна. Наши желания идут одно с другим вразрез, в нашей жизни до того все перепутано, что счастье редко когда прилетает на зов желания.

В хорошую погоду я по-прежнему ходил на Елисейские поля, а так как тогда были в большой моде выставки акварелистов, то дома, изящные и розовые, сливались для меня с плавучим и легким небом. Откровенно говоря, в то время дворцы Габриэля казались мне не такими красивыми и даже не такими старинными, как соседние особняки. Более стильным и более древним я считал, правда, не Дворец промышленности, но уж, конечно, Трокадеро. Погруженная в тревожный сон, моя молодость окутывала одною и тою же грезой те места, где она блуждала, и я не представлял себе, что на Королевской может оказаться здание XVIII века, и удивился бы, если б узнал, что Порт-Сен-Мартен и Порт-Сен-Дени — шедевры эпохи Людовика XIV, что они не современники новейших строений в этих неприглядных кварталах. Только однажды один из дворцов Габриэля надолго приковал меня к себе; это было ночью, и его колонны, при лунном свете утратившие свою вещественвесть, казались вырезанными из картона, — они напомнили мне декорацию оперетки «Орфей в аду», и я впервые почувствовал, как они хороши.

Жильберта все не появлялась на Елисейских полях. А между тем мне необходимо было ее видеть: ведь я забыл даже, какое у нее лицо. Тот пронзительный, подозрительный, требовательный взгляд, каким мы смотрим на любимого человека, ожидание слова, которое подаст или же отнимет у нас надежду на завтрашнюю встречу, вплоть до мгновения, когда это слово произносится, радость и отчаяние, поочередно или же одновременно рисующиеся нашему воображению, — все это рассеивает наше внимание, когда мы стоим лицом к лицу с любимым существом, и мы не в состоянии удержать в памяти отчетливый его образ. Кроме того, быть может, активность, проявляемая всеми нашими чувствами сразу, силящаяся с помощью одного лишь зрения познать сверхчувственное, чересчур снисходительна к многообразию форм, ко всем привкусам, ко всем.

движениям живого человека, которого мы обычно, если мы его не любим, держим в неподвижном состоянии. Дорогой нам облик, напротив, перемещается: снимай всякий раз получаются неудачные. По правде сказать, я уже не видел черт лица Жильберты, за исключением тех божественных мгновений, когда она их мне открывала; я помнил только ее улыбку. Как ни напрягал я память, я не мог восстановить любимое лицо, зато я с досадой обнаруживал вырисовавшиеся в моем воображении с предельной четкостью, ненужные мне, яркие лица карусельщика и торговки леденцами: так утратившие любимого человека, которого они и во сне никогда не видят, приходят в отчаяние от того, что им вечно снится столько противных людей, опостылевших им наяву. Бессильные представить себе человека, о котором они так тоскуют, они готовы обвинить себя в том, что они не тоскуют вовсе. И я недалек был от мысли, что раз я не могу припомнить черты Жильберты, значит, я ее забыл, значит, я разлюбил ее.

Вдруг она опять начала приходить играть почти ежедневно, и у меня появились новые желания, появились просьбы к ней насчет завтрашнего дня, и от этого мое влечение к ней всякий раз приобретало новизну. Но некоторое обстоятельство внесло еще одно, и притом резкое, изменение в то, как я ежедневно, к двум часам, разрешал вопрос о своей любви. Уж не перехватил ли Сван письмо, которое я послал его дочери, а быть может, Жильберта решила с большим опозданием открыть мне, чтобы меня образумить, давно сложившееся положение вещей? Когда я заговорил с ней, что я в восторге от ее родителей, лицо ее приняло неопределенное выражение, в котором чувствовались тайны и недомолвки, — то выражение, какое появлялось у нее, когда ей говорили, что она должна сделать, о прогулках и визитах, и вдруг она мне сказала: «А вы знаете, они вас недолюбливают» — и, скользкая, как ундина, — а такой она и была на самом деле, — рассмеялась. Часто казалось, будто смех Жильберты, не имевший отношения к ее словам, вычерчивает, как это бывает в музыке, на другом плане невидимую поверхность. Сваны не требовали от Жильберты, чтобы она перестала играть со мной, но они предпочли бы, — думалось ей, — чтобы эти наши игры и не начинались. На наши отношения они смотрели косо, считали, что я не очень добродетелен и могу дурно влиять на их дочь. Я представлял себе, что Сван относит меня к числу молодых людей определенного пошиба: это люди не строгих правил, они терпеть не могут родителей любимой девушки, в глаза кадят им, а за спиной, в присутствии девушки, смеются над ними, внушают девушке, что ей пора выйти из их воли, и, покорив ее, не дают им даже встречаться. С каким

жаром мое сердце противопоставляло этим чертам (которых отъявленный негодяй никогда у себя не заметит) мои чувства к Свану, столь пылкие, что, если б он о них догадывался, то, конечно, изменил бы отношение ко мне, как исправляют судебную ошибку! Я отважился написать длинное письмо, в котором выражал все, что я к нему испытывал, и попросил Жильберту передать ему это письмо. Она согласилась. Увы! Это только укрепило его в мысли, что я великий лицемер; он усомнился в чувствах, которые я на шестнадцати страницах изливал ему со всей искренностью, на какую я был способен; мое письмо к Свану, не менее страстное и правдивое, чем те слова, какие я говорил маркизу де Норпуа, равным образом не имело успеха. На другой день Жильберта отвела меня за купу лавровых деревьев, на аллейку, мы сели на стулья, и она рассказала мне, что, прочитав письмо, — Жильберта мне его вернула, — ее отец пожал плечами и сказал: «Все это — одни слова, все это только доказывает, насколько я был прав». Убежденный в чистоте моих побуждений, в любвеобильности моего сердца, я пришел в негодование от того, что мои слова ничуть не поколебали грубую ошибку Свана. А что он ошибался — в этом для меня тогда не было ни малейшего сомнения. Я рассуждал так: я точнейшим образом описал некоторые неоспоримые признаки моих возвышенных чувств, и если Сван не сумел по этим признакам составить себе о них полное представление, не пришел попросить у меня прощения и сознаться в своей ошибке, значит, он сам никогда не испытывал таких благородных чувств и не допускает, что их могут испытывать другие.

А быть может, просто-напросто Сван знал, что душевное благородство — это в большинстве случаев всего лишь обличье, которое принимают наши эгоистические чувства, как бы мы сами их ни называли и ни определяли. Быть может, в приязни, какую я ему выражал, он увидел всего лишь следствие — и восторженное подтверждение — моей любви к Жильберте и что именно эта любовь, — а совсем не порожденное ею почтение к нему, — неизбежно будет руководить моими поступками. Я не разделял его предчувствий, — я не умел отделять мою любовь от себя самого, я не мог вернуть ей то общее, что было у нее с чувствами других людей, и на собственном опыте проверить последствия; я был в отчаянии. Мне пришлось уйти от Жильберты — меня позвала Франсуаза. Надо было идти с Франсуазой в обвитый зеленью павильончик, отчасти напоминавший упраздненные кассы в старом Париже, недавно переделанные в то, что англичане называют «лавабо», а французы, в силу своей невежественной англомании, — «ватерклозетами». Старые сырые стены первого помещения, где я остался ждать Франсуазу, шибали в нос

затхлостью, и этот запах, отогнав от меня мысли о переданных мне Жильбертой словах Свана, пропитал меня наслаждением, не похожим на те менее устойчивые наслаждения, которые мы бываем бессильны удержать, которыми мы бессильны завладеть, — как раз наоборот: наслаждением прочным, на которое я мог опереться, дивным, миротворным, преисполненным долговечной, непостижимой и непреложной истины. Как некогда, во время прогулок по направлению к Германту, мне хотелось попробовать разобраться в чудесном впечатлении и, замерев, принюхаться к испарению старины, предлагавшему мне, не довольствуясь наслаждением, которое оно отпускало мне в виде довеска, добраться до сути, которую оно мне не открыло. Но тут со мной заговорила содержательница этого заведения, старуха с набеленными щеками, в рыжем парике. Франсуаза считала, что старуха была «очень даже из благородных». Ее дочка вышла замуж за молодого человека, по выражению Франсуазы, «из порядочной семьи», то есть за такого, которого, на ее взгляд, отделяло от простого рабочего еще большее расстояние, чем, на взгляд Сен-Симона, расстояние, отделявшее герцога от «выходца из самой низкой черни». До того как старухе удалось снять в аренду это заведение, она, видно, хлебнула горя. Но Франсуаза говорила про нее, что она — маркиза из рода Сен-Фереоль. Эта самая маркиза посоветовала мне не ждать на холоде и уже отворила кабинку. «Не угодно ли? — спросила она. — Здесь совсем чисто, с вас я ничего не возьму». Быть может, она предложила мне зайти в кабинку из тех же соображений, какими руководствовались барышни у Гуаша, предлагая мне, когда мы заходили к ним сделать заказ, лежавших на прилавке под стеклянными колпаками конфет, которые мама — увы! — не позволяла мне брать; а может быть, и более бескорыстно, как старая цветочница, которой мама отдавала распоряжение наполнить у нас цветами жардиньерки и которая, строя глазки, дарила мне розу. Во всяком случае, если «маркиза» и питала пристрастие к юношам, то когда она отворяла подземную дверь, ведшую в каменные кубы, где мужчины сидят, как сфинксы, цель ее радушия заключалась не столько в том, чтобы возыметь надежду их соблазнить, сколько в том, чтобы получить удовольствие, какое испытывают люди, проявляющие бескорыстную доброту к тем, кого они любят, потому что единственным ее посетителем был старик сторож.

Немного погодя мы с Франсуазой простились с «маркизой», и я вернулся к Жильберте. Я сразу увидел ее — она сидела на стуле, за купой лавровых деревьев. Она пряталась там от подружек — подружки играли в прятки. Я подсел к ней. Плоская шапочка сползла ей на глаза, отчего казалось, что Жильберта смотрит исподлобья тем задумчиво-лукавым

взглядом, какой я впервые подметил у нее в Комбре. Я спросил, нельзя ли мне поговорить с ее отцом. Жильберта ответила, что она предлагала, но отец считает этот разговор излишним. «Нате, возьмите ваше письмо, — добавила она, — а мне надо бежать к девочкам — они же меня не нашли».

Если бы Сван тогда появился до того, как я взял назад свое письмо, в искренность которого мог, как мне казалось, не поверить только человек, начисто лишенный здравого смысла, он бы, пожалуй, убедился в своей правоте. Подойдя к Жильберте, которая, откинувшись на спинку стула, требовала, чтобы я взял у нее письмо, а сама его не давала, я почувствовал, как ее тело притягивает меня к себе.

— А ну, держите крепче, посмотрим, кто сильнее, — сказал я.

Она заложила письмо за спину, я обвил ее шею руками, приподнял косы, которые она носила, может быть, потому, что в ее годы еще носят косы, а быть может, потому, что мать хотела, чтобы Жильберта как можно дольше выглядела ребенком, так как это молодило ее, — и мы схватились. Я старался притянуть ее к себе, она сопротивлялась; ее щеки, разгоревшиеся от усилий, покраснели и налились, как вишни; она хохотала так, словно я щекотал ее; я зажал ее между ног, точно деревцо, на которое я сейчас взберусь; занимаясь этой гимнастикой, я тяжело дышал, — главным образом, не от мускульного напряжения и не от боевого пыла, — и у меня, точно пот, вылилось наслаждение, которое я даже не сумел продлить настолько, чтобы ощутить его вкус; тогда я взял письмо. А Жильберта добродушно сказала:

— Знаете, если хотите, мы можем еще немножко побороться.

Быть может, она смутно чувствовала, что затеял я эту игру еще и с другой целью, но от нее ускользнуло, что я этой цели достиг. А я, опасаясь, как бы она этого не уловила (мгновение спустя она едва заметно сжалась, словно застыдившись, и мне пришло на мысль, что я боялся не зря), изъявил согласие, лишь бы она не заподозрила, будто я ставил перед собой только эту вторую цель и точно, достигнув ее, я уже не испытываю иного желания, кроме как спокойно посидеть рядом с ней.

Дома я разглядел, я неожиданно вспомнил образ, до сих пор таившийся от меня, так что я его не видел и не улавливал, — образ сырости с примесью запаха дыма, наполнявшей обвитый зеленью павильончик. Это был образ комнатки дяди Адольфа, в Комбре, где в самом деле стоял такой же запах сырости. Но я не мог постичь и на время перестал допрашивать себя, почему напоминание о столь незначительном образе преисполнило меня таким блаженством. А пока я решил, что презрение маркиза де Норпуа мною заслужено; до сих пор любимым моим писателем был тот,

кого он называл просто-напросто «флейтистом», и в самый настоящий восторг приводит меня не какая-нибудь глубокая мысль, а всего лишь запах плесени.

С некоторых пор стоило в ином доме кому-нибудь из гостей упомянуть Елисейские поля, и матери тотчас уставляли на него тот недоброжелательный взгляд, каким они смотрят на знаменитого врача, которому они больше не доверяют, так как им известно много случаев, когда он будто бы ставил неверные диагнозы: они утверждали, что этот парк детям вреден, что именно там они схватывают ангину, корь и постоянно простужаются. Некоторые подруги моей матери, по-прежнему посылавшей меня туда, хотя и не осуждали ее открыто за то, что она недостаточно заботится о моем здоровье, а все-таки выражали сожаление по поводу ее неосмотрительности.

Неврастеники, — вопреки, быть может, общепринятому мнению, — меньше других «прислушиваются к себе»; они слышат в себе столько такого, из-за чего, как они потом сами убеждаются, они тревожились понапрасну, и в конце концов перестают на что-либо обращать внимание. Их нервная система часто кричала им: «На помощь!» — как будто она тяжело заболевала, а это было просто-напросто к метели или же им предстоял переезд на новую квартиру, и они приучили себя не считаться с такого рода предостережениями, подобно солдату, который в пылу боя так слабо их различает, что потом, умирая, способен прожить несколько дней как вполне здоровый человек. Однажды утром, поборов в себе постоянные страхи, циркуляция которых так же не доходила до моего сознания, как и циркуляция крови, я весело вбежал в столовую, где уже сидели за столом мои родители, и, подумав, как всегда, что если мне холодно то это еще не значит, что нужно согреться, — может быть, это, например, оттого что меня пробрали, — и что если не хочется есть, то это не значит, что не надо есть, а что это просто к дождю, — сел за стол, но только я съел кусочек вкусной котлеты, как почувствовал тошноту и головокружение — тревожный знак начинающегося заболевания, симптомы которого прикрыл, замедлил лед моего равнодушия, но которое упорно отказывалось от пищи, застревавшей у меня в горле. Тут я подумал, что меня не выпустят из дому, если заметят, что я болен, и это придало мне сил, — так инстинкт самосохранения придает сил раненому, — и я дотащился до своей комнаты и, удостоверившись, что у меня сорок температуры, стал собираться на Елисейские поля. Радостная мысль, угнездившаяся в моем слабеющем, беззащитном теле, требовала несказанного наслаждения игры в догонялки с Жильбертой, она устремлялась к этому наслаждению, и час спустя, еле

держась на ногах, но счастливый тем, что я с Жильбертой, я еще находил в себе силы наслаждаться.

Дома Франсуаза объявила, что мне «неможется», что меня «бросает то в жар, то в холод», а доктор, за которым сейчас же послали, заметил, что он «предпочитает жестокий, сильный» приступ лихорадки, которым у меня сопровождается воспаление легких и который представляет собой всего только вспышку, формам более «коварным» и «скрытым». Я с давних пор был подвержен удушьям, и наш врач, хотя бабушка этого не одобряла, — ей уже казалось, что я умру от алкоголизма, — посоветовал мне, помимо кофеина, который он прописал, чтобы мне легче было дышать, пить, как только я почувствую приближение приступа, пиво, шампанское или коньяк. По его мнению, вызываемая алкоголем «эйфория» должна была предотвращать приступы. Я не только не скрывал, напротив: я часто почти нарочно вызывал задыханье — лишь бы добиться у бабушки позволения выпить. Впрочем, чувствуя, что вот-вот начну задыхаться, и никогда не зная, какой силы достигнет приступ, я расстраивался от одной мысли, что встревожу бабушку, а это меня пугало гораздо больше, чем страдания. Но в то же время мое тело, потому ли, что оно от слабости не могло терпеть боль, потому ли, что оно боялось, как бы неведомые и неизбежные страдания не потребовали от меня непосильного и опасного напряжения, испытывало потребность в том, чтобы неукоснительно ставить бабушку в известность, что у меня болит, и в этих моих жалобах было уже что-то от неумолимости физиологического процесса. С той минуты, как я замечал неприятный, еще не вполне для меня ясный симптом, тело мое изнывало до тех пор, пока я не сообщал о нем бабушке. Если она делала вид, что не придает этому значения, тело требовало, чтобы я проявил настойчивость. Иной раз я заходил слишком далеко; и тогда на дорогом лице, которое теперь уже не всегда могло, как когда-то, оставаться спокойным, появлялось выражение состраданья, его черты искажались от душевной боли. При виде горюющей бабушки у меня начинало щемить сердце; я раскрывал ей объятия, как будто поцелуи обладали способностью утишать боль, как будто моя нежность могла так же обрадовать бабушку, как мое хорошее самочувствие. Испытываемые мною угрызения совести усмирялись уверенностью, что бабушка и так знает, что мне плохо, и оттого мое тело не противилось тому, чтобы я ее успокаивал Я уверял бабушку, что мне не больно, что я ни на что пожаловаться не могу, что, право же, мне хорошо; мое тело добивалось лишь заслуженной им, точно отмеренной доли жалости, и, хотя у меня болел правый бок, оно, не обижаясь на то, что я мудрю, ничего не имело против, чтобы я сказал, что это не беда, что все-

таки я чувствую себя превосходно; мои мудрствования его не касались Когда дело шло уже на поправку, приступы удушья тем не менее повторялись у меня почти ежедневно. Однажды вечером бабушка ушла, оставив меня в хорошем состоянии, но, вернувшись поздно, сейчас же заметила, что дыхание у меня затрудненное. «Ах, боже мой, тебе очень плохо!» — воскликнула она с искаженным лицом. Она вышла из комнаты, вслед за тем я услыхал стук входной двери, а немного погодя бабушка вернулась с коньяком, который ей пришлось купить, потому что дома его не было. Вскоре мне полегчало. Бабушка слегка покраснела, вид у нее был смущенный, выражение лица — усталое и удрученное.

— Тебе сейчас лучше побыть одному, отдохни пока, — сказала она и решительно направилась к выходу.

Все же я успел поцеловать бабушку и почувствовал, что ее холодные щеки стали влажными — быть может, оттого что она прошлась по сырому вечернему воздуху. На другой день она пришла ко мне вечером — меня уверили, будто ее целый день не было дома. Я счел это за невнимание ко мне, но от укоризны воздержался.

Воспаление легких у меня прошло, а приступы удушья не прекратились, — следовательно, вызывались они чем-то другим, и родители решили пригласить ко мне профессора Котара. В таких случаях врач должен быть не просто знающим врачом. Когда ему указывают на симптомы, которые могут быть симптомами трех или даже четырех разных болезней, то, при почти полной схожести внешних проявлений, в конечном счете решает его взгляд, его чутье, что же, вернее всего, с больным. Таинственный этот дар далеко не всегда сочетается с исключительными способностями в других областях умственного труда: подобного рода искусством может владеть в совершенстве человек самый заурядный, любящий отвратительную живопись, отвратительную музыку, не обладающий пытливым умом. В данном случае физическое состояние больного могло быть объяснено нервными спазмами, началом туберкулеза, астмой, одышкой на почве пищевого отравления, осложненного почечной недостаточностью, хроническим бронхитом, наконец, взаимодействием ряда этих факторов. Допустим, на нервные спазмы можно было не обращать внимания, туберкулез же требовал заботливого ухода и усиленного питания, каковое, однако, было бы вредным при артрических явлениях, к которым относится астма, и даже опасным в случае одышки, связанной с пищевым отравлением и требующей режима, губительного при туберкулезе. Но у Котара колебания были недолги, предписания непререкаемы: «Большие дозы сильнодействующего слабительного, в

течение нескольких дней — молоко, ничего, кроме молока. Ни мяса, ни спиртных напитков». Мать пролепетала, что мне необходимо окрепнуть, что я изнервничался, что лошадиные дозы слабительного и весь этот режим погубят меня. Я прочитал во взгляде Котара, — беспокойном, как будто он боялся опоздать на поезд, — что он спрашивает себя: не проявить ли ему врожденную свою мягкость? Он старался вспомнить, надел ли он холодную маску, — так человек ищет зеркало, чтобы убедиться, не забыл ли он надеть галстук. Действовавший вслепую, Котар, чтобы вознаградить себя за эти колебания, грубым тоном ответил:

«Я не привык повторять предписания. Дайте мне ручку. Главное — молоко. Потом, когда нам удастся справиться с приступами и с агрипнией, я разрешу супы, затем пюре, но при этом непременно молоко локать, молоко локать! (Ученики отлично знали этот каламбур, который их учитель всякий раз повторял в больнице, когда сажал сердечника или печеночника на молочную диету.) Потом вы постепенно переведете его на обычный режим. Но если только возобновится кашель или удушья — опять слабительное, клизмы, постель, молоко». С безучастным видом выслушав последние возражения моей матери, Котар не удостоил ее ответом, и вот именно потому, что он не счел нужным объяснить, что заставляет его предписывать подобный режим, мои родители пришли к заключению, что режим, предписанный Котаром, мне не годится, что я только еще больше ослабну, и отказались от него. Разумеется, они постарались скрыть от профессора свое неповиновение и на всякий случай перестали бывать в домах, где могли бы с ним встретиться. Но мне сделалось хуже, и тогда было решено неукоснительно выполнять все предписания Котара; через три дня хрипы прекратились, кашель прекратился, я легко дышал. И тут мы поняли, что хотя Котар и нашел, — о чем он сам потом говорил, — что у меня астма, и в довольно сильной степени, а главное — что я «того», однако он сумел разобраться, что сейчас главную опасность представляет для меня отравление и что, устранив застойность печени и промыв почки, он очистит мне бронхи, вернет правильное дыхание, сон, восстановит силы. Мы поняли, что этот дурак — великий клиницист. Наконец я встал с постели. Однако до меня доходили разговоры, что на Елисейские поля меня больше не пустят. Утверждали, что там плохой воздух, но я был убежден, что это всего лишь предлог, чтобы разлучить меня с мадмуазель Сван, и потому я беспрестанно твердил имя «Жильберта», — так побежденные стараются говорить на родном языке, чтобы не забыть отчизну, которую они никогда больше не увидят. Изредка моя мать, лаская меня, спрашивала:

— Так, значит, мальчики уже не делятся с мамой своими огорчениями?

Франсуаза вглядывалась в меня каждый день. «Ну и вид у барчука! — говорила она. — Глаза бы не глядели — краше в гроб кладут!» Надо заметить, что когда у меня бывал самый обыкновенный насморк, лицо у Франсуазы становилось не менее скорбным. Она оплакивала меня не потому, чтобы я уж так плохо себя чувствовал, а потому, что она была плакальщицей «по призванию». Тогда я еще не мог разобраться, что доставляет Франсуазе ее пессимизм: мучение или же удовольствие. Пока для меня было ясно, что это пессимизм социальный и профессиональный.

Однажды в тот час, когда приходил почтальон, мама положила мне на кровать письмо. Я распечатал его машинально: ведь там не могло быть единственной подписи, способной меня осчастливить, — подписи Жильберты, потому что нас с ней связывали только Елисейские поля. Однако на листе бумаги с серебряной печатью, изображавшей рыцаря в шлеме, под которым изгибался девиз: «Per uiam rectam»[3] и где все фразы письма были словно подчеркнуты, что объяснялось просто: поперечная линия на t не пересекала букву, — она была проведена над ней, образуя черту под словом верхней строки, — я увидел внизу размашистую подпись Жильберты. Но так как я знал, что в письме ко мне такой подписи быть не может, то один вид подписи, не подкрепленной моей верой в нее, не обрадовал меня. Все окружающее на миг утратило для меня реальность. С головокружительной быстротой неправдоподобная эта подпись заиграла в «уголки» с моей кроватью, камином, стеной. В глазах у меня все завертелось, как у падающего с лошади, и я спрашивал себя: нет ли иного бытия, совершенно не похожего на то, которое я знаю, находящегося в противоречии с ним и тем не менее подлинного, открывшегося мне и мгновенно переполнившего меня той неуверенностью, какую скульпторы, изображавшие Страшный суд, придавали фигурам воскресших из мертвых, стоящих на пороге Иного мира? «Милый друг! — так начиналось письмо. — Я слышала, что Вы тяжело болели и больше не будете ходить на Елисейские поля. Я тоже не буду туда ходить, — так много сейчас больных. Но мои друзья приходят ко мне в гости по понедельникам и пятницам. Мама просит Вам передать, что если Вы зайдете к нам, когда поправитесь, то мы будем Вам очень-очень рады, — дома мы возобновим дружеские беседы, которые мы с Вами вели на Елисейских полях. Прощайте, милый друг; надеюсь, Ваши родители позволят вам очень часто ходить к нам в гости. Шлю Вам самый сердечный привет. Жильберта».

Пока я читал письмо, моя нервная система с поразительной быстротой воспринимала весть о том, что ко мне пришло великое счастье. Но моя душа, то есть я сам, собственно говоря — существо, наиболее

заинтересованное, еще ничего не знала. Счастье, счастье, связанное с Жиль&ертой, — это было то, о чем я постоянно думал, нечто исключительно умозрительное, то, что Леонардо, говоря о живописи, называл cosa mentale. Мысль не сразу усваивает исписанный лист бумаги. Но, дочитав письмо, я сейчас же начал думать о нем; оно стало предметом моих мечтаний, оно тоже стало cosa mentale, и я уже так его полюбил, что у меня появилась потребность каждые пять минут перечитывать и целовать его. Вот когда я познал счастье.

Жизнь полна чудес, на которые всегда могут надеяться любящие. Не лишено вероятия, что это чудо было искусственное, сотворенное моей матерью: убедившись, что за последнее время мне все стало безразлично, она попросила Жильберту написать мне, так же как она, когда я стал купаться в море, чтобы дать мне почувствовать удовольствие от нырянья, которое я не выносил, потому что начинал задыхаться, тайком передавала сопровождавшему меня купальщику изумительные раковины и ветки кораллов, и я был уверен, что это я нашел их на морском дне. Впрочем, самое лучшее — не стараться осмысливать происходящие в жизни, при самых разных обстоятельствах, события, касающиеся любви, так как то, что в них есть неизбежного и как бы нечаянного, по-видимому, подчиняется законам скорее сверхъестественным, чем разумным. Когда какому-нибудь человеку, прелестному, хотя он и миллиардер, дает отставку бедная и непривлекательная женщина, с которой он живет, и он, в отчаянии призвав на помощь всемогущее золото и прибегнув ко всем земным соблазнам, убеждается, что усилия его тщетны и что упорство возлюбленной ему не сломить, то пусть уж лучше он объясняет это тем, что Судьба хочет доконать его, что по ее воле он умрет от болезни сердца, но не ищет тут логики. Преграды, которые силятся преодолеть любовники и которые их воспламененное душевной болью воображение напрасно пытается распознать, иногда коренятся в черте характера женщины, которая от них ушла в ее глупости, в том влиянии, какое оказывает на нее кто-нибудь им неизвестный, в тех предостережениях, какие она от него выслушивает, в требованиях, какие она предъявляет к жизни, чтобы жизнь дала ей чем-либо насладиться немедленно, меж тем как ни ее любовник, ни его богатство не могут доставить ей эти наслаждения. Так или иначе, «невыгодное положение, в которое поставлен любовник, не способствует уяснению сущности преград, — женская хитрость утаивает ее, а его разум ослеплен любовью и не в состоянии точно определить, что же это за преграды. Они похожи на опухоли, которые врач в конце концов удаляет, так и не доискавшись причины их возникновения. Подобно опухолям,

преграды не выдают своей тайны, но они временны. Правда, в большинстве случаев они долговечнее любви. А так как любовь — страсть не бескорыстная, то разлюбившего влюбленного уже не интересует, отчего женщина, которую он любил, — бедная, легкого поведения, — в течение нескольких лет ни за что не соглашалась, чтобы он продолжал содержать ее.

И вот та же самая тайна, которая постоянно скрывает от взора причину катастроф, столь же часто окутывает и внезапность счастливых исходов в сердечных делах (вроде того, который я обнаружил в письме Жильберты). Исходов счастливых, или, по крайней мере, представляющихся счастливыми, так как по-настоящему счастливых не бывает в тех случаях, когда тобой владеет такого рода чувство, которое, сколько его ни утоляй, все равно причиняет боль, но только обыкновенно эта боль каждый раз перемещается. Впрочем, изредка вам дается передышка, и тогда в течение некоторого времени вам кажется, что вы поправились.

Что касается того письма, подпись под которым Франсуаза отказалась признать за имя «Жильберта», потому что «Жи» скорей напоминало «А», между тем как последний слог благодаря зубчатому росчерку занял невероятно много места, то в поисках разумного объяснения совершенному им перевороту, так меня осчастливившему, пожалуй, можно прийти к выводу, что этим переворотом я отчасти был обязан случайности, которая, как я думал вначале, погубит меня в глазах Сванов. Незадолго до получения письма ко мне пришел Блок, как раз когда в моей комнате находился профессор Котар, которого, поскольку я выполнял назначенный им режим, мои родители снова начали приглашать. По окончании осмотра они оставили Котара обедать, а Блоку разрешили пройти ко мне. Приняв участие в общем разговоре, Блок сообщил, что слышал от одной особы, у которой он вчера обедал и которая очень дружна с г-жой Сван, что г-жа Сван ко мне благоволит, я же хотел ему на это сказать, что он, по всей вероятности, ошибается, и в доказательство, — побужденный тою же самою правдивостью, которая вынудила меня осведомить об этом маркиза де Норпуа, а также из боязни, что г-жа Сван сочтет меня лжецом, — сослаться на то, что я с ней незнаком и что мы с ней никогда не разговаривали. Но у меня не хватило духу возразить Блоку: я понял, что это он нарочно, что он придумал то, чего г-жа Сван сказать не могла, чтобы ввернуть, что он обедал у одной из ее подруг, и хоть это была заведомая ложь, но она ему льстила. Так вот, маркиз де Норпуа, узнав, что я незнаком с г-жой Сван, но мечтаю с ней познакомиться, счел за благо не заговаривать с ней обо мне, зато ее домашний врач Котар, вдохновленный словами Блока

о том, что она великолепно знает меня и хорошего мнения обо мне, решил при встрече сказать ей, что я — прелестный мальчик и что он со мной в дружбе, рассудив, что мне от этого пользы никакой, он же от этого выиграет, — таковы причины, побудившие его при случае поговорить обо мне с Одеттой.

Словом, я стал бывать в доме, откуда до самой лестницы доходил запах духов, которыми душилась г-жа Сван, и где еще сильнее пахло тем особым, мучительным очарованием, каким веяло от жизни Жильберты. Неумолимый швейцар преобразился в благосклонную Эвмениду и, когда я спрашивал, можно ли войти, гостеприимным движением приподнимал фуражку в знак того, что он внял моей мольбе. Еще недавно меня отделял от не предназначавшихся мне сокровищ блестящий, отчужденный, поверхностный взгляд окон на улицу, который казался мне взглядом самих Сванов, зато теперь, в хорошую погоду, если я проводил всю вторую половину дня с Жильбертой, то мне случалось самому отворять окна, чтобы слегка проветрить ее комнату, и даже выглядывать в них вместе с Жильбертой, когда ее мать принимала гостей, и наблюдать, как они выходят из экипажей, а гости почти всегда поднимали головы и, приняв меня за племянника хозяйки, в знак приветствия махали рукой. В такие минуты косы Жильберты касались моей щеки. Тонкость их волокон, естественная и вместе с тем сверхъестественная, пышность сплетенного из них орнамента производили на меня впечатление единственного в своем роде произведения искусства, созданного из травы райских садов. Я бы и в самом деле не пожалел горних лугов для обрамления крохотной их частицы. Но раз у меня нет надежды получить живую прядку от этих кос, то хотя бы иметь фотографию, и насколько же больше я дорожил бы ею, чем фотографией цветочков, которые нарисовал Леонардо да Винчи! Ради фотографии я унижался перед друзьями Свана, унижался даже перед фотографами, так ничего и не добился и только связался с очень скучными людьми.

Родители Жильберты, долго препятствовавшие нашим свиданиям, теперь, когда я входил в мрачную переднюю, где вечно реяла, еще более грозная и более желанная, чем в былом Версале встреча с королем, возможность встретиться с ними и где, наткнувшись на огромную вешалку с семью ветвями, похожую на библейский семисвечник, я обыкновенно изгибался в поклонах перед лакеем в длинной серой ливрее, который сидел на сундуке и которого я принимал в темноте за г-жу Сван, — родители Жильберты, если я с кем-нибудь из них сталкивался, не выражали неудовольствия, напротив, они с улыбкой жали мне руку и говорили:

— Здрасте. (Само собой разумеется, что дома я с упоением и без конца упражнялся в подражании их выговору.) Жильберта знает, что вы должны прийти? Ну, тогда я не буду вас провожать к ней.

Этого мало: угощения, на которые Жильберта приглашала подруг и которые долго представлялись мне наименее преодолимой из всех преград, высившихся между нею и мной, теперь явились поводом для наших встреч, и об этих сборищах Жильберта уведомляла меня записками (ведь я стал бывать у нее недавно) на разной почтовой бумаге. На одном листке был оттиснут голубой пудель со смешной подписью по-английски, в конце которой стоял восклицательный знак; другой был с печатью в виде якоря, третий-с вензелем «Ж. С.», растянувшимся непомерной величины прямоугольником на весь лист, а еще были листки с именем «Жильберта», то напечатанным поперек в уголке золотыми буквами, почерком моей подружки, и кончавшимся росчерком под раскрытым черным зонтиком, то упрятанным в изображавшую китайскую шляпу монограмму, куда входили все буквы ее имени, но только различить какую-нибудь одну из этих букв, сплошь — заглавных, не представлялось возможным. Наконец, так как набор почтовой бумаги, которым располагала Жильберта, при всем своем разнообразии не был, однако, неисчерпаем, несколько «недель спустя я вновь увидел, как в первый раз, девиз Per uiam rectam над рыцарем в шлеме внутри медальона из потускневшего серебра. Тогда я полагал, что бумага меняется, ибо того требует светский ритуал, а теперь мне думается, что, скорей всего, это была затея Жильберты, всякий раз припоминавшей, на какой бумаге она писала прошлый раз, с тем чтобы ее корреспонденты, — во всяком случае, те, на которых стоило потратиться, — получали записки на одинаковой бумаге через возможно более длительные промежутки. Так как вследствие разницы в расписании уроков некоторые подруги, приглашенные Жильбертой на чашку чая, вынуждены были уходить, когда другие являлись, то я уже на лестнице слышал долетавший из передней говор, и этот говор задолго до того, как я добирался до последней ступеньки, обрывал мои связи, — так волновала меня мысль об участии в величественной церемонии, — с повседневной жизнью, обрывал столь стремительно, что потом уже я забывал снять шарф, когда мне становилось жарко, или посмотреть на часы, чтобы вовремя прийти домой. Даже лестница, сплошь деревянная (как в тех домах, что строились тогда в стиле Генриха II — стиле, которым долго увлекалась Одетта, но от которого она потом все-таки отказалась), с объявлением, какого не было на нашей лестнице: „Спускаться на лифте воспрещается“, представлялась мне чудесной, и, описывая ее моим родителям, я сказал, что это старинная

лестница и что Сваи привез ее откуда-то издалека. Любовь к истине была во мне до того сильна, что я не задумываясь дал бы им эти сведения, даже если бы я был уверен, что они недостоверны, ибо только такого рода сведения могли внушить моим родителям почтение, какое испытывал я к лестнице Сванов. Так в присутствии невежды, неспособного оценить гениальность врача, лучше не говорить, что он не умеет вылечить насморк. Но я не отличался наблюдательностью, в большинстве случаев не знал, как называются и что собой представляют вещи, находившиеся у меня перед глазами, — я был уверен в одном: раз ими пользуются Сваны, значит, это что-то необыкновенное, и потому я не сознавал, что, рассказывая родителям об их художественной ценности и о том, что лестница привезена, я лгу. Я этого не сознавал, и все же внутренний голос мне на это намекнул, потону что я почувствовал, что густо краснею, когда меня перебил отец: „Я знаю эти дома, — сказал он, — я видел один, а ведь они похожи; Сван просто-напросто занимает несколько этажей; дома эти строил Берлье“. Осец добавил, что хотел было снять квартиру в одном из таких домов, но передумал: они неудобные и в прихожей темновато; вот что он сказал; я же инстинктивно почувствовал, что мой здравый смысл должен принести жертву ради престижа Сванов и ради моего счастья: усилием воли я, вразрез е тем, что услышал от отца, рае навсегда отстранил от себя, подобно тому как верующий отстраняет от себя ренанову „Жизнь Иисуса“, тлетворную мысль, что в такой квартире, как у Сванов, могли бы жить и мы.

Так вот, в дни угощений я поднимался по лестнице, уже ни о чем не дума» и т о чем не вспоминая, являя собою игралище самых низменных рефлексов, и вступая в зону, где уже чувствовалось благоухание г-жи Сваи. Воображение рисовало мне шоколадный торт во всем его великолепии, окруженный десертными тарелочками с печеньем и серыми камчатными салфеточками, каких требовал этикет и каких я ни у кого, кроме Сванов, не видел. Но это неизменное, продуманное целое словно зависело, подобно упорядоченной вселенной Канта, от крайнего усилия воли. Убедившись, что все мы в сборе, Жильберта вдруг смотрела на часы в своей маленькой гостиной и говорила:

— Послушайте! Завтракала я давно, обедать мы будем в восемь. Я уже проголодалась. А вы?

Она уводила нас в столовую, где было темно, как в азиатском храме на картине Рембрандта, и где здание торта, приветливое и уютное, несмотря— на всю свои» величественность, казалось, царило времени»: а вдруг, не сегодня-завтра, Жильберте придет фантазия сбросить с него зубчатую

шоколадную корону и разрушить его бурые отвесные крепостные стены, выпеченные наподобие бастионов, ограждавших дворец Дария? Но, приступая к сносу ниневийского изделия, Жильберта считалась не только с тем, что есть хочется ей; извлекая для меня из-под обломков рухнувших чертогов целое звено стены в восточном вкусе, политой глазурью и разделенной на квадраты ярко-красными плодами, она осведомлялась, не голоден ли я. Она даже спрашивала, в котором часу обедают мои родители, как будто я еще это помнил, как будто я не так уже сильно влюбился и в состоянии был отдать себе отчет, утратил я аппетит или голоден, как будто в опустошенной моей памяти еще хранились образы моих домашних, а в омертвевшем желудке — ощущение обеда. К несчастью, это омертвение было мгновенным. Я машинально брал кусок за куском, а ведь их надо переваривать. Но это потом. А пока что Жильберта наливала мне «мой чай». Я пил его без конца, хотя одной чашки было довольно, чтобы лишить меня сна на целые сутки. Вот почему моя мать обыкновенно говорила: «Это мне надоело: мальчик всякий раз приходит от Сванов больным». Но когда я бывал у Сванов, разве я сознавал, что пью чай? А если б и сознавал, то все равно пил бы, потому что, возродись во мне представление о настоящем, оно не вернуло бы мне воспоминания о прошлом и предвидения будущего. Мое воображение было неспособно долететь до того далекого мига, когда у меня возникло бы понятие о постели и желание спать.

Не все подруги Жильберты испытывали такое состояние опьянения, — состояние, когда человек не может ни на что решиться. Некоторые отказывались от чая! Тогда Жильберта пользовалась очень распространенным в те времена выражением: «Мой чай явно не имеет успеха». К этому она, как попало переставляя стулья, чтобы уничтожить впечатление некоей церемонии, добавляла: «Как будто у нас свадьба. Боже, до чего глупа наша прислуга!»

Она сидела на стуле бочком, в виде буквы Х, и грызла печенье. Вид у нее был такой, точно у нее этого печенья сколько угодно и она может им распоряжаться, не спрашиваясь у матери, даже когда г-жа Сван, — «дни» которой обыкновенно совпадали с чашкой чая у Жильберты, — проводив гостя, вбегала сюда, иной раз — в платье из синего бархата, чаще — из черного атласа, отделанном белыми кружевами, и с удивлением говорила:

— Ах, это, должно быть, вкусно! Вы с таким аппетитом едите кекс, что мне и самой захотелось.

— Ну вот и отлично, мама, мы вас приглашаем, — отзывалась Жильберта.

— Нет, нет, мое сокровище, что скажут гости? У меня еще сидят госпожа Тромбер, госпожа Котар и госпожа Бонтан, — ты же знаешь, что милейшая госпожа Бонтан ненадолго не приезжает, а она только что приехала. Как я могу бросить дорогих гостей, — что они обо мне скажут? А вот если никто больше не придет, то, как только эти разъедутся, я вернусь и поболтаю с вами — это для меня гораздо интереснее. По-моему, я имею право немного отдохнуть: у меня перебывало сорок пять визитеров, из которых сорок два говорили о картине Жерома! Приходите же как-нибудь на днях, — говорила она, обращаясь ко мне, — попить *вашего* чайку с Жильбертой — она вам будет наливать, какой вы любите, какой вы обычно пьете в вашей маленькой «студии», — убегая к гостям, добавляла она, как будто я ради чего-то, столь же мне знакомого, как мои привычки (хотя бы ради привычки пить чай, если только, впрочем, я его пил, да я и вовсе не был уверен, есть у меня «студия» или нет), приходил в этот таинственный мир. — Ну так когда же вы придете? Завтра? У нас делают тосты не хуже, чем у Коломбена. Не придете? Негодник! — говорила она — с тех пор, как у нее появился салон, она переняла все ухватки г-жи Вердюрен, ее жеманно-деспотический тон. Между тем я понятия не имел, что такое тосты и кто такой Коломбен, — вот почему последнее обещание г-жи Сван не усиливало искушения. Может показаться еще более странным, поскольку все так говорят, — и, может быть, даже теперь говорят и в Комбре, — что в первую минуту я не понял, кого имеет в виду г-жа Сван, когда услыхал, как она расхваливает нашу старую nurse[4]. Я не знал английского языка и все-таки скоро догадался, что это слово относится к Франсуазе. На Елисейских полях я так боялся, что она, наверно, производит неприятное впечатление, и вдруг узнаю от г-жи Сван, что именно рассказы Жильберты о моей nurse внушили ей и ее мужу симпатию ко мне: «Чувствуется, как она вам предана, какая она хорошая». (Я сейчас же переменил мнение о Франсуазе. Более того: я подумал, что мне вовсе уж не так необходима гувернантка в плаще и в шляпе с перьями.) И еще я понял, — из вырвавшихся у г-жи Сван нескольких слов о г-же Блатен, чьих приходов она боялась, хотя и не отрицала ее светскости, — что знакомиться с г-жой Блатен мне особенно не для чего и что это знакомство ничуть не улучшило бы моих отношений со Сванами.

Я уже начал, трепеща от счастья и благоговения, исследовать сказочный край, куда мне до последнего времени был заказан путь и куда, сверх ожидания, меня вдруг стали пускать, но только как друга Жильберты. Царство, врата которого передо мной растворились, составляло лишь часть еще более таинственного царства, где Сван и его жена жили

сверхъестественной жизнью а куда они направлялись, поздоровавшись со мной при встрече в передней. Однако вскоре я стал проникать и в Святая святых. Например, когда я не заставал Жильберту, а Сваны бывали дома. Они спрашивали, кто это, а, узнав, что это я, звали меня к себе на минутку и просили, чтобы я в таком-то отношении, в таком-то случае повлиял на их дочь. Мне вспоминалось обстоятельное и убедительное письмо, которое я недавно написал Свану и которое он не удостоил ответом. Я удивлялся тому, какими беспомощными оказываются наш разум, наш рассудок, наше сердце, когда нам нужно произвести малейшую перемену, развязать один какой-нибудь узел, который потом сама жизнь распутывает с непостижимой легкостью. Мое новое положение — положение друга Жильберты, оказывающего на нее самое благотворное влияние, — снискало мне теперь милости, какими я был бы осыпан, будь я первым учеником в школе и товарищем королевского сына и если бы этой случайности я был обязан и правом входить во дворец запросто, и аудиенциями в тронном зале, — вот так же Сван с необычайным радушием, словно он не был завален делами, упрочивавшими его славу, пускал меня в свою библиотеку и в течение часа терпел мой лепет или робкое молчание, прерываемое мгновенными и невнятными приливами смелости, в ответ на его рассуждения, которые я выслушивая, решительно ничего не понимая от волнения; он показывал мне такие произведения искусства и такие книги, которые, как он предполагал, могли бы заинтересовать меня, а я заранее был уверен, что они неизмеримо прекраснее всех собранных в Лувре и в Национальной библиотеке, но не имел сил рассматривать их. В такие минуты мне бы доставила удовольствие просьба метрдотеля Сванов подарить ему часы, булавку для галстука, ботинки или подписать завещание в его пользу; по прекрасному народному выражению, автор которого, как и авторы прославленных эпических поэм, неизвестен, но у которого, так же как, вопреки теории Вольфа, и у поэм, автор, конечно, один (какая-нибудь скромная творческая натура — из тех, что встречаются часто, из тех, что делают открытия, которые могли бы «составить имя» кому угодно, только не им, потому что они свое имя скрывают), *я был не в себе* . Если мой визит затягивался, то самое большее, на что я бывал способен, это прийти в изумление от ничтожности достигнутого, от того, что время, проведенное в волшебном обиталище, кончилось для меня ничем. Однако мое разочарование объяснялось не тем, что произведения искусства были недостаточно хороши или что я не мог задержать на них рассеянный взгляд. Ведь не красота самих вещей превращала в чудо мое пребывание в кабинете Свана, а их проникнутость — вещи могли быть и на

редкость безобразными — особым, печальным и томительным чувством, которое я столько лет поселял здесь и которое все еще пропитывало их; точно так же множество зеркал, щетки с серебряными ручками, престолы во имя святого Антония Падуанского, изваянные и расписанные знаменитыми скульпторами и художниками, друзьями Сванов, не имели никакого отношения к сознанию моего ничтожества и к тому царственному благоволению, каким, по моим ощущениям, одаряла меня г-жа Сван, приглашавшая меня на минутку к себе в комнату, где три прекрасных и величественных существа, первая, вторая и третья горничные, улыбаясь, приготовляли чудные туалеты и куда по приказанию, провозглашенному лакеем в коротких штанах, объявлявшему, что барыне нужно что-то сказать мне, я шел извилистой тропой коридора, еще издали вдыхая запах дорогих духов, которым он был пропитан и благоуханные потоки которого беспрестанно струились из туалетной.

Г-жа Сван возвращалась к гостям, но до нас доносились ее голос и смех, потому что, даже если в гостиной сидели два человека, она, словно все ее «приятели» были в сборе, говорила громко и отчеканивала слова, то есть применяла приемы, к каким часто прибегала при ней в «кланчике» «направлявшая разговор» ее «покровительница». Мы особенно охотно пользуемся, — во всяком случае, в течение определенного времени, — выражениями, которые мы только что у кого-то позаимствовали; вот почему г-жа Сван выбирала выражения, употреблявшиеся людьми из высшего общества, с которыми ее все-таки вынужден был познакомить муж (отсюда же нарочитое проглатыванье целых слогов и манера произносить слова сквозь зубы), или, напротив, крайне вульгарные (например: «Экая чушь!» — излюбленное словечко одной из ее близких знакомых), и старалась вставлять их во все истории, которые она рассказывала по привычке, выработавшейся у нее в «кланчике». Заканчивала она свой рассказ чаще всего: «Как вам нравится эта история?» «Прелестная история, правда?» — это перешло к ней через мужа от Германтов, с которыми она была незнакома.

Когда г-жа Сван уходила из столовой, вместо нее появлялся ее муж. «Жильберта! Ты не знаешь: у мамы никого нет?» — «Что вы, папа, у нее еще сидят гости». — «Как, еще не ушли? Да ведь уже семь часов! Какой ужас! Бедняжка! Они ее совсем замучили. Это *возмутительно* . (Мои домашние отчетливо произносили в этом слове первое о: возмутительно, а у Сванов его проглатывали: *взмутительно* .) Подумайте: с двух часов! — обращаясь ко мне, продолжал он. — Камил мне сказал, что между четырьмя и пятью приехало двенадцать человек. Да нет, не двенадцать, —

он сказал: четырнадцать. Нет, двенадцать; я уж не помню. Когда я ехал домой, я совсем забыл, что моя жена сегодня принимает; смотрю: у подъезда видимо-невидимо экипажей, — я решил, что у нас свадьба. И пока я сидел в библиотеке, звонок за звонком, — у меня голова разболелась, честное слово. Много у нее еще?» — «Нет, только две гостьи». — «А ты не знаешь, кто?» — «Госпожа Котар и госпожа Бонтан». — «А, жена правителя канцелярии министра общественных работ!» — «Я знаю только, что он служит в *мнистерстве* , а что он там делает — *пнятия* не имею», — наивничая, говорила Жильберта.

— Дурочка ты этакая! Можно подумать, что тебе два года. Ну что ты болтаешь: «служит в министерстве»? Он начальник канцелярии, начальник всего этого заведения, вот он кто, да нет, я не то говорю, у меня тоже голова не в порядке, честное слово, он не начальник канцелярии — он *правитель* канцелярии.

— Н'знаю; разве это такой важный пост-правитель канцелярии? — спросила Жильберта, не упускавшая случая показать, что она равнодушна ко всему, чем гордятся ее родители. (Впрочем, быть может, она отдавала себе отчет, что, делая вид, будто не придает значения блистательным знакомствам, она тем самым только усиливает их вес.)

— То есть как это так не важный? — воскликнул Сван, — боясь, что если он проявит скромность, то это может вызвать у меня сомнение, он решил произнести целую речь. — Да ведь он после министра первый! Он даже больше, чем министр, — все делает он. У него блестящие способности, это птица высокого полета, выдающаяся личность. Он кавалер ордена Почетного легиона. Прекрасный человек и, помимо всего прочего, красавец мужчина.

И в самом деле: его жена вышла за него наперекор всем и вся только потому, что он «неотразим». У него было все, из чего составляется цельный облик незаурядного и тонкого человека: русая шелковистая борода, красивые черты лица, манера говорить в нос, мощное дыхание и стеклянный глаз.

— Откровенно говоря, — обращаясь ко мне, снова заговорил Сван, — это очень странно, что в состав нынешнего правительства входят такие люди: ведь это же Бонтаны из рода Бонтан-Шню, типичные представители буржуазии реакционной, клерикальной, отличающейся узостью взглядов. Ваш покойный дедушка знал, во всяком случае — понаслышке или хотя бы в лицо, старика Шню: старик давал кучерам на чай не больше одного су. хотя по тем временам был богачом, и барона Брео-Шню. Они потеряли все свое состояние в связи с крахом Всеобщей компании. Вы еще очень молоды

и не можете это знать. Ну, а потом они все-таки выплыли.

— Это дядя той девочки, которая ходила в нашу школу, — но только она на класс моложе меня, — знаменитой Альбертины. Потом она наверно будет очень fast[5], а пока что она смешная.

— Моя дочь — поразительное существо: всех-то она знает.

— Я ее не знаю. Я видела ее, когда она проходила мимо, и ей со всех сторон кричали: «Альбертина, Альбертина!» Вот госпожу Бонтан я знаю, и она мне совсем не нравится.

— Ты очень ошибаешься, — она обворожительна, красива, умна. И даже остроумна. Надо с ней поздороваться; спрошу, что думает ее муж: будет ли война и можно ли рассчитывать на Феодосия. Кому же знать, как не ему, — ведь правда? — раз он посвящен в тайны богов!

Прежде Сван говорил иначе; но мало ли мы видели княгинь, которые держали себя удивительно просто и которые лет через десять, сойдясь с лакеями, все еще жаждут принимать у себя людей из общества, однако, убедившись, что бывать у них не любят, невольно начинают говорить языком скучных старух, и когда при них называют имя пользующейся всеобщей известностью герцогини, они обычно говорят: «Вчера она у меня была», — и добавляют: «Я веду очень уединенный образ жизни». Отсюда следствие, что наблюдать нравы нет никакого смысла, раз о них можно составить себе представление при помощи психологических законов.

Сваны принадлежали к числу людей, у которых мало кто бывает; визит, приглашение, просто-напросто любезность, сказанная каким-нибудь заметным человеком, являлись для них событием, которое они жаждали предать гласности. Если обстоятельства складывались так неудачно, что Вердюрены находились в Лондоне как раз, когда Одетта устраивала довольно роскошный обед, то весть об этом мчалась по телеграфу на тот берег ЛаМанша, на что уполномачивался кто-нибудь из общих знакомых. Сваны не в силах были утаить ни одного письма, ни одной телеграммы, лестной для Одетты. О них говорили с друзьями, их пускали по рукам. Салон Сванов был подобен курортным гостиницам, где телеграммы вывешиваются.

Люди, помнившие прежнего Свана, не порвавшего со светом, такого, каким его знал я, но вращавшегося в нем, вращавшегося в обществе Германтов, где к не-высочествам и к не-светлостям предъявлялись необыкновенно высокие требования по части ума и обаяния, в обществе, от которого отлучались выдающиеся личности, если их считали скучными или вульгарными, — эти люди с изумлением убедились бы, что Сван перестал быть не только скромным в рассказах о своих знакомых, но и

строгим в их выборе. Как он терпел пошлую, злую г-жу Бонтан? Как мог он про нее говорить, что она милая женщина? Казалось бы, его должно было от этого удержать воспоминание о Германтах; на самом деле, оно помогало ему. Разумеется, у Германтов, в противоположность трем четвертям аристократических семей, был вкус, и даже утонченный, но был и снобизм, а со снобизмом всегда связана возможность впасть в безвкусицу. Если кто-нибудь не был необходим их кружку, — министр иностранных дел, надутый республиканец или болтливый академик, — то к нему применялось мерило вкуса, Сван жаловался герцогине Германтской, какая скука — обедать с такими людьми в посольстве, и его с радостью меняли на какого-нибудь элегантного господина, потому что это был человек их круга, на полнейшую бездарность, но в их духе, из «их прихода». Только какая-нибудь великая княгиня, принцесса крови часто обедала у герцогини Германтской и зачислялась в этот приход, хотя бы она не имела на то никаких прав и была не в духе Германтов. Но уж кто ее принимал, — поскольку нельзя было сказать, что ее принимают, оттого что она мила, — те со всей наивностью светских людей убеждали себя, что она и в самом деле мила. Сван приходил герцогине Германтской на помощь; когда великая княгиня уходила, он говорил: «В сущности, она хорошая женщина, у нее есть даже чувство юмора. Вряд ли, конечно, она изучала „Критику чистого разума“, но в ней есть что-то приятное». — «Я совершенно с вами согласна, — вторила ему герцогиня. — Сегодня она еще стеснялась, но вы увидите, что она может быть очаровательной». — «Госпожа К. Ж. (жена болтливого академика, замечательная женщина) гораздо скучнее ее, хотя она процитирует вам двадцать книг». — «Да разве можно их сравнивать!» Сван научился говорить такие вещи, — говорить искренне, — у герцогини, и эта способность у него сохранилась. Теперь он пользовался ею при оценке тех, кого принимал у себя. Он старался открыть и полюбить в них такие черты, которые открываются в каждом человеке, если посмотреть на него добрыми глазами, а не с брезгливостью привередников; Сван ценил достоинства г-жи Бонтан так же, как в былые времена ценил достоинства принцессы Пармской, которую, конечно, изгнали бы из круга Германтов, если бы Германты не отводили почетных мест для высочеств и если бы они не приписывали им остроумия и даже некоторого обаяния. Замечали, впрочем, и прежде, что Свану нравится менять, — но теперь он менял надолго, — светские отношения на иные, которые в известных обстоятельствах были для него важнее. Только люди, неспособные разложить то, что на первый взгляд представляется им нерасчленимым, полагают, что обстановка и личность составляют неразрывное целое. Если

взять периоды человеческой жизни в их последовательности, то станет ясно, что на разных ступенях общественной лестницы человек погружается в новую среду, но эта новая среда не непременно оказывается выше прежней; и всякий раз, в ту или иную пору нашей жизни, завязывая или возобновляя наши связи с определенной средой, мы чувствуем себя обласканными ею; вполне естественно, что мы привязываемся к ней, что мы пускаем в ней корни дружелюбия.

Ну, а насчет г-жи Бонтан, то вот что еще мне приходит на ум: Сван потому так долго о ней говорил, что он был не прочь, чтобы мои родители узнали о ее дружбе с его женой. Однако у нас дома имена тех, с кем г-жа Сван заводила знакомство, возбуждали, откровенно говоря, не столько восхищение, сколько любопытство. Услыхав имя г-жи Тромбер, моя мать сказала:

— А, еще один новобранец, — за ним последуют другие.

Усматривая сходство между предпринимаемым г-жой Сван не очень разборчивым, быстрым, насильственным завоеванием новых знакомств с колониальной войной, она добавила»

— Ну, раз Тромберы покорены, то и соседние племена не замедлят сдаться.

Как-то она столкнулась с г-жой Сван на улице и, придя домой, сказала:

— Встретила госпожу Сван — вид у нее воинственный: наверно, отправляется в победоносный поход на мазечутосов, сингалезцев или Тромберов.

И когда я рассказывал матери, что появилось новое лицо в этом довольно пестром, искусственно составленном обществе, создававшемся не без труда, из разных кругов, она сейчас же догадывалась, как это лицо туда попало, и говорила о нем как о добытом с боя трофее; она выражалась о нем так:

— Захвачен экспедицией, посланной туда-то. Отец выражал удивление, на что нужна г-же Сван такая мещанка, как г-жа Котар: «Пусть ее муж-светило, все-таки я этого не понимаю». Мать, напротив, понимала прекрасно; она знала, что для женщины, очутившейся в среде, не похожей на ту, что окружала ее раньше, пропало бы почти все удовольствие, если б у нее не было возможности довести до сведения своих старых знакомых о том, что их сменили новые, более блестящие. Для этого нужен свидетель, и его пускают в новый чудный мир: так в цветок забирается жужжащее легкокрылое насекомое, и случайные его визиты, — во всяком случае, на это делают ставку, — разнесут новость, разнесут незримое семя зависти и восхищения. Г-жа Котар, вполне подходившая для такой роли,

принадлежала к той особой категории гостей, о которых мама, складом ума отчасти напоминавшая своего отца, говорила: «Чужестранец! Иди и расскажи спартанцам!» Притом, — если не считать еще одной причины, о которой стало известно много лет спустя, — г-жа Сван, приглашая к себе эту свою приятельницу, доброжелательную, сдержанную и скромную, не боялась, что она зовет на свои блестящие «приемы» предательницу или соперницу. Г-жа Сван знала, какое огромное количество чашечек буржуазных цветов облетит за один день, вооружившись эгреткой и сумочкой, эта неутомимая пчела-работница. Г-же Сван была известна ее способность рассеивать семена, и, основываясь на теории вероятности, она вполне могла рассчитывать, что послезавтра такой-то завсегдатай Вердюренов, вернее всего, узнает, что парижский генерал-губернатор оставил у г-жи Сван свою визитную карточку или что сам Вердюрен услышит сообщение, что президент бегового общества г-н Ле-0-де-Пресаньи отвозил их, ее и Свана, на празднество в честь короля Феодосия; она не сомневалась, что Вердюрены будут осведомлены только об этих двух лестных для нее событиях, ибо те обличья, в каких мы рисуем себе славу и какие мы ей придаем, когда за ней гонимся, весьма немногочисленны, и эта их немногочисленность объясняется бессилием нашего разума, неспособного сразу представить себе наряды, которые слава одновременно все, сколько их ни есть, — а на это мы все-таки надеемся крепко, — не преминет надеть на себя ради нас.

И тем не менее г-жа Сван достигла результатов только в так называемых «официальных кругах». Светские дамы у нее не бывали. Они избегали г-жу Сван не потому, чтобы опасались встретить у нее знаменитых республиканцев. Во времена моего раннего детства все, что принадлежало к консервативно настроенному обществу, составляло свет, — вот почему в солидные дома республиканцы были не вхожи. Жившие в такой среде люди воображали, что невозможность позвать «оппортуниста» и тем более ужасного радикала будет существовать всегда, как масляные лампы или конки. Однако, подобное калейдоскопу, общество время от времени переставляет части, казавшиеся незыблемыми, и образует новый узор. Я еще не дорос до первого причастия; как вдруг благонамеренные дамы стали приходить в ужас при мысли о встрече в гостях с элегантной еврейкой. Эти новые перемещения в калейдоскопе были вызваны тем, что философ назвал бы изменением критерия. Дело Дрейфуса ввело новый критерий немного позднее, уже после того как я начал бывать у г-жи Сван, и калейдоскоп еще раз повернул цветные свои ромбики. Все еврейское опустилось вниз, хотя бы это была элегантная

дама, поднялись обскуранты-националисты. Самым блестящим салоном Парижа считался ультракатолический салон австрийского принца. Если бы вместо дела Дрейфуса вспыхнула война с Германией, калейдоскоп повернулся бы иначе. Если бы евреи, ко всеобщему изумлению, проявили патриотизм, они сохранили бы то положение, какое они занимали, и не нашлось бы человека, который пошел бы к австрийскому принцу и который не постеснялся бы признаться, что он когда-нибудь у него был. Это не мешает членам общества, пока в нем застой, воображать, что никаких перемен не будет, подобно тому как, впервые увидев телефон, они отказываются верить в возможность появления аэроплана. Это не мешает философствующим журналистам бранить недавнее прошлое и осуждать не только тогдашние развлечения, которые представляются им верхом разврата, но даже труды художников и мыслителей, которые не имеют в их глазах никакой ценности, словно эти труды неразрывными узами связаны с будто бы сменявшими одна другую разновидностями светской суеты. Единственно, что не меняется, это мысль, что «кое-что во Франции изменилось». Когда я стал бывать у г-жи Сваи, дело Дрейфуса еще не разгорелось, и кое-кто из видных евреев пользовался большим весом. По силе влияния никто из них не мог сравниться с сэром Руфусом Израэльсом, жена которого, леди Израэльс, доводилась Свану теткой. У нее не было таких элегантных друзей, как у ее племянника, который, кстати сказать, не любил ее и встречался с ней не часто, хотя, по всей вероятности, именно он должен был получить от нее наследство. Но только она одна из всех родственниц Свана имела понятие о том, какое положение занимает он в свете, между тем прочие оставались насчет этого в точно таком же неведении, в каком долго находились мы. Когда один из членов семьи переселяется в высшее общество, — он уверен, что это явление единичное, и только через десять лет убеждается, что разными способами и благодаря другим стечениям обстоятельств того же самого достиг кое-кто из его школьных товарищей, — он попадает в темное пространство, на terra incognita, и эта земля, вся, до последней складочки, видна ее обитателям, но для тех, кому туда не проникнуть, кто огибает землю, не догадываясь об ее — совсем тутошнем — существовании, она есть мрак, полнейшее небытие. Агентство Гавас не поставило в известность кузин Свана о том, где он бывает, и они (разумеется, до его ужасной Женитьбы) со снисходительной улыбкой рассказывали за семейным обедом, как «добродетельно» провели они воскресный день, а именно — побывали у «кузена Шарля», на которого они смотрели как на слегка завистливого бедного родственника, и острили, что у Бальзака есть кузина по имени

Бетта, а он — кузен Бет, «глупый кузен». А вот леди Руфус Израэльс отлично знала, ктона зависть ей — удостаивает Свана своей дружбой. Семья ее мужа, которую можно было поставить почти рядом с Ротшильдами, была издавна связана деловыми отношениями с принцами Орлеанскими. Леди Израэльс, сказочно богатая, употребила свое большое влияние на то, чтобы никто из ее знакомых не принимал Одетту. Только одна знакомая не послушалась леди Израэльс, но-втайне от нее. Это была графиня де Марсант. И вот надо же было случиться такому несчастью, чтобы, когда Одетта отправилась с визитом к графине де Марсант, почти следом за ней явилась леди Израэльс. Графиня де Марсант сидела как на иголках. Эта низкая душонка, полагавшая, что она все может себе позволить, ни разу не обратилась к Одетте, так что у той пропала охота продолжать дальше свое вторжение в свет, куда она, впрочем, особенно и не стремилась. В полнейшем этом равнодушии к Сен-Жерменскому предместью сказывалась все та же неграмотная кокотка, резко отличавшаяся от буржуа, изучивших генеалогию до мельчайших подробностей и утоляющих жажду общения с аристократией чтением мемуаров, так как жизнь отказывает им в этом общении. А Сван, вне всякого сомнения, продолжал быть все тем же любовником, которому нравятся или кажутся безобидными свойства давней его любовницы, — Одетта часто говорила при мне самую настоящую, с точки зрения света, ересь, а он (то ли у него не совсем прошла любовь к ней, то ли он ее не уважал, то ли ему лень было ее перевоспитывать) не останавливал ее. Пожалуй, это было своего рода простодушие, которое так долго обманывало нас в Комбре и в силу которого Сван, не порывая личных связей с высшей знатью, не заботился о том, чтобы в салоне его жены говорилось о знати с известным почтением. Он и в самом деле меньше, чем когда-либо, придавал этим связям значение, — центр тяжести в его жизни переместился. Так или иначе, в области познания высшего света Одетта была совершеннейшей невеждой: если принцессу Германтскую называли после ее двоюродной сестры, герцогини, Одетта говорила: «Раз принцы, стало быть, они чином повыше». Если кто-нибудь называл герцога Шартрского принцем, она поправляла:

«Герцог; он — герцог Шартрский, а не принц». Когда при ней упоминали герцога Орлеанского, сына графа Парижского, она выражала удивление: «Чудно! Сын выше отца, — и, будучи англоманкой, добавляла: — Запутаешься в этих royalties»;[6] на чей-то вопрос: откуда родом Германты, она ответила: «Из Эны».

Впрочем, Сван вообще проявлял слепоту, когда дело касалось Одетты:

он не только не замечал пробелов в ее образовании, но и того, что она была неумна. Более того: всякий раз, когда Одетта рассказывала какую-нибудь глупую историю, Сван слушал жену снисходительно, весело, почти с восхищением, которое, вероятно, питалось остатками былой страсти; а вот если ему в том же разговоре удавалось вставить какое-нибудь остроумное, даже глубокое замечание, Одетта обыкновенно слушала его без всякого интереса, невнимательно, нетерпеливо, подчас же резко ему возражала. Если вспомнить случаи противоположные, если вспомнить многих выдающихся женщин, которые увлекаются тупицами, строгими критиками их наиболее тонких суждений и, движимые любовью, снисходительность которой не имеет границ, приходят в восторг от их самых плоских шуток, то невольно напрашивается вывод: порабощение лучших из лучших пошляками — это закон многих семей. Задумываясь же над тем, что помешало тогда Одетте проникнуть в Сен-Жерменское предместье, я должен заметить, что как раз к тому времени светский калейдоскоп повернулся из-за ряда скандалов. Дамы, у которых бывали, питая к ним полное доверие, теперь считались продажными девками, английскими шпионками. В течение некоторого времени от людей требовалась прежде всего, — во всяком случае, с такой точки зрения они расценивались, — прочность, надежность занимаемого ими положения… Одетта являла собой именно то, с чем только что порвали и с чем, впрочем, тут же возобновили связи (ведь люди не меняются ежедневно, и от нового режима они ждут лишь продолжения старого), но под другим флагом, который давал людям возможность обманывать самих себя и верить, что это общество — не такое, каким оно было до кризиса. Словом, Одетта была очень похожа на дам с «подмоченной репутацией». Светские люди чрезвычайно близоруки; порвав всякие отношения с еврейками, они ищут, чем бы заполнить пустоту, и вдруг видят как бы случайно прибившуюся к ним во время ночной грозы незнакомую женщину, тоже еврейку; в силу того, что она им незнакома, они не связывают ее, — как связывали ее предшественниц, — с тем, что должно бы вызывать у них чувство брезгливости. Она же не требует, чтобы они воздавали почести ее богу. Они принимают ее в свой круг. Когда я начал бывать у Одетты, антисемитизмом не пахло. Но она напоминала то, чего некоторое время старались избегать.

Зато Сван часто бывал кое у кого из прежних знакомых, то есть у людей, принадлежавших к высшему свету. И все же, когда Сван говорил с нами о тех, у кого он недавно был, я замечал, что он делал выбор среди старых своих знакомых, руководствуясь вкусом отчасти художника, отчасти историка, выработавшим из него коллекционера. Заметив, что его может

заинтересовать какая-нибудь знатная, хотя бы и деклассированная дама, потому что она была любовницей Листа или потому что один из романов Бальзака посвящен ее бабушке (он и рисунки покупал, потому что их описывает Шатобриан), я начал подозревать, что мы ошибались в Комбре, принимая Свана за буржуа, не имеющего доступа в свет, и продолжаем ошибаться, принимая Свана за одного из самых элегантных людей в Париже. Быть другом графа Парижского — это еще ничего не значит. Скольких «друзей принцев» не станут принимать в салоне, открытом для узкого круга! Принцы знают, что они — принцы, они — не снобы, они считают, что они бесконечно выше всех, в чьих жилах течет иная кровь, — вот почему вельможи и буржуа представляются им стоящими внизу, почти на одном уровне.

Впрочем, Свану, отыскивавшему в обществе, таком, каково оно есть, имена, вписанные в него минувшим и еще поддающиеся прочтению, было мало наслаждения, испытываемого литератором или художником, — он находил удовольствие в пошловатом развлечении: составлять своего рода социальные букеты, группируя разнородные элементы, набирая людей отовсюду. Над приятельницами жены Сван проделывал неодинаковые опыты занимательной социологии (или того, что он принимал за таковую), — во всяком случае, длительность подобных опытов была различна. «Я собираюсь пригласить Котаров вместе с герцогиней Вандомской», — смеясь, говорил он г-же Бонтан, предвкушая наслаждение, какое испытывает чревоугодник при мысли о том, что получится, если в соус вместо гвоздики положить кайеннского перцу. Котарам такая затея и в самом деле показалась бы забавной в старинном смысле этого слова, а г-жу Бонтан должна была рассердить. Как раз недавно Сваны представили ее герцогине Вандомской, — ей это было приятно, и вместе с тем она считала, что это в порядке вещей. Сообщать о своем новом знакомстве Котарач, похвастаться перед ними — в этом заключалось для нее особое удовольствие. Подобно людям, которые, получив орден, желали бы, чтобы поток наград был тотчас же остановлен, г-же Бонтан хотелось, чтобы никто больше не был представлен герцогине. Мысленно она проклинала Свана за дурной вкус, заставлявший его ради жалкой эстетической причуды мигом стряхнуть всю пыль, какую она пустила в глаза Котарам, повествуя о геоцогине Вандомской. Как она скажет мужу, что профессор и его жена тоже получают свою долю наслаждения а между тем она уже похвалилась, что удостоилась его она одна? Если бы еще Котары знали, что их приглашают не всерьез, а только ради забавы! Правда, ради забавы приглашались и Бонтаны, но Сван, переняв у аристократии этот вечный

донжуанизм, убеждающий каждую из двух неинтересных женщин, что только ее любят по-настоящему, втолковывал г-же Бонтан, что ей самой судьбой предуказано пообедать вместе с герцогиней Вандомской. «Да, мы думаем пригласить герцогиню вместе с Котарами; моему мужу кажется, что в такой конъюнкции может быть нечто забавное», — несколько недель спустя заявила г-жа Сван: взяв от «ядрышка» некоторые замашки, свойственные г-же Вердюрен, например, кричать так, чтобы все верные ее слышали, она вместе с тем употребляла выражения вроде «конъюнкции», принятые у Германтов, к которым она не приближалась, но к которым она, как море к луне, испытывала невольное влечение на расстоянии. «Да, Котары и герцогиня Вандомская, — ведь это же умора, правда?» — спрашивал Сван. «По-моему, ничего хорошего из этого не выйдет, а вы потом не оберетесь неприятностей, — с огнем не шутят!» — воскликнула взбешенная г-жа Бонтан. Тем не менее она и ее муж, равно как и принц Агригентский, были приглашены к обеду, о котором г-жи Бонтан и Котар рассказывали по-разному, в зависимости от того, кто был их слушателем. Одним г-жи Бонтан и Котар на вопрос, кто еще обедал в тот день, отвечали небрежно:

«Принц Агригентский, — была только своя компания». Другим хотелось знать больше (кто-то даже осмелился спросить Котара: «А разве Бонтанов не было» — «Я о них и забыл», — покраснев, ответил Котар неделикатному субъекту, которого он с тех пор причислил к категории «злых языков»). Для таких людей Бонтаны и Котары, не сговариваясь, придумали иную версию с одинаковым обрамлением, но с перестановкой имен. Котар говорил: «Ну так вот, были только хозяева, герцог и герцогиня Вандомские (с самодовольной улыбкой), профессор Котар и его супруга и, черт знает, зачем, точно волосы в супе, господин и госпожа Бонтан». Г-жа Бонтан рассказывала совершенно так же, как Котар, с тою лишь разницей, что имена г-на и г-жи Бонтан упоминались между герцогиней Вандомской и принцем Агригентским с подчеркнутым удовлетворением; что же касается Котаров, то из ее слов явствовало, что они сами напросились и были на этом обеде лишними, всем мозолили глаза.

От своих знакомых Сван часто возвращался незадолго до обеда. Теперь в шесть часов вечера, в ту пору, когда он прежде чувствовал себя таким несчастным, он уже не задавал себе вопроса, чем занята Одетта, и его не очень занимало, нет ли у нее гостей и дома ли она. Иной раз Сван вспоминал, как много лет назад он однажды пытался прочитать сквозь конверт письмо Одетты Форшвилю. Это воспоминание было ему неприятно, но он старался не усиливать в себе чувство стыда, — у него

только появлялась складка в углу рта, а кое-когда он еще вскидывал голову, что означало: «Какое мне до этого дело?» Теперь он, конечно, понимал, что гипотеза, на которой он так часто останавливался прежде и которая сводилась к тому, что его ревнивое воображение чернило образ жизни неповинной на самом деле Одетты, — что эта гипотеза (в основе своей благодетельная, так как, пока продолжалась болезнь его влюбленности, она смягчала его страдания, внушая ему, что он их выдумал) не верна, что у его ревности был зоркий глаз и что хотя Одетта любила его сильнее, чем ему казалось, зато и обманывала его хитрее. В тяжелое для него время Сван дал себе клятву, что когда разлюбит Одетту, когда ему уже не страшно будет рассердить ее или дать ей почувствовать, как страстно он ее любит, он доставит себе удовольствие и выяснит с ней, — просто из любви к истине, как некий исторический факт, — спал ли с ней Форшвиль в тот день, когда он, Сван, звонил и стучал в окно, а ему не отворяли, а она писала потом Форшвилю, что к ней приходил ее дядя. Но столь важный для Свана вопрос, выяснение которого он откладывал только до того времени, когда пройдет его ревность, утратил в глазах Свана всю свою важность, как только он перестал ревновать. Утратил, впрочем, не сразу. Он уже не ревновал Одетту, но тот день, когда он напрасно стучал в дверь особнячка на улице Лаперуза, все еще возбуждал в нем ревность. В силу того, что ревность, пожалуй, отчасти напоминает заразные болезни, очагом, источником которых является, по-видимому, в большей мере местность, дома, чем люди, предметом ревности Свана была не столько сама Одетта, сколько тот день, тот час утраченного прошлого, когда он стучался к ней в дом. С известным правом можно сказать, что этот день и этот час сохраняли последние черточки влюбленного человека, каким Сван когда-то был и которого он обретал в себе вновь лишь благодаря им. Его уже давно перестала тревожить мысль, обманывала ли его Одетта, обманывает ли она его теперь. И все же несколько лет подряд он разыскивал прежних слуг Одетуы _ таким упорным было его болезненное любопытство к тому, спала ли Одетта с Форшвилем в шесть часов, в тот, такой уже давний, день. Потом и любопытство прошло, а расследование все-таки продолжалось. Сван по-прежнему пытался выяснить то, что его уже не интересовало, ибо его прежнее «я», пришедшее в полный упадок, все еще действовало машинально, под влиянием тревог, до такой степени обветшалых, что Свану уже не удавалось вызвать в воображении тоску, когда-то, однако, настолько сильную, что, казалось, она не пройдет никогда и только смерть любимой женщины (хотя, как это будет видно из дальнейшего, смерть, жестокая повторная проверка, нисколько не уменьшает мук ревности)

расчистит прегражденную дорогу его жизни.

Однако выяснить когда-нибудь случаи из жизни Одетты, из-за которых Сван так страдал, — это не было единственным его желанием, он держал про запас другое — отомстить за эти муки, отомстить, как только, разлюбив Одетту, он перестанет бояться ее; и вот наконец ему представился случай осуществить второе желание: Сван любил другую, женщину, которая не давала ему поводов для ревности и которую он все же ревновал, оттого что не способен был любить по-иному, и как любил он Одетту, так любил и другую. Этой женщине не нужно было изменить Свану для того, чтобы возродить в нем ревность, — достаточно было, чтобы по какой-нибудь причине она оказалась вдали от него — ну хотя бы на вечеринке, — и чтобы, по-видимому, ей было весело. Этого было довольно, чтобы в душе его ожила тоска, этот жалкий, сам себе мешающий нарост на его любви, — тоска, удалявшая Свана от того, что она в себе заключала (потребность в истинном чувстве, которое эта молодая женщина питала к нему, сокровенное желание наполнить собой ее дни, желание проникнуть в ее сердечные тайны), ибо между Сваном и той, которую он любил, тоска набросала несдвигающуюся груду былых подозрений, относившихся к Одетте, или, быть может, к какой-нибудь предшественнице Одетты, и дававших возможность постаревшему любовнику познавать нынешнюю возлюбленную не иначе как сквозь прежний, собирательный фантом «женщины, возбуждающей ревность», в который он произвольно воплотил новую свою любовь. Впрочем, Сван часто считал эту ревность виновницей того, что он верил в измены воображаемые; но тогда он вспоминал, что ведь и Одетту он выгораживал таким же образом — и зря. Вот почему, что бы любимая женщина ни делала без него, все перестало казаться ему невинным. Но когда-то Сван дал себе клятву: если он перестанет любить ту, которой впоследствии суждено было стать его женой, что ему тогда и во сне не снилось, то со всей беспощадностью выкажет ей равнодушие, наконец-то искреннее, и отомстит за беспрестанные удары по самолюбию, теперь же в этом орудии мести, которое он мог применить без всякого риска (что ему от того, что его поймают на слове и лишат свиданий с Одеттой, без которых он прежде не мог жить!), — в этом орудии мести он уже не нуждался: вместе с любовью исчезло и желание дать почувствовать, что он разлюбил. Когда он мучился из-за Одетты, ему так хотелось дать ей понять, что он увлечен другой, а теперь у него появилась такая возможность, однако он пускался на всевозможные ухищрения, чтобы жена не догадалась о его новой любви.

Я не только бывал на угощениях, прежде огорчавших меня, потому что

из-за них Жильберта спешила домой, — теперь я выезжал с ней и с ее матерью на прогулки или на утренники, из-за которых Жильберта прежде не приходила на Елисейские поля и я пребывал в одиночестве на лужайке или около карусели, Сваны допускали мое присутствие и на прогулках и на утренниках, у меня было место в их ландо, меня даже спрашивали, куда мне больше хочется: в театр, на урок танцев к подруге Жильберты, на светскую беседу к приятельницам Сванов (г-жа Сван называла их «маленькими meeting'ами) или осмотреть гробницы Сен-Дени.

Когда мне предстояло куда-нибудь ехать со Сванами, я приходил к ним перед завтраком, — г-жа Сван называла его lunch'ем. Сваны приглашали к половине первого, а мои родители завтракали тогда в четверть двенадцатого, и, после того как они вставали из-за стола, я направлялся к роскошному кварталу, и всегда-то безлюдному, но особенно в часы, когда все сидели по домам. Даже зимой, в мороз, если только день был ясный, время от времени поправляя свой великолепный галстук от Шарве и следя за тем, как бы не запачкать лакированных ботинок, я прохаживался по улицам до двадцати семи минут первого. Я уже издали видел, как в садике Свана сверкают на солнце, точно покрытые инеем, голые деревья. По правде сказать, в садике было всего два дерева. От неурочности часа мне всегда казалось, будто я вижу садик впервые. К наслаждению природой (усиливавшемуся от непривычки и даже от голода) примешивалось волнующее ожидание завтрака у г-жи Сван; оно не ослабляло наслаждения, — властвуя над ним, покоряя его, оно превращало его в одну из декораций светского образа жизни; вот почему, обычно в этот час ничего не замечая, в такие дни я как бы открывал заново чудную погоду, мороз, зимнее освещение: это было своего рода предисловие к омлету, это был словно налет, словно холодная розовая глазурь на облицовке таинственной капеллы, какою рисовалось мне обиталище г-жи Сван, в стенах которого было, напротив, столько тепла, столько благоуханий и столько цветов!

В половине первого я наконец решался войти в дом, который, как святочный дед, сулил мне сверхъестественные наслаждения. (Кстати сказать, ни г-жа Сван, ни Жильберта не знали слова «святки» — они заменяли его словом Christmas[7] и всегда говорили о пудинге на Christmas, о том, что им подарят на Christmas, о том, что их не будет дома, — от этого я невыносимо страдал, — по случаю Christmas. Даже у себя я считал непозволительным употреблять слово «святки» и говорил: Christmas, хотя отцу это казалось в высшей степени нелепым.)

Первый, кого я видел в доме Сванов, был лакей; через анфиладу больших гостиных он проводил меня в совсем маленькую, пустую, окна

которой уже грезили голубизною второй половины дня; я оставался в обществе орхидей, роз и фиалок, — похожие на незнакомых вам людей, кого-то ждущих вместе с вами, они хранили молчание, которому их своеобразие, — своеобразие живых существ, — придавало особую выразительность, и зябко впитывали в себя тепло, исходившее от рдевшего угля, положенного, точно некая драгоценность, за стекло, в чашечку из белого мрамора, и по временам осыпавшего грозные свои рубины.

Я садился, но, как только дверь отворялась, вскакивал; входил всего-навсего другой лакей, потом третий, — ничтожной целью этих напрасно будораживших меня явлений было подбросить угольку в огонь или налить воды в вазы. Лакеи уходили, я оставался один в ожидании, что г-жа Сван когда-нибудь да откроет затворенную лакеями дверь. И, разумеется, я бы меньше волновался в сказочной пещере, чем в этой маленькой приемной, где огонь, как мне представлялось, производит превращения, точно в лаборатории Клингсора. Опять слышались шаги, я вставал: наверно, еще один лакей, но это был Сван. «Как! Вы один? Ничего не поделаешь, моя милая супруга до сих пор не имеет представления о времени. Без десяти час. С каждым днем опоздание увеличивается, и вот посмотрите: она войдет не спеша, ей будет казаться, что еще рано». Сван был по-прежнему невроартритиком, вместе с тем он стал чудаковат, — вот почему легкомыслие жены, поздно возвращавшейся из Булонского леса, задерживавшейся у портнихи и никогда не являвшейся вовремя к завтраку, вредно действовало на желудок Свана, но зато льстило его самолюбию.

Он показывал мне новые свои приобретения и объяснял, чем они любопытны, но от волнения и от непривычки так долго ничего не есть внутри у меня было тревожно и вместе с тем пусто: я мог говорить и не мог слушать. Да и потом, мне было важно лишь, чтобы принадлежавшие Свану произведения искусства находились у него и принимали участие в усладах, предшествовавших завтраку. Если б тут была «Джоконда», она доставила бы мне не больше удовольствия, чем капот г-жи Сван или ее флаконы с солью.

Я все ждал и ждал, один или вместе со Сваном, а часто и вместе с Жильбертой, присоединявшейся к нам. Прибытие г-жи Сван, предвозвещенное столькими торжественными явлениями, я рисовал себе как нечто величественное. Я ловил каждый шорох. Но чаемая высота всегда обманывает ожидания, будь то высота собора волна в бурю или прыжок танцовщика; после ливрейных лакеев, похожих на статистов, чье шествие подготавливает и тем самым ослабляет впечатление от появления королевы, г-жа Сван, входившая крадучись, в котиковом пальтеце, с

вуалью, спущенной на кончик носа, покрасневшего от холода, не выполняла обещаний, которые она расточала в моем ожидающем воображении.

Если же она все утро проводила дома, то в гостиной появлялась в светлом крепдешиновом пеньюаре, казавшемся мне элегантнее всех ее платьев.

Иной раз Сваны сидели дома. Обедали они поздно, и вскоре после моего прихода я видел, как за ограду садика закатывается солнце того дня, который в моем представлении не должен был быть похож на другие, и, хотя слуги вносили лампы разной величины и разной формы и зажигали их на алтаре консоли, подставки, «угольника» или столика, словно для совершения некоего обряда, все же из нашей беседы ничего необычайного не рождалось, и уходил я неудовлетворенный, как часто возвращаются в детстве от полунощницы.

Однако мое разочарование было выдуманным. Я весь сиял от радости в этой комнате, куда Жильберта, если ее еще не было с нами, вот-вот должна была войти и спустя мгновенье надолго осчастливить меня словом, внимательным и веселым взглядом, каким она впервые посмотрела на меня в Комбре. Я только ревновал ее чуточку, если она часто исчезала в больших комнатах, куда вела внутренняя лестница. Волей-неволей сидя в гостиной, точно прикованный к креслу партера любовник актрисы, занятый тревожными мыслями, что сейчас происходит за кулисами, в артистическом фойе, я задавал Свану ряд искусно завуалированных вопросов относительно другой половины дома, но в моем тоне звучали беспокойные нотки. Сван объяснял, что Жильберта пошла в бельевую, предлагал мне ее показать, давал обещание, что велит Жильберте всегда брать меня туда с собой. Этими последними словами и тем разряжением, какое они во мне производили. Сван мгновенно уничтожал одно из страшных внутренних расстояний, из-за которых любимая женщина представляется нам бесконечно далекой. В такие минуты я любил его, как мне казалось, более глубокой любовью, чем Жильберту. Властелин своей дочери, он дарил ее мне, а она иногда ускользала; я властвовал над ней не непосредственно, а через посредство Свана. И потом, я ее любил, а значит, не мог смотреть на нее без волнения, без желания чего-то большего — желания, которое в присутствии любимого существа отнимает у нас ощущение любви.

Впрочем, чаще всего мы не сидели дома, а шли гулять. Иногда г-жа Сван, прежде чем одеться, садилась за рояль. Выступая из розовых или белых рукавов крепдешинового капота, часто очень ярких, красивые ее

руки вытягивали над клавиатурой пальцы движением, исполненным той же тихой печали, какая была у нее в глазах, но не в сердце. Однажды она сыграла часть сонаты Вентейля с той короткой фразой, которую так любил Сван. Но обычно более или менее сложную музыку сразу не узнаешь. Зато потом, когда эту же сонату сыграли мне раза два или три, я почувствовал, что прекрасно ее знаю. Мы не зря говорим, что услышали то-то и то-то впервые. Если бы мы в самом деле, как нам показалось, ничего не уловили при первом слушании, то и при втором и при третьем повторилось бы то же самое, и никак нельзя было бы поручиться, что десятое будет удачнее. Вероятно, в первый раз подводит не восприятие, а память. Ведь наша память по сравнению со сложностью впечатлений, с которыми она сталкивается, когда мы слушаем музыку, слаба, коротка, как у человека, который во сне думает о многом и тут же все забывает, или как у человека, наполовину впавшего в детство, который не помнит, о чем с ним только что говорили. Память не способна немедленно снабдить нас воспоминанием о многообразных впечатлениях. Однако исподволь воспоминание откладывается в ней, и когда мы прослушаем музыкальное произведение раза два или три, то мы уподобляемся школьнику, который несколько раз повторил урок перед сном и думает, что так и не выучил, а утром отвечает его наизусть. Просто-напросто я до того дня не слышал ни единого звука из этой сонаты, и оттого фраза, ясная для Свана и его жены, была далека от моего сознания, как имя, которое силишься вспомнить и на месте которого находишь пустоту, откуда час спустя, без малейших усилий с твоей стороны, сами собой выскочат те самые слоги, что еще совсем недавно никак тебе не давались. И как бы ни было прекрасно произведение искусства, с первого раза в памяти его не удержишь, более того: как это произошло у меня с сонатой Вентейля, сперва мы различаем наименее ценное в нем. Итак, я ошибался не только в том, что соната меня ничем уже будто бы не поразит (именно поэтому мне долго не хотелось послушать ее еще раз), после того как г-жа Сван проиграла из нее самую знаменитую фразу (в данном случае я был не умнее тех, что ничего не ждут от собора святого Марка в Венеции, так как представляют себе по фотографии, какой формы его купола). И даже когда я прослушал сонату с начала до конца, она почти вся осталась для меня невидимой, подобно памятнику, в котором из-за дальности расстояния или из-за тумана различаешь лишь неважные частности. Вот почему с познанием подобных произведений, как и всего, что осуществляется во времени, связано грустное чувство. Когда же мне открылось самое сокровенное в сонате Вентейля, то все, что я уловил и полюбил с самого начала, сделавшись привычным и оттого неощутимым,

стало утекать от меня, ускользать. Так как я влюблялся в то, что мне давала соната, от раза к разу, то я никогда не владел ею всей: она была похожа на жизнь. Но великие произведения искусства не так разочаровывают, как жизнь: они не дают сперва лучшего, что в них есть. Красоты, которые открываются в сонате Вентейля раньше всего, как раз скорее всего надоедают, и, конечно, потому, что они не так заметно отличаются от того, что нам уже известно. Когда же эти красоты отходят, нам ничто не мешает полюбить фразу, строй которой, слишком новый для нас, оставлял в нашем сознании смутное представление о ней, делал ее неразличимой и сохранял в неприкосновенности; и вот тут-то музыкальная фраза, мимо которой мы проходили каждый день, не узнавая ее, и которая, однако, сберегла себя, которая только в силу своей красоты сделалась невидимой и осталась непознанной, — вот тут-то она и приходит к нам самой последней. Но и мы расстаемся с ней позже, чем с другими. Мы будем любить ее дольше, потому что нам потребовалось больше времени, чтобы полюбить ее. Впрочем, время, которое нужно человеку, — как нужно оно было мне для сонаты, — чтобы постичь более или менее глубокую вещь, — только ракурс, как бы символ годов, а иногда и целых столетий, протекающих прежде, чем публика полюбит произведение искусства, действительно новое. Вот почему гений, защищаясь от непонимания толпы, быть может, убеждает себя, что современники стоят чересчур близко, а потому следует писать для потомков и его книги должны читать они, — об иных картинах судить вблизи нельзя. Но, в сущности, трусливая предосторожность, принятая против неверных суждений, бесполезна, — их все равно не избежать. Гениальное произведение не сразу вызывает восторг потому, что его создатель необычаен, на него мало кто похож. Само творение обогатит немногие умы, способные понять его, а потом уж они расплодятся и размножатся.

Квартеты Бетховена (XII, XIII, XIV и XV) полвека рождали, растили публику для квартетов Бетховена, если и не повышая ценность художника в глазах всего общества, то, по крайней мере, подобно всем великим произведениям, расширяя, — Что было немыслимо при появлении шедевра, — круг людей, способных любить его. Так называемая будущая жизнь-это будущая жизнь произведения. Нужно, чтобы произведение (для упрощения мы не принимаем в расчет гениев, при жизни параллельно готовящих для будущего лучшую публику, которая сослужит службу не им, а другим гениям) само создавало свое будущее. Если же произведение, лежавшее под спудом, становится известным только потомкам, то для него это уже не потомки, а просто-напросто собрание современников, которые

благополучно прожили все эти пятьдесят лет. Вот почему художник должен, — так именно и поступил Вентейль, — если только он хочет, чтобы его творение шло своим путем, забросить его на глубоком месте в самый расцвет и в самую даль будущего. И все же не считаться с грядущим — подлинной перспективой для произведений искусства, — это значит допустить ошибку судей неправедных; если же считаться, то в иных случаях это значит проявить опасную щепетильность судей праведных. В самом деле, это же очень удобно: впав в заблуждение, подобное тому, которое все предметы на горизонте делает однообразными, утвердиться в мысли, что все революции, происходившие до сего времени в живописи или в музыке, все-таки подчинялись известным правилам, а то, что мы наблюдаем сейчас, — импрессионизм, увлечение диссонансом, владычество китайской гаммы, кубизм, футуризм, — это вызов прошлому. Дело в том, что, оглядываясь на прошлое, мы не отдаем себе отчета, что длительная ассимиляция превратила его для нас в нечто хотя и разнообразное; но в целом однородное, в силу чего Гюго оказывается по соседству с Мольером. Можно себе представить, какая страшная получится мешанина, если, не считаясь с временем и с переменами, какие оно за собою влечет показать нам в юные годы гороскоп нашего зрелого возраста. Впрочем, все гороскопы лгут; нам волей-неволей приходится, оценивая произведение искусства, вводить в целостность его красоты фактор времени, но это значит, привносить в наше восприятие нечто столь же случайное и в силу случайности столь же лишенное подлинного интереса, как всякое пророчество, несбыточность которого вовсе не является доказательством того, что пророк умом не блещет, ибо то, что осуществляет возможное или же губит его, не непременно входит в компетенцию гения; можно быть гениальным и не верить в будущность железных дорог и аэропланов; равным образом самый тонкий психолог может не допускать мысли, что его возлюбленная или друг изменят ему, в то время как люди самые что ни на есть заурядные предугадали бы их неверность.

Сонату я не понял, но игра г-жи Сван привела меня в восторг. Казалось, ее туше, как и ее пеньюар, как благоухание на ее лестнице, как ее манто, как ее хризантемы, составляет часть целого, своеобразного и таинственного, существующего в особом мире, и мир этот бесконечно выше того, где разум обладает способностью анализировать таланты. «До чего хороша соната Вентейля, правда? — спросил меня Сван. — Особенно там, где он изображает, как темно под деревьями, там, где от скрипичных арпеджио веет ночной свежестью. Согласитесь, что это очень красиво; тут

вся статическая сторона лунного света, а ведь это его существенная сторона. Нет ничего удивительного, что лечение светом, — им лечится моя жена, — влияет на мышцы, раз лунный свет не дает шелохнуться листьям. В короткой фразе прекрасно нарисована картина Булонского леса в состоянии каталепсии. На берегу моря это еще поразительнее; естественно, что там очень хорошо слышны слабые отзвуки волн, — ведь все кругом неподвижно. В Париже не то: в лучшем случае заметишь странный свет на памятниках или небо, освещенное как бы неярким и неопасным заревом пожара — своего рода отблеском какого-то важного, хотя Н обычного происшествия. Но в короткой фразе Вентейля, как, впрочем, и во всей сонате, другое: это — Булонский лес; в группетто ясно слышится чей-то голос: „Так светло, что хоть читай газету“. Позднее эти слова Свана помешали бы мне понять сонату по-своему, — музыка многосмысленна, она допускает и такое толкование, которое вам подсказывают. Но из других замечаний Свана мне стало ясно, что это просто-напросто те самые ночные деревья, под густою листвою которых, в ресторанах парижских пригородов, столько раз он слышал короткую фразу. Вместо глубокого смысла, какого он так часто ожидал от нее, она несла ему с собой нарисованные вокруг нее, посаженные рядами, сплетающиеся густо-лиственными ветвями деревья (она вызывала в нем желание увидеть их вновь, ибо ему казалось, что она — в них, что она — их душа), она несла ему с собой всю весну, которой он не мог насладиться в былое время, оттого что, взвинченный и страдающий, он был тогда слишком неблагополучен, и которую (точно больному — вкусные вещи, какие ему нельзя было есть) она для него сберегла. О прелести вечеров в Булонском лесу соната Вентейля могла поведать ему, но расспрашивать о ней Одетту было бы бессмысленно, хотя она, так же как короткая фраза, и была постоянной его спутницей. Одетта находилась только около него (но не в нем, как мотив Вентейля), а значит, не могла видеть, — будь она хоть в, тысячу раз понятливей, — того, что никто из нас (я, по крайней мере, долго был уверен, что это правило не допускает исключений) не в силах выразить. „Правда же, это чудесно, — сказал Сван, — что звук способен отражать, как вода, как зеркало? И заметьте, что фраза Вентейля открывает лишь то, на что я не обращал внимания тогда. О моих волнениях, о моей любви она мне уже не напоминает, она все поменяла местами“. — „Мне кажется, Шарль, что это не очень любезно по отношению ко мне“. — „Не очень любезно! Ох уж эти женщины! Я просто хотел сказать молодому человеку, что музыка рисует — по крайней мере, мне — вовсе не „волю в себе“ и не „синтез бесконечного“, а, положим, старика Вердюрена в

сюртуке, осматривающего Зоологический сад. Не выходя из этой комнаты, я тысячу раз обедал с короткой фразой в Арменонвиле. Право, это совсем не так скучно, как обед с маркизой де Говожо“. Г-жа Сван рассмеялась. „Говорят, эта дама была очень увлечена Шарлем“, — пояснила мне она таким же тоном, каким незадолго до этого, говоря о Вермеере Дельфтском, сообщила: „А вы знаете, мой супруг много занимался этим художником, когда ухаживал за мной. Правда, Шарль?“ „Не наговаривайте на маркизу де Говожо“ — сказал Шарль, в глубине души весьма польщенный. «Я это слышала от других. Кажется, она очень умна; я ведь с ней не знакома. По-моему, она очень pushing[8], а в женщине умной это удивительно. Да ведь все же говорят, что она была в вас влюблена, — тут ничего обидного нет».

Сван молчал, как глухой, — это было словно бы подтверждением и вместе с тем проявлением самодовольства.

«Раз моя игра напоминает вам Зоологический сад, — продолжала г-жа Сван, в шутку притворяясь задетой, — мы можем сделать его целью нашей сегодняшней прогулки, если это интересно мальчику. Погода чудная, на вас нахлынут дорогие вашему сердцу воспоминания! Кстати о Зоологическом саде: знаете, этот юноша был уверен, что мы очень любим одну особу, — а между тем я ее „срезаю“ на каждом шагу, — госпожу Блатен! То, что ее считают нашей подругой, по-моему, для нас унизительно. Подумайте: даже доктор Котар, человек благожелательный, который дурного слова ни о ком не скажет, говорит, что от нее воняет». — «Какой ужас! У нее только и есть что необыкновенное сходство с Савонаролой. Это портрет Савонаролы, написанный Фра Бартоломео». Мания Свана находить сходство с живописными изображениями имеет под собой почву, ибо даже то, что мы называем особенным выражением, — так грустно бывает в этом убеждаться, когда любишь и хотел бы верить в единственность личности! — носит на себе отпечаток общности и встречается в разные эпохи. Но послушать Свана, так шествие волхвов, анахронистичное уже в то время, когда Беноццо Гоццоли ввел в него Медичи, выглядит теперь еще анахронистичней, потому что здесь изображено множество современников уже не Гоццоли, а Свана, то есть живущих уже не на пятнадцать веков позже Рождества Христова, а на четыре века позже самого художника. Сван утверждал, что в шествии принимают участие все чем-либо примечательные парижане, как в одном действии пьесы Сарду, где по дружбе с автором и с исполнительницей главной роли, а также в угоду моде, каждый вечер выходил покрасоваться ва сцене кто-нибудь из парижских знаменитостей: светило медицины, политический деятель, адвокат. «Но его же у нее общего с Зоологическим садом?» — «Все!» —

«Уж не думаете ли вы, что у нее небесно-голубая задница, как у обезьян?» — «Шарль, вы ведете себя неприлично! Нет, я вспомнила, что ей сказал сингалезец. Расскажите ему, — это правда „здорово“. — „А, ерунда! Знаете, госпожа Блатен старается говорить со всеми, как представляется ей самой, любезным, а на самом деле покровительственным тоном“. — „То, что наши милые соседи с Темзы называют patronising“, — перебила Одетта. „Недавно она была в Зоологическом саду, а там чернокожие, сингалезцы, — так, если не ошибаюсь, назвала их моя жена, а ведь она куда сильнее меня в этнографии“. — „Не смейтесь надо мной, Шарль“. — „Да я и не думаю смеяться. Словом, она обращается к одному из чернокожих: „Здравствуй, негритос!“ В этом, собственно, ничего оскорбительного нет. Но чернокожему это название не понравилось. Он обозлился и сказал госпоже Блатен: „Я негритос, а ты барбос!“ — „По-моему, очень смешно. Я обожаю эту историю. Ведь правда «здорово“? Я так и вижу тетушку Блатен: «Я негритос, а ты барбос!“

Я сказал, что жажду посмотреть на сингалезцев, один из которых обозвал г-жу Блатен «барбосом». Они меня нисколько не интересовали. Но я надеялся, что по дороге в Зоологический сад и на обратном пути мы проедем Аллею акаций, где я прежде любовался г-жой Сван, и что, быть может, приятель Коклена мулат, на глазах у которого я ни разу не поздоровался с ней, увидит, что я сижу с ней в коляске.

Жильберта пошла одеваться, а тем временем г-н и г-жа Сван с особым удовольствием раскрывали передо мной редкостные душевные свойства их дочери. Мои наблюдения, казалось, подтверждали их правоту; я замечал, — и об этом же рассказывала ее мать, — что она не только к подругам, но и к прислуге, к бедным проявляет деликатную, продуманную заботливость, желание порадовать их и боязнь огорчить, и все это обнаруживается у нее даже в мелочах, часто доставляющих ей немало хлопот. Она приготовила подарок своего собственного изделия для нашей знакомой торговки с Елисейских полей и, не желая откладывать его вручение ни на один день, пошла к ней в метель. «Вы не представляете себе, какое у нее золотое сердце, — она скрытная», — говорил ее отец. Несмотря на свой юный возраст, она казалась куда более благоразумной, чем ее родители. Когда Сван заговаривал о том, какие большие связи у его жены, Жильберта отворачивалась молча, не подавая виду, что она это осуждает, так как, по мнению Жильберты, ее отца нельзя было подвергать даже легкой критике. Как-то я заговорил с ней о мадмуазель Вентейль, и она мне сказала:

— Я не хочу с ней знакомиться только потому, что она дурно обращалась со своим отцом; говорят, она огорчала его. Вы-то должны меня

понять, — ведь вы переживете своего папу не на дольше, чем я своего, это вполне естественно. Человека, которого любишь всю жизнь, забыть нельзя.

Однажды она была особенно ласкова со Сваном, и, когда он ушел, я ей об этом сказал.

— Да, бедный папа, на днях годовщина смерти его отца. Вам должно быть понятно, каково ему, — вы это поймете, нам с вами такие переживания одинаково близки. Я постараюсь быть не такой плохой, как всегда.

— А он не считает, что вы плохая, — вы для него совершенство.

— Милый папа! Это потому, что он очень добрый. Господин и госпожа Сван не ограничились восхваленниями душевных свойств Жильберты — той самой Жильберты, которая, когда я еще ни разу ее не видел, являлась мне около церкви, среди природы Иль-де-Франса, той самой Жильберты, которая потом, вызывая уже не мечты, а воспоминания, всегда стояла за живой изгородью — за розовым шиповником, в нескольких шагах от крутой тропинки, по которой я шел в Мезеглиз. Когда я наигранно равнодушным тоном друга дома, которому интересно, с кем дружит ребенок, спросил г-жу Сван, кто самые близкие приятельницы Жильберты, г-жа Сван ответила так:

— Вы пользуетесь ее доверием больше, чем я, вы ее любимчик, ее crack, как говорят англичане.

При таком полном совпадении, когда действительность поджимается и подлаживается к тому, о чем мы так долго мечтали, она прячет от нас наши мечты, сливается с ними, — так два одинаковых, наложенных одно на другое изображения составляют одно, — хотя мы, наоборот, стремимся к тому, чтобы наше счастье обрело весь свой смысл, стремимся сохранить за всеми точками нашего желания, даже когда мы до него дотрагиваемся, — чтобы быть уверенными, что это именно они и есть, — исключительное право неприкосновенности. И мысль уже бессильна восстановить прежнее состояние, чтобы сопоставить его с новым, ибо ей положен предел: добытые нами знания, воспоминание о первых нежданных мгновеньях и услышанные нами слова загораживают вход в наше сознание, завладевают выходами для нашей памяти в еще большей степени, чем выходами для воображения, оказывают более мощное действие на наше прошлое, на которое мы теперь имеем право смотреть только сквозь них, чем на не утратившую свободы форму нашего будущего. Я мог убеждать себя в течение нескольких лет, что надежда попасть к г-же Сван — это нелепость, бред; стоило мне провести у нее четверть часа, и теперь уже то время, когда я был с ней не знаком, стало нелепостью и бредом, как возможность,

уничтоженная осуществлением другой возможности. Что уж тут было думать о столовой Сванов как о месте непредставимом, если я не мог вообразить ни одного движения без того, чтобы не встретиться с негасимыми лучами, которые отбрасывал назад, в бесконечность, вплоть до самого далекого моего прошлого, только что съеденный мною омар по-американски? И Сван, наверно, замечал за собой нечто подобное: с комнатами, где он меня принимал, для него, быть может, сливались и совпадали не только грезившиеся мне комнаты, но еще и другие — те, которые ревнивая любовь Свана, не менее изобретательная, чем мои мечты, так часто ему рисовала, общие комнаты, Одетты и его, казавшиеся ему такими недоступными хотя бы в тот вечер, когда Одетта позвала его вместе с Форшвилем выпить оранжаду; а в плане столовой, где мы завтракали, заключался для него прежде нечаянный рай, где, как это ему представляло его всегда в такие минуты беспокойное воображение, он скажет их метрдотелю те самые слова: «Барыня готова?», которые он при мне говорил теперь отчасти с легким нетерпением, отчасти — с удовлетворенным самолюбием. Я тоже, как, вне всякого сомнения, Сван, не мог постичь свое счастье, и когда Жильберта восклицала: «Могли ли вы думать, что та самая девочка, на которую вы только смотрели, как она играет в догонялки, но с которой вы не решались заговорить, станет вашим близким другом и что вы будете к ней приходить в любой день?» — я вынужден был признать из двух перемен только одну: внешнюю, но не внутреннюю, ибо не мог рисовать себе и ту и другую одновременно — иначе их нельзя было бы различить.

И все же эти комнаты именно потому, что прежде Сван напрягал всю силу своей воли, чтобы туда проникнуть, по всей вероятности, сохраняли для него что-то от былой своей прелести, о чем я мог судить по себе, так как для меня они не окончательно утратили своей таинственности. Войдя в дом Сванов, я не совсем изгнал из него то особое очарование, каким я так долго его окутывал; я лишь заставил его отступить, и оно покорилось чужому человеку, парии, каким я был теперь и которому мадмуазель Сван любезно пододвигала кресло, чудное, враждебное и возмущенное; но память моя все еще различает это очарование вокруг меня. Не потому ли, что в дни, когда г-н и г-жа Сван приглашали меня позавтракать, а потом погулять вместе с ними и с Жильбертой, я, поджидая их в одиночестве, оттискивал взглядом на ковре, на креслах, на консолях, на ширмах, на картинах запечатлевшуюся во мне мысль, что сейчас сюда придет г-жа Сван, или ее муж, или Жильберта? Не потому ли, что эти предметы жили с тех пор в моей памяти, рядом со Сванамн, и в конце концов что-то взяли от

них? Не потому ли, что, как это мне было известно, Сваны находились в непосредственном окружении всех этих предметов, я превратил их в нечто вроде эмблем частной жизни Сванов, в нечто вроде эмблем обычаев Сванов — обычаев, от которых я так долго был далек, что они все еще казались мне чужими, даже после того как мне разрешили к ним приобщиться? Всякий раз, когда я вспоминаю гостиную, в которой Свану (критиковавшему ее без намерения пойти наперекор вкусам жены) не нравилась ее пестрота, ибо она была задумана отчасти как оранжерея, отчасти как ателье, вроде той комнаты, где он прежде встречался с Одеттой, но потом Одетта начала заменять в этой мешанине китайские вещи, ибо ей стало казаться, что в них есть что-то «невсамделишное», что они «из другой оперы», множеством креслиц, обитых старинным шелком Людовика XVI (это помимо шедевров, перевезенных Сваном из особняка на Орлеанской набережной), — моя память, напротив, наделяет разностильную эту гостиную слитностью, единством, неповторимым очарованием. какого совершенно лишены даже ансамбли, которые передало нам в целости и сохранности прошлое, равно как и самоновейшие, с печатью личного вкуса, ибо это только мы, благодаря нашей вере, что вещи живут своей, независимой жизнью, способны те, что у нас перед глазами, наделить душой, которую они потом хранят и развивают внутри нас. Все мои представления о часах, непохожих на те, что существуют для других, о часах, проводившихся Сванами в их комнатах, которые для обычного их времяпрепровождения являлись тем же, чем тело является для души, и которые должны были отражать особый уклад их жизни, — все мои представления, всегда одинаково волнующие, непередаваемые в слове, проникли, вросли в расстановку мебели, в толщину ковра, в расположение окон, в обхождение прислуги. Когда, в солнечный день, мы переходили после завтрака пить кофе в широкий залитый солнцем залив гостиной и г-жа Сван спрашивала, сколько мне положить кусков сахару, то не только шелковый пуф, который она мне пододвигала, вместе с горестным очарованием, какое я прежде ощущал под розовым боярышником, потом возле куп лавровых деревьев — ощущал в самом имени Жильберты, — не только шелковый пуф источал неприязнь, которую прежде питали ко мне ее родители и которую эта скамеечка, казалось, хорошо понимала и разделяла, так что я считал незаслуженной для себя честью и даже отчасти низостью положить ноги на беззащитную ее обивку; тайный духовный союз связывал пуф с дневным светом, в этом месте иным, чем во всем заливе, где играли его золотистые волны, из которых волшебными островами выплывали голубоватые диваны и мглистые ковры; даже в картине Рубенса, висевшей

над камином, не было такого же рода и почти одинаковой силы очарования, что и в ботинках на шнурках, какие носил Сван, и в предмете моих мечтаний — в его пальто с пелериной, которое Одетта считала недостаточно элегантным, по каковой причине, — когда я оказывал Сванам честь, отправляясь с ними на прогулку, — она требовала от мужа купить себе новое. Одетта тоже уходила переодеваться, хотя для меня ни одно «выходное» ее платье не могло идти в сравнение с чудным крепдешиновым или шелковым капотом, то бледно-розовым, то вишневым, то розовым «Тьеполо», то белым, то сиреневым, то зеленым, то красным, то сплошь желтым или с разводами, в котором г-жа Сван завтракала и который она сейчас собиралась снять. Когда я говорил, что она и так могла бы выйти, она смеялась — то ли подшучивая над моим невежеством, то ли от удовольствия, какое ей доставил мой комплимент. В оправдание себе она говорила, что у нее потому так много пеньюаров, что только в них ей хорошо, и уходила от нас, чтобы надеть один из тех ослепительных туалетов, которые обращают на себя всеобщее внимание и среди которых мне, однако, иногда предлагалось выбрать, какой мне больше нравится.

У Зоологического сада мы выходили из экипажа, и до чего же я бывал горд, когда шагал рядом с г-жой Сван! Она шла небрежной походкой, манто у нее развевалось, я бросал на нее восхищенные взгляды, а она кокетливо отвечала на них долгой улыбкой. Когда мы встречали кого-нибудь из знакомых Жильберты, мальчика или девочку, они кланялись нам издали, и теперь уже они смотрели на меня с завистью, как на друга Жильберты, знакомого и с ее родными, причастного к той ее жизни, что протекала не на Елисейских полях.

В аллеях Булонского леса или Зоологического сада с нами часто здоровались знатные дамы — приятельницы Свана, и когда Сван не замечал их, ему указывала на них жена: «Шарль! Вы что, не видите? Это госпожа Монморанси». И Сван с приветливой улыбкой, к которой его приучили долгие годы близкого с ними знакомства, снимал шляпу широким жестом, с присущей ему одному элегантностью. Иные останавливались, им было приятно сказать г-же Сван любезность, которая ни к чему их не обязывала и которой она наверняка не воспользовалась бы, ибо Сван приучил ее держаться в тени. Впрочем, это не помешало г-же Сван приобрести светский лоск, и, как бы дама ни была элегантна и величественна, она ей не уступала; остановившись на минутку, она знакомила нас, Жильберту и меня, с приятельницей мужа так просто, в ее приветливости было столько непринужденности и спокойствия, что трудно было сказать, кто из них знатная дама: жена Свана или прогуливавшаяся

аристократка. В тот день, когда мы ходили смотреть сингалезцев, на возвратном пути нам встретилась пожилая, но все еще красивая дама в темном манто, в шляпке, подвязанной на шее ленточками, сопровождаемая двумя другими дамами, как бы составлявшими ее свиту. «Вот с кем вам будет интересно познакомиться!» — сказал мне Сван. Пожилая дама была уже в трех шагах от нас и обворожительно-ласково улыбнулась. Сван снял шляпу, г-жа Сван присела в реверансе и хотела было поцеловать руку даме, точно сошедшей с портрета Винтергальтера, но та подняла ее и поцеловала. «Да наденьте же шляпу!» — сказала она Свану грубым голосом и, на правах близкой знакомой, слегка ворчливо. «Позвольте вас представить ее высочеству», — обратилась ко мне г-жа Сван. Затем Сван отвел меня в сторону, а в это время г-жа Сван говорила с ее высочеством о погоде и о новых животных в Зоологическом саду. «Вы знаете, — сказал Сван, — принцесса Матильда — приятельница Флобера, Сент-Бева, Дюма. Вы только подумайте: она — племянница Наполеона Первого! Ее рушь просили Наполеон Третий и русский император. Разве это не интересно? Поговорите с ней. Одно плохо: простоишь тут из-за нее целый час. Я встретил Тэна, — обратился Сван к даме, — он мне сказал, что принцесса поссорилась с ним». — «Он форменная свинья, — резким тоном сказала дама, произнеся последнее слово так, как» если бы это было имя какого-нибудь епископа времен Жанны д'Арк. — После его статьи про императора я отказала ему от дома». Я смотрел на нее с тем изумлением, какое вызывает переписка герцогини Орлеанской, урожденной принцессы Палатинской. В самом деле, принцесса Матильда выражала свой французский патриотизм с присущей старой Германии простосердечной грубостью, которую она, вне всякого сомнения, унаследовала от матери, уроженки Вюртемберга. Когда же она улыбалась, ее грубоватую, почти мужскую откровенность смягчала итальянская томность. И все это облегал туалет, до такой степени выдержанный во вкусе Второй империи, что, хотя принцесса, разумеется, носила его из любви к старинным модам, казалось, будто она старательно избегает исторических ошибок и стремится оправдать ожидания тех, что ждут от нее воскрешения старины. Я шепотом попросил Свана узнать у нее, была ли она знакома с Мюссе. «Очень мало, мсье, — ответила она с таким видом, будто вопрос Свана рассердил ее, и, уж конечно, она назвала его „мсье“ в насмешку: ведь они же были близкие друзья. — Один раз он у меня обедал. Я позвала его к семи часам. В половине восьмого мы сели за стол без него. В восемь он явился, поздоровался со мной, уселся, не проронил ни единого звука, а после обеда ушел, так что я его голоса не слыхала. Он был мертвецки пьян. После этого

у меня отпала охота продолжать знакомство». Мы со Сваном стояли в сторонке. «Надеюсь, наша беседа не затянется, — сказал он, — а то у меня пятки болят. Зачем моя жена поддерживает разговор? Не понимаю! Потом сама же будет жаловаться на усталость, а я просто не выношу этих стояний». Г-жа Сван как раз в это время пересказывала принцессе то, что сама узнала от г-жи Бонтан: правительство поняло наконец, что поступило по-хамски, и решило послать принцессе приглашение быть послезавтра на трибуне во время посещения царем Николаем Дома инвалидов. Но принцесса, несмотря на то, как она себя держала, несмотря на то, что окружала она себя главным образом художниками и литераторами, в сущности оставалась племянницей Наполеона, которая напоминала о себе всякий раз, когда принцессе нужно было действовать. «Да, как раз сегодня утром я получила приглашение и отослала его министру — наверно, он уже его получил. Я ответила, что не нуждаюсь в приглашении, чтобы ходить в Дом инвалидов. Если правительство желает, чтобы я присутствовала, то я буду, но не на трибуне, а в нашей усыпальнице, у гробницы императора. Для этого пригласительные билеты мне не нужны. У меня есть ключи. Я туда вхожу, когда хочу. Правительство должно только поставить меня в известность, угодно ему мое присутствие или нет. Но если я буду присутствовать, то только там, и больше нигде». В это время нам — г-же Сван и мне — поклонился, не останавливаясь, молодой человек: я не знал, что она знакома с Блоком. На мой вопрос г-жа Сван ответила, что его представила ей г-жа Бонтан, что служит он в министерстве, — для меня это было новостью. Впрочем, она, по-видимому, встречалась с ним не часто, а может быть, ей не хотелось называть не очень «шикарную», с ее точки зрения, фамилию Блок, — как бы то ни было, она переименовала его в Мореля. Я стал уверять ее, что она ошибается, что его фамилия — Блок. Принцесса поправила волочившийся за ней трен, которым любовалась г-жа Сван. «Русский император как раз и прислал мне эти меха, — сказала принцесса, — и я хочу ему показать, что они пошли мне на манто». — «Я слышала, что принц Людовик зачислен в русскую армию, — могу себе представить, ваше высочество, как вам тяжело, что он не с вами», — молвила г-жа Сван, не замечавшая знаков нетерпения, какие ей делал муж. «Он сам этого хотел! Я же ему говорила: „Это не нужно: в твоей семье уже был один военный“, — сказала принцесса, с грубым простодушием намекая на Наполеона I. Свану не стоялось на месте: „Ваше высочество“! Я позволю себе воспользоваться вашей привилегией и попрошу вас разрешения откланяться: дело в том, что моя жена очень плохо себя чувствует, и ей вредно так долго стоять». Г-жа Сван опять сделала

реверанс, а принцесса одарила нас божественной улыбкой, словно извлеченной ею из прошлого, из очарования своей молодости, из компьенских вечеров, и после того, как эта улыбка, ласковая, непритворная, пробежала по ее лицу, только что выражавшему неудовольствие, она удалилась вместе с двумя фрейлинами, которые, подобно переводчицам, боннам или сиделкам, в виде знаков препинания расставляли в нашем разговоре незначащие фразы и ненужные объяснения. «Вам не мешало бы расписаться у нее на этой не деле, — сказала мне г-жа Сван. — У всех этих royalties. как их называют англичане, углы визитных карточек н загибают, но если вы распишетесь, она вас к себе пригласит».

Кое-когда в эти последние зимние дни мы заходили; перед прогулкой на какую-нибудь из небольших выставок, которые тогда открывались и где Свану, известному коллекционеру, с особой почтительностью кланялись продавцы картин, устраивавшие эти выставки у себя. И в это еще холодное время года прежние мои мечты о поездке на юг и в Венецию оживали при виде зал, где уже наступившая весна и жаркое солнце бросали лиловатые отблески на розовые отроги Альп и придавали Canale grande темную прозрачность изумруда. В плохую погоду мы шли в концерт или в театр, а потом заходили куда-нибудь выпить чаю. Когда г-же Сван нужно было что-то сказать мне так, чтобы не было слышно за соседними столиками и чтобы не слыхали официанты, она говорила, со мной по-английски, как будто только мы двое и знали этот язык. Между тем на нем умели изъясняться все, кроме меня, и я вынужден был признаваться в этом г-же Сван для того, чтобы она перестала делать насчет тех, кто пил чай, или тех, кто его разносил, не слишком лестные, насколько я мог догадаться, замечания, которые оставались непонятными мне, но из которых ни единого слова не пропадало для тех, в кого она метила.

Однажды в связи с утренним спектаклем Жильберта привела меня в крайнее изумление. Это было как раз в тот день, о котором она мне говорила еще раньше на который приходилась годовщина смерти ее дедушки. Мы, — она, ее гувернантка и я, — собирались послушать сцены из оперы, и Жильберта ради этого принарядилась, сохраняя, однако, равнодушный вид, какой у нее обычно появлялся, когда мы предпринимали что-нибудь такое, что, по ее словам, было совершенно безразлично ей, но могло доставить удовольствие мне и заслужить одобрение родителей. Перед завтраком г-жа Сван отвела нас с ней в сторону и сказала, что отцу будет неприятно, если в такой день мы пойдем в концерт. Мне это было вполне понятно. У Жильберты был все тот же безучастный вид, она только побледнела от злости и не сказала ни слова. Когда вышел Сван, Одетта

отошла с ним в дальний угол гостиной и что-то прошептала ему на ухо. Он позвал Жильберту и увел в соседнюю комнату. Оттуда послышались громкие голоса. Я не мог допустить, чтобы Жильберта, послушная, ласковая, благоразумная, не исполнила просьбу отца в такой день и из-за таких пустяков. Наконец Сван, выходя из той комнаты, сказал ей:

— Ты знаешь мое мнение. Поступай, как тебе угодно. Весь завтрак Жильберта просидела с искаженным от злобы лицом, а затем мы ушли к ней в комнату. И вдруг, без малейших колебаний, как будто их у нее и не было, Жильберта воскликнула:

— Два часа! Вы же знаете, что начало концерта в половине третьего.

И стала торопить гувернантку.

— Но ведь ваш отец будет недоволен? — спросил я.

— Нисколько.

— Он боялся, как бы это не показалось неприличным в связи с годовщиной.

— Какое мне дело до того, что подумают другие? По-моему, это смешно — считаться с другими, когда речь идет о чувствах. Чувствуют для себя, а не для общества. Если барышня в кои-то веки идет в концерт и для нее это праздник, я бы не стала лишать ее развлечения ради того, чтобы угодить обществу.

Она хотела надеть шляпку.

— Нет, Жильберта, — сказал я и взял ее за руку, — не ради того, чтобы угодить обществу, а чтобы сделать приятное вашему отцу.

— Пожалуйста, без нравоучений! — грубым тоном сказала она и вырвала у меня руку.

Мало того, что Сваны брали меня в Зоологический сад и в концерт, — они оказали еще более ценную для меня милость: они не выключили меня из своей дружбы с Берготом, а ведь эта дружба и придавала им в моих глазах очарование еще в ту пору, когда я, не будучи знаком с Жильбертой, полагал, что благодаря ее близости с божественным старцем она могла бы сделаться самым желанным моим другом, если бы презрение, какое я, видимо, ей внушаю, не отняло у меня надежды, что когда-нибудь она предложит мне побывать вместе с ним в любимых его городах. И вот как-то раз г-жа Сван пригласила меня на званый обед. Я не знал, кто еще; будет у них в гостях. В передней я был сразу озадачен одним обстоятельством и оробел. Г-жа Сван по возможности старалась угнаться за всеми модами, которые в течение одного сезона казались красивыми, но не прививались и проходили (так, много лет назад у нее был свой handsome cab[9], потом на

приглашениях к обеду у нее бывало напечатано: to meet[10] с каким-нибудь более или менее важным лицом). По большей части эти люди не содержали в себе ничего таинственного и посвящения в тайну не требовали. Так, например (ничтожное новшество тех лет, вывезенное из Англии!), Одетта заказала для мужа визитные карточки, на которых перед «Шарль Сван» стояло Mr. После первого моего визита к неб г-жа Сван загнула у меня угол одной из таких «картонок», как она их называла. У меня никто еще не оставлял визитных карточек; я был горд, взволнован и в знак благодарности купил на все свои деньги великолепную корзину камелий и послал г-же Сван. Я умолял отца занести ей карточку, но предварительно как можно скорее заказать новые, с Mr[11] перед именем. Отец не исполнил ни одной из этих просьб; несколько дней я был в полном отчаянии, а потом подумал, что, пожалуй, он прав. Мода на Mr хотя и глупая, но, по крайней мере, понятная. Этого нельзя сказать о другой, с которой я столкнулся в день званого обеда, так и не уразумев ее смысла. Когда я проходил из передней в гостиную, метрдотель подал мне тонкий, длинный конверт, на котором была написана моя фамилия. Я изумленно поблагодарил и посмотрел на конверт. Я не знал, что с ним делать, подобно иностранцу, который, попав на обед к китайцам, не знает, что делать с маленькими предметами, какие у них раздают гостям. Я убедился, что конверт запечатан, побоялся показаться нескромным, если распечатаю тут же, и, понимающе взглянув на метрдотеля, положил конверт в карман. За несколько дней перед этим я получил от г-жи Сван письменное приглашение пообедать у них «в тесном кругу». Оказалось, что она позвала шестнадцать гостей, в частности, — чего уж я никак не мог подозревать, — Бергота. «Назвав» меня гостям, г-жа Сван вслед за моим именем и таким же тоном (словно только нас двоих и пригласили на обед и как будто мы оба были одинаково рады познакомиться) произнесла имя седого сладкогласного Певца. При имени Бергот я хотя и вздрогнул, как будто в меня выстрелили из револьвера, но инстинктивно, чтобы не выдавать своего волнения, поклонился; мне ответил поклоном на поклон, — так сквозь пороховой дым, из которого вылетает голубь, виден оставшийся невредимым фокусник в сюртуке, — молодой человек, мешковатый, низенький, плотный, близорукий, с красным носом, похожим на раковину улитки, и с черной бородкой. Мне стало смертельно грустно, ибо разлетелся прахом не только образ старца, который исполнен томления, но и красота могучего творчества: я мог вместить эту красоту, как в некий храм, воздвигнутый мной для нее, в слабый, священный организм, но ей не было места в очутившемся передо

мной, сплошь состоявшем из кровеносных сосудов, костей и нервных узлов приземистом человечке с курносым носом и черной бородкой. Весь Бергот, которого я творил медленно, осторожно, по капле, как создаются сталактиты, из прозрачной красоты его книг, — этот Бергот мгновенно утратил всякое значение, поскольку надо было ему оставить раковиноподобный нос и надо было что-то делать с черной бородкой; так перечеркивается решение задачи, если мы не вчитались в условия и не заглянули в ответ, какая сумма должна у нас получиться в итоге. Нос и бородка представляли собой неустранимые слагаемые, тем более тягостные, что, заставляя меня наново создать личность Бергота, они словно содержали в себе, производили, беспрестанно выделяли особый вид ума, деятельного и самодовольного, но от этого ума лучше было держаться подальше, ибо он ничего общего не имел с мудростью, разлитой в книгах Бергота, которые я так хорошо знал и в которых жил миротворный, божественный разум. Отправляясь от книг, я так бы и не дошел до раковинообразного носа; но, отправляясь от носа, которому, казалось, все нипочем: он сам себе господин и знать ничего не желает, я двигался в направлении, противоположном творчеству Бергота, и натыкался на склад ума какого-нибудь вечно спешащего инженера, который считает нужным, когда с ним здороваются, сказать: «Спасибо, а вы как?» — не дожидаясь вопроса, как поживает он, и отвечает на заявление о том, что с ним рады познакомиться, с отрывистостью, кажущейся ему самому учтивой, остроумной и вместе с тем современной, потому что она дает возможность не тратить драгоценного времени на пустословие: «Взаимно». Конечно, имена — рисовальщики-фантазеры: они делают столь мало похожие наброски людей и стран, что на нас часто находит нечто вроде столбняка, когда вместо мира воображаемого нам предстает мир видимый. (А впрочем, и этот мир тоже не настоящий: ведь по части уловления сходства наши чувства не намного сильнее нашего воображения, — вот почему рисунки с действительности, в общем приблизительные, во всяком случае, так же далеки от мира видимого, как далек он сам от мира воображаемого.) Что же касается Бергота, то его имя, этот предварительный набросок, связывало меня гораздо меньше, чем его творчество, которое я знал, и вот теперь я должен был прикрепить к нему, точно к воздушному шару, господина с бородкой, не зная, хватит ли сил у шара поднять его. И все же это наверное он написал мои любимые книги, потому что когда г-жа Сван сочла своим долгом сказать ему о моем увлечении одной из них, он нисколько не был удивлен тем, что она говорит об этом именно ему, а не кому-нибудь еще из гостей, и не усмотрел в этом недоразумения; но,

распялив сюртук, который он надел в честь гостей, своим телом, предвкушавшим обед, сосредоточив внимание на других важных вещах, он, словно при напоминании о давнем эпизоде из его далекого прошлого, как будто речь шла о костюме, в котором герцог де Гиз появился в таком-то году на костюмированном балу, улыбнулся при мысли о своих книгах, и они мгновенно пали в моих глазах (увлекая за собой в своем крушении всю ценность Прекрасного, ценность вселенной, ценность жизни), — пали так низко, что уже казались мне всего лишь дешевой забавой господина с бородкой. Я говорил себе, что, наверное, он имеет к ним отношение, но что если б он жил на острове, вокруг которого водятся жемчужницы, он с успехом занимался бы торговлей жемчугом. Творчество уже не казалось мне неотъемлемым его свойством. И я спросил себя: в самом ли деле оригинальность служит доказательством того, что великие писатели — боги, правящие каждый одному ему подвластным миром, нет ли тут доли обмана, не являются ли черты, отличающие одно произведение от другого, скорее результатом усилий, чем выражением существенного, коренного различия между людьми?

Наконец все пошли к столу. Подле моей тарелки я обнаружил гвоздику, стебель которой был обернут в серебряную бумагу. Гвоздика смутила меня не меньше, чем в передней — конверт, о котором я совершенно забыл. Эта мода, хотя тоже для меня новая, оказалась более понятной, как только я увидел, что все мужчины взяли по гвоздике, лежавшей около их приборов, и засунули ее себе в петлицу. Я последовал их примеру с непринужденностью вольнодумца, который, находясь в церкви и не зная литургии, встает, когда встают все, а на колени опускается чуть-чуть позже. Еще одна мода, тоже мне неизвестная, но более земная, еще меньше пришлась мне по нраву. Около моей тарелки стояла другая, маленькая, с каким-то черным веществом, всегонавсего — с икрой, о которой я тогда еще не имел понятия. Я не знал, как с ней обращаться, и потому решил не есть ее.

Бергот сидел недалеко от меня, мне было слышно каждое его слово. И тут я понял маркиза де Норпуа. В самом деле, голос у Бергота был странный; ничто так не влияет на голосовые данные, как направление мыслей: звучность дифтонгов, сила губных зависят от него. И дикция тоже. Дикция Бергота показалась мне совершенно непохожей на его слог, и даже то, о чем он говорил, было непохоже на то, что составляло содержание его книг. Но голос исходит из уст маски, его одного недостаточно, чтобы под маской мы сразу разглядели лицо, которое открылось нам в стиле. И лишь временами в берготовой манере выражаться, которая могла показаться

неестественной и неприятной не только маркизу де Норпуа, я с трудом обнаруживал точное соответствие тем местам в его книгах, где язык становился таким поэтичным и музыкальным. Тогда в том, что он говорил, ему виделась пластическая красота, не зависящая от смысла фраз, но ведь человеческое слово соотносится с душой, а не выражает ее, как выражает стиль, — вот почему казалось, что то, о чем говорит Бергот, иные слова проборматывая, иные, если он стремился к тому, чтобы под их оболочкой означился некий единый образ, растягивая без интервалов, произнося как один звук, с утомительной монотонностью, почти не имеет смысла.

Таким образом, вычурность, высокопарность и монотонность являлись особыми художественными приемами его устной речи, являлись, когда он разговаривал, следствием той же самой способности, благодаря которой он создавал в своих книгах вереницу музыкальных образов. Я сразу заметил, — и это мне было особенно больно, — что то, о чем он в такие минуты говорил, именно потому, что это исходило непосредственно от Бергота, не производило впечатления, что это Бергот. Это был наплыв точных мыслей не в «стиле Бергота», а в стиле, усвоенном многими газетчиками; и это несоответствие, — в разговоре проступавшее смутно, как проступает изображение сквозь закопченное стекло, — вероятно, было другой стороной явления, заключавшегося в том, что любая странница Бергота не имела ничего общего с тем, что мог бы написать кто угодно из пошлых его подражателей, хотя и в газетах и в книгах они, не скупясь, украшали свою прозу образами и мыслями «под Бергота». Различие в стиле объяснялось тем, что «берготовское» — это прежде всего нечто драгоценное и подлинное, таящееся внутри чего-либо и добытое оттуда гением великого писателя, и вот это добывание и составляло цель сладкогласного Певца, а вовсе не желание писать, как Бергот. Откровенно говоря, воля его тут не участвовала, — он действовал так, а не иначе, потому что он был Берготом, и с этой точки зрения каждая из красот его творения представляла собой частицу самого Бергота, которая скрывалась в чем-либо и которую он извлек. Но хотя в силу этого каждая красота напоминала другие красоты и легко узнавалась, все же она была единственной, как и открытие, благодаря которому она появилась на свет; она была новой, следовательно, не похожей на то, что именовалось «стилем Бергота», представлявшим собой неопределенный синтез всех Берготов, которых он уже нашел и выразил и которые не давали бездарностям ни малейшей возможности предугадать, что же еще он откроет. Это свойство всех великих писателей: красота их фраз нечаянна, как красота женщины, которую ты еще не знаешь; красота есть творчество, ибо они наделяют ею

предмет внешнего мира — предмет, о котором, — а вовсе не о себе, — они думают и который они еще не изобразили. Современный мемуарист, умеренно подражающий Сен-Симону, в лучшем случае может написать начало портрета. Вилара: «Это был смуглый мужчина довольно высокого роста… с лицом живым, открытым, особенным…» — но никакой детерминизм не поможет ему найти конец: «…и, по правде сказать, глуповатым». Истинное разнообразие — это вот такое изобилие правдивых и неожиданных подробностей, это осыпанная голубым цветом ветка, вопреки ожиданиям вырывающаяся из ряда по-весеннему разубранных деревьев, которыми, казалось, уже насытился взгляд, тогда как чисто внешнее подражание разнообразию (это относится ко всем особенностям стиля) есть лишь пустота и однообразие, иначе говоря — полная противоположность разнообразию, и только тех, кто не повял, что же такое разнообразие настоящего мастера, иожет ввести в заблуждение мнимое разнообразие подражателей, только им оно может напомнить мастера.

Дикция Бергота, по всей вероятности, восхищала бы слушателей при том непременном условии, чтобы он был любителем, читающим якобы из Бергота, на самом же деле она была органически связана с действующей, работающей мыслью Бергота, вот только связь эта не сразу улавливалась на слух, равным образом и речь Бергота, становившаяся — в силу того, что она верно отражала пленявшую его действительность, — становившаяся до известной степени рассудочной, чересчур питательной, разочаровывала тех, кто ждал, что он будет говорить об «извечном потоке видимостей» да о «таинственном трепете красоты». Словом, то всегда неожиданное и новое, что было в его книгах, в разговорной речи оборачивалось столь сложным способом решать вопросы, пренебрегая торными путями, что можно было подумать, будто он цепляется за мелочи, будто он заблуждается, будто он щеголяет парадоксами, и мысли его чаще всего казались смутными, ибо каждый человек считает ясными только те мысли, которые в своей смутности не превосходят его собственные. Впрочем, поскольку для того, чтобы ощутить новизну, прежде всего необходимо отделаться от шаблона, ставшего для нас привычным, принимаемого нами за действительность, всякая новая речь, так же как всякая оригинальная живопись, так же как всякая оригинальная музыка, непременно покажется вычурной и трудной для восприятия. Новая речь строится на фигурах, к которым мы не приучены; нам кажется, что человек изъясняется только при помощи метафор, а это утомляет и производит впечатление неискренности. (Ведь и старинные обороты речи тоже казались слушателю малопонятными образами в те времена, когда он еще не знал отразившегося в них мира. Но

уже давно люди привыкли именно так рисовать себе действительный мир, и на этом успокоились.) Вот почему, когда Бергот, — теперь это кажется таким простым! — говорил про Котара, что это чертик в коробочке, пытающийся сохранить равновесие, а про Бришо, что он «больше следит за своей» прической, чем госпожа Сван, оттого что у него двойная забота: о своем профиле и о своей репутации; у него так должны лежать волосы, чтобы он в любой момент мог сойти и за льва и за философа», — то это скоро приедалось, люди признавались, что им хотелось бы перейти в область чего-то более определенного, о чем можно говорить в более привычных выражениях. Непонятные слова, исходившие из уст маски, которую я видел сейчас перед собой, во что бы то ни стало нужно было соотнести с моим любимым писателем, а между тем они упорно не желали вкладываться в его книги, как вкладываются одна в другую коробочки, они находились в другом плане, они требовали перемещения, и вот, когда я однажды произвел такое перемещение, повторяя фразы., какие при мне произносил Бергот, я обнаружил в них всю оснастку стиля его произведений; в его устной речи, которая мне сначала показалась такой непохожей на них, я обнаружил приметы этого стиля и мог на них указать.

Если говорить о деталях, то его особая манера слишком четко, с сильным нажимом, выговаривать иные слова, иные прилагательные, которые часто повторялись в его речи и которые он произносил не без напыщенности, по слогам, а последний слог — нараспев (в слове «обличье», которым он имел обыкновение заменять слово «облик», он удесятерял звуки «б», «л», «ч», и они словно взрывались, как бы вылетая из его разжимавшейся в такие минуты горсти), точно соответствовала почетному месту, на какое он ставил в прозе свои любимые слова, выгодно их освещая, оставляя перед ними нечто вроде «полей», вводя их в состав фразы таким образом, что читателю приходилось во избежание нарушения ритма принимать в расчет всю их «величину». И все же в разговорной речи Бергота отсутствовал свет, часто изменяющий в его книгах, так же как в книгах некоторых других писателей, внешний вид слова. Само собой разумеется, этот свет исходит из глубины, и его лучи не озаряют наших слов, когда в разговоре мы открываемся для других, но в известной мере бываем закрыты для себя. Если взглянуть на Бергота с этой точки зрения, то окажется, что его книги богаче интонациями, богаче ударениями, которые автор делал не для красоты слога — он их не замечал, ибо они неотделимы от его сущности. Эти-то ударения в тех местах его книги, где он был самим собой, и придавали ритмичность даже словам наименее важным по смыслу. Эти ударения никак не обозначены в тексте, ничто на

них не указывает, они сами прикрепляются к фразам — и фразы уже нельзя произнести п-оиному, и вот это и есть самое неуловимое и вместе с тем самое глубокое в писателе, это — свидетельство об его натуре, свидетельство о том, что он был нежен, несмотря на все свои грубости, чувствителен — несмотря на всю свою чувственность.

Некоторые речевые особенности, слабо ощущавшиеся у Бергота, не были ему одному присущими чертами: когда я потом познакомился с его братьями и сестрами, то обнаружил, что у них они выражены гораздо ярче. У всех появлялся какой-то отрывистый хриплый звук, когда они произносили последние слова веселой фразы, у всех голос словно падал и замирал в конце фразы печальной. Сван, знавший мэтра, когда тот был еще мальчиком, рассказывал мне, что уже тогда у него, точно так же, как у его братьев и сестер, слышались эти переходы, в известной мере наследственные, от крика бурной радости к шепоту тягучего уныния, и что в комнате, где они играли, он лучше всех вел свою партию в этих то оглушительных, то затихавших концертах. Как бы ни был своеобычен звук человеческого голоса, он недолговечен, он не переживает самого человека. С выговором семейства Бергот дело обстояло иначе. Трудно понять, даже когда слушаешь «Мейстерзингеров», как удалось композитору сочинить музыку, подражающую щебету птиц, и все же Бергот сумел транспонировать и закрепить в своей прозе растягиванье слов, повторяющихся в восторженных кликах или опадающих во вздохах скорби. В его книгах встречаются окончания фраз, где скопились долго не смолкающие созвучия, как в последних звуках увертюры, которая никак не может кончиться ивсе повторяет последнюю каденцию до тех пор, пока дирижер не положит палочки, и вот в этих созвучиях я потом обнаружил музыкальное соответствие фонетическим трубам семейства Бергот. А писатель Бергот, перенеся их в свои книги, бессознательно перестал прибегать к ним в разговоре. Как только он начал писать, верней сказать — позже, когда я с ним познакомился, его голос разоркестрировался навсегда.

Молодые Берготы, — будущий писатель, его братья и сестры, — были, конечно, не выше, а ниже умных и тонких молодых людей, которые находили, что Берготы шумливы, иначе говоря — вульгарноваты, которых раздражали их шуточки, характерные для «стиля» всей семьи — этой смеси вычурности с глупостью. Но для гения, даже для большого таланта важно не столько то, что его интеллект не так остер, а манера держать себя в обществе не так изящна, как у других, сколько уменье переключать и перенаправлять их. Чтобы согреть жидкость при помощи электрической лампочки, нужна вовсе не самая сильная лампа, — нужно, чтобы ток

лампы перестал освещать, чтобы он изменился и вместо света давал тепло. Чтобы двигаться по воздуху, необходим вовсе не наиболее мощный мотор, а такой, который, прекратив бег по, земле, избрал вертикальное направление и превратил свою горизонтальную скорость в восходящую силу. Равным образом гениальные произведения создают не те, что постоянно общаются с самыми утонченными натурами, не самые блестящие собеседники, люди не самой широкой культуры, но те, что обладают способностью, вдруг перестав жить для самих себя, превращать свою индивидуальность в подобие зеркала, с тем, чтобы в нем отражалась их жизнь, быть может, ничем не примечательная с точки зрения светской и даже, в известном смысле, с точки зрения интеллектуальной, ибо гениальность заключается в способности отражать, а не в свойствах отражаемого зрелища. В тот день, когда молодой Бергот сумел показать читателям безвкусную гостиную, где прошло его детство, и рассказать о своих малоинтересных разговорах с братьями, — в тот день он поднялся над уровнем друзей его дома, хотя они были и умнее и развитее его; возвращаясь домой в прекрасных роллс-ройсах, они могли с некоторым презрением говорить о вульгарности Берготов, а он на своем скромном аэроплане, наконец «оторвавшемся от земли», летал над ними.

Другие особенности речи сближали его уже не с членами семьи, а с современными писателями. Самые из них молодые не признавали его, утверждали, что между ними и Берготом никакой интеллектуальной близости не существует, и все же эта близость сказывалась в том, что они употребляли те же наречия, те же предлоги, какие без конца повторял он, в том, что они так же строили фразу, говорили так же тихо и медленно — это была их реакция на плавное красноречие предшествующего поколения. Эти молодые люди, — дальше мы увидим, что такие случаи бывали, — могли и не знать Бергота. Но его мышление, которое они усвоили, потребовало нового синтаксиса и нового звучания, ибо и то и другое находится в прямой связи с оригинальностью мысли. Связь эту, впрочем, не так легко установить. Слег Бергота был совершенно своеобразен, а в устной речи он подражал своему старому товарищу, хотя этот товарищ, изумительный собеседник, под чьим обаянием находился Бергот и которому он подражал в разговоре, был менее даровит и ничего выше Бергота за всю свою жизнь не написал. Таким образом, если не выходить за пределы устной речи, Бергот оказался бы учеником, второстепенным писателем, но, испытывая на себе влияние своего друга в разговорной речи, как писатель он был оригинален, он был творцом. Когда Бергот хорошо отзывался о чьей-нибудь книге, он — еще и для того, конечно, чтобы лишний раз отмежеваться от

предшествующего поколения, любившего отвлеченности и пышные фразы, — всегда выделял, всегда отмечал образ или картину, не имевшие символического значения. «Да, да! Это хорошо! — говорил он. — Там есть девочка в оранжевом платке. Да, это хорошо!» Или: «Ну как же! Там есть такое место, где по городу проходит полк. Как же, как же! Это хорошо!» Как стилист, он был несовременен (зато он был в высшей степени национален, ненавидел Толстого, Джорджа Элиота, Ибсена и Достоевского): когда он хвалил чей-нибудь слог, он непременно употреблял слово «нежный»: «Да, все-таки у Шатобриана я больше люблю „Атала“, чем „Рене“, — по-моему, это нежнее». Он произносил это слово, как его произносит врач в ответ на жалобы больного, что от молока у него болит живот: «А ведь это очень нежная пища». Да ведь и слогу самого Бергота свойственно благозвучие — сродни тому, за какое восхваляли своих ораторов древние, но с трудом постигаемое нами, ибо мы привыкли к новым языкам, не ищущим подобного рода эффектов.

Когда же разговор заходил о произведениях самого Бергота и ему выражали восторг, он отвечал с застенчивой улыбкой: «По-моему, это в общем верно, в общем точно, это может быть полезным», — отвечал только из скромности: так отвечает женщина, когда ей говорят, что у нее чудесное платье или чудесная дочь: «Удобное», или: «У нее хороший характер». Инстинкт строителя был у Бергота достаточно чуток, и он не мог не знать, что единственное доказательство того, что он выстроил нечто полезное и правильное, — это радость, какую оно доставило в первую очередь ему самому, а потом и другим. И лишь много лет спустя, когда Бергот уже исписался, всякий раз, как из-под его пера выходило произведение, которым он был недоволен, но которое он, вместо того чтобы уничтожить, выпускал в свет, он твердил — теперь уже самому себе: «Все-таки это в общем точно, это небесполезно для моей родины». Слова были те же самые, но раньше он шептал их своим поклонникам из ложной скромности, а теперь — тайникам своей души, чтобы успокоить уязвленное самолюбие. То, что прежде служило Берготу ненужным доказательством ценности его первых произведений, с годами превратилось в пусть тщетное, но все же утешение, какого требовала посредственность последних его произведений

Известная строгость вкуса, стремление писать только то, о чем можно было сказать: «Это нежно», все, из-за чего он столько лет считался бесплодным, манерным художником, чеканщиком пустячков, и составляло секрет его силы: ведь привычка вырабатывает стиль писателя и характер человека, и если автор несколько раз получил удовлетворение от того, что достиг в выражении своей мысли некоторого очарования, он уже навсегда

ограничивает свой талант, подобно человеку, который часто отдается во власть наслаждения, лени, страха боли и, рисуя сам себя, ретуширует свои пороки так, что их уже не узнать, ретуширует пределы своей добродетели.

Если, однако, несмотря на обилие общих черт между писателем и человеком, которое я установил впоследствии, у г-жи Сван я сначала не поверил, что передо мной Бергот, автор стольких божественных книг, пожалуй, я был не так уж неправ: ведь и он — в истинном смысле слова — «верил» в это не больше, чем я. Он заискивал перед светскими людьми (хотя и не был снобом), перед литераторами, перед журналистами, которые были гораздо ниже его, а значит — не верил. Разумеется, он, признанный всеми уже тогда, знал, что у него такой талант, рядом с которым вес в обществе и официальное положение решительно ничего не стоят. Знал, что у него есть талант, но не верил этому, так как по-прежнему был притворно почтителен с посредственными писателями и благодаря этому скоро прошел в академики, хотя Академия и Сен-Жерменское предместье имеют такое же отношение к области вечного Духа, к которой принадлежит писатель Бергот, как к категории причинности или к идее бога. Он знал об этом так же, как бесплодно знает клептоман, что воровать дурно. Человек с бородкой и с носом в виде раковины прибегал к хитростям джентльмена, ворующего вилки, — прибегал ради того, чтобы приблизиться к желанному академическому креслу, к какой-нибудь герцогине, которая могла обеспечить ему несколько голосов на выборах, но так приблизиться, чтобы никто из тех, кто считал некрасивым преследовать подобную цель, не заметил его подходов. Он добивался полууспеха: речи подлинного Бергота перемежались речами Бергота — эгоиста, честолюбца, который только и думал, как бы завязать беседу с могущественными людьми, знатными или богатыми, и таким образом придать себе цену, — думал тот, кто в своих книгах, когда он был самим собой, ясно показывал, как сильно очарование бедности!

Что касается других пороков Бергота, на которые намекал маркиз де Норпуа, — а намекал он на то, что привязанность Бергота можно отчасти рассматривать как кровосмешение, и на то, что, ко всему прочему, Бергот был якобы нечистоплотен в делах денежных, — то если они и вступали в кричащее противоречие с тенденцией последних его романов, в которые он вложил столько проявляющегося и в мелочах мучительного страха утратить душевную чистоту, страха, отравляющего даже маленькие радости героев и наполняющего сердца читателей тоской, от которой даже баловням судьбы становится тошно жить на свете, все же эти пороки, — пусть даже их приписывали Берготу не зря, — не могли бы служить доказательством, что

его писания — ложь и что необычайная его чувствительность — комедия. Подобно тому как по видимости сходные патологические явления вызываются чересчур сильным или, наоборот, чересчур слабым напряжением, выделением и т. д., точно так же иные пороки проистекают из сверхчувствительности, а иные — из отсутствия какой бы то ни было чувствительности. Быть может, только действительно порочная жизнь способна дать толчок к постановке нравственной проблемы во всей ее грозной силе. И эту проблему художник решает не в плане личной жизни, но в плане того, что для него является жизнью подлинной, и решение это — решение обобщенное, решение художественное. Как великие учителя церкви, родившиеся на свет хорошими людьми, часто начинали с познания грехов всего человечества и в конце концов достигали святости, так же часто и великие художники, родившиеся на свет людьми дурными, пользуются своими пороками, чтобы прийти к постижению кодекса морали для всех. Именно пороки (или просто слабости, смешные черты) своей среды, противоречивость суждений, легкомыслие и безнравственность своих дочерей, измену жен и свои собственные грехи особенно часто бичевали писатели, не меняя, однако, ни своей жизни, ни дурного тона, царившего у них в доме. Но во времена Бергота этот контраст был еще разительнее, чем прежде: с одной стороны, по мере того как развращалось общество, представления о нравственности становились чище, а с другой, читатели знали теперь о частной жизни писателей больше, чем раньше; иной раз вечером в театре появлялся писатель, которым я так восхищался в Комбре, и уже одно то, с кем он сидел в ложе, представлялось мне необыкновенно смешным или грустным комментарием, беззастенчивым опровержением тезиса, который он защищал в последнем своем произведении. Не из рассказов тех-то и тех-то почерпнул я многое об отзывчивости и черствости Бергота. Один из близких ему людей приводил мне доказательства его жестокости, человек, с которым он был не знаком, приводил пример (тем более трогательный, что Бергот явно не рассчитывал на то, что это станет известно) его непритворной сердечности. Бергот жестоко поступил с женой. Но на постоялом дворе, где Бергот расположился на ночлег, он задержался для того, чтобы ухаживать за несчастной женщиной, которая хотела утопиться, а перед отъездом оставил хозяину много денег, чтобы он не выгнал бедняжку и позаботился о ней. Быть может, по мере того как великий писатель развивался в Берготе за счет человека с бородкой, личная его жизнь тонула в потоке вымышленных им жизней, и он уже не считал себя обязанным быть верным долгу своей жизни, раз у него была теперь другая обязанность: воссоздавать в своем

воображении жизнь других людей. Но, воссоздавая в своем воображении чувства других людей так, как если бы это были его чувства, Бергот, когда случай хотя бы на самое короткое время сталкивал его с обездоленным, смотрел на него не со своей точки зрения — он ставил себя на место страдающего человека, и с этой точки зрения ему были бы ненавистны рассуждения людей, которые, глядя на чужие страдания, продолжают думать о мелких своих интересах. Потому-то он и вызывал к себе правый гнев и неистребимую благодарность.

Прежде всего это был человек, в глубине души любивший по-настоящему лишь некоторые образы и (как любят миниатюру на дне шкатулки) любивший создавать их и живописать словами. За какой-нибудь пустяк, — в том случае, если этот пустяк служил ему поводом сплести его с другими, — он рассыпался в благодарностях, а за дорогой подарок не благодарил вовсе. И если б ему довелось оправдываться перед судом, он невольно выбирал бы не те слова, какие могли бы произвести на судью впечатление, а по принципу образности, на которую судья, конечно, и внимания бы не обратил.

В тот день, когда я впервые увидел Бергота у родителей Жильберты, я сказал ему, что недавно видел Берма в «Федре»; он заметил, что в сцене, когда она поднимает руку на высоту плеча, — в одной из тех сцен, за которые, ей как раз особенно шумно аплодировали, — ее искусство по своему высшему благородству напоминает дивные изваяния, которые она, может быть, никогда не видала, — напоминает делающую то же самое движение Гесперидy с олимпийской метопы или прелестных дев древнего Эрехтейона.

— Это, наверно, прозрение, хотя я допускаю, что она бывает в музеях. Любопытно было бы *уследить* . («Уследить» — одно из тех излюбленных выражений Бергота, которое подхватывали молодые люди, нигде с ним не сталкивавшиеся: это было нечто вроде внушения на расстоянии.)

— Вы имеете в виду кариатиды? — спросил Сван.

— Нет, нет, — ответил Бергот, — если не считать той сцены, где Берма признается в своей страсти Эноне и где она делает такое же движение рукой, как Гегесо со стелы на Керамике, она возрождает еще более древнее искусство. Я подразумевал Коры из древнего Эрехтейона; должен сознаться, что, пожалуй, трудно вообразить что-нибудь более далекое от искусства Расина, но ведь уже существует столько Федр… одной больше… Да и потом, до чего хороша эта маленькая Федра шестого века, до чего хороша вертикальная линия ее руки, локон «под мрамор», — найти все это было совсем не просто. Тут, гораздо больше античности, чем во многих

книгах нынешнего года, которые были названы «античными».

В одну из книг Бергота входило знаменитое обращение к древним статуям, поэтому сказанное им сейчас было мне совершенно ясно и могло только подогреть мой интерес к игре Берма. Я пытался оживить ее в моей памяти такой, какою она была в сцене, где она поднимала руку на высоту плеча. И я говорил себе: «Вот Гесперида Олимпийская; вот сестра одной из дивных орант Акрополя; вот что такое благородное искусство». Но чтобы эти мысли еще украсили в моих глазах жест Берма, Берготу следовало высказать их до спектакля. Тогда, в то время как эту позу актрисы я видел воочию, в тот миг, когда это явление обладало всей полнотой бытия, я мог бы постараться составить по нему представление о древней скульптуре. Но от Берма в этой сцене у меня сохранилось лишь воспоминание, уже неизменное, худосочное, как образ, лишившийся глубокой подпочвы, где можно рыться и откуда на самом деле можно извлечь что-нибудь новое, образ, которому нельзя задним числом навязать толкование, уже не поддающееся проверке, не поддающееся объективному анализу. Желая принять участие в разговоре, г-жа Сван обратилась ко мне с вопросом, не забыла ли Жильберта дать мне брошюру Бергота о «Федре». «У моей дочери ветер в голове», — прибавила она. Бергот, застенчиво улыбнувшись, заметил, что написанное им не представляет интереса. «Нет, нет, ваш этюдик, ваш маленький tract[12] — это такая прелесть!» — возразила г-жа Сван, — ей хотелось показать, какая она хорошая хозяйка дома, хотелось, чтобы Бергот знал, что она читала его брошюру, и еще ей хотелось говорить комплименты Берготу не за все подряд, а с выбором, хотелось руководить им. И она в самом деле вдохновляла его, но только не так, как она предполагала. В сущности, между блестящим салоном г-жи Сван и целой гранью творчества Бергота существовала столь тесная связь, что для нынешних стариков одно может служить комментарием другому.

Я стал делиться впечатлениями. Многие из них представлялись Берготу неверными, но он не прерывал меня. Я сказал, что мне понравился зеленый свет в тот момент, когда Федра поднимает руку. «Как будет рад декоратор — это настоящий художник! Я ему передам — он очень гордится этим эффектом. Я, по правде сказать, от него не в восторге — как будто все залито морской водой, а маленькая Федра — ни дать ни взять коралловая веточка на дне аквариума. Вы скажете, что это подчеркивает космический смысл драмы. Это верно. И все же это было бы уместней в пьесе, действие которой происходит в царстве Нептуна. Я прекрасно знаю, что там есть и мщение Нептуна. Боже мой, я вовсе не требую, чтобы помнили только о Пор-Ройяль, да ведь Расин-то изображал не любовь морских ежей. Но в

конце концов то, что задумал мой друг, все-таки очень сильно и, в сущности, красиво. Ведь вам-то это понравилось, вы-то это поняли, правда? В сущности, мы с вами сходимся; его эффект довольно бессмыслен, но, в конце концов, это очень неглупо». Когда я бывал не согласен с Берготом, я не считал, что мне нужно умолкнуть, что мне ему нечего ответить, как в разговоре с маркизом де Норпуа. Это не значит, что суждения Бергота были легковеснее суждений посла, напротив. Сильная мысль передает частицу своей силы противнику. Являясь одной из общих духовных ценностей, она внедряется, прививается в сознании того, кто ее опровергает, среди близких ей мыслей, с помощью которых сознание дополняет ее, уточняет, и это дает ему некоторое преимущество, — таким образом, конечный вывод до известной степени представляет собою творчество обоих участников спора. Только на мысли, которые, собственно говоря, мыслями не являются, на мысли шаткие, не имеющие точки опоры, не пустившие ростка в сознании противника, противник, натыкаясь на полнейшую пустоту, не знает, что ответить. Доводы маркиза де Норпуа (в спорах об искусстве) не получали отпора, потому что за ними не стояла реальность.

Бергот не отмахнулся от моих суждений, и я ему признался, что маркиз де Норпуа отнесся к ним с презрением. «А, старый дятел! — воскликнул Бергот. — Он заклевал вас, потому что все люди представляются ему мошками и букашками». «А вы разве знаете Норпуа?» — спросил меня Сван. «Он скучен, как осенний дождик, — вмешалась г-жа Сван; она очень прислушивалась к мнениям Бергота, а потом, конечно, боялась, что маркиз де Норпуа насплетничал нам на нее. — Я как-то после обеда заговорила с ним, но то ли он уж очень стар, то ли осовел, только он промямлил что-то невразумительное. По-моему, маркизу необходим допинг!» — «Да, пожалуй, — согласился Бергот, — он подолгу молчит, чтобы не исчерпать до конца вечера запас глупостей, от которых оттопыривается воротник его рубашки и надувается его белый жилет». — «По-моему, и Бергот, и моя жена чересчур строги, — заметил Сван; дома он выступал в „амплуа“ резонера. — Я понимаю, что вам должно быть не очень интересно с Норпуа, но если подойти к нему с иной точки зрения (Сван был собирателем курьезов), то он довольно любопытен, довольно любопытен как „любовник“. Когда Норпуа исполнял обязанности секретаря посольства в Риме, — убедившись, что Жильберта не слышит, продолжал Сван, — он был без ума от своей парижской возлюбленной и находил предлоги два раза в неделю ездить в Париж, чтобы провести с ней два часа. Надо отдать ей справедливость, это очень умная женщина, а тогда

она была еще и прелестна, — теперь она богатая вдовушка. Но таких, как она, в те времена было много. Я бы сошел с ума, если б моя любимая жила в Париже, а я торчал бы в Риме. Нервным людям надо влюбляться в „невеликих птиц“, как говорит простой народ, — чтобы денежный расчет ставил любимую женщину в зависимое положение». Тут Сван понял, что я могу применить это правиле к нему самому и к Одетте. А ведь даже у людей выдающихся, и притом в такие минуты, когда они вместе с вами как будто бы высоко парят над жизнью, самолюбие остается мелким, — вот почему Сван вдруг почувствовал ко мне сильную антипатию. Проявилось это у него в беспокойном взгляде. Не сказал же он мне ничего. Удивляться тут особенно нечему. Когда Расин, — это выдумка, но такие случаи бывают в Париже на каждом шагу, — намекнул при Людовике XIV на Скаррона, то самый могущественный в мире король в тот вечер ничего не сказал поэту. А на другой день поэт впал в немилость.

Всякая теория требует, чтобы ее изложили полностью, а потому Сван поборол минутное раздражение, протер монокль и дополнил свою мысль словами, пророческий смысл которых мне был тогда недоступен — он открылся мне позже: «Но такая любовь опасна: зависимость женщины на время успокаивает ревность мужчины, но зато потом ревность эта становится все неотвязней. У заключенных и днем и ночью горит свет, — так легче за ними следить, — вот такой же тюремный режим в иных случаях создают женщинам. Дело обычно кончается драмой».

Я снова заговорил о маркизе де Норпуа. «Не верьте ему — у него злой язык», — сказала г-жа Сван, так подчеркивая эти слова, что мне стал ясен ее намек на то, что маркиз де Норпуа говорит гадости именно про нее, а Сван взглянул на жену с упреком, точно желая остановить ее.

Между тем Жильберте уже два раза напоминали, что пора одеваться, а она все еще, сидя между матерью и отцом и ластясь к нему, слушала, о чем мы говорим. Казалось, трудно себе представить большее несходство, чем между брюнеткой г-жой Сван и этой рыжеволосой девушкой с золотистой кожей. Но мгновение спустя вы узнавали в Жильберте много черт — например, нос, с внезапной и непреклонной решимостью срезанный незримым скульптором, который творит с помощью своего резца для нескольких поколений, — много взглядов, движений матери; если взять сравнение из другой области искусства, то Жильберта напоминала не очень похожий портрет г-жи Сван, которую художник из колористической прихоти заставил позировать полуряженой, в костюме венецианки, как будто она собирается на костюмированный бал. На ней белокурый парик, этого мало: из ее тела изъято все темное, и оттого кажется, будто на ней,

лишенной черных покровов, почти совсем нагой, накрытой лишь светом внутреннего солнца, грим лежит не только сверху — он въелся ей в кожу; Жильберта словно изображала сказочного зверька или мифологическое существо. Светлая кожа досталась ей от отца — природа, создавая Жильберту, словно поставила перед собой задачу: немножко переделать г-жу Сван, но под руками у нее не оказалось ничего, кроме кожи Свана. И природа отлично сумела воспользоваться ею, подобно столяру, который старается уберечь малейшее утолщение на дереве, малейший нарост. На лице у Жильберты, около одного из крыльев носа, в точности воспроизводившего нос Одетты, кожа натянулась для того, чтобы сохранить в неприкосновенности две родинки Свана. Это была разновидность г-жи Сван, выращенная рядом с ней, так же как белую сирень выращивают подле лиловой. Не следует, однако, представлять себе демаркационную линию между двумя подобиями абсолютно четкой. Временами, когда Жильберта смеялась, на ее лице — лице матери — можно было различить овал щеки отца, как будто их соединили, чтобы посмотреть, что получится из такой смеси; овал едва намечался, тянулся вкось, округлялся, потом сейчас же исчезал. Выражение лица Жильберты напоминало добрый, открытый взгляд отца; когда она подарила мне агатовый шарик и сказала: «Это вам на память о нашей дружбе», — она смотрела на меня именно так. Но стоило спросить Жильберту, что она делала, и в тех же самых глазах мелькали смущение, неуверенность, притворство, тоска — точь-в-точь как давным-давно у Одетты, когда Сван спрашивал, где она была, и она отвечала ему ложью — той ложью, которая приводила в отчаяние любовника и которая теперь заставляла его, нелюбопытного и благоразумного мужа, мгновенно менять разговор. На Елисейских полях я часто с тревогой ловил этот взгляд у Жильберты. В большинстве случаев — зря. У Жильберты это была черта чисто внешнего сходства с матерью; взгляд ее — по крайней мере, в таких обстоятельствах — ничего не означал. Она была всего-навсего в школе, ей всего-навсего пора было на урок, а ее зрачки двигались так же, как некогда у Одетты — от страха, как бы не открылось, что днем она принимала любовника или что она спешит на свидание. Так две натуры — Свана и его жены — колыхались, отливали, набегали одна на другую в теле этой Мелюзины.

Общеизвестно, что ребенок бывает похож и на отца и на мать. Но распределение достоинств и недостатков происходит очень странно: из двух достоинств, у кого-нибудь из родителей представляющихся нераздельными, у ребенка проявляется только одно, и притом в сочетании с недостатком другого родителя — казалось бы, несовместимым. Более того:

врастание душевного качества в противоположный ему физический недостаток часто является законом семейного сходства. Одна из двух сестер унаследует вместе с горделивой осанкой отца мелочную натуру матери; другая, умом вся в отца, покажет этот ум в обличье матери: такой же толстый нос, бугристый живот и даже голос матери превратятся у нее в покровы дарований, которые прежде славились величественной внешностью. Таким образом, о каждой из сестер можно с достаточным основанием говорить, от кого ей больше передалось — от отца или от матери. Жильберта была, правда, единственной дочерью, и все же существовало, по крайней мере, две Жильберты. Две натуры, отцовская и материнская, не слились в ней; они боролись за нее, но и это будет неточное выражение: из него можно заключить, будто некая третья Жильберта страдала от того, что являлась добычей тех двух. Итак. Жильберта бывала то той, то другой, а в каждый определенный момент — какой-нибудь одной, например неспособной, когда она бывала не такой хорошей, от этого страдать, потому что лучшая Жильберта по причине своего кратковременного отсутствия не имела возможности заметить этот изъян. Равным образом худшей из двух могли доставлять удовольствие довольно пошлые развлечения. Когда в одной говорило отцовское сердце, у нее появлялась широта взглядов, и тогда вам хотелось совершить вместе с ней какое-нибудь благородное, доброе дело, вы говорили ей об этом, но в тот момент, когда надо было решиться, вступало в свои права материнское сердце; и отвечало вам оно; и вы были разочарованы и раздражены — почти озадачены, как будто человека подменили, — мелочностью соображений и неспроста отпускаемыми шуточками, забавлявшими Жильберту, ибо они исходили от той, какою она была в настоящий момент. Разрыв между двумя Жильбертами бывал иногда велик настолько, что вы задавали себе — бессмысленный, впрочем, — вопрос: что вы ей сделали, почему она так переменилась? Она же сама назначила вам свидание и не только не пришла, не только не извинилась, но, — независимо от того, что помешало ей прийти, — представала перед вами потом настолько другой, что вам могло бы показаться, будто вы — жертва обманчивого сходства, на котором построены «Близнецы», будто это не она с такою нежностью в голосе говорила, как ей хочется вас видеть, — могло бы, если б не ее плохое настроение, под которым таились сознание вины и желание избежать объяснений.

— Да иди же, ты нас задерживаешь, — сказала ей мать.

— Мне так уютно около папочки! Еще минутку! — попросила Жильберта и уткнулась головой в плечо отца, ласково перебиравшего

белокурые ее волосы.

Сван принадлежал к числу людей, которые долго жили иллюзиями любви и которые убедились, что, позаботившись о благосостоянии многих женщин и тем осчастливив их, они не заслужили признательности, не заслужили нежности; зато в своем ребенке они ощущают привязанность, которая воплощена даже в фамилии и благодаря которой они будут жить и после смерти. Шарля Свана не будет, зато будет мадмуазель Сван или мадам Х., урожденная Сван, и она будет любить по-прежнему своего ушедшего из жизни отца. Может быть, даже слишком горячо любить, — наверное, думал Сван, потому что он сказал Жильберте: «Ты хорошая девочка», — растроганно, как говорят люди, тревожащиеся за судьбу человека, которому суждено пережить нас и который слишком к нам привязан. Чтобы скрыть волнение, Сван принял участие в нашем разговоре о Берма. Обращаясь ко мне, он заметил, — тон у него был, однако, равнодушный, скучающий, словно ему хотелось дать понять, что это его не очень затрагивает, — как умно, как неожиданно правдиво прозвучали у актрисы слова, которые она говорит Эноне: «Ты Это знала!» Он был прав: верность, по крайней мере, этой интонации была мне в самом деле ясна и, казалось бы, могла удовлетворить мое желание подвести прочный фундамент под мее восхищение игрою Берма. Но именно в силу своей понятности она его и не удовлетворяла. Интонация была деланная, заранее придуманная, однозначная, она существовала как бы сама по себе, любая умная актриса сумела бы ее найти. Мысль была прекрасная, но кто вполне постигнет ее, тому она и достанется. За Берма сохранялось то преимущество, что она ее нашла, но можно ли употреблять слово «найти», когда речь идет о нахождении чего-то такого, что не отличается от заимствованного у других, чего-то такого, что по существу принадлежит не вам, коль скоро кто-нибудь другой может это воспроизвести вслед за вами?

«Как вы, однако, своим присутствием умеете *повысить уровень разговора!* — сказал мне, словно оправдываясь перед Берготом, Сван, научившийся у Германтов принимать знаменитых художников как хороших знакомых, угощая их любимыми блюдами, сажая за игру, а в деревне предлагая заняться каким-угодно спортом. — Если не ошибаюсь, у нас был интересный разговор об искусстве», — добавил он. «Очень интересный. Я так это люблю!» — подхватила г-жа Сван, бросая на меня признательный взгляд — во-первых, из добрых чувств, а во-вторых, потому, что она сохранила давнее свое пристрастие к умным разговорам. Бергот теперь говорил с другими, главным образом — с Жильбертой. Я рассказывал ему о всех своих переживаниях с непринужденностью, которая удивляла меня

самого и которая объяснялась тем, что, приобретя за несколько лет (в течение стольких часов, когда я сидел один за книгой и когда Бергот был для меня только лучшей частью меня самого) привычку быть искренним, откровенным, доверчивым, я стеснялся его меньше, чем кого бы то ни было другого, с кем я говорил бы впервые. И тем не менее именно поэтому меня очень беспокоило, какое я на него произвожу впечатление, — мысль, что он должен отнестись к моим суждениям презрительно, возникла у меня не теперь, а в давно прошедшие времена, когда я начал читать его в нашем саду в Комбре. Мне следовало бы сказать себе, что раз я искренне, а не напоказ, увлекаюсь Берготом и в то же время испытываю непонятное мне самому чувство неудовлетворенности в театре, то эти два душевных движения не противоборствуют, а, наоборот, подчиняются одним и тем же законам и что образ мыслей Бергота, который я так люблю в его книгах, не может быть совершенно чужд и враждебен моему разочарованию и моей неспособности выразить его. Ведь мое мышление должно быть единым, и, может статься, в самом деле существует только одно мышление, с которым все люди сосуществуют, мышление, на которое каждый из глубины своего особенного существа устремляет взгляд, как в театре, где у каждого свое место, но зато одна сцена. Разумеется, мне хотелось разобраться не в тех мыслях, в которые обычно погружался в своих книгах Бергот. Но если бы мышление было у нас обоих одинаковое, то Бергот, слушая меня, должен был бы вспомнить свои мысли, полюбить их, улыбнуться им, но, вероятно, вопреки моим предположениям, перед его умственным взором находилась другая сторона мышления, противоположная той, срез которой вошел в его книги и по которой я судил о всем его внутреннем мире. Священники, обладающие широчайшим душевным опытом, легче всего отпускают грехи, которых они сами не совершают, — вот так же и гений, обладающий широчайшим мыслительный опытом, легче всего постигает идеи, наиболее противоположные тем, что составляют основу его произведений. Все это мне следовало сказать себе, хотя в этом нет ничего особенно приятного, так как благосклонность высоких умов неизбежно влечет за собой непонимание и враждебность со стороны посредственностей; радость же, доставляемая благожелательностью великого писателя, которую в конце концов можно вычитать и из его книг, не может сравниться с муками, причиняемыми враждебностью женщины, на которой ты остановил свой выбор не за ее ум, но разлюбить которую ты не в силах. Все это мне следовало бы сказать себе, но я этого себе не сказал, я был уверен, что Бергот счел меня за дурака и вдруг Жильберта прошептала мне на ухо:

— Я в восторге: вы покорили Бергота — моего большого друга. Он

сказал маме, что вы на редкость умны.

— А куда мы поедем? — спросил я Жильберту.

— Да куда угодно! Вы же знаете: туда ли, сюда ли — мне…

Однако после случая, происшедшего в годовщину смерти ее деда, я стал задумываться: такой ли характер у Жильберты, каким я его себе представляю; а что, если ее безразличие к тому, что затевается, ее благоразумие, спокойствие, неизменно кроткая покорность таят в себе бурные страсти, которым она из самолюбия не дает вырываться наружу и которые проявляются у нее лишь во внезапном упрямстве, когда они наталкиваются на случайное сопротивление?

Бергот жил в том же квартале, что и мои родители, и мы с ним поехали вместе; дорогой он заговорил о моем здоровье: «Я слышал от наших общих друзей, что вы больны. Я очень вам сочувствую. Впрочем, я вам не так уж сочувствую: я убежден, что у вас есть духовные радости, и, вероятно, они для вас важнее всего, как для каждого, кто их изведал».

Увы! Я-то знал, что я совсем не такой, что любая, самая высокая мысль оставляет меня холодным, что я счастлив, когда я просто брожу, счастлив, если у меня хорошее самочувствие; я — то знал, что жду от жизни чисто физических наслаждений, знал, как легко было бы мне ни о чем не думать. Среди своих радостей я не отличал тех, что проистекали из иных, более или менее глубоких и постоянных источников, а потому, отвечая Берготу, я подумал, что мне хотелось бы познакомиться с герцогиней Германтской, хотелось бы почаще ощущать, как в старой податной конторе на Елисейских полях, сырость, напоминавшую мне Комбре. Ну, а такой жизненный идеал, — идеал, о котором я не смел заикнуться Берготу, — для духовных радостей места не оставлял.

— Нет, духовные радости для меня мало что значат, я к ним и не стремлюсь, я даже не знаю, испытывал ли я их когда-нибудь.

— Ну что вы! — воскликнул Бергот. — Да нет, послушайте: все-таки вы их ни на что другое не променяете, — иначе я вас себе не представляю, я в этом уверен.

Разумеется, он меня не переубедил, но дышалось мне теперь легче, свободнее. После разговора с маркизом де Норпуа я стал смотреть на свою мечтательность, восторженность, доверчивость как на нечто чисто субъективное, ненастоящее. А из слов Бергота, который как будто понимал меня, вытекало, что мои сомнения, мое недовольство собой нельзя принимать всерьез. Особенно его мнение о маркизе де Норпуа ослабляло силу приговора, который мне до сих пор представлялся обжалованию не подлежащим.

«Вы лечитесь? — спросил Бергот. — Кто за вами наблюдает?» Я ответил, что меня навещал и, наверно, будет навещать Котар. «Это совсем не то, что вам нужно! — вскричал Бергот. — Я не знаю, какой он врач. Но я его видел у госпожи Сван. Осел! Даже если предположить, что это не мешает быть хорошим врачом, в чем я, однако, сомневаюсь, то это мешает быть хорошим врачом художников, врачом людей интеллигентных. Таким людям, как вы, нужны необычные врачи, я бы даже сказал, нужен особый режим, особые лекарства. Котар вам наскучит, а ничто так не сводит на нет лечение, как скука. Да вас и нельзя лечить, как всякого другого. У интеллигентных людей болезнь на три четверти проистекает из их интеллигентности. Им, во всяком случае, требуется врач, разбирающийся в этой болезни. А разве Котар может вас вылечить? Он установил, что вы плохо перевариваете соусы, установил, что желудок у вас не в порядке, но он не установил, что вы читали Шекспира… Словом, вы не оправдываете его построений, равновесие нарушено, чертик всякий раз подскакивает. Котар найдет у вас расширение желудка, — для этого ему не надо осматривать вас, оно уже у него в глазах. Вы можете его увидеть — оно отражается у него в пенсне». Эта манера выражаться очень меня утомляла; с тупостью, присущей здравому смыслу, я уверял себя: «Расширение желудка отражается в пенсне профессора! Котара не лучше, чем белый жилет маркиза де Норпуа скрывает его глупость». «Я бы вам посоветовал, — продолжал Бергот, — обратиться к доктору дю Бульбону — это вполне интеллигентный человек». — «Он ваш большой поклонник», — заметил я. Я убедился, что Бергот об этом знает, и пришел к выводу, что родственные души сходятся быстро, что настоящих «неведомых друзей» на свете немного. Мнение Бергота о Котаре поразило меня — настолько оно было противоположно моему. Меня ничуть не тревожило, будет ли мне скучно с моим врачом; я надеялся, что благодаря искусству, законы которого мне недоступны, он, подвергнув меня тщательному осмотру, произнесет неоспоримое суждение о моем здоровье. А предпримет ли он попытку с помощью своего мышления постигнуть мое, быть может более развитое, но в котором я видел лишь само по себе не представляющее ценности средство постижения объективной истины, — это для меня значения не имело. Я очень сомневался, что умным людям нужна другая гигиена, чем дуракам, и готов был придерживаться правил гигиены для дураков. «А вот кому необходим хороший врач, так это нашему другу Свану», — сказал Бергот. Я спросил, чем он болен. «Как тут не заболеть? Этот человек женился на шлюхе и каждый день глотает по полсотне обид от женщин, которые не желают ее принимать, и от мужчин, которые с ней

спали. У него от этого рот перекосило. Обратите внимание, как высоко взлетает его бровь, когда он заглядывает, кто у нее». Недоброжелательный тон, каким Бергот говорил с посторонним человеком о людях, с которыми он был дружен на протяжении многих лет, явилось для меня не меньшей неожиданностью, чем почти нежный тон, каким он говорил со Сванами. Такой человек, как, например, моя двоюродная бабушка, никому из нас никогда, конечно, не наговорила бы любезностей, в каких при мне рассыпался перед Сваном Бергот. Даже тем, кого она любила, она с особым удовольствием говорила вещи неприятные. Но зато у них за спиной она не сказала бы ничего такого, о чем не решилась бы заговорить при них. Вообще наше общество в Комбре никак нельзя было назвать светским. Общество Сванов уже являлось шагом по направлению к свету, к его текучим водам. Это еще не было открытым морем — это уже была лагуна. «Все это между нами», — сказал Бергот, прощаясь со мной у моего подъезда. Несколько лет спустя я бы ему ответил: «Я никогда ничего не передаю». Этой лживой готовой фразой светские люди обыкновенно успокаивают сплетников. И я бы уже в тот день сказал ее Берготу, — ведь не все, что говоришь, особенно в такие минуты, когда ты выступаешь как социальная личность, придумал ты сам. Но тогда я еще не знал этой фразы. А моя двоюродная бабушка в подобных обстоятельствах произнесла бы вот какую фразу: «Если вы не хотите, чтобы я это передала, так зачем же вы рассказываете?» Это отповедь людей необщительных, «вздорных». Я не принадлежал к их числу — я молча поклонился.

Литераторы, которых я считал выдающимися, годами домогались знакомства с Берготом, но их отношения с ним так потом и оставались знакомством замкнутым, чисто литературным, не выходившим за пределы его рабочего кабинета, я же вступил в круг друзей великого писателя сразу и без хлопот, — вот так кого-нибудь проводят по коридору, куда никого не пускают, и благодаря этому человек получает хорошее место, а если бы он вместе со всеми постоял в хвосте, то ему досталось бы плохое. Сван открыл мне Бергота потому же, почему король находит естественным приглашать приятелей своих детей в королевскую ложу, на королевскую яхту, — так и родители Жильберты принимали друзей своей дочери среди драгоценных вещей, которые им принадлежали, в кругу ближайших друзей, представлявших собой еще большую драгоценность. Но тогда я подозревал, — и, быть может, не без оснований, — что это доброе дело Сван сделал отчасти для того, чтобы порадовать моих родителей. Я припоминал, что еще в Комбре Сван, видя, в каком я восторге от Бергота, попросил у них разрешения увести меня как-нибудь к себе пообедать, но

они не согласились, — по их мнению, я был еще слишком мал и слишком впечатлителен, чтобы «выходить в свет». Разумеется, мои родители для иных людей, — именно для тех, кто приводил меня в наибольшее восхищение, — значили гораздо меньше, чем для меня, и поэтому, как в былые времена, когда дама в розовом осыпала моего отца похвалами, хотя он их весьма мало заслуживал, мне хотелось, чтобы мои родители поняли, какой неоцененный» подарок я получил, и выразили благодарность доброму и любезному Свану, который сделал мне или им этот подарок, не показывая виду, что отдает себе отчет в его ценности, подобно очаровательному волхву на фреске Луини, горбоносому и белокурому, с кем у моего отца когда-то находили большое сходство.

К сожалению, благодеяние, которое оказал мне Сван и о котором я, придя домой и еще не сняв пальто, поведал родителям в надежде, что оно тронет их сердца так же, как мое, и подвигнет их на какую-нибудь чрезвычайную и решительную «любезность» по отношению к Свану, — это благодеяние они, видимо, оценили не высоко. «Сван познакомил тебя с Берготом? Замечательное знакомство, восхитительная связь! — насмешливо произнес мой отец. — Этого еще не хватало!» Я имел неосторожность прибавить, что Бергот терпеть не может маркиза де Норпуа.

— Ну конечно! — воскликнул отец. — Это только доказывает, какой он неискренний и злой человек. Бедный мой сын! У тебя и так насчет здравого смысла плоховато, и мне больно видеть, что ты еще попал в такую среду, которая тебя доконает.

Уже одно то, что я бывал у Сванов, было не по душе моим родителям. Знакомство с Берготом они расценивали как пагубное, но неизбежное следствие первого ложного шага, той слабости, какую они проявили и которую мой дед назвал бы «непредусмотрительностью». Я чувствовал, что если б я захотел подлить масла в огонь, мне достаточно сказать, что этот испорченный человек, не любивший маркиза де Норпуа, нашел, что я на редкость умен. В самом деле, если мой отец считал, что кто-нибудь, допустим — мой товарищ, стоит на неверном пути, как в данном случае я, и если его вдобавок хвалит человек, которого мой отец не уважал, то в этом положительном мнении отец видел доказательство правильности своего неблагоприятного диагноза. Заболевание казалось ему в таком случае еще опаснее. Я уже слышал его возглас: «Да тут, я вижу, *спетая компания!* » — и эти его слова пугали меня неопределенностью и неограниченностью реформ, неминуемое введение которых в мою тихую жизнь они, казалось, предвозвещали. Впрочем, если б я не передал мнения Бергота обо мне,

этим я, как мне казалось, все равно не сгладил бы впечатления, сложившегося у моих родителей, — оно только чуть-чуть ухудшилось бы, а это уже большого значения не имело. Притом я считал, что они в высшей степени несправедливы, что они глубоко ошибаются, а потому у меня не было не только надежды, но, в сущности, не было и желания хоть сколько-нибудь восстановить в их глазах истину. И все же, предчувствуя, — когда я начал рассказывать, — как ужаснутся родители при мысли, что я понравился человеку, который считает умных людей дураками, которого порядочные люди презирают, чьи похвалы, столь для меня лестные, до добра меня не доведут, я тихо и слегка сконфуженно преподнес на закуску: «Он сказал Сванам, что я на редкость умен». Как отравленная собака инстинктивно бросается к той полевой траве, которая является наилучшим противоядием, так я, сам того не подозревая, произнес единственные слова, способные сломить предубеждение моих родителей против Бергота — предубеждение, перед которым оказались бы бессильны самые веские мои доказательства, самые высокие мои похвалы. В тот же миг положение резко изменилось.

— Ах!.. Так он находит, что ты умен? — переспросила моя мать. — Мне это очень приятно. Ведь он талантливый человек?

— Что, что? Он так и сказал?.. — подхватил отец. — Я не отрицаю его достоинств как писателя, перед ними все преклоняются, жаль только, что он ведет не очень почтенный образ жизни, на это и намекал старик Норпуа, — добавил он, не понимая, что перед той высшей добродетелью, о которой говорили только что произнесенные мной волшебные слова, развращенность Бергота отступала, так же как и его неверное мнение.

— Ах, мой друг! — перебила его мама. — Ведь нет же никаких доказательств! Мало ли что говорят! Маркиз де Норпуа, конечно, прелестный человек, но не очень благожелательный, особенно к тем, кто не из его круга.

— Ты права, я тоже это за ним замечал, — согласился отец.

— И потом, Берготу, в конце концов, многое можно простить за то, что он похвалил моего малыша, — продолжала мама, ласково теребя мне волосы и вперив в меня мечтательный взгляд.

Кстати сказать, мама не дожидалась приговора Бергота, чтобы позволить мне пригласить Жильберту, когда у меня соберутся приятели. Я же не решался звать ее по двум причинам. Во-первых, у Жильберты подавали только чай. Мама считала, что нужно угощать еще и шоколадом. Я боялся, что Жильберте это покажется мещанством и она будет относиться к нам с величайшим презрением. Вторая причина состояла в

непреодолимых для меня трудностях, связанных с церемониалом. Когда я приходил к г-же Сван, она спрашивала:

— Как поживает ваша матушка?

Я старался вызнать у мамы, задаст ли она такой вопрос Жильберте: это было для меня гораздо важнее, чем для придворных — как обращаться к Людовику XIV. Но мама и слышать ни о чем не хотела.

— Нет, нет, я же незнакома с госпожой Сван.

— Да ведь она с тобой тоже незнакома!

— А я и не говорю, что знакома, но мы не обязаны повторять друг друга. Госпожа Сван любезна с тобой по-своему, а я буду любезна с Жильбертой по-своему.

Меня это не убедило, и я предпочел Жильберту не приглашать.

Я пошел переодеться и, порывшись в карманах, обнаружил конверт, который мне вручил у входа в гостиную метрдотель Сванов. Теперь я был один. Я распечатал конверт — там была карточка с указанием, какой даме я должен предложить руку, чтобы вести ее к столу.

Как раз в эту пору Блок перевернул мое миросозерцание и открыл передо мной новые пути к счастью (которые, впрочем, впоследствии оказались путями к страданию), доказав мне, что мысли, возникшие у меня во времена прогулок по направлению к Мезеглизу, неверны и что женщины только о любовных похождениях и мечтают. Он же оказал мне еще одну услугу, которую я оценил много позднее: сводил меня в веселый дом, где я раньше никогда не был. Правда, он говорил, что на свете много красивых и доступных женщин. Но в моем воображении они все были на одно лицо — дома свиданий придали им черты своеобразия. Словом, мне было за что благодарить Блока: за «добрую весть» о том, что счастье, обладание красотой возможны и что нам не стоит от этого отказываться, как есть за что благодарить врача или философа-оптимиста, вселяющих в нас надежду на долголетие в этом мире и на неполную разлуку с ним в мире ином, а посещавшиеся мной несколько лет спустя дома свиданий, — показывавшие мне образцы счастья, дававшие возможность дополнить женскую прелесть тем, что нельзя выдумать, что являет собой не обобщенный образ виденных прежде красот, а воистину божественный дар, единственный дар, который мы не можем получить от самих себя, перед которым рушатся все логические построения нашего ума и которого мы вправе требовать только от действительности: дар индивидуального очарования, — заслуживают того, чтобы я поместил их в один ряд с более поздними, но не менее полезными благодетелями (до знакомства с коими мы можем только понять умом, по ассоциации с другими художниками, с другими музыкантами, с

другими городами, пленительность Мантеньи, Вагнера, Сиены): в один ряд с иллюстрированными изданиями по истории живописи, симфоническими концертами и исследованиями о «городах — памятниках старины». Но там, куда сводил меня Блок и где, впрочем, он сам давно уже не был, оказался домом самого последнего разряда, а его персонал — весьма посредственным, и к тому же он весьма редко обновлялся, а потому не мог ни удовлетворить давнее мое любопытство, ни возбудить новое. Хозяйка не знала ни одной из женщин, которых требовали посетители, и предлагала тех, кого никто не хотел. Мне она особенно расхваливала одну и ту же и с многообещающей улыбкой (как будто это уж такая редкость и такое лакомое блюдо) сообщала о ней: «Ведь она же еврейка! Разве это вам ничего не говорит?» (Разумеется, она нарочно называла ее Рахилью.) И с глупой, наигранной восторженностью, — заразительной, как ей казалось, — добавляла, как-то особенно сладострастно хрипя: «Вы только подумайте, мой мальчик: еврейка, — ведь это же с ума можно сойти! Рахиль!» Я видел Рахиль, оставшись незамеченным: это была некрасивая, но по виду умная брюнетка; облизывая губы, она нагло улыбалась гостям, которых с ней знакомили и которые с ней заговаривали. На ее худое узкое лицо неровными штрихами, словно нанесенными китайской тушью, падали черные завитки волос. Я каждый раз обещал хозяйке, предлагавшей мне ее с особой настойчивостью, расхваливавшей ее необыкновенный ум и образованность, как-нибудь прийти нарочно для того, чтобы познакомиться с Рахилью, которую я прозвал «Рахиль, ты мне дана».

В первый же вечер я услышал, что, уходя, она сказала хозяйке:

— Стало быть, мы уговорились: завтра я свободна, а если кто придет, не забудьте за мной прислать.

После этого я уже не мог смотреть на нее как на личность, — я тут же причислил ее к категории женщин, которые каждый вечер являются сюда в надежде заработать от двадцати до сорока франков. Она только выражалась по-разному: «Если я вам понадоблюсь», или «Если вам кто понадобится».

Хозяйка понятия не имела об опере Галеви и оттого не могла взять в толк, почему я прозвал эту девицу «Рахиль, ты мне дана». И тем не менее моя шутка казалась ей остроумной, и, всякий раз смеясь от души, она говорила:

— Стало быть, сегодня мне еще не надо сводить вас с «Рахиль, ты мне дана»? Ведь вы ее так называете: «Рахиль, ты мне дана»? Очень остроумно! Вот я вас поженю. Вы не пожалеете.

Как-то раз я совсем было решился, но Рахиль оказалась «под прессом», в другой раз она попала к почтенного возраста цирюльнику,

который довольствовался тем, что лил женщинам масло на распущенные волосы, а потом причесывал их. Мне надоело ждать, хотя весьма скромного вида женщины из числа «постоянных», будто бы работницы, нигде, однако же, не работавшие, начали приготовлять мне шипучку и завели со мной долгий разговор, которому — несмотря на серьезность тем — частичная и полная нагота моих собеседниц придавала соблазняющую простоту. А потом я в знак хорошего отношения к женщине, содержавшей дом и нуждавшейся в мебели, подарил ей кое-какие вещи, — в частности, большой диван, — доставшиеся мне в наследство от тети Леонии, и из-за этого перестал здесь бывать. Я даже не видел тетиной мебели — у нас и так было тесно, и мои родители велели свалить ее в сарай. Но когда на моих глазах эти женщины стали пользоваться ею, мне почудилось, будто все добродетели, которыми дышала тетина комната в Комбре, страдают от грубых прикосновений и что на эту пытку обрек беззащитные вещи я! Если б я посягнул на мертвую, я бы не так мучился. Больше я ни разу не был у сводни: мне казалось, что вещи — живые и что они обращаются ко мне с мольбой, вроде неодушевленных по виду предметов из персидской сказки, в которых, однако, заключены души, преданные на муку и молящие об освобождении. Но память обычно развертывает перед нами воспоминания не в хронологическом порядке, а в виде опрокинутого отражения, и потому я лишь много позднее вспомнил, что несколько лет назад я на этом самом диване впервые познал упоение любви с троюродной сестрой, которая, заметив, что я раздумываю, где бы нам расположиться, дала мне довольно опасный совет воспользоваться временем, когда тетя Леония встает и уходит в другую комнату.

Всю остальную мебель, а главное — великолепное старинное серебро тети Леонии, я, наперекор желанию родителей, продал, чтобы иметь возможность посылать больше цветов г-же Сван, которая, получив громадные корзины орхидей, говорила мне: «На месте вашего отца я бы над вами учинила опеку». Мог ли я предполагать, что когда-нибудь пожалею именно об этом серебре и что удовольствию делать приятное родителям Жильберты, — удовольствию, которое, быть может, потеряет в моих глазах всякую цену, — я предпочту другие? Тоже ради Жильберты, чтобы не расставаться с ней, я отказался от места в посольстве. Твердые решения человек принимает только в таком душевном состоянии, которое длится недолго. Я с трудом мог себе представить, каким образом совершенно особая субстанция, которая была заложена в Жильберте, которую излучали ее родители, ее дом и из-за которой я стал безучастен ко всему остальному, — каким образом эта субстанция может отделиться от

нее и переселиться в другое существо. Субстанция, без сомнения, останется той же самой, но на меня она уже будет производить другое впечатление. Одна и та же болезнь развивается и один и тот же сладкий яд действует сильнее, когда с течением времени ослабеет сердечная деятельность.

Между тем мои родители изъявляли желание, чтобы ум, который нашел у меня Бергот, проявился в каком-нибудь замечательном труде. До знакомства со Сванами я считал, что мне мешает работать возбуждение, вызывавшееся невозможностью свободно встречаться с Жильбертой. Но, после того как двери ее дома открылись для меня, стоило мне сесть за письменный стол, и я уже вставал и мчался к Сванам. Когда же я возвращался от них домой, мое уединение было кажущимся, моя мысль была не в силах плыть против течения слов, по которому я до этого часами бессознательно плыл. В одиночестве я все еще составлял фразы, которые могли понравиться Сванам, и, чтобы сделать игру еще более увлекательной, говорил за своих отсутствующих собеседников и задавал себе такие вопросы, чтобы в удачных ответах проступил блеск моего остроумия. Это безмолвное упражнение: представляло собой, однако, беседу, а не размышление; мое уединение было жизнью выдуманного салона, где не я сам, а мои воображаемые собеседники направляли мою речь и где, вместо мыслей, которые я считал верными, я пытался выразить другие, приходившие мне в голову без всяких усилий с моей стороны и не западавшие вглубь; это было абсолютно пассивное наслаждение, вроде того, какое человеку, ощущающему Тяжесть в желудке, доставляет полный покой.

Если б я так твердо не решил взяться за дело, быть может, мне удалось бы заставить себя тут же начать работать. Но так как решение мое было бесповоротным, так как за сутки вперед, в рамках ничем не заполненного завтрашнего дня, все отлично размещалось, потому что меня там еще не было, и благие мои намерения представлялись мне легко осуществимыми, то я предпочитал пропустить сегодняшний вечер, раз я чувствовал, что еще не готов, но увы! На другой день мне тоже не работалось. Однако я был рассудителен. Не потерпеть три дня после того, как прождал годы, — это чистое ребячество. Уверенный, что послезавтра у меня будет написано несколько страниц, я ни слова не говорил родным о своем решении; лучше запастись терпением на несколько часов, а потом показать начатую работу утешенной и убедившейся бабушке. К сожалению, завтра оказывалось не тем существующим помимо меня, просторным днем, какого я страстно ждал. Когда этот день кончался, то обнаруживалось, что моя лень и тяжелая

борьба с внутренними препятствиями продлились еще на сутки, только и всего. Проходило еще несколько дней, мои планы не осуществлялись, я терял надежду на то, что они осуществятся в ближайшее время, а это означало, что у меня пропадала всякая охота все подчинить задаче осуществления моих планов; я опять долго засиживался по вечерам: меня уже не заставляло рано ложиться отчетливое видение начатой завтра утром работы. Для того чтобы меня вновь охватил порыв «к труду, мне надо было несколько дней передышки, и когда бабушка раз в жизни позволила себе мягко и разочарованно упрекнуть меня: „А что же твоя работа? Ты уж о ней и не говоришь“, — я на нее рассердился: не понимая, что решение мое непреклонно, она, — казалось мне, — оттягивает, И, быть может, надолго, претворение его в жизнь, потому что несправедливое ее отношение нервирует меня и отбивает охоту взяться за дело. Бабушка почувствовала, что своим скептицизмом нечаянно нанесла удар моей воде. Она обняла меня и сказала: „Прости, больше я тебя спрашивать не стану“. И чтобы я не падал духом, уверила меня, что, как только я буду чувствовать себя хорошо, дело пойдет на лад само собой.

Между тем я задавал себе вопрос: проводя время у Сванов, не поступаю ли я, как Бергот? Мои родители склонны были думать, что я ленив, но зато, посещая салон, где бывает великий писатель, веду образ жизни, наиболее благоприятный для развития моего таланта. И все же освободиться от обязанности развивать свой талант самому, внутри себя, и получить его из чьих-либо рук так же невозможно, как выздороветь (нарушая все правила гигиены и предаваясь самым вредным излишествам) только оттого, что ты будешь часто обедать у знакомых вместе с врачом. Больше, чем кто-либо, впала в заблуждение, в каком находились и мои родители, г-жа Сваи. Когда я говорил ей, что не могу прийти, что мне нужно работать, в ее взгляде можно было прочесть, что я зазнался, что я глуплю и важничаю.

— Да ведь Бергот приходит? Что ж, по-вашему, он плохо пишет? А скоро дело у него пойдет еще лучше, — прибавляла она, — он острее и гуще в газете, чем в книгах, — в книгах он слегка расплывчат. Я добилась, что теперь он будет писать для «Фигаро» leader article[13]. Это будет как раз the right man in the right place[14].

И в заключение говорила:

— Приходите! Лучшего учителя, чем он, вы не найдете.

Как приглашают вольноопределяющегося вместе с командиром его полка, так ради моей карьеры, — точно произведения искусства родятся

благодаря «связям»! — она напоминала мне, чтобы я пришел к ней завтра на обед с Берготом.

Таким образом, Сваны не больше, чем мои родители, — а ведь, казалось бы, именно Сваны и должны были в разных случаях жизни оказывать мне противодействие, — мешали моему счастью: счастью сколько угодно смотреть на Жильберту, если и не со спокойной душой, то, во всяком случае, с обожанием. Но в любви спокойствия быть не может, — достигнутое есть лишь толчок для того, чтобы стремиться к еще большему. Пока мне нельзя было ходить к Жильберте, я устремлял взор к недостижимому этому счастью и не мог даже представить себе, какие возникнут у меня новые поводы для беспокойства. Когда же сопротивление ее родителей было сломлено и вопрос решен, он опять начал ставиться, но только по-разному. В таком смысле наша дружба действительно каждый день начиналась сызнова. Каждый вечер, придя домой, я думал о том, что мне предстоит сказать Жильберте нечто чрезвычайно важное, от чего зависит наша дружба, и это важное всегда бывало другим. Но я наконец-то был счастлив, и ничто больше не угрожало моему счастью. Увы! Угроза возникла с той стороны, откуда я не ждал опасности, — ее создали Жильберта и я. То, в чем я был уверен, то, что я считал счастьем, — оно-то и принесло мне страдания. В любви счастье-состояние ненормальное, способное мгновенно придать случайности, по-видимому самой что ни на есть простой, всегда могущей возникнуть, огромное значение, какого она на самом деле не имеет. Человек действительно бывает счастлив оттого, что в сердце у него появляется нечто неустойчивое, нечто такое, что он силится удержать навсегда и чего почти не замечает, пока оно не переменит положения. В жизни любовь есть непрерывное мучение, а радость обезвреживает его, ослабляет, оттягивает, но оно в любой момент может стать таким, каким оно было бы давно, если бы чаемое не достигалось, — нестерпимым.

Я чувствовал уже не раз, что Жильберте хочется, чтобы я подольше не приходил. Правда, когда меня особенно влекло к ней, мне стоило только попросить разрешения прийти у ее родителей, а они все больше убеждались, что я прекрасно на нее влияю. Благодаря им, — рассуждал я, — моей любви ничто не грозит; раз они за меня, я могу быть спокоен, ведь для Жильберты они высший авторитет. На беду, уловив некоторые признаки раздражения, прорывавшегося у нее, когда Сван приглашал меня отчасти вопреки ее желанию, я начал задумываться: не есть ли то, что я считал покровительством моему счастью, как раз наоборот — скрытой причиной его непрочности?

Последний раз, когда я был у Жильберты, шел дождь; Жильберта была приглашена на урок танцев к мало ей знакомым людям, и взять меня с собой она не могла. Из-за сырости я увеличил обычную свою дозу кофеина. Может быть, из-за дурной погоды, а может быть, оттого что г-жа Сван была настроена против того дома, где должно было состояться танцевальное утро, но только, когда ее дочь начала собираться, она необычайно резко окликнула ее: «Жильберта!» — и показала на меня в знак того, что я пришел ради нее и что она должна остаться со мной. Г-жа Сван произнесла, вернее — выкрикнула: «Жильберта!» — из добрых чувств ко мне, но по тому, как Жильберта, снимая пальто, повела плечами, я понял, что г-жа Сван неумышленно ускорила постепенный отрыв от меня моей подружки, который тогда еще, пожалуй, можно было остановить. «Нельзя же каждый день танцевать», — сказала дочери Одетта, проявив, по всей вероятности, заимствованное некогда у Свана благоразумие. Затем она снова превратилась в Одетту и заговорила с дочерью по-английски. В то же мгновение точно стена выросла между мной и частью жизни Жильберты, словно злой гений увлек от меня вдаль мою подружку. В языке, который мы знаем, мы возмещаем непроницаемость звуков прозрачностью мыслей. А язык, который мы не знаем, — это запертый дворец, где наша возлюбленная может обманывать нас, между тем как мы, оставшись наружи, корчимся в отчаянии от своего бессилия, но мы ничего не видим и ничему не в состоянии помешать. Вот так и этот разговор по-английски вызвал бы у меня месяц назад только улыбку, французские имена собственные не усилили бы во мне тревогу и не поддерживали ее, а сейчас, когда его вели в двух шагах от меня два неподвижных человека, его жестокость вызвала во мне то же ощущение брошенности и одиночества, какое остается после того, как у тебя кого-то похитили. Наконец г-жа Сван вышла. В тот день, быть может, с досады на меня, ибо я оказался невольной причиной того, что ее лишили удовольствия, а быть может, еще и потому, что, видя, какая она сердитая, я предусмотрительно был холодней, чем обычно, лицо Жильберты, лишенное даже тонкого покрова радости, нагое, опустошенное, казалось, все время выражало грусть сожаления о том, что из-за меня ей не пришлось танцевать па-де-катр, и вызов всем, начиная с меня, кто не понимает глубоких причин ее сердечного влечения к бостону. Время от времени она заводила со мной разговор о погоде, о том, что дождь зарядил, о том, что их часы впереди, — разговор, оттененный паузами и односложными словами, а я, с каким-то бешенством отчаяния, упрямо разрушал мгновенья, которые могли бы стать мгновеньями нашей душевной близости и счастья. Всему, о чем мы говорили, придавал какую-

то особенную жесткость налет парадоксальной ничтожности, но я был рад этому налету, потому что благодаря ему Жильберту не могли обмануть банальность моих замечаний и мой холодный тон. Я говорил: «Если не ошибаюсь, раньше часы у вас скорей уж отставали», но Жильберта, конечно, переводила это так: «Какая вы злая!» Как бы упорно ни продолжал я в течение всего этого дождливого дня произносить такие беспросветные слова, я знал, что моя холодность не окончательно обледенела, как это я старался изобразить, а Жильберта, наверное, чувствовала, знала, что если бы, сказав уже три раза, я отважился в четвертый раз повторить, что дни становятся короче, то мне стоило бы больших усилий не расплакаться. Когда Жильберта была такой, когда улыбка не наполняла ее глаз и не раскрывала ее лица, — невозможно передать, какое уныло однообразное выражение застывало в печальных ее глазах и в угрюмых чертах лица. Бледное до синевы, оно напоминало тогда скучный песчаный берег, когда море, отхлынувшее далеко-далеко, утомляет вас одним и тем же отблеском, обводящим неизменный, ограниченный горизонт. Наконец, прождав несколько часов и убедившись, что в Жильберте не происходит перемены к лучшему, я сказал, что она не очень любезна. «Это вы не любезны, — возразила она. — Да, да!» Я задал себе вопрос, в чем же я провинился, но, не найдя за собой вины, с тем же вопросом обратился к ней. «Ну конечно, по-вашему, вы любезны!» — сказала она и залилась смехом. И тут я почувствовал, как больно мне оттого, что я не могу достичь второго, еще менее уловимого круга ее мысли — круга, описываемого смехом. Смех этот, видимо, означал: «Нет, нет, вы меня не обманете, я знаю, что вы от меня без ума, но мне-то от этого ни тепло, ни холодно — мне на вас наплевать». И все же я себя уговаривал, что, в конце концов, смех — язык не достаточно определенный, а потому я не могу быть уверен, что хорошо понимаю его. А на словах Жильберта была со мною мила. «В чем же моя нелюбезность? — спросил я. — Вы только скажите, я все заглажу». — «Нет, это ни к чему, я не сумею вам объяснить». Я вдруг испугался, как бы она не подумала, что я ее разлюбил, и это была для меня новая мука, такая же злая, но требовавшая иной диалектики. «Если б вы знали, как вы меня огорчаете, то сказали бы». Мое огорчение должно было бы обрадовать ее, если б она усомнилась в моей любви, но она рассердилась. Поняв свою ошибку, заставив себя не придавать значения тому, что она говорит, и терпеливо выслушивать, в глубине души не веря ей, ее слова:

«Я вас любила по-настоящему, в один прекрасный день вы в этом убедитесь» (это тот самый день, когда обвиняемые утверждают, что их

правота будет доказана, но по каким-то таинственным причинам их правота всегда обнаруживается не в день допроса), я внезапно принял смелое решение — не встречаться больше с Жильбертой и не объявлять ей об этом заранее, потому что она мне не поверит.

Если нас опечалил любимый человек, то печаль наша может быть горькой, даже когда она внедряется между заботами, делами и радостями, которые не имеют отношения к этому человеку и от которых наше внимание лишь по временам обращается к нему. Если же такая печаль рождается, — как в случае со мной, — когда счастье видеть любимого человека наполняет все наше существо, то внезапная перемена, происходящая у нас в душе, до сих пор солнечной, безмятежной, спокойной, вызывает у нас страшнейшую бурю, и тут уж мы не можем ручаться, достанет ли у нас сил выдержать ее. В моем сердце бушевала столь свирепая буря, что я пришел домой разбитый, истерзанный, с таким чувством, что смогу перевести дух, только когда вновь проезжу себе дорогу, только когда под каким-нибудь предлогом возвращусь к Жильберте. Но ведь она подумает: «Пришел! Ну, значит, я все могу себе позволить. Чем более несчастным он от меня уйдет, тем более послушным вернется». Моя мысль неодолимо влекла меня к ней, и эти порывы, эти резкие колебания стрелки внутреннего компаса отразились в черновиках моих одно другому противоречивших писем к Жильберте.

Я попал в одно из тех трудных положений, в какие жизнь ставит человека неоднократно и на которые он, хотя нрав его не изменился, как не изменилась и его натура, — натура, рождающая наши увлечения, в сущности рождающая наших любимых и даже их прегрешения, — реагирует по-разному, в зависимости от возраста. В такие минуты наша жизнь разламывается, кладется на весы, и на чашах этих весов она умещается вся целиком. На одной — наше желание не разонравиться, не показаться чересчур смирным существу, которое мы любим, не понимая его, и на которое мы считаем для себя выгодным смотреть чуть-чуть свысока, чтобы оно не воображало, что оно незаменимо, иначе оно от нас отдалится; на другой — боль, боль всеохватывающая, всеобъемлющая, которую, напротив, можно утишить, только если мы откажемся от желания нравиться этой женщине; только если мы дадим ей понять, что можем без нее обойтись, мы обретем ее вновь. Если с чаши, где лежит гордость, снять немного воли, которая по нашему недосмотру с годами изнашивается, а на чашу, где лежит печаль, добавить физической боли, которой мы даем усилиться, то вместо смелого решения, способного вознести нас к двадцатилетнему возрасту, другая чаша становится тяжелее и, не имея

достаточно мощного противовеса, низвергает нас к пятидесятилетнему. Да и потом, положения, повторяясь, меняются, и мы всегда можем опасаться, что в среднем возрасте или в конце жизни мы начнем проявлять губительное потворство самим себе и осложним любовь известной долей привычки, которой не знает юность, занятая другими делами и не так свободно распоряжающаяся самою собой.

В письме, которое я написал Жильберте, я громил ее, но и бросал спасательный круг из нескольких как бы случайных слов, — ей оставалось лишь прицепить к нему примирение; потом ветер вдруг переменился: я настрочил ей другое послание, своей нежностью смягчающее горечь выражений, вроде «больше никогда», трогательных для тех, кто их употребляет, и скучных для той, кто будет их читать, все равно — сочтет она их неискренними и «больше никогда» переведет: «Нынче вечером, если вы еще меня не разлюбили», или поверит им и, восприняв их как весть об окончательном разрыве, проявит полнейшее равнодушие, — ведь мы же всегда остаемся равнодушны, когда дело касается разрыва с человеком, к которому мы охладели. Но раз, пока мы любим, мы неспособны действовать, как достойные предшественники другого человека, которым нам суждено стать и который любить уже не будет, то как же мы можем ясно представить себе настроение женщины, к которой, даже если мы знаем, что она к нам равнодушна, мы беспрестанно обращаемся, навевая себе чудный сон или утешая себя в тяжком горе, с теми же словами, какие мы говорили, когда она еще любила нас? Мы так же бессильны разобраться в мыслях, в поступках любимой женщины, как первые физики (до того, как создалась и чуть-чучь осветила неведомое наука) — в явлениях природы. Или еще того хуже: как человек, для которого почти не существовала бы категория причинности, как человек, который не способен установить связь между явлениями и для которого видимый мир неясен, как сон. Конечно, я силился преодолеть эту расщепленность, силился отыскать причины. Я даже старался быть «объективным», старался отдать себе отчет в несоответствии того значения, какое Жильберта имела для меня, тому значению, какое не только имел для нее я, но и тому, какое она имела для всех остальных, а между тем если б я не подумал об этом несоответствии, то рисковал бы принять простую любезность моей подружки за пылкое признание, мою смехотворную и унизительную выходку — за простое, изящное движение, которое должно привлечь ко мне взоры прекрасных глаз. Однако я боялся впасть и в противоположную крайность: я боялся увидеть в том, что Жильберта опоздала на свидание, знак ее нерасположения ко мне, знак ее теперь уже неискоренимой враждебности.

Я старался найти между этими двумя в равной мере искажающими действительность точками зрения такую, которая дала бы мне правильное представление о вещах; расчеты, какие мне нужно было для этого произвести, заставляли меня на время забывать о душевной боли; и, быть может, потому, что я послушался чисел, а быть может, потому, что подсказал им ответ, который мне хотелось от них получить, я решил пойти завтра к Сванам, и я был счастлив, но только так, как бывает счастлив человек, который, намучившись со сборами в дорогу туда, куда его совсем не тянет, и дальше вокзала не доехав, возвращается домой и распаковывает чемоданы. Во время колебаний из одной мысли о возможном решении (если только не обречь эту мысль на бездействие, уговорив себя никакого решения не принимать) вырастают, как из зернышка, очертания и все оттенки чувств, которые вызовет совершенный поступок, и я убеждал себя, что было бы нелепо, строя планы разрыва с Жильбертой, причинять себе такую же острую боль, какую я почувствовал бы, приведя план в исполнение, а раз я в конце концов все равно к ней вернусь, то мне следует избавить себя от стольких робких попыток, от рождающихся в муках решений.

Однако мое намерение восстановить дружеские отношения длилось, пока я не дошел до Сванов, и не потому. что их метрдотель, очень хорошо ко мне относившийся, сказал, что Жильберты нет дома (в тот же вечер люди, видевшие ее, подтвердили, что ее действительно не было), — все дело было в выражениях, в каких он мне это сообщил: «Сударь! Барышни нет дома, я вас не обманываю, сударь. Если хотите проверить, сударь, я могу позвать горничную. Вы же знаете, сударь, что я всегда рад доставить вам удовольствие, и если б наша барышня была дома, я сейчас же провел бы вас к ней». Эти слова своим единственно для меня важным значением, своей непосредственностью, тем, что они давали, пусть неполный, рентгеновский снимок с истинного положения вещей, которое утаила бы обдуманная речь, доказывали, что у тех, кто окружал Жильберту, сложилось впечатление, что я ей надоел; вот почему, как только метрдотель проговорил эти слова, они пробудили во мне ненависть, но только я предпочел перенести ее с Жильберты на метрдотеля; на нем сосредоточился теперь весь гнев, который я питал к моей подружке; свободная от гнева благодаря его словам, моя любовь опять осталась одна; но вместе с тем гнев предупреждал меня, что некоторое время мне не нужно встречаться с Жильбертой. Она наверное извинится передо мной в письме. И все-таки я к ней пока не пойду — я хочу доказать ей, что могу без нее обойтись. Но если я получу от нее письмо, мне будет легче не

ходить к ней некоторое время, раз я буду уверен, что увижусь с ней, когда захочу. Для того, чтобы добровольная разлука была не так тяжела, мне надо почувствовать, что мое сердце свободно от чудовищных подозрений: а вдруг мы рассорились навсегда; а вдруг она помолвлена; а вдруг она уехала; а вдруг она похищена? Следующие дни напоминали давние дни первой недели после Нового года, когда мы с Жильбертой не виделись. Но тогда я знал, что пройдет неделя — и моя подружка опять придет на Елисейские поля и мы с ней будем видеться по-прежнему; я был в этом уверен; но я был не менее твердо уверен и в том, что до конца новогодних каникул мне незачем ходить на Елисейские поля. Словом, всю ту грустную и уже далекую неделю грусть моя была спокойна, потому что к ней не примешивались ни страх, ни надежда. Теперь, напротив, надежда причиняла мне такую же нестерпимую боль, как и страх.

Не получив от Жильберты письма в тот же вечер, я объяснил это ее невнимательностью, ее занятостью, я не сомневался, что мне его доставят с утренней почтой. Я с сильно бьющимся сердцем ждал его каждое утро, но когда получались письма от кого угодно, только не от Жильберты, а то и вовсе не было писем, — и это был еще не худший случай: при виде доказательств дружеских чувств, испытываемых другими людьми, я еще тяжелее переживал ее безразличие, — волнение сменялось упадком сил. Теперь я возлагал надежды на дневную почту. Я не решался выходить из дому даже в промежутки между разносками почты — ведь Жильберта могла послать письмо и не по почте. Наконец наступило время, когда уже не могли прийти ни почтальон, ни посыльный от Сванов, надо было возлагать надежды на то, что следующее утро принесет успокоение; так, убеждая себя, что мои мучения долго не продлятся, я, в сущности, все время их растравлял. Боль, пожалуй, была одинаково сильная, но, в отличие от давнишней, однообразно длившей первоначальное ощущение, она несколько раз в день возникала вновь, и ощущение боли — боли чисто физической, вспыхивавшей мгновенно — от беспрестанного повторения делалось устойчивым; не успевала утихнуть тревога, связанная с ожиданием, как уже снова надо было ждать; за целый день не было ни одной минуты, когда бы я не томился, а ведь протомиться один-единственный час — и то тяжело. Словом, я страдал неизмеримо сильнее, чем в давно прошедшие новогодние каникулы, потому что на этот раз во мне жило не бесхитростное и простое приятие страдания, а надежда на то, что я вот-вот перестану страдать.

Я все же пришел к этому приятию, и тогда я понял, что оно должно быть окончательным, и навсегда отказался от Жильберты, — отказался

ради моей любви к ней, главным же образом потому, что не хотел, чтобы у нее остались презрительные воспоминания обо мне. Я даже, — чтобы она не думала, что я испытываю нечто вроде любовной досады, — часто потом соглашался прийти на свидания, которые она мне назначала, но в последнюю минуту, как я поступил бы со всяким, кого мне бы не хотелось видеть, писал ей, что, к моему большому огорчению, прийти не могу. Эти сожаления, обычно выражаемые людям, к которым мы равнодушны, должны были, как мне казалось, служить еще более явным доказательством моего равнодушия к Жильберте, чем деланно равнодушный тон, каким мы говорим только с любимой. Если бы не столько мои слова, сколько без конца повторяемые действия убедили ее, что меня к ней не тянет, тогда, быть может, ее потянуло бы ко мне. Увы! То были тщетные усилия: не видя Жильберты, добиваться того, чтобы ее потянуло ко мне, это значит потерять ее навсегда: во-первых, потому, что, когда ее снова потянет ко мне, то не в моих интересах, если только я хочу, чтобы эта тяга не прекращалась, сразу сдаваться; притом, самое тяжелое для меня время тогда уже пройдет; она была мне необходима сейчас, и мне хотелось предупредить ее, что когда мы с ней увидимся вновь, то она успокоит боль, которая и так уже утихнет — настолько, что это успокоение не послужит, как послужило бы сейчас, прекратив мои страдания, поводом для капитуляции, для примирения, для новых встреч. Когда же, некоторое время спустя, я смогу наконец безболезненно поговорить с Жильбертой начистоту, — такой сильной станет ее тяга ко мне, а моя к ней, — это явится знаком того, что моя тяга не выдержала долгой разлуки, и ее уже нет; знаком того, что я стал равнодушен к Жильберте. Все это я продумал, но не говорил ей; она бы вообразила, что я делаю вид, будто, так долго с ней не встречаясь, в конце концов разлюбил ее, — делаю вид, только чтобы она как можно скорее пригласила меня к себе. Пока что, желая облегчить себе разлуку, я (чтобы Жильберта поняла, что, вопреки моим уверениям, я по собственному желанию, а не из-за какой-либо помехи, не по состоянию здоровья, лишаю себя встреч с ней) всякий раз, когда мне было точно известно, что Жильберты не будет дома, что ей нужно куда-то идти с подругой и к обеду она не вернется, шел к г-же Сван (теперь она снова стала для меня той, какою была во времена, когда мне было так трудно видеться с ее дочерью и когда, если Жильберта не приходила на Елисейские поля, я гулял по Аллее акаций). Я надеялся услышать что-нибудь о Жильберте и был уверен, что и она услышит обо мне и поймет, что она мне не дорога. И я еще склонен был думать, как все, с кем случалось несчастье, что моя горькая доля могла бы быть хуже. Я убеждал

себя, что двери дома Жильберты для меня открыты, но я и так уже не пользуюсь широко этим правом, а когда почувствую, что мне невыносимо тяжело там бывать, то в любой момент прекращу эту пытку. Мое горе оттягивалось со дня на день. Впрочем, и это еще громко сказано. Сколько раз в течение одного часа (но теперь уже без тоски ожидания, обволакивавшей меня в первые недели после нашей ссоры, когда я еще не решался снова начать бывать у Сванов) я читал себе письмо, которое Жильберта когда-нибудь мне пришлет, а может быть, даже принесет сама! Постоянное упоение воображаемым счастьем помогало мне переносить разрушение счастья подлинного. Чувство безнадежности, испытываемое нами, когда мы думаем о женщинах, которые нас не любят, или о «без вести пропавших», не мешает нам чего-то ждать. Мы все время начеку, настороже; сын ушел в море, в опасное плавание, а мать каждую минуту, даже много времени спустя после того, как она узнала наверное, что он погиб, представляет себе, что он чудом спасся, что он невредим и вот сейчас войдет. И это ожидание, в зависимости от силы памяти и от сопротивляемости организма, помогает ей с годами привыкнуть к мысли, что ее сына нет в живых, помогает в конце концов забыть о нем и выжить — или убивает ее.

Кроме того, я отчасти утешался мыслью, что горе полезно для моей любви. Каждый мой приход к г-же Сван в отсутствие ее дочери был для меня мучителен, но зато я чувствовал, что это возвышает меня в глазах Жильберты.

И еще: прежде чем идти к г-же Сван, я удостоверялся, что не застану Жильберту дома, быть может не столько потому, что твердо решил с ней рассориться, сколько потому, что надежда на мир наслаивалась на мою волю к разрыву (ведь нет же почти ничего абсолютного, — во всяком случае, такого, что было бы всегда абсолютным, — в человеческой душе, одним из законов которой, поддерживаемым внезапными притоками воспоминаний, является прерывистость) и утаивала от меня то, что есть самого мучительного в разрыве. Несбыточность надежды я сознавал отчетливо. Я был похож на бедняка, который не так обильно орошает слезами свой черствый кусок хлеба оттого, что говорит себе в утешение: ведь может же случиться так, что какой-нибудь иностранец именно сейчас оставит ему все свое состояние. Все мы принуждены ради того, чтобы сделать жизнь сносной, защищаться от нее каким-нибудь чудачеством. Вот так и моя надежда была более цельной, — при том что отрыв от Жильберты осуществлялся с большей решительностью, — оттого что мы не виделись. Если б мы встретились у ее матери» быть может, мы сказали

бы друг другу непоправимые слова, которые рассорили бы нас окончательно и убили бы во мне надежду, но тогда в моей душе всколыхнулась бы тоска, с новой силой вспыхнула бы любовь и мне уже труднее было бы покоряться своей участи.

Давным-давно, задолго до моей ссоры с Жильбертой, г-жа Сван говорила мне: «Это очень хорошо, что вы ходите к Жильберте, но я была бы рада, если б вы иногда приходили и ко мне, но не в те дни, когда у меня полон дом гостей, — вам с ними будет скучно, — а в другие, но только попозже: тогда вы меня непременно застанете». Таким образом, теперь я делал вид, что исполняю давнее ее желание. И поздним вечером, когда мои родители садились ужинать, я уходил к г-же Сван, зная, что не увижу Жильберту и все-таки буду думать только о ней. В этом считавшемся тогда отдаленном квартале Парижа, более темного, чем теперь, потому что электричество было тогда в немногих домах, а на улицах, даже в центре, его совсем не было, только лампы из гостиных в первом этаже или с низеньких антресолей (такие именно антресоли были в этом доме, и там обычно принимала гостей г-жа Сван) освещали дорогу и заставляли поднимать глаза прохожих, для которых этот свет за занавесками был явным, хотя и не резким знаком того, что у подъезда стоят дорогие кареты. Если какая-нибудь карета трогалась, прохожие не без волнения думали, что в загадочном этом явлении произошли перемены; но это всего-навсего кучер, чтобы лошади не озябли, время от времени давал им пробежаться, и такие пробежки производили тем более сильное впечатление, что резиновые шины создавали бесшумный фон, на котором отчетливее в резче выделялся топот копыт.

«Зимним садом», в те года представлявшимся взору прохожего на любой улице, во всех квартирах, кроме расположенных слишком высоко над тротуаром, теперь можно полюбоваться лишь на гелиогравюрах в подарочных книгах П. — Ж. Сталя, и на гравюрах он, — в отличие от теперешних салонов в стиле Людовика XVI, где редко когда увидишь розу или японский ирис в хрустальной вазе с таким узким горлышком, что два цветка там уже не поместились бы, — благодаря тогдашнему обилию комнатных растений и полному отсутствию стилизации в их размещении, как будто хранит на себе печать не бесстрастной заботы о мертвой декоративности, но живой, пленительной любви хозяек дома к ботанике. Он напоминает, но только в увеличенном виде, переносную оранжерейку, которую тогда ставили новогодним утром под зажженной лампой, — у детей не хватало терпения ждать, пока рассветет, — среди других подарков, и то был лучший подарок, так как своими растеньицами, которые надо

было выращивать, он вознаграждал за наготу зимы; в еще большей степени, чем на эти оранжерейки, зимние сады походили на ту, что была рядом с ними, на картинке из красивой книги, — это был тоже новогодний подарок, — и хотя оранжерейку из книги дарили не детям, а героине повести Лили, они приходили от нее в восторг, и теперь, почти уже состарившись, они склоняются к мысли, что в те блаженные времена зима была самым лучшим временем года. Наконец, в глубине зимнего сада, сквозь переплет ветвей самых разных растений, благодаря которому освещенное окно с улицы становилось похожим на стекла тех самых детских оранжереек, нарисованных или настоящих, прохожий, поднявшись на цыпочки, чаще всего видел господина в сюртуке с гарденией или гвоздикой в петлице, — господин стоял перед сидевшей дамой, и оба они, точно вырезанные на топазе, неясно различались в глубине гостиной, задымленной паром от самовара, — тогда это еще было новшеством, — паром, который, может быть, поднимается и теперь, но к которому так привыкли, что никто его уже не замечает. Г-жа Сван придавала большое значение «чаю»; она полагала, что это будет оригинально и очень мило, если она кому-нибудь скажет: «Вы всегда меня застанете, но только попозже; приходите к чаю», — и произносила она эти слова с чуть заметным английским акцентом, улыбаясь ласковой и тонкой улыбкой, а польщенный знакомый г-жи Сван с многозначительным видом кланялся ей, как будто ее слова заключали в себе особый, глубокий смысл, внушавший почтительность и требовавший внимания. Была еще одна причина, кроме вышеуказанных, отчего цветы являлись не просто украшением салона г-жи Сван, и причина эта коренилась не в эпохе, а в прежней жизни Одетты. Кокотка высокого полета, каковой она раньше и была, живет главным образом для любовников, то есть у себя дома, а это приучает ее жить для себя. Порядочная женщина, конечно, тоже может дорожить своими вещами, но кокотка дорожит ими еще больше. Важнейшая минута ее дня — не та, когда она одевается для всех, но та, когда она раздевается для одного. Ей нужно быть не менее элегантной в капоте, в ночной сорочке, чем в выходном платье. Другие женщины выставляют свои драгоценности напоказ, ей же надлежит быть в тесной дружбе с ее жемчугами. Такой образ жизни обязывает, воспитывает вкус к тайной роскоши, вкус почти бескорыстный. У г-жи Сван был вкус к цветам. Около ее кресла всегда стояли в громадной хрустальной чаше с водой заполонявшие ее пармские фиалки и маргаритки с оборванными листочками, и гость мог принять это за знак прерванного любимого занятия, так же как недопитую чашку чая, которую г-жа Сван выпила бы в одиночестве ради собственного

удовольствия; занятия даже еще более интимного и таинственного, так что человеку, скользнувшему взглядом по этим стоявшим на самом виду цветам, хотелось извиниться, как будто он подсмотрел заглавие еще не раскрытой книги, по которому можно судить о том, что Одетта читала, а следовательно — быть может, и о том, что она сейчас думает. А ведь цветы — существа, в еще большей степени живые, чем книги, и вам было бы так же неловко, как если бы вы, придя к г-же Сван, обнаружили, что она не одна, или, вернувшись вместе с нею в гостиную, заметили бы, что тут кто-то есть, — до того загадочную играли роль и такое близкое имели отношение к тем часам жизни хозяйки дома, о которых никому ничего не было известно, эти поставленные не для гостей Одетты, а как бы ею забытые здесь цветы, словно они вели и будут еще вести с ней особый разговор, который вы боялись прервать и тайну которого вы безуспешно пытались прочитать в линялом, жидком, лиловом, водянистом цвете пармских фиалок. С конца октября Одетта начала прилагать старания, чтобы по возможности вовремя возвращаться домой к чаю, на свой, как тогда еще говорили, five o'clock tea: она слышала (и любила повторять), что г-же Вердюрен удалось создать салон потому, что в определенный час ее наверное можно застать дома. Одетта тоже задалась целью выбрать себе такой час, только без особых стеснений, senza rigore. по излюбленному ее выражению. Она смотрела на себя как на вторую Леспинас и считала себя основательницей салона, соперничающего с салоном дю Дефан, у которой ей удалось переманить самых приятных посетителей, в частности Свана, последовавшего за ней в ссылку и разделившего ее уединение, — этим ее россказням верили не осведомленные о ее прошлом новые знакомые, но, понятно, не она сама. Мы столько раз играем перед публикой любимые наши роли и они так вошли в нашу плоть и кровь, что нам легче сослаться на ложное их свидетельство, чем запросить действительность, почти совершенно забытую. В те дни, когда г-жа Сван совсем не выходила из дому, она надевала крепдешиновое платье, белое, как первый снег, а иногда — длинный шелковый, с оборками, пеньюар, похожий на гроздь бело-розовых цветов, — теперь считается, что такие пеньюары для зимы не подходят, но это неверно. Легкие ткани и нежные тона в тогдашних жарко натопленных, отделенных портьерами гостиных, о которых светские романисты того времени, стараясь как можно изящнее выразиться, писали, что они «подбиты уютом», придавали женщине такой же озябший вид, как розам, несмотря на зиму, красовавшимся возле нее, как будто на дворе стояла весна во всей румяной своей наготе. Ковры приглушали звуки, хозяйка дома сидела в глубине, вы появлялись неожиданно для нее, она

продолжала читать, когда вы подходили к ней почти вплотную, и благодаря этому впечатление приобретало еще большую романтичность, ко всему этому очарованию примешивалось очарование подслушанной тайны, чем и сейчас еще веют на нас воспоминания об уже тогда выходивших из моды платьях, с которыми, пожалуй, одна лишь г-жа Сван не решалась расстаться и при виде которых у нас рождалась мысль, что женщина, носящая такие платья, — наверное, героиня романа, потому что в большинстве случаев мы видели их в романах Анри Гревиля. Теперь в гостиной Одетты стояли в начале зимы громадные хризантемы самых разных цветов — такого разнообразия Сван прежде у нее не видел. Я восхищался ими во время моих печальных посещений г-жи Сван, когда моя грусть возвращала мне всю таинственную поэтичность этой женщины, которая завтра скажет Жильберте: «У меня был твой друг», — восхищался, конечно, потому, что, розово-палевые, как шелк ее кресел в стиле Людовика XV, белоснежные, как ее домашнее крепдешиновое платье, или медно-красные, как самовар, они служили гостиной дополнительным украшением столь же роскошной, столь же изысканной окраски, как сама гостиная, но только живой и непрочной. Меня умиляло еще и то, что хризантемы были менее хрупки, более долговечны по сравнению с тоже розовыми или тоже медными отблесками, которыми заходящее солнце так пышно обагряет мглу ноябрьских сумерек и которые, — только я при входе к г-же Сван успевал их заметить, — потухали на небе, но зато продлевались, обретали новую жизнь в пламеневшей палитре цветов. Подобно огням, уловленным великим колористом в переменчивости атмосферы и солнца для того, чтобы они украсили человеческое жилье, хризантемы заставляли меня преодолевать грусть и с жадностью вбирать в себя во время чая мимолетные радости ноября, всем уютным и таинственным великолепием которых они рдели подле меня. Увы! В разговорах я этой прелести не находил; с разговорами у хризантем было мало общего. Даже г-же Котар, и притом в поздний час, г-жа Сван деланно приветливым тоном говорила: «Да нет, посидите, не смотрите на часы, сейчас еще очень рано, эти часы стоят, ну куда вам торопиться?» И она еще предлагала зажавшей в руках сумочку профессорше пирожок.

— Из этого дома невозможно уйти, — обратившись к г-же Сван, заявляла г-жа Бонтан, а г-жа Котар, удивленная тем, что кто-то другой выразил ее мысль, восклицала: «Вот и я, с моим худым умишком, сказать по чистой совести, тоже так думаю!», и с ней соглашались господа из Джокей-клоба, изгибаясь в поклонах, словно подавленные высокой честью, какую оказала им г-жа Сван, представив их этой не очень любезной

мещаночке, проявлявшей по отношению к блестящему окружению Одетты сдержанность, пожалуй даже, занимавшей, как она сама выражалась, «оборонительную позицию», — она всегда говорила высоким слогом о самых простых вещах. «Что-то не верится. Вот уже три среды подряд вы ко мне ни ногой», — возражала г-же Котар г-жа Сван. «Правда, Одетта, мы с вами не виделись *века, целую вечность.* Я перед вами виновата, сознаюсь, но дело в том, что, — продолжала г-жа Котар стыдливо и неопределенно, ибо хоть она и была женой врача, но не могла обойтись без иносказаний, даже когда толковала о ревматизме или о болезни почек, — у меня было много мелких *неприятностей.* У всех свои неприятности. А кроме того, у меня катастрофа с мужской прислугой. Я совсем уж не так упиваюсь властью, а все-таки мне пришлось рассчитать для острастки Вателя, хотя, должно быть, он и сам подыскивал место повыгоднее. Но его уход едва не повлек за собой отставку всего министерства. Горничная тоже попросила расчета, — словом, произошли сцены гомерические. Несмотря ни на что, я твердо держала бразды правления, и вообще это для меня хороший урок, он пойдет мне на пользу. Я вам надоела историями с прислугой, но вы знаете не хуже меня, сколько возни с переменой состава».

— А где же ваша прелестная дочка? — спрашивала г-жа Котар. «Моя прелестная дочка у подруги, — отвечала г-жа Сван и обращалась ко мне: — Наверно, она вам написала, чтобы вы пришли завтра? А как ваши беби?» — спрашивала она профессоршу. Я облегченно вздыхал. В словах г-жи Сван, доказывавших, что я могу видеть Жильберту когда угодно, заключалось благо, ради которого я сюда и приходил, из-за него-то посещения г-жи Сван и сделались для меня в то время крайней необходимостью. «Нет. Впрочем, я сам ей сегодня напишу. Нам с Жильбертой больше нельзя видеться», — добавлял я с таким видом, словно намекал на некую таинственную причину нашего разрыва, и этот намек поддерживал во мне иллюзию любви, питавшуюся еще и тем, в каких нежных выражениях я и Жильберта говорили друг о друге. «Вы знаете, она любит вас бесконечно, — уверяла меня г-жа Сван. — Вы правда завтра не придете?» Сразу повеселев при этих словах, я задавал себе вопрос:

«А почему бы, собственно, не прийти, раз меня приглашает мать Жильберты?» Но тут же я снова впадал в уныние. Я боялся, как бы Жильберта, увидев меня, не вообразила, что равнодушие, которое я проявлял к ней последнее время, наигранно, и приходил к решению длить разрыв. Пока я говорил с г-жой Сван, г-жа Бонтан жаловалась на то, как скучны жены политических деятелей, — она вообще старалась показать, во-первых, будто все на свете ей смешны и противны, а во-вторых, будто

она в отчаянии, что ее муж занимает такое положение. «Вам вот ничего не стоит принять пятьдесят жен врачей подряд, — говорила она г-же Кртар, резко отличавшейся от нее своей благожелательностью и тем, что она ценила любое сделанное ей одолжение. — Вы же воплощенная добродетель! Ну, а когда у тебя муж — министр, тут уж волей-неволей… Но мне это, право, не по силам; вы же знаете чиновниц, я не могу удержаться, чтобы не поднять их на смех. И моя племянница Альбертина вся в меня. Вы не можете себе представить, что это за нагляночка. На прошлой неделе в мой приемный день жена товарища министра финансов сказала, что ничего не понимает в кулинарии. „А вы-то как раз должны были бы знать в этом толк, — с очаровательной улыбкой заметила моя племянница, — ведь ваш отец поваренком был“. — „Ах, я обожаю эту историю, это просто прелесть! — воскликнула г-жа Сван. — Но, по крайней мере, в те дни, когда доктор на консультациях, вам бы не мешало создать себе уют, чтобы вокруг вас были цветы, книги, ваши любимые вещи“, — советовала она г-же Котар. „Так прямо, глазом не моргнув, и бахнула. И со мной до этого ни полслова, притворщица! Хитра, как обезьянка. Вот вы можете себя сдержать; завидую тем, кто умеет скрывать свои мысли“. — „А мне это и не нужно: я не такая требовательная, — мягко возражала г-жа Котар. — Прежде всего, у меня нет на это таких прав, как у вас, — добавляла она уже более твердым тоном, какой появлялся у нее всякий раз, когда ей хотелось подчеркнуть, что у нее есть права, и она вставляла какую-нибудь тонкую любезность, искусную лесть, всем очень нравившуюся и способствовавшую преуспеянию ее супруга. — И потом, мне доставляет удовольствие быть во всем полезной профессору“.

— Но для этого надо иметь характер. У вас, наверное, нервы в порядке. А вот я, как увижу, что жена военного министра гримасничает, сейчас же начинаю подражать ей. Не дай бог иметь такой темперамент, как у меня.

— Ах да! — говорила г-жа Котар. — Я от кого-то слышала, что у министерши тик. Мой муж тоже знаком кое с кем из высокопоставленных, ну и когда они говорят между собой, то, понятно…

— А вот еще начальник протокольной части: он горбун, и я так и знаю — он у меня и пяти минут не просидит, как я уже дотрагиваюсь до его горба. Муж говорит, что ему придется из-за меня подать в отставку. Ну да к черту министров! Да, да, к черту министров! Я хотела, чтобы эти слова были написаны на моей почтовой бумаге в виде девиза. Наверно, я вас шокирую, — вы добрая, а я, признаться, больше всего на свете люблю чуть-чуть позлословить. Без этого мне и жизнь не мила.

И она продолжала говорить о министерстве, — для нее это был своего рода Олимп. Чтобы переменить разговор, г-жа Сван обращалась к г-же Котар:

— Какая вы нарядная! Redfern fecit?[15]

— Нет, вы же знаете, что я поклонница Раутница. Да ведь это переделано!

— А все-таки шикарное платье!

— Сколько, по-вашему?.. Нет, первую цифру измените.

— Как? Да ведь это же ерунда, это же даром! А я слыхала, что втрое дороже.

— Так пишут историю, — заключала докторша и показывала г-же Сван шарф, который та ей подарила: — Посмотрите, Одетта. Узнаете?

Из-за портьеры кто-то с церемонной почтительностью выглядывал, в шутку делая вид, что боится помешать: это был Сван. «Одетта! У меня в кабинете принц Агригентский; он спрашивает: можно засвидетельствовать вам почтение? Что ему передать?» — «Что я очень рада», — отвечала Одетта с чувством удовлетворения и в то же время сохраняя спокойствие, и это ей давалось легко, потому что она, еще будучи кокоткой, привыкла принимать мужчин из высшего общества. Сван уходил в кабинет сообщить принцу, что разрешение получено, а затем, уже вместе с принцем, возвращался к жене, если только в этот промежуток времени не появлялась г-жа Вердюрен.

Женившись на Одетте, Сван просил ее не посещать кланчик (у него было для этого достаточно оснований, а если бы даже и не было, он все равно обратился бы к Одетте с такой просьбой, подчиняясь не терпящему исключений закону неблагодарности, выявляющему недальновидность или бескорыстие посредников). Он пошел на то, чтобы Одетта и г-жа Вердюрен бывали друг у друга два раза в год, но иные из верных, возмущенные оскорблением, нанесенным «покровительнице», чьими любимчиками столько лет были Одетта и даже Сван, находили, что и это лишнее. В группке, куда пролезли предатели, которые иногда пропускали вечера, чтобы тайно воспользоваться приглашением Одетты, и у которых на случай, если б их уличили, была припасена отговорка, что им хотелось посмотреть на Бергота (а «покровительница» хоть и уверяла, что у Сванов он не бывает и что он — бездарность, а все-таки старалась, как она любила выражаться, залучить его), были, однако, и свои «крайние». И вот они-то, не имевшие понятия об особых правилах приличия, часто удерживающих человека от решительных действий, которыми ему хотелось бы кому-нибудь досадить, желали, хотя и тщетно, чтобы г-жа Вердюрен порвала с

Одеттой и лишила ее удовольствия говорить с улыбкой: «После „раскола“ мы стали очень редко бывать у „покровительницы“. До женитьбы это было моему мужу еще не так трудно, а теперь, когда у него семья, это совсем не так просто… Откровенно говоря, Сван не переваривает тетушку Вердюрен, и если б я там бывала постоянно, он бы меня по головке не погладил… И я, как послушная жена…» Сван ездил к Вердюренам с Одеттой на званые вечера, но старался не показываться, когда г-жа Вердюрен приезжала к Одетте. Если в гостиной находилась «покровительница», то принц Агригентский входил один. Кстати сказать, Одетта только его и представляла г-же Вердюрен, — ей хотелось, чтобы г-жа Вердюрен не слышала ни одного безвестного имени, а при виде незнакомых лиц подумала, что попала в аристократическую среду, и расчет Одетты был правильный, — дома г-жа Вердюрен с отвращением говорила мужу: «Чудное общество! Весь цвет реакции!»

Одетта тоже заблуждалась насчет г-жи Вердюрен, но только совсем по-иному. Тогда салон г-жи Вердюрен еще и не начинал превращаться в тот, каким мы его увидим потом. Тогда для г-жи Вердюрен еще и не наступал «период инкубации», когда откладывают торжественные вечера, на которых немногочисленные, недавно приобретенные алмазы тонули бы среди шушеры, и предпочитают ждать до тех пор, пока производительная сила десяти праведников, которых уже удалось залучить, не увеличит их число до семисот. Г-жа Вердюрен вела наступление, конечно, на «свет», — такую же цель изберет себе в скором времени и Одетта, — однако театр ее военных действий был еще крайне ограничен и притом очень далек от того, где Одетта имела шансы достичь таких же результатов, имела шансы пробиться: вот почему Одетта и не подозревала о стратегических планах «покровительницы». И когда Одетте говорили о снобизме г-жи Вердюрен, Одетта смеялась от души. «Да какой там снобизм! — возражала она. — Для снобизма ей прежде всего не хватает самых основ, она же ни с кем не знакома. А потом, — надо отдать справедливость, — ей ничего больше и не нужно. Нет, нет, она любит свои среды, приятных собеседников». И втайне Одетта завидовала г-же Вердюрен (хотя и надеялась со временем пройти такую же великолепную школу), завидовала искусству «покровительницы», придававшей этому искусству огромное значение, хотя оно лишь оттеняет несуществующее, вылепливает беспредметное, является, собственно, искусством небытия: искусству хозяйки дома — искусству «съючивать», «объединять», «выдвигать», а самой «стушевываться», служить «соединительной черточкой».

Во всяком случае, на приятельниц г-жи Сван производило большое

впечатление то, что у нее в доме они видят женщину, которую нельзя себе представить иначе как в ее салоне, в неизменном обрамлении приглашенных, в обрамлении всей группочки, и что здесь эта группочка, чудесным образом воссозданная, уплотненная, обобщенная, поместилась в одном кресле, в образе «покровительницы», превратившейся в гостью и закутавшейся в манто на гагачьем пуху, мягком, как белые меха, устилавшие пол салона, где г-жа Вердюрен уже сама по себе была целым салоном. Наиболее робкие дамы из скромности изъявляли желание уйти и, употребляя множественное число, как будто давали понять другим, что нельзя утомлять выздоравливающую, первый раз вставшую с постели, говорили: «Одетта! Нам пора». Все завидовали г-же Котар, потому что «покровительница» называла ее по имени. «Ну, я вас похищаю», — говорила ей г-жа Вердюрен, — она не могла допустить, чтобы кто-то из верных остался и не последовал за ней. «Госпожа Бонтан была так любезна, что обещала меня подвезти, — возражала г-жа Котар, — ей не хотелось, чтобы про нее подумали, будто она ради знаменитости отказывается от предложения г-жи Бонтан поехать с ней в министерской карете. — Честное слово, я всегда бываю очень признательна моим приятельницам, когда они подвозят меня в своем экипаже! Для тех, у кого нет своего автомедона, это просто благодеяние». — «Тем более, — подхватывала „покровительница“, не смевшая возражать, так как была хотя и далека, а все-таки знакома с г-жой Бонтан и только что пригласила ее на свои среды, — что от госпожи де Креси до вас — не ближний свет. Ах, боже мой, я все никак не могу приучить себя говорить „госпожа Сван“! Это была вечная шутка кланчика: люди, не блиставшие умом, притворялись, что не могут привыкнуть говорить „госпожа Сван“: „Я так привыкла говорить: „Госпожа де Креси“! Опять чуть было не оговорилась“. Одна лишь г-жа Вердюрен, когда заходила речь об Одетте, только и делала, что оговаривалась, и при этом нарочно. „Как вы, Одетта, не боитесь жить в такой глухой части города? Мне было бы страшновато возвращаться сюда по вечерам. Да и сыро у вас тут. Не от этого ли у вашего мужа экзема? А крысы есть?“ — „Да нет, что вы! Какая гадость!“ — „Ну хоть это хорошо. А мне говорили, есть. Я очень рада, что нет: я их боюсь панически, я бы не могла у вас бывать. До свиданья, душенька, до скорого свиданья, — вы же знаете, как я люблю, когда вы ко мне приходите. Вы не умеете расставлять хризантемы, — говорила она уходя, когда г-жа Сван уже вставала, чтобы проводить ее. — Ведь это же японские цветы, и размещать их надо по-японски“. „Я не согласна с госпожой Вердюрен, — когда дверь за „покровительницей“ затворялась, заявляла г-жа Котар, — хотя во всем

остальном она для меня „Закон и Пророки“. Вы, Одетта, как никто, чувствуете необыкновенную красоту хризантемы, или, правильнее, хризантема, — кажется, так теперь принято говорить?“ „Милейшая госпожа Вердюрен не очень снисходительна к чужим цветам“, — с кротким видом отзывалась г-жа Сван. „Вы кого предпочитаете, Одетта?.. — чтобы больше не критиковать „покровительницу“, спрашивала г-жа Котар. — Леметра? На днях я видела у него большой розовый куст, так я чуть с ума не сошла от восторга, честное слово“. Г-жа Котар постеснялась сказать, сколько стоит куст, — она лишь призналась, что профессор, „вообще-то говоря, не кипяток“, тут полез на стену и обозвал ее мотовкой. „Нет, нет, мой постоянный поставщик цветов — Дебак“. — „И мой тоже, — говорила г-жа Котар, — но должна сознаться, что время от времени Лашом вытесняет его из моего сердца“. — „Ах, вот как! Вы изменяете ему с Лашомом? Я ему скажу! — подхватила Одетта — у себя дома она старалась быть особенно остроумной и держать нить разговора в своих руках: здесь это ей было легче, нежели в кланчике. — Да и, помимо всего прочего, Лашом за последнее время стал, право, очень дорог; я бы, к вашему сведению, с ним не сошлась… в цене!“ — добавляла она со смехом.

Между тем г-жа Бонтан, сто раз заявлявшая, что ее ноги не будет у Вердюренов, в восторге от приглашения на среды, обдумывала, как бы это так устроить, чтобы почаще на них бывать. Она не знала, что г-жа Вердюрен бывала недовольна, когда кто-нибудь пропускал хоть одну среду; она принадлежала к числу тех, с кем не ищут знакомства, кто, получив приглашение хозяйки дома на «журфиксы», чувствует себя у нее не так, как те, которые сознают, что своим приходом всегда доставляют удовольствие хозяйке, было бы только у них самих время и желание; такие, как г-жа Бонтан, не являются, к примеру, на первый и на третий вечер — они воображают, что их отсутствие будет замечено, и приберегают себя для второго и четвертого; только в том случае, если, по их сведениям, третий вечер обещает быть сверхблестящим, они придерживаются иного порядка и оправдываются тем, что они, «к сожалению, прошлый раз были заняты». Вот так и г-жа Бонтан высчитывала, сколько еще сред остается до Пасхи и как ухитриться, не показавшись навязчивой, побывать на лишней среде. Она надеялась, что дорогой получит указания от г-жи Котар. «Ах, госпожа Бонтан, вы уже встали! Нехорошо это с вашей стороны — подавать сигнал к бегству. Вы должны вознаградить меня за то, что не были прошлый четверг… Посидите еще немножко. Ведь вы же больше никуда сегодня не поедете. Вас ничем нельзя соблазнить, — продолжала г-жа Сван, протягивая блюдо, с пирожными. — Вы знаете, эта гадость совсем не так

плоха. Она неказиста, но вы все-таки попробуйте и скажите, вкусно или нет». — «Что вы, они очень аппетитны, — возражала г-жа Котар, — у вас, Одетта, всегда бывает что-нибудь такое вкусненькое, что только пальчики оближешь. И не для чего спрашивать, откуда, — я и так знаю, что у вас все от Ребате. Должна заметить, что я более эклектична. За печеньем, за всякими лакомствами я часто посылаю к Бурбоне. Но я признаю, что мороженое у Бурбоне делать не умеют. По части мороженого, баваруаза и шербета Ребате — великий искусник. Как сказал бы мой муж, nec plus ultra»[16]. — «И ведь все очень просто. Правда?» — «Я уже не смогу ужинать, — говорила г-жа Бонтан, — а все-таки присяду на минутку. Вы знаете, я обожаю беседовать с такими умными женщинами, как вы. Может быть, я покажусь вам нескромной, Одетта, но мне бы хотелось знать, как вам нравится шляпа госпожи Тромбер. Большие шляпы сейчас в моде, это мне известно. Но все-таки надо знать меру. По сравнению с этой, в которой она недавно приходила ко мне, та, которую она носила прежде, кажется крохотной». — «Да нет же, совсем я не умна! — полагая, что это хороший тон, говорила Одетта. — В сущности, я простофиля, всему верю, огорчаюсь по пустякам». И она обиняками давала понять, что на первых порах очень страдала, выйдя замуж за такого человека, как Сван, у которого своя жизнь и который обманывал ее. Принц Агригентский, услыхав слова: «Совсем я не умна», пытался выразить свое несогласие, но он не отличался находчивостью. «Вот тебе на! — восклицала между тем г-жа Бонтан. — Это вы-то не умная!» — «Я тоже подумал: „Что такое? Или я ослышался?“ — цепляясь за эту нить, подхватывал принц. „Да нет же, уверяю вас, — настаивала Одетта, — в сущности, я мещаночка, обидчивая, опутанная предрассудками, забившаяся в свою норку, а главное — полная невежда“. Имея в виду барона де Шарлю, она спрашивала: „Вы давно не видали милого баронета?“ — „Вы — невежда? — восклицала г-жа Бонтан. — Что же тогда говорить об официальных кругах, о всех супругах их превосходительств, болтающих только о тряпках!.. Вот вам пример: неделю тому назад я заговорила с женой министра народного просвещения о «Лоэнгрине“. А она мне:

«Какой Лоэнгрин»? Ах да, это последнее обозрение в Фоли-Бержер, — кажется, очень забавное». Ну, знаете, когда слышишь такие вещи, трудно не выйти из себя. Мне так хотелось закатить ей пощечину! У меня ведь тоже есть характер, можете мне поверить. Как вы находите? — обращалась она ко мне. — Разве я не права?» — «Послушайте, — вмешивалась г-жа Котар, — если человека ни с того ни с сего огорошить каким-нибудь вопросом и он ответит немножко невпопад, то это простительно. Я знаю по

себе: госпожа Вердюрен имеет обыкновение приставать с ножом к горлу». — «Кстати насчет госпожи Вердюрен, — обращалась к г-же Котар г-жа Бонтан, — вы знаете, что у нее среда?.. Ах, я и забыла, что мы приглашены на ближайшую среду! Приезжайте к нам в среду пообедать. А потом вместе поедем к госпоже Вердюрен. Я боюсь входить к пей одна;

сама не знаю почему, я всегда робею в присутствии этой важной дамы». — «Я вам сейчас объясню, — говорила г-жа Котар, — вас пугает голос госпожи Вердюрен. Ну да ведь такой прелестный голосок, как у госпожи Сван, — это редкость. Но — вовремя вставленное слово, как говорит „покровительница“, и лед тронулся. А в сущности, она человек вполне благожелательный. Но я вас понимаю: первый раз очутиться в чужой стране — удовольствие из средних». — «Хорошо, если б и вы пообедали с нами, — предлагала г-же Сван г-жа Бонтан. — После обеда мы бы все вместе поехали вердюрениться к Вердюренам; и если даже „покровительница“ надуется на меня за это и больше не пригласит, зато мы хоть раз поболтаем у нее втроем, а мне больше ничего и не надо». Вероятно, это было не вполне искреннее заявление, потому что г-жа Бонтан тут же начинала расспрашивать: «Как вы думаете, кто там будет в среду? Что там готовится? По крайней мере, не слишком много будет народу?» — «Я наверно не поеду, — говорила Одетта. — Мы заедем только на последнюю среду. Если вам все равно, потерпите до той среды…» Однако предложение подождать, видимо, не прельщало г-жу Бонтан.

Интеллектуальный уровень салона и его внешний блеск находятся по отношению друг к другу скорее в обратной, чем в прямой зависимости, но поскольку Сван уверял, что г-жа Бонтан — женщина приятная, значит, очевидно, человек, примирившийся со своим падением, становится менее требовательным к тем, с кем он заставил себя водить дружбу, менее требовательным к их уму, равно как и ко всему остальному. Если это так, то культура и даже язык отдельных личностей и целых народов неминуемо исчезнут вместе с их независимостью. Одно из последствий подобной снисходительности состоит в том, что, когда мы достигаем определенного возраста, нам все больше нравятся похвалы нашему умонастроению, нашим наклонностям, нравится, когда нас подбивают предаться этим наклонностям; это тот возраст, когда великий художник предпочитает обществу самобытных талантов общество учеников, которые, усвоив лишь букву его учения, кадят ему и ловят каждое его слово; когда мужчина и женщина, удивительные люди, живущие только любовью, сходятся во мнении, что на каком-нибудь сборище умнее всех такой-то, тогда как на самом деле человек этот, может быть, ниже других, но он произнес фразу,

из которой явствует, что он понимает и одобряет любовные похождения, и этим ублажил сладострастные вожделения любовника или возлюбленной; это еще и тот возраст, когда Свану, женившемуся на Одетте, приятно было узнать мнение г-жи Бонтан, что принимать у себя одних герцогинь — это блажь (отсюда он делал вывод, противоположный тому, к какому он пришел бы в былое время у Вердюренов, — что г-жа Бонтан женщина добрая, очень умная, свободная от снобизма), приятно было рассказывать г-же Бонтан истории, от которых ее всю «передергивало» только потому, что она слышала их впервые, но «соль» которых она тем не менее улавливала сразу, которые настолько ее забавляли, что она изъявляла желание послушать еще. «Значит, доктор не так обожает цветы, как вы?» — спрашивала г-жу Котар г-жа Сван. «О, вы знаете, мой муж — мудрец: он умерен во всем. Но и у него есть страсть». — «Какая же?» — с огоньком недоброжелательства, веселости и любопытства в глазах спрашивала г-жа Бонтан. Г-жа Котар простодушно ей отвечала: «Чтение». — «О, для супруга такая страсть — это полный отдых!» — восклицала г-жа Бонтан, сдерживая демонический хохот. «Когда доктор углублен в свои книги, то уж тут, знаете!..» — «Ну, это не должно вас особенно тревожить…» — «Как так не должно тревожить?.. А зрение?.. Одетта, меня ждет муж, но на ближайших днях я снова постучусь к вам в дверь. Да, кстати о зрении: вы слыхали, что особняк, который только что купила госпожа Вердюрен, будет освещаться электричеством? Я узнала об этом не от моих агентиков, а из другого источника: мне рассказывал не кто иной, как монтер Мильде. Видите, я ссылаюсь на первоисточник. Электричество будет везде, даже в жилых комнатах: там будут лампочки с абажурами, чтобы свет был не такой резкий. Это, конечно, роскошь, но приятная. Вообще в наше время все стремятся непременно завести у себя какое-нибудь новшество, а теперь этих новшеств столько развелось! Золовка одной из моих приятельниц поставила телефон! Она может, не выходя из дому, сделать заказ в магазин! Откровенно говоря, мне безумно хочется получить разрешение поговорить по телефону! Это для меня большой соблазн, но только я бы предпочла говорить у приятельницы, а не у себя. Меня бы, наверное, раздражал телефон. Первое время это было бы занятно, а потом голова бы распухла… Ну, Одетта, я бегу, не задерживайте госпожу Бонтан: она сама предложила меня довезти, я все никак не могу от вас вырваться, у вас так уютно, но мне пора к мужу!»

Пора было и мне уходить, так и не вкусив зимних наслаждений, блестящей оболочкой которым, казалось, служили хризантемы. Наслаждения все не являлись, а между тем г-жа Сван как будто ничего

больше и не ждала. Она отдавала прислуге распоряжение убирать со стола таким тоном, каким говорят: «Заприте двери!» И наконец обращалась ко мне: «Так вы уходите? Ну что ж, good-bye» Я чувствовал, что, если бы даже я и остался, все равно встреча с неведомыми наслаждениями у меня бы не состоялась и что я их лишен не только потому, что тоскую. Да и место ли им на этой проезжей дороге, где часы всегда так летят к мгновению расставанья, и не укрываются ли они на каком-нибудь неизвестном проселке, куда мне и надо бы свернуть? Как бы то ни было, цель моего прихода достигнута, до сведения Жильберты доведут, что я был у ее родителей, когда она отлучалась из дому, и что я, как об этом все твердила г-жа Котар, «с первого взгляда, мигом покорил госпожу Вердюрен», а между тем докторша еще ни разу не видела, чтобы г-жа Вердюрен «сразу сдалась». «У вас, наверно, взаимное притяжение», — добавляла г-жа Котар. Жильберте скажут, что я говорил о ней как подобает — с нежностью, но что я обхожусь без нее, а между тем, как мне казалось, ей было скучно последнее время со мной именно потому, что я могу без нее жить. Я сказал г-же Сзан, что мне тяжело быть с Жильбертой. Я сказал это ей так, словно решил никогда больше с Жильбертой не видеться. И самой Жильберте я собирался написать письмо такого же содержания. Но от себя я требовал, — чтобы не пасть духом, — крайнего и непродолжительного усилия: оттяжки всего на несколько дней. Я говорил себе:

«Это я в последний раз отказываюсь от свидания с Жильбертой, а на следующее приду». Чтобы мне не так трудно было расстаться, я не представлял себе разлуку окончательной. Но я предчувствовал, что она именно такою и будет.

На этот раз первое января было для меня особенно мучительным. Когда человек несчастен, всякая памятная дата и годовщина, конечно, мучительна для нас. Но если это, например, утрата дорогого существа, то страдания причиняет лишь необычайная яркость сравнения с прошлым. У меня же еще к этому примешивалась смутная надежда на то. что Жильберта, предоставив мне сделать первый шаг и убедившись, что я его не сделал, ждет лишь Нового года, чтобы написать мне: «Что же это такое? Я от вас без ума, приходите — мы должны объясниться начистоту, я не могу без вас жить». В течение последних дней старого года мне казалось, что в получении письма есть доля вероятия. Быть может, оно было бы написано по-другому, но, чтобы поверить, что придет именно такое письмо, нам достаточно пожелать, ощутить потребность. Солдат убежден, что получит отсрочку, которую можно будет потом продлевать без конца, до того, как его убьют, вор — до того, как его схватят, люди вообще — до того,

как они умрут. Это амулет, предохраняющий отдельные личности, — а иногда и народы, — не от самой опасности, но от страха опасности, в сущности — от уверенности в опасности, и, обладая таким амулетом, люди иной раз храбрятся, даже когда нет нужды выказывать храбрость. Подобного рода надежда, — и тоже ни на чем не основанная, — поддерживает любовника, рассчитывающего на примирение, на письмо. Чтобы не ждать письма, мне достаточно было расхотеть получить его. Как бы ты ни был уверен в своем равнодушии к той, кого еще любишь, ты стараешься представить себе, о чем она думает, — пусть даже о своем равнодушии к тебе, — как она намерена выразить свои мысли, какой сложной стала ее душевная жизнь вследствие того, что ты, быть может, все время вызываешь у нее неприязнь, но вместе с тем все время привлекаешь к себе ее внимание. Чтобы угадать, что происходит с Жильбертой, мне надо было просто-напросто представить себе по этому Новому году, что я буду чувствовать в один из следующих Новых годов, когда внимание, молчание, нежность или холодность Жильберты пройдут для меня почти незамеченными, когда я не стану, даже и не подумаю решать вопросы, которые уже не возникнут передо мной. Пока любишь, любовь не вмещается в нас вся целиком; она излучается на любимого человека, наталкивался на его поверхность, поверхность преграждает ей пучь и отбрасывает ее к исходной точке, — вот этот отраженный удар нашей собственной страсти мы и называем чувством другого человека, и она, эта страсть, обворожает нас сильнее, чем при вылете, потому что мы уже не сознаем, что она исходит от нас.

Все часы пробили первое января, а письмо от Жильберты так и не пришло. Третьего и четвертого января я продолжал получать поздравления, запоздалые или залежавшиеся на почте из-за ее загруженности в эти дни, и потому еще надеялся, хотя все меньше и меньше. Следующие дни я проплакал. Должно быть, я только старался себя уверить, когда шел на разрыв с Жильбертой, что мне совсем не так тяжело, — вот почему я лелеял надежду на ее новогоднее письмо. Надежда иссякла, прежде чем я успел защититься другою, и я страдал, как больной, который выпил пузырек с морфием, не запасшись другим. А может быть, — эти два объяснения одно другое не исключают, потому что единое чувство может состоять из противоположных, — вера в то, что я получу наконец письмо от Жильберты, приблизила ко мне ее образ, оживила волнение, с каким я прежде ждал встречи с нею, какое вызывал во мне один ее вид, ее манера держаться со мной. Возможность скорого примирения уничтожила чувство, всю безграничную силу которого мы себе не представляем: покорность.

Неврастеники не верят, когда им говорят, что они почти совсем успокоятся, если будут лежать в постели, не читая ни писем, ни газет. Они воображают, что такой режим только обострит их нервное состояние. Вот так же и влюбленные, рассматривая примиренность из недр противоположного душевного состояния, не испытав ее, отказываются верить в благодетельную ее силу.

У меня началось сердцебиение, но как только уменьшили дозу кофеина, оно прекратилось. Тогда я подумал: не из-за кофеина ли отчасти на меня нападала такая тоска, когда я почти рассорился с Жильбертой, — тоска, которую я всякий раз объяснял тем, что не увижу свою подружку, а если и увижу, то опять в плохом настроении? Но хотя бы даже лекарство и причиняло мне боль, которую мое воображение истолковало неверно (между тем ничего надуманного в таком толковании не было: жесточайшие душевные муки любовников часто вызываются физической привычкой к женщине, с которой они живут), — действие лекарства на меня было подобно действию напитка, давно уже выпитого Тристаном и Изольдой и все еще их соединявшего. Ведь когда мне уменьшили дозу кофеина, я почти сейчас же стал чувствовать себя лучше, но душевная моя боль, которую принятие яда, быть может, если и не вызвало, то, во всяком случае, усилило, стала острее.

Итак, мои надежды на новогоднее письмо рухнули, новая боль, причиненная их крушением, утихла, но когда осталось немного времени до середины месяца, на меня опять нахлынула предпраздничная тоска. Самое мучительное в ней было, пожалуй, то, что я сам был ее созидателем, бессознательным, добровольным, безжалостным и терпеливым. Ведь я же сам трудился над тем, чтобы единственно для меня дорогое — мои отношения с Жильбертой — сделалось невозможным: затягивая разлуку с моей подружкой, я постепенно укреплял не ее равнодушие ко мне, а то, что в конце концов привело бы к тому же: мое к ней. Я постоянно и упорно занимался медленным, мучительным убиением того «я» во мне, которое любило Жильберту, и я убивал его, отдавая себе полный отчет не только в том, во что я превращаю настоящее, но и в том, что из этого получится в будущем; я знал не только то, что некоторое время спустя я разлюблю Жильберту, но и то, что она об этом пожалеет, что, несмотря на все ее усилия, наши встречи не состоятся, как не происходит у нас встреч теперь, но уже не оттого, что я слишком сильно ее люблю, а, без сомнения, оттого, что я полюблю другую, что я буду к ней стремиться, что я буду ждать ее часами, из которых я ни одной секунды не уделю Жильберте, ибо она ничего не будет для меня значить. И, разумеется, в то самое мгновенье

(ведь я же решил встретиться с ней, только если она без обиняков попросит меня объясниться или откровенно признается мне в любви, но и то и другое было одинаково лишено вероятия), когда я утратил Жильберту, а любил ее еще сильней и ощущал, как много она для меня значила, острее, чем в прошлом году, проводя с ней все дни, сколько душе моей было угодно, веря, что нашей дружбе ничто не грозит, — разумеется, в это мгновенье мысль, что я буду питать такие же чувства к другой, казалась мне отвратительной, потому что она отнимала у меня, помимо Жильберты, мою любовь и мои страдания. Мою любовь и мои страдания, по силе которых я, плача, пытался отчетливо представить себе, что такое для меня Жильберта, и которые, — в этом я вынужден был себе признаться, — не являлись достоянием одной Жильберты, которые рано или поздно отойдут к другой. Вот так — по крайней мере, я был в этом уверен тогда, — и порывают с любимой; пока любишь, чувствуешь, что любовь не носит ее имени, чувствуешь, что любовь может возродиться в будущем, но это уже будет любовь к другой, что любовь к другой могла бы родиться даже в прошлом. А когда уже не любишь, то если даже и смотришь философским взглядом на противоречивость любви и сколько бы ты ни разглагольствовал о ней, сам-то ты любви не испытываешь, а стало быть, и не знаешь ее, ибо знание в этой области непостоянно — оно существует до тех пор, пока в нас живо чувство. От того грядущего, когда я разлюблю Жильберту, от того грядущего, которое мне помогала предугадывать моя душевная боль, хотя воображение пока еще не представляло себе его с полной ясностью, разумеется, еще было время предостеречь Жильберту, предупредить ее, что это грядущее созидается постепенно, что его еще можно предотвратить, но что потом оно станет неизбежным, если только Жильберта не придет мне на помощь и не убьет в зародыше будущее мое равнодушие. Сколько раз я чуть было не написал Жильберте, чуть было не пошел к ней и не сказал:

«Смотрите! Я решился, это моя последняя попытка. Я вижусь с вами в последний раз. Скоро я вас разлюблю». Но зачем? Какое я имел право упрекать Жильберту в равнодушии, коль скоро и я, не считая себя виновным, испытывал равнодушие — равнодушие ко всему, кроме Жильберты? В последний раз! Я любил Жильберту, и потому мне это казалось чем-то невероятным. А на нее это, наверное, произвело бы такое же впечатление, какое производят на нас письма, в которых друзья просят разрешения попрощаться с нами перед выездом за границу, в чем мы им, точно это любящие нас женщины, которые нам надоели, отказываем, жертвуя ими ради развлечений. Время, отпускаемое нам каждый день, эластично: чувства, которые мы сами испытываем, растягивают его,

чувства, которые мы внушаем другим, сжимают его, привычка его заполняет.

Впрочем, что бы ни говорил я Жильберте, она бы меня не услышала. Когда мы говорим, то всегда воображаем, что нас слушают наши уши, наш ум. Мои слова дошли бы до Жильберты искаженными, словно по дороге к моей подружке им надо было пройти сквозь движущийся занавес водопада, неузнаваемыми, нелепо звучащими, обессмысленными. Истина, вкладываемая в слова, пролагает себе непрямой путь, неоспоримая очевидность ей не свойственна. Должно пройти немало времени, чтобы в словах выкристаллизовалась та же самая истина. И тогда политический противник, вопреки всем убеждениям и доказательствам считавший предателем того, кто придерживался противоположных взглядов, сам оказывается сторонником прежде ненавистного ему учения, от которого тот, кто безуспешно пытался проповедовать его, уже отошел. Тогда художественное произведение, о котором читавшие его вслух поклонники думали, что оно говорит само за себя, и которое казалось слушателям посредственным и бессодержательным, эти же самые слушатели назовут шедевром, но только автор об этом уже не узнает. Вот также и в любви преграды не могут быть устранены извне — тем, кто не властен их сдвинуть, какие бы усилия он ни прилагал; когда же он забудет о них и думать, тут-то благодаря работе, проделанной другой стороной, благодаря работе, произведенной в душе не любившей женщины, преграды, на которые он столько раз покушался, рушатся, хотя это ему теперь совсем не нужно. Если б я предупредил Жильберту, что буду к ней равнодушен, и подсказал ей, как этого избежать, она сделала бы отсюда вывод, что я люблю ее, что я нуждаюсь в ней больше, чем она думала, ощущение же скуки при мысли о встрече со мной в ней бы только усилилось. И, конечно, именно благодаря любви, вызывавшей у меня самые разные душевные состояния, я вернее, чем Жильберта, угадывал конец моей любви. Все же по прошествии довольно долгого времени, письменно или устно, я бы мог предупредить Жильберту, но тогда она стала бы мне, по правде сказать, не такой уж необходимой, зато Жильберта поняла бы, как она была мне необходима прежде. На мое несчастье, люди, кто — с благими, кто — с дурными намерениями, начали говорить с ней обо мне так, что она, наверное, подумала, будто это я их об этом просил. Каждый раз, когда я узнавал, что Котар, моя Мать или маркиз де Норпуа своею бестактностью обесценивали принесенную мною жертву, уничтожали плоды моей скрытности, создавая ложное представление, будто бы я проговорился, мне было досадно вдвойне. Прежде всего, теперь я уже только с этого дня имел

право исчислять время моего тягостного и плодотворного молчальничества, которое эти неделикатные люди прервали без моего ведома, следовательно — отменили. А потом, мне было бы не так приятно видеть Жильберту, раз она уже не думает, что я, не роняя своего достоинства, покорился своей участи, а воображает, будто я действую из-за кулис, добиваясь свидания, которое она не соизволила мне назначить. Я проклинал праздную болтовню, которой люди часто занимаются не с целью навредить или услужить, а просто так, для поддержания разговора, иной раз — потому, что мы сами не удержались и что-то им поверили, они же проявляют свою несдержанность (такую же, как мы) в то время, когда она может причинить нам особенно много зла. Правда, во вредоносном деле разрушения любви они играют далеко не такую важную роль, как те два человека, которые имеют обыкновение, один — оттого что слишком добр, другой — оттого что слишком злобен, все ломать, как раз когда все налаживалось. Но на этих двух человек мы не сердимся, как сердимся на несообразительных Котаров, ибо второй человек — это та, кого мы любим, а первый — это мы сами.

И все же, так как почти каждый раз, когда я бывал у г-жи Сван, она приглашала меня попить чайку у ее дочери и настаивала на том, чтобы я с ней условился, я часто писал Жильберте и в письмах не выбирал слов, которые могли бы, по моему мнению, убедить ее, — я заботился только о том, чтобы у потока моих слез было мягкое дно. Ведь скорбь, как и желание, нуждается не в анализе, а в утолении; полюбив, ты тратишь время не на то, чтобы определить, что такое любовь, — все твои усилия направлены к тому, чтобы завтрашнее свидание состоялось. Когда же ты порываешь, ты стремишься не к тому, чтобы постичь свою скорбь, а чтобы выразить ее той, из-за кого ты скорбишь, в самых ласковых выражениях. Высказываешь то, что испытываешь потребность выразить и чего никто другой не поймет, говоришь только для себя. Я писал: «Я думал, что это невозможно. Увы! Я вижу, что это совсем не так трудно». Говорил же я вот что: «По всей вероятности, я вас больше не увижу», — говорил, все еще боясь, что она сочтет мою холодность показной, а когда я писал эти же слова, то плакал: я чувствовал, что выражают они не то, во что мне хотелось поверить, а то, что действительно случится потом. Ведь если она заговорит со мной о свидании, у меня, как и теперь, хватит присутствия духа сказать «нет», и так, от отказа к отказу, я постепенно дойду до того, что, не видя ее, расхочу ее видеть. Я плакал, но не терял твердости духа, я познавал сладость жертвы — жертвы счастьем быть с нею — для того, чтобы понравиться ей потом, когда — увы! — мне будет уже безразлично,

нравлюсь я ей или не нравлюсь. Даже от предположения, — впрочем, мало правдоподобного, — будто она меня не разлюбила, в чем она пыталась убедить меня во время последнего нашего свидания, предположения, будто ей со мной не скучно, как бывает скучно с человеком, который тебе надоел, а что в ней говорила ревнивая обидчивость, что она, как и я, только прикидывалась равнодушной, — от этого предположения мое решение становилось лишь не таким мучительным для меня. Мне думалось, что если несколько лет спустя, когда мы уже забудем друг друга, я признаюсь Жильберте, что письмо, которое я написал ей сейчас, — письмо неискреннее, то услышу в ответ: «Так, значит, вы меня любили? Если б вы знали, как я ждала этого письма, как я надеялась на свидание, сколько я из-за этого письма пролила слез!» Когда я, придя от г-жи Сван, принимался за письмо к Жильберте, у меня являлась мысль, что, быть может, именно сейчас я и создаю это недоразумение, и так как это была грустная мысль и так как мне отрадно было думать, что Жильберта любит меня, то я продолжал писать.

Когда приходил конец «чашке чаю» у г-жи Сван, я, собираясь уходить, думал, о том, что я напишу ее дочери, а у г-жи Котар перед уходом возникали совсем другие мысли. Производя «поверхностный осмотр», она непременно поздравляла г-жу Сван с новой мебелью, с недавними «приобретениями», которые она обнаруживала в гостиной. Но тут же узнавала кое-какие вещи, — впрочем, их было совсем немного, — которые Одетта перевезла из особняка на улице Лаперуза: любимцев Одетты, зверьков из драгоценного металла.

Но потом г-жа Сван услышала от одного из друзей, с мнением которого она считалась, выражение «уродство», оно открыло перед ней новые горизонты, так как относилось именно к тем вещам, которые несколько лет назад ей представлялись «шикарными», и все эти вещи одна за другой отправились в ссылку вслед за золоченым трельяжем, служившим опорой для хризантем, вслед за уймой бомбоньерок от Жиру и почтовой бумагой с короной (не говоря уже о разбросанных по камину картонных луидорах, — убрать их ей посоветовал человек со вкусом задолго до того, как она познакомилась со Сваном). Кроме того, в поэтическом беспорядке, в пестроте мастерской и комнат, где стены были все еще черного цвета, от которых так резко будут отличаться впоследствии белые гостиные г-жи Сван, Дальний Восток все отступал и отступал под напором XVIII века; и подушки, которые г-жа Сван «для большего комфорта» нагромождала и взбивала у меня за спиной, были уже усеяны букетами Людовика XV, а не китайскими драконами. В комнате, где г-жа

Сван находилась особенно часто и о которой она говорила: «Да, я ее очень люблю, мне здесь так уютно! Я бы не могла жить среди враждебных мне вещей и среди банальщины; я здесь и работаю» (г-жа Сван не поясняла, пишет она картину или книгу: в те времена у женщин, не любивших сидеть без дела, проявилась охота к сочинительству), — в этой комнате ее окружал саксонский фарфор (она особенно любила именно этот фарфор, произносила его название с английским акцентом и о чем угодно говорила так:

«Прелестно, это напоминает саксонские цветочки»), и за фарфор она еще больше боялась, чем прежде за фигурки и китайские безделушки, боялась варварского прикосновения к ним слуг, которым попадало от нее за то, что они заставляли ее волноваться, в то время как Сван, учтивый и нестрогий хозяин, сохранял спокойствие. Можно разглядеть в человеке некоторые слабости — и любить его ничуть не меньше; более того, любовь придает им особую прелесть. Теперь Одетта реже принимала близких друзей в японском халате, чем в светлом, пенистом шелку пеньюаров Ватто, цветущую пену которых она словно ласкала, проводя рукой по груди, в которых она купалась, наслаждалась, плескалась с таким блаженным ощущением освежающей тело прохлады и с такими глубокими вздохами, что казалось, будто они для нее не украшение, не что-то вроде рамки, но такой же предмет необходимости, как tub или footing, дающие ей возможность удовлетворять требования своей внешности и соблюдать тонкости гигиены. Она часто говорила, что ей легче обойтись без хлеба, чем без искусства и без чистоты, что пусть лучше сгорит «тьма-тьмущая» ее знакомых, чем «Джоконда». Мысли эти, хотя и казались ее приятельницам парадоксальными, заставляли их смотреть на нее снизу вверх, и этим же мыслям она была обязана еженедельным визитом бельгийского посланника, так что тот мирок, где она была солнцем, пришел бы в изумление, если б узнал, что где-то еще, как, например, у Вердюренов, ее считают глупенькой. Вследствие живости своего ума г-жа Сван предпочитала мужское общество женскому. Критиковала она женщин с точки зрения кокотки: отмечала в них недостатки, которые могли повредить им в глазах мужчин, — некрасивые запястья, плохой цвет лица, безграмотность, волосы на ногах, дурной запах, подкрашенные брови. О той женщине, которая в свое время проявила к ней снисходительность, бывала с ней любезна, она отзывалась не так строго, особенно если с этой женщиной случалось несчастье. Искусно защищая ее, г-жа Сван говорила: «К ней несправедливы, она очень милая женщина, уверяю вас».

Не только обстановку в гостиной Одетты, но и самое Одетту с трудом

узнали бы и г-жа Котар, и все, кто бывал у г-жи де Креси, если бы давно ее не видали. Она казалась гораздо моложе своих лет, чем тогда. Производила г-жа Сван такое впечатление, конечно, отчасти потому, что она пополнела, лучше выглядела, потому что у не был теперь вид женщины более уравновешенной, посвежевшей, отдохнувшей, а кроме того, от модной гладкой прически лицо ее словно стало шире, розовая пудра оживляла его, и ее глаза уже не казались такими выпуклыми, как прежде, профиль — таким резко очерченным. А еще одна причина перемены заключалась в том, что, дойдя до середины жизни, Одетта наконец открыла — или придумала — свой облик, неменяющуюся «характерность», особый «вид красоты» и отдельным своим чертам, долгое время зависевшим от случайных и бессильных прихотей плоти, как бы сразу на несколько лет старевшим от малейшей усталости и с грехом пополам, в соответствии с ее расположением духа и с ее видом, составлявшим нестройное, будничное, незавершенное и все-таки прелестное лицо, придала постоянство типичности, наложила на них печать неувядающей молодости.

В комнате Свана не было последних прекрасных фотографий его жены, на которых по одному и тому же загадочному и победоносному выражению можно было узнать, в каком бы платье и шляпе она ни снималась, ее торжествующий силуэт и торжествующее лицо, — их заменял ему появившийся у нее еще до образования этого нового типа лица маленький, совсем простой старинный дагерротип, на котором юность и красота Одетты, еще не найденные ею, казалось, отсутствовали. Но Сван, остававшийся верным прежнему очерку или же вернувшийся к нему, конечно, предпочитал молодую и хрупкую женщину с задумчивым и утомленным лицом, в такой позе, как будто она идет и в то же время не двигается, ту женщину, в которой было больше боттичеллиева изящества. И правда, он все еще видел в Одетте женщину Боттичелли, и это доставляло ему удовольствие. Одетта же старалась не оттенять, а, напротив, возмещать или затушевывать то, что ей в себе не нравилось, то, что для художника, быть может, являлось «характерным», но что она, как женщина, считала недостатком, и она слышать не хотела о Боттичелли. У Свана была чудная восточная шаль, розовая с голубым, которую он купил потому, что она была совершенно такая же, как покров божьей матери на Magnificat'e. Но г-жа Сван не носила ее. Только однажды она разрешила мужу заказать для нее платье, усеянное маргаритками, васильками, незабудками и колокольчиками, как у Весны. В те вечера, когда Одетта казалась усталой, Сван шептал мне, что она незаметно для себя придала своим задумчивым рукам сходство с расслабленными, какими-то даже

страдальческими руками божьей матери, которая, перед тем как писать в священной книге, где уже начертано слово Magnificat, опускает перо в чернильницу, протянутую ей ангелом. «Только не говорите ей; если она узнает, то непременно примет другое положение», — добавлял Сван.

Если не считать таких мгновений невольной размягченности, когда Сван пытался вновь обнаружить в Одетте печаль боттичеллиева ритма, ее тело вырезывалось теперь цельным силуэтом, обведенным одной «линией», и эта линия, чтобы дать точный абрис женщины, отказалась от пересеченных местностей, от бывших некогда в моде искусственных выступов и впадин, от выкрутасов, от многосложной раскиданности, но она же там, где анатомия допускала ошибку и зачем-то отступала от безукоризненно выполненного чертежа, одним каким-нибудь смелым поворотом выпрямляла естественные отклонения, она исправляла на всем своем протяжении недостатки, свойственные как фигуре, так и тканям. Подушечки, «сиденья» безобразных «турнюр» исчезли так же, как и возвышавшиеся над юбкой, распяленные китовым усом корсажи с баской, в течение долгого времени утолщавшие Одетте живот и создававшие такое впечатление, точно Одетта состоит из разнородных частей, которые никакая индивидуальность не могла бы соединить. Вертикаль «бахромочки» и кривая рюшей были вытеснены выгибом тела, колыхавшим шелк, как колышет море сирена, и очеловечивавшим подкладочную ткань благодаря тому, что тело, как стройная и живая форма, наконец-то высвободилось из хаоса и из пелены тумана низложенных мод. И все-таки г-жа Сван хотела и умела сохранить нечто от прежнего, сочетая это с модами новыми. В те вечера, когда мне не работалось и когда я знал наверное, что Жильберта ушла с подругами в театр, я без приглашения шел к ее родителям и часто заставал г-жу Сван в изящном дезабилье: на ней была юбка красивого темного цвета — вишневого или оранжевого, и эти цвета словно приобретали особое значение благодаря тому, что они уже вышли из моды, а юбку наискось пересекал широкий ажурный клин черных кружев, напоминавший стародавние воланы. Как-то, в еще холодный весенний день, г-жа Сван взяла меня с собой, до моей ссоры с ее дочерью, в Зоологический сад, от ходьбы ей становилось жарко, и когда она распахивала жакетку, я видел зубчатую «надставку» блузки, похожую на отворот жилета, вроде тех, какие она носила несколько лет назад, непременно с зубчатыми бортами; а галстук из «шотландки», — ему она не изменила, она лишь смягчила его тона (красный цвет сменила на розовый, синий — на лиловый, но от этого «шотландка» напоминала теперь последнюю новость: переливчато блестевшую тафту), — г-жа Сван

подвязывала под подбородком так, что было непонятно, как он держится, — невольно приходила мысль о «завязках» от шляпы, однако шляп тогда никто уже не подвязывал. Сколько бы г-жа Сван так ни «продержалась», молодые люди, силясь постичь ее искусство одеваться, все равно говорили бы:

«Госпожа Сван — это целая эпоха, правда?» Как в прекрасном стиле различные формы, скрепленные незримой традицией, наслаиваются одна на другую, так в туалетах г-жи Сван смутные воспоминания о жилетах, буклях и тут же пресекаемая тенденция к «Прыгай в лодку», вплоть до отдаленного, неявного подобия тому, что носило название: «Следуйте за мной, молодой человек», — все это содействовало распространению под вполне определенной оболочкой недовершенного сходства с более старинными формами, чего никакая портниха или модистка не сумели бы добиться, и вот эта связь со стариной не выходила у вас из головы, а г-жу Сван облагораживала — быть может, потому, что бесполезность ее уборов наводила на мысль, что они соответствуют не только утилитарным целям, быть может, оттого что в них сохранилось нечто от минувшего, а быть может, дело заключалось еще в особой манере одеваться, свойственной только г-же Сван, манере, благодаря которой у самых разных ее нарядов вы обнаруживали семейное сходство. Чувствовалось, что она одевается так не только потому, что это удобно или красиво; туалет был для нее утонченной и одухотворенной приметой целого периода в истории культуры.

Если Жильберта, обычно приглашавшая на чашку чая в дни приемов матери, куда-нибудь уходила и мне можно было пойти на «журфикс» к г-же Сван, я всегда видел на ней красивое платье, иной раз — из тафты, в другой раз — из фая, из бархата, из крепдешина, из атласа, из шелка, и эти платья, не такие свободные, как дезабилье, в котором она обычно ходила дома, словно надетые для выхода, вносили в ее дневной, домашний досуг бодрящее, деятельное начало. И конечно, смелая простота их покроя очень шла к ее фигуре и к ее движениям, которым рукава точно придавали менявшуюся каждый день окраску: синий бархат выказывал внезапную решимость, белая тафта говорила о хорошем настроении, а некая высшая, благородная сдержанность в манере поводить плечом облекалась, чтобы оттенить себя, в черный крепдешин, блиставший улыбкой великих жертвоприношений. И в то же время к этим ярким платьям сложность «гарнитуров», не преследовавшая никаких практических целей, не желавшая выделяться, прибавляла что-то свое, бескорыстное, задумчивое, таинственное, сливавшееся с грустью, которая всегда жила у г-жи Сван — хотя бы в пальцах и в синеве под глазами. Помимо обилия брелоков с

сапфирами, эмалевых четырехлистников, серебряных медальончиков, золотых медальонов, бирюзовых амулетов, цепочек с рубинами, топазовых ожерелий, рисунок на кокетке самого платья, заявлявший о своем давнем происхождении, ряд атласных пуговичек, ничего не застегивавших и не расстегивавшихся, сутаж, которому хотелось доставить нам удовольствие добросовестностью, сдержанностью скромного напоминания о себе, все это в такой же мере, как драгоценности, словно стремилось, — а иначе оно не имело бы права на существование, — открыть некую тайну, быть обетованием любви, выражать признание, содействовать суеверию, сохранить воспоминание об исцелении, о клятве, о страсти или об игре в фанты. А иногда в синем бархате корсажа скрывался намек на разрезы эпохи Генриха II, небольшие утолщения на рукавах — у самых плеч — черного атласного платья напоминали о «буфах» 1830-х годов, а такие же утолщения под юбкой — о «фижмах» времен Людовика XV, и все это неприметно для глаза превращало платье в стильный костюм и, вводя неясное воспоминание о прошлом, в настоящее, придавало г-же Сван прелесть исторических героинь или героинь романов. И когда я спросил ее о гольфе, она ответила так: «В отличие от многих моих приятельниц, я в гольф не играю. Им простительно надевать sweater, а мне нет».

В салонной суете, проводив одного гостя или передавая другому блюдо с пирожными, г-жа Сван, проходя мимо меня, успевала шепнуть: «Жильберта просила меня не забыть пригласить вас на послезавтра. Я не знала наверное, увижу ли я вас сегодня, но если б вы не пришли, я бы вам написала». Я упорствовал. И это упорство стоило мне все меньше и меньше усилий: ведь как бы, человек ни любил себя растравлять, но если его лишить это» возможности, немного погодя он непременно оценит покой, от которого он отвык, то, что он уже не мучается и не волнуется». Мы не совсем искренни, когда уверен, что нам больше не захочется увидеть любимую, но мы не совсем искренни и когда уверяем, что нам хочется ее видеть. Конечно, разлука терпима, только если знаешь заранее, что долго она не продлится, если отсчитываешь минуты до того дня, когда ты должен увидеться с любимой, и в то же время ты чувствуешь, насколько постоянные мечты о близком, но все дальше откладываемом свидании менее мучительны, чем сама встреча: ведь встреча может вызвать ревность, — вот почему при известии о том, что ты увидишь любимую, тебя охватит безрадостное волнение. Ты уже откладываешь со дня на день не конец тоски, сопряженной с разлукой, а угрозу возобновления безысходной тревоги. Насколько же дороже встречи послушное воспоминание, которое можно как угодно дополнять вымыслом, так что,

когда ты остаешься один на один с самим собой, женщина, которая на самом деле тебя не любит, вдруг начинает объясняться тебе в любви! Воспоминание, к которому ты волен понемногу прибавлять все, что тебе хочется, пока оно не станет для тебя вполне отрадным, — насколько же оно дороже откладываемой беседы, во время которой ты не только не продиктуешь собеседнице слов, какие тебе хотелось бы от нее услышать, но получишь новые доказательства ее холодности, ее неожиданной резкости! Когда мы уже не любим, забвение и даже смутное воспоминание не причиняют такой сильной боли, как несчастная любовь. Вот такая успокоительная тишина предвкушаемого забвения, — хотя я в этом себе не признавался, — и была мне всего дороже.

Лечение душевным безразличием, отчужденностью становятся все менее болезненным «еще и по другой причине: оно постепенно излечивает от навязчивой идеи, то есть от любви. Моя любовь была еще так сильна, что я пытался восстановить свое обаяние в глазах Жильберты, и обаяние это, как я себе представлял, благодаря добровольной разлуке будет расти и растя, так что все спокойные и тоскливые дни, когда я с Жильбертой не виделся, тянувшиеся один за другим, без перерыва, без разрыва (если только кто-нибудь бестактно не вмешивался не в свое дело), были для меня не потерей, а приобретением. Приобретением, может быть, лишним — при условии скорого выздоровления. От покорности своей участи, — этой разновидности привычки, — иные из душевных сил растут беспрерывно. Силы, которыми располагал я, чтобы вынести мое горе, такие слабые в тот вечер, когда я поссорился с Жильбертой, наконец достигли небывалой мощности. Но стремление всего живущего продлить свое существование иногда прерывается из-за внезапных соблазнов, которым мы поддаемся тем легче, что уже знаем по опыту, сколько дней, сколько месяцев мы смогли и могли бы еще испытывать лишения. Ведь часто бывает так: едва кошелек, где ты хранишь деньги, наполняется, ты сразу тратишь все свои сбережения; это значит, что ты прерываешь лечение, не дождавшись результатов и после того, как ты уже привык к нему. И вот, когда однажды г-жа Сван повторила то, что она мне твердила обычно о радости, какую доставила бы Жильберте встреча со мной, и словно вкладывала прямо мне в руки блаженство, от которого я так долго отказывался, меня поразила мысль, что я еще могу вкусить его; и я еле дождался завтрашнего дня — я так бы и полетел к Жильберте.

Продержать себя в руках целый день мне помогла одна затея. Раз все забыто, раз я помирюсь с Жильбертой, я хочу с ней встречаться только как ее поклонник. Каждый день она будет от меня получать самые красивые

цветы. А если г-жа Сван, хотя у нее нет никаких оснований быть строгой матерью, не позволит мне ежедневно присылать цветы, я буду делать более дорогие подарки, только не так часто. Денег, которые мне давали родители, не хватило бы на дорогие вещи. И тут я подумал о доставшейся мне от тети Леонии большой старинной китайской вазе, относительно которой мама каждый день предсказывала, что войдет Франсуаза и сообщит:

«Кусочек, это самое, отлетел» — и что в конце концов от вазы ничего не останется. В таком случае не лучше ли продать ее — продать для того, чтобы иметь возможность доставлять Жильберте любые удовольствия? Я рассчитывал получить за вазу тысячу франков. Мне ее упаковали; я так к ней привык, что никогда на нее не смотрел; в расставании с ней была та хорошая сторона, что я наконец разглядел ее. Я взял ее с собой, дал кучеру адрес Сванов и велел ехать к ним через Елисейские поля — там, на углу, был большой магазин китайских вещей, его владелец знал моего отца. К великому моему изумлению, владелец магазина предложил мне за вазу не тысячу, а десять тысяч франков. Я с восторгом взял эти деньги: в течение года каждый день можно будет засыпать Жильберту розами и сиренью. Простившись с владельцем магазина, я снова сел в экипаж, и так как Сваны жили близко от Булонского леса, то кучер, естественно, поехал не обычным путем, а через Елисейские поля. Уже за поворотом на улицу Берри, когда мы были совсем близко от Сванов, мне вдруг почудилось в сумерках, что я вижу Жильберту: она шла мне навстречу медленным, однако решительным шагом, разговаривая с каким-то молодым человеком, лицо которого я так и не увидел. Я привстал, хотел было сказать кучеру, чтобы он остановился, но передумал. Они были уже довольно далеко от меня, и две мягкие параллельные линии, проводимые медленной их прогулкой, постепенно исчезали в елисейском мраке. Немного погодя я подъехал к дому Жильберты. Меня встретила г-жа Сван. «Ах, как будет жалеть Жильберта! — сказала она. — Я ее не видела, когда она уходила. Она занималась, ей стало жарко, и она сказала, что выйдет с подругой немножко подышать воздухом». — «По-моему, я ее встретил на Елисейских полях». — «Вряд ли. Во всяком случае, не говорите отцу — он не любит, чтобы она по вечерам уходила из дому. Good evening!» Я велел кучеру ехать той же дорогой, но с ними уже не встретился. Где они были? И о чем в вечернее время с таинственным видом могли они говорить?

Я вернулся домой, решив не встречаться с Жильбертой, и теперь эти нежданные десять тысяч франков, на которые я мог доставлять ей столько скромных удовольствий, вызывали во мне горькое чувство. Заезд к продавцу китайских вещей, конечно, обрадовал меня: во мне затеплилась

надежда, что теперь моя подружка будет всегда довольна мной и благодарна. Но если б я не заехал в магазин и если б мы не поехали через Елисейские поля, я не встретил бы Жильберту с молодым человеком. Так одно и то же событие пускает ветви в разные стороны; зло, порожденное им, уничтожает доставленную им же радость. Со мной произошло нечто противоположное тому, что случается часто. Человек мечтает о счастье, но, чтобы быть счастливым, у него не хватает денежных средств. «Скучно любить, если у тебя нет больших денег», — сказал Лабрюйер. Волей-неволей приходится постепенно расстаться с мечтой о счастье. У меня вышло наоборот: деньги я раздобыл, но вслед за тем — пусть это было не неизбежное следствие, а случайное совпадение, — у меня похитили счастье. Впрочем, счастью, как видно, суждено вечно ускользать от нас. Правда, обычно не в тот вечер, когда у нас появилась возможность быть счастливыми. Чаще всего мы некоторое время напрягаем усилия и надеемся. Но для радости никогда не остается места. Если сила обстоятельств оказывается побежденной, природа переносит борьбу извне внутрь и постепенно изменяет наше сердце настолько, что ему уже хочется не того, чем оно могло бы обладать, а чего-то другого. Если ж перемена была до того быстрой, что сердце не успело измениться, то природа все-таки не теряет надежды перебороть нас — она только избирает более медленный, более сложный, но не менее верный путь. В таких случаях у нас отнимают счастье в последнюю минуту, а еще чаще природа со свойственной ей дьявольской хитростью подстраивает так, что как раз обладание счастьем и разрушает самое счастье. Потерпев неудачу вовне, природа создает еще одну, последнюю невозможность быть счастливым — невозможность психологическую. Явление счастья или не возникает вовсе, или сменяется явлением обратным, и притом — в самой тяжелой его форме.

Я располагал десятью тысячами франков. Но мне они были уже не нужны. Впрочем, я истратил их скорее, чем если бы каждый день посылал цветы Жильберте: как только наступал вечер, я чувствовал себя таким несчастным, что не мог оставаться дома и шел выплакаться в объятиях нелюбимых женщин. О том, чтобы доставить удовольствие Жильберте, я теперь и не помышлял. Пойти к Жильберте было бы для меня мукой; просто увидеть Жильберту, о чем я так мечтал накануне того дня, мне было бы мало. Я был бы спокоен, только пока она со мной. Какую бы новую боль ни причиняла нам женщина, часто сама того не подозревая, от этого ее власть над нами только усиливается, но вместе с тем повышаются и наши требования к ней. Заставляя нас страдать, женщина все крепче привязывает

нас к себе, сковывает нас двойною цепью и в то же время удваивает цепь, которой прежде для собственного спокойствия опутывали ее мы. Еще накануне того дня, если б я убедился, что Жильберте со мной не скучно, я удовольствовался бы требованием редких встреч, а теперь это меня уже не удовлетворило бы, и мои условия были бы совсем иные. Любовь — не война: в любви чем бесспорнее поражение, тем жестче условия, и, если только у победителя есть возможность поставить их, он позаботится о том, чтобы тяжесть их все усиливалась. У меня с Жильбертой дело обстояло иначе. Вот почему я прежде всего решил не ходить больше к г-же Сван. Я все время уверял себя, что Жильберта меня не любит, что мне это давно известно, что если я захочу, то могу увидеться с ней, а если не захочу, то со временем забуду ее. Но такие мысли, подобно не всегда помогающему лекарству, не оказывали никакого действия на две параллельные линии, которые по временам снова виделись мне — линии Жильберты и молодого человека, медленно углубляющихся в аллею Елисейских полей. Эта новая боль тоже должна была утихнуть, из этого образа, если б он рано или поздно явился вновь умственному моему взору, было бы отцежено все вредное, — так без малейшей для себя опасности можно вертеть в руках пузырек со смертельным ядом; так, не боясь взрыва, можно закурить от крошечного количества динамита. Пока же во мне действовала другая сила, вступившая в ожесточенную схватку с той тлетворной силой, которая без всяких изменений рисовала мне прогулку Жильберты в сумерках: чтобы отбивать возобновлявшиеся нападения памяти, проделывало полезную работу, действуя в обратном направлении, мое воображение. Одна из этих сил, понятно, продолжала показывать мне парочку, гуляющую по аллее Елисейских полей, а кроме того, напоминала мне и другие неприятные сцены, выхваченные из прошлого: например, Жильберту, пожимающую плечами в ответ на просьбу матери побыть со мной. Но другая сила расшивала по канве надежд, рисовала будущее, гораздо более радостное для меня, чем мое скудное прошлое, в сущности такое однообразное! В награду за одно мгновенье, когда я опять видел насупившуюся Жильберту, сколько было таких, когда я придумывал, что она предпримет для того, чтобы помириться со мной, а может быть, и для нашей помолвки! Правда, устремляя эту силу к будущему, воображение все-таки черпало ее в прошлом. Чем скорее изгладилась бы из памяти моя досада на то, что Жильберта пожала плечами, тем скорее померкло бы и воспоминание об ее прелести — воспоминание, будившее мечту о том, чтобы она вернулась ко мне. Но смерть моего прошлого была еще так далека! Я был вполне уверен, что терпеть не могу Жильберту, на самом деле я все еще любил ее. Когда

кто-нибудь говорил, что я причесан к лицу, что я хорошо выгляжу, мне хотелось, чтобы это слышала Жильберта. Я злился на то, что так много знакомых зовет меня к себе, и никуда не ходил. Мне досталось дома за то, что я не поехал с отцом на званый обед, на котором должны были быть Бонтаны со своей племянницей Альбертиной, молоденькой девушкой, почти подростком. Разные периоды нашей жизни находят один на другой. Вы с презрением отказываетесь, — потому что любите другую, к которой вы совершенно охладеете потом, — от встречи с той, к которой вы равнодушны сегодня, которую вы полюбите завтра, которую, если бы только вы захотели ее увидеть, быть может, полюбили бы раньше и которая благодаря этому сократила бы нынешние ваши мучения, заменив их, впрочем, другими. Мои мучения видоизменялись. Я с удивлением замечал в себе сегодня одно чувство, завтра другое, обычно вызываемые надеждой или страхом, связанными с Жильбертой. С Жильбертой, которую я носил в себе. Мне надо было внушить себе, что другая, настоящая Жильберта, вероятно, ничуть не похожа на эту, что напрасно я воображаю, будто она о чем-то жалеет, что наверно она думает обо мне не только гораздо меньше, чем я о ней, но и чем она обо мне, когда я остаюсь наедине с выдуманной Жильбертой, когда я стараюсь догадаться, чего она от меня хочет, когда я воображаю, что все ее внимание устремлено на меня.

В душевной боли, постепенно слабеющей, но все же упорствующей, следует различать тот период, когда нам ее причиняет неотвязная мысль о самом человеке, и другой, когда оживают воспоминания: злые слова, глагол, употребленный в письме. Откладывая описание разных видов печали до более позднего увлечения, мы ограничимся пока замечанием, что первый из двух видов несравненно менее тяжел, чем второй. Это зависит от того, что живущее в нас представление о человеке окружено ореолом и этим ореолом мы спешим окружить и самого человека; от того, что наше представление проникнуто если не частой отрадой надежды, то, во всяком случае, спокойствием вечной грусти. (Нужно, однако, заметить, что образ человека, из-за которого мы страдаем, занимает скромное место среди тех осложнений, которые усиливают тоску любви, длят ее и не дают от нее излечиться, — так незначительная причина болезни может вызвать сильнейший жар и задержать выздоровление) Но если понятие о любимом человеке отражает в общем оптимистическое настроение, то этого нельзя сказать об отдельных воспоминаниях: о колкостях, о резком письме (от Жильберты я получил одно такое письмо); у нас создается впечатление, что в этих обрывочных воспоминаниях весь человек; в них он достигает мощи, которая ему совершенно не свойственна в том привычном понятии, какое у

нас складывается от него в целом. Письмо это уже не образ любимого существа, который мы рассматриваем в задумчивой тишине печали; мы прочли, мы проглотили письмо в страшной тоске, от которой сжималось наше сердце, изнывавшее от нежданного горя. Этот вид печали образуется иначе: такая печаль приходит извне и дорогой невыносимых страданий добирается до нашего сердца. Образ нашей подруги представляется нам давно установившимся, подлинным, а в действительности мы его много раз переделывали. Мучительное воспоминание — не современник и не ровесник этого реставрированного образа; оно является одним из немногих свидетелей ужасного прошлого. Но прошлое продолжает жить, — только не в нас, ибо мы пожелали заменить его дивным золотым веком, раем, где все помирятся друг с другом, — а потому воспоминания, письма возвращают нас к действительности, и внезапная боль, какую они нам причиняют, должна была бы обратить наше внимание на то, как далеко мы, увлеченные безумными надеждами ежедневного ожидания, ушли от действительности. Это вовсе не значит, что действительность остается одной и той же, хотя иногда остается. На нашем пути встречались женщины, с которыми нам потом ни разу не захотелось увидеться и которые на наше неумышленное молчание, естественно, отвечали молчанием. Но этих женщин мы не любили, а потому и не считали, сколько лет прошло со времени нашей разлуки, и на этот обратный пример мы не ссылаемся, когда рассуждаем о благодетельной силе разобщения, — так люди, верящие в предчувствия, сбрасывают со счета все случаи, когда предчувствия обманули их.

Но, вообще говоря, отдаление может быть благотворным. В сердце, которое оторвалось от нас, в конце концов появляется желание, потребность во встрече с нами. Но только для этого нужно время. А времени требуется так же невероятно много, как для того, чтобы дать возможность сердцу измениться. Идем же мы на это особенно неохотно потому, что мы исстрадались и нам хочется, чтобы наши страдания как можно скорей прекратились. А еще потому, что временем, нужным другому сердцу для того, чтобы измениться, воспользуется наше — тоже для того, чтобы измениться, так что, когда цель, которую мы перед собой поставили, окажется достижимой, она перестанет быть нашей целью. Да и самая мысль, что цель достижима, что нет такого счастья, которого мы в конце концов не обрели бы, как только оно перестанет быть для нас счастьем, — эта мысль заключает в себе часть, только часть истины. Счастье нам достается, когда мы к нему охладеваем. Но именно вследствие охлаждения мы становимся менее требовательными, и это оно внушает нам уже много

спустя мысль о том, как мы были бы рады счастью — рады в то время, когда оно, быть может, показалось бы нам далеко не полным. Мы не особенно придирчивы и справедливы к тому, что нас не волнует. Нашему равнодушию ласковость человека, которого мы разлюбили, представляется необычайной, тогда как наша любовь, пожалуй, ею бы нисколько не удовлетворилась. Мы думаем о том, какую радость доставили бы нам нежные слова, предложение встретиться, но не о словах и предложениях, которые мы хотели бы услышать сейчас же вслед за теми и которые, может быть, только из-за нашей жадности так и не были бы произнесены. Следовательно, нельзя быть уверенным в том, что счастье, пришедшее слишком поздно, когда ты уже не можешь им насладиться, когда ты уже не любишь, это и есть то самое счастье, из-за которого ты прежде был так несчастен — несчастен потому, что оно тебе не давалось. Единственно, кто мог бы тут судить, — это наше былое «я»; его уже нет; и, конечно, стоило бы счастью вернуться, и оно, такое или не такое, тут же бы исчезло.

Между тем после толчка, каким явился для меня один сон, которому в другое время я не придал бы значения, благодаря моей выдумке, столь же неутомимой, как и в пору, когда я был почти незнаком с Жильбертой, плоды моей выдумки — слова, письма, в которых Жильберта молила меня о прощении, признавалась, что никого, кроме меня, никогда не любила, и предлагала жениться на ней, — все эти беспрестанно воссоздаваемые отрадные видения стали занимать мои мысли больше, чем образ Жильберты, идущей с молодым человеком, потому что этот образ был лишен питательной среды. И я, пожалуй, опять начал бы ходить к г-же Сван, если бы не сон, а увидел я во сне моего друга, который, однако, был мне незнаком, который был по отношению ко мне в высшей степени неискренен и не верил в мою искренность. Я внезапно проснулся от боли, которую мне причинил этот сон, и, убедившись, что боль не проходит, стал думать о сне; я старался припомнить, что это за друг, но в памяти моей сохранилось только то, что у него испанское имя, а какое — я уже забыл. Иосиф и фараон в одном лице, я принялся толковать сон. Я знал, что во многих снах не имеет значения внешний вид приснившихся, — они могут быть иначе одеты, могут поменяться друг с другом лицами, вроде искалеченных святых в церквах — тех, которым невежественные археологи поменяли головы, перепутали признаки и имена. Имена, которые нам приснились, могут ввести нас в заблуждение. Мы узнаем любимого человека только по силе мучения, какое мы из-за него испытываем Мое мучение уверило меня, что приснилась мне в виде юноши и все еще причиняла боль своею ложью Жильберта. Тут я вспомнил, что во время

последнего нашего свидания, когда мать не пустила ее на танцевальное утро, она, то ли искренне, то ли нет, с какой-то странной усмешкой отказалась поверить, что я хорошо к ней отношусь. По ассоциации это воспоминание привело мне на память другое. Гораздо раньше Сван не захотел поверить ни в мою искренность, ни в мои дружеские чувства к Жильберте. Мое письмо не имело успеха — Жильберта принесла мне его и вернула с той же непонятной усмешкой. Вернула она мне его не сразу, — я припомнил всю эту сцену под купой лавровых деревьев. Когда с человеком случается несчастье, он становится лучше. Думая о неприязни Жильберты ко мне, я пришел к выводу, что это меня наказала жизнь за мое поведение. Человек думает, что наказаний можно избежать, как избегают опасностей, оглядываясь при переходе улиц, чтобы не попасть под колеса. Но есть наказания душевные. Несчастный случай приходит с той стороны, откуда ты его не ожидаешь, — изнутри, из сердца. Слова Жильберты: «Если хотите, давайте еще поборемся», — привели меня в ужас. Я представил себе, что так она, может быть, держит себя дома, в бельевой, с молодым человеком, который шел с ней на Елисейских полях. Если (еще не так давно) я был безрассуден, полагая, что мне нечего бояться за свое счастье, то теперь, когда я отказался от счастья, я был не менее безрассуден, воображая, что у меня нет оснований опасаться за достигнутый мною душевный покой. Раз наше сердце всегда хранит в себе образ другого человека, то в любой момент может быть разрушено не только наше счастье; когда счастье уходило от нас, мы страдали, затем нам удалось усыпить нашу боль, и вот тут таким же обманчивым и непрочным, как счастье, оказывается покой. Ко мне он в конце концов вернулся, ибо то, что, изменяя наше душевное состояние, наши чаяния, входит благодаря сну в наше сознание, — все это постепенно рассеивается: ведь непрерывность и продолжительность не свойственны ничему на свете, даже мучению. Притом страдающие от любви, как говорят про некоторых больных, сами себе врачи. Так как успокоить их может только тот, кто причинил им боль, и так как эта боль есть его эманация, то в конце концов именно она исцеляет их. В определенный момент она дает им болеутоляющее средство: чем больше они растравляют свои раны, тем отчетливее душевная боль показывает им другое обличье человека, без которого они тоскуют, порой до того ненавистное, что пропадает всякое желание с ним увидеться, — прежде чем вновь полюбить его, надо его помучить, — порой до того привлекательное, что эту привлекательность, которой ты же его и наделяешь, ты вменяешь ему в достоинство и на ней основываешь свои надежды. Но хотя боль, опять начавшая мучить меня, как будто бы наконец

утихла, я все же решил бывать у г-жи Сван изредка. У любящих и покинутых ожидание, — даже если они самим себе не признаются, что чего-то ждут, — изменяется само собой и, оставаясь как будто бы прежним, из первоначального состояния переходит в другое, прямо противоположное. Первое являлось следствием, отражением потрясших нас прискорбных событий. К ожиданию того, что еще может случиться, примешивается страх, тем более сильный, что теперь мы стремимся, если только любимая женщина не сделает первого шага, действовать сами, но не очень уверены в успехе нашего начинания, за которым, быть может, и не последует дальнейшего. Но немного погодя ожидание незаметно для нас наполняется, как мы это уже видели, не воспоминаниями о прошлом, но упованием на воображаемое будущее. И теперь оно почти отрадно. Притом первоначальное ожидание, длившееся недолго, приучило нас жить надеждой. Боль, испытанная нами во время последних встреч, все еще живет в нас, но она усыплена. Мы не спешим будить ее, да мы точно и не знаем, чего мы сейчас хотим. Чуть-чуть большая власть над любимой женщиной только усилит потребность в том, чего у нас нет и что во всяком случае останется недостижимым, ибо стоит нам удовлетворить одно желание, как сейчас же является другое.

Наконец прибавилась еще одна причина, почему я совсем перестал бывать у г-жи Сван. Эта причина, возникшая позже других, состояла не в том, чтобы я забыл Жильберту, а в том, что я старался забыть ее возможно скорее. После того как я отмучился, мои посещения г-жи Сван несомненно служили успокоением для моей еще не рассеявшейся грусти и одновременно развлечением, поначалу таким для меня драгоценным! Однако то, что содействовало моему успокоению, мешало мне развлечься, ибо с моими приходами было неразрывно связано воспоминание о Жильберте. Развлечение принесло бы мне больше пользы, если б оно вступило в борьбу с моим чувством, но чувство уже не подогревалось присутствием Жильберты; если б оно вступило в борьбу с моими мыслями, интересами, страстями, но для Жильберты там уже не было оставлено ни единого уголка. Как бы ни было скромно то место, какое на первых порах занимают в душе переживания, не имеющие отношения к любимому существу, все-таки им удается потеснить любовь, прежде владевшую всею душою. Нужно вскармливать, взращивать эти мысли, пока чувство идет на убыль и становится всего лишь воспоминанием, и тогда новые элементы, вводимые в сознание, борясь, сражаясь за каждую пядь, в конце концов захватывают все душевное пространство. Я понимал, что это единственный способ убить любовь, и был еще достаточно молод, достаточно смел, чтобы

прибегнуть к этому способу, чтобы пойти на лютейшую муку, рождающуюся из уверенности, что со временем человек непременно добьется своего. В письмах к Жильберте я теперь отказывался от встреч с ней, намекая на некое загадочное, от начала до конца выдуманное недоразумение между нею и мной и вначале надеясь, что Жильберта попросит, чтобы я его разъяснил. Но на самом деле, хотя бы и по самым пустяковым поводам, адресат никогда не требует объяснений, ибо знает, что неясная, лживая, укоряющая фраза написана нарочно для того, чтобы вызвать его возражения, и он счастлив, что перехватил — и уже не выпустит — инициативу. Тем более верно это наблюдение по отношению к сердечным делам: ведь у любви так много красноречия, а у равнодушия так мало любопытства! Жильберта не выразила сомнения в том, что недоразумение действительно существует, и не пыталась выяснить его, — благодаря этому оно стало для меня уже как бы фактом, и я ссылался на него в каждом письме. В сознательной лжи, в наигранной холодности есть какое-то колдовство, заставляющее нас упорствовать. Я писал: «С тех пор как наши сердца разъединились…» — писал для того, чтобы Жильберта ответила: «Нет, не разъединились, давайте объяснимся», — и в конце концов уверил себя, что они и правда разъединены. Все повторяя: «Как бы ни изменилась наша жизнь, ей не изгладить из памяти нашего чувства», — повторяя с целью услышать наконец: «Да ведь ничто же не изменилось, наше чувство сильнее, чем когда бы то ни было», — я все время думал о том, что жизнь действительно изменилась, что мы будем хранить лишь воспоминание об уже не существующем чувстве: так неврастеники, придумывая себе болезни, в конце концов заболевают навсегда. Теперь я в каждом письме Жильберте возвращался к этой вымышленной перемене, которая как будто бы действительно произошла в наших отношениях, потому что Жильберта в ответных своих письмах обходила ее молчанием и тем самым признавала ее. Потом Жильберта перестала прибегать к недомолвкам. Она переняла мой прием; и как глава правительства, которого где-нибудь принимают, в официальных речах с каждым разом заимствует все больше выражений у главы правительства, который принимает его, так Жильберта в ответ на мои слова: «Хотя жизнь и разлучила нас, но воспоминание о нашей дружбе останется», — неизменно отвечала: «Хотя жизнь и разлучила нас, но мы всегда будем помнить вечно дорогое нам счастливое время». (Мы с ней вряд ли сумели бы ответить на вопрос, каким образом нас разлучила «жизнь» и какая, собственно, произошла перемена) Мне было уже не так тяжело. Впрочем, однажды, сообщая Жильберте в письме, что я узнал о смерти нашей старушки, торговавшей леденцами на

Елисейских полях, я написал: «Наверно, это огорчило и вас — у меня в душе всколыхнулось столько воспоминаний!» — и, обратив внимание, что о своей любви, о которой наперекор себе я всегда думал как о живой, во всяком случае, как о способной к возрождению, я пишу в прошедшем времени, точно о почти уже забытом покойнике, залился слезами. Ничего нет нежнее переписки друзей, не желающих больше встречаться. Письма Жильберты были так же деликатны, как мои письма к людям, мне безразличным, и заключали в себе те же явные знаки расположения, которые были мне приятны, потому что исходили они от Жильберты.

Впрочем, каждый следующий отказ от встречи давался мне легче. Жильберта была мне теперь уже не так дорога, и беспрестанные наплывы мучительных воспоминаний не могли отравить наслаждение думать о Флоренции, о Венеции. В такие минуты я жалел, что не пошел но дипломатической части, что веду сидячий образ жизни, чтобы не удаляться от девушки, которую я никогда больше не увижу и которую почти позабыл. Вы строите свою жизнь для той, кого любите, и когда уже все готово, она не приходит, потом умирает для вас, и вы живете узником там, где все предназначалось только для нее. Мои родители считали, что Венеция — это очень далеко и что ее климат для меня вреден, а вот до Бальбека добраться нетрудно, и там за меня можно не волноваться. Но ведь тогда нужно уехать из Парижа и отказаться от, хотя бы и редких, посещений г-жи Сван, которая все-таки иногда заговаривала со мной о своей дочери. Да и потом, в доме у г-жи Сван меня теперь ждали радости, совершенно не связанные с Жильбертой.

Перед самой весной, и в праздник «ледяных святых», и на Страстной неделе, когда идет дождь с градом, опять завернули холода, и г-жа Сваи, уверявшая, что у нее в доме можно замерзнуть, на моих глазах принимала гостей, кутаясь в меха, ее зябкие руки и плечи исчезали под блестящим белым покровом огромной плоской горностаевой муфты и горностаевой пелерины, с которыми она не расставалась, придя с улицы, и которые казались последними глыбами снега, отличавшимися исключительным упорством и не таявшими ни от огня, ни от потепления. Вся суть этих студеных, но уже зацветающих недель явилась моим глазам в той гостиной, где я скоро перестану бывать, иною, еще более упоительной белизной — например, белизною бульденежей, скопляющейся на самом верху длинных стеблей, голых, как линейные кусты у прерафаэлитов, их шариков, разделенных на лепестки и вместе с тем цельных, белых, как ангелы-благовестники, распространявших запах лимона. Владелица тансонвильской усадьбы знала, что у апреля, даже у апреля холодного, все-

таки есть свои цветы, что зима, весна, лето не отделены герметическими перегородками, как воображают слоняющиеся по парижским бульварам, думающие вплоть до первых жарких дней, что весь мир состоит из голых домов под дождем. Довольствовалась ли г-жа Сван посылками комбрейского садовника или восполняла пробелы при посредстве своей «постоянной поставщицы», с помощью займов у раннего юга, — это меня нисколько не интересовало, и я ее не расспрашивал. Достаточно было, чтобы рядом с фирновыми снегами муфты г-жи Сван бульденежи (которые, по мысли хозяйки дома, имели, быть может, единственное назначение: по совету Бергота составлять вместе с убранством ее комнаты и с ее убором «мажорную белую симфонию»), напомнили мне очарование Великой пятницы, это чудо природы, при котором человек разумный может присутствовать каждый год, и с помощью кислого, пьянящего запаха цветов, названия которых были мне неизвестны и перед которыми я столько раз останавливался во время моих комбрейских прогулок, превратили гостиную г-жи Сван в нечто столь же девственное, столь же безлиственное, но бесхитростно цветущее, столь же напоенное естественными запахами, как тансонвильская крутая тропинка, и я уже начинал тосковать по природе.

Этих впечатлений было для меня даже слишком много. Воспоминание о Тансонвиле грозило подогреть мою чуть-чуть тлевшую любовь к Жильберте. Вот почему, хотя мне уже совсем не было тяжело у г-жи Сван, я приходил к ней все реже и старался не засиживаться. Но так как я задерживался в Париже, то не мог отказать себе в удовольствии гулять с ней. Наконец настали солнечные, теплые дни. Зная, что перед завтраком г-жа Сван обычно идет на часок погулять в Булонском лесу, недалеко от площади Звезды и от того места, которое называлось тогда по той причине, что там собирались поглазеть на богатых люди, знавшие их только по именам. Клубом гольтепы, я добился от родителей разрешения завтракать по воскресеньям, — остальные дни недели я в это время был занят, — значительно поздней, чем они, в четверть второго, а перед завтраком ходить гулять. Жильберта уехала в деревню к подругам, и я в течение всего мая не пропустил ни одной воскресной прогулки. Я приходил к Триумфальной арке в полдень. Я караулил у входа в аллею, так, чтобы мне был виден угол улочки, по которой г-же Сван надо было пройти от дома всего несколько шагов. В этот час большинство гуляющих уходило домой завтракать, те же немногие, что оставались в Булонском лесу, были, главным образом, щеголи. Вдруг на песке аллеи, запоздалая, неспешащая, пышная, как прекрасный цветок, раскрывающийся не раньше полудня, появлялась г-жа

Сван, распуская вокруг себя наряд, каждый день — новый, но, насколько я помню, чаще всего — сиреневый; затем она поднимала и развертывала на длинном стебле, выбрав миг самого яркого своего сияния, шелковый флаг широкого зонта того же цвета, что и осыпь лепестков ее платья. Ее сопровождала целая свита: Сван и еще человек пять клубменов, явившихся к ней с утренним визитом или встреченных ею по пути; их черное или серое послушное скопление почти механически исполняло обязанности бездействующей рамы вокруг Одетты, так что казалось, будто эта женщина, одна из всех выражавшая в своем взгляде порыв, смотрит между мужчинами, прямо перед собой, словно в окно, и, хрупкая, безбоязненно выделяется среди них наготою своих нежных красок, как существо иной породы, неведомой расы, почти воинской мощи, благодаря которой она одна возмещает вялость разнородного своего эскорта. Улыбаясь, радуясь хорошей погоде, еще не жгучему солнцу, с уверенным и спокойным видом творца, завершившего свой труд и ни о чем больше не заботящегося, убежденная в том, что ее наряд, — как бы ни критиковали его встречные обыватели, — элегантнее, чем у кого бы то ни было, она носила его для себя и для своих друзей — разумеется, так, чтобы не было заметно ни чрезмерного внимания к тому, как она одета, ни полного равнодушия, не мешая бантикам на корсаже и на юбке чуть покачиваться впереди нее, словно это были существа ей известные, которым она милостиво разрешает поиграть в их особом ритме, лишь бы он совпадал с ее шагом, и даже на свой сиреневый зонт, который она часто приносила с собой нераскрытым, она порою роняла, как и на букет пармских фиалок, радостный и такой ласковый взгляд, что казалось, будто, хотя он был обращен не на ее друзей, а на неодушевленный предмет, она все еще улыбается. Так она отстаивала, так она заставляла свои туалеты охранять границу элегантности, протяженность и необходимость которой признавали те мужчины, с кем у г-жи Сван были отношения товарищеские, — признавали с выдававшим их невежество оттенком почтительности профанов, считая, что тут их приятельница, подобно больной, знающей, как ей надо лечиться, или матери, знающей, как ей надо воспитывать детей, компетентна и правомочна. Не только сопровождавшие г-жу Сван придворные, казалось, не замечавшие прохожих, и не только запоздалое ее появление напоминали о доме, где она провела долгое утро и куда ей скоро надо было идти завтракать; казалось, о ее родстве с домом говорит также спокойствие гуляющей ее походки, словно она прогуливалась у себя в саду; создавалось впечатление, что ее все еще оберегает его уютная и прохладная сень. Но именно в силу этого при виде ее во мне усиливалось ощущение чистого

воздуха и тепла. Я был убежден, что вследствие той литургичности и обрядности, какой строго придерживалась г-жа Сван, ее убор связан с временем года и часом дня связью необходимой, единственной, и уже никакому сомнению для меня не подлежало, что цветы на ее негнущейся соломенной шляпке и ленточки на платье рождены от мая еще более естественным путем, чем цветы в садах и в лесах; и, чтобы узнать о перемене погоды, я поднимал глаза не выше ее зонтика, открывшегося и раскинувшегося, как второе небо, но только более близкое, круглое, милосердное, подвижное и голубое. Если эти обряды, — а ведь они же были священные, — склоняли свое величие, то, следовательно, и г-жа Сван склоняла свое величие перед утром, весной, солнцем, которые, как мне казалось, были не очень польщены тем, что эта изящная женщина с ними считается, что ради них она выбрала более светлое и более легкое платье с намекавшими на влажность шеи и запястий широким воротником и широкими рукавами и что вообще она не останавливается ни перед какими затратами, — так светская дама весело снисходит до того, что отправляется в сельскую местность к невзыскательному люду, и, хотя все ее там знают, даже простонародье, тем не менее находит нужным именно сегодня надеть на себя деревенское платье. Как только г-жа Сван появлялась, я здоровался с ней, она меня удерживала и, улыбаясь, говорила: «Good morning». Некоторое время мы шли вместе. И мне становилось ясно, что определенным канонам она следует ради самой себя, принимая их как высшую мудрость, верховной жрицей которой являлась она: если ей было жарко и она распахивала, а то и вовсе снимала и давала мне понести жакетку, — а ведь первое время она даже и не думала расстегивать ее, — я обнаруживал на шемизетке великое множество деталей отделки, которые вполне могли остаться незамеченными, подобно оркестровым партиям, не доходящим до слуха публики, хотя композитор вложил в них все свое уменье; а иной раз в рукаве жакетки, лежавшей у меня на руке, я видел, я долго разглядывал, ради собственного удовольствия или из любезности, какую-нибудь очаровательную деталь: восхитительного оттенка полоску, подкладку из сиреневого сатина, обычно никому не видную, но столь же тщательно отделанную, как и лицевая сторона, подобно готическим скульптурам в соборе, прячущимся на восьмидесятифутовой высоте на задней стороне балюстрады, столь же совершенным, как барельефы главного портала, но остающимся недоступными для обозрения до тех пор, пока случайность путешествия не завлечет на крышу какого-нибудь художника, захотевшего посмотреть на город сверху, между двух башен.

Впечатление, будто г-жа Сван разгуливает по аллеям Булонского леса,

как у себя в саду, усиливалось у людей, не имевших понятия об ее привычке к footing'y, — оттого, что она шла пешком и что за ней не ехал экипаж — за ней, которую начиная с мая месяца так часто провожали взоры прохожих, завороженные начищенной до блеска упряжью и невиданной в Париже роскошью кучерской ливреи, когда г-жа Сван, точно богиня, изнеженно и величественно восседала в огромной восьмирессорной открытой коляске, обдуваемой теплым ветром. Когда г-жа Сван шла пешком, особенно если жара замедляла ее шаг, казалось, будто она уступила любопытству, будто она изящно нарушила этикет, — так самодержец, ни с кем не посоветовавшись, вызывая слегка смущенное восхищение свиты, не смеющей порицать его, на торжественном спектакле выходит из ложи в фойе, чтобы на несколько минут замешаться в толпу зрителей. Толпа ощущала между г-жой Сван и собой преграду — преграду относительного богатства, в глазах толпы — наименее преодолимую из всех преград. У Сен-Жерменского предместья есть свои преграды, но не столь много говорящие взору и воображению «гольтепы». «Гольтепа» в присутствии светских дам, держащих себя проще, легко вступающих в общение с какими-нибудь мещаночками, не чуждающихся народа, не столь резко ощутит свое неравенство, свою, можно сказать, приниженность, как в присутствии кого-нибудь вроде г-жи Сван. Конечно, внешний блеск ослепляет этих дам не так, как «гольтепу», — не сам по себе: ведь он их окружает постоянно, они перестают замечать его, они к нему приучены, то есть в конце концов они находят этот блеск естественным, необходимым и судят о других по тому, насколько в них укоренилась привычка к роскоши; таким образом (поскольку величие, которое они проявляют сами и которое они обнаруживают в других, вполне материально, его легко разглядеть, его нужно долго добиваться, его трудно чем-либо возместить), если эти дамы найдут, что какой-нибудь прохожий — существо низшее, то он, со своей стороны, отнесет их к высшему разряду — отнесет не задумываясь, с первого взгляда, безоговорочно. Быть может, тот особый класс, к которому тогда принадлежали такие дамы, как леди Израэльс, уже причисленная к аристократии, и г-жа Сван, которая со временем станет бывать в аристократических кругах, этот промежуточный класс, стоявший ниже Сен-Жерменского предместья, пресмыкавшийся перед ним, но возвышавшийся над всем, что не относилось к Сен-Жерменскому предместью, имевший ту особенность, что, выделившись из мира богачей, он все еще являлся олицетворением богатства, но только богатства податливого, послушно следующего художественному назначению, подчиняющегося художественной мысли, богатства, ставшего ковкими

деньгами, поэтически перечеканенными и научившимися улыбаться, — быть может, этот класс, по крайней мере, с его прежними отличительными чертами и с его былым очарованием, уже не существует. Да ведь и дамы этого класса лишены теперь самой основы своего владычества: почти все они с возрастом утратили красоту. Итак, г-жа Сван, величественная, улыбающаяся и благосклонная, шла по Булонскому лесу и с высоты своего богатства и — одновременно — с вершины славы своего зрелого и такого еще пленительного лета смотрела, подобно Гипатии, как под ее медлительною стопою вращаются миры. Молодые люди бросали на нее тревожные взгляды — они были не уверены, дает ли им право мимолетное знакомство с нею (а Свану их только представили как-то раз, и они имели основания опасаться, что он их не узнает) на то, чтобы ей поклониться. И решались они с ней поздороваться, страшась за последствия и задавая себе вопрос, как бы их до дерзости вызывающий и кощунственный жест, оскорбляющий неприкосновенное первенство касты, не вызвал катастрофы и не навлек на них божьей кары. Но нет, он только двигал маятники поклонов, которыми человечки, составлявшие окружение Одетты, отвечали им вслед за Сваном, приподнимавшим свой цилиндр на зеленой кожаной подкладке и улыбавшимся той очаровательной улыбкой, какой он научился в Сен-Жерменском предместье, но только без примеси прежнего равнодушия. Равнодушие сменилось (можно было подумать, что он отчасти заразился предрассудками Одетты) и досадой на то, что приходится отвечать на поклон какому-нибудь бедно одетому субъекту, и удовлетворением при мысли, что сто жену все знают, — сложным чувством, которое он выражал шедшим с ней щеголям так: «Еще один! Честное слово, не понимаю, когда Одетта успела с ними со всеми перезнакомиться!» А в это время г-жа Сван, кивком ответив на поклон прохожему, который уже скрылся из виду, но у которого все еще билось сердце от волнения, обращалась ко мне. «Значит, все кончено? — спрашивала она. — Вы больше никогда не придете к Жильберте? Я рада, что на меня это не распространилось и что от меня вы не „стрельнули“. Я дорожу нашими отношениями, но еще больше дорожу вашим влиянием на мою дочь. Думаю, что она тоже очень жалеет. Но я не буду к вам приставать, а то вы и со мной перестанете встречаться!» «Одетта! С вами здоровается Саган», — говорил Сван своей жене. В самом деле: принц, словно в великолепном театральном или цирковом апофеозе или как на старинной картине, осаживал коня и приветствовал Одетту широким театральным, как бы символическим жестом, в который он вкладывал всю рыцарственную учтивость вельможи, свидетельствующего свое почтение

Женщине хотя бы в образе женщины, у которой не бывали бы ни его мать, ни сестра. И ежеминутно, узнавая г-жу Сван в глубине влажной прозрачности и лоснящегося блеска тени, которой ее заливал зонт, ей кланялись последние, запоздавшие всадники, мчавшиеся кинематографическим галопом по осиянной солнцем белизне аллеи, и это уже были люди ее круга, чьи всем известные имена, — Антуан де Кастелан, Адальбер де Монморанси и многие другие, — были привычными для слуха г-жи Сван именами ее друзей. А так как в среднем гораздо дольше живет, — хотя долголетие это относительно, — память о поэтических чувствах, чем память о сердечных муках, то боль, причиненную мне Жильбертой и давным-давно исчезнувшую, пережило наслаждение, которое я испытываю каждый раз, когда в мае слежу за ходом минутной стрелки на некоем солнечном циферблате между четвертью первого и часом, — испытываю от того, что вижу вновь, как со мной разговаривает г-жа Сван и как на нее падает от зонта словно отсвет обвивших беседку глициний.

Часть вторая
ИМЕНА СТРАН: СТРАНА

Два года спустя, когда мы с бабушкой поехали в Бальбек, я уже был почти совершенно равнодушен к Жильберте. Если меня очаровывало новое лицо, если я мечтал с какой-нибудь другой девушкой осматривать готические соборы, дворцы и сады Италии, я только с грустью говорил себе, что наша любовь, любовь к определенному человеку, быть может, есть нечто не вполне реальное: ведь если отрадные или тягостные думы и обладают способностью на некоторое время связать наше чувство с той или иной женщиной и даже внушить нам, что именно эта женщина неизбежно должна была влюбить нас в себя, то когда мы, сознательно или неумышленно, высвобождаемся из-под власти этих ассоциаций, любовь, как будто она, наоборот, стихийна и исходит только от нас, воскресает и устремляется к другой женщине. Но и во время отъезда, и первое время моей жизни в Бальбеке мое равнодушие было не полным. Часто (ведь наша жизнь так не хронологична, в вереницу дней врывается столько анахронизмов!) я жил не во вчерашнем и не в позавчерашнем дне, а в одном из тех более давних, когда я любил Жильберту. Тогда мне, как в былое время, вдруг становилось горько, что я не вижусь с ней. Мое «я», то, которое любило ее и которое было почти уже вытеснено другим, оживало, и чаще всего для этого нужен был какой-нибудь незначительный повод. Так, например, когда я уже был в Нормандии, незнакомый человек, с которым мы встречались на набережной, сказал: «Семейство правителя канцелярии министерства почт». Казалось бы (ведь я же не знал тогда, какую роль в моей жизни будет играть это семейство), слова незнакомца я должен был бы пропустить мимо ушей, а они причинили мне жгучую боль, и эту боль ощутило мое давно уже наполовину разрушенное «я», то самое, которое страдало от разлуки с Жильбертой. Дело в том, что я никогда не вспоминал происходившего при мне разговора Жильберты с ее отцом о семействе «правителя канцелярии Министерства почт». Между тем любовные воспоминания не нарушают общих законов памяти, подчиняющихся еще более общим законам, — законам привычки. Но привычка все ослабляет, а потому особенно живо напоминает нам о человеке как раз то, что мы забыли (ибо это было нечто несущественное, и благодаря этому оно сохранило для нас всю свою силу). Лучшее, что

хранится в тайниках нашей памяти, — вне нас; оно — в порыве ветра с дождем, в нежилом запахе комнаты или в запахе первой вспышки огня в очаге, — всюду, где мы вновь обнаруживаем ту частицу нас самих, которой наше сознание не пользовалось и оттого пренебрегало, остаток прошлого, самый лучший, тот, что обладает способностью, когда мы уже как будто бы выплакались, все-таки довести нас до слез. Вне нас? Вернее сказать, внутри нас, но только укрытый от наших взоров, более или менее надолго преданный забвению. Только благодаря забвению мы время от времени вновь обнаруживаем то существо, каким мы были когда-то, ставим себя на его место, вновь страдаем, потому что мы — это уже не мы, а оно, потому что оно любило то, к чему мы теперь равнодушны. При ярком свете обычной памяти образы минувшего постепенно бледнеют, расплываются, от них ничего не остается, больше мы их уже не найдем. Вернее, мы бы их не нашли, если бы какие-то слова (вроде «правителя канцелярии министерства почт») не были хорошо спрятаны в забвении, — так сдают экземпляр книги в Национальную библиотеку, потому что иначе ее не найдешь.

Но мои страдания и прилив любви к Жильберте длились не дольше, чем во сне, и на этот раз потому, что в Бальбеке недоставало прежней Привычки, которая бы их продлила. И если следствия Привычки кажутся противоречивыми, то это оттого, что она подчинена множеству законов. В Париже я в силу Привычки становился все равнодушнее к Жильберте. Смена привычки, то есть мгновенная приостановка Привычки, довершила дело Привычки, как только я уехал в Бальбек. Она ослабляет, но и упрочивает, она влечет за собой распад, но из-за нее распад тянется до бесконечности. Каждый день на протяжении нескольких лет я с грехом пополам восстанавливал мое вчерашнее душевное состояние. В Бальбеке новая кровать, возле которой мне ставили по утрам легкий завтрак, не такой, как в Париже, не удерживала мыслей, которыми питалась моя любовь к Жильберте: бывают случаи (правда, довольно редкие), когда оседлость останавливает течение дней, и тогда самое лучшее средство наверстать время — это переменить место. Мое путешествие в Бальбек было как бы первым выходом выздоравливающего, который только его и ждал, чтобы убедиться, что он поправился.

Теперь туда поехали бы, конечно, в автомобиле, полагая, что так приятней. В одном отношении это даже было бы правильнее: это дало бы возможность на более близком расстоянии, в более тесном общении с природой, наблюдать за тем, как постепенно меняется земная поверхность. Но ведь удовольствие, получаемое от поездки, состоит не в том, чтобы

выходить, останавливаться, как только устанешь, а в том, чтобы по возможности углубить различие между отъездом и прибытием, отнюдь не затушевывая его, в том, чтобы ощутить это различие во всей его полноте, ощутить его цельность, ощутить таким, каким оно представлялось мысленному нашему взору, когда воображение переносило нас оттуда, где мы живем постоянно, в сердце желанного края, переносило одним прыжком, который представлялся нам колдовским не столько потому, что он преодолевал расстояние, сколько потому, что соединял две ярко выраженные индивидуальности земли, потому, что переносил нас от одного имени к другому; схему же этого прыжка дает (яснее, чем, скажем, катанье на лодке, ибо раз мы можем причалить где угодно, то это уже не прибытие) нечто загадочное, что совершается в особых местах, на вокзалах, которые хотя и не составляют, так сказать, часть города, но зато носят его имя на вывесках, а главное, содержат в себе его своеобразную сущность.

Но, во всех областях, наше время страдает манией показывать предметы только вместе со всем, что их окружает в действительности, и тем самым уничтожает самое существенное — акт сознания, отделивший предметы от действительности. Картину «выставляют» среди мебели, безделушек, обоев в стиле ее времени, в безвкусной обстановке, которую превосходно умеет создавать нынешняя хозяйка дома, еще недавно глубоко невежественная, а теперь целые дни просиживающая в архивах и библиотеках, и в этой обстановке произведение искусства, на которое мы смотрим во время обеда, не вызывает у нас упоительного восторга, чего мы вправе требовать от него только в зале музея, благодаря своей наготе и отсутствию каких бы то ни было отличительных особенностей явственнее символизирующей те духовные пространства, куда художник уединялся, чтобы творить.

К несчастью, волшебные места, именуемые вокзалами, откуда мы отбываем в дальние края, в то же время трагичны, ибо хотя здесь творится чудо, благодаря которому страны, до сих пор существовавшие только в нашем воображении, превратятся в страны, где мы будем жить, но по той же самой причине, выйдя из зала ожидания, мы должны исключить для себя возможность немедленного возвращения в нашу прежнюю комнату, где мы только что были. Нужно оставить всякую надежду проспать ночь у себя, раз уж мы решили проникнуть в зловонную пещеру, ведущую к тайне, в одну из больших застекленных мастерских, как в Сен-Лазаре, от которого отходил мой поезд в Бальбек и который расстилал над разворошенным городом бескрайний сырой небосвод, чреватый ужасами, как драма, похожий на иные небосводы, почти парижски современные,

Мантеньи или Веронезе, под которым может произойти только что-нибудь страшное и торжественное, вроде отхода поезда или воздвижения креста.

Пока я довольствовался тем, что, лежа в моей парижской постели, осматривал персидскую церковь в Бальбеке, вокруг которой бушевала метель, мое тело ничего не имело против путешествия. Оно начало ему противиться, только когда поняло, что и ему придется участвовать в нем и что вечером, по приезде, меня проведут в «мою» комнату, ему незнакомую. И в самый настоящий бунт вылилось его возмущение из-за того, что я только накануне отъезда узнал, что моя мать с нами не поедет, так как отец, который будет занят в министерстве до самой поездки с маркизом де Норпуа в Испанию, предпочел снять дачу недалеко от Парижа. И все же, хотя поездка в Бальбек была омрачена, тянуло меня туда ничуть не меньше, напротив: мне казалось, что неприятности создают и обеспечивают мне подлинность чаемого впечатления, впечатления, которого не заменило бы мне ни одно будто бы равноценное зрелище, никакая «панорама», хотя, посмотрев ее, я мог бы пойти спать домой. Я уже не впервые почувствовал, что любить и наслаждаться — не одно и то же. Я был уверен, что жажду попасть в Бальбек не меньше моего доктора, который, дивясь несчастному виду, какой был у меня утром в день отъезда, сказал: «Если б я мог уехать на неделю подышать морским воздухом, я бы уж раздумывать не стал, поверьте. У вас там будут катанья, гонки, — прелесть!» Но я уже знал, и притом задолго до того, как увидел Берма, что, о чем бы я ни мечтал, за всем я должен гнаться, иначе оно мне не достанется, и во время мучительной этой погони мне надо прежде всего пожертвовать моими наслаждениями ради высшего блага, а не искать их в нем.

Бабушка, понятно, представляла себе нашу поездку несколько иначе и, по-прежнему держась того мнения, что дарить мне нужно только что-нибудь художественное, решила, чтобы преподнести мне «гравюру» этого путешествия, — гравюру хотя бы отчасти старинную, — полпути проехать по железной дороге, а полпути — в экипаже, как ехала г-жа де Севинье из Парижа в Лориан через Шон и через Понт-Одемер. Однако бабушке пришлось отказаться от этого плана, ибо она натолкнулась на сопротивление моего отца, знавшего, что если бабушка задумала поездку с целью извлечь из нее все, что она может дать уму, значит, можно, не рискуя ошибиться, предсказать опоздания на поезда, потерю багажа, простуду, штрафы. Бабушка утешалась мыслью, что на пляже мы будем избавлены от того, что ее любимая Севинье называет «уймой знакомого народища»: Легранден так и не дал нам письма к сестре, и знакомых у нас в Бальбеке не будет. (То, что Легранден уклонился, по-иному расценили мои тетки

Седина и Виктория: они еще девушкой знали ту, кого до сих пор, желая подчеркнуть прежнюю близость, продолжали называть «Рене де Говожо», чьи подарки, принадлежавшие к числу тех, которые украшают комнату, украшают устную речь, но которые ничего общего не имеют с современностью, все еще берегли, но, полагая, что мстят за нанесенное нам оскорбление, в гостях у ее матери, г-жи Легранден, никогда не произносили ее имени, а уйдя, хвалились: «Я ни разу не упомянула известную тебе особу», «Я надеюсь, что меня поняли».

Итак, мы просто-напросто должны были сесть в поезд, отходивший из Парижа в час двадцать две, тот самый поезд, который мне с давних пор доставляло удовольствие, как будто я ничего не знаю, отыскивать в расписании: это меня каждый раз волновало, это создавало почти полную иллюзию блаженства отъезда. Наше воображение определяет признаки счастья не столько на основании сведений, которыми мы располагаем о нем, сколько по тем желаниям, какое оно у нас вызывает, — вот почему мне думалось, что я знаю счастье до мельчайших подробностей, и не сомневался, что испытаю в вагоне особое наслаждение, когда к вечеру посвежеет, когда я залюбуюсь видом перед какой-нибудь станцией; более того: этот поезд, всякий раз рисовавший мне образы одних и тех же городов, которые я окутывал предвечерним светом — светом времени его следования, представлялся мне непохожим на другие поезда; и наконец, как это часто с нами бывает, когда мы, в глаза не видав человека, тешим себя мечтою, что мы с ним подружились, я наделил оригинальной и неменяющейся внешностью того белокурого странствующего художника, который якобы взял меня с собой и с которым я прощусь в Сен-Ло, около собора, так как оттуда он поедет на запад.

Бабушка не могла решиться «так, прямо» поехать в Бальбек — она рассчитывала остановиться на сутки у своей приятельницы, а я в тот же вечер должен был ехать дальше, во-первых, чтобы не стеснять ее, а во-вторых, чтобы уже в день приезда осмотреть церковь в Бальбеке: нам сказали, что это довольно далеко от Бальбек-пляжа, и, начав курс ванн, я, пожалуй, не смогу туда пойти. И пожалуй, мне было легче от сознания, что я войду в новое обиталище и заставлю себя там жить, достигнув чудной цели моего путешествия до того, как наступит первая мучительная ночь. Но сперва надо было расстаться с прежним; моя мать в тот же день перебралась в Сен-Клу, с тем чтобы — а может, это она придумала для меня — проводить нас на вокзал и, не заезжая домой, — прямо на дачу, а то как бы я, вместо Бальбека, не поехал с ней домой. И под тем предлогом, что у нее много дел на даче и что времени у нее в обрез, а на самом деле — для

того, чтобы избавить меня от муки прощания, она даже решила не оставаться с нами до отхода поезда, когда, прячущаяся за суетой и приготовлениями, которые пока еще ни к чему решительному не ведут, вдруг вырастает разлука, нестерпимая, уже неизбежная, сосредоточившаяся в одном бесконечном мгновении бессильного и окончательного отрезвленья.

Впервые я почувствовал, что моя мать может жить без меня, не для меня, не такой жизнью, как я. Она оставалась с моим отцом, которому, как ей, наверно, казалось, моя болезненность, моя нервозность несколько усложняют и омрачают жизнь. Разлуку с матерью я переживал особенно тяжело потому, что, по моим представлениям, она оказалась для матери последним звеном в цепи разочарований, которые я ей доставлял, которые она от меня скрывала и благодаря которым в конце концов уяснила себе всю трудность совместного летнего отдыха; а быть может, это был еще и первый опыт жизни, с которой ей надлежало примириться в дальнейшем, так как и для моего отца, и для нее дело шло к старости, — начало той жизни, когда я реже буду видеть ее, когда она будет для меня уже не такой близкой, — а это мне и в кошмарном сне не могло присниться, — женщиной, которая возвращается домой одна, возвращается туда, где я теперь не живу, и спрашивает у швейцара, нет ли от меня писем.

Мне стоило больших усилий ответить носильщику, предложившему понести мой чемодан. Стараясь успокоить меня, мать прибегала к средствам, с ее точки зрения наиболее действенным. Находя бессмысленным притворяться, будто не замечает, что мне грустно, она ласково надо мной подшучивала:

— А что бы сказала бальбекская церковь, если б она знала, что ты с таким несчастным видом едешь ее осматривать? Похож ли ты на того восторженного путешественника, о котором пишет Рескин? Ну да я все равно узнаю, был ли ты на высоте положения, даже издали я буду с моим зверюшкой. Завтра ты получишь письмо от мамы.

— Я тебя, дочка, так и вижу, — заметила бабушка, — ты вроде госпожи де Севинье: смотришь на карту и ни на секунду не расстаешься с нами.

Потом мама пыталась развлечь меня: спрашивала, что я закажу на обед, восхищалась Франсуазой, одобряла ее шляпу и манто, не узнавая их, хотя они приводили ее в ужас, когда они были новые и когда она их видела на моей двоюродной бабушке: шляпу — с огромной птицей, манто — с безобразным узором и стеклярусом. Когда моя двоюродная бабушка перестала носить манто, Франсуаза отдала его перелицевать, и теперь

изнанка стала верхом из красивого одноцветного сукна. А птица давно сломалась, и ее выбросили. Иной раз какую-нибудь тонкость, которая не дается самому взыскательному художнику, мы с волнением обнаруживаем в народной песне, на фасаде крестьянского дома, над дверью которого, на самом подходящем месте, распускается белая или желтая роза, — вот так и Франсуаза, выказав непогрешимый и наивный вкус, украсила шляпу бархатной лентой с бантом, которая восхитила бы нас на портрете кисти Шардена или Уистлера и благодаря которой шляпа стала прелестной.

Если обратиться за сравнениями к более далеким временам, то скромность и честность, часто облагораживавшие черты нашей старой служанки и сказывавшиеся на ее манере одеваться, — вследствие чего она, как женщина скрытная и со вкусом, умеющая «держать себя» и «знающая свое место», оделась в дорогу так, чтобы нам не пришлось за нее краснеть и в то же время чтобы не бросаться в глаза, — делали похожей Франсуазу в манто с мягким меховым воротником, из сукна полинявшего вишневого цвета, на изображения Анны Бретонской, работы старинного мастера, в молитвеннике, — изображения, где все на своем месте, где чувство целого проступает одинаково во всех частях, так что пышное и устаревшее своеобразие одежды выражает ту же богомольную истовость, что и глаза, губы и руки.

О мыслях Франсуазы говорить не приходится. Она ничего не знала — в том полном смысле слова, которому соответствует смысл выражения ничего не понимать, кроме лишь некоторых истин, воспринимающихся непосредственно сердцем. Необъятный мир мыслей для нее не существовал. Но ясные ее глаза, тонкий нос, тонкий очерк губ — все эти приметы, отсутствующие у многих культурных людей, у которых они обличали бы изысканность, благородную свободу выдающегося ума, приводили в смущение, словно умный и добрый взгляд собаки, которой, однако, чужды, насколько нам известно, все человеческие понятия, и вы невольно задавали себе вопрос: нет ли среди меньшой братии, среди крестьян, таких существ, которые являются как бы высшими существами в мире простых душ, или, вернее, таких, которые, будучи обижены судьбой и осуждены ею на жизнь среди простых душ, будучи лишены света и тем не менее будучи связаны с избранными натурами более естественным, более близким родством, чем большинство людей образованных, представляют собой как бы распыленных, сбившихся с пути, лишенных разума членов святой семьи, так и не вышедшую из детского возраста родню величайших умов, которой, — о чем говорит сиянье их глаз, хотя глазам оно ни на что не нужно, — чтобы стать одаренной, недостает только знаний?

Моя мать, видя, что я еле сдерживаю слезы, говорила мне: «Регул имел обыкновение в важных случаях жизни… И потом, это неучтиво по отношению к твоей маме. Обратимся, по примеру твоей бабушки, к госпоже де Севинье: „Я должна призвать на помощь все свое мужество, раз его нет у тебя“. Вспомнив, что любовь к ближнему отвлекает человека от его страданий, она, желая доставить мне удовольствие, говорила, что до Сен-Клу она, наверное, доедет благополучно, что она довольна фиакром, который она наняла, что кучер вежливый, а экипаж удобный. Я старался изобразить на своем лице улыбку и кивал головой утвердительно и удовлетворенно. Но эти подробности делали еще более реальным отъезд мамы, и сердце у меня ныло так, как будто мы уже с ней расстались, когда я смотрел на ее круглую соломенную шляпу, которую она купила для дачи, на ее легкое платье, которое она надела, потому что ей предстояло долго ехать по жаре, и в котором она была уже другая, принадлежащая вилле „Монтрету“, где я ее не увижу.

Во избежание приступов удушья, которые могло вызвать у меня путешествие, врач посоветовал мне выпить перед самым отъездом побольше пива или коньяку, — это должно было привести меня в состояние «эйфории», как он его называл, то есть в такое, когда нервная система на время становится менее ранимой. Я все еще колебался, но мне хотелось одного: чтобы бабушка, в случае, если я решусь, признала, что это правильно и благоразумно. Вот почему я говорил об этом так, словно еще не уверен в одном: где лучше пить — в буфете или в вагоне-ресторане. По выражению лица бабушки я сразу догадался, что она этого не одобряет и даже не хочет об этом думать. «Как же так? — воскликнул я, внезапно решив идти в буфет пить, ибо это становилось необходимым для доказательства моей независимости, поскольку одна речь об этом уже вызвала неудовольствие. — Как же так! Ты же знаешь, что я очень болен, знаешь, что мне велел доктор, — почему же ты против этого?»

Когда я объяснил бабушке, что со мной, она с такой грустью и так ласково сказала: «Ну тогда иди скорей, выпей пива или ликеру, раз это тебе полезно», — что я бросился к ней на шею и расцеловал ее. И все-таки я пошел в вагон-ресторан и выпил гораздо больше, чем следовало, но только потому, что иначе, по моим ощущениям, у меня был бы очень сильный приступ и это огорчило бы ее еще больше. На первой станции я вернулся в наш вагон и сказал бабушке, что я в восторге от того, что еду в Бальбек, что все будет хорошо — в этом я уверен, что я скоро привыкну жить без мамы, что поезд отличный, а буфетчик и официанты до того симпатичны, что мне бы хотелось почаще ездить в Бальбек — только чтобы их видеть. Бабушку

приятные эти известия, по-видимому, не очень обрадовали. Избегая смотреть на меня, она проговорила:

— Тебе хорошо бы поспать, — и отвернулась к окну, на котором мы опустили занавеску, но занавеска не закрывала всей рамы, так что на полированной дубовой двери и на суконной обивке скамейки мог скользить (вроде рекламы жизни в природе, рекламы, несравненно более убедительной, чем те, что стараниями железнодорожной компании висели в вагоне и изображали местности, названия которых я не мог разобрать из-за того, что рекламы были повешены чересчур высоко) тот же теплый, дремотный солнечный свет, что нежился на лесных полянах.

Бабушке казалось, что я лежу с закрытыми глазами, и по временам она из-под вуали с крупными горошинами бросала на меня взгляд, потом отводила его, потом опять взглядывала, словно заставляя себя проделывать трудное упражнение.

Я заговорил с ней, но, по-видимому, это ей было неприятно. А мне доставляло удовольствие слушать свой голос, так же как следить за своими движениями, даже самыми непроизвольными, самыми сокровенными. Я старался продлить их, растягивал слова, мне доставлял удовольствие каждый мой взгляд, куда бы я его ни обращал, и я с удовольствием задерживал его. «Ну, отдохни, — сказала бабушка. — Если не спится, почитай что-нибудь». И она протянула мне том г-жи де Севинье, я раскрыл его, а она углубилась в чтение «Воспоминаний госпожи де Босержан». В дорогу она всегда брала с собою по тому той и другой. Это были ее любимые писательницы. Мне не хотелось поворачивать голову, я испытывал блаженство от того, что не менял позы, — вот почему я не раскрывал книгу г-жи де Севинье и не опускал на нее взгляд, перед которым была только синяя штора на окне. Смотреть на штору было так хорошо, и я бы даже не ответил тому, кто попытался бы отвлечь меня от рассматриванья шторы. Синий ее цвет благодаря, быть может, не красоте, а необыкновенной яркости как бы затмил все цвета, какие открывались моим глазам со дня моего рождения вплоть до той минуты, когда я выпил вина и оно начало на меня действовать, — по сравнению с синевой шторы они казались мне тусклыми, никакими, словно тьма, представляющаяся слепорожденным, которые долго жили во мраке, а затем, после операции, увидели наконец цвета. Старик кондуктор пришел проверить билеты. Серебряный блеск металлических пуговиц на его мундире не мог не прельстить меня. Мне хотелось попросить его посидеть с нами. Но он прошел в соседний вагон, и я с завистью подумал о том, что путейцы, проводящие все время на железной дороге, наверное, каждый день видят

старого кондуктора. Рассматриванье с полуоткрытым ртом шторы уже не доставляло мне прежнего удовольствия. Я стал подвижнее; я слегка шевелился; я взял бабушкину книгу, и теперь уже мое внимание останавливалось на страницах, на которых я случайно ее раскрывал. Чем больше я читал г-жу де Севинье, тем больше восхищался ею.

Не надо цепляться за чисто формальные особенности, порожденные эпохой, салонной жизнью, как это делают иные, воображающие, что они прониклись духом Севинье, только на том основании, что употребляют такие обороты: «Пошлите ко мне горничную», или: «Граф показался мне человеком преострого ума», или: «Нет ничего прелестнее, как шевелить сено». Г-жа де Симьян была уверена, что пишет, как бабушка: «Сударь! Господин де ла Були чувствует себя превосходно и вполне в состоянии выслушать известие о своей кончине», или:

«Ах, дорогой маркиз! я в восхищении от вашего письма! Я нахожусь вынужденною на него ответить», или еще: «По мне, сударь, ваш долг — отвечать мне, а мой — посылать вам бергамотовые табакерки. Записываю на ваш счет восемь, потом пришлю еще… Урожай на них небывалый. Должно думать, это для вас земля постаралась». В том же духе пишет она письмо о кровопускании, о лимонах и т. д., полагая, что это настоящая г-жа де Севинье. Но моя бабушка, воспринявшая г-жу де Севинье изнутри, пришедшая к ней через любовь к родным, к природе, научила меня любить подлинные ее красоты, совершенно иные. Вскоре они произвели на меня еще более сильное впечатление, оттого что г-жа де Севинье — великий художник той же школы, что и живописец, которого я увижу в Бальбеке и который окажет глубокое влияние на мое видение мира, — Эльстир. В Бальбеке я понял, что г-жа де Севинье показывает нам предметы так же, как он, действуя непосредственно на наше восприятие и не пускаясь в объяснения. Но уже в этот день, в вагоне, перечитывая письмо, где появляется лунный свет: «Я не могу устоять перед соблазном, для чего-то надеваю на голову все, что только можно, выхожу на бульвар, где дышится так же легко, как у меня в комнате, и мне видится невесть что: *белые и черные монахи, серые и белые инокини, раскиданное белье, покойники в саванах, прислоненные к деревьям,* и т. д.», — я был в восторге от того, что немного позже назвал бы (разве она не описывает природу так же, как он — характеры?) чертами Достоевского в «Письмах госпожи де Севинье».

Проводив бабушку и оставшись на несколько часов у ее приятельницы, я потом сел в поезд один, и наступившая ночь уже не казалась мне тягостной: я проведу ее не в тюрьме комнаты, дрема которой не давала бы мне уснуть; я нахожусь в обществе движений поезда с их

успокоительной быстротой; если я не засну, они рады будут поговорить со мной; они убаюкивают меня своими шумами, которые я, как звон колоколов в Комбре, объединяю в разные созвучия (воображая по прихоти своей фантазии сперва четыре равных шестнадцатых, потом одну шестнадцатую, стремительно мчащуюся к четверти); они нейтрализуют центробежную силу моей бессонницы — они оказывают ей противодействие, на котором держится мое равновесие, на котором покоится моя неподвижность, а скоро будет покоиться и сон, и вызывают то же ощущение свежести, что и при отдыхе, каким я был бы обязан бодрствованию мощных сил природы и жизни, если бы только я мог превратиться на время в рыбу, спящую в море и уносимую течением, или в распластавшего крылья орла, которого держит в воздухе только буря.

Солнечные восходы — такие же неизменные спутники длительных поездок по железной дороге, как крутые яйца, иллюстрированные журналы, игра в карты, реки с колышущимися, но не двигающимися вперед лодками. Чтобы понять, сплю я или нет (неуверенность, заставлявшая меня ставить перед собой этот вопрос, подсказывала мне утвердительный ответ), я стал перебирать мысли, только что наполнявшие мое сознание, и вдруг увидел в окно над черным леском зубчатые облака, мягкий пух которых был окрашен в закрепленный розовый цвет, мертвый, неизменный, вроде цвета, который раз навсегда приняли перья крыла, или цвета, которым причуда художника заставила его написать пастель. Я чувствовал, однако, что этот цвет — не косность и не прихоть, а необходимость и жизнь. Вскоре позади него напластовался свет. Розовая окраска стала ярче, небо залил багрянец, и я, приникнув к стеклу, впился в него глазами, — я ощущал его связь с основами жизни природы, но в это время железная дорога изменила направление, поезд повернул, картину утра сменила в оконной раме ночная деревня с крышами, голубыми от лунного света, с мостками, обрызганными опаловым перламутром ночи, под небом, еще усеянным всеми ее звездами, и мне стало жаль, что я потерял из виду полосу розового неба, как вдруг я увидел ее снова, только теперь уже красную, в противоположном окне, а затем, при новом повороте, она скрылась и здесь; и я начал бегать от окна к окну, чтобы сблизить, чтобы вновь сшить обрывающиеся, противостоящие части моего прекрасного багряного зыбкого утра в цельный вид, в неразорванную картину.

Потом замелькали обрывы, поезд остановился на полустанке, между двух гор. В глубине ущелья, на краю потока, виднелась сторожка — она стояла в воде, доходившей до ее окон. Если человеческое существо может

взрасти на почве, особую прелесть которой мы в нем ощущаем, то в еще большей мере, чем крестьянка, о которой я так мечтал, один-одинешенек скитаясь в Русенвильских лесах, в стороне Мезеглиза, таким порождением почвы явилась высокая девушка, вышедшая из сторожки и с кувшином молока направившаяся к полустанку по тропе, косо освещенной восходящим солнцем. В горловине, укрытой горными вершинами от остального мира, она, наверно, не видела никого, кроме людей в поездах, стоявших здесь всего лишь минуту. Она прошла мимо вагонов, предлагая проснувшимся пассажирам кофе с молоком. В свете утренней зари лицо ее было розовее неба. Глядя на нее, я вновь почувствовал желание жить, которое воскресает в нас всякий раз, когда мы снова осознаем красоту и счастье. Мы забываем, что и красота и счастье неповторимы, что мы заменяем их обобщением, которое мы образуем, беря, так сказать, среднее арифметическое от понравившихся нам лиц, от испытанных нами наслаждений, и из этой замены вырастают всего лишь отвлеченности, хилые и бесцветные, оттого что им как раз недостает свойства новизны, непохожести на то, что нам знакомо, этого неотъемлемого свойства красоты и счастья. И мы выносим жизни пессимистический приговор, и мы считаем его справедливым, так как уверены, что приняли во внимание счастье и красоту, тогда как на самом деле мы сбросили их со счета и вместо них подставили синтезы, в которых ничего уже от них не осталось. Так заранее зевает от скуки начитанный человек, когда ему говорят о новой «прекрасной книге», потому что он представляет себе смесь всех известных ему «прекрасных книг», тогда как прекрасная книга своеобразна, неожиданна и является не итогом всех предшествующих шедевров, а чем-то иным, и, чтобы постичь это иное, совершенно недостаточно усвоить итог, ибо в него-то оно как раз и не входит. Когда же начитанный человек, еще так недавно пресыщенный, ознакомится с новым произведением, у него появляется интерес к той жизни, которая в нем описана. Так, не соответствовавшая идеалам красоты, какие я себе рисовал в одиночестве, красивая девушка мгновенно вызвала во мне ощущение счастья (а ведь чтобы у нас возникло ощущение счастья, счастье непременно должно предстать перед нами именно в таком, всегда особенном, обличье), счастья, которого можно достигнуть, живя около нее. Но в данном случае большое значение имело то, что внезапно перестала действовать Привычка. Я тянулся к продавщице молока всем моим существом, жаждавшим острых наслаждений. В обычное время мы живем ничтожной частью нашего существа, почти все наши способности дремлют, полагаясь на привычку» а та знает свое дело и не нуждается в

них. Но сегодня утром, в дороге, благодаря вырыву из всегдашнего уклада жизни, благодаря перемене места и раннему часу эти способности сделались необходимы. Моя привычка, оседлая и не приучившая меня рано вставать, изменила мне, и все мои способности поспешили ей на смену, соревнуясь друг с другом в усердии, — поднимаясь разом, как волны, на небывалую высоту, — поспешили все, от самой низменной до самой возвышенной, начиная с аппетита, дыхания, кровообращения и кончая восприимчивостью и воображением. Быть может, возникшему у меня убеждению, что девушка не похожа на других женщин, я обязан тем, что дикая красота этой местности дополняла ее красу, но зато и она украшала собою местность. Жизнь показалась бы мне чудесной, только если б я мог целые часы проводить с ней, вместе ходить к потоку, в коровник, на полустанок, быть всегда тут, рядом, чувствовать, что она меня знает, что она обо мне думает. Благодаря ей я познал бы прелесть деревенской жизни и раннего утра. Я сделал ей знак, чтобы она дала мне кофе с молоком. Я хотел во что бы то ни стало привлечь ее внимание. Она меня не замечала, я окликнул ее. Лицо этой очень высокой девушки было такое золотистое и такое розовое, точно я смотрел на него сквозь цветное стекло. Она направилась ко мне; я не мог оторвать глаза от ее лица, ширившегося, будто солнце, на которое можно было бы смотреть и которое, все приближаясь, наконец подошло бы к вам вплотную и вы, глядя прямо на него, были бы ослеплены золотом и багрянцем. Она остановила на мне пытливый взгляд, но кондуктора уже захлопывали двери вагонов, поезд тронулся; я видел, как она той же тропинкой пошла обратно; уже совсем рассвело; я уезжал от зари. Вызвала ли мою восторженность эта девушка, или же, наоборот, восторженности я в большой мере обязан наслаждением, какое я испытывал, видя перед собой девушку, — она уже была со мной связана, связана крепко, так что моя потребность снова увидеть ее — это была прежде всего духовная потребность не дать моей восторженности потухнуть, не навсегда расстаться с существом, которое, само того не подозревая, усиливало ее. Состояние это было не только приятно. Самое главное (подобно тому как предельное натяжение струны рождает другой звук, а убыстренная вибрация нерва-другой цвет), мое состояние придавало иную тональность тому, что я видел, вводило меня как действующее лицо в мир неведомый и неизмеримо более интересный; красивая девушка, которая была мне все еще видна, хотя поезд ускорял ход, являла собою как бы частицу не той жизни, какую я знал, а другой, отделенной от нее каймою: в этой жизни предметы вызывали не такие ощущения, а уход из нее был бы для меня равносилен смерти. Чтобы испытывать сладостное

чувство хотя бы связи с этой жизнью, мне достаточно было бы жить недалеко от железной дороги и каждое утро брать кофе с молоком у этой крестьянки. Но увы! Ее уже не будет в жизни, по направлению к которой я двигался все быстрей и быстрей и с которой мог бы примириться, лишь строя планы когда-нибудь поехать тем же самым поездом и остановиться на том же самом полустанке, и замысел этот имел еще то преимущество, что давал пищу своекорыстному, деятельному, практическому, машинальному, ленивому, центробежному умонастроению, оттого что ум наш всячески старается избежать усилия, которое нужно затратить для того, чтобы бескорыстно углубить и обобщить создавшееся у нас приятное впечатление. А думать о нем все-таки хочется, — вот почему наш ум предпочитает рисовать себе его в будущем, предпочитает искусственно создавать такие обстоятельства, при которых оно способно повториться, и хотя это не помогает нам постичь его сущность, зато мы избавляемся от труда воспроизводить его внутри нас и можем надеяться вновь получить его извне.

Имена некоторых городов — Везде или Шартр, Бурж или Бове — это сокращенные названия их главных церквей. Такое частичное обозначение, с каким они часто нами воспринимаются, в конце концов, — если это касается мест незнакомых, — высекает все имя целиком, и когда нам хочется вложить в него представление о самом городе — городе, никогда прежде не виданном, — оно — точно литейная форма — украсит его той же резьбой и придаст ему тот же стиль, превратит его в подобие большого собора. Но я прочел имя Бальбек, звучащее почти по-персидски, на станции, над буфетом, — оно было написано белыми буквами на синем указателе. Я быстро прошел вокзал, привокзальный бульвар и спросил, где пляж, — мне хотелось как можно скорее увидеть только церковь и море; никто как будто не понимал, о чем я спрашиваю. В старом Бальбеке, в городе Бальбеке, где я сейчас находился, не было ни пляжа, ни пристани. Правда, по преданию, именно в море нашли рыбаки чудотворный образ Христа — об этом рассказывал витраж церкви, стоявшей в нескольких метрах от меня; да ведь и неф и башни церкви были из камня прибрежных скал, размытых прибоем. Но море, которое, как я себе из-за этого представлял, билось под самым витражем, было больше чем за пять миль отсюда, там, где Бальбек-пляж, а колокольня рядом с куполом, про которую я читал, что она представляет собой шероховатую нормандскую скалу, что на нее обрушиваются шквалы, что вокруг нее летают птицы, и которую я поэтому всегда рисовал себе так, что до ее фундамента долетают последние брызги пены вздыбившихся волн, стояла на площади, где пересекались две

трамвайные линии, напротив кафе под вывеской, на которой золотыми буквами было написано: «Бильярд»; колокольня казалась еще выше оттого, что на крышах домов не было мачт. И, — овладевшая моим вниманием вместе с кафе, вместе с прохожим, к кому мне надо было обратиться с вопросом, как пройти к пляжу, вместе с вокзалом, куда я вернусь, — церковь составляла единое целое со всем остальным, казалась случайностью, порождением предзакатной поры, и ее округлая полная чаша вырисовывалась на небе плодом, а на том же свету, что окутывал трубы домов, доспевала его розовая, золотистая, мягкая кожура. Но я уже ни о чем не желал думать, кроме как о непреходящем значении скульптуры, едва лишь узнал статуи апостолов, слепки с которых я видел в музее Трокадеро: стоя справа и слева от Девы Марии, перед глубоким проемом паперти, они словно ждали меня и собирались со мной поздороваться. Приветливые, курносые, смиренные, сгорбленные, они точно вышли меня встретить и славословили ясный день. Но потом становилось заметно, что выражение на их лицах застыло, как на лице покойника, и что оно меняется, только если обойти вокруг. Я говорил себе: это здесь, это бальбекская церковь. Площадь, у которой такой вид, будто она понимает, какая у нее громкая слава, — это и есть то единственное место в мире, где находится бальбекская церковь. До сего дня я видел лишь снимки церкви и только слепки со знаменитых апостолов и Девы Марии на паперти. Теперь я вижу церковь, вижу статую: это они; они, единственные, а это куда больше.

А вместе с тем, может быть, и меньше. Подобно тому как юноше в день экзамена или поединка предложенный ему вопрос или его выстрел кажутся пустяком в сравнении с запасами знаний, которыми он располагает, и в сравнении с присущей ему храбростью, которую он хотел проявить, мой мысленный взор, воздвигнувший «Богоматерь на паперти» — безотносительно к снимкам, бывшим у меня перед глазами, — не боящейся превратностей, какие могли бы грозить снимкам, невредимой даже в том случае, если бы снимки были уничтожены, воздвигнувший ее как некий идеал общезначимой ценности, пришел в изумление при виде статуи, тысячу раз им уже изваянной, показавшейся ему сейчас в своем подлинном каменном обличье, находящейся от меня не дальше, чем объявление о выборах или кончик моей тросточки, статуи, прикованной к площади, неотделимой от начала главной улицы, статуи, не огражденной от взглядов кафе и омнибусной конторы, делящей пополам луч заходящего солнца, освещающего ее лицо, а несколько часов спустя — луч света уличного фонаря, со ссудной кассой, статуей, дышащей вместе с этим

отделением кредитного общества чадом из кухни пирожника, статуи, над которой может показать свою власть любое частное лицо, так что если б я пожелал написать на этом камне свою фамилию, то она, прославленная богоматерь, которая, как мне представлялось до сего дня, жила всемирной жизнью и сияла нетронутой красотой, Бальбекская божья матерь, несравненная (а значит, увы, единственная!), чье тело, как и ближайшие дома, было запачкано сажей, всем почитателям, пришедшим посмотреть на нее, показывала бы, — не в силах стереть их, — следы моего мела, буквы, составляющие мою фамилию, и, наконец, она, бессмертное и так долго чаемое мною произведение искусства, у меня на глазах, так же как и церковь, превращалась в маленькую каменную старушку, чей рост я мог измерить, а морщины — сосчитать. Время шло, пора было возвращаться на вокзал, где я должен был дождаться бабушку и Франсуазу, чтобы вместе ехать в Бальбек-пляж. Я вспомнил то, что мне приходилось читать о Бальбеке, вспомнил слова Свана: «Это изумительно, это так же чудесно, как Сиена». И, пытаясь убедить себя, что мое разочарование чисто случайно, что оно объясняется плохим настроением, усталостью, неуменьем видеть, я утешался тем, что есть другие города, пока еще рисовавшиеся мне неосквернеными, что, может быть, мне удастся проникнуть, как сквозь жемчужный дождь, в прохладное журчанье вод Кемперлэ, пройти через зеленовато-розовое свечение, окутывающее Понт-Авен; ну, а в Бальбеке, как только я сюда приехал, я словно приоткрыл имя, которое должно было быть герметически закрытым и куда, воспользовавшись тем, что я по неосторожности открыл в него доступ, изгнав все образы, жившие здесь до сих пор, влетели трамвай, кафе, люди, проходившие по площади, отделение кредитного общества и, повинуясь непреоборимому давлению извне, пневматической силе, ворвались внутрь слогов, а слоги сомкнулись над ними, и они могли беспрепятственно обрамлять паперть персидской церкви, ибо слогам теперь уже от них не отделаться.

В местном поезде, который должен был доставить нас в Бальбек-пляж, я встретился с бабушкой, — она была одна: ей вздумалось послать Франсуазу вперед, чтобы к нашему приезду все было готово (но так как она неправильно объяснила, то Франсуаза поехала не в ту сторону), и теперь Франсуаза, ничего не подозревая, на всех парах мчалась в Нант и проснуться могла, пожалуй, в Бордо. Как только я расположился в вагоне, полнившемся недолгим светом заката и устойчивым послеполуденным зноем (при этом свете, бившем бабушке прямо в лицо, мне было хорошо видно, как истомил ее зной), она спросила: «Ну как Бальбек?» — а на лице

ее появилась улыбка, светившаяся надеждой на то, что в Бальбеке я испытал огромное наслаждение, и у меня не хватило смелости сразу сказать ей, что я разочарован. Да и впечатление, которого так ждала моя душа, занимало меня все меньше, чем ближе я был от того места, к которому надо было приспособиться моему телу. До Бальбек-пляжа оставался еще час с лишним, и в течение этого времени я пытался вообразить себе директора бальбекской гостиницы, для которого я пока еще не существовал, и мне хотелось явиться к нему вместе с кем-нибудь более величественным, чем бабушка, которая, конечно, начнет с ним торговаться. Мне казалось, что этот человек не может не быть надменным, но рисовался он мне неясно.

Поезд до Бальбек-пляжа останавливался на всех станциях, названия которых (Энкарвиль, Маркувиль, Довиль, Понт-а-Кулевр, Арамбувиль, Сен-Марс-ле-Вье, Эрмонвиль, Менвиль) ничего мне не говорили, а между тем, если б я нашел их в книге, то наверное подумал бы, что они напоминают названия городков, расположенных по соседству с Комбре. Но на слух музыканта два мотива, состоящие из нескольких ощутимо одинаковых нот, могут не иметь ни малейшего сходства, если гармония и оркестровка окрашены по-разному. Точно так же и эти печальные имена, в которых так много песку, так много пустынного, обдуваемого ветрами простора и соли и над которыми слог «виль» взвивается, как слово «летят» при игре в горелки, меньше всего напоминали мне имена Русенвиль или Мартенвиль, потому что моя двоюродная бабушка часто произносила их при мне за столом в «зале» и они приобрели для меня какую-то сумрачную прелесть, должно быть сочетавшую в себе вытяжки из вкуса варенья, из запаха горящих дров и из запаха бумаги, на которой была напечатана какая-нибудь книга Бергота, из цвета песчаниковой стены дома напротив, да и сейчас еще, поднимаясь, подобно пузырькам газа, из глубины моей памяти, они не утрачивают своих особенностей, пока пробиваются сквозь многослойную среду на поверхность.

Это были высившиеся над далеким морем на вершинах дюн или уже устраивавшиеся на ночь у подножья ярко-зеленых некрасивых холмов, напоминавших диваны в номерах, состоявшие всего лишь из нескольких вилл, с теннисной площадкой на краю, а иногда с казино, чей флаг мотался на крепчавшем, резком и заунывном ветру, полустанки, впервые показывавшие мне коренных своих жителей, но показывавшие их извне, — теннисистов в белых фуражках, начальника станции, жившего там же, среди тамарисков и роз, даму в «канотье», придерживавшуюся строго определенного образа жизни, о которой я так ничего и не узнаю, и по

дороге домой, где уже горел огонь, звавшую свою борзую собаку, потому что собака от нее отстала, — резавшие мой ненаметанный глаз и ранившие мою оторванную от родины душу этими до странности обыкновенными, до отвращения заурядными фигурами. Но мне стало гораздо тяжелей, когда мы выгрузились в вестибюле бальбекского Гранд-отеля, у монументальной лестницы из ненастоящего мрамора, и когда бабушка, не думая о том, что это может еще ухудшить неприязненное и презрительное отношение чужих людей, среди которых нам придется жить, вступила в спор об «условиях» с директором — этаким пузаном, у которого и лицо и голос были все в рубчиках (на лице — от выдавливания множества прыщей, в голосе — от смешения разных говоров, обусловленного отдаленностью его месторождения и его космополитическим детством), в щегольском смокинге, со взглядом психолога, обычно принимавшим, когда подъезжали «омнибусы», важных господ за шушеру, а воров-домушников за важных господ. Забывая, должно быть, что сам-то он зарабатывает меньше пятисот франков в месяц, он глубоко презирал тех, для кого пятьсот франков, или, как он говорил, «двадцать пять луидоров», — это «сумма», и смотрел на них как на париев, которым в Гранд-отеле не место. Правда, в этом же самом отеле жили люди, платившие не очень много и, однако, пользовавшиеся уважением директора, если только он был уверен, что расчетливы они не по бедности, а из скупости. Да ведь и то сказать: скупость нисколько не уменьшает престижа, ибо она — порок, а пороки бывают у людей, занимающих какое угодно общественное положение. На него только и обращал внимание директор, на него или, вернее, на то, что он считал признаками высокого общественного положения, признаки же эти были таковы: не снимать шляпу при входе в вестибюль, носить никербокеры, пальто в талию, вынимать сигару с пурпурно-золотым ободком из тисненого сафьянового портсигара (всеми этими преимуществами я, увы, не обладал). Он пересыпал свою деловую речь выражениями изысканными, но бессмысленными.

Пока моя бабушка, которую не коробило то, что он слушал ее, не снимая шляпы и насвистывая, спрашивала неестественным тоном: «А какие у вас… цены?.. О, это мне не по карману!» — я, сидя в ожидании на скамейке, старался как можно глубже уйти в себя, силился погрузиться в мысли о вечном, не оставив ничего своего, ничего живого на поверхности тела, — бесчувственной, как поверхность тела раненых животных, которые вследствие заторможенности рефлексов становятся совсем как мертвые, — погрузиться для того, чтобы не так страдать на новом месте, к которому я совершенно не привык, и это отсутствие привычки особенно мучило меня

при виде той, кому, по-видимому, напротив, все здесь было привычным — при виде элегантной дамы, которой директор выказывал особое расположение, заигрывая с ее собачкой, или юного франта в шляпе с пером, только что вошедшего и спрашивавшего: «Писем нет?», при виде всех этих людей, для кого подняться по лестнице из поддельного мрамора значило вернуться к себе домой. А в это самое время взглядом Миноса, Эака и Радаманта (взглядом, в который обнимавшая моя душа погружалась, точно в неизвестность, где ее ничто уже не защищало) меня строго окинули господа, которые хотя, быть может, плохо разбирались в искусстве «принимать», однако носили название «заведующих приемом»; поодаль, за стеклянной стеной, сидели люди в читальне, для описания которой мне надлежало бы позаимствовать краски у Данте, то в «Рае», то в «Аде», в зависимости от того, думал ли я о блаженстве избранных, имевших право читать в полнейшей тишине, или об ужасе, в который привела бы меня бабушка, если бы она, не отличавшаяся такой впечатлительностью, велела мне туда войти.

Минуту спустя чувство одиночества еще усилилось во мне. Я сказал бабушке, что мне нехорошо и что, Наверно, нам придется вернуться в Париж, — бабушка ничего на это не возразила, но предупредила меня, что ей надо пойти купить то, что нам будет необходимо в любом случае: уедем мы или останемся (потом я узнал, что бабушка пошла только ради меня, так как нужные мне вещи увезла с собой Франсуаза); в ожидании я пошел прогуляться по многолюдным улицам, где именно благодаря многолюдству поддерживалась комнатная температура и где еще были открыты парикмахерская и кондитерская, посетители которой могли есть мороженое и любоваться статуей Дюге-Труэна. Сейчас статуя приблизительно так же была способна восхитить меня, как ее снимок в иллюстрированном журнале способен порадовать больного, который перелистывает журнал в приемной хирурга. Я дивился тому, до чего я непохож на иных людей — ну, например, на директора, который мог посоветовать мне прогулку по городу в качестве развлечения, и на тех, кому застенок, каковым является новое место, кажется «дивным помещением», как было написано в гостиничной рекламе, которая могла и преувеличивать, но которая все-таки обращалась к массе клиентов и старалась им угодить. Правда, реклама не только заманивала их в бальбекский Гранд-отель «прекрасной кухней» и «волшебным зрелищем садов казино», — она ссылалась и на «указы ее величества моды, которые нельзя нарушать под страхом показаться отсталым, на что никто из людей благовоспитанных не согласится». Я боялся, что расстроил бабушку, поэтому мне особенно хотелось ее видеть.

Она, конечно, пала духом, рассудив, что если так на меня действует усталость, значит, всякое путешествие мне вредно. Я решил вернуться в гостиницу и там ждать ее; кнопку нажал сам директор, и какой-то незнакомый человек, которого называли «лифтер» и который помещался на самом верху отеля, на высоте купола нормандской церкви, точно фотограф в стеклянном ателье или органист в будочке, начал спускаться ко мне с проворством резвящейся пленницы — ручной белки. Потом, снова заскользив мимо загородки, он повлек меня с собой к своду коммерческого нефа. На всех этажах по обе стороны внутренних лестничек веером раскрывались темные галереи, и по каждой такой галерее проходила горничная с подушкой. Я надевал на ее лицо, плохо видное в сумерках, маску моих самых жарких снов, но в ее взгляде, обращенном на меня, я читал презрение к моему ничтожеству. Между тем, чтобы разогнать смертельную тоску, которую на меня нагнал бесконечный подъем, безмолвное движение сквозь таинственность непоэтичного полумрака, освещенного лишь вертикальным рядом окошечек ватерклозетов на каждом этаже, я заговорил с юным органистом, виновником моего путешествия и моим товарищем по плену, продолжавшим управлять регистрами и трубами своего инструмента. Я извинился перед ним за то, что занимаю много места, что доставил ему столько хлопот, спросил, не мешаю ли я ему, и, чтобы польстить виртуозу, не ограничился проявлением интереса к его искусству — я признался, что оно мне очень нравится. Но он ничего мне не ответил — то ли потому, что был удивлен, то ли потому что был очень занят своим делом, соблюдал этикет, плохо меня слышал, смотрел на свое занятие как на священнодействие, боялся аварии, был тугодумом или исполнял распоряжение директора.

Ничто, пожалуй, не создает такого отчетливого ощущения реальности внешнего мира, как перемена в отношении к нам хотя бы даже и незначительного лица после нашего с ним знакомства. Я был тот же человек, который во второй половине дня сел в местный бальбекский поезд, во мне была та же душа. Но в этой душе, там, где в шесть часов вместе с невозможностью представить себе директора, гостиницу, прислугу возникло смутное и робкое ожидание момента приезда, находились теперь выдавленные прыщи на лице директора — космополита (на самом деле — уроженца Монако, хотя, как говорил о себе директор, употреблявший выражения неправильные, которые ему казались, однако, изысканными, — «румынского происхождения»), жест, каким он вызывал лифтера, сам лифтер, — гирлянда марионеток, выскочивших из ящика Пандоры, именуемого Гранд-отелем, зримых, несменяемых и, как все, что

осуществилось, обеспложивающих. Но, по крайней мере, эта перемена, в которой я не принимал участия, доказывала мне, что произошло нечто помимо меня, — хотя само по себе совершенно неинтересное, — и я был подобен путешественнику, который тронулся в путь, когда солнце было перед ним, а потом, увидев, что солнце позади него, убеждается, что время не останавливалось. Я падал от усталости, меня лихорадило; мне хотелось лечь, но обстановка была неподходящая. На одну минуточку вытянуться бы на постели, но — зачем, раз я все равно не обрету покоя для той совокупности ощущений, которая и есть наше если не материальное, то, во всяком случае, сознательное тело, и если обступившие его незнакомые предметы, вынуждая его восприятие все время быть начеку, так же стискивали бы и сжимали мое зрение, слух, все мои чувства (хотя бы даже я вытянул ноги), как сдавливала кардинала Ла Балю его клетка, где ему нельзя было повернуться. Заставляет комнату предметами наше внимание, а привычка выносит их и освобождает для нас место. Места не было для меня в моей бальбекской комнате (моей только по названию), она была полна предметов, незнакомых со мной, на мой недоверчивый взгляд ответивших мне столь же недоверчивым взглядом, не желавших знать, что я живу на свете, уверявших, что я нарушаю привычный уклад их жизни. Часы — дома я слышал тиканье моих часов всего несколько секунд в неделю, только когда выходил из глубокой задумчивости, — не переставая говорили на непонятном языке о чем-то, чего мне, должно быть, не следовало знать, так как длинные фиолетовые занавески слушали их молча, но с видом человека, пожимающего плечами в знак того, что его раздражает присутствие третьего лица. Этой комнате с очень высоким потолком они сообщали квазиисторический колорит: здесь могло бы произойти убийство герцога де Гиза, потом сюда могли бы прийти туристы, руководимые путеводителем агентства Кука, вот только уснуть мне было здесь невозможно. Меня мучили книжные шкафчики со стеклянными дверцами, тянувшиеся вдоль стен, в особенности — трюмо: оно стояло в углу, и я чувствовал, что если его отсюда не вынести, то покоя у меня не будет. Я все время поднимал глаза, — в парижской комнате вещи утомляли мое зрение не больше, чем мои зрачки, ибо там вещи были всего лишь придатками моих органов, приростом моего тела, — к чересчур высокому потолку этой вышки, которую бабушка выбрала для меня; и, просачиваясь в область более утаенную, чем та, где мы видим и слышим, в область, где мы различаем запахи, почти вовнутрь моего «я», выбивал меня из последних укреплений запах ветиверии, а я не без труда оказывал ему бесполезное и беспрестанное сопротивление, тревожно отфыркиваясь. У меня не было

больше вселенной, не было больше комнаты, не было больше тела, — ему со всех сторон угрожали враги и его до костей пробирал озноб, я был один, мне хотелось умереть. Но тут вошла бабушка, стесненное мое сердце расширилось, и перед ним открылся безграничный простор.

На бабушке был перкалевый капот — дома она надевала его, если кто-нибудь из нас заболевал (бабушка, все свои поступки объяснявшая эгоистическими побуждениями, уверяла, что в нем ей удобнее): когда она ухаживала за нами, не спала ночей, он заменял ей передник служанки, рясу монахини. Но заботы, доброта и достоинства служанок и монахинь, чувство благодарности, которое мы к ним испытываем, — все это делает еще более отчетливым наше сознание, что для них мы чужие, что мы одиноки, что нам не с кем делить бремя наших дум, что мы должны таить в себе желание жить, а когда я был с бабушкой, я знал, что, как ни велико мое горе, ее сострадание еще шире; что все мое — мои тревоги, мои упования — найдет опору в стремлении бабушки сохранить и продлить мою жизнь и что в ней оно еще сильнее, чем во мне самом; и мои мысли продолжались в ней, никуда не сворачивая, так как переходили из моего сознания в ее, не меняя среды, не меняя личности. И — подобно человеку, завязывающему перед зеркалом галстук и не понимающему, что конец, который он видит в зеркале, не тот, к которому он протягивает руку, или подобно собаке, которая ловит на земле танцующую тень насекомого, — обманутый видимостью тела, как всегда случается в этом мире, где нам не дано проникать прямо в душу, я кинулся в объятия бабушки и припал губами к ее лицу, как будто таким путем я мог добраться до ее огромного сердца, которое она мне открывала. Приникая к ее щекам, к ее лбу, я черпал из них нечто в высшей степени благотворное, в высшей степени питательное и деловито хранил жадную неподвижность, жадное спокойствие сосущего грудь младенца.

Потом я долго не отводил взгляда от широкого ее лица, вырисовывавшегося подобно красивому, безмятежно рдеющему облаку, пронизанному лучами ее нежности. И все, что, хотя и очень слабо, еще выражало частичку ее переживаний, все, что еще не вполне отделилось от нее, мгновенно одухотворялось, освящалось, и я проводил рукой по ее красивым, чуть тронутым сединой волосам с таким же благоговением, так же осторожно и ласково, как если бы гладил ее доброту. Она находила огромное наслаждение в том, чтобы избавлять меня от усилий ценою своих, ей было так отрадно каждое мгновение неподвижности и покоя, которое она могла подарить моему усталому телу, и когда я, заметив, что она хочет помочь мне разуться и лечь, попытался воспрепятствовать этому

и начал раздеваться сам, она с умоляющим видом взяла меня за руки, дотрагивавшиеся до пуговиц куртки и до ботинок.

— Ну пожалуйста! — сказала она. — Это такое удовольствие для твоей бабушки! Главное, не забудь постучать в стену, если тебе что-нибудь понадобится ночью, моя кровать — тут же, рядом, стенка тонюсенькая. Как только ляжешь, сейчас же мне постучи — надо проверить, понимаем ли мы друг друга.

И правда: в тот вечер я стукнул ей три раза подряд, а через неделю, когда я заболел, в течение нескольких дней я стучал ей каждое утро, потому что бабушке хотелось пораньше дать мне молока. Чуть только мне слышалось, что она проснулась, я отваживался — чтобы не заставлять ее ждать и чтобы она могла потом снова заснуть, — постучать троекратно, деликатно и в то же время внятно, так как боялся прервать ее сон, если я ошибся и она спит, но вместе с тем мне не хотелось заставлять ее прислушиваться, а ведь если бы она не расслышала моего стука, я бы не осмелился постучать еще раз. И в ответ на мой троекратный стук немедленно раздавался такой же, только с другой интонацией, в которой угадывалась спокойная твердость, а затем для большей ясности дважды повторялся, говоря мне: «Не беспокойся, я слышала, сейчас приду»; и вслед за тем бабушка приходила. Я не скрывал от нее, что боялся, что она меня не услышит или подумает, что стучит сосед; она смеялась:

— Спутать стук моего мальчугашки с чьим-нибудь еще! Да бабушка отличит его от тысячи других! Ты воображаешь, будто есть на свете такие дурачки, как ты, так же лихорадящие и которым боязно разбудить и боязно, что их не поймут? Но ведь если мышонок только начинает скрестись, его сейчас же услышишь, особенно если это мой мышонок, — а ведь он в своем роде единственный, — и если его так жалко! Я же слышала, что он колеблется, ворочается, пускается на всякие хитрости.

Она приподнимала жалюзи; за пристройкой к отелю солнце уже располагалось на крышах, точно кровельщик, спозаранку принимающийся за дело и работающий тихо, чтобы не разбудить еще спящий город, чья неподвижность подчеркивается его проворством. Бабушка говорила мне, который час, какая будет погода, говорила, что над морем туман и подходить к окну не следует, что булочная уже открылась, какой экипаж проехал мимо: то было ничем не примечательное поднятие занавеса, негромкая входная молитва дня, при которой никто не присутствует, принадлежащий только нам двоим уголочек жизни, о котором мне приятно будет вспомнить днем в разговоре с Франсуазой или с кем-нибудь из посторонних, рассказывая о том, какой густой туман стоял в шесть утра, и

гордясь не своей осведомленностью, а вниманием, какое слушатель оказал именно мне; отрадный утренний миг, начинавшийся, как симфония, диалогом, чей ритм отбивали три моих стука, на которые переборка, преисполнившись ликованья и нежности, обретя благозвучность, невещественность, ангельское сладкогласие, отзывалась тоже тремя стуками, с нетерпением ожидаемыми, повторяемыми дважды, заключавшими в себе всю душу бабушки и возвещение ее прихода, радостными, как благая весть, и музыкальными. Но в первую ночь, когда бабушка от меня ушла, мне стало так же тяжело, как перед отъездом из Парижа. Мне, — подобно многим другим, — было страшно лежать в незнакомом помещении, и, быть может, этот страх — не что иное, как самая безобидная, неясная, органическая, почти бессознательная форма мощного, отчаянного сопротивления всего лучшего, что есть у нас теперь, тому, что мысленно мы приемлем такое будущее, где это лучшее отсутствует; сопротивления, выраставшего из ужаса, в который я часто приходил при мысли, что мои родители когда-нибудь умрут, что силою вещей я буду оторван от Жильберты или, наконец, что я буду жить на чужбине и никогда не увижу своих друзей; сопротивления, выраставшего также из невозможности представить себе свою смерть или иную жизнь вроде той, какую Бергот обещал людям в своих книгах и куда я не мог бы взять с собой мои воспоминания, мои недостатки, мой характер, не мирившиеся с тем, что они перестанут существовать, и не желавшие для меня ни небытия, ни вечности, где их не будет.

Как-то раз в Париже мне было особенно плохо, и Сван сказал: «Поезжайте на дивные острова Океании — вы так хорошо себя там почувствуете, что сюда уже не вернетесь, вот увидите», — а мне хотелось ему на это ответить: «Значит, я больше не увижусь с вашей дочерью, буду жить среди вещей и людей, которых она никогда не видела». Но рассудок твердил мне: «Ну и что ж из этого, если тебя это не будет огорчать? Уверяя тебя, что ты не вернешься, Сван имел в виду, что тебе не захочется вернуться, а раз не захочется, значит, там ты будешь счастлив». Рассудок знал, что привычка — та самая привычка, которая теперь попробует заставить меня полюбить незнакомое помещение, передвинет зеркало, повесит занавески другого цвета, остановит часы, — заботится и о том, чтобы нам стали милы сожители, которых поначалу мы невзлюбили, о том, чтобы их лица изменились, о том, чтобы голос кого-нибудь из них стал приятным, о том, чтобы нас потянуло друг к другу. Разумеется, привязанность к новым местам и людям вырастает на почве забвения прежних; но рассудок мой утверждал, что я смогу без страха смотреть в

лицо жизни, которая разлучит меня с близкими, — смогу именно потому, что я о них забуду, и этим обещанием забвения он словно хотел утешить меня, я же приходил от этого в отчаяние. Конечно, после разлуки наше сердце испытает на себе болеутоляющее действие привычки; но до тех пор ему будет больно. И страх перед будущим, которое не позволит нам видеться и общаться с дорогими людьми, — а встречи с ними — это для нас самая большая радость, — страх перед будущим не только не улетучивается, а, напротив, растет, когда мы думаем, что к боли разлуки примешается то, что в настоящее время представляется нам еще мучительнее: неощущение ее как боли, равнодушие к ней; ведь тогда изменится и наше «я», мы не только перестанем чувствовать обаяние наших родителей, нашей возлюбленной, наших друзей, но и нашу привязанность к ним; она будет с корнем вырвана из нашего сердца, где занимает сейчас такое большое место, и нам полюбится жизнь в разлуке с ними, одна мысль о которой сейчас приводит нас в ужас; следовательно, это будет наша самая настоящая смерть, смерть, за которой, правда, последует воскресение, но произойдет оно уже в другом «я», до любви к которому бессильны будут подняться обреченные на гибель составные части моего прежнего «я». Ведь это они даже самые хилые из них, вроде безотчетной привязанности к размерам, к воздуху комнаты, — приходят в смятение и возмущаются, поднимают бунт, который надлежит рассматривать как тайный, не единый, ощутимый, подлинный способ сопротивления смерти, долгого, отчаянного, ежедневного сопротивления частичному, постепенному умиранию, то и дело внедряющемуся в весь наш век, поминутно рвущему наше «я» в клочья, после омертвения которых размножаются новые клетки. И в таком нервном человеке, как я (то есть в таком, у кого посредники, нервы, плохо исполняют свои обязанности: не перехватывают по дороге к сознанию, а, наоборот, пропускают такою, как она есть, явственную, исчерпывающую, безграничную, больную жалобу самых обездоленных частиц моего «я», которые скоро исчезнут), мучительная тревога, какую я испытывал под незнакомым и чересчур высоким потолком, была лишь возмущением неугасшей привязанности к потолку привычному и низкому. Вне всякого сомнения, привязанность эта исчезнет, ее сменит другая (вот тогда-то смерть, а затем новая жизнь выполнит под именем Привычки свою двойную работу); но пока привязанность не отомрет, она каждый вечер будет мучиться, и особенно мучилась она в первый вечер, перед лицом уже совершившегося будущего, когда для нее уже не нашлось места; она бунтовала, она терзала меня воплем своих жалоб всякий раз, как мой взгляд, не в силах отвернуться,

пробовал остановиться на недосягаемом, ранившем его потолке.

Зато на другое утро! — после того, как слуга принес теплой воды и разбудил меня, и пока я одевался, напрасно стараясь отыскать необходимые вещи в чемодане, откуда я доставал что попало и как раз то, что мне было совершенно не нужно, какое это счастье — уже думая об удовольствии завтрака и прогулки, видеть в окне и в стеклах книжных шкафов, точно в иллюминаторах каюты, море нагое, без теневых пятен, и все же наполовину в тени, отделенной тонкой, подвижной линией, и следить глазами, как волны, одна за другой, прыгают, будто с трамплина. Поминутно, держа в руке туго накрахмаленное полотенце, на котором было написано название отеля, и делая тщетные усилия, чтобы вытереться насухо, я подходил к окну и вновь бросал взгляд на бескрайний, слепящий, холмистый простор и на снеговые гребни валов из местами гладкого и полупрозрачного изумруда, с благодушной свирепостью, сдвинув брови, как львы, воздвигавших и рушивших свои скаты, на которых солнце улыбалось безликой улыбкой. Окно, к которому я потом подходил каждое утро, было подобно окошку дилижанса, где мы спали и теперь хотим посмотреть, приблизилась или отдалилась за ночь вожделенная горная цепь, — только здесь бугры моря, прежде чем, пританцовывая, вернуться к нам, могут отхлынуть так далеко, что нередко лишь за длинной песчаной косой я различал на большом расстоянии первые их взметы в воздушной, прозрачной голубоватой дали, вроде ледников на заднем плане картин ранних тосканских художников. Иной раз совсем близко от меня солнце смеялось на волнах такого же нежно-зеленого цвета, какой сохраняют альпийские луга (в горах, где солнце растянется то здесь, то там, словно великан, который весело, неравномерными прыжками, спускался бы по их склону), не столько благодаря влажности почвы, сколько благодаря текучей подвижности света. Ведь в том проломе, который берег и волны пробивают в мире, — в сущности, для того, чтобы пропускать через пролом и скоплять в мире свет, — именно свет, в зависимости от того, откуда он, сопровождаемый нашим взглядом, исходит, именно он перемещает и располагает морские пригорки. Разница в освещении так же меняет местность, ставит перед нами так же много новых заманчивых целей, как и долгое, с толком проделанное путешествие. По утрам, когда солнце всходило за отелем, озаряя песчаный берег вплоть до первых морских отрогов, оно как будто открывало мне противоположный склон моря и предлагало спуститься по вращающейся дороге своих лучей и свершить неподвижное и разнообразное путешествие по самым красивым местам в меняющемся пейзаже времени. И, начиная с первого утра, солнце манящим

перстом указывало мне вдали на голубые вершины моря, не обозначенные ни на одной географической карте, а затем, охмелев от упоительной прогулки по хаотической, гулкой поверхности их гребней и лавин, оно приходило ко мне в комнату укрыться от ветра, раскидывалось на смятой постели и сыпало свои драгоценности на мокрый умывальник и в раскрытый чемодан, еще усиливая их блеском и неуместной роскошью впечатление царившего здесь беспорядка. Увы! Через час, когда мы завтракали в большой столовой и из кожаной фляжки лимона выжимали золотистые капли на морские языки, от которых у нас на тарелках скоро оставались лишь разветвлявшиеся кости, звонкие, как цитры, бабушка говорила, что она жаждет животворного дуновения морского ветра, который не пропускало прозрачное, но закрытое окно, действительно отделявшее нас от взморья, зато, подобно витрине, открывавшее широкий вид на него, и в это же окно вливалось все небо, так что небесная лазурь принимала цвет стекла, а проплывавшие по небу облака напоминали пузырьки на стекле. Убедив себя, что я сижу «на краю мола» или в «будуаре», как сказано у Бодлера, я задавал себе вопрос: не есть ли его «солнце, лучащееся над морем», — так не похожее на вечерний луч, трепещущей золотою стрелкой пробегающий по поверхности, — то самое, от которого море горит, словно топаз, от которого оно начинает бродить, становится молочно-белым, словно пенящееся пиво, словно молоко, меж тем как время от времени по нему проносятся большие синие тени, гонимые неким богом, передвигающим в небе зеркало для потехи? К несчастью, не только внешним видом отличалась от «залы» в Комбре, из окон которой были видны дома напротив, бальбекская столовая, голая, полная солнца, зеленого, как вода в аквариуме, столовая, всего в нескольких метрах от которой прибой и ясный день воздвигали, словно перед горней обителью, движущуюся и несокрушимую крепостную стену из золота и изумруда. В Комбре нас знали все, а потому мне ни до кого не было дела. На морских купаньях не знаешь и своих соседей. Я был еще недостаточно взрослый и был еще очень впечатлителен, — вот почему я не мог побороть в себе желание нравиться другим, завладеть ими. У меня не было более благородного свойства — равнодушия, с каким светский человек отнесся бы и к людям, завтракающим в столовой, и к гуляющим по набережной юношам и девушкам, с которыми мне нельзя было совершать экскурсии, отчего я страдал, хотя и не так, как если бы моя бабушка, презиравшая светские условности и думавшая только о моем здоровье, обратилась к ним с унизительной для меня просьбой взять меня с собой на прогулку. Видел ли я их в слепящем, изменявшем все социальные

соотношения свете пляжа, когда они входили в какое-то непонятное помещение, или когда они выходили оттуда, держа в руках ракетки, и направлялись к теннисной площадке, или садились на лошадей, своими копытами топтавших мне сердце, я смотрел на них с живейшим любопытством; я следил за всеми их движениями сквозь прозрачность широкого застекленного проема, пропускавшего столько света. Но он преграждал путь ветру, а, по мнению бабушки, это был недостаток, и она, не мирившаяся с мыслью, что я хотя бы на час буду лишен благотворного действия воздуха, украдкой отворила окно, и в тот же миг полетели меню, газеты, вуали и фуражки завтракавших; сама же она, поддерживаемая дуновением, исходившим с неба, стояла, спокойная и улыбающаяся, как святая Бландина, под градом оскорблений, которые, усиливая во мне чувство одиночества и грусти, объединяли против нас презрительных, растрепанных и взбешенных туристов.

Часть их — и в Бальбеке она придавала почти всегда банально богатому и космополитичному населению подобного рода роскошнейших отелей довольно яркий местный колорит — составляли видные деятели главных департаментов этого края: председатель суда в Кане, старшина адвокатов Шербурга, старший нотариус Ле-Мана, покидавшие на время отдыха места, по которым они были разбросаны, как стрелки или как пешки на шашечной доске, и соединявшиеся в этой гостинице. Они останавливались всегда в одних и тех же номерах и, вместе с женами, строившими из себя аристократок, образовывали свою компанию, к которой присоединялись две парижские знаменитости — адвокат и врач, говорившие им в день отъезда:

— Ах да! Вы же едете другим поездом, вы — привилегированные, вы попадете домой к завтраку.

— Почему же это мы привилегированные? Вы живете в столице, в Париже, в центре, а я живу в захолустном городке, где всего сто тысяч жителей, — впрочем, во последней переписи, сто две. Но что это по сравнению с вами, если у вас два миллиона пятьсот тысяч? И если у вас там асфальт и цвет парижского общества?

Говорили они, по-крестьянски раскатываясь на звуке «р», без чувства горечи, потому что это были провинциальные светила и они тоже могли бы переехать в Париж, — канскому чиновнику не раз предлагали место в кассационном суде, — но решили остаться то ли из любви к родному городу, то ли предпочитая безвестность, то ли из любви к почету, то ли потому, что были реакционерами, то ли ради удовольствия быть в добрых отношениях с владельцами соседних замков. Впрочем, некоторые не сразу

уезжали в свои городки.

Дело в том, что — так как бальбекская бухта представляет собой маленькую отъединенную вселенную среди вселенной большой, корзину времен года, где собраны непохожие один на другой дни и чередующиеся месяцы, и в иные дни отсюда виден Ривбель, что предвещает грозу: ривбельские дома освещены солнцем, а в Бальбеке темно, этого мало: если в Бальбеке похолоднело, можно быть уверенным, что на том берегу еще месяца два-три простоит жара, — те из обычно останавливавшихся в Гранд-отеле, у кого отпуск начинался поздно, у кого отпуск был продолжительный, с приближением осени, когда наступала пора дождей и туманов, садились со своими чемоданами в лодку и отправлялись догонять лето в Ривбель или в Костедор. Маленькая компания, собиравшаяся в бальбекском отеле, недоверчиво оглядывала каждого вновь прибывшего; все эти люди, притворяясь, будто новый постоялец их не интересует, расспрашивали о нем своего приятеля — метрдотеля. Дело в том, что этот самый метрдотель Эме каждый год приезжал сюда на сезон и оставлял им их столики; а супруги, зная, что жена метрдотеля ждет ребенка, после еды что-нибудь для него шили, все время лорнируя нас с бабушкой, потому что мы ели крутые яйца с салатом, а это считалось дурным тоном и в высшем обществе Алансона было не принято. Они относились с подчеркнуто презрительной иронией к одному французу и называли его «Величеством», потому что он в самом деле провозгласил себя королем одного из островков Океании, где обитало два с половиной дикаря. В отеле он жил со своей хорошенькой любовницей, и когда она шла купаться, мальчишки кричали: «Да здравствует королева!», потому что она осыпала их монетами в пятьдесят сантимов. Председатель суда и старшина адвокатов делали вид, что не замечают ее, и если кто-нибудь из их приятелей на нее смотрел, они считали своим долгом предупредить его, что она простая работница.

— А меня уверяли, что в Остенде они купались в королевской кабине.

— Что ж тут особенного? Это стоит двадцать франков. Вы тоже можете снять ее, если это вам доставит удовольствие. А мне доподлинно известно, что он добивался аудиенции у короля и король велел передать ему, что он не желает знать этого балаганного самодержца.

— Чудно! Бывают же люди на свете!..

И все это, наверно, так и было, но в их тоне слышалась досада из-за того, что для большинства они всего лишь почтенные обыватели, незнакомые с расточительными королем и королевой, а когда нотариус, председатель суда и старшина адвокатов проходили мимо того, что они называли карнавалом, то он портил им настроение, и они громко выражали

свое негодование, каковые чувства были хорошо известны их приятелю метрдотелю, поневоле ухаживавшему за сомнительной, однако щедрой королевской четой, принимавшему от нее заказы и в то же время издали многозначительно подмигивавшему старым своим клиентам. Должно быть, отчасти то же чувство досады, вызванное боязнью, что их считают недостаточно «шикарными» и что они не могут доказать, насколько они в самом деле «шикарны», говорило в них, когда они дали прозвище «красавчика» юному пшюту, сыну крупного промышленника, чахоточному вертопраху, который каждый день появлялся в новом пиджаке с орхидеей в петлице, за завтраком пил шампанское и, бледный, равнодушный, с безучастной улыбкой, шел в казино и бросал на стол, за которым играли в баккара, огромные деньги, «вел игру не по средствам», как выражался с видом хорошо осведомленного человека нотариус в разговоре с председателем суда, жене которого было известно «из достоверных источников», что этот юноша, типичный представитель «конца века», безумно огорчает родителей.

А над одной пожилой дамой, богатой и знатной, старшина адвокатов и его приятели вечно насмехались потому, что она ездила куда бы то ни было со всеми своими домочадцами. Каждый раз, как жена нотариуса и жена председателя суда сходились с ней в столовой, они нахально смотрели на нее в лорнет таким изучающим и недоверчивым взглядом, как будто это было блюдо с пышным названием, но подозрительное на вид, на которое, если тщательное изучение окажется для него неблагоприятным, с гримасой отвращения указывают, чтобы его унесли.

Этим они, конечно, хотели только дать понять, что если им чего-нибудь и не хватает, — например, некоторых преимуществ, коими обладает пожилая дама, и знакомства с ней, — то не потому, чтобы это было им недоступно, а потому, что они сами этого не хотят. В конце концов они убедили в этом себя; но в подавлении всякого стремления к формам незнакомой жизни, в подавлении любопытства к ним, в искоренении надежды понравиться новым людям, в появившемся всему этому на смену наигранном презрении и неестественной жизнерадостности была для этих женщин и дурная сторона: им приходилось под личиной удовлетворенности таить неудовольствие и постоянно лгать самим себе, — вот почему они были несчастны. Но ведь и все в этом отеле, без сомнения, действовали так же, только проявлялось это по-разному: все приносили в жертву если не самолюбию, то известным принципам воспитания или укоренившимся взглядам чудесное волнение, какое охватывает вас при соприкосновении с незнакомой жизнью. Понятно, микрокосм, в котором

замыкалась пожилая дама, не был отравлен ядовитыми колкостями, как та компания, где злобно потешались жена нотариуса и жена председателя суда. Напротив, он был весь пропитан тонким, старинным, но все же искусственным ароматом. Ведь уж, наверно, пожилая дама, пытаясь завоевать таинственную симпатию новых людей, привязать их к себе и ради них обновляясь, находила в этом особую прелесть, незнакомую тем, для кого все удовольствие только в том и состоит, чтобы ходить к людям своего круга и напоминать себе, что раз лучше этого круга нет ничего на свете, значит, на тех, кто плохо знает его и оттого им пренебрегает, не надо обращать внимание. Быть может, она предполагала, что, если бы в бальбекском Гранд-отеле никто ее не знал, то при виде ее черного шерстяного платья и старомодного чепчика какой-нибудь кутила, развалившись в rocking'e[17], усмехнулся бы и процедил сквозь зубы: «Бедность-матушка!» — и даже человек почтенный, вроде председателя суда, с моложавым лицом в седеющих бакенбардах и с живыми глазами, нравившимися ей именно своею живостью, сейчас же направил бы на это необыкновенное явление увеличительные стекла супружеского лорнета; и, быть может, из неосознанного страха перед этой первой минутой, правда, короткой, но от того не менее грозной, — такой страх испытывает человек перед тем, как броситься в воду вниз головой, — дама посылала вперед слугу, чтобы он сказал в отеле, кто она такая и каковы ее привычки, а затем, небрежным кивком ответив на приветствия директора, быстрым шагом, не столько величественным, сколько робким, шла в номер, где ее собственные занавески, уже висевшие на окнах вместо гостиничных, ширмы и фотографии воздвигали между ней и внешним миром, к которому ей надо было бы приноравливаться, прочную стену привычек, так что путешествовала, в сущности, не она, а ее домашний уют, в котором она оставалась…

Так, поместив между собой, с одной стороны, и служащими гостинцы и поставщиками — с другой, своих слуг, вместо нее вступавших в отношения с этой новой человеческой разновидностью и поддерживавших вокруг госпожи привычную атмосферу, отгородившись от купальщиков своими предрассудками, не огорчаясь тем, что она не нравится людям, которых ее приятельницы не стали бы у себя принимать, она жила в своем мире, жила перепиской с этими приятельницами, воспоминаниями, тайным сознанием занимаемого ею положения, того, что у нее прекрасные манеры, что она в совершенстве владеет искусством обхождения. Она ежедневно спускалась вниз, чтобы прокатиться в коляске, а горничная, которая несла за ней вещи, и выездной лакей, шедший впереди, напоминали часовых,

стоящих у дверей посольства, над которым развевается национальный флаг, и обеспечивающих посольству его экстерриториальность. В день нашего приезда она первую половину дня просидела у себя в номере, и мы не видели ее в столовой, куда директор повел нас, новичков, завтракать, как сержант ведет новобранцев к полковому портному, который должен обмундировать их; зато мы сейчас же увидели обедневшего дворянина и его дочь, принадлежавших к захудалому, но очень древнему бретонскому роду, мсье и мадмуазель де Стермарья, — нас посадили за их стол, так как предполагалось, что они вернутся не раньше вечера. В Бальбек они приехали только ради своих знакомых владельцев местных замков, — те приглашали их к себе и заезжали к ним, — поэтому время пребывания отца с дочерью в столовой было строго ограничено. Высокомерие предохраняло их от проявлений простой человеческой симпатии, от интереса к кому бы то ни было из тех, кто сидел с ними за одним столом, в чьем обществе г-н де Стермарья был всегда холоден, скован, замкнут, суров, педантичен и недружелюбен, как пассажиры в станционном буфете, которые никогда раньше друг друга не видели и не увидят впоследствии и взаимоотношения которых сводятся к тому, чтобы оградить своего холодного цыпленка и свой угол в вагоне. Только мы сели завтракать, как нас попросили пересесть по приказанию г-на де Стермарья, который вернулся в отель и, не подумав извиниться перед нами, во всеуслышание попросил метрдотеля, чтобы этого больше не было, так как ему неприятно, что «незнакомые люди» садятся за его стол.

И, разумеется, в том, что актриса (пользовавшаяся известностью не столько благодаря нескольким ролям, сыгранным ею в «Одеоне», сколько благодаря своей элегантности, остроумию и прекрасным коллекциям немецкого фарфора), ее любовник, весьма состоятельный молодой человек, ради которого она очень следила за собой, и два занимавших видное положение аристократа держались обособленно, путешествовали всегда вместе, в Бальбеке завтракали очень поздно, после всех, целыми днями играли у себя в гостиной в карты, сказывалось не недоброжелательство, а всего лишь строгий вкус, проявлявшийся в тяге к блестящим собеседникам, в пристрастии к изысканной кухне, прививший им охоту к совместному времяпрепровождению, к совместным трапезам и отвращавший их от людей иного круга. Даже сидя за столом обеденным или за столом карточным, каждый из них испытывал потребность сознавать, что в сотрапезнике или партнере, сидящем напротив, живет невыявленная и неиспользованная ученость, благодаря которой он обнаружит подделку в вещах, украшающих столько парижских квартир как настоящее

«средневековье» или «Возрождение», и что у них общая мерка для различения добра и зла. Конечно, в такие минуты приметами этой необычной жизни, которую друзьям хотелось вести всюду, могли быть только какое-нибудь особенное, забавное междометие, нарушавшее тишину во время еды или за картами, прелестное новое платье, которое юная актриса надевала к завтраку или для игры в покер. Эта жизнь обволакивала их привычками, постепенно въедавшимися в плоть и кровь, и она была достаточно сильна, чтобы охранять их от загадок, таившихся в окружающем. Всю долгую вторую половину дня море было для них не больше, чем приятного тона картиной, висящей в комнате богатого старика, и только между ходами кто-нибудь из игроков от нечего делать обращал на него взгляд, чтобы определить, какая погода и много ли времени, и напомнить другим, что пора в ресторанчик. Ужинали они не в отеле, где электрический свет потоками вливался в большую столовую, отчего она становилась похожа на огромный, дивный аквариум, за стеклянной стеною которого рабочий люд Бальбека, рыбаки и мещане с семьями, невидимые в темноте, теснились, чтобы насмотреться на чуть колышущуюся на золотых волнах, роскошную жизнь этих людей, столь же непонятную для бедняков, как жизнь рыб и необыкновенных моллюсков. (Проблема громадного социального значения: всегда ли стеклянная стена будет охранять пир сказочных этих животных и не придут ли неведомые люди, которые сейчас жадно глядят из мрака, выловить их в аквариуме и съесть?) Пока что в этой стоявшей на месте и сливавшейся с мраком толпе находился, быть может, писатель, знаток человеческой ихтиологии, и, глядя, как смыкались челюсти старых чудищ женского пола, проглотивших кусок, забавлялся тем, что классифицировал их и определял их врожденные и благоприобретенные свойства, благодаря которым старая сербка с ротовой полостью, как у крупной морской рыбы, только потому что она с детства обреталась в пресных водах Сен-Жерменского предместья, ела салат, точно какая-нибудь Ларошфуко.

В этот час можно было видеть одетых в смокинги трех мужчин, поджидавших даму, и вскоре, почти всякий раз в новом платье и шарфе, выбранном по вкусу ее любовника, дама выходила из лифта, который она вызывала на свой этаж, как из коробки для игрушек. И все четверо, полагая, что насажденное в Бальбеке международное чудо природы под названием Отеля, способствовало скорее расцвету роскоши, чем кулинарного искусства, садились в экипаж, отправлялись ужинать за полмили отсюда в известный ресторанчик и там бесконечно долго обсуждали с поваром меню и способ приготовления. Обсаженная яблонями

дорога, начинавшаяся от Бальбека, была для них всего лишь расстоянием, которое надо было проехать, — в вечернем мраке им казалось, что она почти такая же, как та, что ведет от их парижских квартир к Английскому кафе или к Тур д'Аржан, — проехать для того, чтобы попасть в отделанный со вкусом ресторанчик, где приятели богатого молодого человека будут завидовать ему, что у него такая любовница, прекрасно одетая, в шарфе, колыхающемся перед маленькой этой компанией, точно благоуханная мягкая завеса, и отделяющем ее от мира.

Я был совсем не такой, как все эти люди, — я не знал покоя. Меня занимало, что они обо мне думают; я хотел, чтобы обо мне знал мужчина с низким лбом, мужчина, на глазах у которого были шоры предрассудков и воспитания, местный вельможа, зять Леграндена, иногда приезжавший в гости в Бальбек, по воскресеньям устраивавший вместе с женой garden-party[18] из-за чего отель пустел, потому что одного или двух постояльцев он приглашал на эти празднества, а другие, чтобы никто не подумал, что их не пригласили, отправлялись на далекие прогулки. Между прочим, когда он впервые появился в отеле, служащие, только что приехавшие с Лазурного берега и не знавшие его, приняли его весьма нерадушно. Мало того, что на нем не было белого фланелевого костюма, но по старинному французскому обычаю и по незнанию гостиничных порядков, войдя в вестибюль, где были и женщины, он снял шляпу уже в дверях, и директор, решив, что это какая-нибудь мелкая сошка, как оа выражался — «из простых», в ответ даже не дотронулся до своей шляпы. Только жена нотариуса, почувствовав влечение к новому человеку, распространявшему вокруг себя аромат пошлейшей надменности, свойственный людям комильфо, заявила с безошибочной проницательностью и безапелляционной вескостью особы, которой известны все тайны леманского высшего общества, что в нем сразу виден человек на редкость тонкий, прекрасно воспитанный, головой выше всех, кто живет в Бальбеке, и к тому же еще он казался ей недоступным — до тех пор, пока доступ к нему ей не был открыт. Благоприятное суждение о зяте Леграндена создалось у нее, быть может, из-за его бесцветной наружности, в которой не было ничего такого, что внушало бы робость, а быть может, из-за того, что по каким-то таинственным признакам она угадала в этом дворянине-фермере с повадками причетника своего единомышленника — клерикала.

Я отлично знал, что отец молодых людей, каждый день проезжавших верхом мимо отеля, владелец универсального магазина, — подозрительный тип, с которым мой отец ни за что не стал бы знакомиться, но «курортная жизнь» преображала их в моих глазах в конные статуя полубогов, а

полубоги, — и это еще лучшее, на что я мог рассчитывать, — не удостаивали даже взглядом бедного подростка, уходившего из столовой только для того, чтобы посидеть на песке. Мне хотелось приобрести расположение даже авантюриста, короля безлюдного острова Океании, даже чахоточного молодого человека, о котором мне хотелось думать, что под нахальной внешностью он скрывает пугливую и нежную душу и который, быть может, мне одному расточал бы сокровища любящего своего сердца. Да и потом (в противоположность тому, как обычно расцениваются знакомства, завязывающиеся во время путешествий), если вас увидят на пляже, куда некоторые ездят ежегодно, с определенными людьми, то это может бесконечно увеличить ваш коэффициент в настоящем свете, и ничто так старательно не поддерживается в Париже, — а уж об отчуждении и говорить нечего, — как дружеские отношения, возникшие на морских купаньях. Меня интересовало, какого мнения обо мне все эти временные или местные знаменитости, которых моя способность ставить себя на место других и воссоздавать их душевное состояние причислила не к их настоящему рангу, к тому, к какому они относились, например, в Париже, быть может, весьма невысокому, а к тому, в какой они сами себя записали и в каком они, и правда, были в Бальбеке, где отсутствие единой мерки давало им известное преимущество и вызывало к ним живой интерес. Увы, я особенно болезненно воспринимал пренебрежительное отношение г-на де Стермарья.

Дело в том, что я увидел его дочь, как только она вошла, увидел ее красивое лицо, бледное, почти голубоватое, заметил то, что было своеобразного в горделивой стройности ее стана, в ее поступи, — все это, естественно, наводило на мысль об ее происхождении, об ее аристократическом воспитании, обозначавшемся передо мной тем явственнее, что мне была известна ее фамилия: так экспрессивные мотивы в творении гениального композитора дивно рисуют пышущее пламя, струенье реки и сельскую тишину, — надо только, чтобы слушатели, сначала пробежав либретто, соответственно настроили свое воображение. «Порода», добавляя к очарованию мадмуазель де Стермарья мысль об его почве, объясняла его, сообщала ему полноту. Но это еще не все: «порода» возвещала недоступность очарования, и от этого оно становилось желанней, — так высокая цена увеличивает ценность понравившегося нам предмета. Ствол родословного древа придавал цвету ее лица, вспоенного драгоценными соками, вкус редкостного плода или прославленного вина.

Но вдруг чистая случайность помогла нам с бабушкой заслужить уважение обитателей гостиницы. Дело было так: в первый же день, когда

пожилая дама спускалась, производя на всех сильное впечатление тем, что впереди шел лакей, а догоняла ее горничная с забытой книгой и накидкой в руках, и возбуждая любопытство и почтительность, которыми, судя по всему, особенно был преисполнен г-н де Стермарья, директор наклонился к уху бабушки и из любезности (так показывают персидского шаха или королеву Ранавало простому смертному, который, понятно, не имеет никакого отношения к могущественному властелину, но которому может быть интересно посмотреть на него вблизи) шепнул ей: «Маркиза де Вильпаризи» в то самое мгновенье, как маркиза, заметив бабушку, взглянула на нее с радостным изумлением.

Можно себе представить, что даже внезапное появление, в обличье старушки, самой могущественной феи не могло бы доставить большей радости именно мне: ведь у меня не было никакой возможности познакомиться с мадмуазель де Стермарья, и жил я в краю, где я никого не знал. Никого — практически. А с точки зрения эстетической число человеческих типов до такой степени ограничено, что, где бы мы ни находились, мы не нуждаемся в частых встречах со знакомыми людьми, нам не надо по примеру Свана искать их на картинах старинных мастеров. Так я в первые же дни нашей жизни в Бальбеке встретил Леграндена, швейцара Свана и самое г-жу Сван: Легранден превратился в старшего официанта в кафе, швейцар — в незнакомого проезжего, а г-жа Сван — в содержателя купальни. Своего рода магнетизм притягивает и сцепляет некоторые черты лица и особенности умонастроения, так что когда природа придает человеку новую телесную оболочку, то она не очень его калечит. Легранден, обернувшись официантом, сохранил в неприкосновенности свой рост, форму носа и часть подбородка; г-жа Сван в мужском роде и в звании содержателя купальни не утратила не только своей наружности, но и манеры говорить. Но теперь мне от нее, подпоясанной красным кушаком и при малейшем волнении на море. вывешивавшей флаг в знак того, что купаться воспрещается, — содержатели купален осторожны, потому что многие из них не умеют плавать, — было не больше пользы, чем если бы я ее увидел на фреске «Жизнь Моисея», на которой Сван когда-то узнал ее в облике дочери Иофора. Зато маркиза де Вильпаризи была настоящая; колдовские чары не отняли у нее могущества, — напротив, силою своих чар она могла стократ усилить мое могущество, и теперь я, будто на крыльях сказочной птицы, в несколько секунд преодолевал — по крайней мере, в Бальбеке — бесконечное социальное расстояние, отделявшее меня от мадмуазель де Стермарья.

К несчастью, никто так не замыкался в своей особой вселенной, как

бабушка. Она бы не стала меня презирать — она бы просто не поняла меня, если бы узнала, что я дорожу мнением, проявляю интерес к людям, которых она даже не замечала, имена которых вылетели бы у нее из головы, как только она уехала бы из Бальбека; я боялся признаться ей, что если б эти люди видели, что она разговаривает с маркизой де Вильпаризи, то мне бы это доставило большое удовольствие: я же чувствовал, что в отеле к маркизе относятся с почтением и что ее дружба с бабушкой возвысила бы нас во мнении г-на де Стермарья. Я не считал приятельницу бабушки аристократкой; ее фамилия, которую называли у нас в доме, когда я был еще совсем маленьким, стала для меня привычной, мой слух освоился с ней еще до того, как на ней задержалось сознание, а титул только придавал ей своеобразие — так придает своеобразие редкое имя, и так же это бывает с названиями улиц: улица Лорда Байрона, общеизвестная и такая неинтересная улица Рошшуар или улица Грамона ничуть не более аристократичны, чем улица Леонса Рено или Ипполита Леба. Маркиза де Вильпаризи не представлялась мне существом из какого-то особенного мира, так же как и ее родственник Мак-Магон, который, в свою очередь, ничем не отличался в моих глазах ни от Карно, тоже президента республики, ни от Распайля, чью фотографию Франсуаза купила вместе с фотографией Пия IX. Бабушка считала, что в дороге не следует заводить новые знакомства, что на море ездят не для того, чтобы видеться с людьми, что для этого более чем достаточно времени в Париже, что встречи заставят вас тратить драгоценное время на приличия, на всякие пошлости, вместо того чтобы проводить его, не теряя ни секунды, на воздухе, у воды; и, находя для себя более удобным предполагать, что это ее убеждение разделяется всеми и что оно дает право старинным друзьям, которых случай столкнул в отеле, на игру во взаимное инкогнито, она, как только директор назвал фамилию Вильпаризи, отвернулась и сделала вид, что не замечает маркизу, а маркиза, поняв, что бабушка не хочет, чтобы она ее узнала, стала смотреть в пространство. Маркиза ушла, а я опять остался в одиночестве, — так потерпевший кораблекрушение вдруг завидит корабль, но корабль, не останавливаясь, проходит мимо.

Маркиза де Вильпаризи обедала в столовой, но ее место было в другом конце. Она не была знакома ни с кем из обитателей отеля, и ни с кем из тех, кто здесь бывал, даже с маркизом де Говожо; в самом деле, он с ней не поздоровался — это я заметил в тот день, когда он и его жена дали согласие прийти завтракать к старшине адвокатов, а старшина, в восторге от того, что будет иметь честь видеть у себя за столом дворянина, избегал всегдашних своих приятелей и только издали подмигивал им, как бы

намекая на это историческое событие, но очень тонко, а то вдруг они подумают, что он подзывает их.

— А вы, я вижу, любите, чтобы все у вас было на широкую ногу, вн человек шикарный, — сказала ему вечером судейша.

— Шикарный? Почему? — разыгрывая изумление, но не умея скрыть свою радость, спросил старшина. — Это из-за моих гостей? — продолжал он, чувствуя, что не в силах дольше притворяться. — Какой же шик в том, чтобы пригласить к завтраку друзей? Ведь должны же они где-нибудь завтракать.

— Нет, не говорите, это шикарно. Ведь это были *де* Говожо, правда? Я их сразу узнала. Она маркиза. Настоящая. Не по женской линии.

— О, это женщина очень простая, прелестная, без всяких ломаний. Я думал, вы подойдете, делал вам знаки… я бы вас познакомил! — добавил он, легкой иронией умаляя чрезмерность своей любезности, совсем как Артаксеркс, когда он говорит Есфири: «Уж не полцарства ли тебе отдать я должен?»

— Нет, нет, нет, нет, мы, как скромные фиалки, любим тень.

— Ну и напрасно, еще раз говорю, — расхрабрившись, когда опасность миновала, возразил старшина. — Они бы вас не съели. А как насчет партийки в безик?

— Мы-то с удовольствием, но только не решались предложить, — ведь вы теперь знаетесь с маркизами!

— Да перестаньте! Это обыкновенные люди. Погодите! Завтра я у них ужинаю. Хотите поехать вместо меня? Я не кривлю душой. Откровенно говоря, я бы предпочел остаться.

— Нет, нет… Меня тогда сместят как реакционера! — воскликнул председатель и потом до слез хохотал над своей же шуткой. — А вы ведь тоже бываете в Фетерне? — обратился он с вопросом к нотариусу.

— Ну, я только по воскресеньям, покажусь, и до свиданья. И у меня они не завтракают, как у старшины.

Старшина очень жалел, что в тот день г-на де Стермарья не было в Бальбеке. Но он с лукавым видом обратился к метрдотелю:

— Эме! Вы можете сказать господину де Стермарья, что в этой столовой бывает и еще кое-кто из знати. Вы видели, что сегодня со мной завтракал один господин? Маленькие усики, военная косточка? А? Ну так вот, это маркиз де Говожо.

— Ах, вот оно что? Впрочем, меня это не удивляет.

— Пусть господин: де Стермарья убедится, что он здесь не единственный титулованный. Пусть съест. Иногда не мешает сбить спесь

со знатных господ. Знаете что, Эме: как хотите, можете ничего ему не говорить, я ведь это между прочим; ему и так все известно.

А на другой день г-н де Стермарья по случаю того, что старшина защищал его друга, пришел познакомиться с ним.

— Наши общие друзья, де Говожо, собирались нас всех позвать, но вышла какая-то путаница с днями, — сказал старшина; как большинство лгунов, он воображал, что никто не станет выяснять незначительную подробность, достаточную тем не менее (в случае, если вам известно, что она не соответствует неприукрашенной действительности) для того, чтобы раскрыть характер человека и раз навсегда внушить к этому человеку недоверие.

По обыкновению, но только чувствуя себя сейчас свободней, потому что ее отец пошел поговорить со старшиной, я смотрел на мадмуазель де Стермарья. Смелая и неизменно прекрасная необычность поз, как, например, в то мгновенье, когда, поставив локти на стол, она поднимала стакан на высоту предплечий, холодность быстро гасшего взгляда, врожденная фамильная черствость, которая слышалась в ее голосе и которую не могли скрыть характерные для нее модуляции, черствость, коробившая мою бабушку, нечто вроде наследственного тормоза, к которому она всякий раз прибегала, выразив взглядом или интонацией свою собственную мысль, — все наводило следившего за ней глазами на размышление о предках, от коих она унаследовала жесткость, нечуткость, стесненность, как будто на ней было узкое платье, которое ей жало. Но блеск, пробегавший в глубине холодных ее зрачков, светившихся иногда почти покорною нежностью, какую всесильная жажда чувственных наслаждений вызывает в душе самой гордой из женщин, которая скоро будет признавать над собой только одну власть — власть мужчины, способного доставить ей эти наслаждения, будь то комедиант или паяц, ради которого она, может быть, бросит мужа; но чувственно розовый и живой румянец, расцветавший на бледных ее щеках и напоминавший алость в чашечках белых кувшинок Вивоны, как будто подавали мне надежду, что я легко добьюсь от нее позволения испытать с нею радость поэтичной жизни, какую она вела в Бретани, жизни, которою она, то ли потому, что уж очень привыкла к ней, то ли в силу врожденной требовательности, то ли в силу отвращения к бедности или скупости родных, по-видимому, не особенно дорожила, но которая все же была заключена в ее теле. В скудных запасах воли, доставшихся ей по наследству и сообщавших выражению ее лица какую-то вялость, она, пожалуй, не смогла бы почерпнуть силы для сопротивления. А когда она

появлялась к столу в неизменной серой фетровой шляпе с довольно старомодным и претензиозным пером, она казалась мне особенно трогательной, и не потому, что цвет шляпы шел к ее серебристо-розовому лицу, а потому, что я думал тогда о ее бедности, и мысль эта приближала ее ко мне. Присутствие отца обязывало ее придерживаться условностей, и все же, рассматривая и классифицируя людей с иной точки зрения, чем ее отец, во мне она, быть может, видела не скромное общественное положение, а пол и возраст. Если б г-н де Стермарья как-нибудь оставил ее в отеле одну или если б, — это было бы еще лучше, — маркиза де Вильпаризи подсела к нашему столу и тем настолько изменила бы ее мнение о нас, что я отважился бы подойти к ней, быть может, мы обменялись бы двумя-тремя словами, уговорились бы о свидании, сблизились бы. А если б ей пришлось прожить целый месяц без родителей в своем романтическом замке, может быть, мы бы с ней вдвоем гуляли в вечернем полумраке, когда не так ярко горят над потемневшей водой, под сенью дубов, о которые разбивается плеск волн, розовые цветы вереска. Вместе обошли бы мы этот остров, исполненный для меня особого очарования, оттого что на нем шли будни мадмуазель де Стермарья и его всегда хранила зрительная ее память. Мне казалось, что я мог бы подлинно обладать ею только там, обойдя места, окутывавшие ее столькими воспоминаниями — покрывалом, которое мое влечение к ней стремилось сорвать, одним из тех покрывал, которые природа опускает между женщиной и другими существами (с той же целью, с какою она ставит между всеми существами и самым острым из наслаждений акт размножения и с какою заставляет насекомых собрать пыльцу, прежде чем упиться нектаром) для того, чтобы, обманутые надеждой на более полное обладание, они овладели сначала местностью, где она живет и которая сильнее воспламеняет их воображение, нежели страсть, хотя сама по себе, без помощи страсти, местность не могла бы их притянуть.

И все же мне пришлось отвести взгляд от мадмуазель де Стермарья, так как, полагая, видимо, что знакомство с важным человеком есть действие любопытное, короткое, имеющее самостоятельную ценность, требующее для того, чтобы выжать весь содержащийся в нем интерес, только рукопожатия и проницательного взгляда, не нуждающееся ни в завязывании разговора, ни в поддерживании отношений, ее отец уже оставил в покое старшину и сел против нее, потирая руки с видом человека, только что сделавшего ценное приобретение. А до моего слуха временами долетал голос старшины: едва волнение от встречи в нем улеглось, он, обращаясь, как всегда, к метрдотелю, заговорил:

— Но я же ведь не король, Эме; ну так и идите к королю. Как вы находите, председатель? На вид эти форельки очень недурны, вот мы сейчас их и попросим у Эме. Эме! Вон та рыбка, по-моему, вполне приемлема. Принесите-ка нам ее, Эме, да побольше.

Он все время называл метрдотеля по фамилии, так что, когда кто-нибудь у него обедал, гость говорил ему:

«Вы, я вижу, тут свой человек», — и тоже считал необходимым повторять «Эме», придерживаясь правила, которому следовал не он один и в котором смешались робость, пошлость и глупость: будто бы во всем подражать людям, в чьем обществе они находятся, — это и умно и изящно. Старшина беспрестанно называл метрдотеля по фамилии, но с улыбкой: ему хотелось подчеркнуть, что он в хороших отношениях с метрдотелем, но вместе с тем смотрит на него сверху вниз. А метрдотель, всякий раз, как произносилась его фамилия, улыбался умиленной и тщеславной улыбкой, показывая, что он гордится честью и понимает шутку.

Я всегда робел в огромном, обычно переполненном ресторане Гранд-отеля, но особенно мне становилось не по себе, когда приезжал на несколько дней владелец (а может быть, главный директор, избранный акционерной компанией, — наверное сказать не могу) не только этого отеля, но и еще не то семи, не то восьми, которые находились в разных концах Франции и в каждом из которых он, объезжая их, останавливался на неделю. Тогда каждый вечер, почти в начале трапезы, у входа в столовую появлялся этот маленький человечек, седой, * красноносый, совершенно невозмутимый и необычайно корректный, которого, по-видимому, так же хорошо знали в Лондоне, как и в Монте-Карло, и везде считали одним из крупнейших содержателей гостиниц во всей Европе. Однажды я на минутку вышел из столовой, а когда, возвращаясь, проходил мимо него, он поклонился мне, чтобы подчеркнуть, что я его гость, но до того сухо, что я так и не понял, чем эта сухость вызвана: сдержанностью человека, не забывающего, кто он такой, или презрением к незначительному посетителю. Лицам очень значительным главный директор кланялся так же сухо, но ниже, опуская глаза как бы в знак стыдливого почтения, словно при встрече на похоронах с отцом усопшей или при виде святых даров. За исключением этих редких, ледяных приветствий, он не делал ни одного движения, как бы давая понять, что горящие его глаза, словно готовые выскочить из орбит, все видят, везде наводят порядок, обеспечивают во время «обеда в Грандотеле» не только безукоризненность деталей, но и стройность ансамбля. Он явно ощущал себя больше чем режиссером, больше чем дирижером — настоящим генералиссимусом. Он верил, что

если довести созерцание до предельной напряженности, то все будет в полном порядке, что не будет допущено самомалейшей оплошности, которая могла бы повлечь за собою разгром, и, беря на себя всю ответственность, он воздерживался не только от движений — он даже не водил глазами: замерев от сосредоточенности, его глаза охватывали и направляли всю совокупность действий. Я чувствовал, что даже движения моей ложки от него не ускользают, и хотя бы он исчезал сразу после супа, произведенный им смотр портил мне аппетит на все время обеда. А у него аппетит был отличный — это он доказывал за завтраком, сидя в столовой как частное лицо и занимая такой же столик, как и все. Его столик имел только одну особенность: пока главный директор ел, другой, всегдашний директор, стоя, все время что-то ему говорил. Он был его подчиненным и оттого заискивал перед ним и безумно боялся его. А я за завтраком не очень его боялся: затерянный среди посетителей, он был тактичен, как генерал в ресторане, делающий вид, что не замечает сидящих тут же солдат. И все же, когда швейцар, окруженный своими «посыльными», сообщал мне: «Завтра утром он уезжает в Динар. Оттуда — в Биарриц, а потом — в Канн», — мне становилось легче дышать.

Мне жилось в отеле не только скучно, оттого что у меня не было знакомых, но и беспокойно, оттого что у Франсуазы их было много. Можно подумать, что эти знакомства могли многое облегчить нам. Как раз наоборот. Пролетариям не так-то просто было завязать дружбу с Франсуазой — они достигали этого лишь в том случае, если проявляли к ней величайшую учтивость, но уж если им это удавалось, то она только их за людей и считала. Зато, согласно старому своду ее законов, друзья ее господ ничего для нее не значили, и если дел у нее было по горло, то она считала себя вправе выпроводить даму, пришедшую к бабушке. Что же касается ее знакомых, а именно — тех немногих простолюдинов, которых она удостоила своим разборчивым дружеским расположением, то здесь ее поступками руководило законоположение хитроумное и неумолимое. Так, сведя знакомство с содержателем кофейни и молоденькой горничной, которая служила у бельгийки и шила на нее, Франсуаза приходила убирать у бабушки не сразу после завтрака, а только через час, потому что содержатель кофейни готовил для нее кофе или кофейный отвар, или потому что портниха просила посмотреть, как она шьет, и не прийти к ним Франсуаза не могла — она считала это просто недопустимым. А к портнихе надо было быть особенно внимательной: она была сирота, воспитывалась у чужих людей, теперь кое-когда ездила к ним на несколько дней погостить. Франсуаза относилась к ней со смешанным чувством жалости и

доброжелательного презрения. У Франсуазы была семья, был доставшийся ей после смерти родителей домик, где жил ее брат, у которого была не одна, а несколько коров, и она не могла смотреть на безродную девушку как на ровню. Девушка собиралась провести пятнадцатое августа у своих благодетелей, а Франсуаза все твердила: «Умора! Говорит: хочу на пятнадцатое августа домой съездить. „Домой“ говорит! А это даже и не ее родина, чужие люди ее подобрали, а она: „Домой“, — как будто это взаправду ее дом. Несчастная девушка! В какой же она, стало быть, бедности живет, раз не знает даже, что такое свой дом!» Но если б Франсуаза дружила только с горничными, приехавшими сюда вместе с господами, и, когда она обедала «там, где прислуга», принимавшими ее за благородную, которую, быть может, обстоятельства или особая привязанность к моей бабушке заставили пойти к ней в компаньонки, — принимавшими, глядя на ее отличный кружевной чепец и на ее тонкий профиль, — если бы, словом, Франсуаза зналась только с людьми, не служившими в отеле, это было бы еще полбеды, она не могла бы им помешать быть нам в чем-либо полезными по той простой причине, что в любом случае, хотя бы она их и не знала, они ни в чем не могли быть нам полезными. Но Франсуаза подружилась со смотрителем винного погреба, с кем-то из кухни, с дежурной по этажу. И на нашей повседневной жизни это отозвалось таким образом: в день своего приезда Франсуаза, еще никого здесь не знавшая, поминутно звонила из-за всякого пустяка, и притом в такое время, когда ни бабушка, ни я звонить не решились бы, и на наш слабый протест отвечала: «А сколько они дерут!» — как будто платила она; теперь же, когда некто, связанный с кухней, стал ее приятелем и у нас явилась надежда, что в смысле удобств мы от этого выиграем, Франсуаза, если у бабушки или у меня зябли ноги, не решалась звонить даже в самое урочное время; она уверяла, что на это посмотрят косо, так как придется растапливать плиту или беспокоить прислугу, которая сейчас обедает и будет ворчать. Заключала же она свою речь выражением, которое, несмотря на неопределенность тона, было нам вполне понятно и неопровержимо доказывало, что мы неправы: «Вот в чем дело-то…» Мы не настаивали из боязни, что она прибегнет к другому выражению, более грозному: «Это ведь не что-нибудь!..» Короче говоря, мы лишились горячей воды из-за того, что Франсуаза сдружилась с человеком, гревшим воду.

Наконец и мы завели знакомство — против желания бабушки, но благодаря ей: однажды утром она столкнулась в дверях с маркизой де Вильпаризи, и обе вынуждены были заговорить, предварительно обменявшись жестами, выражавшими изумление и нерешительность,

попятившись, посмотрев друг на друга с сомнением и только после этого разрешив себе изъявления учтивости и радостные восклицания: так в иных пьесах Мольера два актера, стоя почти рядом, но притворяясь, что не видят друг друга, произносят длинные монологи в сторону, но вдруг их взгляды встречаются, они не верят своим глазам, один другого перебивают, потом говорят вместе, наконец диалог сменяется у них дуэтом, и они бросаются друг другу в объятия. Маркиза де Вильпаризи хотела из деликатности сейчас же проститься с бабушкой, но бабушка проговорила с ней до самого завтрака: ей хотелось узнать, почему маркиза получает почту раньше нас и где она покупает хорошее жареное мясо (маркиза де Вильпаризи, любившая хорошо поесть, — не одобряла кухню отеля, где нам подавали блюда, о которых бабушка, как всегда цитируя г-жу де Севинье, говорила, что «от таких роскошных яств как бы с голоду не умереть»), И с этого дня у маркизы вошло в привычку, пока ей принесут завтрак, присаживаться к нашему столику, не позволяя нам вставать, боясь хоть чем-нибудь нас побеспокоить. Но из-за разговора с ней мы все-таки часто засиживались после завтрака до противного времени, когда ножи валяются на скатерти рядом со смятыми салфетками. Сживаясь с мыслью, — а это мне было необходимо, иначе я бы разлюбил Бальбек, — будто я на краю света, я старался смотреть вдаль, чтобы не видеть ничего, кроме моря, чтобы открывать в нем переливы красок, описанные Бодлером, а наш столик я окидывал взглядом только в те дни, когда нам подавали огромную рыбу, морское чудище, в отличие от ножей и вилок существовавшее еще в первобытную пору, когда жизнь только-только притекала в Океан, во времена киммерийцев, чудище, тело которого, с бесчисленными позвонками, с синими и розовыми жилками, создала природа, но по определенному архитектурному плану, и у нее получилось нечто вроде многоцветного морского собора.

Как парикмахер, видя, что с чиновником, которого он бреет с особым почтением, заводит болтовню только что вошедший клиент, радуется, понимая, что они одного круга, и невольно улыбается, идя за чашечкой для мыла, при мысли, что в его заведении, в обыкновенной простой парикмахерской, развлекаются люди из общества, даже аристократы, так Эме, поняв, что мы — старые знакомые маркизы де Вильпаризи, шел за чашкой с полосканием для нас, улыбаясь той же скромно горделивой и нарочито сдержанной улыбкой, какой улыбается хозяйка дома, знающая, когда нужно удалиться. Еще он напоминал растроганного и ликующего отца, который украдкой наблюдает за счастьем жениха и невесты, связавших свои судьбы у него за столом. Кстати сказать, лицо Эме

принимало счастливое выражение всякий раз, как при нем называли фамилию титулованной особы, чем он отличался от Франсуазы, лицо которой мрачнело, а речь становилась сухой и отрывистой, когда при ней говорили: «граф такой-то», и это был признак того, что знатность она ценила не меньше, а больше Эме. Притом Франсуаза обладала свойством, которое она расценивала как величайший порок, когда замечала его в ком-нибудь другом. Она была гордячка. Она была не из той приятной и добродушной породы, к которой принадлежал Эме. Люди его типа испытывают и выражают большое удовольствие, когда им рассказывают факт более или менее пикантный, но не попавший в газету. Франсуаза была бы недовольна, если б ее лицо выразило удивление. При ней можно было бы сказать, что эрцгерцог Рудольф, о существовании которого она не подозревала, не умер, в чем все были убеждены, а жив, и она сказала бы: «Да», — с таким, видом, как будто это ей давно известно. Должно быть, раз она не могла спокойно слышать фамилию знатного человека, когда ее произносили даже мы, — люди, которых она почтительно называла господами и которые почти совсем ее укротили, — ее семья была зажиточной, ни от кого не зависела, и если достоинство, с каким эта семья держалась в деревне, могло быть унижено, то разве лишь благородными, у которых такой человек, как Эме, с детства был слугой, а может статься, даже и воспитывался из милости. С точки зрения Франсуазы, маркизе де Вильпаризи следовало искупить свое знатное происхождение. Но ведь — по крайней мере, во Франции — в этом-то и проявляется талант знатных господ и знатных дам, и это же составляет единственное их занятие. Франсуаза, следуя традиции прислуги — постоянно наблюдать за отношениями господ с другими людьми и из разрозненных наблюдений делать иногда неверные умозаключения вроде тех, какие делают люди, наблюдая за жизнью животных, поминутно приходила к выводу, что нас «не уважают», а прийти к такому выводу ей было тем легче, что она любила нас бесконечно и что говорить нам неприятные вещи доставляло ей удовольствие. Но едва Франсуаза точнейшим образом удостоверилась, что де Вильпаризи чрезвычайно предупредительна по отношению к нам, да и по отношению к ней тоже, она простила ей титул маркизы, а так как она всегда перед ним преклонялась, то начала оказывать ей предпочтение перед всеми нашими знакомыми. И то сказать: никто другой и не старался осыпать нас благодеяниями. Стоило бабушке заметить, какую книгу читает маркиза де Вильпаризи, или похвалить фрукты, которые прислала маркизе ее приятельница, — и через час лакей приносил нам от нее книгу или фрукты. А когда мы потом с ней встречались и благодарили ее, она словно

старалась доказать, чем может быть полезен ее подарок, и таким образом оправдать его. «Это не великое произведение, но газеты приходят поздно, надо же что-нибудь читать», — говорила она. Или: «Когда живешь у моря, из предосторожности всегда лучше иметь фрукты, в доброкачественности которых вы уверены».

«По-моему, вы не едите устриц, — сказала нам маркиза де Вильпаризи, усиливая во мне отвращение: живое мясо устриц было мне еще противнее, чем липкость медуз, портивших мне бальбекский пляж, — здесь чудесные устрицы! Ах да, я скажу горничной, чтобы вместе с моими письмами она захватила и ваши. Как? Дочь пишет вам *ежедневно* ? Где же вы находите столько тем?» Бабушка промолчала: вернее всего потому, что считала ниже своего достоинства отвечать на этот вопрос, — ведь она все твердила маме слова г-жи де Севинье:

«Только я получу от тебя письмо, как уже начинаю ждать другого, я живу только твоими письмами. Немногие способны понять меня». Я боялся, что бабушка применит к маркизе де Вильпаризи заключительную фразу:

«Я ищу этих немногих, а других избегаю». Бабушка, меняя разговор, стала расхваливать фрукты, которые маркиза де Вильпаризи прислала нам вчера. Фрукты и правда были отменные, так что даже директор, поборов в себе ревность, которую вызвали в нем отвергнутые нами вазочки с компотом, сказал мне: «Я вроде вас: по мне, фрукты лучше всякого другого десерта». Бабушка сказала своей приятельнице, что фрукты замечательные, особенно в сравнении с ужасными фруктами, какие обыкновенно подают в отеле: «Я бы не могла повторить за госпожой де Севинье, что если б нам пришла фантазия поесть плохих фруктов, то их надо было бы выписать из Парижа», — добавила она. «Ах да, вы читаете госпожу де Севинье! Я в первый же день увидела у вас ее „Письма“. (Маркиза позабыла, что до тех пор, пока они не столкнулись в дверях, она не замечала бабушку.) А вы не находите, что ее постоянная забота о дочери несколько преувеличена? Она слишком много об этом говорит и потому кажется не совсем искренней. Ей недостает естественности». Не считая нужным вступать в пререкания и не желая говорить о том, что ей дорого, с человеком, который этого не понимает, бабушка прикрыла мемуары г-жи де Босержан своей сумочкой.

Встречая Франсуазу в то время дня (для Франсуазы это был «полдень»), когда она, в своем красивом чепце, окруженная почетом, шла «обедать с прислугой», маркиза де Вильпаризи останавливала ее и расспрашивала о нас. И Франсуаза, сообщая то, что ее просила передать нам маркиза: «Она сказала: вы им очень, очень кланяйтесь», — старалась

говорить голосом маркизы де Вильпаризи и полагала, что буквально цитирует ее, хотя искажала ее слова не меньше, чем Платон — слова Сократа, а Иоанн Богослов — Иисуса. Франсуазу, конечно, трогало внимание маркизы де Вильпаризи. Но Франсуаза не верила бабушке и думала, что —она лжет в интересах своего класса, — богатые всегда стоят друг за друга, — утверждая, что когда-то маркиза де Вильпаризи была очаровательна. Впрочем, следы этого очарования были едва заметны, и восстановить по ним увядшую красоту мог бы человек, обладавший более тонким художественным восприятием, чем Франсуаза. Ведь для того, чтобы понять, как была прелестна старая женщина, мало уметь видеть — надо уяснить себе каждую ее черту.

— Я как-нибудь спрошу ее, не ошибаюсь ли я, правда ли, что она в родстве с Германтами, — сказала бабушка и привела меня в негодование. Мог ли я поверить, что общее происхождение связывает две фамилии, одна из которых прошла ко мне в низкую, постыдную дверь опыта, а другая — в золотую дверь воображения?

Последнее время часто проезжала по улицам в роскошном экипаже высокая, рыжеволосая, красивая, с довольно крупным носом, принцесса Люксембургская, ненадолго приехавшая на курорт. Как-то ее коляска остановилась около отеля, лакей прошел к директору с корзинкой чудных фруктов (где, как и в заливе, были представлены разные времена года) и с визитной карточкой: «Принцесса Люксембургская», на которой было написано несколько слов карандашом. Какому принцу крови, проживавшему здесь инкогнито, предназначались эта сине-зеленые, светящиеся сливы, своей шаровидностью напоминавшие море, каким оно было сейчас, прозрачные виноградинки, висевшие на веточках, сухих, словно ясный осенний день, и божественного ультрамаринового цвета груши? Вряд ли принцесса собиралась нанести визит приятельнице моей бабушки. Однако на другой день вечером маркиза де Вильпаризи прислала нам свежую золотистую гроздь винограда, прислала слив и груш, и мы их сразу узнали, хотя сливы, как море в обеденный час, полиловели, а в ультрамарине груш проступали очертания розовых облачков. По утрам на пляже устраивались симфонические концерты, и несколько дней спустя мы по окончании концерта встретились с маркизой де Вильпаризи. Уверенный в том, что вещи, которые я слушаю (вступление к «Лоэнгрину», увертюра к «Тангейзеру» и т. д.), выражают самые высокие истины, я всеми силами старался до них подняться; чтобы постичь их, я извлекал из себя, я вкладывал в них все лучшее, все самое глубокое, что таилось тогда во мне.

Так вот, возвращаясь после концерта в отель, мы остановились на

набережной с маркизой де Вильпаризи, сообщившей, что она заказала для нас в отеле сандвичи и молочную яичницу, и тут я издали увидел шедшую в нашу сторону принцессу Люксембургскую, слегка опиравшуюся на зонтик, отчего большое, прекрасное ее тело приобретало легкий наклон, что заставляло его вычерчивать тот арабеск, который так дорог сердцу женщин, блиставших красотой при империи, опускавших плечи, выпрямлявших спину, поджимавших бедра, вытягивавших ногу для того, чтобы их тело, подобно платку, чуть колыхалось вокруг незримого наклонного стержня, на котором оно держалось. Принцесса каждое утро гуляла по пляжу, когда почти все уже шли после купанья завтракать, — она завтракала в половине второго и возвращалась в свою виллу по уже давно покинутой купальщиками безлюдной и раскаленной от солнца набережной. Маркиза де Вильпаризи представила ей бабушку, хотела представить и меня, но забыла мою фамилию и обратилась с этим вопросом ко мне. А может быть, она ее и не знала, во всяком случае, давным-давно забыла, за кого бабушка выдала дочь. По-видимому, моя фамилия произвела на маркизу де Вильпаризи сильное впечатление. Принцесса Люксембургская поздоровалась с нами, а затем, разговаривая с маркизой, время от времени оборачивалась и задерживала на мне и на бабушке тот ласковый взгляд, что содержит в себе зародыш поцелуя, прибавляемого к улыбке, предназначенной ребенку, сидящему на руках у кормилицы.

Она старалась не показать, что вращается в высших сферах, но, вне всякого сомнения, неверно определила расстояние, так как вследствие неправильного расчета взгляд ее стал необыкновенно добрым, и я с минуты на минуту ждал, что она потреплет нас, словно милых зверей в Зоологическом саду, тянувших к ней свои морды через решетку. Мысль о зверях и о Булонском лесе тут же получила дальнейшее развитие. В этот час по набережной сновали крикливые разносчики, торговавшие пирожными, конфетами, хлебцами. Не зная, как лучше доказать нам свою благосклонность, принцесса остановила первого попавшегося разносчика; у него оставался один ржаной хлебец, какими кормят уток. Принцесса купила хлебец и сказала мне: «Это для вашей бабушки». Однако протянула она его мне и с лукавой улыбкой добавила: «Отдайте ей сами», — воображая, что я получу полное удовольствие, если между мной и животными не будет посредника. Набежали еще разносчики, она пополнила мои карманы всем, что только у них было: перевязанными пакетиками, ромовыми бабами, трубочками и леденцами. Она сказала мне:

«Кушайте сами и угостите бабушку», а расплатиться с разносчиками велела негритенку в костюме из красного атласа, всюду ее

сопровождавшему и приводившему в изумление весь пляж. Потом она простилась с маркизой де Вильпаризи и протянула нам руку с таким видом, что она не делает разницы между нами и своей приятельницей, что она с нами близка, что она до нас снисходит. Но на этот раз принцесса, без сомнения, поставила нас на лестнице живых существ ступенькой выше, так как дала почувствовать бабушке свое равенство с нами в матерински ласковой улыбке, какой одаряют мальчугана, когда прощаются с ним как со взрослым. Благодаря чуду эволюции, бабушка была уже не уткой и не антилопой, но, пользуясь излюбленным выражением г-жи Сван, — «беби». Наконец, оставив нас втроем, принцесса пошла дальше по залитой солнцем набережной, изгибая свой дивный стан, который точно змея, обвившаяся вокруг палки, сплетался с нераскрытым зонтиком, белым с голубыми разводами. Это было первое «высочество», встретившееся на моем пути, первое, ибо принцесса Матильда держала себя так, что ее нельзя было отнести к «высочествам». Еще одно «высочество», как мы увидим в дальнейшем, тоже удивит меня своей благорасположенностью. Одна из форм, в каких проявляется любезность важных господ, доброжелательных посредников между государями и обывателями, стала мне ясна на другой день, когда маркиза де Вильпаризи Ц сказала нам: «Она нашла, что вы прелестны. Это женщина тонкого ума, очень отзывчивая. Она совсем не похожа на большинство государынь и „их высочеств“. Это настоящий человек, — и уверенным тоном, в восторге от того, что может нам это сообщить, добавила: — По-моему, она будет очень рада опять с вами встретиться».

Но вчера утром, простившись с принцессой Люксембургской, маркиза де Вильпаризи удивила меня еще больше, и это было уже не из области любезностей.

— Так вы сын правителя министерской канцелярии? — спросила она меня. — Говорят, ваш отец — прелестный человек. Сейчас он совершает очаровательное путешествие.

Несколько дней назад мы узнали из маминого письма, что мой отец и его спутник, маркиз де Норпуа, потеряли багаж.

— Багаж найден, вернее — он и не был потерян. Вот что произошло, — начала нам рассказывать маркиза де Вильпаризи, непонятно каким образом осведомленная о подробностях этого путешествия лучше, чем мы. — Насколько мне известно, ваш отец вернется уже на будущей неделе — в Альхесирас он, по всей вероятности, не поедет. Ему хочется лишний день провести в Толедо: ведь он поклонник одного из учеников Тициана, — я забыла его имя, — а лучшее, что тот создал, находится там.

Я спрашивал себя: по какой случайности в равнодушные очки, сквозь которые маркиза де Вильпаризи рассматривала на довольно далеком расстоянии недробимое, уменьшенное, смутное волнение знакомой ей толпы, были вставлены в той их части, какою она смотрела на моего отца, колоссально преувеличивающие стекла, необычайно выпукло и с мельчайшими деталями показывающие ей все, что есть в моем отце привлекательного, обстоятельства, заставлявшие его вернуться, неприятности, какие были у него в таможне, его любовь к Эль Греко, и, нарушая пропорции, представляющие его одного таким большим среди других, совсем маленьких, — вроде Юпитера, которого Гюстав Моро изобразил рядом с простой смертной и наделил сверхъестественно высоким ростом?

Бабушка простилась с маркизой де Вильпаризи — ей хотелось еще немного побыть на воздухе около отеля, пока нам не дадут знака в окно, что завтрак готов. Послышался шум. Это юная возлюбленная короля дикарей возвращалась с купанья к завтраку.

— Нет, это просто бедствие, хоть уезжай из Франции! — в сердцах воскликнул очутившийся тут же старшина.

Супруга нотариуса пялила глаза на мнимую государыню.

— Я вам не могу передать, как меня бесит госпожа Бланде, когда она уставляется на этих людей, — обратился к председателю старшина. — Так бы и дал ей затрещину. Мы сами прибавляем спеси этой сволочи — ей только того и надо, чтобы на нее глазели. Скажите ее мужу, чтоб он внушил ей, что это смешно; я, по крайней мере, больше никуда с ними не пойду, если они будут заглядываться на этих ряженых.

Приезда принцессы Люксембургской, чей экипаж в день, когда она привезла фрукты, остановился перед отелем, не пропустили жены нотариуса, старшины и председателя суда, коим с некоторых пор страх как хотелось узнать, настоящая ли маркиза, не авантюристка ли Вильпаризи, окруженная здесь таким почетом, которого — в чем все эти дамы жаждали удостовериться — она была недостойна. Когда жена председателя, которой всюду чудились незаконные сожительства, оторвавшись от рукоделья, мерила взглядом проходившую по вестибюлю маркизу де Вильпаризи, приятельницы судейши покатывались со смеху.

— О, вы знаете, я всегда сначала думаю о людях дурно! — с гордостью говорила она. — Я убеждаюсь, что женщина действительно замужем, только после того, как мне предъявят ее метрику и свидетельство о браке. Будьте спокойны: я произведу расследованьице.

И каждый день дамы, смеясь, устремлялись к судейше:

— Мы ждем новостей.

После приезда принцессы Люксембургской судейша вечером приложила палец к губам:

— Есть новости.

— О, госпожа Бонсен — это что-то необыкновенное! Я таких не видела… Ну так что же случилось?

— А вот что: женщина с желтыми волосами, размалеванная, в экипаже, от которого за целую милю пахнет потаскушкой, — в таких экипажах только подобного сорта дамочки и раскатывают, — сегодня приезжала к так называемой маркизе.

— Вот тебе раз! Ну и ну! Подумайте! Но ведь эта дама, — помните, старшина? — всем нам решительно не понравилась, только мы не знали, что она приезжала к маркизе. Женщина с негром, верно?

— Она самая.

— Ну так расскажите же! Вы не знаете, как ее фамилия?

— Знаю. Я будто нечаянно взяла ее визитную карточку; ее конспиративная кличка — «принцесса Люксембургская». Недаром я ее остерегалась. Нечего сказать, приятное соседство с этой новоявленной баронессой д'Анж!

Старшина вспомнил «Масетту» Матюрена Ренье. Не следует думать, однако, что это недоразумение скоро выяснилось, как распутываются в последнем действии водевиля недоразумения, возникшие в первом. Принцесса Люксембургская, племянница английского короля и австрийского императора, и маркиза де Вильпаризи, когда принцесса заезжала за маркизой в своем экипаже, чтобы прокатиться вдвоем, каждый раз производили впечатление продажных женщин — из числа тех, встречи с которыми трудно избежать в курортных городках. В глазах многих буржуа три четверти обитателей Сен-Жерменского предместья — беспутные моты (надо заметить, что некоторые таковыми и являются), — вот почему никто из буржуазии их и не принимает. Буржуазия в этом отношении слишком строга, ибо людей из высшего света, несмотря на их пороки, чрезвычайно радушно принимают в таких местах, куда буржуазии вход запрещен навсегда. И люди из высшего света глубоко убеждены, что буржуазия это знает, потому-то они и держатся подчеркнуто просто и порицают своих друзей, «сидящих на мели», и это окончательно сбивает с толку буржуа. Если у человека из высшего круга завязываются отношения с мелкой буржуазией потому, что он неслыханный богач, является председателем крупных финансовых обществ, буржуазия, наконец-то видящая перед собой дворянина, достойного стать крупным буржуа, готова

поклясться, что он не знается с маркизом — разорившимся игроком, о котором она думает, что необычайная его любезность указывает как раз на то, что деловых связей у него нет. И она ахает от изумления, когда герцог, председатель правления громадного предприятия, женит сына на дочери маркиза, потому что маркиз хоть и игрок, да род-то его самый древний во Франции: так государь скорее женит сына на дочери низвергнутого короля, чем на дочери стоящего у власти президента республики. Иначе говоря, эти два мира имеют один о другом столь же обманчивое представление, как живущие на одном берегу бальбекского залива о береге противоположном; из Ривбеля Маркувиль л'0ргейез еле виден; но именно это и вводит в заблуждение: вам кажется, что и вас видят из Маркувиля, а на самом деле почти все красоты Ривбеля там не видны.

Когда у меня был приступ лихорадки, ко мне позвали бальбекского врача, и он нашел, что в жару мне вредно целый день проводить у моря, на самом солнце, и прописал несколько рецептов, но хотя бабушка взяла его рецепты с почтительным видом, однако по этому ее виду я сразу понял, что она твердо намерена не заказывать по ним ни одного лекарства; что же касается его советов по части режима, то их она послушалась и приняла предложение маркизы де Вильпаризи ездить с ней на прогулку в экипаже. До завтрака я бродил из моей комнаты в бабушкину и обратно. Бабушкина комната не выходила прямо на море, как моя, но зато из трех ее окон открывался вид на уголок набережной, на чей-то двор и на равнину, и обставлена была она по-иному:

здесь стояли кресла, украшенные филигранью и расшитые розовыми цветами, от которых, как только вы входили, на вас словно веяло свежим ароматом. И в то время, когда лучи, проникавшие во все окна, будто вестники разных часов, срезали углы стен, воздвигали на комоде, рядом с отсветом взморья, престол, пестрый, как полевые цветы, цеплялись за стену сложенными, трепещущими, теплыми крылышками, всегда готовыми взлететь, нагревали, как ванну, квадратик провинциального ковра перед окном на дворик, который солнце точно увешивало гроздьями винограда, усиливали очарование обстановки и усложняли ее, как бы снимая слой за слоем с цветущего шелка кресел и обрывая обшивку, бабушкина комната, куда я заходил за минуту до одевания для прогулки, напоминала призму, разлагающую свет, врывающийся извне, напоминала улей, где скопились соки дня, которые мне предстояло вкусить, не смешанные, не слитые, опьяняющие и зримые, напоминала сад надежд, растворявшийся в трепетанье серебристых лучей и лепестков роз. Но прежде всего я отдергивал занавеску, потому что мне страстно хотелось увидеть, какое

Море нереидой играет сегодня у берега. Ведь каждое Море оставалось здесь не долее дня. На следующий день возникало другое, иногда похожее на вчерашнее. Но я ни разу не видел, чтобы оно два дня подряд было одним и тем же.

Иные моря были на диво прекрасны, и когда я на них смотрел, испытываемое мною наслаждение еще усиливалось от неожиданности. Почему я оказался таким счастливцем, что именно в это утро, а не в какое-нибудь еще, распахнутое окно явило изумленным моим глазам томно вздыхавшую нимфу Главконому, изнеженная красота которой своею прозрачностью напоминала дымчатый изумруд, сквозь который мне было видно, как к нему притекали весомые, окрашивавшие его вещества? Солнечные лучи начинали играть с ней при виде ее улыбки, скрадывавшейся невидимым паром, представлявшим собой не что иное, как свободное пространство вокруг ее просвечивавшего тела, и это пространство уменьшало его и придавало ему особую выпуклость, какою отличаются богини, которых скульптор высекает, выбрав для этого часть глыбы и не потрудившись обтесать ее всю. Такою, несравненною в своей окраске, она звала нас на прогулку по грубым земным дорогам, и на прогулке, сидя в коляске маркизы де Вильпаризи, мы все время чувствовали, но на расстоянии, свежесть влажного ее колыханья.

Маркиза де Вильпаризи приказывала заложить коляску пораньше, чтобы успеть съездить в Сен-Марс-ле-Ветю, к Кетгольмским скалам или куда-нибудь еще: дорога была дальняя, мы ехали медленно и тратили на поездку весь день. Предвкушая удовольствие длительной прогулки, я в ожидании маркизы де Вильпаризи расхаживал взад и вперед и напевал какой-нибудь новый для меня мотив. По воскресеньям экипаж маркизы де Вильпаризи стоял около отеля не один; несколько нанятых фиакров поджидало не только тех, кто был приглашен в замок Фетерн к маркизе де Говожо, но и тех, кто, не пожелав сидеть в отеле, как наказанные дети, и высказав мнение, что по воскресеньям в Бальбеке от скуки можно повеситься, сразу после завтрака уезжали на соседние пляжи, ехали осматривать красивые окрестности, а когда кто-нибудь спрашивал г-жу Бланде, не была ли она у Говожо, она обычно отрезала! «Нет, мы ездили на мыс, к водопадам», — как будто она только поэтому не провела день в Фетерне. А старшина из жалости к ней замечал:

— Завидую вам; я бы с удовольствием поменялся — это куда интереснее.

Подле экипажей, у подъезда, где я дожидался, стоял, будто редкостное деревцо, молодой посыльный, обращавший на себя внимание особой

гармоничностью цвета волос и кожным покровом, как у растений. Внутри, в вестибюле, соответствовавшем нартексу романских храмов или же «церкви оглашенных», потому что туда имели право войти и не жившие в отеле, товарищи «наружного» грума работали не на много больше, чем он, но, по крайней мере, двигались. Вероятно, по утрам они помогали убирать. Но после полудня они были там вроде хористов, которые, даже если им нечего делать, не уходят со сцены, чтобы пополнить толпу статистов. Главный директор, тот, которого я так боялся, рассчитывал на будущий год значительно увеличить их штат — он любил «широкий размах». Это его решение очень огорчило директора отеля, ибо директор считал, что эти ребята «непроходимы»: этим он хотел сказать, что они только загораживают проход, а толку от них ни малейшего. Как бы то ни было, между завтраком и обедом, между приходами и уходами постояльцев они восполняли отсутствие действия, подобно воспитанницам г-жи де Ментенон, в костюмах юных израильтян разыгрывавшим интермедии, как только уходили Есфирь или Иодай. Но в неподвижности наружного посыльного, стройного и хрупкого, с необыкновенными переливами красок, около которого я ждал маркизу, была тоска: его старшие братья променяли службу в отеле на более блестящую будущность, и он чувствовал себя одиноким на этой чужой земле. Наконец появлялась маркиза де Вильпаризи. Позаботиться об экипаже и помочь ей сесть — пожалуй, это входило в обязанности посыльного. Но ему было известно, что приезжающие со своими людьми только их услугами и пользуются и мало дают на чай в отеле, а еще ему было известно, что знать, населяющая старинное Сен-Жерменское предместье, поступает точно так же. Маркиза де Вильпаризи принадлежала и к той и к другой категории. Древовидный посыльный делал отсюда вывод, что от маркизы ему ждать нечего и, предоставляя метрдотелю и ее горничной усаживать ее самое и укладывать ее вещи, с грустью думал о завидной участи братьев и хранил все ту же растительную неподвижность.

Мы отъезжали; немного погодя, обогнув железнодорожную станцию, мы выезжали на проселок, и эта дорога, от изгиба, за которым по обеим ее сторонам тянулись прелестные изгороди, и до того места, где мы сворачивали с нее и ехали среди пашен, вскоре стала для меня такой же родной, как дороги в Комбре. В полях попадались яблони, правда, уже осыпавшиеся, усеянные вместо цветков пучками пестиков и все же приводившие меня в восторг, оттого что я узнавал неподражаемую эту листву, по протяженности которой, точно по ковру на теперь уже кончившемся брачном пиршестве, совсем недавно тянулся белый атласный

шлейф розовеющих цветов.

Как часто я в мае следующего года покупал в Париже яблоневую ветку и всю ночь просиживал возле ее цветов, где распускалось нечто молочное и затем своею пеной обрызгивало почки, — цветов, между белыми венчиками которых как будто это торговец из добрых чувств ко мне, а также благодаря своей изобретательности и из любви к затейливым контрастам подбавлял с каждой стороны розовых бутонов, так чтобы венчикам это было к лицу; я рассматривал их, я держал их под лампой — долго держал и нередко все еще смотрел, когда рассвет заливал их тем румянцем, каким он в этот час заливал их, наверно, в Бальбеке, — и пытался силой воображения перенести их на эту дорогу, размножить, поместить в готовую раму. на уже выписанном фоне изгородей, рисунок которых я знал наизусть и которые мне так хотелось — и однажды привелось — увидеть опять в то время, когда с пленительной вдохновенностью гения весна кладет на них краски!

Перед тем как сесть в экипаж, я мысленно писал картину моря, которое я мечтал, которое я надеялся увидеть «под лучами солнца» и в которое врезалось столько пошлых клиньев в Бальбеке, не уживавшихся с моей мечтой: купальщиков, кабинок, увеселительных яхт. Но вот экипаж маркизы де Вильпаризи поднимался на гору, море сквозило в листьях деревьев, и тогда, — конечно, вследствие дальности расстояния, — исчезали приметы современности, как бы вырывавшие его из природы и из истории, и, глядя на волны, я не мог заставить себя думать, будто это те самые, о которых у Леконта де Лиля речь идет в «Орестее», когда он описывает косматых воинов героической Эллады, которые

Стремительней орлов, что с гнезд поутру взмыли,

Пучину звонкую лавиной весел взрыли.[19]

Но зато море было теперь от меня недостаточно близко, и оно уже казалось мне не живым, но застывшим, я уже не чувствовал мощи под этими красками, положенными, будто на картине, — меж листьев оно являлось моему взгляду таким же эфирным, как небо, но только темнее.

Маркиза де Вильпаризи, узнав, что я люблю церкви, обещала мне, что мы будем осматривать их одну за другой, и непременно посмотрим Карквильскую, «прячущуюся под старым плющом», — сказала она, сделав такое движение рукой, как будто бережно окутывала воображаемый фасад незримой и мягкой листвой. Маркиза де Вильпаризи одновременно с этим легким описательным движением часто находила слово, точно определявшее прелесть и своеобразие памятника, избегая технических выражений, хотя ей и не удавалось скрыть, что она отлично разбирается в

этих вещах. Точно в оправдание себе она рассказывала, что в окрестностях одного из замков ее отца, где она росла, были церкви такого же стиля, что и вокруг Бальбека, и замечала, что ей было бы совестно не полюбить архитектуру, тем более что замок представлял собой один из лучших образцов архитектуры Возрождения. А так как замок был, кроме того, настоящим музеем, так как там играли Шопен и Лист, читал стихи Ламартин и все знаменитые артисты столетия записывали свои мысли, мелодии, делали наброски в семейном альбоме, то маркиза де Вильпаризи в силу ли своей тактичности, в силу ли благовоспитанности, в силу ли истинной скромности или по неумению мыслить философски приводила для объяснения своей осведомленности в области любого искусства именно эту причину, чисто материального характера, и в конце концов, пожалуй, склонна была расценивать живопись, музыку, литературу и философию как приданое девушки, получившей самое аристократическое воспитание в знаменитом историческом памятнике. Для нее словно не существовало других картин, кроме тех, что достаются по наследству. Она была довольна, что бабушке понравилось одно из ее ожерелий, четко обрисовывавшееся на платье. Портрет кисти Тициана, написавшего ее прабабку с этим ожерельем на шее, так и остался семейной реликвией де Вильпаризи. Подлинность его сомнению не подлежала. Маркиза слышать не хотела о картинах, неведомо как приобретенных кем-либо из новоявленных Крезов; она заранее была убеждена, что это подделка, и не имела ни малейшего желания посмотреть их; мы знали, что она пишет цветы акварелью, бабушке хвалили ее работы, и она как-то заговорила с нею о них. Маркиза де Вильпаризи из скромности переменила разговор, но была не больше удивлена и польщена, чем достаточно известная художница, привыкшая к комплиментам. Она только сказала, что это упоительное занятие: пусть цветы, рожденные кистью, не так уж хороши, но писать их — значит жить в обществе настоящих цветов, красотой которых, особенно когда смотришь на них вблизи, чтобы воссоздать их, не устаешь любоваться. Но в Бальбеке маркиза де Вильпаризи давала отдых глазам.

Нас с бабушкой удивляло, что она была гораздо «либеральнее», чем даже большая часть буржуазии. Она недоумевала, почему изгнание иезуитов вызвало такое возмущение, и утверждала, что так делалось всегда, даже при монархии, даже в Испании. Она защищала республику, и если и упрекала ее в антиклерикализме, то в мягких выражениях: «Запрещать мне ходить к обедне так же дурно, как заставлять ходить насильно», — а иногда позволяла себе высказывать даже такие мысли: «Ох

уж эта современная аристократия!», «С моей точки зрения, человек, который не трудится, ничего не стоит», — позволяла, может быть, только потому, что чувствовала, какую остроту, какой особый вкус, какую силу приобретают они в ее устах.

Когда при нас с бабушкой откровенно высказывала эти передовые взгляды, — но только не социалистические: социализм был жупелом для маркизы де Вильпаризи, — женщина, из уважения к уму которой наше застенчивое и боязливое беспристрастие не решилось бы осуждать даже убеждения консервативные, мнения и вкус нашей приятной спутницы нам казались непогрешимыми. Суждения маркизы об ее коллекции картин Тициана, о колоннаде ее замка, об искусстве Луи-Филиппа вести беседу мы принимали на веру. Но маркиза де Вильпаризи была похожа на тех эрудитов, которые изумляют, когда заводишь с ними речь об египетской живописи и об этрусских надписях, и которые не идут дальше общих мест в оценке произведений современных, так что невольно задаешь себе вопрос: уж не преувеличил ли ты трудность предметов, которые они изучают ведь и там должна была бы сказаться их посредственность, однако она дает себя знать не там, а в их бездарных статьях о Бодлере, и когда я расспрашивал маркизу о Шатобриане, Бальзаке, Викторе Гюго, — а ведь все они бывали когда-то у ее родителей, и она всех их видела, — она посмеивалась над моими восторгами, припоминала смешные случаи из их жизни, так же когда рассказывала о вельможах или политических деятелях, и порицала этих писателей за нескромность, за неуменье стушевываться, за отсутствие сдержанности, довольствующейся одной верной чертой, обходящейся без нажима, больше всего боящейся смешной напыщенности, за бестактность, за крайности, за непростоту, словом, за отсутствие тех качеств, которые, как это ей в свое время внушили, вырабатывает в себе настоящая крупная величина; было ясно, что маркиза безусловно предпочитает им людей, которые, пожалуй, в самом деле благодаря этим качествам затмевали Бальзака, Гюго, Виньи в салоне, в Академии, в совете министров: Моле, Фонтана, Витроля, Берсо, Пакье, Лебрена, Сальванди или Дарю.

— Это вроде романов Стендаля, а ведь вы, кажется, его поклонник. Он бы очень удивился, если б вы заговорили с ним в этом духе. Мой отец встречался с ним у Мериме, — Мериме, по крайней мере, был человек талантливый, — и он часто говорил мне, что Бейль (это настоящая фамилия Стендаля) был ужасно вульгарен, но остроумен за обедом и не очень высокого мнения о своем творчестве. Вы же знаете, что он пожал плечами в ответ на преувеличенные похвалы де Бальзака. Тут, по крайней мере, он

проявил себя как человек воспитанный.

У маркизы были автографы всех этих великих людей; гордясь тем, что ее родные были с ними знакомы, она, очевидно, думала, что ее суждение о них вернее, чем суждение молодых людей вроде меня, которые не имели возможности их видеть.

— Мне кажется, я вправе о них судить — они бывали у моего отца, а такой умный человек, как Сент-Бев, говорил, что нужно верить тем, кто видел их вблизи и имел возможность составить себе о них правильное представление.

Когда экипаж поднимался в гору между пашнями, рядом с нами иногда поднимались, придавая полям большую реальность, являясь приметой их подлинности, подобно драгоценному цветку, которым иные старинные мастера заменяли на своих картинах подпись, пугливые васильки, похожие на васильки Комбре. Наши лошади обгоняли их, а немного погодя мы замечали, что нас поджидает еще один василек, затепливший в траве свою синюю звездочку; иные отваживались подходить к самому краю дороги, и тогда мои далекие воспоминания и эти ручные цветы образовывали целое звездное скопление.

Мы спускались с горы; навстречу поднимались, кто — пешком, кто — на велосипеде, кто — в двуколке, кто — в коляске, живые существа — цветы солнечного дня, не похожие на полевые цветы, ибо каждая из встречных таила в себе нечто такое, что отсутствовало в другой и что помешало бы утолить с ей подобными желание, которое возбуждала она, будь то девушка с фермы, гнавшая корову, или выехавшая на прогулку и полулежавшая в тележке дочка лавочника, или элегантная барышня, сидевшая в ландо напротив родителей. Блок несомненно открыл для меня новую эру, повысил в моих глазах цену жизни, сказав, что мечты, которым я предавался, когда шел один по направлению к Мезеглизу и жаждал встречи с деревенской девушкой, чтобы ее обнять, что эти мечты — не пустая греза, ничего общего не имеющая с действительностью, но что первая встречная девушка, крестьянка или барышня, всегда готова удовлетворить такого рода желание. И пусть теперь из-за того, что я плохо себя чувствовал и не мог гулять один, мне нельзя было с ними сблизиться, все же я был счастлив, как ребенок, родившийся в тюрьме или в больнице, долгое время думавший, что человеческий организм переваривает только черствый хлеб и лекарства, и вдруг узнавший, что персики, абрикосы, виноград — не только краса природы, но и вкусная, хорошо усваиваемая пища. Даже если тюремщик или сиделка не разрешают срывать дивные эти плоды, все-таки ему теперь кажется, что мир устроен лучше, а жизнь

добрее. Наша мечта представляется нам пленительнее и мы относимся к ней с большим доверием, если знаем, что во внешнем мире, существующем помимо нас, она может осуществиться, хотя для нас она недостижима. И нам веселее думать о жизни, если, исключив из наших мыслей ничтожное, случайное, особое препятствие, мешающее только нам, мы представим себе, что она сбывается. Когда же я узнал, что идущих навстречу девушек можно целовать в щеки, мне захотелось заглянуть к ним в душу. И мир с той поры показался мне интереснее.

Коляска маркизы де Вильпаризи ехала быстро. Я едва успевал взглянуть на девушку, шедшую навстречу; и все же — оттого что красота живых существ не похожа на красоту предметов и мы чувствуем, что это красота творения неповторимого, сознательного и волевого, — как только ее индивидуальность, ее неясная душа, ее неведомая мне воля находили в рассеянном ее взгляде крохотное, чудесным образом уменьшенное и, однако, полное отражение, в тот же миг (таинственный ответ пыльцы, готовой оплодотворить пестик!) я ощущал в себе такой же неясный, такой же малюсенький зародыш желания успеть заронить в сознание девушки мысль обо мне, не дать ее желаниям устремиться к кому-нибудь еще, утвердиться в ее мечтах, покорить ее сердце. А коляска все удалялась, хорошенькая девушка была уже сзади нас, и так как она не знала обо мне ничего такого, что создает представление о личности, то ее глаза, едва скользнув по мне, тут же меня забывали. Не оттого ли она и казалась мне такой красивой, что я видел ее мельком? Пожалуй. Невозможность остановиться с женщиной, страх при мысли, что ты никогда больше не встретишься с ней, — вот что, прежде всего, придает ей вдруг ту самую прелесть, какую придает стране наша болезнь или бедность, мешающая нам туда поехать, а серым дням, которые нам еще осталось прожить, — бой, в котором мы падем неминуемо. Так что если бы не привычка, жизнь должна была бы казаться восхитительной существам, которым каждый час грозит гибель, — то есть всем людям. Притом, когда нашу фантазию влечет желание несбыточного, то ее полет не скован реальностью, всецело постигаемой при встречах, когда очарование мимоидущей находится обычно в прямом соотношении со скоростью езды. Если наступает ночь, а экипаж едет быстро, — в деревне, в городе, — всякий женский торс, обезображенный, подобно античному мрамору, увлекающей нас скоростью и затопляющим его сумраком, пронзает нам сердце на каждом повороте, из глубины любой лавки стрелами Красоты, той Красоты, при виде которой хочется иногда задать себе вопрос: не есть ли она в этом мире всего лишь добавок, присоединенный к образу промелькнувшей женщины нашим

взыскующим воображением?

Что, если б я вышел из экипажа и заговорил с шедшей навстречу девушкой, — не был ли бы я разочарован, заметив какой-нибудь недостаток ее кожи, не видный мне из коляски? (Тогда всякое усилие проникнуть в ее жизнь вдруг показалось бы мне ненужным. Ведь красота — это вереница гипотез, которую обрывает безобразие, загораживая открывшуюся было нам дорогу в неизвестное) Быть может, одно ее слово, улыбка дали бы мне ключ, нежданный шифр, и я прочел бы выражение ее лица, походку, после чего они сразу утратили бы своеобразие. Это вполне возможно; дело в том, что самых пленительных девушек я встречал в те дни, когда был с какой-нибудь важной особой, от которой, — сколько ни придумывал поводов, — никак не мог отделаться;

несколько лет спустя после моей первой поездки в Бальбек, разъезжая по Парижу в коляске с другом моего отца, я разглядел в вечерней темноте быстро шедшую женщину и, решив, что безрассудно только из приличия терять свою долю счастья в жизни, — а жизнь у нас, по всей вероятности, одна, — я, не извинившись, выскочил из экипажа, пустился на поиски незнакомки, потерял ее из виду на первом перекрестке, догнал на втором и наконец, запыхавшись, столкнулся под фонарем со старухой Вердюрен — я всегда от нее прятался, а она с радостным изумлением воскликнула: «Ах, какой вы милый, — так бежать, только чтобы со мной поздороваться!»

В тот год, в Бальбеке, при таких встречах, я уверял бабушку и маркизу де Вильпаризи, что у меня очень болит голова и что лучше мне пойти обратно пешком. Они не разрешал мне выйти из коляски. И я присоединял красивую девушку (а найти ее было труднее, чем памятник старины, ибо она была безымянна и подвижна) к коллекции тех, на кого мне хотелось посмотреть вблизи. Все же одна из них еще раз представилась моим глазам — и в такой обстановке, которая показалась мне благоприятной для того, чтобы познакомиться с ней. Это была молочница с фермы — она принесла в гостиницу сливки. Я подумал, что и она меня узнала: она в самом деле внимательно смотрела на меня — наверное, потому, что ее удивило мое внимание. А на другой день Франсуаза, войдя ко мне в номер, около полудня, чтобы отдернуть занавески, так как я все утро пролежал в постели, протянула мне письмо, доставленное в гостиницу. В Бальбеке я ни с кем не был знаком. Я не сомневался, что это письмо от молочницы. Увы, его написал Бергот: он был здесь проездом, и ему захотелось повидаться со мной, но, узнав, что я сплю, он оставил мне маленькую записку, а лифтер положил ее в конверт, и я вообразил, что его надписала молочница. Я был страшно разочарован, и даже мысль, что получить письмо от молочницы не

так трудно и не так лестно, как от Бергота, не утешала меня. Эту девушку я больше уже не встретил, как и тех, которых я видел только из экипажа маркизы де Вильпаризи. Промельки и утраты их всех усиливали мое возбуждение, и мне казалось, что, наверное, мудры те философы, которые советуют нам умерять наши желания. (Разумеется, если речь идет о желании близости с людьми: ведь только такое желание и вызывает тревогу, ибо устремлено к мыслящему неведомому. Глупее глупого было бы предполагать, что философия толкует о желании разбогатеть.) И все-таки я склонен был думать, что эта мудрость неполноценна, — я говорил себе, что от таких встреч мир хорошеет, ибо он на всех проселочных дорогах взращивает особенные и вместе с тем неприхотливые цветы, мимолетные сокровища дня, дары прогулки, которыми я не насладился лишь в силу случайных, вряд ли всегда так складывающихся обстоятельств и которые усиливают жажду жизни.

Но, быть может, надеясь, что как-нибудь, когда я буду свободнее, я встречу на других дорогах таких же девушек, я уже начинал сомневаться в неповторимости желания жить вблизи женщины, которой мы любуемся; я допускал возможность вызвать это желание искусственно — значит, я в глубине души понимал, что оно призрачно.

В тот день, когда маркиза де Вильпаризи повезла нас в Карквиль, где увитая плющом церковь, о которой она рассказывала нам, стоит на взгорье и возвышается над селом и прорезающей его речкой с уцелевшим средневековым мостиком, бабушка, решив, что мне приятней одному осматривать здание, предложила своей приятельнице закусить в кондитерской на площади, которую отсюда хорошо было видно и которая благодаря золотистому своему налету казалась оборотной стороной какого-то очень старинного предмета. Мы уговорились, что я зайду в кондитерскую. Чтобы обнаружить церковь в тех зарослях, перед которыми я остановился, я сделал над собой усилие, и оно помогло мне понять идею церкви; в самом деле, как ученик, для которого полнее раскрывается смысл фразы, когда он принужден, переводя ее на родной язык или с родного на иностранный, снимать с нее знакомые ему покровы, так я принужден был беспрестанно взывать к идее церкви, в чем я не испытывал никакой необходимости, рассматривая колокольни, ибо они сами мне открывались, и в чем я нуждался здесь, чтобы не упустить из виду, что вот этот плющевой свод есть свод стрельчатого окна, что лиственный выступ обязан своим происхождением рельефу капители. Но вдруг подул ветерок, подвижная паперть заколыхалась, и по ней пошли дрожащие, как лучи света, круги; листья налетали друг на друга; растительный фасад, трепеща,

увлекал за собой струистые, зыблемые ветерком, мимотекущие столпы

Уйдя от церкви, я увидел у старого моста деревенских девушек, — разодетые, вероятно, по случаю воскресенья, они окликали проходивших мимо парней. Одна, высокая, одетая гораздо хуже других, но почему-то имевшая на них влияние и, очевидно, главенствовавшая, потому что еле им отвечала, более степенная и более независимая, сидела, свесив ноги, на мостике, а около нее стояло ведерко, куда она складывала пойманную рыбу. Лицо у нее было загорелое, глаза кроткие, но взгляд выражал презрение к окружающему, носик тонкий, прелестный. Я водил глазами по ее коже, а губы должны были довольствоваться тем, что они следуют за глазами. Но мне хотелось осязать не только ее тело, но и существо, жившее в ней, а хотя бы прикоснуться к ее существу можно было, лишь остановив на себе ее внимание; хотя бы едва-едва проникнуть в него можно было, только заставив ее подумать обо мне.

Внутренний мир красавицы рыбачки, казалось, был все еще закрыт для меня; я сомневался, вошел ли я в него, даже когда увидел, что в зеркале ее взгляда незаметно для других отражается мой облик — отражается по закону преломления, столь же для меня непонятному, как если бы я вдруг оказался в поле зрения лани. Но мне было недостаточно, чтобы мои губы насладились ее губами: мне хотелось, чтобы и ее губы получили наслаждение от прикосновения моих, — точно так же я стремился к тому, чтобы мысль обо мне, проникнув в ее внутренний мир и там задержавшись, не только привлекла ко мне ее внимание, но и вызвала ее восхищение, пробудила в ней желание и напоминала ей обо мне до того дня, когда мы встретимся вновь. Между тем площадь, где меня ждала коляска маркизы де Вильпаризи, была в нескольких шагах отсюда. У меня оставалось всего лишь мгновенье, а девушки, заметив, что я на них загляделся, начали хихикать. В кармане у меня была пятифранковая монета. Я достал монету и, прежде чем дать красавице поручение, подержал у нее перед глазами, полагая, что это заставит ее выслушать меня.

— Вы, должно быть, здешняя, — обратился я к рыбачке, — так вот, нельзя ли вас попросить об одном одолжении? Надо дойти до кондитерской, — кажется, это на площади, а где площадь, я не знаю, — там меня ждет коляска. Погодите!.. Чтобы не спутать, спросите, не это ли коляска маркизы де Вильпаризи. Да вы и так ее отличите: в нее впряжена пара лошадей.

Именно это мне хотелось довести до ее сведения, чтобы возвыситься в ее глазах. Произнеся слова: «маркиза» и «пара лошадей», я испытал глубокое облегчение. Я почувствовал, что рыбачка будет помнить обо мне,

и вместе с боязнью, что я никогда больше не увижу ее, уменьшалось и мое желание с нею увидеться. Мне казалось, что я незримыми устами коснулся ее существу и что я ей понравился. И это пленение ее сознания, это мысленное обладание ею лишили ее таинственности, как лишает таинственности обладание телесное.

Мы начали спускаться по дороге в Юдемениль; неожиданно на меня нахлынуло глубокое счастье, — таким счастливым я не часто бывал после отъезда из Комбре, — оно напоминало то, что я переживал, например, глядя на мартенвильские колокольни. Но теперь счастье было неполное. Я заметил невдалеке от ухабистой дороги, по которой мы ехали, три дерева, когда-то, должно быть, стоявшие в начале тенистой аллеи, — складывавшийся из них рисунок я уже где-то видел; я не мог вспомнить, из какого края были точно выхвачены деревья, но чувствовал, что край этот мне знаком; таким образом, мое сознание застряло между давно прошедшим годом и вот этой минутой, окрестности Бальбека дрогнули, и я задал себе вопрос: уж не греза ли вся наша сегодняшняя прогулка, не переносился ли я в Бальбек только воображением, не является ли маркиза де Вильпаризи героиней романа и не возвращают ли нас к действительности только вот эти три старых дерева, как возвращаешься к действительности, оторвавшись от книги, описывающей совсем иные места так ярко, что в конце концов нам кажется, будто мы действительно там поселились?

Я смотрел на них, я видел их ясно, но мой разум сознавал, что за ними скрывается нечто ему не подвластное, что они вроде находящихся от нас слишком далеко предметов: как ни стараемся мы до них дотянуться, а все же в лучшем случае нам удается на мгновенье коснуться их оболочки. Мы делаем передышку только для того, чтобы размахнуться и еще дальше вытянуть руку. Но для того, чтобы мой разум мог собраться с силами, взять разбег, мне надо было остаться один на один с самим собой. Мне хотелось свернуть с дороги, как на прогулках по направлению к Германту, когда я обособлялся от родных. Мне даже казалось, что я должен свернуть. Я знал это особое наслаждение, которое, правда, требует работы мысли, но по сравнению с которым приятность безделья, склоняющая вас лишить себя наслаждения, представляется нестоящей. Это наслаждение, источник которого я пока еще только предчувствовал, который мне предстояло создать самому, я испытывал редко, но всякий раз мне казалось, что события, происшедшие в промежутке, незначительны и что если я ухвачусь за эту единственную реальность, то для меня наконец-то начнется настоящая жизнь. Я приставил руку щитком к глазам, чтобы закрыть их

незаметно для маркизы де Вильпаризи. Я ни о чем не думал, затем, вновь собрав мысли и крепче держа их, я еще дальше рванулся по дороге к деревьям или, вернее, по внутренней дороге, на краю которой я видел их в себе самом. Я снова почувствовал за ними тот же самый предмет, знакомый, хотя и не явственно различимый, но добраться до него так и не добрался. Деревья между тем все приближались. Где же я их видел? Вокруг Комбре ни одна аллея так не начиналась. Еще меньше напоминало мне этот вид то местечко в Германии, куда мы с бабушкой ездили как-то на воды. Уж не явились ли деревья из далеких лет моего детства, таких далеких, что время успело разрушить все окружавшее их, и, подобно страницам, которые вдруг с волнением вновь находишь в как будто не читанной книге, они одни выплыли из забытой книги моего раннего детства? А быть может, они составляли часть одного из пейзажей снов, пейзажей всегда одинаковых, во всяком случае для меня, потому что их необычность являлась лишь объективацией во сне того усилия, какое я делал, пока еще бодрствовал, — делал, пытаясь постичь тайну местности, которую я угадывал за ее внешним видом, что так часто со мною случалось, когда я шел по направлению к Германту, или пытаясь внести тайну в местность, которую мне хотелось узнать и которая с того дня, когда я ее узнавал, теряла для меня всякий интерес, как, например, Бальбек? Быть может, они представляли собой совершенно новый образ, оторвавшийся от сна, который я видел минувшей ночью, и уже расплывшийся, так что казалось, будто он явился издалека? А быть может, я никогда их не видел, быть может, они содержали в себе, как иные деревья и травы, которые я видел около Германта, смысл не менее темный и столь же трудно уловимый, какой содержит в себе далекое прошлое, и когда они заставляли меня погружаться в свои мысли, мне казалось, будто передо мной воскресает воспоминание? А что, если они никаких мыслей в себе не таили и двоились во времени, как иногда двоятся предметы в пространстве, только потому, что у меня устали глаза? Я не мог себе это объяснить. Между тем они шли мне навстречу — некое мифическое видение, хоровод ведьм или норн, собиравшихся прорицать. Я склонен был предполагать, что это призраки прошлого, милые друзья детства, исчезнувшие приятели, с которыми меня связывают воспоминания. Подобно привидениям, они словно молили меня взять их с собой, оживить. В их наивной, повышенной жестикуляции читалась бессильная мука любимого существа, утратившего дар речи, сознающего, что мы не догадаемся, что оно хочет, да не может сказать нам. Но вот мы уже проехали развилку дорог, и деревья остались позади. Коляска уносила меня прочь от того, что в моих глазах было единственно

подлинным, что могло бы меня действительно осчастливить, она напоминала мне мою жизнь.

Деревья удалялись и отчаянно махали руками, как бы говоря: «Того, что ты не услышал от нас сегодня, тебе не услыхать никогда. Если ты не поможешь нам выбраться из этой трясины, откуда мы тянулись к тебе, то целая часть твоего „я“, которую мы несли тебе в дар, навсегда погрузится в небытие». Так оно и случилось: в дальнейшем мне пришлось испытать то особое наслаждение и тревогу, какие я еще раз почувствовал тогда, и однажды вечером — слишком поздно, но уже навсегда — я к ним прилепился, но что несли мне деревья и где я их видел — этого я так и не узнал. И когда коляска свернула на другую дорогу и я их уже не видел, так как сидел к ним спиной, а маркиза де Вильпаризи спросила, о чем я задумался, мне стало так грустно, как будто я только что потерял друга, или умер, или забыл умершего, или отошел от какого-нибудь бога.

Пора было возвращаться в отель. Маркиза де Вильпаризи по-своему любила природу, правда, не так горячо, как бабушка, и умела ценить не только в музеях и в аристократических домах простую и величавую красоту старины, — вот почему она велела кучеру ехать старой бальбекской дорогой, не очень оживленной, но зато обсаженной старыми вязами, и вязы эти привели нас в восторг.

Узнав старую дорогу, мы потом для разнообразия возвращались по другой, — если только мы в тот день по ней еще не ездили, — через леса Шантрен и Кантлу. Незримость бесчисленных птиц, перекликавшихся в деревьях совсем близко от нас, создавала то ощущение покоя, которое испытываешь, закрыв глаза. Прикованный к сиденью, как Прометей к скале, я слушал моих Океанид. Увидев промелькнувшую в листве птицу, я почти не улавливал связи между ней и этими песнями, и мне не верилось, что они исходят из удивленно порхающего тельца, лишенного взгляда.

Дорога эта, каких немало во Франции, поднималась довольно круто, а затем медленно шла под уклон. Тогда я большой прелести в ней не находил — я только бывал доволен, что мы едем обратно. Но впоследствии она доставила мне много радости и осталась в моей памяти чем-то вроде приманки: все похожие на нее дороги, по которым я проезжал потом ради прогулки или путешествуя, ответвлялись от нее одна за другой и благодаря ей могли непосредственно сообщаться с моим сердцем. Едва экипаж или автомобиль выезжал на одну из таких дорог, казавшихся продолжением той, по которой я ездил с маркизой де Вильпаризи, теперешнее мое сознание мгновенно находило поддержку, как будто все это было совсем недавно (годы, отделявшие меня от того времени, уже не существовали), во

впечатлениях, которые оставила во мне далекая предвечерняя пора, когда, во время наших поездок по окрестностям Бальбека, благоухали листья, вставал туман, а за ближайшим селом сквозь деревья был виден закат, словно далекий лесистый край, до которого нам нынче вечером не доехать. Сцепляясь с впечатлениями, какие я получал в других краях, на похожих дорогах, неизменно дополняясь только такими ощущениями, как свобода дыхания, любопытство, лень, аппетит, жизнерадостность, и никакими другими, впечатления эти усиливались, приобретали устойчивость особого рода наслаждения, почти устойчивость рамок жизни, которыми я, правда, пользовался не часто, но в которых пробуждение воспоминаний привносило в действительность осязаемую изрядную долю действительности воскрешенной, приснившейся, неуловимой, что вызывало у меня в тех краях, через которые лежал мой путь, нечто большее, чем эстетическое чувство, — скоропреходящее, но пылкое желание остаться здесь навсегда. Просто-напросто втягивать в себя запах листьев, сидеть в коляске напротив маркизы де Вильпаризи, встретиться с принцессой Люксембургской, которая с ней поздоровается, возвращаться к ужину в Гранд-отель, — сколько раз я думал о том, какое это неизъяснимое счастье и что это счастье ни настоящее, ни будущее не способны вернуть, что оно дается раз в жизни!

Часто мы ехали обратно в темноте. Я робко приводил маркизе де Вильпаризи, показывая на луну, чудные места из Шатобриана, Виньи, Виктора Гюго: «Она источала извечную тайну печали», или: «Так слезы над ручьем льет в горести Диана», или: «Был сумрак величав и свадебно торжествен».

— Что ж, по-вашему, это хорошо? — задавала мне вопрос маркиза де Вильпаризи. — Гениально, как вы выражаетесь? Сказать по совести, меня удивляет, что в наше время принимается всерьез то, за что друзья этих господ, отдавая должное их достоинствам, первые поднимали их на смех. Тогда не бросались словом «гений», — теперь, если сказать писателю, что он талантлив, он примет это за оскорбление. Вы мне приводите пышную фразу де Шатобриана о лунном сиянье. Сейчас я вам на это отвечу. Де Шатобриан часто бывал у моего отца. Надо отдать ему справедливость, он был приятный гость, если никого больше не было, — тогда он был прост и забавен, а при других рисовался и становился смешон; в присутствии моего отца он утверждал, что сам потребовал от короля отставки и руководил конклавом, а ведь он же просил отца умолить короля снова принять его на службу, и мой отец слышал его вздорные предсказания в связи с избранием папы. Вы бы послушали, что говорил об этом знаменитом конклаве де

Блакас, человек совершенно иного склада, чем де Шатобриан. А его фраза о лунном сиянье стала у нас в доме просто обязательной. Когда кто-нибудь первый раз приходил к нам в гости, то, если светила луна, ему предлагали пройтись с де Шатобрианом. Как только они возвращались с прогулки, мой отец непременно отводил гостя в сторону: «Господин де Шатобриан был в ударе?» — «О да!» — «Он говорил о лунном сиянье?» — «Да, а как вы это узнали?» — «Простите, а не сказал ли он вам…» И тут мой отец приводил эту фразу. «Да, но каким чудом…» — «И еще он рассказывал о том, какая луна в римской Кампанье». — «Да вы кудесник!» Мой отец кудесником не был, но де Шатобриан держал в запасе готовые фразы.

При имени Виньи маркиза де Вильпаризи засмеялась: — Он всегда говорил: «Я граф Альфред де Виньи». Граф ты или не граф — какое это имеет значение?

И все же она, должно быть, придавала этому какое-то значение, потому что дальше говорила так:

— Во-первых, я не уверена, был ли он граф; во всяком случае, происходил он от очень захудалого рода, хотя в стихах писал о «дворянском гербе с перьями». Каким тонким вкусом надо было для этого обладать и как это интересно для читателя! Это вроде Мюссе, — ведь он же был простой парижский мещанин, а говорил о себе высокопарно: «И ястреб золотой на шлеме у меня». Человек действительно знатного происхождения так никогда не скажет. У Мюссе, по крайней мере, был поэтический дар. А де Виньи, за исключением «Сен-Марса», я не могу читать, — его книги вываливаются у меня из рук. Моле отличался от де Виньи тем, что у него был и ум и такт, и когда он принимал его в Академию, он его как следует отщелкал. Что, что? Вы не знаете его речи? Это поразительное сочетание лукавства и дерзости.

Маркизу де Вильпаризи удивляло, что ее племянники зачитываются Бальзаком, — его она упрекала в том, что он взялся описывать общество, «где его не принимали», и наплел о нем уйму небылиц. Когда разговор у нас зашел о Викторе Гюго, она рассказала, что ее отец, г-н де Буйон, имевший друзей среди молодых романтиков, попал при их содействии на первое представление «Эрнани», но не досидел до конца — до того нескладными показались ему вирши этого одаренного, но лишенного чувства меры писателя, получившего звание великого поэта только благодаря сделке, в награду за своекорыстную снисходительность, какую он выказал к опасным бредням социалистов.

Нам уже виден был отель, его огни, такие враждебные в первый вечер, когда мы только приехали, а сейчас покровительственные и уютные,

напоминавшие о домашнем очаге. И когда коляски подъезжали к дверям, швейцар, грумы, лифтер, услужливые, простодушные, слегка обеспокоенные нашим запозданием, толпившиеся в ожидании на ступеньках, такие привычные, причислялись нами к тем людям, которые столько раз сменяются на нашем жизненном пути, так же как меняемся мы сами, но в которых, когда они становятся на время зеркалом наших привычек, мы с радостью обнаруживаем наше верное и благожелательное отражение. Они нам дороже друзей, с которыми мы давно не видались, потому что они больше, чем друзья, заключают в себе того, что мы представляем собою в данное время. Только «посыльного», которого целый день держали на солнце, сейчас прятали от вечернего холода, закутывали в шерстяные ткани, и эти ткани в сочетании с никлой оранжевостью его волос и на диво розовыми его щеками придавали ему сходство в застекленном вестибюле с тепличным растением, укрытым от стужи. Мы выходили из коляски, к нам подбегали слуги, их было больше, чем нужно, но они сознавали всю важность этой сцены и считали своим долгом сыграть в ней какую-нибудь роль. Мне очень хотелось есть. Чтобы как можно скорее сесть за ужин, я чаще всего не заходил в свою комнату, а комната действительно стала моей, настолько, что, взглянув на длинные лиловые занавески и низенькие книжные шкафы, я снова чувствовал себя наедине с самим собой, чье отражение я видел не только в людях, но и в предметах, и мы все трое ждали в вестибюле, когда метрдотель выйдет и скажет, что кушать подано. Тут нам опять представлялась возможность послушать маркизу де Вильпаризи.

— Мы злоупотребляем вашей любезностью, — говорила бабушка.

— Что вы, я очень рада, я просто счастлива, — возражала ее приятельница, ласково улыбаясь, растягивая слова и произнося их певуче, что составляло контраст с обычной ее простотой.

Она действительно в такие минуты становилась неестественной, вспоминала о своем воспитании, о том, что аристократизм знатной дамы обязывает ее дать почувствовать буржуа, как ей с ними хорошо, что она не чванлива. Единственно, в чем у нее сказывался недостаток истинной учтивости, так это в том, что она была чересчур учтива: тут проявлялась профессиональная черта дамы из Сен-Жерменского предместья, которая, предвидя, что в ком-нибудь из буржуа ей суждено когда-нибудь вызвать неудовольствие, ищет случая, чтобы занести что-нибудь в кредит своей любезности с ними, так как в будущем ей придется вписать в дебет раут или обед, на которые она их не позовет. Так, покорив ее раз навсегда, не желая замечать, что обстоятельства изменились, что люди стали другими и

что в Париже ей захочется видеться с нами постоянно, кастовый дух подталкивал маркизу де Вильпаризи, и она с лихорадочной поспешностью, как будто срок ее любезности истекал, старалась, пока мы были в Бальбеке, елико возможно чаще посылать нам розы и дыни, давать почитать книги, катать нас в своей коляске и занимать разговорами. Вот почему — ничуть не менее прочно, чем слепящий блеск взморья, чем радужные переливы красок в комнатах, их подводное освещение, даже ничуть не менее прочно, чем уроки верховой езды, благодаря которым сыновья коммерсантов преображались в существа богоподобные, вроде Александра Македонского, — повседневная любезность маркизы де Вильпариэи, а равно и мгновенная, летняя легкость, с какой отзывалась на нее бабушка, остались в моей памяти как характерные черты курортной жизни.

— Освободитесь же от пальто — пусть их отнесут наверх.

Бабушка отдавала пальто директору, а так как он всегда был со мною мил, то это неуважение, от которого он, видимо, страдал, огорчало меня.

— Этот господин, должно быть, обиделся, — говорила маркиза. — Наверно, считает себя важным барином, — ему, мол, не пристало принимать у вас одежду. Помню, — я была тогда еще совсем маленькой, — герцог Немурский вошел как-то к моему отцу, — отец занимал у нас в доме верхний этаж, — с большущей кипой газет и писем под мышкой. Я так и вижу герцога и его синий фрак в проеме двери с изящными украшениями, — по-моему, это делал Багар: понимаете, тоненькие палочки, гибкие-гибкие, и столяр придал им форму бантиков н цветов — точь-в-точь букетики, перевязанные лентами. «Вот вам, Сирюс, — сказал моему отцу герцог, — это ваш швейцар просил вам передать. Он мне так сказал: „Вы все равно идете к графу, значит, мне нет смысла подниматься, только смотрите, чтобы веревочка не развязалась“. Ну, от вещей вы отделались, теперь садитесь, вот сюда, — беря бабушку за руку, говорила маркиза.

— О, если вам безразлично, только не в это кресло! Для двоих оно мало, а для меня одной велико, мне будет неудобно.

— Это мне напоминает точно такое же кресло: оно долго стояло у меня, но в конце концов мне пришлось с ним расстаться, потому что его подарила моей матери несчастная герцогиня де Прален. Моя мать славилась своей простотой, но она придерживалась прежних взглядов, которые и мне-то были не совсем ясны, и сперва она не пожелала представиться герцогиие де Прален, в девичестве — всего лишь мадмуазель Себастиани, а де Прален, сделавшись герцогиней, сочла что ей не подобает представляться первой. И впрямь, продолжала маркиза де

Вильпаризи, забыв, что ей эти тонкости непонятны, — будь она всего лишь госпожой де Шуазель, ее притязания были бы вполне основательны. Выше Шуазелей никого нет, они ведут свое происхождение от сестры короля Людовика Толстого, в Бассиньи они были самыми настоящими государями. Я признаю, что мы превосходим их известностью и что браки, у них в роду были не такие блестящие, но в древности рода они нам почти не уступают. В связи с вопросом о представлении происходили забавные случаи, например: однажды завтрак подали с опозданием больше чем на час, после того как одна из дам наконец согласилась, чтобы ее представили. А потом они очень подружились, и герцогиня подарила моей матери кресло вроде этого, но только в герцогинино кресло, вот как вы сейчас, никто не садился. Как-то раз моя мать услыхала, что к нам во двор въезжает карета. Мать спрашивает кого-то из мелкой челяди, кто это. «Это, ваше сиятельство, герцогиня де Ларошфуко». — «А, ну хорошо, я ее приму». Проходит четверть часа — никого. «Что ж герцогиня де Ларошфуко? Где она?» — «Она на лестнице, ваше сиятельство, отдувается», — отвечает ей челядинец, а он только что приехал из деревни — у моей Матери было мудрое правило выписывать прислугу оттуда. Многие из будущих ее слуг родились у нее на глазах. Вот из такой-то среды и выходят верные слуги. А иметь верных слуг — это же счастье! Герцогине де Ларошфуко подниматься было, действительно, трудно, — ведь она же была такая огромная, что когда она вошла, моя мать в первую минуту растерялась: она не знала, куда ее посадить. Тут ей бросилось в глаза кресло герцогини де Прален. «Садитесь, пожалуйста», — сказала моя мать и подвинула ей кресло. Герцогиня де Ларошфуко заполнила его до краев. Несмотря на свои размеры, она еще сохраняла некоторое обаяние. «Когда герцогиня входит, она все-таки бывает эффектна», — говорил про нее кто-то из наших друзей. «Более сильный эффект получается, когда она уходит», — возражала моя мать, — она позволяла себе такие вольности, каких теперь не услышишь. В доме у самой герцогини де Ларошфуко, не стесняясь, трунили над ее телесами, и она первая смеялась. «Вы что же, один дома? — спросила как-то герцога де Ларошфуко моя мать, — она приехала с визитом к герцогине, навстречу ей вышел герцог, а его жена находилась в глубине комнаты, и моя мать не заметила ее. — Герцогини нет? Что-то я ее не вижу». «Как это мило с вашей стороны!» — отвечал герцог, — он судил обо всем вкривь и вкось, но в остроумии ему отказать было нельзя.

После ужина, поднявшись с бабушкой к себе, я говорил ей, что пленившие нас достоинства маркизы де Вильпаризи — такт, чуткость, скромность, невыпячиванье самой себя — быть может, не столь уже

драгоценны, раз ими обладали в полной мере всякие там Моле и Ломени, и что хотя из-за отсутствия этих качеств общение с такими людьми удовольствия не доставляет, однако же оно не помешало стать Шатобрианом, Виньи, Гюго, Бальзаком лишенным здравого смысла честолюбцам, которых так же легко было вышутить, как, например, Блока… Имя Блока раздражало бабушку. И она начинала восхищаться маркизой де Вильпаризи. Говорят, будто в любви склонностями управляют интересы рода: для того, что бы у ребенка была крепкая конституция, интересы рода заставляют тощих женщин искать сближения с толстыми мужчинами, а толстых — с тощими: вот так и моя бабушка, не сознавая, что ею руководит забота о моем благополучии, которому угрожает моя нервозность, мое болезненное предрасположение к меланхолии, болезненное стремление к одиночеству, отдавала предпочтение уравновешенности и благоразумию, свойственным не только маркизе де Вильпаризи, но целому обществу, которое могло бы развлечь меня, успокоить, вроде того, где в былые времена блистали остроумием Дудан, Ремюзае не говоря о Босержан, Жубере, Севинье, — остроумием, делавшим жизнь радостной, возвышавшим ее в противоположность безотрадным и низменным утонченностям Бодлера, По, Верлена, Рембо, от которых они страдали, из-за которых их переставали уважать, а бабушка не желала этого внуку. Мои поцелуи заставляли бабушку умолкнуть; я задавал ей вопрос, заметила ли она, что у маркизы де Вильпаризи вырвалась фраза, из которой явствует, что маркиза гордится своим происхождением, хотя и старается этого не показать. Все свои впечатления я выносил на суд бабушки — без нее, самостоятельно, я не сумел бы определить цену тому или иному человеку. Каждый вечер я приносил ей накопившиеся у меня за день эскизы людей, для меня не существовавших, поскольку они — это не она. Как-то я сказал ей:

— Я бы не мог без тебя жить.

— Это нехорошо, — взволнованно заговорила она. — Надо быть чуточку жестче. Что бы ты делал, если б я отправилась в путешествие? Я бы мечтала о том, чтобы ты был вполне благоразумен и вполне счастлив.

— Я был бы благоразумен, если б ты уехала на несколько дней, но я считал бы часы.

— Ну, а если б я уехала на несколько месяцев (при одной мысли об этом сердце у меня сжалось)… на несколько лет… на…

Мы оба замолчали. Мы не смели поднять друг на друга глаза. Я болел душой больше за нее, чем за себя. Я подошел к окну и, стоя вполоборота к бабушке, нарочито медленно заговорил:

— Ты же знаешь, что я существо приспосабливающееся. Первые дни после разлуки с самыми дорогими людьми я чувствую себя несчастным, а потом, любя их по-прежнему, привыкаю, моя жизнь течет спокойно, тихо; я мог бы находиться вдали от них месяцы, годы.

Тут я умолк и стал смотреть прямо в окно. Бабушка на минуту вышла из комнаты. На другой день я начал с ней философский разговор более чем равнодушным тоном, но так, чтобы она прислушалась к моим словам, а говорил я о том, как это любопытно, что в связи с последними научными открытиями материализм, по-видимому, терпит крах и что наиболее вероятным все-таки остается бессмертие душ и грядущее их соединение.

Маркиза де Вильпаризи предупредила, что скоро ей уже нельзя будет так часто с нами встречаться. Юный ее племянник, готовящийся в Сомюр, несет гарнизонную службу недалеко отсюда, в Донсьере, а в отпуск собирается приехать к ней, и ей придется много быть с ним. Во время прогулок она восхищалась его обширным умом, а еще больше — добрым его сердцем; я воображал, что он проникнется ко мне симпатией, что я стану закадычным его другом, и когда, перед его приездом, маркиза дала понять бабушке, что, к несчастью, он в когтях у нехорошей женщины, которую он любит до безумия и которая его не выпустит, я, уверенный в том, что такая любовь неминуемо кончается душевной болезнью, преступлением и самоубийством, представив себе, какой короткий срок отмерен нашей дружбе, по моим ощущениям — уже очень крепкой, хотя я еще не видел племянника маркизы, оплакивал нашу дружбу и грозившие ей несчастья, как оплакивают любимого человека, о котором становится известно, что он опасно болен и что дни его сочтены.

Как-то, в жаркий день, когда я сидел в полумраке столовой, защищаемой от солнца, окрашивавшего ее в желтый цвет, занавесками, меж которыми просверкивала синева моря, я увидел между взморьем и проезжей дорогой высокого, стройного молодого человека с открытой шеей, гордо поднятой головой, пронзительным взглядом и такой светлой кожей и такими золотистыми волосами, словно они вобрали в себя весь солнечный свет. На юноше был костюм из мягкой кремовой ткани, который, как мне казалось, подошел бы женщине, а никак не мужчине, и тонкость которого не менее живо, чем прохлада в столовой, напоминала о том, что день нынче ясный, о том, как жарко наружи; шагал он быстро. Его глаза были такого же цвета, как море, и с одного из них поминутно спадал монокль. Все смотрели на него с любопытством — юный маркиз де Сен-Лу-ан-Бре славился своей элегантностью. Все газеты описывали костюм, в котором он недавно присутствовал в качестве секунданта на дуэли юного

герцога д'Юзе. Казалось, что у человека, у которого совершенно особенный цвет волос, глаз, кожи, особенная осанка, благодаря чему его так же легко было бы отличить в толпе, как драгоценную прожилку голубого светящегося опала в грубой породе, и жизнь должна быть не такая, как у других. До связи, удручавшей маркизу де Вильпаризи, за него боролись самые хорошенькие женщины из высшего света, и когда он появлялся у моря с известной красавицей, за которой он ухаживал, то это, во-первых, окончательно упрочивало ее славу, а во-вторых, не меньше привлекало взоры к нему, нежели к ней. Его «шик», заносчивость юного «льва», а главное — редкостная красота давали некоторым основание утверждать, что в нем есть что-то женственное, но недостатка в этом не видели, так как его мужественность и влюбчивость были известны всем. Это и был тот самый племянник маркизы де Вильпаризи, о котором она нам рассказывала. Мне было отрадно думать, что около месяца я буду видеться с ним и что он, наверно, ко мне привяжется. Он быстрым шагом прошел через вестибюль, словно гнался за моноклем, порхавшим перед ним, как мотылек. Он пришел с пляжа, и море, заполнявшее стеклянную стену вестибюля до половины, служило ему фоном, на котором он вырисовывался во весь рост, как на портретах кисти художников, которые, полагая, что они в высшей степени точно изображают нынешнее время, выбирают для своей натуры соответствующее обрамление: лужайку для игры в поло, в гольф, ипподром, палубу яхты, и дают современный эквивалент старых картин, где человек показан на переднем плане ландшафта. Экипаж, запряженный парой, ждал племянника маркизы де Вильпаризи у подъезда; его монокль опять начал резвиться на солнце, а он изящно и умело, точно великий пианист, который даже в самом простом пассаже обнаружит свое превосходство перед второстепенным исполнителем, сел рядом с кучером, взял у него вожжи и, распечатывая письмо, которое ему отдал директор отеля, погнал лошадей.

Какое разочарование постигало меня всякий раз, когда я потом встречал его в отеле или наружи, — он шел, подняв голову, все время соразмеряя телодвижения со своим быстролетным, танцующим моноклем, как бы служившим его телу центром тяжести, — и мог удостовериться, что он не ищет сближения с нами, что он даже не здоровается, хотя он не мог не знать, что мы в дружеских отношениях с его теткой! Вспоминая, как была со мною любезна маркиза де Вильпаризи, а до нее — маркиз де Норпуа, я приходил к мысли, что, может быть, это не настоящая знать, и может быть, в законах, которым подчиняется аристократия, есть тайный пункт, согласно коему женщины и некоторые дипломаты в отношениях с

разночинцами по неизвестным мне соображениям имеют право не проявлять той надменности, какую неукоснительно должен был выказывать юный маркиз. Рассудок мог бы мне на это возразить. Но в моем тогдашнем сумасбродном возрасте — возрасте совсем не бесплодном, напротив: плодоносном — обыкновенно не обращаются с вопросами к рассудку, а самые незначительные свойства принимают за неотъемлемую часть человеческой личности. Окруженные чудищами и богами, мы не знаем покоя. Нет почти такого поступка, совершенного нами тогда, который нам впоследствии не захотелось бы перечеркнуть. Вот о чем нам нужно было бы пожалеть, так это о бездумности, с какою мы тогда действовали. Потом мы смотрели на вещи с более практической точки зрения, совершенно так же, как смотрит все общество, но зато юность — это единственная пора, когда человек чему-нибудь да научается.

Надменность, которую я угадывал в маркизе де Сен-Лу, и заключавшаяся в ней врожденная черствость обнаруживались в его манере держать себя, когда он проводил мимо, всегда негнущийся, все так же высоко подняв голову, с безучастным взглядом, более чем безжалостным — не выражавшим даже того неопределенного уважения, какое мы испытываем к правам других людей, даже если эти люди незнакомы с нашей теткой, и в силу которого я относился к пожилой даме иначе, чем к уличному фонарю. Эта его холодность была так же далека от прелестных писем, в которых он, — о чем я мечтал еще несколько дней назад, — стал бы изливать мне свои чувства, как далек существующий только в воображении фантазера восторг палаты и народа, вызванный его незабываемою речью, от того жалкого положения, какое занимает этот никому не ведомый человек в жизни, мечтавший вслух один на один с самим собой и, едва лишь воображаемые рукоплескания утихли, снова остающийся ни при чем. Когда маркиза де Вильпаризи, видимо желая загладить неприятное впечатление, какое оставляла его повадка, свидетельствовавшая о том, что это человек высокомерный и недобрый, опять заговорила о необычайной доброте своего внучатного племянника (он был сыном одной из ее племянниц, ненамного старше меня), я подивился способности света, наперекор истине, приписывать душевные качества созданиям бездушным, как бы ни были они любезны с блестящими людьми их круга. Маркиза де Вильпаризи невольно содействовала тому, что основные, для меня уже несомненные черты характера ее племянника выступили еще раз в тот день, когда я столкнулся с ними обоими на очень узкой дорожке, и маркизе ничего иного не оставалось, как познакомить меня с ним. Он точно не слышал, что ему

называют чье-то имя, ни один мускул не дрогнул в его лице; в самом равнодушии, в пустоте его глаз, в которых не блеснул даже слабый луч человеческого чувства, было что-то преувеличенное, делавшее их похожими на неодушевленные зеркала. Потом, остановив на мне этот тяжелый взгляд, точно с целью, прежде чем ответить мне на поклон, узнать, кто я такой, он резким движением, казалось, вызванным скорее чисто мускульным рефлексом, чем актом воли, протянул мне руку. Когда же, на другой день, мне передали его визитную карточку, я подумал, что он, по крайней мере, вызывает меня на дуэль. Но он говорил со мной только о литературе и после долгой беседы заявил, что ему очень бы хотелось проводить со мной несколько часов в день. Во время нашего свидания он не только проявил живой интерес к духовным ценностям, но и выразил мне симпатию, не вязавшуюся с его вчерашним поклоном. Убедившись, что так он здоровается со всеми, я понял, что это всего лишь светское правило, которое усвоили некоторые члены его семьи и которому его мать, стремившаяся к тому, чтобы он получил блестящее воспитание, подчинила его тело; он кланялся, думая о поклонах столько же, сколько о своих красивых костюмах, о своих красивых волосах; это его движение было лишено нравственного значения, какое я вложил в него поначалу, движение заученное, как и другая его привычка — сейчас же представляться родственникам своего знакомого, привычка, ставшая у него инстинктивной: так, увидев меня на другой день после нашей встречи, он подлетел ко мне и, не поздоровавшись, с лихорадочной поспешностью попросил познакомить его с моей бабушкой, находившейся тут же, точно эта просьба была вызвана инстинктом самозащиты, вроде того как мы отражаем удар или закрываем глаза от струи кипятка, которая, если б мы не побереглись, мгновение спустя могла бы оказаться опасной.

Когда обряд заклинания был совершен, презрительное это существо, точно злая фея, сбрасывающая свою личину и околдовывающая волшебными чарами, у меня на глазах преобразилось в самого любезного, самого предупредительного молодого человека, каких мне когда-либо приходилось встречать. «Так, — сказал я себе, — я в нем ошибся, я — жертва заблуждения, но я покончил с одним заблуждением и впал в другое: ведь это же важный господин, счастливый тем, что он благородного происхождения, но старающийся это скрыть». Под всем прелестным воспитанием Сен-Лу, под его любезностью мне действительно открылась другая сущность, которую я в нем не подозревал.

Этот молодой человек, по виду — презрительный аристократ и спортсмен, относился с уважением и интересом только к духовным

ценностям, особенно к модернистским течениям в литературе и искусстве, над которыми издевалась его тетка; кроме того, он был пропитан тем, что его тетка называла «социалистической декламацией», исполнен глубочайшего презрения к своей касте, просиживал целые часы над Ницше и Прудоном. Это был один из тех восторженных «интеллигентов», которые вечно погружены в чтение книг, заняты только высокими мыслями. В Сен-Лу проявление этой тенденции, крайне отвлеченной и весьма далекой от моих повседневных забот, хоть и казалось мне трогательным, но немножко надоедало. Признаюсь, когда я узнал, кто его отец, из мемуаров, в которых было полно анекдотов о знаменитом графе де Марсанте, воплощавшем в себе особое изящество далекой от нас эпохи, то весь ушел в мечты, жаждал иметь точные сведения о жизни графа де Марсанта, и меня злило, что Робер де Сен-Лу, вместо того чтобы довольствоваться ролью сына своего отца, вместо того чтобы быть моим путеводителем по старомодному роману, какой являла собою жизнь его отца, поднялся до любви к Ницше и Прудону. Его отец не разделил бы моих сожалений. Он тоже был человек умный, и ему было тесно в рамках светской жизни. Он не успел узнать своего сына, но ему хотелось, чтобы сын был лучше его. И я уверен, что, в противоположность другим членам их семьи, он восхищался бы им, радовался бы, что сын отказался от суетных развлечений отца ради суровых размышлений; я уверен, что, никому ничего не говоря, со скромностью духовно развитого вельможи, он тайком прочитал бы любимых писателей своего сына, чтобы удостовериться, насколько Робер выше его.

Грустно, однако, было то, что граф де Марсант при его умственной широте мог бы оценить сына, столь непохожего на него, а Робер де Сен-Лу, принадлежавший к числу тех, кто считает, что человеческие достоинства связаны с определенными формами искусства и жизни; хранил добрую, но чуть-чуть пренебрежительную память об отце, который всю жизнь увлекался охотой и скачками, скучал, слушая Вагнера, и обожал Оффенбаха. Сен-Лу был недостаточно умен, чтобы понять, что интеллигентность ничего общего не имеет с подчинением определенной эстетической формуле, и к интеллекту графа де Марсанта он испытывал нечто похожее на пренебрежение, с каким отнеслись бы к Буальдье или к Ла^ бишу сын Буальдье или сын Лабиша, сделавшиеся приверженцами сверхсимволической литературы и сверхсложной музыки. «Я очень мало знал моего отца, — говорил Робер. — Человек он был, по-видимому, прекрасный. Его несчастьем было то, что он жил в период безвременья. Родиться в Сен-Жерменском предместье и жить в эпоху „Прекрасной

Елены“ — это беда. Будь он мелким буржуа, страстным поклонником „Нибелунгов“, может быть, из него вышло бы что-то совсем другое. Мне даже говорили, что он любил литературу. Но это еще ничего не значит: ведь он считал литературой устарелые произведения». Мне казалось, что Сен-Лу чересчур серьезен, а Сен-Лу не понимал, что я недостаточно серьезен. Судя обо всем с точки зрения интеллектуальной, не постигая радостей фантазии, иные из которых представлялись ему ничтожными, он дивился, как это я — я, которого он ставил гораздо выше себя, — могу испытывать к ним влечение. Сен-Лу сразу покорил мою бабушку не только безграничной добротой, какую он старался проявлять к нам обоим, но и той естественностью, которая сказывалась у него и в этом, как и во всем остальном. Естественность же — должно быть, потому, что благодаря ей под человеческим искусством чувствуется природа, — была тем качеством, которое бабушка особенно ценила: так, в садах, — например, в комбрейском саду, — она не любила чересчур правильных куртин, в поваренном искусстве ненавидела «фигурные торты», оттого что не так-то просто догадаться, из чего они приготовлены, а в игре пианистов ей не нравилась слишком тщательная отделка, чрезмерная гладкость, — она питала особое пристрастие к нотам нечетким, к фальшивым нотам Рубинштейна. Эту же естественность она с удовлетворением отмечала даже в костюмах Сен-Лу с их мягким изяществом, без намека ни на хлыщеватость, ни на чопорность, без обтяжки и накрахмаленности. Еще больше уважала она этого богатого юношу за простоту и свободу, с какою он жил в роскоши, не давая почувствовать, что у него «денег куры не клюют», и не важничая; прелесть естественности она находила еще в сохранившейся у Сен-Лу и обычно утрачивающейся вместе с другими физиологическими особенностями, присущими детскому возрасту, неспособности помешать чертам своего лица выдать любое чувство. Если ему чего-нибудь хотелось и это вдруг исполнялось, — ну, например, если ему говорили что-нибудь приятное, — его охватывал столь внезапный, пламенный, стремительный, бурный восторг, что он бессилен был сдержать его и затаить; по всему лицу его неудержимо разливалось удовольствие; сквозь тонкую кожу щек просвечивал яркий румянец, в глазах отражались смущение и радость. И моя бабушка живо отзывалась на прелестную эту открытость и прямодушие, тем более что — по крайней мере, в пору нашей дружбы с Сен-Лу — они у него не были обманчивыми. А между тем я знал еще одного человека, — и таких много, — у которого физиологическая неподдельность мимолетной краски отнюдь не исключала нравственного двуличия; очень часто румянец свидетельствует только о том, что даже у

подленьких людишек радостное чувство бывает настолько сильным, что они оказываются перед ним безоружными и вынуждены открыть его другим. Но особенно восхищалась бабушка естественностью, с которой Сен-Лу без околичностей признавался в своей симпатии ко мне и которая подсказывала ему для ее выражения такие слова, каких, — говорила бабушка, — даже она не могла бы найти, — слова точные и действительно ласковые, под которыми подписались бы «Севинье и Босержан»; Сен-Лу не стесняясь посмеивался над моими недостатками, — открывая их, он поражал бабушку своей проницательностью, — но посмеивался так же, как посмеивалась бы она: добродушно, расхваливая мои достоинства с пылом и безудержностью, являющими полную противоположность сдержанности и холодности, с помощью которых его сверстники обычно надеются придать себе весу. Чтобы уберечь меня от пустячной простуды, он, если свежело, а я этого не замечал, покрывал мне ноги одеялом; если он чувствовал, что мне скучно или нездоровится, то будто ненароком засиживался у меня вечером, — словом, был, по мнению бабушки, пожалуй, даже чересчур заботлив, потому что мне полезнее было бы, чтобы со мной были жестче, но, как доказательство привязанности ко мне, его заботливость глубоко трогала ее.

Вскоре мы заключили дружеский союз навеки. Сен-Лу произносил слова «наша дружба» так, словно речь шла о чем-то важном и прекрасном, существующем вне нас, а немного погодя он уже называл это самой большой — не считая чувства к возлюбленной — радостью своей жизни. От этих слов мне становилось грустно, я не знал, что на них ответить: при нем, разговаривая с ним, — да, разумеется, и при ком угодно, — я не испытывал блаженного состояния, какое мог бы пережить в одиночестве. Иной раз, оставшись один, я чувствовал, как со дна моей души всплывает упоительное ощущение счастья. Но если со мной кто-нибудь был, если я разговаривал с приятелем, моя мысль делала крутой поворот в сторону собеседника, а не в мою сторону, и, двигаясь в противоположном направлении, она не доставляла мне ни малейшего удовольствия. Расставшись с Сен-Лу, я при помощи слов вносил известный порядок в неясные мгновенья, проведенные с ним; я говорил себе, что у меня есть верный друг, что верные друзья редки, и, сознавая, что я — обладатель трудно достижимого блага, ощущал нечто прямо противоположное хорошо знакомому мне наслаждению — наслаждению извлекать из себя и вытаскивать на свет то, что пряталось в полумраке. Если я два-три часа проводил с Робером де Сен-Лу и он был в восторге от того, что я ему говорил, я испытывал потом что-то вроде угрызений совести, усталости,

сожаления, что я не остался один и не взялся наконец за дело. Но я себя уговаривал, что разум дается человеку не для него одного, что величайшим из людей хотелось, чтобы их оценили, что я не имею права считать потерянными часы, в течение которых у моего друга создалось высокое мнение обо мне: я без труда доказывал себе, что должен быть счастлив, и тем сильней боялся, как бы у меня не отняли счастье, что я его не ощущал. Ничего мы так не страшимся, как исчезновения радостей, существующих вне нас, потому что они не подвластны нашему сердцу. Я чувствовал, что способен дружить больше, чем многие другие (потому что счастье моих друзей я всегда ставил бы выше личных интересов, за которые так держатся другие и которые ничего не значили для меня), но меня не могло бы радовать чувство, которое вместо того, чтобы подчеркивать различие между моей душой и душами других людей, — а души у нас непохожи, — сглаживало бы это различие. Зато временами мысль моя обобщала Сен-Лу, различала в нем тип «барина», существо, которое, как некий дух, приводит его в действие, руководит его движениями и поступками; в такие минуты, хотя он был со мной, я чувствовал себя одиноким, как перед картиной природы, гармоничность которой была для меня ясна. Сен-Лу превращался тогда в неодушевленный предмет, и я углублялся в его изучение. Вновь и вновь открывая в нем это старшее, многовековой давности существо, этого аристократа, на которого Робер как раз не хотел походить, я испытывал большое удовольствие, но это удовольствие доставлял мне мой ум, а не дружба. В душевной и физической легкости, благодаря которой любезность Сен-Лу казалась особенно прелестной, в непринужденности, с какой он предлагал экипаж моей бабушке и затем подсаживал ее, в ловкости, с какой он, боясь, что мне холодно, спрыгивал с козел, чтобы накинуть мне на плечи свое пальто, я ощущал не только наследственную прыткость знаменитых охотников, каких было много в роду этого юноши, ценившего только интеллект, их презрение к богатству, которое, сосуществуя в нем с желанием быть богатым единственно для того, чтобы как можно лучше принять друзей, заставляло его небрежно бросать к их ногам окружавшее его великолепие; прежде всего я угадывал во всем этом уверенность или же самообман вельмож, считавших, что они «выше других», и потому не могших передать Сен-Лу по наследству желание показать, что он «такой же, как все», на самом деле не свойственную ему боязнь, как бы о нем не подумали, что он перед кем-нибудь заискивает, боязнь, от которой становится такой уродски уродливой и неуклюжей самая искренняя плебейская любезность. Временами я упрекал себя в том, что мне доставляет удовольствие смотреть на моего друга как на художественное

произведение, то есть представлять себе, что все части его существа приведены одна с другой в соответствие и управляются общей мыслью, на которой они держатся, но которой он не знает и которая, следовательно, ничего не прибавляет к его достоинствам, к его умственной и духовной ценности, хотя он придавал ей такое большое значение.

А между тем его достоинства отчасти проистекали из этой общей мысли. Именно потому, что он был дворянин, в его умственной деятельности, в его влечении к социализму, заставлявшем его искать общества молодых студентов, плохо одетых, но с претензиями, было что-то действительно чистое и бескорыстное, отсутствовавшее у студентов. Считая себя наследником невежественной и себялюбивой касты, он искренне хотел, чтобы они простили ему его аристократическое происхождение, а их оно, напротив, прельщало, и они тянулись к нему, хотя и прикидывались в его присутствии надменными и даже заносчивыми. По тому же самому он заигрывал с людьми, от которых, по мнению моих родителей, приверженцев комбрейской социологии, он должен был бы отвернуться. Однажды из парусиновой палатки, около которой мы с Сен-Лу сидели на песке, посыпались проклятья на головы евреев, которыми был наводнен Бальбек. «Здесь шагу нельзя ступить без того, чтобы не наткнуться на еврея, — говорил чей-то голос. — Я не являюсь принципиальным, непримиримым врагом еврейской национальности, но здесь от нее не продохнешь. Только и слышишь: „Абрам! Я уже видел Янкеля“. Можно подумать, что ты на улице Абукира». Человек, громивший Израиль, вышел наконец из палатки, и мы подняли глаза на антисемита. Это был мой приятель Блок. Сен-Лу сейчас же попросил меня напомнить ему, что они встречались на конкурсе лицеев, на котором Блок получил награду, а после — в народном университете.

Меня слегка забавляло влияние иезуитов, проявлявшееся у Робера в той напряженности, какую вызывала в нем боязнь обидеть кого-нибудь из его друзей-интеллягентов, нарушавшего светские приличия, попадавшего в смешное положение, — он сам не придавал этому никакого значения, но он был уверен, что тот покраснел бы, если бы заметил свой промах. И краснеть приходилось Роберу, точно виноват был он, как, например, в тот день, когда Блок, обещав прийти к нему в отель, добавил:

— Я терпеть не могу показной шик этих громадных караван-сараев, от цыган, мне может сделаться дурно, так что вы скажите *лайфтеру* , чтобы он велел им замолчать и немедленно доложил вам.

Меня не очень радовал приход Блока в отель. В Бальбеке он, к сожалению, был не один, а со своими сестрами, у которых здесь было

много родни и друзей. Эта еврейская колония была не столько приятна, сколько живописна. В Бальбеке было то же самое, что и в некоторых странах, в России, в Румынии, где, как сказано в учебниках географии, еврейское население не пользуется такой благосклонностью и не ассимилировалось до такой степени, как, например, в Париже. Когда двоюродные сестры и дяди Блока или их единоверцы мужского и женского пола, державшиеся всегда вместе и не допускавшие примеси чужеродного элемента, шли в казино, одни — на «бал», другие — направляясь к баккара, то это было шествие однородное, шествие злодей, ничего общего не имевших с теми, которые на них смотрели и которые встречали их здесь ежегодно, никогда, однако, не здороваясь, а это мог быть и круг Говожо, и клан председателя суда, и крупные и мелкие буржуа, и даже простые парижские торгаши, дочери которых, красивые, гордые, надменные, насмешливые, настоящие француженки, точно статуи в Реймсе, не захотели бы смешаться с этой оравой невоспитанных девок, до того строго следовавших курортным модам, что у них всегда был такой вид, как будто они возвращаются с лова креветок или собираются танцевать танго. Что касается мужчин, то, несмотря на великолепие их смокингов и лакированных ботинок, их резко выраженный тип приводил на память работы художников, которые претендуют на «глубокое знание материала» и, берясь иллюстрировать Евангелие или «Тысячу и одну ночь», силятся представить себе страну, где происходит действие, и изображают апостола Петра или Али-Бабу точь-в-точь с таким лицом, как у самого толстого бальбекского понтера. Блок познакомил меня со своими сестрами; он обращался с ними до последней степени грубо, не давал им рта раскрыть, а сестры заливались хохотом при каждой выходке брата, их божества и кумира. Значит, вероятно, и в этой среде, как и во всякой другой, а может быть, даже больше, чем во всякой другой, были свои развлечения, достоинства и добродетели. Чтобы в этом удостовериться, нужно было в нее проникнуть. Но она не производила приятного впечатления, и она это чувствовала, она видела в этом проявление антисемитизма и выступала против него сомкнутым строем, сквозь который никто, впрочем, и не думал пробиваться.

Что касается «лайфта», то это уже не могло удивить меня, потому что несколько дней назад Блок, спросив, зачем я приехал в Бальбек (то, что он сам находится здесь, представлялось ему вполне естественным), «не надеюсь ли я завязать здесь знакомства в высших кругах», и узнав от меня, что путешествие в Бальбек было моей давней мечтой, менее, впрочем, страстной, чем путешествие в Венецию, заметил: «Да, конечно, туда стоит

поехать для того, чтобы пить с красивыми женщинами сиропы, делая вид, что читаешь „Stones of Venaice“ лорда Джона Рескина, нестерпимого пустозвона, скучнейшего чудачины». По-видимому, Блок был уверен, во-первых, что в Англии все лица мужского пола — лорды, а во-втбрЫх, что буква i всегда произносится там «ай». Сен-Лу считал, что это неверное произношение особого значения не имеет, — он расценивал это главным образом как незнание правил хорошего тона, которые он презирал именно потому, что сам знал их в совершенстве. Но, боясь, как бы Блоку в один прекрасный день не объяснили, что нужно говорить Venice и что Рескин — не лорд, и как бы Блок не подумал, что он тогда в глазах Робера оскандалился, Робер почувствовал себя виноватым, как будто он не обнаружил должной снисходительности, хотя он был как раз чересчур снисходителен, и краска стыда, которая, конечно, залила бы лицо Блока в тот день, когда он узнал бы о своей ошибке, заранее покрыла лицо Робера. Робер был убежден, что Блок придает больше значения своему промаху, чем он. Блок спустя некоторое время в этом и расписался, перебив меня, когда я сказал «лифт»:

— Ах, так надо говорить «лифт»! — И сухо, с надменным видом произнес: — Впрочем, это совершенно неважно, — произнес фразу, похожую на рефлекс; фразу, которую произносят все самолюбивые люди как в серьезных, так и в пустячных случаях жизни; фразу, при любых обстоятельствах показывающую, каким на самом деле важным представляется человеку то, о чем он говорит как о неважном; фразу иной раз трагическую, горькую, и тогда она первая излетает из уст сколько-нибудь гордого человека, которому отказывают в услуге, отнимая у него последнюю надежду: «Да это же совершенно неважно, я как-нибудь иначе выйду из положения»; иным выходом из положения, на который толкает это нечто «совершенно неважное», может быть и самоубийство.

Затем Блок наговорил мне много очень приятных вещей. Видимо, ему хотелось быть со мной как можно любезнее. Все же он спросил меня: «Это из тяготения к дворянству, — дворянству, по правде сказать, второсортному, но ведь ты же всегда был наивен, — ты дружишь с Сен-Лу-ан-Бре? Ты, наверно, сейчас переживаешь адский приступ снобизма. Скажи: ты сноб? Ведь правда, сноб?» Блок не расхотел быть со мной любезным. Но он был, если воспользоваться не совсем правильным выражением, «дурно воспитан», и этого своего недостатка он не замечал, и, уж во всяком случае, ему не могло прийти в голову, что недостаток этот может коробить других.

Среди людей обычность одинаковых достоинств не более поразительна, чем многообразие особых недостатков. Уж конечно,

«наиболее широко распространен» не здравый смысл, а доброта. Мы любуемся тем, как она, не сеянная, расцветает в самых заброшенных, в самых глухих углах, точно мак в дальнем поле, ничем не отличающийся от других маков, хотя он никогда их не видел и знал лишь ветер, время от времени колыхавший его одиноко краснеющую шапочку. Даже если доброта, обреченная на бездействие своекорыстием, никак себя не проявляет, тем не менее она существует, и когда, — например, при чтении романа или газеты, — ее не сдерживает эгоистическое побуждение, она зреет, она распускается даже в душе убийцы, любителя романов с продолжением, который всегда бывает на стороне слабого, на стороне правого и гонимого. Но разнообразие недостатков не менее удивительно, чем схожесть достоинств. У каждого столько недостатков, что, для того чтобы не разлюбить человека, нам приходится смотреть на них сквозь пальцы и прощать их ради достоинств. У самого прекрасного человека может быть недостаток, который коробит нас или возмущает. Один на редкость умен, во всем видит хорошее, ни о ком плохо не говорит, но может проносить в кармане очень важные письма, которые сам же вызвался опустить, а потом вы из-за него пропускаете свидание, от которого многое зависит, и он даже не находит нужным извиниться, да еще улыбается: он, видите ли, гордится тем, что у него нет представления о времени. Другой чуток, мягок, деликатен, сообщает вам только что-нибудь приятное, но вы чувствуете, что он умалчивает о неприятном, что он копит неприятное в своем сердце, и там оно у него загнивает, и ему так хорошо с вами, что он готов просидеть у вас до тех пор, пока вы не свалитесь от усталости. Третий откровеннее, но его откровенность доходит до того, что он не преминет довести до вашего сведения, что в тот день, когда вы, отговорившись нездоровьем, не пришли к нему, вас видели входящим в театр и вы хорошо выглядели, или что ваше содействие пригодилось ему лишь отчасти, да и потом, кроме вас, еще три человека обещали ему свое содействие, и поэтому особой признательности он к вам не испытывает. В таких случаях второй притворился что понятия не имеет о том, что вы были в театре, и не сказал бы вам, что не только вы, но и другие пришли бы ему на помощь. Третий друг испытывает потребность повторять или рассказывать другим что-нибудь крайне вам неприятное, гордится тем, что он такой прямолинейный, и твердо заявляет: «Уж какой я есть». Иные надоедают вам непрошеным любопытством или уж полнейшим нелюбопытством, и этим вы можете рассказывать о каком-нибудь чрезвычайном происшествии, а они даже не поинтересуются, в чем, собственно, дело; иные по месяцам не отвечают на ваши письма, если они

касаются вас, а не их, или же предупредят вас, что придут к вам с просьбой, и вы зря проеидите дома, потому что они так и не придут, и вы напрасно прождете их две-три недели только из-за того, что не ответили на их письмо, хотя оно и не требовало ответа, а они решили, что вы на них сердиты. Некоторые, если им весело и хочется провести с вами время, хотя бы у вас было срочное дело, думая только о себе и нисколько — о вас, рассказывают что-нибудь, не давая вам вставить слово, но если их раздражает погода или если они в дурном настроении, вы из них слова не вытянете, все ваши усилия разбиваются об их истомную лень, и они даже не дают себе труда отвечать вам хотя бы односложно, как будто они вас не слышат. У каждого из наших друзей столько недостатков, что, для того чтобы не разлюбить их, нам приходится утешаться тем, что они талантливы, добры, ласковы, или, призвав на помощь всю свою волю, смотреть на их недостатки сквозь пальцы. К сожалению, над снисходительным упорством, с каким мы стараемся не замечать пороки нашего друга, берет верх упорство, с каким наш друг предается этим порокам — то ли потому, что он сам ослеплен, то ли потому, что он считает слепыми других. Он не видит своих пороков или воображает, что их не видят другие. Опасность не понравиться проистекает главным образом из трудности установить, что у нас незаметно, а потому — по крайней мере, из предосторожности — никогда не следует говорить о себе, ибо вы можете быть уверены, что на этот предмет у вас с любым собеседником будут разные точки зрения. Когда мы входим в настоящую жизнь другого человека — в действительный мир, находящийся внутри мира видимого, мы бываем поражены так, словно проникли в дом, снаружи ничего собой не представляющий, но где полным-полно драгоценностей, отмычек, трупов, и в не меньшей степени бываем поражены, когда вместо образа. какой мы создали, руководствуясь тем, что слышали от многих, из разговора, который они вели о нас в нашем отсутствии, складывается совершенно иной образ, свидетельствующий о том, что они представляют себе нашу жизнь и нас самих по-другому. Следовательно, когда мы говорим о себе, мы можем быть уверены, что наши безобидные и осторожные слова, которые были выслушаны внешне почтительно и даже встретили неискреннее одобрение, породят злые или веселые, но, во всяком случае, неблагоприятные для нас толки. Наименьший риск — это вызвать раздражение несоответствием нашего представления о самих себе нашим словам, несоответствием, в силу которого суждения людей 6 самих себе обычно так же смешны, как мурлыканье горе-любителей пения, которые испытывают потребность напевать любимый мотив и силятся восполнить

нечленораздельное свое урчание выразительной мимикой и написанным на лице восторгом, который мы не можем разделить. К дурной привычке говорить о себе и о своих недостатках надо прибавить другую, тесно с ней связанную, — отыскивать у других те же самые недостатки, которые есть у нас. Именно об этих недостатках мы говорим постоянно: это дает возможность говорить о себе, Хотя и не прямо, — возможность, сочетающую в себе удовольствие самооправдания с удовольствием самообвинения. Впрочем, должно быть, наше внимание, которое всегда привлекают характерные наши черты, яснее всего различает эти же черты и у других. Близорукий говорит о другом близоруком: «Да он почти не видит»; чахоточный сомневается, здоровы ли легкие у самого крепкого человека; у нечистоплотного только и разговору, что о людях, которые не моются; от человека от самого плохо пахнет, а он жалуется на тяжелый воздух; обманутый муж повсюду видит обманутых мужей; женщина легкого поведения — женщин легкого поведения; сноб — снобов. Притом, всякий порок, равно как и всякая профессия, требует от человека и развивает в нем специальные знания, которыми он не прочь щегольнуть. Облеченный властью унюхивает облеченных властью, портной, которого вы пригласили к себе, не успев заговорить с вами, уже определил стоимость материи, из которой сшит ваш костюм, и в пальцах у него зуд — ему так и хочется пощупать его, а если вы, поговорив несколько минут с зубным врачом, спросите его, какого он о вас мнения, он скажет, сколько у вас плохих зубов Это представляется ему самым важным, тогда как вам, заметившему плохие зубы у него, это кажется в нем самым смешным. Мы верим, что другие слепы, не только когда говорим о себе; мы и действуем так, как будто они слепы. У каждого из нас есть особый бог, и он скрывает от нас наши недостатки или обещает, что их никто не заметит, подобно тому как он закрывает глаза и затыкает ноздри людям, которые не моются, чтобы они не знали, что у них грязные уши, не чувствовали, что из-под мышек у них пахнет потом, и уверяет их, что они смело могут идти куда угодно — никто не обратит внимания. А те, что носят или дарят поддельный жемчуг, воображают, что его примут за настоящий. Блок был дурно воспитан, он был невропатом, снобом; принадлежа к малопочтенному семейству, он, как на дне моря, испытывал на себе бесчисленное множество давлений, и давили на него не только державшиеся на поверхности христиане, но и слои еврейских каст, которые занимали более высокое положение, чем его каста, и каждая из которых подавляла своим величием ту, что находилась как раз под ней. Чтобы выбраться на свежий воздух сквозь пласты еврейских семейств. Блоку

понадобилось бы несколько тысячелетий. Надо было искать другой выход.

Когда Блок заговорил со мной о том, что я будто бы переживаю приступ снобизма, и добивался от меня ответа на вопрос, сноб я или нет, я мог бы ему ответить:

«Будь я снобом, я бы с тобой не знался». Но я только заметил, что он не слишком любезен. Он стал извинятья, но так, как извиняется дурно воспитанный человек, которому доставляет огромное удовольствие повторять свои слова, тем самым оттеняя их. «Ты уж меня прости, — говорил он мне при каждой встрече, — я тебя огорчил, я причинил тебе боль, я был с тобой жесток без всякой причины. И все же, — человек вообще и твой друг в частности — странное животное, — ты не можешь себе представить, как нежно — несмотря на мои злые шутки — я тебя люблю. Часто, думая о тебе, я плачу — именно от нежности». И тут он всхлипнул.

Еще больше, чем дурные манеры, меня удивляло, что он был очень неровен как собеседник. Этот разборчивый мальчишка, говоривший о наиболее читаемых писателях: «Полный идиот, круглый дурак», иногда весело рассказывал анекдоты, в которых не было ничего смешного, и ссылался, как на «действительно замечательного человека», на совершеннейшую бездарность. Эта двойственность, проявлявшаяся у него в суждениях об уме человека, об его достоинствах, об его интересности, удивляла меня до тех пор, пока я не познакомился с Блокомотцом.

Я не предполагал, что мы когда-нибудь удостоимся чести познакомиться с ним: Блок-отец отрицательно отозвался обо мне в разговоре с Сен-Лу, а в разговоре со мной — о Сен-Лу. Роберу Блок сказал, что я (всегда!) был ужаснейшим снобом. «Да, да, он счастлив, что знаком с Л-л-л-легранденом», — объявил он. Манера выделять то или иное слово являлась у Блока выражением иронии и вместе с тем изысканности. Фамилия Леграндена ничего не говорила Сен-Лу. «Кто это?» — спросил он с удивлением. «О, это человек *весьма почтенный!»* — смеясь, ответил Блок, зябко засовывая руки в карманы пиджака, и в эту минуту ему казалось, что он видит перед собой колоритную фигуру из ряда вон выходящего провинциального дворянина, по сравнению с которым провинциальные дворяне Барбе д'0ревильи — ничто. Блок не сумел бы нарисовать портрет Леграндена, — он вознаграждал себя тем, что увеличивал число «л» в его фамилии и смаковал ее как самое вкусное вино. Это были его субъективные ощущения — никто их с ним не разделял. Если он отрицательно отозвался обо мне в разговоре с Сен-Лу, то ведь столь же отрицательно отозвался он о Сен-Лу в разговоре со мной. Мы на другой же

день узнали во всех подробностях, как он нас расписал, хотя мы ничего друг другу не передавали, — мы оба сочли бы это постыдным, а Блок, напротив, считал это вполне естественным и почти неизбежным; встревоженный, будучи уверен, что сообщает ему и мне то, что мы все равно узнаем, он предпочел забежать вперед и, отведя Сен-Лу в сторону, признался, что говорил о нем плохо нарочно, чтобы ему это передали, поклялся «Кронионом Зевсом, хранителем тайн», что любит его, что готов отдать за него жизнь, и смахнул слезу. В тот же день он, выбрав время, когда я был один, покаялся и заявил, что действовал в моих интересах, ибо, по его мнению, некоторые светские знакомства для меня пагубны и вообще я «могу претендовать на лучшее». Тут Блок, расчувствовавшись, как пьяный, хотя опьянение его было чисто нервное, взял меня за руку. «Верь мне, — сказал он, — пусть меня сейчас же схватит черная Кера и увлечет за порог ненавистного людям Гадеса, если вчера, думая о тебе, о Комбре, о безграничной нежности, какую я к тебе испытываю, о том, как мы с тобой вместе учились, хотя ты-то этого не помнишь, я не рыдал всю ночь. Да, всю ночь, клянусь тебе, но увы: я знаю человеческую душу, и я убежден, что ты мне не веришь». Я и в самом деле не верил; клятва с упоминанием Керы не придавала большого веса его словам, которые, как мне подсказывало мое чутье, он только сейчас придумал, ибо эллинский культ был у Блока чисто литературным. Расчувствовавшись и желая, чтобы кто-нибудь другой расчувствовался от его лжи, он всякий раз восклицал: «Клянусь тебе»; впрочем, он произносил эти слова не столько потому, что непременно хотел убедить другого в своей искренности, сколько потому, что, когда он лгал, он испытывал какое-то истерическое наслаждение. Я не верил ему, но не сердился, потому что унаследовал черту моей мамы и бабушки: я не возмущался даже теми, кто поступал гораздо хуже, и никогда никого не осуждал.

Впрочем, о Блоке нельзя было сказать, что он безнадежно испорчен, он мог быть и очень мил. И с тех пор как комбрейское племя, к которому принадлежали люди такой безупречной порядочности, как моя бабушка и моя мать, почти вымерло и у меня не осталось иного выбора, кроме как между честными животными, бесчувственными и преданными, самый звук голоса которых сразу дает понять, что ваша жизнь их совершенно не интересует, и другой породой людей, которые, пока они с вами, понимают вас, обожают вас, умиляются до слез, несколько часов спустя вознаграждают себя за это жестокой шуткой над вами, а затем возвращаются к вам все такие же чуткие, такие же очаровательные, так же мгновенно к вам приноравливаются, я, пожалуй что, отдаю предпочтение

этому сорту людей — отдаю «е потому, чтобы они были лучше по душе, а потому, что их общество мне нравится больше.

— Ты не представляешь себе, как я страдаю, когда думаю о тебе, — продолжал Блок. — В сущности, это черта очень еврейская, — насмешливо добавил он и прищурил один глаз, словно ему предстояло определить с помощью микроскопа бесконечно малое количество «еврейской крови», — так мог бы сказать, но никогда не сказал бы, французский вельможа, среди предков которого, самых настоящих христиан, был ведь и Самуил Бернар, а если идти по восходящей линии дальше, то и Богоматерь, от которой якобы ведет свое происхождение род Леви. — Мне доставляет некоторое удовольствие открывать в себе чувства, — правда, их совсем не так много, — которые могут быть объяснены моей еврейской национальностью. — Он сказал эту фразу, так как ему казалось остроумным и вместе с тем смелым говорить правду о своей расе — правду, которую он, пользуясь тем же случаем, старался особым образом смягчать, подобно скупцам, которые решаются расплатиться с долгами, но у которых хватает духу заплатить не больше половины. Этот род обмана, который заключается в том, что у нас хватает смелости высказать правду, непременно примешав к ней изрядную долю лжи, искажающей правду, распространен шире, чем это кажется, и даже те, кто обыкновенно им пренебрегает, при какой-нибудь невзгоде, в особенности — сердечной, обращаются к нему.

Все эти тайные выпады Блока против меня в разговорах с Сен-Лу и против Сен-Лу в разговорах со мной кончились приглашением на обед. Я не ручаюсь, что он не предпринял сначала попытки позвать Сен-Лу одного. Такая попытка правдоподобна, а следовательно, возможна; успехом она, однако, не увенчалась, потому что однажды Блок сказал мне и Сен-Лу: «Дорогой мэтр и вы, всадник — любимец Ареса, де Сен-Лу-ан-Бре, укротитель коней! Раз уж я встретил вас в пеннозвучных владениях Амфитриды, под тентами Менье, на быстрокрылых кораблях, то не угодно ли вам обоим прийти откушать на этой седмице к доблестному моему отцу, славящемуся чистотою своей души?» Он звал нас, потому что хотел поближе сойтись с Сен-Лу: он надеялся, что Сен-Лу введет его в аристократические круга. Если б захотел проникнуть туда я — и ради самого себя, — Блок усмотрел бы в этом проявление самого мерзкого снобизма, вполне соответствовавшего мнению, какое он себе составил об одной черте моего характера, которую он, однако, не считал — по крайней мере, до сих пор — основной; но в том же самом желании, возникшем у него, он видел доказательство благородной пытливости его ума,

жаждущего новой социальной среды, впечатления от которой, быть может, пригодились бы ему как писателю. Блок-отец, узнав, что его сын собирается привести обедать своего приятеля, имя и титул которого он произнес саркастически хвастливо: «Маркиз де Сен-Лу-ан-Бре», — был потрясен. «Маркиз де Сен-Лу-ан-Бре! Ах, разрази его?» — выругался он — так всегда выражался у него предел почтительности к высшим кругам. И бросил на сына, сумевшего завязать такое знакомство, восхищенный взгляд, которым он хотел сказать: «Ну и удивил! Неужели этот вундеркиндмой сын?» — и который доставил моему товарищу такое же удовольствие, как если бы его ежемесячное содержание увеличилось на пятьдесят франков. Дело в том, что дома Блок чувствовал себя неважно, — он знал, что отец смотрит на него как на свихнувшегося из-за его увлечения Леконтом де Лилем, Эредиа и прочей тому подобной «богемой». Но знакомство с Сен-Лу-ан-Бре, отец которого — председатель компании Суэцкого канала (ах, разрази его!), — это «приобретение» бесспорное. Вот только жаль, что побоялись испортить и потому оставили в Париже стереоскоп. Только Блок-отец умел или, по крайней мере, имел право пользоваться им. Да и показывал-то он его изредка, с заранее обдуманным намерением, в дни, когда звались гости и дополнительно нанималась мужская прислуга. Таким образом стереоскопические эти сеансы являлись как бы знаком особого внимания, особого благоволения к гостям, а устраивавшему сеансы хозяину дома они придавали такой же вес, какой придает человеку талант, точно и снимки делал, и аппарат изобрел он сам. «Вы не были вчера у Соломона?» — спрашивали друг друга родственники. «Нет, я в число избранных не попал! А что там было?» — «Крик-шум, стереоскоп и разные штучки-мучки». — «Ах, и стереоскоп? Тогда жаль, что меня не было, — я слыхал, Соломон здорово показывает».

— Ну ничего, — сказал сыну Блок, — не все сразу, это будет для него приманкой на будущее.

Отеческая нежность Блока доходила до того, что, желая порадовать сына, он подумывал, не выписать ли стереоскоп. Но времени уж «фактически» не было, или казалось, что не было. А между тем обед пришлось отложить из-за нас: Сен-Лу поджидал дядю, который собирался пробыть два дня у маркизы де Вильпаризи. Дядя очень увлекался физическими упражнениями, особенно ходьбой на далекие расстояния, и он хотел большую часть пути от замка, где он отдыхал, пройти пешком, ночуя на фермах, а потому никто не мог бы сказать определенно, когда именно он дойдет до Бальбека. Сен-Лу, боясь выйти из отеля, просил меня даже отправлять из Энкарвиля, где была телеграфная контора, телеграммы

его любовнице, а посылал он их ежедневно. Дядю звали Паламед — это имя он унаследовал от предков, князей сицилийских. Позднее, прочтя в книге по истории, что какой-нибудь подеста или князь церкви носил то же имя, эту прекрасную медаль эпохи Возрождения, — а по мнению иных, подлинно античную, — всегда остававшуюся в семье, переходившую из рода в род, от собраний Ватикана дошедшую до дяди моего друга, я испытывал наслаждение, достающееся в удел тем, у кого нет денег, чтобы собирать коллекцию медалей, пинакотеку, кто довольствуется розысками старых имен (имен местностей, имен подлинных и разноцветных, как старая карта, как общий вид, знамя или свод правовых обычаев; имен, данных при крещении, где, в красивых французских окончаниях, звучат и слышатся недостатки языка, просторечные интонации, неправильности произношения, все те искажения, которым наши предки долго подвергали латинские я саксонские слова и которые с течением времени стали верховными законодателями для грамматик), словом, кто благодаря таким коллекциям старинных звучаний устраивает для себя концерты, подобно людям, покупающим viola da gamba или viola d'amore, чтобы исполнять на старинных инструментах музыку былых времен. Сен-Лу сообщил мне, что даже в замкнутом аристократическом кругу его дядя Паламед славится своей необыкновенной неприступностью, что он надменен, гордится своей знатностью и что он, жена его брата и еще несколько избранников образовали так называемый «клуб фениксов». Но и там он так всех запугал своей заносчивостью, что прежде бывали случаи, когда люди из высшего общества просили познакомить их с ним его родного брата и нарывались на отказ: «Нет, вы уж меня не просите, чтобы я вас представил моему брату Паламеду. Моя жена, мы все здесь бессильны. Или он будет с вами нелюбезен, а мне бы этого не хотелось». Вместе со своими друзьями он составил список членов Джокей-клоба, с которыми он ни за что на свете не стал бы знакомиться, — в список попали двести человек. А у графа Парижского он за свою элегантность и за свое высокомерие получил прозвище «Принц».

Сен-Лу рассказывал мне о давно минувшей молодости своего дяди. Каждый день дядя приводил женщин на холостяцкую квартиру, которую он нанимал вместе с двумя приятелями, такими же красавцами, как он, за что их и прозвали «тремя Грациями».

— Как-то один человек, который теперь, как сказал бы Бальзак, очень на виду в Сен-Жерменском предместье, а в первоначальный, довольно мрачный период проявлял странные наклонности, попросил моего дядю отвезти его к себе на холостяцкую квартиру. Но не успел он туда войти, как

начал объясняться в любви не женщинам, а моему дяде Паламеду. Дядя сделал вид, что не понял, под каким-то предлогом увел двух своих приятелей в соседнюю комнату, потом они вернулись, схватили преступника, раздели, избили до крови и в десятиградусный мороз вышвырнули на улицу, там он был найден полумертвым, началось следствие, и бедняге с невероятным трудом удалось замять это дело. Теперь мой дядя не учинил бы столь жестокой расправы, более того: ты не можешь себе представить, скольких простолюдинов он, такой гордый с людьми светскими, обласкал, скольким оказал протекцию, не рассчитывая на благодарность. Он находит место в Париже лакею, который прислуживал ему в отеле, дает деньги крестьянину на обучение ремеслу. Это даже скорее мило в нем, особенно по контрасту с его поведением в свете. — Сен-Лу принадлежал к числу светских молодых людей, которые уже достигли такой высоты, что могли позволить себе выражения вроде: «Это даже скорее мило в нем, это его хорошая сторона», а из этих диковинных зародышей очень скоро потом вырастал взгляд на вещи, согласно которому ты — ничто, а народ — все; словом, полная противоположность плебейской гордости. — Говорят, нельзя себе представить, как он в молодости задавал тон, каким он был законодателем для всего общества. Он при любых обстоятельствах делал только то, что ему было очень приятно, очень удобно, и ему наперебой начинали подражать снобы. Если в театре его мучила жажда и ему приносили питье в ложу, то на следующей неделе во всех маленьких комнатках при каждой ложе стоял строй бутылок с прохладительными напитками. Как-то, дождливым летом, он заболел ревматизмом в легкой форме, и он заказал себе пальто из тонкой, но теплой вигони, из которой делаются только дорожные одеяла, а ему понравились синие и оранжевые полосы на этой ткани. После этого знаменитым портным клиенты сейчас же стали заказывать синие мохнатые пальто с бахромой. Если дяде почему-нибудь хотелось, чтобы не было никакой торжественности за обедом в замке, куда он приезжал на целый день, и, с целью подчеркнуть это, он не брал с собой фрака и садился за стол в том самом пиджаке, в котором ходил до обеда, то сейчас же становилось модным обедать за городом в пиджаке. Если он ел пирожное не ложечкой, а вилкой, или же приспособлением собственного изобретения, которое он заказывал ювелиру, или пальцами, то есть иначе уже не полагалось. Ему захотелось снова послушать некоторые квартеты Бетховена (несмотря на все свои нелепые затеи, он далеко не глуп и очень талантлив), и он сговорился с музыкантами, чтобы они каждую неделю играли их ему и его друзьям. В тот же год высшей степенью изысканности считалось

устраивать малолюдные вечера, на которых исполнялась камерная музыка. Вообще, я уверен, что скучать ему не приходилось. Такой красавец, как он, не мог не иметь успеха у женщин! Я не сумел бы вам сказать, у кого именно, потому что он очень скрытен. Знаю только, что он ловко обманывал мою бедную тетку. И тем не менее он был с ней необыкновенно мил, она его обожала, и он долго потом оплакивал ее. В Париже он бывает на кладбище почти ежедневно.

На другой день после того, как Робер, напрасно прождав дядю, все это мне про него рассказал, я шел один в отель мимо казино и вдруг почувствовал, что кто-то на меня смотрит вблизи. Я обернулся и увидел мужчину лет сорока, очень высокого и довольно плотного, с очень черными усами, — нервно похлопывая тросточкой по брюкам, он не спускал с меня глаз, расширившихся от пристальности. По временам их просверливал и вдоль и поперек чрезвычайно живой взгляд — так смотрит на незнакомца человек, почему-либо наведенный им на мысли, которые никому другому не пришли бы в голову: например, сумасшедший или шпион. Бросив на меня последний взгляд, дерзкий и вместе с тем осторожный, глубокий и быстрый, точно выстрел, — так стреляют перед тем, как броситься бежать, — он огляделся по сторонам, внезапно принял рассеянный и надменный вид, круто повернулся и начал читать афишу, что-то напевая и поправляя пышную розу в петлице. Затем вынул из кармана записную книжку, сделал вид, что списывает название пьесы, объявленной в афише, несколько раз посмотрел на часы, надвинул на глаза черное канотье, приставил к нему руку козырьком, как бы высматривая кого-то, сделал недовольный жест, который означал, что ждать ему надоело, но который люди не делают, если они действительно ждут, потом, сдвинув на затылок шляпу, под которой оказалась щетка коротко остриженных волос, что не исключало, однако, что с боков у него могли быть довольно длинные волнистые голубиные крылья, он шумно вздохнул, как вздыхают люди, которым совсем не так жарко, но которые хотят показать, что они задыхаются от жары. Я подумал, что это гостиничный жулик, что он, может быть, уже несколько дней следит за бабушкой и за мной, чтобы нас ограбить, и сейчас убедился, что я понял, зачем он меня караулит; быть может, только для того, чтобы сбить меня с толку, он и старался, переменив позу, изобразить рассеянность и безучастность, но он так резко это подчеркивал, что казалось, будто он задался целью не только усыпить мою бдительность, но и отомстить за обиду, которую я нечаянно ему причинил, не столько создать впечатление, что он меня не видит, сколько показать, что я ничтожество, на которое не стоит обращать внимание. Он вызывающе

выпячивал грудь, поджимал губы, подкручивал усы, а в его взгляде было что-то глубоко равнодушное, недоброе, почти оскорбительное. Словом, выражение лица у него было до того странное, что я принимал его то за вора, то за душевнобольного. А его костюм, с иголочки, был несравненно строже и несравненно проще, чем у всех бальбекских купальщиков, и при взгляде на него я перестал краснеть за мой пиджак, который так часто унижала ослепительная и пошлая белизна их пляжных костюмов. Навстречу мне шла бабушка, мы погуляли вдвоем, а через час, когда я ждал ее около отеля, куда она зашла на минутку, я увидел, что из отеля выходит маркиза де Вильпаризи с Робером де Сен-Лу и тем самым незнакомцем, который смотрел на меня не отрываясь около казино. С быстротой молнии пронзил меня его взгляд, как и в тот момент, когда я обратил на него внимание впервые, и, словно не заметив меня, опять слегка опустился и, утратив остроту, стал смотреть прямо перед собой, подобно тому безразличному взгляду, который притворяется, что ничего не видит вовне и не выражает того, что внутри, взгляд, говорящий лишь о том, как приятно ему ощущать вокруг себя ресницы, которые он раздвигает ханжескою своею округлостью, взгляд богомольный и слащавый, какой бывает у иных лицемеров, фатовской взгляд, какой бывает у иных глупцов. Я заметил, что этот человек переоделся. Теперь на нем был костюм потемнее, — настоящая элегантность, конечно, ближе к простоте, чем ложная; но тут было и нечто другое: вблизи чувствовалось, что одежда почти бескрасочна не потому, чтобы человек, изгнавший краски, был к ним равнодушен, а скорее потому, что по каким-то соображениям он предпочитает от них отказаться. Казалось, будто строгость, какою отличался его костюм, скорее есть следствие приверженности определенным правилам, чем нелюбви к яркости. Темно-зеленая ниточка в ткани его брюк гармонировала с полосками на носках, и только эта тонкость и указывала на живость вкуса: всюду он был приглушен, а здесь ему из милости сделали уступку; что же касается красного пятнышка на галстуке, то оно было незаметно, как вольность, на которую мы не отваживаемся.

— А, здравствуйте! Позвольте вам представить моего племянника, барона Германтского, — обратилась ко мне маркиза де Вильпаризи, а в это время незнакомец, не глядя на меня, пробормотал нечленораздельное: «Очень приятно», — затем, чтобы дать почувствовать, что его любезность — вынужденная, произнес: «Хм, хм, хм», — и, согнув мизинец, указательный и большой пальцы, протянул мне средний и безымянный, на которых не было колец и которые я пожал сквозь его шведскую перчатку; потом, так и не подняв на меня глаз, он повернулся к маркизе де

Вильпаризи.

— Боже мой, я совсем с ума сошла, — сказала она, — назвала тебя бароном Германтским! Позвольте вам представить барона де Шарлю. Впрочем, это не такая уж большая ошибка, — добавила она, — ты же все-таки Германт.

Тут подошла бабушка, мы отправились все вместе. Дядя Сен-Лу не только не соблаговолил сказать мне хоть слово — он даже не взглянул на меня. Незнакомцев он оглядывал (во время этой короткой прогулки он раза два-три бросал жуткий, глубокий зондирующий взгляд на прохожих — людей все незначительных, самого простого звания), а на знакомых, насколько я мог судить по себе, не смотрел ни секунды, — так сыщик не следит за друзьями, потому что это ему не вменяется в обязанность. Между ним, бабушкой и маркизой де Вильпаризи завязался разговор, а я пошел сзади с Сен-Лу.

— Скажите, я не ослышался: маркиза де Вильпаризи сказала вашему дяде, что он Германт?

— Ну конечно; он — Паламед Германтский.

— Из тех Германтов, у которых есть замок недалеко от Комбре и которые считают, что они произошли от Женевьевы Брабантской?

— Из тех самых. Геральдичнее, чем мой дядя, нет никого на свете, так вот он объяснил бы вам, что нашим *кличем* , нашим боевым кличем, которым потом стало «Расступись!», раньше было «Комбрези», — сказал Сен-Лу и засмеялся, чтобы я не подумал, что он кичится этим преимуществом: на клич имели право особы едва ли не королевского рода, крупные полководцы. — Он брат нынешнего владельца замка.

Так оказалась родственницей Германтов, — и к тому же очень близкой, — та самая маркиза де Вильпаризи, которая долгое время оставалась для меня дамой, подарившей мне, когда я был маленький, утку, державшую в клюве коробку шоколада, дамой, которая была тогда так далека от направления к Германту, словно ей не позволялось выйти за пределы направления к Мезеглизу, которая казалась мне даже не такой блестящей, как комбрейский оптик, которую я считал ниже его и которая теперь внезапно повысилась в цене так же сказочно, как обесцениваются иные принадлежащие нам предметы, причем эти повышения и понижения вносят в нашу юность и во времена нашей жизни, еще что-то сохраняющие от нашей юности, изменения столь же многочисленные, как Овидиевы метаморфозы.

— Правда, что в этом замке собраны бюсты всех бывших владельцев Германта?

— Да, это восхитительное зрелище, — насмешливо произнес Сен-Лу. — Откровенно говоря, по-моему, это довольно потешно. Но в Германте — это будет поинтереснее! — есть очень трогательный портрет моей тетки, написанный Карьером. Это так же прекрасно, как Уистлер или Веласкес, — добавил Сен-Лу, — в своем рвении неофита он иногда терял точное представление о величине. — Есть там и умилительные картины Гюстава Моро. Моя тетка — племянница вашей приятельницы— маркизы де Вильпаризи, маркиза воспитала ее, и она вышла замуж за своего двоюродного брата, который тоже доводится племянником моей тетке Вильпаризи, — за нынешнего герцога Германтского.

— А кто же ваш дядя?

— У него титул барона де Шарлю. По правилам после смерти моего двоюродного деда дядя Паламед должен был получить титул принца де Лом, который был у его брата до того, как он стал герцогом Германтским, — в этой семье титулы меняются, как сорочки. Но у дяди на все это особый взгляд. По его мнению, теперь несколько злоупотребляют титулами итальянских герцогов, испанских грандов и так далее, и хотя ему предоставлялся выбор между то ли четырьмя, то ли пятью титулами принца, он из духа противоречия и из желания показать, какой он простой, хотя за этой простотой скрывается великая гордыня, сохранил титул барона де Шарлю. Он так рассуждает: «Нынче все принцы, надо же хоть чем-нибудь отличаться от других; я буду носить титул принца, только когда предприму путешествие инкогнито». Он утверждает, что нет более древнего титула, чем титул барона де Шарлю; чтобы доказать, что этот титул старше титула Монморанси, которые не по праву называли себя первыми баронами Франции, хотя они всего лишь первые бароны Иль-де-Франса, где находилась их вотчина, дядя будет вам это втолковывать часами и с удовольствием: ведь он человек хотя и очень тонкий, очень одаренный, а все же считает это животрепещущей темой для разговора, — улыбаясь, заметил Сен-Лу. — Но я не в него, и вы не заставите меня говорить о генеалогии: что может быть скучнее, кого это может теперь волновать? Право, жизнь коротка.

Теперь я узнал в этом неумолимом взгляде, который заставил меня обернуться у казино, тот самый взгляд, который был обращен на меня в Тансонвиле, когда г-жа Сван позвала Жильберту.

— Вы мне сказали, что у вашего дяди, барона де Шарлю, было много любовниц. А госпожа Сван — тоже?

— Нет, что вы! Он большой друг Свана, всегда горячо защищал его. Но ни у кого и в мыслях не было, что он любовник его жены. Если бы свет

узнал, что вы так думаете, это бы всех удивило.

Я не решился ему возразить, что если б в Комбре узнали, что я так не думаю, там это удивило бы всех еще больше.

Де Шарлю очаровал бабушку. Правда, он придавал чрезвычайно важное значение вопросам происхождения и положения в обществе, и бабушка это заметила, но отнеслась к этому без той строгости, которая слагается обычно из тайной зависти и из раздражения при мысли, что другой пользуется желанными, но недоступными преимуществами. Напротив, довольная судьбой и нисколько не жалевшая о том, что живет не в таком блестящем обществе, бабушка, при ее уме подмечая недостатки де Шарлю, отзывалась о нем с гой безразличной, улыбчивой, почти сочувственной благожелательностью, какою мы вознаграждаем объект наших бескорысгных наблюдений за доставляемое удовольствие, а тут к тому же таким объектом был человек, притязания которого она считала если и не законными, то, во всяком случае, своеобычными, довольно резко отличавшими его от тех, что ей уже примелькались. Но аристократические предрассудки бабушка так легко прощала де Шарлю главным образом за умственные способности и восприимчивость, которыми он был, видимо, щедро наделен — в отличие от стольких светских людей, служивших Сен-Лу мишенью для насмешек. В противоположность племяннику дядя не пожертвовал предрассудками ради высших устремлений. О де Шарлю скорее можно было сказать, что он совмещает в себе и то и другое. Обладатель, на правах потомка герцогов Немурских и принцев Ламбальских, архивов, мебели, гобеленов, портретов Рафаэля, Веласкеса, Буше, которые писали его предков, имевший основания говорить, что, пробегая семейную хронику, он посещает музей и единственную в своем роде библиотеку, де Шарлю, напротив, возводил наследие аристократии на степень, с которой племянник низводил его. И еще, пожалуй, вот что: в меньшей степени идеолог, чем Сен-Лу, менее словоохотливый, смотревший на людей с более реалистической точки зрения, он не желал терять в их глазах важного слагаемого своего престижа, а престиж не только доставлял его воображению бескорыстное наслаждение, но и нередко служил сильно действующим вспомогательным средством в его практической деятельности. Спор остается нерешенным между людьми этого разбора и теми, кто следует своему идеалу, понуждающему их отказаться от своих преимуществ с тем, чтобы стремиться только к осуществлению идеала, подобно художникам, писателям, жертвующим своим мастерством, подобно народам с художественным вкусом, которые увлекаются модерном, народам воинственным, которые становятся инициаторами

всеобщего разоружения, подобно пользующимся неограниченной властью правительствам, которые демократизируются и отменяют суровые законы, несмотря на то, что чаще всего жизнь не вознаграждает их благородных усилий; одни утрачивают талант, другие теряют свое многовековое господство; пацифизм иногда порождает войны, снисходительность способствует увеличению преступности. Стремление Сен-Лу к искренности и к раскрепощению нельзя было не признать в высшей степени благородным, но, с другой стороны, если судить с практической точки зрения, можно было порадоваться, что его нет у де Шарлю, потому что он перевез к себе из особняка Германтов почти всю чудную резную мебель, а не сменил ее, как его племянник, на обстановку стиль-модерн, на Лебуров и Гильоменов. Правда, идеал де Шарлю был крайне надуманным и — если только эти определения подходят к слову «идеал» — столько же светским, сколь и художественным. Лишь очень немногие женщины, необыкновенно красивые, высокой культуры, предки которых два века тому назад олицетворяли славу и изящество старого режима, казались ему изысканными, ему было хорошо только с ними, и восторг его, само собой разумеется, непритворный, подогревался историческими и художественными реминисценциями, сопряженными с их именами, — так знание древнего мира усиливает восхищение ученого одой Горация, быть может уступающей современной поэзии, к которой он остался бы равнодушен. Рядом с хорошенькой мещаночкой любая из этих женщин была для него точно находящаяся по соседству с современным холстом, изображающим дорогу или же свадьбу, старинная картина, история которой хорошо известна, начиная с того момента, когда ее заказал папа или король, и дальше, когда ее дарили, покупали, отнимали, получали в наследство такие-то и такие-то, с кем связано какое-нибудь событие, по крайней мере — брак, представляющий исторический интерес, — следовательно, наши сведения о картине придают ей особую ценность тем, что усиливают в нас ощущение богатства нашей памяти и познаний. Де Шарлю радовался, что такие же, как у него, предрассудки, не позволявшие этим знатным дамам поддерживать знакомство с женщинами менее чистой крови, сохранили их для его культа невредимыми, со всем их нерастраченным благородством, подобно фасадам XVIII века, поддерживаемым плоскими колоннами розового мрамора, в которых новые времена ничего не изменили.

Де Шарлю славил истинное *благородство* ума и сердца этих женщин, играя на том, что слово «благородство» имеет два значения, и обманывая себя самого ложностью этого неправильного понимания, этой смеси аристократизма, великодушия и артистичности, — ложностью, в которой

таится соблазн, опасный для таких людей, как моя бабушка, которой показался бы очень смешным более грубый, но зато более наивный предрассудок вельможи, интересующегося только родословным древом и больше ничем, но которая была беззащитна перед личиной интеллектуального превосходства — беззащитна до такой степени, что ей казалась особенно завидной участь принцев только потому, что их воспитателями могли быть Лабрюйер или Фенелон.

У Гранд-отеля трое Германтов расстались с нами; они шли завтракать к принцессе Люксембургской. Когда бабушка прощалась с маркизой де Вильпаризи, а Сен-Лу — с бабушкой, де Шарлю, до сих пор не сказавший мне ни слова, отошел назад, поближе ко мне. «Вечером, после ужина, я буду пить чай у моей тети, Вильпаризи, — сказал он. — Надеюсь, вы с бабушкой не откажете мне в удовольствии прийти». Затем он догнал маркизу.

Несмотря на воскресный день, фиакров около отеля стояло не больше, чем в начале сезона. Например, жена нотариуса находила, что каждый раз нанимать экипаж только для того, чтобы не ехать к Говожо, — это ей не по карману, и оставалась у себя в номере.

— Что, госпожа Бланде здорова? — спрашивали у нотариуса. — Ее сегодня не видно.

— У нее голова побаливает — жарко, гроза. Ей ведь достаточно любого пустяка. Но все-таки вечером вы ее, наверно, увидите. Я советую ей сойти. Это ей только полезно.

Я думал, что, приглашая нас к тете, которую он, конечно, предупредил, де Шарлю хотел загладить неучтивость, которую он допустил по отношению ко мне во время утренней прогулки. Но когда, войдя в гостиную маркизы де Вильпаризи, я хотел поздороваться с ее племянником, то, сколько я вокруг него ни вертелся, пока он тонким голосом рассказывал довольно некрасивую историю про своего родственника, мне так и не удалось поймать его взгляд; я было решил поздороваться с ним, и довольно громко, чтобы заявить о своем присутствии, но я понял, что он меня заметил: когда я ему поклонился, еще не успев сказать ни единого слова, он протянул мне два пальца, не повернувшись в мою сторону и не прервав разговора. Вне всякого сомнения, он меня видел, хотя никак этого не показывал, и тут я обратил внимание, что глаза его, никогда не смотревшие на собеседника, бегают, как у испуганного животного или как у торгующего на улице запретным товаром, показывающего и расхваливающего свой товар, но не поднимающего головы и поводящего глазами, не идет ли полиция. Меня слегка удивило, что маркиза де

Вильпаризи хотя и была нам рада, но, по-видимому, не ждала нас, однако меня еще больше удивило, что де Шарлю обратился к моей бабушке с такими словами: «Ах, как это вы хорошо придумали, просто прелестно! Правда, тетя?» Конечно, он заметил, что она была изумлена при виде нас, но, как человек, привыкший задавать тон, брать «ла», он был уверен, что ее изумление сменится радостью, едва лишь он покажет, что он и сам рад и что наш приход иного чувства вызвать не может. Расчет оказался верен: маркиза де Вильпаризи, очень считавшаяся с племянником и знавшая, как трудно ему понравиться, вдруг словно обрела в моей бабушке новые достоинства и все время говорила ей приятные вещи. Но для меня было непостижимо, как мог де Шарлю спустя несколько часов забыть о своем приглашении, очень немногословном, но, должно быть, очень не случайном, заранее обдуманном, которое я получил от него утром, а сейчас повернуть дело так, будто это хорошо придумала моя бабушка, хотя придумал-то он. Я стремился быть точным до того возраста, когда мне стало ясно, что не путем расспросов можно проникнуть в истинные намерения человека и что само по себе недоразумение, которое, вероятно, останется незамеченным, не так опасно, как простодушная настойчивость, и потому обратился к де Шарлю с вопросом:

«Но ведь вы же сами сказали мне, чтобы мы к вам сегодня пришли, помните?» Ни единым звуком, ни единым движением не выдал себя де Шарлю — он точно не слыхал моего вопроса. Тогда я его повторил — так дипломаты или поссорившиеся молодые люди с неиссякаемым и бесплодным упорством добиваются правды, хотя противник решил утаить ее. Де Шарлю и на этот раз не ответил. Мне показалось, что по его губам пробежала улыбка, какой улыбаются те, что смотрят свысока и на людей, и на то, как они воспитаны.

Поскольку он не хотел давать никаких объяснений, я попытался найти объяснение сам, но я только строил разные догадки, ни одна из которых меня не удовлетворяла. Может, он правда не помнил, а может, я утром не так его понял… Вернее всего, он из гордости не хотел признать, что позвал людей, которыми пренебрегал, и предпочел изобразить, что они явились без приглашения. Но если он нами пренебрегал, то зачем же он зазвал нас, вернее — мою бабушку, потому что он весь вече? обращался только к ней и ни разу не обратился ко мне? Чрезвычайно оживленно беседуя с ней, как и с маркизой де Вильпаризи, и словно прячась за них, как прячутся в глубине ложи, он лишь временами отводил от них свой испытующе пронзительный взгляд и задерживал его на моем лице, и тогда его взгляд становился задумчивым и озабоченным, точно это была трудная для прочтения

рукопись.

Если бы не глаза, де Шарлю безусловно был бы похож на многих красивых мужчин. И потом, когда Сен-Лу, говоря со мной о других Германтах, сказал: «Э, да разве в них видна порода, разве о ком-нибудь из них можно подумать, что это настоящий барин, как о моем дяде Паламеде?», тем самым утверждая, что в породе и в аристократической изысканности нет ничего таинственного и нового, что они состоят из элементов, которые я легко различал и которые особенного впечатления на меня не производили, я не мог не почувствовать, что одна из моих иллюзий рассеивается. И хотя де Шарлю герметически закрывал выражение своего лица, которому легкий слой пудры придавал что-то театральное, его глаза были как бы щелями, амбразурами, которые он не в силах был заткнуть и откуда, в зависимости от того, какое положение вы занимали относительно него, вас внезапно озаряли перекрестные отсветы спрятанного внутри снаряда, отнюдь, по-видимому, не безопасного и для того, кто, не умея с ним как следует обращаться, носил его в себе, потому что снаряд находился в состоянии неустойчивого равновесия и каждую секунду мог взорваться, а настороженный, всегда тревожный взгляд в сочетании с бесконечной усталостью, проступавшей на лице в виде больших синих кругов под глазами, преодолевая строгость и правильность черт, наводил на мысль об инкогнито, о маскировке, которой пользуется могущественный человек в опасности, или, во всяком случае, о личности опасной, но трагической. Мне хотелось разгадать эту тайну, которую не носили в себе другие люди и которая придавала такую загадочность взгляду де Шарлю еще утром, когда мы с ним встретились у казино. Однако, узнав, какого он происхождения, я теперь уже не мог предполагать, что это взгляд вора, а послушав его, не мог предполагать, что это взгляд сумасшедшего. Со мной он был холоден, а с бабушкой необычайно любезен, но эта холодность могла быть вызвана не личной антипатией, потому что вообще насколько благожелательно относился он к женщинам И насколько снисходителен он был к их недостаткам, о которых всегда говорил мягко, настолько же остро ненавидел он мужчин, особенно юношей, — так не выносят женщин иные женоненавистники. О каких-то «альфонсах», не то родственниках, не то приятелях Сен-Лу, о которых Сен-Лу случайно заговорил, де Шарлю, изменив своей обычной холодности, с почти злобным выражением лица сказал: «Шантрапа». Я понял, что современных молодых людей он особенно не любит за то, что они — неженки. «Это не мужчины, а бабы», — говорил он с презрением. Но какой образ жизни не показался бы ему изнеживающим в сравнении с тем, который, по его понятиям, должен

был вести мужчина и которому все-таки, по его мнению, не хватало энергии и присущей только мужчинам закалки? (Он-то ведь, пройдя несколько часов пешком, разгоряченный, бросался в ледяную воду.) Даже то, что мужчина носил кольца, с его точки зрения было недопустимо. Но эта подчеркнуто мужская повадка уживалась в нем с тончайшей душевной организацией. Маркиза де Вильпаризи, попросив его описать моей бабушке замок, где жила г-жа де Севинье, заметила, что в ее отчаянии от разлуки с этой скучнейшей г-жой де Гриньян есть какая-то нарочитость.

— А мне, наоборот, кажется это вполне естественным, — возразил де Шарлю. — Да ведь в то время эти чувства были всем понятны. У Лафонтена житель Мономотапы бежит к своему другу, потому что он видел его во сне, и тот был чем-то опечален; то, что для голубка самое большое несчастье — разлука с другим голубком, может быть, покажется вам, тетушка, таким же преувеличением, как письмо госпожи де Севинье, которая не чает, как дождаться той минуты, когда она останется вдвоем с дочерью. Как прекрасно все, что она говорит, когда расстается с ней! — «Расставание причиняет мне физическую боль. В разлуке мы тратим время не скупясь. Мы летим навстречу долгожданному дню».

Бабушка была очень рада, что ее мнение о «Письмах» совпало с мнением де Шарлю. Ее поразило, что мужчина способен так тонко понять их. Она нашла, что де Шарлю по-женски чуток и восприимчив. Когда мы с ней потом заговорили о де Шарлю, то оба пришли к заключению, что он, наверное, испытал на себе большое влияние какой-нибудь женщины — матери или, позднее, дочери, если у него есть дети. Я подумал: «любовницы», вспомнив о том, какое влияние имела, в моем представлении, любовница на Сен-Лу, на примере которого я мог убедиться, как облагораживают мужчин женщины, находящиеся с ними в близких отношениях.

— Я думаю, что когда они жили вместе, ей нечего было сказать дочери, — заметила маркиза де Вильпаризи.

— Нет, наверно, было — хотя бы то, что она называла «чем-то до того невещественным, что только вы да я способны это разглядеть». Так или иначе, они были вместе. А Лабрюйер утверждает, что больше ничего и не надо: «Быть вместе с любимым существом; говорить с ним — хорошо, не говорить — тоже хорошо». Лабрюйер прав: только в этом счастье, — печально продолжал де Шарлю, — а жизнь — увы! — так плохо устроена, что мы очень редко им наслаждаемся; в сущности, госпожу де Севинье нечего особенно жалеть. Большую часть жизни она провела с любимой дочерью.

— Да ведь это же дочь — слово «любовь» тут не подходит!

— Самое важное в жизни — не то, кого мы любим, — уверенным, не допускающим возражений, почти резким тоном заговорил де Шарлю, — важна любовь. В чувстве госпожи де Севинье к ее дочери гораздо больше общего со страстью, которую Расин изобразил в «Андромахе» и в «Федре», чем в пошлых отношениях юного Севинье с его возлюбленными. Это то же, что любовь мистика к его богу. Мы отводим любви слишком узкое пространство — это оттого, что мы совсем не знаем жизни.

— Ты так любишь «Федру» и «Андромаху»? — с оттенком пренебрежения в голосе спросил своего дядю Сен-Лу.

— В одной трагедии Расина больше правды, чем во «всех драмах почтеннейшего Виктора Гюго, — ответил де Шарлю.

— Светские люди меня, по правде сказать, пугают, — шепнул мне Сен-Лу. — Ставить Расина выше Виктора — как хочешь, это потрясающе!

Слова дяди действительно его огорчили, зато у него явился предлог сказать: «как хочешь», а главное — «потрясающе», и это его утешило.

В рассуждениях о том, как грустно жить вдали от любимого человека (послушав их, бабушка мне потом сказала, что племянник маркизы де Вильпаризи куда тоньше, чем его тетя, понимает некоторые произведения, а главное, есть в нем что-то такое, что резко отличает его от клубных завсегдатаев), де Шарлю не только проявлял душевную мягкость, обычно не свойственную мужчинам; самый его голос, напоминавший иные контральто, в которых недостаточно разработан средний регистр, отчего их звучание можно принять за дуэт юноши и женщины, в те мгновенья, когда де Шарлю высказывал свои тонкие мысли, брал высокие ноты, неожиданно становился ласковым и словно сочетал в себе хор невест и хор сестер, изливавших свою нежность. Но этот выводок молодых девушек, которые, — как это ни было мучительно для де Шарлю при его отвращении ко всяческой женоподобности, — словно нашли себе пристанище в его голосе, не довольствовался интерпретацией, не довольствовался модуляциями в особенно трогательных местах. Когда де Шарлю говорил, нередко можно было слышать звонкий молодой смех этих пансионерок, этих кокеток, судачивших о своем ближнем с ехидством злых язычков и тонких штучек.

Де Шарлю рассказывал, что его родной дом, где иной раз ночевала Мария-Антуанетта, дом с парком, который распланировал Ленотр, теперь принадлежал купившим его богачам финансистам Израэльсам. «Израэльсы, — так, по крайней мере, они себя называют, — это, помоему, не столько имя собственное, сколько родовое, этническое понятие. Кто их

там знает, этого сорта людей, — может, у них и фамилий-то нет, может, им присваивается название их общины. Но не в этом дело! Быть жилищем Германтов и перейти во владение к Израэльсам!.. — воскликнул он. — Это напоминает комнату в замке Блуа, о которой мне говорил сторож:

«Здесь молилась Мария Стюарт, а теперь я ставлю сюда метлы». Понятно, я и слышать не хочу об этом осквернённом жилище, как и о моей невестке Кларе де Шиме, бросившей своего мужа. Но я храню фотографию дома, на которой он снят до осквернения, и храню фотографию принцессы, относящуюся к тому времени, корда ее большие глаза смотрели только на моего двоюродного брата. Фотография отчасти восполняет то, чего ей недостает, когда она уже не воспроизводит существующего, а показывает ушедшее. Если вас интересует подобного рода архитектура, я мог бы вам подарить такую карточку», — сказал он бабушке. Но тут он обратил внимание что цветная каемка его вышитого носового платка торчит из кармана, и быстро его засунул с испуганным видом отнюдь не невинной, но чересчур стыдливой женщины, которая, разыгрывая недотрогу, считает неприличным показывать свои прелести.

— Можете себе представить, — продолжал де Шарлю, — эти люди начали с того, что уничтожили парк Ленотра, — это не менее преступно, чем изорвать картину Пуссена. По-настоящему Израэльсов за это следовало бы посадить в тюрьму! Впрочем, — помолчав, прибавил он с улыбкой, — наверно, их надо было бы туда упрятать и за многое другое! Во всяком случае, вы можете себе представить, какое впечатление должен производить в сочетании с такой архитектурой английский сад.

— Но ведь здание — в том же стиле, что и Малый Трианон, — заметила маркиза де Вильпаризи, — однако Мария-Антуанетта велела же разбить там английский сад.

— Который все-таки портит фасад Габриэля, — подхватил де Шарлю. — Конечно, теперь было бы дико уничтожать Сельцо. Но каков бы ни был дух времени, я все же сомневаюсь, чтобы фантазия мадам Израэльс была бы вам так же дорога, как память о королеве.

Сколько ни просил за меня Сен-Лу, к величайшему моему стыду заметивший вскользь при де Шарлю, что перед сном на меня часто нападает тоска, — а с точки зрения его дяди это, наверно, был позор для мужчины, — бабушка все же сделала мне решительный знак, чтобы я шел спать. Я еще несколько минут побыл у маркизы, потом ушел — и вскоре был очень удивлен, когда в дверь постучали и на вопрос: «Кто там?» — мне сухо ответил барон:

— Это Шарлю. К вам можно? Мой племянник, — затворив за собой

дверь, так же сухо продолжал он, — сказал, что вам скучно бывает перед сном, а еще он сказал, что вы поклонник Бергота. Я нашел у себя в чемодане его книгу, — вы, наверно, ее не читали, и я вам ее принес: когда вам взгрустнется, она вас развлечет.

Я горячо поблагодарил де Шарлю и сказал, что я как раз боялся, что, узнав от Сен-Лу, что ночь действует на меня возбуждающе, он подумает, что я еще глупее, чем кажусь.

— Да нет! — уже мягче заговорил де Шарлю. — Может быть, вы человек заурядный, но ведь незаурядных людей так мало! А пока вы, по крайней мере, молоды, в молодости же всегда есть очарование. Притом, глупее глупого высмеивать и порицать чувства, которых не испытал сам. Я люблю ночь, а вы говорите, что вам она страшна; я люблю запах роз, а моего приятеля от их аромата начинает лихорадить. Так что ж, по-вашему, из-за этого я должен смотреть на него сверху вниз? Я стараюсь все понять и ничего не осуждать. В общем, расстраиваться вам особенно нечего. Тоска мучительна, это верно; я знаю, что можно страдать из-за того, что другим непонятно. Но вы любите бабушку — это так хорошо! Вы с ней часто видитесь. И потом, это привязанность разумная, то есть, я хочу сказать, взаимная. Это далеко не так часто встречается.

Де Шарлю ходил взад и вперед по комнате, то что-нибудь рассматривая, то беря в руки. У меня создавалось впечатление, что ему хочется что-то сказать мне, но что он не может найти подходящие выражения.

— У меня здесь есть еще одна книга Бергота, я вам ее дам, — сказал он и позвонил. Вошел грум.

— Позовите метрдотеля. Он здесь единственный сообразительный человек, — только с ним и можно говорить по делу, — с надменным видом сказал де Шарлю.

— Господина Эме, сударь? — спросил грум.

— Я не знаю, как его зовут… А впрочем, да, я припоминаю, что его называли Эме. Скорей, я тороплюсь!

— Он сейчас придет, сударь, я только что видел его внизу, — сообщил грум; ему хотелось показать, что он все здесь знает.

Прошло некоторое время. Грум вернулся.

— Сударь! Господин Эме лег спать. Но ваше приказание могу исполнить я.

— Нет, вы должны разбудить его.

— Не могу, сударь, он ночует не здесь.

— В таком случае уходите.

— Вы напрасно беспокоитесь, — сказал я, когда грум вышел, — мне достаточно одной книги Бергота.

— Да, пожалуй.

Де Шарлю продолжал ходить по комнате.

Так прошло несколько минут, затем, переломив себя, он круто повернулся, с прежней отчужденностью проговорил: «Покойной ночи» — и вышел.

На другой день после этого вечернего разговора о высоких чувствах, — в день своего отъезда, — де Шарлю крайне удивил меня: как раз когда я собирался выкупаться, он подошел ко мне сообщить, чтобы я, искупавшись, сейчас же шел к бабушке, ущипнул меня за шею и с пошлым смешком, пошло фамильярным тоном заговорил:

— Ну, вы, сволочонок, конечно, поплевываете на старую бабку?

— Что вы, я ее обожаю!

— Сударь! — сказал он, отступив на шаг и придав своему лицу бесстрастное выражение. — Вы еще молоды, — воспользуйтесь же этим и научитесь двум вещам: во-первых, воздерживайтесь от выражения чувств естественных, и без того понятных; во-вторых, не кипятитесь, пока вам не станет ясен смысл того, что вам сказали. Если бы вы сейчас были осторожнее, вы бы не ответили мне невпопад, как глухой, и не поставили бы себя в смешное положение — вы и без того смешны в купальном костюме с вышитыми якорями. Мне нужна книга Бергота. Пришлите мне ее через час с метрдотелем, у которого такая уморительная и неподходящая фамилия, — надеюсь, он в это время не спит. Вы мне доказали, что вчера я слишком рано заговорил с вами об очаровании молодости, — для вас было бы лучше, если б я указал на ее легкомыслие, непоследовательность и недогадливость. Надеюсь, сударь, этот маленький душ будет вам не менее полезен, чем купанье. Не стойте на одном месте, а то простудитесь. Мое почтение, сударь!

По всей вероятности, он потом пожалел, что так говорил со мной, ибо некоторое время спустя я получил — в сафьяновом переплете с вклеенным в него куском кожи с оттиснутыми незабудками — книгу, которую он мне давал и которую я ему отослал, но не с Эме, «находившимся в отлучке», а с лифтером.

Когда де Шарлю уехал, мы, Робер и я, наконец пообедали у Блока. И вот во время этого немноголюдного пиршества я убедился, что истории, которые наш приятель так легко относил к разряду забавных, рассказывал Блок-отец и что «прелюбопытнейшим человеком», как выражался Блок-сын, был кто-нибудь из друзей его отца. Есть такие люди, которыми мы

восхищаемся в детстве: отец, самый остроумный член семьи, учитель, которого поднимает в наших глазах то, что он раскрывает перед нами метафизику, товарищ развитее нас (таким был для меня Блок), который презирает «Упование на бога» Мюссе, когда оно еще нравится нам, а когда мы дорастаем до папаши Леконта или до Клоделя, восторгается только такими стихами:

На Зуэкке вы
Радовались дню святого Блеза.
Или еще:
Услышишь, в Падую попав,
Про докторов обоих прав.
…Но все ж полента мне милей.
…Красотка в черном домино
Вам попадется.
А из всех «Ночей» помнит только:
И в Гавре, где прибой ярится,
И на кошмарном Лидо, где
Спят в умирающей воде
Венецианские гробницы.[20]

Так вот, когда мы восхищаемся кем-нибудь не рассуждая, мы удерживаем в памяти и с восторгом цитируем выражения куда хуже тех, которые, если б мы применили к ним свое собственное мерило, мы бы не задумываясь забраковали: так писатель на том основании, что все это — подлинное, пользуется в романе такими «словечками» и выводит такие лица, которые в живом целом оказываются мертвым грузом, которые портят произведение. Портреты, которые Сен-Симон писал без самолюбования, чудесны, кажущиеся ему прелестными остроты умных людей, которых он знал, или ничего собой не представляют, или теперь уже непонятны. Он счел бы ниже своего достоинства выдумывать то, что представлялось ему таким тонким или колоритным в г-же Корнюэль или в Людовике XIV, — подобное явление наблюдается у многих других и допускает различные толкования, из коих мы пока запомним одно: когда мы «наблюдаем», мы стоим на гораздо более низкой ступени, чем когда творим.

Итак, в моего товарища Блока вклинился Блок-отец, на сорок лет отставший от сына, рассказывавший дурацкие анекдоты и смеявшийся над

ними в душе моего приятеля еще громче, чем Блок-отец наружный и настоящий, ибо со смехом, которым закатывался Блок-отец, считая необходимым раза два-три повторить последнее слово, чтобы слушатели почувствовали весь смак рассказанной им истории, сливался шумный смех, которым сын неукоснительно приветствовал за столом рассказы отца. Сказав что-нибудь очень умное, юный Блок выставлял напоказ полученное им наследство: он в тридцатый раз угощал нас какими-нибудь словцами, которые Блок-отец извлекал (как и сюртук) по торжественным дням, когда юный Блок приводил человека, которому имело смысл пустить пыль в глаза: кого-нибудь из своих учителей, «однокашника», награжденного всеми наградами, или, как сегодня, Сен-Лу и меня. Вот примеры: «Это замечательный военный писатель, очень сведущий, — он с фактами в руках доказал, что в русско-японской войне японцы непременно будут разбиты, а русские победят». Или: «Это человек выдающийся — в кругах политических его считают крупным финансистом, а в кругах финансовых — крупным политическим деятелем». Такого рода характеристики перемежались с чертами из жизни барона Ротшильда или сэра Руфуса Израэльса — эти двое выводились на сцену особым образом — так, чтобы можно было понять, что Блок с ними знаком.

Я тоже, дался в обман и из того, как Блок-отец говорил о Берготе, заключил, что и Бергот — старинный его друг. Блок издали видел всех знаменитостей в театре, на бульварах — вот и все его знакомство с ними. Однако он был уверен, что его наружность, его фамилия, его личность им небезызвестны и что при встрече с ним они часто делают над собой усилие, чтобы не поздороваться с ним. Светские люди могут быть знакомы с людьми талантливыми, оригинальными, могут приглашать их на обед, однако понимать они их понимают так же плохо, как и до знакомства. Но если пожить в свете, глупость его обитателей создает у нас необычайно высокое мнение об их уме и вызывает неодолимое желание вращаться в тех непостижимых кругах, где можно «быть знакомым, не знакомясь». Я в этом скоро убедился, заговорив о Берготе. Не один только Блок-отец имел успех у себя дома. Мой товарищ пользовался еще большим успехом у своих сестер: он говорил с ними ворчливым тоном, уткнувшись в тарелку, а они смеялись до слез. Они усвоили язык брата и бегло говорили на нем, как будто он был единственным и обязательным для людей интеллигентных. Когда мы вошли, старшая сказала одной из младших: «Оповести премудрого нашего отца и нашу досточтимую мать». — «Сучки! — сказал им Блок. — Перед вами всадник Сен-Лу, искусный в метании копий, — он прибыл сюда на несколько дней из Донсьера, где возводят жилища из

гладкого камня и где нет счета коням». Блок был не только начитан, но и пошл, а потому его речи обычно заканчивались шуткой уже не в таком гомеровском духе: «А ну, застегните ваши пеплумы на дивные аграфы! Что за безобразие! Ведь это все-таки не отец!» А девицы Блок валились от хохота. Я сказал их брату, какую радость доставил он мне, посоветовав читать Бергота, и в каком я восторге от его книг.

Блок-отец, видевший самого Бергота издали, о жизни его знавший только по рассказам партера, имел такое же опосредствованное понятие и об его творчестве, основанное на суждениях мнимых знатоков. Он жил в мире, где все приблизительно, где кланяются в пространство, где судят вкривь и вкось. Сумбурность, неосведомленность там не убавляют самоуверенности, как раз наоборот. В том-то и заключается благотворное чудо самолюбия, что хотя людей с большими связями и глубокими познаниями немного, те, кому судьба в этом отказала, все же считают себя баловнями судьбы, ибо угол зрения социального амфитеатра таков, что человеку, который в нем находится, любой ряд, где бы он ни сидел, кажется наилучшим, а тех, кто неизмеримо выше его, он относит к числу неудачников, обездоленных, чья участь горька, называет их имена и бог знает что про них говорит, хотя он с ними не знаком, судит и презирает, хотя и не понимает их. В тех же случаях, когда и самолюбие, размножающее мелкие человеческие достоинства, не в силах отпустить большую дозу счастья, чем другим, недобор восполняется завистью. И в самом деле: когда зависть прибегает к фразам презрительным, то фразу: «Я не желаю с ним знакомиться» следует перевести: «Я не имею возможности с ним познакомиться», — вот что говорит рассудок. А чувство — чувство-то говорит другое: «Я не желаю с ним знакомиться». Мы сознаем, что это неправда, и все же мы изъясняемся подобным образом не из чистого притворства, — именно так мы чувствуем, и этого довольно для того, чтобы уничтожить расстояние, иными словами — для того, чтобы быть счастливыми.

Таким образом, эгоцентризм предоставляет каждому человеку право смотреть на мир сверху вниз, и мнить себя его властелином, — вот почему Блок-отец позволял себе роскошь быть властелином беспощадным: утром, за, чашкой шоколада, обратив внимание на подпись Бер гота под статьей в газете, которую он только-только развернул, он из вящего презрения творил над ним скорый суд, выносил приговор, для уютности между двумя глотками горячего напитка повторял: «Бергота нельзя читать. Тоска зеленая. Хоть не подписывайся на газету. Жвачка, переливание из пустого в порожнее!» — и намазывал хлеб маслом.

Впрочем, Блок-отец пользовался призрачным весом не только у себя самого. Начать с того, что дети смотрели на него как на человека особенного. Дети склонны недооценивать или переоценивать родителей; для любящего сына его отец всегда лучше других отцов, хотя для такого мнения нет никаких объективных данных;

А что там ни говори, дети Блока такими данными располагали: он был человек образованный, остроумный, привязанный к своим близким. В узком семейном кругу с ним особенно носились: в «обществе» к людям применяют хотя и глупое, но все же определенное мерило, неправильные, но твердые законы, их сравнивают с высшим светом в его совокупности, а распыленность буржуазной среды приводит к тому, что семейные обеды и вечера вращаются вокруг людей, которые считаются приятными, любопытными, тогда как в свете они после первого же вечера сошли бы со сцены. Словом, в той среде, где не существует делений, искусственно созданных внутри аристократии, их заменяют разграничениями еще более нелепыми. Так, члены семьи и даже очень дальние родственники за то, что Блок будто бы носил такие же усы и за то, что будто бы у него такая же верхняя часть носа, называли его «лжегерцогом Омальским». (Среди «посыльных» иного клуба кто-нибудь носит фуражку набекрень и плотно застегивает куртку, — уж не думает ли он, что это придает ему сходство с иностранным офицером, и не смотрят ли на него поэтому товарищи как на важную персону?)

Сходство было весьма сомнительное, но можно было подумать, что это титул. Переспрашивали: «Блок? Это какой же? Герцог Омальский?» — как переспрашивают: «Принцесса Мюрат? Это какая же? Королева неаполитанская?» Впечатление барственности в глазах родни довершали кое-какие мелкие штрихи. У Блока не было возможности держать экипаж, и потому он по определенным дням нанимал в Коннозаводстве запряженную парой открытую коляску и катался в Булонском лесу, отвалившись в угол экипажа, два пальца приставив к виску, а еще двумя подперев подбородок, и хотя люди не знавшие его, называли его «кривлякой», зато родственники были убеждены, что по части шика дядя Соломон самого Грамон-Кадеруса за пояс заткнет. Он принадлежал к числу тех, о ком после смерти, — только потому, что они кое-когда сидели за одним столиком в бульварном ресторане с редактором «Радикала», — в светской хронике этой газеты упоминается, что этого человека знал в лицо весь Париж. Сен-Лу и мне Блок сказал, что Берготу хорошо известно, почему он, Блок, с ним не здоровается; увидев его издали в театре или в клубе, Бергот старается не встретиться с ним глазами. Сен-Лу покраснел; он подумал, что это не

Джокей-клоб, председателем правления которого был прежде его отец. Но все-таки это, наверно, более или менее закрытый клуб, раз Блок утверждает, что теперь Бергота туда бы не приняли. Боясь, как бы не «унизить противника», Сен-Лу спросил, не клуб ли это на Королевской, — в его семье этот клуб считался «третьеразрядным», он знал, что туда принимали и евреев. «Нет, — с небрежным, гордым и сконфуженным видом ответил Блок, — это клуб хотя и маленький, но зато очень приятный, Клуб дуралеев. Насчет публики там очень строго». — «А кто же там председатель — не сэр Руфус Израэльс?» — обратился к отцу с вопросом Блок-сын, — он хотел дать отцу возможность сказать лестную ложь, а что имя финансиста могло не произвести на Сен-Лу та— кого впечатления, как на него, — это ему в голову не приходило. На самом деле председателем правления Клуба дуралеев был не сэр Руфус Израэльс, а кто-то из его подчиненных. Отношения у него с начальником были прекрасные, в его распоряжении находились визитные карточки великого финансиста, и когда Блок собирался ехать по железной дороге, в правлении которой состоял сэр Руфус, он не отказывал ему в карточке, что давало Блоку-отцу повод говорить: «Пойду схожу в клуб за рекомендательным письмом сэра Руфуса». На оберкондукторов визитная карточка действовала ошеломляюще. Девиц Блок больше интересовал Бергот; не поддержав разговора о «дуралеях», младшая вернулась к Берготу и, полагая, что к людям талантливым применимы только такие выражения, какие употребляет он, самым серьезным тоном спросила: «А что, Бергот в самом деле занятный типчик? Он из категории славных ребят, типчиков вроде Вилье или Катюля?» — «Я с ним встречался на генералках, — сказал Ниссон Бернар. — Нескладный, что-то вроде Шлемиля». Сам по себе намек на сказку Шамиссо ничего глубокомысленного в себе не заключал, но определение «Шлемиль» входило в состав полунемецкого-полуеврейского диалекта, и Блок-отец восхищался им в тесном кругу, а при посторонних он казался ему грубым и неуместным. Вот почему Блок-отец грозно посмотрел на дядю. «Он талантлив», — сказал Блок-сын. «А-а!» — с важным видом протянула его сестра, как бы давая понять, что в таком случае мои восторги простительны. «Все писатели талантливы», — с презрительным видом проговорил Блок-отец. «Я даже слышал, — подняв вилку и сатанински насмешливо прищурив глаза, сказал сын, — что он собирается выставить свою кандидатуру в академики». — «С таким багажом туда не суются, — возразил Блок-отец, как видно, не с таким презрением относившийся к Академии, как его сын и дочки. — Кишка тонка». — «Да и потом, Академия — это салон, а у Бергота „личность“ не

та», — заметил дядя г-жи Блок, своей наследницы, существо тихое и безобидное, сама фамилия которого — Бернар — быть может, уже заставила бы моего деда напрячь его диагностические способности, но показалась бы несоответствующей его внешнему облику, при взгляде на который можно было подумать, что его вывезли из дворца Дария и что его реставрировала г-жа Дьелафуа, если бы имя Ниссон, выбранное каким-нибудь любителем, пожелавшим увенчать по-восточному эту сузскую фигуру, не распростерло над ним крыльев человекоголового быка из Хорсабада. Но Блок-отец все время задевал дядю — то ли потому, что его раззадоривало беззащитное добродушие козла отпущения, то ли потому что виллу оплачивал Ниссон Бернар, и пользовавшийся, ею хотел показать, что он сохраняет свою независимость, а главное — что он не подлизывается к этому богачу ради наследства.

Дядю особенно обижало, что ему так грубят в присутствии метрдотеля. Из невнятно произнесенной им фразы можно было понять только два слова: «При мешоресах». В Библии мешоресами называются служители бога. В семейном кругу Блоки так называли прислугу, и это всегда приводило их в веселое настроение; уверенность в том, что их не поймут христиане, не поймут даже слуги, обостряла в Ниссоне Бернаре и в Блоке-отце сознание двоякой особенности их положения — и как господ и как евреев. Но чувство удовлетворения сменялось неудовольствием при посторонних. В таких случаях, если дядя употребляя слово «мещорес», Блок-отец находил, что он слишком резко подчеркивает восточное свое происхождение, — так кокотка, пригласившая своих подружек вместе с людьми порядочными, бывает возмущена, если подружки намекают на свой род занятий или употребляют слова, оскорбляющие слух. Вот почему дядина просьба не произвела на Блока-отца никакого впечатления, — как раз наоборот: тут-то он и вышел из себя. Теперь он придирался к каждому случаю, чтобы напасть на несчастного дядю. «Ну, конечно, если вам представляется возможность сказать пошлость, можно быть уверенным, что вы этой возможности не упустите. Вы бы первый лизали ему пятки, если бы он был здесь!» — кричал Блок-отец на Ниссона Бернара, печально склонившего курчавую свою бороду, придававшую ему сходство с царем Саргоном. Мой приятель, как только он стал носить бороду с такими же колечками и с таким же синеватым отливом, очень напоминал своего двоюродного деда.

— Как? Вы сын маркиза де Марсанта? Я же его прекрасно знал, — обратившись к Сен-Лу, сказал Ниссон Бернар. Я решил, что «знал» он употребил в том смысле, в каком Блок-отец говорил, что знает Бергота, то

есть — в лицо. Но Ниссон Бернар прибавил: «Ваш отец был одним из моих лучших друзей». Тут Блок побагровел, у его отца был очень сердитый вид, а девицы Блок давились хохотом. Дело в том, что страсть к хвастовству, которую сдерживали в себе Блок-отец и его дети, выработала в Ниссоне Бернаре привычку лгать. Так, например, остановившись в гостинице, Ниссон Бернар по примеру Блока-отца приказывал своему лакею приносить ему во время завтрака газеты в столовую, чтобы все видели, что он путешествует с лакеем. Но людям, с которыми он сближался в гостинице, дядя говорил то, что никогда не сказал бы племянник, — что он сенатор. У него не могло быть ни малейшего сомнения, что рано или поздно обман откроется, но не присвоить себе это звание было выше его сил. Блок-отец очень страдал от дядиной лжи и от неприятностей, какие из нее проистекали. «Не обращайте внимания, он невероятный хвастун», — вполголоса сказал он Сен-Лу, но Сен-Лу еще больше заинтересовался дядей: его очень занимала психология лжецов. «По части вранья с ним не выдержит сравнения итакиец Одиссей, а ведь Афина называла его лживейшим из смертных», — добавил наш приятель Блок. «Вот это да! — воскликнул Ниссон Бернар. — Ну мог ли я ожидать, что буду обедать с родным сыном моего друга? В Париже у меня есть фотография вашего отца, а сколько писем от него! Он всегда называл меня „дядюшка“, а почему — неизвестно. Это был очаровательный, блестящий человек. Помню, в Ницце у меня обедали Сарду, Лабиш, Ожье…» — «Мольер, Расин, Корнель», — насмешливо продолжил Блок-отец, а закончил перечисление сын: «Плавт, Менандр, КалидаСа». Ниссон Бернар, оскорбившись, оборвал рассказ и, лишив себя большого удовольствия, стоически промолчал до конца обеда.

— Медношлемый Сен-Лу! — сказал Блок. — Возьмите еще кусочек этой утки с покрытыми туком боками, над коими достославный жрец не однажды приносил красное вино в жертву богам.

Обычно, преподнеся на блюде родовитому товарищу своего сына анекдоты о сэре Руфусе Израэльсе и других, Блок-отец, чувствуя, что тронул сына до глубины души, удалялся, а то как бы «школяр» не «задрал нос». Но ради какого-нибудь особо торжественного случая, например, когда сын выдержал конкурсный экзамен, Блок-отец прибавлял к обычной серии анекдотов насмешливое замечание, которое он приберегал для своих друзей, а самолюбию молодого Блока очень льстило, что отец высказывает эту свою мысль и его друзьям: «Правительство допустило непростительную ошибку. Оно не посоветовалось с Кокленом! Коклен выразил неудовольствие». (Блок-отец щеголял своей реакционностью и

презрением к театральным деятелям.)

Каково же было изумление девиц Блок, а также их брата, покрасневших до корней волос, когда Блок-отец, желая подавить величием двух «соучеников» своего сына, велел принести шампанского и с небрежным видом объявил, что, собираясь «угостить» нас, он приказал взять три кресла на представление, которое какая-то труппа комической оперы устраивала вечером в казино! Он жалел, что не смог взять ложу. Все ложи были уже проданы. Хотя, впрочем, он убедился на опыте, что в партере удобнее. Но если недостатком сына, то есть тем, что, как ему казалось, другие в нем не замечали, была грубость, то недостатком отца была скупость. Вот почему под маркой шампанского нам была подана в графине шипучка, а вместо кресел в партере он усадил нас на стулья в амфитеатре, стоившие вдвое дешевле, и до того чудодейственно было вмешательство высшей силы, которой обладал его недостаток, что он не сомневался, что ни за столом, ни в театре (где ложи, все до одной, пустовали) мы не заметили разницы. Когда же мы испили из плоских бокалов, — Блок-сын уподоблял такой бокал «глубокожерлому вулкану», — Блок-отец повел нас полюбоваться картиной, которую он так любил, что привез ее с собой в Бальбек. Он сказал, что это Рубенс. Наивный Сен-Лу спросил, подписана ли картина. Блок-отец, покраснев, ответил, что подпись он велел срезать из-за рамы, но что вообще это не имеет значения, раз он не собирается продавать ее. Затем он поспешил распрощаться с нами, чтобы углубиться в чтение «Официальной газеты», номерами которой был у него завален весь дом и чтение которой было ему необходимо, как он выразился, «из-за его положения в парламенте», а какое было у него там положение — этого он не объяснил. «Я надену кашне, — сказал Блок, — а то Зефиры и Бореи дерутся за власть над обильным рыбою морем, а если мы задержимся после спектакля, то вернемся не раньше, чем при первых лучах Эос розовоперстой. Кстати, — когда мы вышли, заговорил он, обращаясь к Сен-Лу, и тут сердце у меня екнуло: я сразу понял, что этим насмешливым тоном Блок говорит о де Шарлю: — Что это за дивная кукла в темном костюме, которую вы позавчера утром водили по пляжу?» — «Это мой дядя», — задетый за живое, ответил Сен-Лу. К несчастью, Блок не старался избегать наступать людям на ноги. Он захохотал. «Поздравляю вас! Как же это я не догадался? Он в высшей степени шикарен, и морда у него презабавная — морда непроходимого дурака». — «Вы глубоко ошибаетесь — он очень умен», — злобно возразил Сен-Лу. «Жаль! Значит, ему недостает завершенности. Я мечтаю с ним познакомиться, — у меня наверняка хорошо получились бы зарисовки

таких, как он, дурошлевов. А на него только взглянешь — со смеху помрешь. Но я бы обратил внимание не на карикатурную сторону; карикатура — это прием, в сущности, недостойный художника, влюбленного в пластическую красоту фраз; я бы умолчал об его мордемондии, хотя, прошу меня извинить, из-за нее я себе живот надорвал, — я бы подчеркнул аристократическую сторону вашего дядюшки: в общем, она производит потрясающее впечатление; когда первый приступ смеха пройдет, она поражает своей стильностью. Да, — обратился он на этот раз ко мне, — совсем из другой оперы: я все хочу спросить тебя об одной вещи, но каждый раз, когда мы встречаемся, по воле некоего бога, блаженного обитателя Олимпа, я становлюсь совершенно беспамятным и забываю навести у тебя справки, которые уже могли бы быть мне полезны и несомненно пригодятся в будущем. Так вот, кто эта красивая женщина, с которой я встретил тебя в Зоологическом саду? С ней шли господин, которого я, кажется, где-то видел, и девушка с длинными волосами». Из разговора с г-жой Сван мне стало ясно, что фамилию Блока она не запомнила, — она назвала мне какую-то другую и причислила моего приятеля к одному из министерств, а я с тех пор не удосужился проверить, действительно ли он служит в министерстве. Но каким образом Блок, которого, судя по тому, что она тогда мне рассказывала, с ней познакомили, мог не иметь понятия, как ее фамилия? Меня это так удивило, что я не нашелся, что ему ответить. «Во всяком случае, поздравляю, — сказал Блок, — ты с ней, наверное, не соскучился. За несколько дней до того., как я увидел ее с тобой, я встретился с ней в поезде пригородной зоны. Она любезно согласилась открыть доступ твоему покорному слуге в запретную зону, я чудесно провел с ней время, и мы уже сговаривались о будущей встрече, но на предпоследней станции имел бестактность влезть какой-то ее знакомый». Блоку, видимо, не нравилось, что я молчу. «Я надеялся, — продолжал он, — узнать у тебя ее адрес и несколько раз в неделю упиваться радостями любимца богов Эроса, но не настаиваю, коль скоро ты утвердился в намерении соблюдать скромность по отношению к этой профессионалке, хотя она отдалась мне три раза подряд, в высшей степени утонченно, между Парижем и Пуэн-дю-Журом. Ну ничего, как-нибудь да мы с ней встретимся».

Я был у Блока вскоре после этого обеда, он отдал мне визит, но не застал меня и обратил на себя внимание Франсуазы: Блок хоть и приезжал в Комбре, но так случилось, что раньше она его ни разу не видела. Она только могла сообщить, что меня спрашивал «господин», которого я знаю, а зачем я ему нужен — этого он не «сказывал»; что одет он не бог весть как и

особого впечатления на нее не произвел. Я отчетливо сознавал, что так никогда и не пойму воззрений Франсуазы на иные социальные явления — воззрений, быть может, основанных на путанице в словах и именах, которые раз навсегда перемешались в голове у Франсуазы, и все же не мог удержаться, хотя давно уже дал себе слово не обращаться к ней в таких случаях с вопросами, от бесплодной, впрочем, попытки выяснить, что уж такого ошеломляющего заключает в себе, по ее мнению, фамилия «Блок». А ведь как только я сказал Франсуазе, что молодой человек, заходивший ко мне, — господин Блок, она отступила на несколько шагов — так велики были ее изумление и разочарование. «Что? Это и есть господин Блок?» — с потерянным видом воскликнула она, как будто такая выдающаяся личность непременно должна была обладать внешностью, по которой можно догадаться мгновенно, что перед тобой — «сильный мира сего», а потом, подобно человеку, который приходит к выводу, что такой-то исторический деятель не оправдывает своей репутации, несколько раз взволнованно повторила, и в тоне ее уже явственно слышались отзвуки будущего всеохватывающего скептицизма: «Что? Стало быть, это и есть господин Блок? Вот уж никогда» не скажешь!» Вид у нее был сердитый, точно я когда-нибудь в разговоре с ней перехвалил Блока. И все-таки она из любезности прибавила: «Ну ладно, пусть уж господин Блок остается такой, как он есть, зато вы можете сказать, что вы не хуже его».

В Сен-Лу, которого Франсуаза обожала, она вскоре, разочаровалась по-иному и не так жестоко: ей стали известно, что он республиканец. Она была роялистка» хотя, например, о королеве португальской она говорила с той непочтительностью, какая у простонародья является знаком наивысшего почтения: «Амелия, Филиппова сестра». Но маркиз, который так восхитил ее и который, оказывается, поддерживает республику, — это не укладывалось в ее сознании. Она была так же недовольна, как если бы я подарил ей коробочку, и она приняла бы ее за золотую и горячо поблагодарила бы меня, а потом узнала бы от ювелира, что золото накладное. Сгоряча она перестала уважать Сен-Лу, но потом вновь прониклась к нему уважением: она рассудила, что маркиз де Сен-Лу не может быть республиканцем, что он прикидывается из выгоды, потому что при теперешнем правительстве он может на этом здорово нажиться. С этого дня холодок в ее отношении к нему исчез, и на меня она уже не сердилась. Говоря о Сен-Лу, она называла его «притворщик» и улыбалась широкой и доброй улыбкой, свидетельствовавшей о том, что она «почитает» его по-прежнему и что она его простила.

А между тем искренность и бескорыстие Сен-Лу были вне всяких

подозрений, и благодаря именно этой своей безукоризненной душевной чистоте, не находившей полного удовлетворения в таком эгоистическом чувстве, как любовь, а с другой стороны, обладавшей способностью, — на что был совершенно неспособен, например, я, — находить духовную пищу не только в себе самом, он мог водить дружбу с людьми, а я не мог.

Франсуаза ошибалась в Сен-Лу и тогда, когда уверяла, что Сен-Лу только притворяется, будто не презирает народ, что это неправда — стоит только послушать, Как он пробирает кучера. В самом деле, Робер иногда обращался с ним довольно грубо, но тут в нем говорила не столько классовая рознь, сколько классовое равенство. «Зачем же мне играть с ним в вежливость? — ответил он мне на упрек, что он строгонек с кучером. — Разве мы с ним не равны? Разве он не так же близок мне, как мои дяди или двоюродные сестры? Уж не думаете ли вы, что я должен относиться к нему с особым уважением на том основании, что он будто бы ниже меня? Вы рассуждаете, как аристократ», — презрительно добавил он.

В самом деле, он относился пристрастно и с предубеждением только к одному классу — к аристократии, но уж до того пристрастно, что ему трудно было поверить в высокие душевные качества светского человека, а в высокие душевные качества человека из народа — легко. Как-то я встретил принцессу Люксембургскую, — она шла с его теткой, — и заговорил с ним о ней.

— Набитая дура, как и все ей подобные, — заметил он. — В довершение всего она мне дальняя родня.

Он относился предвзято к тем, кто у него бывал, сам выезжал в свет редко, и та презрительность или враждебность, какую он там проявлял, еще усиливала огорчение, которое он доставлял своим близким родственникам связью с «актеркой», а эту связь они считали губительной, в частности, потому, что она развила в нем дух всеосуждения, вредный дух, сбила его с пути истинного, так что теперь ему грозит окончательная «деклассация». Вот почему многие легкомысленные обитатели Сен-Жерменского предместья были беспощадны к любовнице Робера. «Для потаскушек это род занятий, — рассуждали они. — Вообще потаскушки не лучше и не хуже других, но уж эта!.. Ей мы не простим! Слишком много зла причинила она человеку, которого мы любим». Разумеется, не он первый попался в западню. Но другие развлекались, как люди светские, продолжали, как люди светские, интересоваться политикой, решительно всем. А его в семье считали «озлобленным». Семья не отдавала себе отчета, что очень часто истинными наставниками многих светских молодых людей, которые иначе остались бы духовно неразвитыми,

нечуткими по отношению к своим друзьям, неласковыми, с плохим вкусом, являются их любовницы, а такого рода связи — единственной школой нравственности, где они приобщаются к высшей культуре, где они учатся ценить бескорыстные знакомства. Даже в простой среде (своею грубостью так часто напоминающей высший свет) женщина, более восприимчивая, более чуткая, менее занятая, тянется к изяществу, чтит красоту душевную, красоту в искусстве, и хотя бы даже она этого не понимала, все же она ставит это выше того, что для мужчины составляет предел желаний — выше денег, выше положения в обществе. Так вот, молодой клубмен, вроде Сен-Лу, или молодой рабочий (например, электротехники в наши дни находятся в рядах истинного Рыцарства) до того упоен своей возлюбленной и так ее уважает, что не может не упиваться тем же, чем и она, и не уважать того же, что и она; шкала ценностей для него опрокинута. Возлюбленная — существо слабое по одному тому, что она — женщина, у нее бывают необъяснимые нервные расстройства, и если бы так разыгрались нервы у мужчины или даже у какой-нибудь другой женщины, у его тетки или двоюродной сестры, то это вызвало бы улыбку у здорового молодого человека. Но он не может спокойно смотреть на страдания любимой женщины. Юноша из благородной семьи, у которого, как у Сен-Лу, есть любовница, привык, идя с ней обедать в ресторан, брать с собой валериановые капли, потому что они могут ей понадобиться, требует — настойчиво и совершенно серьезно, — чтобы официант бесшумно закрывал двери и не ставил на стол влажный мох, так как у его спутницы может быть от этого дурнота, ни разу им не испытанная, представляющая для него таинственный мир, в реальность которого научила его верить она, и эта дурнота, вызывающая в нем чувство жалости, хотя он не представляет себе, что это такое, будет теперь вызывать у него жалость, даже если станет дурно не ей, а кому-нибудь еще. Любовница Сен-Лу, подобно первым монахам средних веков, учившим христиан, научила его жалеть животных, потому что сама питала к ним пристрастие и никуда не уезжала без собаки, канареек и попугаев; Сен-Лу относился к ним с материнской заботливостью, а про тех, кто плохо обращался с животными, говорил, что это грубые натуры. Кроме того, «актерка», или так называемая «актерка», жившая с ним, — не знаю, была она умна или нет, — влияла на него таким образом, что в обществе светских женщин он скучал и смотрел на посещение вечеров как на отбывание повинности, — так она предохранила его от снобизма и исцелила от ветрености. Благодаря ей светские знакомства стали занимать в жизни юного ее возлюбленного меньше места, чем если б он был обыкновенным салонным шаркуном, в основе

дружеских отношений которого, отмеченных печатью грубости, лежат честолюбие и своекорыстие, — любовница приучила его облагораживать их и одухотворять. Повинуясь своему женскому инстинкту, она ценила в мужчинах такие душевные качества, которые Сен-Лу без нее, может быть, и не разглядел бы, а то и посмеялся бы над ними; среди приятелей Сен-Лу она быстро отличала того, кто был к нему по-настоящему привязан, и отдавала ему предпочтение. Она умела внушить Сен-Лу чувство благодарности к нему, заставляла его выражать ее, замечать, что доставляет его другу удовольствие, а что огорчает. И скоро Сен-Лу перестал нуждаться в ее наставлениях, и в Бальбеке, где ее не было, ради меня, — а она никогда меня не видела, и Сен-Лу вряд ли успел написать ей обо мне, — без всякой моей просьбы закрывал окно в нашей карете, уносил цветы, от запаха которых мне становилось нехорошо, а когда, перед отъездом, ему предстояло прощание с несколькими знакомыми, он постарался поскорей от них отделаться, чтобы напоследок побыть вдвоем со мной, чтобы подчеркнуть разницу в отношении, чтобы я увидел, что он меня выделяет. Любовница открыла ему глаза на невидимое, внесла возвышенное начало в его жизнь, утончила его душу. Но всего этого не желала замечать его семья, твердившая в слезах: «Эта негодяйка в конце концов погубит его, а пока что бросает тень на его доброе имя». Правда, он уже взял от нее все хорошее, что она могла ему дать, и теперь она была для него лишь источником бесконечных страданий, — она разлюбила его и только мучила. В один прекрасный день она нашла, что он глуп и смешон, — в этом ее уверили друзья, молодые писатели и артисты, и она повторяла это за ними с той горячностью и несдержанностью, какую мы обнаруживаем после того, как кому-нибудь удалось привить нам взгляды или привычки, до тех пор глубоко нам чуждые. Как и этим лицедеям, ей нравилось разглагольствовать о том, что между нею и Сен-Лу — пропасть, потому что они разной породы: она — интеллигентка, а он, — что бы он ни доказывал, — от рождения ненавистник интеллигентности. Она считала, что она глубоко права, и искала доказательств своей правоты в незначащих словах своего любовника, в ничтожных его поступках. Но когда эти же друзья убедили ее еще и в том, что она подавала большие надежды, а что в совершенно неподходящем для нее обществе ее талант увянет, что любовник в конце концов засушит ее, что, живя с ним, она ставит крест на своем артистическом будущем, она, прежде только презиравшая Сен-Лу, теперь возненавидела его так, словно он старался во что бы то ни стало заразить ее смертельной болезнью. Она избегала встреч с ним, оттягивая, однако, момент окончательного разрыва, который мне лично казался весьма

мало вероятным. Сен-Лу шел ради нее на огромные жертвы, и, хотя она была прелестна (Сен-Лу не показал мне ее карточку; он говорил: «Во-первых, она не красавица, а во-вторых, она плохо выходит на карточках, это моментальные фотографии, ее снимал я, у вас создался бы искаженный „ее образ“), все-таки вряд ли нашла бы она человека, который проявил бы такое самопожертвование. Мне казалось, что если женщина помешана на том, чтобы при отсутствии таланта составить себе имя, и как бы она ни считалась с чьим-либо мнением (впрочем, любовница Сен-Лу могла быть совсем иным человеком), то даже для третьеразрядной кокотки все это должно меркнуть рядом с блаженством высасывать из любовника деньги. Сен-Лу, хотя лишь смутно догадывался, что происходит в душе его любовницы, и считал, что она не вполне искренна, когда бросает ему незаслуженные упреки и когда клянется в вечной любви, все же временами чувствовал, что она порвала бы с ним, если б могла, — вот почему, руководимый, по всей вероятности, инстинктом сохранения своей любви, быть может более дальновидным, нежели сам Сен-Лу, выказав практическую сметку, уживавшуюся в нем с самыми высокими и самыми безоглядными душевными порывами, он отказался перевести на ее имя капитал; он занял огромные деньги, чтобы она ни в чем не нуждалась, но выдавал их ей только на день вперед. И если она в самом деле решила бросить его, то, вернее всего, спокойно ждала, когда „сколотится капитал“, а для этого, если принять во внимание, какие суммы давал ей Сен-Лу, требовался срок, вне всякого сомнения, очень небольшой, но все-таки дававший моему новому другу возможность длить свое счастье — или несчастье.

Этот драматический период в их связи, — именно теперь достигший особенно мучительной для Сен-Лу остроты, оттого что любовница велела ему уехать из Парижа — так он ее раздражал, — и провести отпуск в Бальбеке, недалеко от его воинской части, — начался с вечера у тетки Сен-Лу, давшей согласие на то, чтоб его подруга пришла к ней и для многочисленных гостей исполнила отрывки из символистской пьесы, в которой она однажды играла на сцене новаторского театра, заразив Сен-Лу своим увлечением этой пьесой.

Когда же она появилась с большой лилией в руке, в костюме, скопированном с Ancilla Domini, предварительно внушив Роберу, что это настоящее «художественное открытие», сборище клубных завсегдатаев и герцогинь встретило ее усмешками, но монотонное чтение, необычность некоторых слов и частое их повторение вызвали у собравшихся уже не усмешки, а дикий хохот, сначала придушенный, потом — неудержимый,

так что бедной исполнительнице пришлось прекратить чтение. На следующий день тетку Сен-Лу все единогласно осудили за то, что она в своем доме позволила выступить такой ужасной артистке. Некий герцог, пользовавшийся; большой известностью, прямо сказал тетке Сен-Лу, что! она сама виновата.

— Дьявольщина! Нельзя же угощать такими прелестными номерами! Если б еще у нее был талант, но таланта у нее никогда не было и не будет. Нет, Париж, прах его побери, не так глуп, как принято думать. Общество состоит не только из болванов. Эта милая барышня думала, должно быть, удивить Париж. Но Париж не так-то просто удивить, — есть вещи, которые никакая сила не заставит нас принять.

А исполнительница, уходя, сказала Сен-Лу:

— К каким дурындам, к каким невоспитанным стервам, к какому хамью ты меня привел? Я уж тебе все скажу: там не было ни одного мужчины, который бы мне не подмигнул, не толкнул ногой, — я на их заигрыванья не ответила, вот они мне и отомстили.

Этислова превратили неприязнь Робера к светским людям в глубочайшее, болезненное отвращение, и внушали ему такое чувство как раз те, кто меньше всего это заслуживал: искренне любящие родственники, уполномоченные семьей уговорить подругу Сен-Лу порвать с ним, она же доказывала ему, что их подвинула на эти переговоры влюбленность в нее. Робер перестал у них бывать, но когда он, как, например, в настоящее время, находился вдали от своей подруги, ему все думалось, что они или же еще кто-нибудь пользуются его отсутствием, чтобы добиться своего, и, чего доброго, имеют успех. И когда он говорил о прожигателях жизни, обманывающих друзей, старающихся развратить женщин, затащить их в дом свиданий, лицо его принимало страдальческое, злобное выражение.

— Мне было бы легче убить их, чем собаку; собака — животное, по крайней мере, милое, преданное, верное. По ним плачет гильотина больше, чем по горемыкам, которых толкнули на преступление, во-первых, нищета, а во-вторых, бессердечие богачей.

Большую часть времени отнимали у него письма и телеграммы любовнице. Когда она запрещала ему приехать в Париж и на расстоянии изыскивала предлог для того, чтобы поссориться с ним, я каждый раз угадывал это по его расстроенному лицу. Любовница никогда ни в чем его не упрекала, а Сен-Лу, подозревая, что, может быть, она сама не знает, что поставить ему в вину, и что он просто-напросто надоел ей, все-таки ждал от нее объяснений и писал ей: «Скажи, что я сделал. Я готов признать мою вину», — душевная боль убеждала его, что он, наверное, как-то не так себя

вел.

Она бесконечно долго не отвечала ему, да и в ответах ее ничего нельзя было понять. Вот почему Сен-Лу был почти всегда хмурый, и очень часто он без толку ходил на почту, — из всего отеля только он да Франсуаза сами относили и сами получали письма: он — потому что его, как всякого влюбленного, одолевало нетерпение, она — потому что была недоверчива, как все слуги. (За телеграммами он ходил гораздо дальше)

Несколько дней спустя после обеда у Блоков бабушка, очень довольная, сказала мне, что Сен-Лу попросил у нее разрешения сфотографировать ее перед своим отъездом из Бальбека, и когда я увидел, что по сему случаю бабушка надела лучшее свое платье и выбирает шляпу, то на меня это ребячество особенно приятного впечатления не произвело — от кого, от кого, но от нее я никак этого не ожидал. Я даже спросил себя: не обманулся ли я в бабушке, не слишком ли я высоко ее ставлю, так ли она равнодушна к своему внешнему виду, нет ли в ней того, что, как мне всегда казалось, особенно чуждо ей, — кокетства?

К сожалению, досада, которую вызвал у меня проект фотографирования, а еще больше — удовольствие, которое он, по-видимому, доставлял бабушке, так ясно отразилась на моем лице, что Франсуаза не могла ее не заметить и — неумышленно усилила ее, обратившись ко мне с трогательной, умильной речью, которою я, однако, не проникся:

— Ах, сударь, бедной барыне страх как хочется сняться! Для такого случая она даже наденет шляпу, которую ей переделала старая Франсуаза. Пусть уж она, сударь!..

Вспомнив, что бабушка и мама, во всем служившие мне примером, часто посмеивались над сентиментальностью Франсуазы, я решил, что и мне не грех над ней посмеяться. Бабушка, заметив, что у меня недовольный вид, сказала, что если я против того, чтобы она фотографировалась, то она откажется. Я возразил ей, заявил, что, на мой взгляд, тут ничего неудобного нет, и, чтобы дать ей возможность принарядиться, ушел, но, прежде чем уйти, счел необходимым показать, какой я дальновидный и твердый: чтобы лишить ее удовольствия, которое она испытывала при мысли о фотографировании, я сделал несколько насмешливых, язвительных замечаний, — таким образом, хотя я все-таки увидел роскошную бабушкину шляпу, зато мне удалось согнать с лица бабушки то счастливое выражение, от которого я должен был бы прийти в восторг, но которое, как это очень часто случается, пока еще живы те, кого мы особенно любим, раздражает нас, потому что мы воспринимаем его как пошлость, а не как

проявление радости, тем более для нас драгоценное, что нам так хочется порадовать их! Я был не в духе, главным образом, потому, что всю эту неделю бабушка словно избегала меня и мне не удавалось ни минуты побыть с ней вдвоем — ни днем, ни вечером. Когда я возвращался в отель днем, чтобы хоть ненадолго остаться с ней наедине, мне говорили, что ее нет; или же она запиралась с Франсуазой, и эти их продолжительные совещания мне не разрешалось прерывать. Проведя где-нибудь вечер с Сен-Лу, я на обратном пути думал о той минуте, когда я обниму бабушку, но сколько я потом ни ждал тихих стуков в стену, которыми она звала меня проститься, — стуков не было слышно; в конце концов, слегка сердясь на нее за то, что она с таким необычным для нее равнодушием лишает меня радости, столь мною чаемой, я ложился, некоторое время с бьющимся, как в детстве, сердцем прислушивался, не скажет ли мне что-нибудь стена, но стена упорно молчала, и я засыпал в слезах.

В тот день, как и в предыдущие, Сен-Лу поехал в Донсьер, где уже и теперь, до своего окончательного возвращения, он должен был проводить время до вечера. Мне было без него скучно. Я видел, как из экипажа вышли молодые женщины, как одни из них направились в танцевальный зал казино, другие — к мороженщику, и я издали залюбовался ими. Я был в той поре юности, поре свободной, когда у нас нет еще определенной привязанности, когда — подобно влюбленному, тянущемуся к той, кем он увлечен, — мы вечно жаждем Красоты, всюду ищем ее, всюду видим. Достаточно одной реальной черты — того, что издали можно различить в женщине или если она стоит к нам спиной, — и мы воображаем, что перед нами Красота, сердце наше бьется, мы идем быстрее — и так до конца и остаемся наполовину уверенными, что то была Она, но только если женщина скрылась; если же нам удается догнать ее, мы убеждаемся в своей ошибке.

Впрочем, я чувствовал себя все хуже и хуже и склонен был преувеличивать самые обыкновенные удовольствия из-за того, что доставались они мне нелегко. Мне всюду мерещились элегантные женщины, оттого что я очень уставал и от робости не решался подойти к ним ни на пляже, ни в казино, ни в кондитерской. И все же, хоть я и думал о близкой смерти, мне хотелось узнать, как выглядят вблизи, в действительности, самые хорошенькие девушки, каких только жизнь могла мне подарить, хотя бы даже не я, а кто-нибудь еще, — а то и вовсе никто, — воспользовался этим даром (ведь я правда не отдавал себе отчета, что своим происхождением моя любознательность обязана стремлением к обладанию). Я осмелился бы войти в бальную залу, если бы со мной был

Сен-Лу. Но так как Сен-Лу отсутствовал, то я стоял около Гранд-отеля в ожидании, когда пора будет идти к бабушке, и вдруг почти в конце набережной увидел каким-то странным движущимся пятном приближавшихся ко мне не то пять, не то шесть девушек, столь же непохожих — и видом и повадками — на всех примелькавшихся мне в Бальбеке, как отличалась бы от них залетевшая невесть откуда стая чаек, гуляющих мерным шагом по пляжу, — отставшие, взлетая, догоняют их, — причем цель этой прогулки настолько же неясна купающимся, которых они словно не замечают, насколько четко вырисовывается она перед птичьими их умами.

Одна из незнакомок вела свой велосипед; две несли «клюшки» для гольфа; их одеяние резко выделялось на фоне одеяния бальбекских девушек, из коих иные хотя и занимались спортом, однако спортивных костюмов не носили.

В этот час мужчины и женщины гуляли по набережной под убийственным огнем, который открывала по ним, направляя на них лорнет, точно они являли собой гнездилища пороков, которые она должна была подробно изучить, жена председателя суда, торжественно восседавшая перед открытой эстрадой, в середине грозного ряда стульев, на которые вскоре усядутся, из актеров превратившись в критиков, сами гуляющие, чтобы судить тех, кто будет идти мимо них. Все эти люди, ходившие по набережной, покачиваясь словно на палубе корабля (они не умели поднять ногу так, чтобы не пошевелить при этом рукой, не поглядеть вбок, не приподнять плечи, не уравновесить только что сделанного движения движением в противоположную сторону и не покраснеть от натуги), желая показать, что им ни до кого нет дела, притворялись, будто не видят тех, кто шел рядом или навстречу, но украдкой все-таки поглядывали на них из боязни столкнуться и тем не менее натыкались и некоторое время не могли расцепиться, потому что ведь и они, в свою очередь, служили предметом тайного внимания, скрытого под наружным презреньем; любовь к толпе, — а значит, и страх толпы, — составляет одну из самых мощных движущих сил у всех людей, независимо от того, хотят они понравиться, удивить или же выразить пренебрежение: у отшельника причиной почти полного уединения, длящегося до конца его дней, часто бывает безумная любовь к толпе — любовь, которая оказывается настолько сильнее других его чувств, что, не властный вызвать восхищение швейцара, прохожих, извозчика, он предпочитает совсем их не видеть и отказывается от всякой деятельности, только бы не выходить из дому.

Иные из этих людей были увлечены какой-нибудь мыслью, но мыслью

скачущей, что проявлялось у них в порывистых движениях, в блуждающих взглядах, и эта порывистость и это блуждание были так же негармоничны, как предусмотрительное пошатыванье окружающих, и только девочки, на которых я обратил внимание, с той уверенностью движений, которая является следствием безукоризненной гибкости тела и непритворного презрения ко всему роду человеческому, шли прямо, не качаясь и не напрягаясь, делая только те движения, какие им хотелось делать, их руки и ноги были вполне самостоятельны, а голова и туловище поражали своей неподвижностью — тою неподвижностью, какой отличаются хорошие вальсеры. Они были уже близко. Каждая представляла собой совершенно особый тип, но красота была во всех; впрочем, откровенно говоря, я смотрел на девушек всего лишь несколько мгновений, не смея глядеть в упор, и еще не успел уловить своеобразие каждой из них. Если не считать той, что особенно резко выделялась своим прямым носом и смуглотою, — так на картине эпохи Возрождения выделяется волхв благодаря своему арабскому типу, — у одной из них на меня произвели впечатление лишь жестокие, упрямые и веселые глаза, у другой — щеки, румянец которых, отливавший медью, напоминал герань; и даже эти черты еще не связывались в моем представлении именно с этой девушкой, а не с другой; и когда (в той последовательности, в какой развертывалось передо мною это дивное целое, где соседствовали самые разные облики, где сосуществовали всевозможные краски, что не мешало ему быть недробимым, как музыка, ибо в музыке я не мог бы отъединить и узнать фразы, при первом слушании выделенные мной и тут же забытые) передо мною всплывал белый овал лица, глаза черные, глаза зеленые, я затруднился бы ответить на вопрос, они ли только что обворожили меня, я не мог придать эти черты той девушке, которую я отличил от других и узнал. И вот от этого отсутствия в моем восприятии граней, которые мне надлежало в недалеком будущем провести, в группе девушек наблюдалось мерное колыхание, непрерывное излучение текучей, собирательной, движущейся красоты.

Быть может, не только случай подобрал и соединил таких красивых подружек; быть может, эти девушки (уже самая их манера держаться свидетельствовала о том, что они смелы, легкомысленны и жестоки) не выносили ничего смешного, ничего уродливого, были равнодушны к духовным и моральным ценностям, испытывали невольное отвращение к тем своим сверстницам, у которых мечтательность и чувствительность выражались в застенчивости, в стеснительности, в неловкости, в том, что эти девушки, наверное, называли «дурным тоном», не сближались с ними

и, наоборот, сходились с теми, в ком их привлекало сочетание грации, ловкости и внешнего изящества, то есть единственная форма, которая, по их мнению, могла заключать в себе пленительную душевную прямоту и залог приятного совместного времяпрепровождения. Быть может, также класс, к которому они принадлежали и который я не мог определить, находился в том периоде своего развития, когда то ли благодаря богатству и досугу, то ли благодаря новомодному увлечению спортом, охватившему даже некоторые слои простонародья, и физической культурой, к которой пока еще не прибавилась духовная; быть может, их социальная среда, подобно тем гармоничным и плодотворным направлениям в скульптуре, которые пока еще не стремятся к передаче страдальческого выражения, легко и в изобилии производит красивые тела с красивыми ногами, с красивыми бедрами, с лицами здоровыми и спокойными, с живым и лукавым взглядом. И не явились ли мне у моря благородные и безмятежные образцы человеческой красоты, похожие на статуи под лучами солнца на берегах Греции?

Так вот, стайка этих самых девушек, светоносной кометой совершавшая свой путь по набережной, видимо считала, что окружавшая ее толпа состоит из существ совсем иной породы, так что даже страдания этих существ не могли бы возбудить в ней участие; девушки словно не замечали толпу, заставляли тех, кто стоял на дороге, расступаться, как перед никем не управляемой машиной, от которой нельзя ожидать, что она объедет пешеходов, и только в крайнем случае, если какой-нибудь старичок, существование которого они не желали признавать и всякое общение с которым было для них немыслимо, от них убегал, они, глядя на его быструю и смешную жестикуляцию, выражавшую страх или возмущение, пересмеивались. Им не надо было наигрывать Презрение ко всему, что находилось за пределами их группы, — непритворное их презрение было достаточно сильно. Но при виде какого-нибудь препятствия они не могли отказать себе в удовольствии преодолеть его с разбега или одним прыжком, — их всех переполняла, в них била ключом молодость, которую так хочется расточать, даже когда тебе грустно или нездоровится, повинуясь скорее потребностям возраста, чем минутному настроению, и ты ни за что не упустишь случая по всем правилам искусства прыгнуть или проскользить, прерывая, перебивая медленную свою походку — как Шопен самую грустную фразу — грациозными скачками, в которых прихоть сочетается с виртуозностью. Жена старика банкира после долгих колебаний усадила наконец мужа на складной стул, лицом к набережной, возле эстрады, защищавшей его от ветра и солнца.

Убедившись, что она хорошо устроила его, жена пошла за газетой, чтобы потом почитать ему вслух, — эти ее отлучки, длившиеся не больше пяти минут, казались ей очень долгими, но она все-таки позволяла их себе довольно часто, чтобы у ее старого мужа, о котором она старалась заботиться так, чтобы он этого не замечал, создавалось впечатление, будто он еще в состоянии жить, как живут все, и в опеке не нуждается. Возвышавшаяся над ним эстрада представляла собой естественный и заманчивый трамплин, и вот по направлению к нему-то без малейших колебаний и побежала старшая в стайке: она перескочила через перепуганного старика, задев своими ловкими ногами его морскую фуражку, чем доставила огромное удовольствие другим девушкам, особенно — зеленым глазам на румяном лице, выражавшем восторг и радость, сквозь которую, как мне показалось, проступала застенчивость, стыдливая и задиристая, — проступала только у нее одной. «Бедный старикашка, мне его жаль, — ведь он чуть было не окочурился», — с легкой насмешкой в хриплом голосе сказала одна из девушек. Они прошли еще несколько шагов, потом, не обращая внимания на то, что загородили дорогу, остановились посовещаться, образовав неправильной формы скопление, плотное, причудливое и щебетливое, подобное птичьей станице перед отлетом; потом они возобновили медленную свою прогулку над морем.

Теперь прелестные их черты уже не были неразличимы и слитны. Я распределил их и наделил ими (вместо неизвестных мне имен) высокую, прыгнувшую через старика банкира; маленькую, чьи пухлые розовые щеки и зеленые глаза выделялись на фоне морской дали; смуглянку с прямым носом, резко отличавшуюся от других; еще одну с лицом белым, точно яйцо, с носиком, изогнутым, как клюв у цыпленка, — такие лица бывают только у очень молодых людей; еще одну, высокую, в пелерине (в которой она выглядела бедной девушкой и которая до такой степени не соответствовала стройности ее стана, что объяснить этот разнобой можно было разве лишьтем, что ее родителям, людям довольно знатным, не желавшим ради бальбекских купальщиков рядить своих детей, было совершенно все равно, что их дочь, гуляющая по набережной, на взгляд всякой мелюзги одета чересчур скромно); девушку с блестящими веселыми глазами, с полными матовыми щеками, в черной шапочке, надвинутой на лоб, — ведя велосипед, она так разухабисто покачивала бедрами, употребляла такие площадные словечки (между прочим, я расслышал затасканное выражение «прожигать жизнь»), так громко их произносила, что, поравнявшись с ней, я отверг догадку, на какую меня навела пелерина

ее подруги, и решил, что, вернее всего, это тот сорт девиц, который посещает велодромы, что это совсем еще юные любовницы велосипедистов-гонщиков. Во всяком случае, я не допускал мысли, что это девушки порядочные. Я сразу— по одному тому, как они со смехом переглядывались, по пристальному взгляду девушки с матовыми щеками — понял, что они испорченны. Притом бабушка внушала мне слишком строгие понятия о нравственности, — вот почему то, чего делать не следует, представлялось мне чем-то единым, следовательно, — рассуждал я, — если девушки не уважают старость, значит, что же может вдруг заставить их удержаться от больших соблазнов, чем прыжок через восьмидесятилетнего старика?

Теперь я их уже отделял одну от другой, и все-таки разговор, который вели между собой их взгляды, оживленные чувством удовлетворения и духом товарищества, временами загоравшиеся любопытством или выражавшие вызывающее равнодушие, в зависимости от того, шла ли речь о подруге или о прохожих, равно как и сознание близости, позволявшей им всегда гулять вместе, «целой стайкой», устанавливали между их телами, самостоятельными и обособленными, пока они медленно двигались вперед, некую связь, незримую, но гармоничную, накрывали их теплым облаком, окутывали особой атмосферой, образуя из них единое целое, настолько же однородное, насколько отличались они от остальной толпы, среди которой они шествовали.

На одно мгновение, когда я проходил мимо щекастой брюнетки, ведшей велосипед, мой взгляд встретился с ее взглядом, косым и веселым, исходившим из глубины того внечеловеческого мира, в котором жило это маленькое племя, из недоступной неизвестности, куда представление обо мне, разумеется, не могло бы проникнуть, где для него не оказалось бы места. В шапочке, надвинутой на самый лоб, занятая разговором с подругами, увидела ли она меня в тот миг, когда черный луч, который шел от ее глаз, скользнул по мне? Если увидела, то каким я ей показался? Из лона какой вселенной различила она меня? Ответить себе на эти вопросы мне было так же трудно, как по некоторым особенностям соседней планеты, которые показывает нам телескоп, угадать, что там живут люди, что они видят нас и какое мы производим на них впечатление.

Если бы мы полагали, что глаза девушки — всего лишь блестящие кружки слюды, мы бы не жаждали познакомиться и соединить с ней свою жизнь. Но мы чувствуем, что свечение этих отражающих дисков зависит не только от их устройства; что для нас они — непонятные, темные тени представлений, какие составило себе это существо о людях и о знакомых

ему местностях, — о лужайках ипподромов, о песке дорог, по которым, летя на велосипеде меж полей и лесов, увлекала бы меня за собой эта маленькая пери, более прельстительная, чем пери персидского рая, — а еще тени дома, куда она вернется, тени того, что замыслила она и что замыслили за нее другие; главное же — она сама, с ее желаниями, влечениями, неприязнями, с неосознанной, но неуклонной волей. Я знал, что не буду обладать юной велосипедисткой, если не овладею тем, что таится в ее глазах. И вот поэтому вся ее жизнь возбуждала во мне желание; желание мучительное, оттого что я сознавал его несбыточность, но и упоительное, ибо то, что до сих пор было моею жизнью, внезапно перестало быть всею моею жизнью, — оно уместилось на крохотной частице раскинувшегося передо мной пространства, которое я стремился преодолеть и которое являло собой не что иное, как жизнь этих девушек, и обещало мне продление, возможно большее размножение моего «я», а ведь это и есть счастье. И, понятно, коль скоро привычки, — а также и мысли, — были у нас с ними разные, мне было особенно трудно сблизиться с ними, понравиться им. Но, быть может именно в силу различий, благодаря сознанию, что ни в натуре, ни в поступках девушек нет решительно ничего знакомого или свойственного мне, чувство пресыщения уступило во мне место жажде, — похожей на ту, от которой изнывает сухая земля, — жажде той жизни, которая до сих пор не уделила моей душе ни единой капли и которую моя душа тем более жадно поглощала бы — не торопясь, всецело отдаваясь впитыванью.

Я долго смотрел на велосипедистку с блестящими глазами, и, заметив это, она сказала самой высокой что-то ее насмешившее, но что именно — я не расслышал. Откровенно говоря, мне больше всех нравилась не брюнетка — именно потому, что она была брюнетка, а еще потому, что (с того дня, когда я на тропинке в Тансонвиле увидел Жильберту) недостижимым идеалом оставалась для меня рыжая девушка с золотистой кожей. Но не потому ли я полюбил Жильберту, что она явилась в ореоле своей дружбы с Берготом, вместе с которым она осматривала соборы? И не потому ли меня радовал взгляд брюнетки (облегчавший, как мне думалось, знакомство с нею первой), что он подавал мне надежду на то, что брюнетка представит меня подругам: безжалостной, которая перепрыгнула через старика, жестокой, которая сказала: «Мне его жаль, бедный старикашка», — всем по очереди, всем этим девушкам, неразлучная дружба с которыми придавала ей особую прелесть? И все-таки мысль, что я вдруг да подружусь с одной из них, что чужой мне взгляд, который, рассеянно скользя по мне, как играет по стене солнечный зайчик, внезапно в меня вонзался, каким-нибудь

алхимическим чудом возьмет да и пропустит сквозь несказанно прекрасные частицы их глаз понятие о моем существовании, что-то похожее на дружеское чувство ко мне, что и я когда-нибудь займу место среди них, приму участие в их шествовании по берегу моря, — эта мысль представлялась мне не менее нелепой, чем если бы, стоя перед фризом или фреской, изображающей шествие, я, зритель, счел бы возможным занять место, заслужив их любовь, среди божественных участниц процессии.

Итак, познакомиться с девушками — счастье недостижимое. Конечно, такого счастья я лишал себя не впервые. Со сколькими незнакомками уже здесь, в Бальбеке, мчавшаяся коляска разлучила меня навсегда! В самом наслаждении, какое доставляла мне стайка, благородством форм напоминавшая дев Эллады, было что-то похожее на чувство, которое я испытывал при виде того, как мелькают мимо меня женщины на дороге. Эта летучесть существ, нам незнакомых, вырывающих нас из привычного мира, где женщины, с которыми мы видимся часто, в конце концов обнаруживают свои изъяны, подбивает нас броситься за ними в погоню, и тут уж воображение наше не удержать. А исключить из наших наслаждений воображение — значит свести их на нет. Если б этих девушек предложила мне одна из посредниц, от чьих услуг я, как известно, не отказывался, если б извлечь их из стихии, сообщавшей им столько неуловимых оттенков, я был бы не так очарован ими. Надо, чтобы воображение, побуждаемое неуверенностью в том, удастся ли ему достичь своей цели, поставило перед собой другую цель, которая скрыла бы от нас первую, и, заменив чувственное наслаждение стремленьем проникнуть в чужую жизнь, не дало нам познать это наслаждение, ощутить его настоящий вкус, ввести его в определенные рамки. Нужно, чтобы между нами и рыбой, — а то если б мы увидели ее в первый раз на столе, за обедом, мы подумали бы, что она не стоит множества хитростей и подвохов, применяющихся теми, кто хочет ее поймать, — встала во время послеполуденного лова зыбь на поверхности, к которой в текучести прозрачной и подвижной лазури устремилась бы со дна, пока мы еще не отдаем себе ясного отчета, что мы станем с ней делать, гладкость некоего тела, расплывчатость некоей формы.

Девушки выигрывали еще и от изменения социальных пропорций, характерного для жизни на курорте. Все преимущества, от которых в обычных условиях мы увеличиваемся в росте, возвышаемся, здесь становятся незаметными, в сущности, упраздняются; зато особы, которых мы таковыми преимуществами наделяем без всяких к тому оснований, искусственно увеличиваются в объеме. На курорте незнакомки вообще, —

а сегодня вот эти девушки, — приобретали в моих глазах огромное значение, я же лишался возможности дать им понять, какое значение мог бы иметь для них я.

Для курортной жизни прогулка стайки была всего лишь промельком в бесконечном скольжении женских фигур, всегда меня волновавшем, но стайка скользила до того медленно, что эта ее медлительность граничила с неподвижностью. И вот даже при такой неспешной поступи лица, не увлекаемые вихрем, но спокойные и отчетливые, мне все-таки показались прекрасными, и я уже не имел оснований предполагать, как очень часто предполагал, когда меня уносила коляска маркизы де Вильпаризи, что на близком расстоянии, остановись Я на минутку, некоторые черты — рябины, неприятные ноздри, глупое выражение, насильственная улыбка, плохая фигура — изменили бы лицо и тело женщины, которые мое воображение, конечно, приукрашало: ведь мне достаточно было издали заметить красивую линию тела, хороший цвет лица — и я уже уверенно дорисовывал прелестные плечи, чарующий взгляд, который я всегда хранил у себя в памяти или же в своем представлении, но эти попытки схватить внешний облик человека на лету обманывают нас так же, как чересчур быстрое чтение, когда мы, выхватив один-единственный слог и не давая себе труда правильно прочесть другие, заменяем написанное слово совершенно иным, которое нам подсказала память. Сейчас этого быть не могло. Я хорошо рассмотрел лица девушек; не всех я видел в профиль, редко кого — анфас, но с нескольких довольно разных точек, что дало мне возможность уточнить, то есть выверить, «взять пробу» различных предположений о линиях и красках — предположений, на какие отваживается первый взгляд, — и углядеть сквозь меняющиеся выражения нечто нерушимо вещественное. Вот почему я мог сказать себе с уверенностью, что ни в Париже, ни в Бальбеке, при самых благожелательных гипотезах относительно того, что они представляют собой на самом деле, даже если б мне удалось поговорить с ними, между мелькавшими мимо меня женщинами, на ком задерживался мой взгляд, не было ни одной, чье появление, а затем мгновенное исчезновение навеяло на меня более сильную грусть, чем должно было навеять появление и исчезновение этих, дало мне почувствовать» что дружба с ними может быть так же упоительна, как с этими. Ни среди актрис, ни среди крестьянок, ни среди монастырок я ни разу не видел ничего столь же прекрасного, исполненного такой же загадочности, не видел ничего столь же баснословно драгоценного, столь же безусловно недоступного. То был неведомого и наивозможного в жизни счастья такой чудесный и

совершенный образец, что я почти уже под влиянием духовного начала приходил в отчаяние от пугавшей меня мысли, что мне не удастся в этих особых условиях, когда ошибки быть не может, познать то наиболее таинственное, что сулит чаемая нами красота и что всегда ускользает от нас, мы же довольствуемся тем, что ищем наслаждений (в которых Сван отказывал себе до знакомства с Одеттой) у женщин нелюбимых, и мы умираем, так и не вкусив того, другого наслаждения. Понятно, на самом деле неизведанного наслаждения могло и не оказаться, при приближении к нему его тайна могла рассеяться, оказаться лишь отражением, миражем нашего желания. Но в этом случае я мог бы роптать только на незыблемый закон природы, — если ему подвластны эти девушки, то, значит, подвластны и другие, — а не па недостатки объекта. Ведь я всех предпочел бы ему, с удовлетворением ботаника отдавая себе полный отчет, что нигде не найдешь объединения более редкостных видов, чем эти молодые цветы, заслонявшие от меня часть береговой линии своею легкою живою изгородью, похожей на куст пенсильванских роз, этого украшения садов на скалистом берегу океана, — роз, меж которыми виден путь парохода, медленно скользящего по голубой горизонтальной черте, идущей от стебля к стеблю, — до того медленно, что ленивый мотылек, замешкавшийся в венчике, мимо которого судно давно прошло, может быть твердо уверен, что достигнет другого венчика раньше корабля, даже если дождется, когда всего лишь узенькая полоска лазури будет отделять нос корабля от крайнего лепестка на цветке, к которому он движется.

Я вернулся в отель — во-первых, потому, что мне предстоял ужин в Ривбеле с Робером, а во-вторых, потому, что бабушка требовала, чтобы в такие вечера я перед отъездом проводил час в постели, — потом бальбекский врач предписал мне устраивать себе такой отдых ежедневно.

Но в отель не надо было проходить через вестибюль, то есть со стороны, противоположной набережной. В виде уступки, вроде той, что делалась в Комбре по субботам, когда мы завтракали на час раньше, в бальбекском Гранд-отеле накрывали к ужину, хотя казалось, что это еще время дневного чая — так по-летнему долго было светло. Высокие окна, вровень с набережной, не затворялись. Один шаг через тонкую деревянную раму — и вот я уже в столовой, а из столовой — прямо к лифту.

Проходя мимо конторы, я улыбнулся директору и без малейшего отвращения заметил улыбку и на его лице, которое с того дня, когда я приехал в Бальбек, мое проницательное внимание понемногу окрашивало и видоизменяло точно это был естественноисторический препарат. Его черты, опошлившись, наполнились смыслом неглубоким, но понятным, как

разборчивый почерк, и уже ничуть не походили на затейливые, нестерпимые для глаза литеры, из которых состояло его лицо, каким оно представлялось мне в первый день, когда я увидел перед собой человека, теперь уже забытого или, если мне и удавалось восстановить его в памяти, неузнаваемого, имевшего очень мало общего с тем незначительным, учтивым субъектом, — теперь это была его карикатура, уродливая и обобщенная. Не испытывая ни робости, ни грусти, как в день приезда, я позвонил лифтеру, и лифтер уже не молчал, пока мы с ним поднимались в лифте, точно внутри движущейся грудной клетки, перемещающейся вдоль позвоночного столба, а все повторял:

— Теперь уж не так много народу, как прошлый месяц. Скоро начнут разъезжаться — день убавляется.

Это не соответствовало действительности, но он уже сговорился о переходе в более теплую часть побережья, и ему хотелось, чтобы мы все разъехались как можно скорей, чтобы наш отель закрылся и чтобы у него благодаря этому выкроилось несколько свободных дней перед «.возвращением» на «новое» место. Кстати сказать «возвратиться» на «новое» место в устах лифтера не было бессмыслицей — вместо «поступить» он обычно говорил: «возвратиться». Меня только удивило, что лифтер унизился до употребления слова «место», ибо он принадлежал к той части современного пролетариата, которая стремится вытравить из своего языка следы рабства. Но он тут же сообщил мне, что в новых «условиях», в которые ему предстоит «возвратиться», «мундир» у него будет красивее и больше «оклад» — слова «ливрея» и «жалованье» казались ему устарелыми и роняющими человеческое достоинство. Но в противовес языку пролетариев язык «хозяев» упорно держится за представления о неравенстве, и из-за этой нелепости я плохо понимал лифтера. Меня, например, интересовало одно: у себя ли в номере бабушка? Так вот, предупреждая мои расспросы, лифтер говорил мне: «Эта дама только что от вас вышла». Меня это всякий раз сбивало с толку — я думал, что он имеет в виду бабушку. «Нет, другая дама, — кажется, это ваша служащая». На старом языке буржуазии, который давно пора вывести из употребления, кухарку нельзя назвать служащей, и я на секунду призадумывался: «Он что-то путает — у нас нет ни завода, ни служащих». И вдруг я вспоминал, что наименование «служащий» — это все равно что ношение усов для официантов в кафе: оно отчасти льстит самолюбию прислуги, и догадывался, что дама, вышедшая из нашего номера, — Франсуаза (вернее всего, отправившаяся в кафетерий или посмотреть, как шьет портниха бельгийки), но самолюбие лифтера этим все же не

удовлетворялось: сочувствие к своему классу он любил выражать через единственное число: «у рабочего» или: «у небогатого», — вот так же Расин говорит: «бедный человек». Но я был далеко не так любознателен и застенчив, как в первый день, и потому обыкновенно с лифтером не разговаривал. Теперь уже он не получал ответа на свои вопросы во время короткой поездки, пока он несся вверх по отелю, просверленному, точно игрушка, и на всех этажах раскрывавшему перед нами ответвления коридоров, в глубине которых свет скрадывался, тускнел, утончал двери и ступени лестниц и преображал их в золотистый янтарь, зыбкий и таинственный, как сумерки на картине Рембрандта, выхватывающего из них то подоконник, то рукоятку от колодезного вала. И в каждом этаже золотистый отблеск на ковре объявлял о заходе солнца, а также о том, что тут близко окошко уборной.

— Я задавал себе вопрос, в Бальбеке ли живут девушки, которых я видел, и кто они такие. Когда нас влечет к какому-нибудь кружку, то все, что с ним связано, сначала волнует нас, а потом уносит в область мечтаний. Я слышал, как на набережной одна дама сказала: «Это подруга маленькой Симоне», — и при этом у нее был такой вид, словно она давала лестное пояснение, вроде, например, такого: «Он и маленький Ларошфуко — неразлучные друзья». И тотчас же лицо особы, которая об этом узнала, выразило любопытство к той счастливице, что была «подругой маленькой Симоне». Такой чести, наверно, удостаивались не все. Ведь аристократия — понятие относительное. В каком-нибудь плохеньком дачном месте сын торговца мебелью — законодатель мод и царствует в своем дворе, как юный принц Уэльский. Я часто потом силился вспомнить, как прозвучала для меня на пляже фамилия Симоне, — форма ее была тогда еще мне не ясна: она лишь едва-едва обозначалась, равно как и ее содержание, равно как и то, что могла она для кого-нибудь значить; словом, в ней были та неопределенность и та новизна, которые так волнуют впоследствии, когда эта фамилия, буквы которой с каждым мгновеньем все глубже врезает в нас неослабевающее наше внимание, станет (в моей жизни фамилия маленькой Симоне будет играть такую роль лишь несколько лет спустя) первым словом, какое нам приходит на память после сна или после обморока, еще до того, как мы сообразим, который час и где мы, почти до слова «я», точно фамилия этого существа — в большей степени *мы* , чем мы сами, точно после нескольких секунд бессознательного состояния раньше, чем какой-нибудь другой отдых, кончается отдых от мыслей об этом существе. По непонятной причине я сразу догадался, что Симоне — фамилия одной из девушек, и потом все время ломал себе голову, как бы мне познакомиться с

семейством Симоне; хотел же я, чтобы нас познакомил кто-нибудь, на кого эта девушка смотрела бы снизу вверх, а найти такого человека нетрудно, — думалось мне, — если только эта девушка всего-навсего шлюшка из простых, — тогда она не отнесется ко мне с пренебрежением. А ведь нельзя до конца узнать презирающего тебя человека, нельзя вобрать его в себя до тех пор, покуда ты не переборешь его презрения. Пусть только войдет в нас незнакомый женский образ — и мы, если толь— 4 ко забвение или же соперничество других образов не изгонит его, не успокоимся, пока не превратим эту пришелицу в нечто похожее на нас: дело в том, что наша душа так же реагирует и так же действует, как и наш организм, не терпящий вторжения инородного тела и сейчас же старающийся переварить или же усвоить это нечто постороннее, маленькая Симоне должна была быть самой хорошенькой из всех, а во-вторых, той, которая, как мне представлялось, могла бы стать моей возлюбленной, потому что только она раза три искоса взглянула на меня и как будто заметила, что я не отрываю от нее глаз. Я спросил лифтера, не знает ли он в Бальбеке Симоне. Лифтер не любил сознаваться, что он чего-нибудь не знает, и предпочел ответить, что, кажется, кто-то при нем называл эту фамилию. Как только мы поднялись на самый верх, я попросил его прислать мне списки прибывших за последнее время.

Я вышел из лифта, но вместо того, чтобы идти к себе в номер, пошел дальше по коридору, — в этот час коридорный на нашем этаже, хоть и боялся сквозняков, отворял крайнее окно, выходившее не на море, а на холм и долину, но скрывавшее их от нашего взора: оно почти никогда не отворялось, а стекла в нем были матовые. Я решил сделать у окна короткую остановку, на короткое время, чтобы восхититься «видом», открывавшимся теперь за холмом: у этого холма стоял наш отель, а на холме — дом, и, хотя их отделяло известное расстояние, перспектива и вечернее освещение не отнимали у дома его объемности, они украшали его драгоценной резьбой, превращали в ларец с бархатной подкладкой, вроде тех миниатюрных произведений зодческого искусства, церковочек или часовенок из серебра, золота и эмали, которые служат ковчежцами и которые только по особым дням выносятся для того, чтобы верующие к ним приложились. Однако мое любование, должно быть, затянулось, потому что коридорный, в одной руке державший связку ключей, а другою в знак приветствия дотрагивавшийся до своей скуфейки, но не снимавший ее из боязни вечерней свежести и прохлады, закрыл, точно дверцы раки, обе створки окна, отняв у моего восторга монумент в уменьшенном размере, золотую святыню.

Я вошел к себе в номер. С течением времени года менялась картина в

окне. На первых порах оно бывало ярко освещено и лишь в ненастные дни становилось темным; тогда в зеленовато-синем стекле, которое словно вздували круглые волны, море, оправленное в железо косяков моего окна, точно в свинец витража, разузоривало всю широкую скалистую кромку залива перистыми треугольниками неподвижной пены, вычерченными так тонко, как Пизанелло писал перо или пух, и закрепленными прочной и густой белой эмалью, с помощью которой Галле изображает на стекле снежный покров.

Скоро дни стали короче, и когда я входил к себе в номер, то казалось, что лиловое небо, клейменное не меняющей очертаний, геометрически правильной, плавучей, сверкающей фигурой солнца (представавшей взору неким чудотворным знамением, неким мистическим видением), на шарнире горизонта наклонено над морем, точно запрестольный образ над престолом, отдельные же части заката, отражавшиеся в стеклах тянувшихся вдоль стен низеньких книжных шкафов красного дерева и мысленно мною соотносимые с дивной картиной, из которой они были выхвачены, напоминали отдельные (цены, воспроизведенные старинным мастером в монастыре на раке, а теперь выставляемые порознь на сохранившихся от раки створках в музее, где только воображение посетителя способно водворить их на прежнее место.

А несколько недель спустя я уже входил к себе в номер после захода солнца. Подобная той, что я видел в Комбре над кальварием, когда возвращался с прогулки, думая о том, что перед ужином надо заглянуть на кухню, полоса красного неба над морем, неприятно Пустым, как студень, а чуть погодя — над морем уже холодным и синим, как рыба лобан, и все остальное небо, такое же розовое, как лососина, которую мы скоро закажем в ривбельском ресторане, сообщали особую остроту тому удовольствию, какое мне доставляло одевание, перед тем как ехать ужинать. Над морем, совсем близко от берега, с усилием поднимались, наслаиваясь один на другой все более широкими ярусами, черные, как сажа, и вместе с тем блестящие, плотные, как агат, пары, тяжелые даже на вид, и оттого казалось, будто еще мгновение — и верхние, нависшие над покривившимся стержнем и почти отклонившиеся от центра тяжести тех, что пока еще поддерживали их, увлекут за собой всю эту громаду, которой осталось всего полпути до неба, и обрушат ее в море. Глядя вслед кораблю, удалявшемуся, словно путник ночью, я испытывал точно такое же чувство, какое однажды охватило меня в вагоне, — чувство избавления от необходимости спать, будучи заточенным у себя в комнате. Впрочем, в этой комнате я не ощущал себя узником: ведь через час я же уйду отсюда и сяду

в экипаж! Я бросался на кровать; и, точно я лежал на койке одного из тех суден, которые были сейчас совсем близко от меня и на которые с таким удивлением смотришь ночью — смотришь, как медленно движутся они во мраке, будто угрюмые, молчаливые, но не спящие-лебеди, — меня обступали образы, моря.

Но очень часто это были всего лишь образы; я забывал, что их расцветка прикрывает унылую пустыню пляжа, где кружит тревожный вечерний ветер, который навел на меня такую тоску, когда я приехал в Бальбек; да и у себя в номере я находился под свежим впечатлением от встречи с девушками и потому был недостаточно спокоен, недостаточно бесстрастен, а значит и неспособен к действительно глубокому восприятию красоты, Ожидание ужина в Ривбеле настраивало меня на еще менее возвышенный лад; моя мысль, выйдя на поверхность моего тела, которое я намеревался одеть так, чтобы оно притягивало ко мне женские взгляды, которые станут рассматривать меня в залитом светом ресторане, была бессильна почувствовать глубину предметов за их расцветкой. И если бы не тихий и неутомимый полет стрижей и ласточек, взметывавшихся под моим окном, точно фонтан, точно фейерверк жизни, заполнявший пространство между этими высоко взносившимися ракетами неподвижной белой пряжей длинных горизонтальных струй, не будь этого пленительного чуда, каким оборачивалось для меня естественное местное явление, чуда, связывавшего с действительностью пейзажи, какие я видел перед собой, я мог бы подумать, что это всего-навсего ежедневно обновляемый подбор картин, которые кто-то, руководствуясь только своим вкусом, показывает в том краю, где я сейчас нахожусь, хотя непосредственного отношения они к нему не имеют. Как-то раз открылась выставка японских эстампов: рядом с тонкой пластинкой солнца, багрового и круглого, как луна, желтое облако напоминало озеро, а на нем выделялись черные мечи, похожие на прибрежные деревья; лента нежно-розового цвета, какого я не видел со времен моей первой коробки с красками, вздувалась, точно река, на берегах которой лодки словно только и ждали, чтобы кто-нибудь спустил их на воду. Проведя по всему этому презрительный, скучающий, поверхностный взгляд — взгляд любителя или дамы, между двумя визитами забежавшей в картинную галерею, я говорил себе: «Этот закат любопытен, в нем есть что-то необычное, но эти удивительно, нежные краски я уже видел». Больше удовольствия доставлял мне в иные вечера корабль, поглощенный и растворенный окоемом, до того одинакового с ним цвета, — точь-в-точь как на картине художника-импрессиониста, — что казалось, будто корабль и окоем сделаны из одного материала, словно дело было только в том, чтобы

вырезать носовую часть и снасти, и в них этот материал сквозил и узорился на мглистой голубизне небосвода. Иногда океан заполнял собой почти все мое окно, словно приподнятое пеленою неба, обведенною только вверху линией такого же синего цвета, как море, — вот почему мне казалось, что это тоже море; если же разница в окраске все-таки наблюдалась, то я убеждал себя, что это зависит от освещения. Иной раз море бывало написано только в нижней части окна, а середину и верх заполняло столько облаков, наползавших одно на другое горизонтальными полосами, что стекла окон напоминали «облачные этюды», выполненные художником, у которого был такой замысел или же у которого такая специальность, а в стеклах книжных шкафов отражались тоже облака, но только наплывшие на другую часть небосклона и по-иному окрашенные, и вот эти облака являли собой как бы повторение, которое так полюбилось иным современным мастерам, одного и того же эффекта, и хотя этот эффект надо улавливать непременно в разные часы, однако, благодаря запечатлевающей силе искусства, они могут быть увидены одновременно, написанные пастелью и вставленные в застекленную раму. Иногда на сером небе и море выделялась легкая, необычайной тонкости, розовость, а крылья мотылечка, уснувшего под этой «гармонией серых и розовых тонов» во вкусе Уистлера, напоминали подпись мастера из Челси. Розовое исчезало, смотреть было не на что. Я вставал, задергивал большие занавески и опять ложился в постель. Отсюда мне была видна полоса света над ними — она угасала, суживалась, но во мне не вызывала ни грусти, ни сожаления смерть над занавесками того часа, который я обыкновенно проводил за столом, — ведь я же знал, что этот день не такой, как другие, что он длиннее, что он вроде полярных дней, которые ночь прерывает всего лишь на несколько минут; я знал, что произойдет лучевое превращение — и из куколки сумерек родится ослепительный свет ривбельского ресторана. Я говорил себе: «Пора», потягивался, вставал, одевался; и я находил прелесть в этих бесполезных, свободных от всякого материального груза мгновеньях, когда, — пока другие ужинали внизу, — я тратил силы, накопленные за время предвечернего бездействия, на то, чтобы обтереться, надеть смокинг, завязать галстук, проделать все эти движения, уже управляемые наслаждением, думать о том, что я снова увижу ту женщину, на которую я прошлый раз обратил внимание в Ривбеле, которая, кажется, на меня смотрела, даже встала из-за стола — быть может, понадеявшись, что я пойду за ней; мне нравилось наводить на себя лоск: ведь я делал это для того, чтобы потом весело, с головой погрузиться в новую, свободную беззаботную жизнь, для того, чтобы мои сомнения разбились о спокойствие

Сен-Лу, для того, чтобы выбрать из разновидностей, изучаемых естественной историей и доставляемых сюда со всего света, такие, которые входят в состав наиболее изысканных кушаний, немедленно заказываемых моим другом, и дразнят мой аппетит и воображение.

А в последние дни перед отъездом я уже не мог прямо с набережной войти в столовую: ее окна уже не отворялись, потому что наружи было темно, и целая толпа бедняков и любопытных, привлеченных недоступным для них пыланьем, дрожавшими на ветру черными гроздьями обвивала светящиеся, скользкие стены стеклянного улья.

В дверь постучали; это был Эме — он сам взял на себя труд принести мне списки вновь прибывших.

Перед уходом Эме не мог не высказать мнение, что Дрейфус виновен безусловно. «Все выяснится, — сказал Эме, — но не в нынешнему году, а в будущем: я это слышал от одного господина, у которого большие связи в генеральном штабе. Я его спросил, не собираются ли все обнародовать теперь же, до нового года. Он отложил папиросу, — продолжал Эме, изображая эту сцену в лицах, и покачал головой и указательным пальцем, как его знакомый, желавший этим сказать: не все сразу. — „В этом году — нет, Эме, — вот что он сказал в положил мне руку на плечо, — никак невозможно. А к Пасхе — да!“ Тут Эме легонько похлопал меня по плечу и сказал: „Видите, я вам его представляю в точности“, а представлял он его то ли потому, что был польщен фамильярностью важной особы, то ли для того, чтобы я мог с полным знанием дела судить о том, насколько убедительна мотивировка и есть ли у нас надежды.

Не без легкого сердцебиения прочел я на первой странице списка новоприбывших: «Симоне с семейством». Во мне не умирали давние мечты — мечты моего детства, и в этих мечтах нежность, ощущавшуюся моим сердцем и от него неотделимую, пробуждало во мне существо, ни в чем на меня не похожее. Теперь я творил его вновь, воспользовавшись для этого фамилией Симоне и воспоминанием о гармоничности юных созданий, прошествовавших мимо меня на пляже, как на спортивных состязаниях, достойных увековечения на картине древнего художника или Джотто Я не имел понятия, которая из этих девушек — мадмуазель Симоне и действительно ли у кого-нибудь из них такая фамилия, но я знал, что люблю мадмуазель Симоне, и решил через Сен-Лу попытаться завязать с ней знакомство. К сожалению, Сен-Лу должен был каждый день ездить в Донсьер — только с этим условием ему и продлили отпуск, но, надеясь заставить его пренебречь обязанностями офицера, я рассчитывал не столько на его дружеские чувства, сколько на любознательность

человекоиспытателя, которая так часто — даже если я не видел той, о ком шла речь, а только слышал, что у фруктовщика хорошенькая кассирша, — подбивала меня на знакомство с новым образцом женской красоты. Так вот, напрасно я старался расшевелить эту любознательность в Сен-Лу, рассказывая о моих девушках. Она была надолго в нем парализована его любовью к артистке. И если бы даже эта любознательность невнятно заговорила в нем, он тотчас подавил бы ее из своеобразного суеверия, будто от его преданности зависит преданность его возлюбленной. Вот почему, уезжая со мной ужинать в Ривбель, он не обещал мне заняться моими девушками по-настоящему.

Первое время мы приезжали в Ривбель, когда солнце уже садилось, но было светло; в саду при ресторане огней еще не зажигали, дневной жар спадал, оседая словно на дне сосуда, вокруг стенок которого прозрачный и темный студень воздуха казался необычайно густым, и в этой густоте большая роза, росшая у потемневшей ограды, которую она отделывала под розовый мрамор, напоминала растение, видящееся нам в глубине оникса. А потом мы выходили из экипажа уже в темноте, часто окутывавшей Бальбек, когда мы оттуда выезжали, — если была плохая погода и если мы пережидали в надежде на ее улучшение. Но в такие дни вой ветра не повергал меня в уныние, — я знал, что мои планы все равно осуществятся, что я не останусь один на один с самим собой в комнате, знал, что в большом зале ресторана, куда мы войдем под звуки цыганского оркестра, бесчисленные лампы мгновенно восторжествуют над тьмою и холодом, действуя против мрака своими широкими золотистыми кауперами, и я весело садился рядом с Сен-Лу в двухместную карету, ждавшую нас под ливнем. С недавних пор слова Бергота, утверждавшего, что я создан, что бы я ни говорил, прежде всего для радостей духовных, опять начали наводить меня на мысль, что когда-нибудь я оправдаю надежды, но эти надежды каждый день гасила скука, стоило мне сесть за стол и приняться за критический этюд или роман. «В конце концов, — убеждал я себя, — может быть, наслаждение, какое доставляет творчество, не есть непогрешимое мерило для определения достоинств хорошо написанной страницы; может быть, это всего лишь сопутствующее ощущение, которое часто входит в творческое состояние в качестве придатка, но отсутствие которого не предрешает неудачи. Может быть, некоторые писатели зевали, создавая шедевры». Бабушка старалась рассеять мои сомнения — она внушала мне, что когда я буду хорошо себя чувствовать, то и работать буду хорошо и с удовольствием. Наш врач, считавший своим долгом предупредить, что со здоровьем дела у меня плохи, предписал мне, чтобы

предотвратить вспышку, строгий режим, и я подчинял все удовольствия дели, представлявшейся мне неизмеримо более важной, чем удовольствия: окрепнуть настолько, чтобы написать произведение, замысел которого я, быть может, носил в себе, я осуществлял над собой со дня приезда в Бальбек мелочный, постоянный контроль. Я не пил на ночь кофе из боязни бессонницы, — сон был мне необходим, чтобы на другой день не чувствовать себя вялым. Но стоило нам приехать в Ривбель, как меня уже возбуждало предвкушение нового удовольствия, я попадал в ту область, куда необычайное вводит нас, предварительно порвав нить, которую мы столько дней терпеливо пряли и которая вела нас к благоразумию, и так как для меня уже не существовало ни завтрашнего дня, ни возвышенных целей, то мгновенно исчезал и точный механизм предусмотрительного режима, действовавшего; ради достижения этих целей. Лакей предлагал мне снять пальто.

— А вам не будет холодно? — спрашивал Сен-Лу. — Пожалуй, лучше не снимать — какая уж там особенная жара!

Я отвечал: «Нет, нет, не будет» — и, может быть, мне в самом деле было не холодно; во всяком случае, я уже не боялся заболеть, не думал о том, что мне во что бы то ни стало надо жить, жить, чтобы работать. Я сбрасывал на руки лакею пальто; мы входили в ресторан под марш, который играли цыгане, проходили между рядами накрытых столиков, точно по легкой дороге славы, и, ощущая во всем теле прилив жизнерадостной бодрости, какую в нас вливали звуки оркестра, воздававшего нам воинские почести, устраивавшего нам незаслуженно торжественную встречу, заслоняли эту бодрость величественным и холодным выражением лиц, усталой походкой, только чтобы не напоминать кафешантанных певичек, которые, исполнив на воинственный мотив игривую песенку, выбегают на вызовы с молодцеватым видом одержавших победу полководцев.

С этой минуты я становился другим человеком, я уже больше не был внуком моей бабушки, я вспоминал о ней только при выходе из ресторана, — я был временным братом прислуживавших нам официантов.

В Бальбеке я бы за неделю не выпил столько пива и, уж конечно, шампанского, — когда сознание у меня было спокойным и ясным, оно точно определяло меру наслаждения, доставляемого мне этими напитками, однако мне легко было от него отказаться, — сколько в ресторане за час, да еще я выпивал немного портвейна, хотя по рассеянности забывал его распробовать, а скрипачу за его игру давал два «луи», которые копил целый месяц на какую-нибудь покупку, мечта о которой в ресторане вылетала у

меня из головы. Официанты, держа на вытянутой ладони блюдо, вихрем проносились между столиками, — глядя на них, можно было подумать, что цель этого бега в том, чтобы не выронить блюдо. И в самом деле: шоколадные суфле прибывали к месту своего назначения, не опрокидываясь, выстроенный вокруг барашка «Польяк» картофель по-английски, несмотря на то, что галоп должен был бы перетрясти его, не нарушал строя. Я останавливал взгляд на одном из слуг, очень высоком, с шапкой великолепных черных волос, с цветом лица, делавшим его похожим на редкостную птицу, бегавшего без устали, и как будто даже без цели, из конца в конец зала и напоминавшего одного из «ара», «полнящих большие клетки в зоологических садах огненной своей окраской и необъяснимым волнением. Вскоре зрелище становилось — по крайней мере, на мой взгляд — строже и спокойнее. Все это мельтешенье, от которого кружилась голова, входило в берега спокойной гармонии. Я смотрел на круглые столики — необозримое их скопище заполоняло ресторан, как планеты заполоняют небо на старинных аллегорических картинах. Притом все эти светила обладали неодолимой силой притяжения: ужинавшие глядели только на столики, за которыми сидели не очи, — все, кроме какого-нибудь богача-амфитриона, которому удалось затащить в ресторан знаменитого писателя и который теперь из кожи вон лез, чтобы с помощью чудодейственных свойств вертящегося стола вытянуть что-нибудь из писателя, писатель же говорил о каких-то пустяках и, однако, приводил в восхищение дам. Гармонию астральных этих столиков не нарушало неустанное вращение бесчисленных слуг, — именно потому, что они не сидели, как ужинающие, а все время находились в движении, сфера их действия оказывалась некоей высшей сферой. Понятно, один бежал за закуской, другой — за вином или за стаканами. Но хотя у каждого была своя цель, в их безостановочном беге между круглыми столиками можно было в конце концов открыть закон этого мельтешащего и планомерного снования. При взгляде на сидевших за кущами цветов двух уродин кассирш, занятых бесконечными расчетами, можно было подумать, что это ведуньи, пытающиеся с помощью астрологических вычислений предузнать столкновения, время от времени происходящие на этом небосводе, который таким представляла себе средневековая наука.

И мне было отчасти жаль всех этих ужинающих, — ведь я же чувствовал, что для них круглые столики не были планетами и что они не занимались рассечением предметов, благодаря которому предметы уже не выступают перед нами в своем привычном обличье и которое дает нам возможность проводить аналогии. Они воображали, что ужинают с тем-то

и с тем-то, что ужин обойдется им примерно во столько-то и что завтра все начнется сызнова. И, по-видимому, они были совершенно равнодушны к шествию мальчиков, у которых срочных дел, вероятно, сейчас не было и они торжественно несли корзины с хлебом. Некоторые, совсем еще дети, отупев от подзатыльников, которые им походя давали старшие официанты, печально устремляли взгляд в далекую мечту и оживлялись только, когда кто-нибудь из проживавших в бальбекском отеле, где они служили раньше, узнавал их, заговаривал с ними и просил именно их унести шампанское, потому что его невозможно было пить, каковым поручением они очень гордились.

Я прислушивался к моим нервам и улавливал в их гуде блаженство, не зависевшее от предметов внешнего мира, обладающих способностью вызывать блаженное состояние, в которое я и сам властен был приводить себя посредством небольшого перемещения моего тела или моего внимания, подобно тому как легкий нажим на закрытый глаз дает ощущение цвета. Я выпивал много портвейна и если спрашивал еще, то не столько в предвкушении удовольствия, какое мог получить от нескольких дополнительных рюмок, сколько потому, что уж очень сильно было удовольствие от рюмок выпитых. Я предоставлял музыке вести по нотам мое наслаждение, и оно послушно располагалось на каждой ноте. Подобно химическому заводу, поставляющему в большом количестве вещества, которые в природе встречаются случайно и крайне редко, ривбельский ресторан одновременно собирал под своей крышей больше женщин, в которых мне открывались возможности счастья, нежели случай сводил меня с ними в течение года на прогулках; вдобавок музыка, которую мы слушали, — аранжировки вальсов, немецких оперетт, кафешантанных песенок, все это было для меня внове, — тоже являла собою некий воздушный мир наслаждений, наслоившийся на тот, и еще сильней опьяняющий. Ведь каждый мотив, своеобразный, как женщина, в отличие от нее не приберегал тайну сладострастия для кого-нибудь одного; он предлагал поведать ее и мне, он смотрел на меня во все глаза, направлялся ко мне то жеманной, то заигрывающей походкой, заговаривал со мной, ластился ко мне, словно я вдруг стал прельстительнее, могущественнее или богаче; мне чудилось, однако, в этих мотивах что-то жестокое: дело в том, что бескорыстное чувство красоты, проблеск ума — все это им несвойственно; для них существует только физическое наслаждение. И они — самый безжалостный, самый безвыходный ад для несчастного ревнивца, которому они изображают это наслаждение, — наслаждение, вкушаемое любимой женщиной с другим, — как единственное, что существует на

свете для женщины, заполняющей его целиком. Но пока я тихо напевал этот мотив и возвращал ему его поцелуй, присущее только ему сладострастие, которое мне от него передавалось, становилось для меня все дороже, и я готов был оставить родных и пойти за этим мотивом в тот особый мир, который он строил в невидимом, очерчивая его то истомой, то пылкостью. Хотя подобного рода наслаждение не принадлежит к повышающим ценность человека, которого они посетили, потому что испытывает его только он, и хотя женщина, которая обратила на нас внимание и которой мы не понравились, не знает, полон ли сейчас наш внутренний мир субъективным счастьем, следовательно, ее отношение к нам не может измениться к лучшему, все же я чувствовал, что обаяние мое растет, что я почти неотразим. Мне казалось, что моя любовь не может отталкивать или вызывать усмешку, что в ней-то и заключена волнующая красота, обольстительность музыки, а что музыка — это благоприятная среда, где я и моя любимая, внезапно сблизившись, могли бы встречаться.

Ресторан посещали не только женщины легкого поведения, но и люди из высшего общества, приезжавшие сюда к пяти часам пить чай или устраивавшие роскошные ужины. Чай подавали в длинной застекленной галерее, узкой, похожей на коридор, соединявшей вестибюль с залом и выходившей в сад, от которого ее отделяла, не считая каменных столбов, стеклянная стена с открытыми в разных местах окошечками. От этого здесь не только гуляли вечные сквозняки, но и возникали внезапные, быстрые, слепящие вспышки солнца, — вот почему женщин, пивших чай, плохо было видно, и когда они, скучившись между столиками, расставленными по два с каждой стороны во всю длину этого бутылочного горлышка, подносили ко рту чашку или здоровались, то при каждом движении все так и переливались, отчего галерея казалась водоемом, вершей, куда рыбак напустил пойманных им сверкающих рыб, наполовину высунувшихся из воды, залитых светом и отражающих во взгляде того, кто на них смотрит, свой радужный блеск.

Несколько часов спустя в столовой, куда, само собой разумеется, подавался ужин, зажигали огонь, хотя наружи было еще светло — настолько, что в саду рядом с беседками, казавшимися в полумраке бледными призраками вечера, были видны грабы, синюю зелень которых пронизывали последние лучи и которые, когда мы смотрели на них в окно из освещенного лампами зала, представали нашим глазам не как женщины, вдоль голубовато-золотистого коридора пившие днем чай в искрящейся влажной сета, но как растительность гигантского бледно-зеленого аквариума, на который падал неестественный свет. Наконец вставали из-за

стола; за ужином посетители все время рассматривали сидевших за соседними столицами, узнавали их, спрашивали, кто это, что не мешало им быть накрепко спаянными между собой вокруг того столика, который занимали они; когда же они переходили пить кофе в коридор, куда днем подавался чай, сила притяжения, до этого заставлявшая их тяготеть к амфитриону, тотчас ослабевала; часто при переходе от движущегося застолья отделялась одна или даже несколько частиц: им было не по силам преодолеть притяжение, исходившее от соперничавшего столика, и они ненадолго отрывались от своего, а их заменяли мужчины или дамы, подходившие поздороваться с друзьями и, перед тем как отойти от них, говорившие: «Лечу к господину Х. — он меня сегодня пригласил». И в это время казалось, что перед тобой два букета, поменявшихся цветами. Затем пустел и коридор. После ужина все еще бывало светло, поэтому в длинном коридоре часто не зажигали огня, а так как деревья наклоняли ветви к стеклянной стене коридора, то его можно было принять за аллею в тенистом, темном саду. Иной раз в сумраке засиживалась за ужином какая-нибудь дама. Однажды вечером, проходя сквозь сумрак к выходу, я разглядел прелестную принцессу Люксембургскую — она сидела, окруженная незнакомыми мне людьми. Я, не останавливаясь, снял шляпу. Узнав меня, она с улыбкой наклонила голову: высоко-высоко над поклоном, излученные этим самым движением, мелодично взлетели обращенные ко мне слова несколько затянувшегося приветствия, произнесенного, однако, не для того, чтобы остановить меня, но только чтобы дополнить поклон, чтобы превратить его в поклон говорящий. Но слова были неясны, а голос звучал нежно и музыкально, будто в чаще пел соловей. Если Сен-Лу хотелось кончить вечер в компании встретившихся нам случайно друзей и он ехал с ними на соседний курорт в игорный дом, а меня усаживал в экипаж одного, я приказывал кучеру гнать вовсю, чтобы не слишком долго тянулось для меня время, которое я должен был провести один, без опоры, чтобы избавить себя от необходимости поставлять своему восприятию — давая машине задний ход и выходя из того состояния безразличия, в какое меня втягивало, точно в колесо, — ощущения переменчивости, которыми в Ривбеле меня снабжали другие. Возможность столкновения в полной темноте со встречным экипажем на дороге, где двум экипажам не разъехаться, зыбкость почвы часто осыпавшегося скалистого берега, близость отвесного спуска к морю — ничто не могло заставить меня сделать над собой малейшее усилие, чтобы довести до сознания представление об опасности и страх перед ней. Подобно тому как плодами своего творчества мы обязаны не столько жажде славы, сколько

усидчивости, так не радостное настоящее, но мудрый взгляд на прошлое помогает нам охранить свое будущее. А когда, только-только приехав в Ривбель, я зашвыривал костыли рассудка, контроля над самим собой, помогающие нашему убожеству не сбиваться с дороги, и заболевал чем-то вроде душевной атаксии, то алкоголь, напрягая мои нервы до предела, придавал времени, проведенному там, особую ценность, придавал ему очарование, не усиливая, однако, моей способности или хотя бы решимости оберегать его: дело в том, что моя восторженность, достигавшая такой силы, что я готов был отдать за него всю мою будущую жизнь, вырывала его из нее; я был замкнут в настоящем, как герой, как пьяница, мгновенно затмившись, мое прошлое уже не отбрасывало передо мною тени, которую мы называем грядущим; видя цель жизни уже не в осуществлении мечтаний прошлого, но в блаженстве настоящего мгновенья, я не заглядывал вперед. То было кажущееся противоречие, и все же в миг, когда я испытывал наивысшее наслаждение, когда я чувствовал, что моя жизнь может быть счастливой, когда ее ценность в моих глазах должна была бы повыситься, — в тот самый миг, избавившись от всех забот, какими она меня до сих пор отягощала, я не колеблясь отдавал ее на волю случая. В сущности, я лишь для вечеров собирал всю свою беспечность, а другие растягивают ее на всю жизнь и ежедневно без всякой необходимости подвергают себя опасности морского путешествия, полета на аэроплане, поездки в автомобиле, между тем как дома их ждет существо, чью жизнь разбило бы известие об их гибели, или между тем как от их хрупкого мозга зависит выход книги, в которой для них заключен весь смысл существования. Так вот, если бы в один из вечеров, которые мы проводили в ривбельском ресторане, кто-нибудь пришел убить меня, то я, видевший лишь в призрачной дали мою бабушку, мою дальнейшую жизнь, книги, которые мне хотелось написать, завороженный благоуханием сидевшей за соседним столиком женщины, любезностью официантов, очертаниями вальса, припавший к ощущению мига, весь уместившись в нем, ставя перед собой одну-единственную цель — не расставаться с ним, я бы умер, вцепившись в него, я отдал бы себя на растерзание, не защищаясь, не двигаясь, — так пчела, одурманенная табачным дымом, не думает о своем улье.

Должен заметить, что в противовес неистовой моей восторженности, ничтожество, в которое впадали самые для меня важные вещи, в конце концов не щадило и мадмуазель Симоне вместе с ее подругами. Знакомство с ними представлялось мне теперь предприятием нетрудным, но безразличным, — для меня имело значение только ощущение мига, потому

что это ощущение было необычайно сильным, потому что меня радовали едва уловимые его переливы, даже его непрерывность; все остальное — родные, работа, развлечения, бальбекские девушки — весило не больше, чем пена морская на сильном ветру, который не дает ей опуститься, зависело теперь только от этой внутренней силы: в состояние опьянения приводит на несколько часов субъективный идеализм, чистейший феноменализм; все есть лишь видимость и целиком подчинено нашему всемогущему «я». Это не значит, что в таком состоянии истинная любовь, — если только мы действительно любим, — невозможна. Но мы ясно чувствуем, — как если бы попали в иную среду, — что еще не испытанные нами воздействия изменили пределы этого чувства, что мы оцениваем его по-иному. Конечно, мы отыскиваем нашу любовь, но она переместилась, она уже не давит на нас, она довольствуется ощущением, которое получает от настоящего и которое нас удовлетворяет, ибо ко всему не животрепещущему мы холодны. К сожалению, коэффициент, изменяющий таким образом ценности, изменяет их только на время опьянения. Люди, уже утратившие для нас какое бы то ни было значение, на которых мы дули как на мыльные пузыри, завтра вновь оплотнеют; придется снова взяться за дело, казавшееся нам совершенно ненужным. И это еще не самое важное. Математика завтрашняя, — та же, что и вчерашняя, математика, с задачами которой нам неминуемо придется столкнуться, — управляет нами и в эти часы, незаметно для нас. Если поблизости находится женщина добродетельная или не благоволящая к нам, — то, что так трудно было накануне, а именно: понравиться ей, теперь кажется нам в миллион раз легче, хотя легче наша задача не стала ничуть — на самом деле мы изменились только на наш взгляд, на наш мысленный взгляд. И сейчас она так же сердится на нас за ту вольность, которую мы допустили по отношению к ней, как завтра будем сердиться мы сами на себя — за то, что дали сто франков посыльному, а первопричина раздражения — одна и та же, только мы ее осознаем позднее: неопьяненность.

Я не был знаком ни с одной из женщин, которых встречал в Ривбеле, но они являлись составною частью моего опьянения, подобно тому как отражения являются составною частью зеркала, — вот отчего они были для меня в тысячу раз более желанны, чем становившаяся все бестелесное мадмуазель Симоне. Молодая блондинка в соломенной шляпе с полевыми цветами, печальная и одинокая, скользнула по мне невидящим взглядом и произвела на меня приятное впечатление. Потом еще одна, потом еще; наконец — брюнетка с ярким цветом лица. Почти все они были знакомы с

Сен-Лу, но не со мной.

До встречи с теперешней своей любовницей Сен-Лу долго вращался в тесном кругу прожигателей жизни, и в ресторане, где ужинало столько женщин, многие из которых оказались в Ривбеле случайно, потому что приехали к морю: одни — в чаянии встретиться с бывшим любовником, другие — чтобы завести себе любовника, он был почти со всеми знаком в силу того обстоятельства, что среди них не было почти ни одной, с кем он сам или кто-нибудь из его приятелей не провел бы хоть одну ночь. Он с ними не здоровался, если они были с мужчиной, они же смотрели на него пристальнее, чем на кого-либо еще, так как знали, что он равнодушен ко всем женщинам, кроме своей актрисы, — в их глазах это придавало ему особую привлекательность, — но делали вид, что с ним незнакомы. А одна из них шептала: «Это бедняжка Сен-Лу. Кажется, он все еще любит свою потаскушку. Вот это любовь! А красавчик-то какой! С ума можно сойти. И до чего шикарен! Есть же такие счастливые бабы! У него шик во всем. Я хорошо его знала, когда жила с Орлеанским. Их, бывало, водой не разольешь. И с кем он только тогда не путался! А теперь — ни-ни; она одна у него на уме. Да, ей, можно сказать, повезло. Не понимаю, что он в ней нашел. Тряпка он, наверно, — вот он кто. Ведь она ходит, как утка, усищи, как у мужика, белье грязное. Работница из самых что ни на есть бедных — и та бы от ее штанов отказалась. Посмотрите, какие у него глаза, — за такого мужчину в огонь кинуться можно. Тес, он меня узнал, смеется, — еще бы, когда-то мы были с ним близко знакомы! Ему надо только напомнить». Сен-Лу обменивался с этими женщинами понимающим взглядом. Мне хотелось, чтобы он им представил меня, хотелось условиться с ними о свидании, пусть даже я и не смогу потом на него прийти. Иначе лицо каждой из них осталось бы в моей памяти без чего-то только ему присущего, — точно задернутого покровом, — без того, что отличает его от других женских лиц, что мы не можем себе представить до тех пор, пока не увидим, и что проступает лишь во взгляде, обращенном на нас, снисходящем к нашей страсти и обещающем, что она будет утолена. И тем не менее, даже в уменьшенном виде, их лица значили для меня гораздо больше, чем лица женщин, известных своей нравственностью, лица, в противоположность ривбельским, казавшиеся мне плоскими, без «той стороны», сделанными из одного куска, не объемными. Вне всякого сомнения, для меня они являлись не тем, чем должны были быть для Сен-Лу: за равнодушием, для него — прозрачным, неподвижных черт, притворявшихся, будто они те знают его, или за банальностью поклона, каким эти женщины могли ответить на чье угодно приветствие, ему память

восстанавливала, вырисовывала в обрамлении распущенных волос млеющие губы и полузакрытые глаза — одну из тех безмолвных картин, которые художник, чтобы обмануть основную массу посетителей, прикрывает каким-нибудь благопристойным холстом. Я же чувствовал, что ничего от моего существа не проникло ни в одну из этих женщин и что они ничего от меня не возьмут и не понесут по неведомым путям своей дальнейшей жизни, и для меня, в противоположность Сен-Лу, их лица были, понятно, закрыты. Но мне важно было знать, что они раскрываются, — это придавало им в моих глазах ценность, какой я бы в них не обнаружил, будь они всего лишь красивыми медалями, а не медальонами, хранящими любовные воспоминания. А Робер с трудом мог усидеть на месте, прятал за улыбкой придворного боевой пыл ратоборца, и, рассматривая его, я думал о том, что такой же мужественный очерк треугольного лица, как у него, который больше подходил бы воинственному лучнику, нежели утонченному эрудиту, был, наверно, у его предков. Под тонкой кожей угадывалась дерзость сооружения, феодальная архитектоника. Его голова напоминала башню старинного замка, зубцы которой хоть и отслужили свою службу, но не сломаны: в башне теперь размещено книгохранилище.

На возвратном пути в Бальбек я о незнакомке, которой меня представил Сен-Лу, все время и почти бессознательно, как припев, говорил себе одно и то же: «Какая чудная женщина!» Конечно, эти слова я произносил не после долгого раздумья, а в приподнятом настроении. И все же, если б я располагал тысячей франков и если б ювелирные магазины были еще открыты, я купил бы незнакомке кольцо. Когда наша жизнь протекает в очень разных плоскостях, приходится не скупясь отдавать себя людям, которые завтра утратят для тебя всякий интерес. Но ты должен отвечать за вчерашние свои слова.

В такие вечера я возвращался позднее и, войдя в комнату, уже не враждебную мне, с удовольствием ложился в постель, а между тем, когда я приехал, я уверял себя, что мне в этой постели будет неудобно, теперь же усталое мое тело искало в ней поддержки; сначала бедра, потом бока, потом плечи стремились каждой своей точкой так плотно обтянуться простынями, как будто моя усталость — скульптор и ей захотелось снять слепок со всего тела. Но уснуть я не мог, я чувствовал, что скоро утро; ни спокойствия, ни здоровья я уже в себе не ощущал. При мысли, что я утратил их навсегда, мною овладевало отчаяние. Чтобы они ко мне вернулись, мне нужен долгий сон. А если я и задремлю, через два часа меня все равно разбудит симфонический концерт. И вдруг я засыпал, я

проваливался в тот тяжелый сон, который открывает нам возвращение молодости, возрождение минувших лет, утраченных чувств, безумные мечты, развоплощение и переселение душ, воскресших мертвецов, отступление к низшим царствам природы (говорят, что мы часто видим во сне животных, но почти всегда забывают, что во сне мы сами — животные, лишенные разума, отбрасывающего на предметы свет достоверности; во сне зрелище жизни предстает перед нами видением смутным, которое ежеминутно поглощается забвением, оттого что предшествующая реальность расточается перед появлением новой, как в волшебном фонаре при смене стекла одно изображение гаснет перед возникновением следующего), — все тайны, которые якобы нам неведомы и в которые на самом деле мы бываем посвящены почти каждую ночь, равно как и в другую великую тайну — тайну уничтожения и воскресения. Становясь еще более рассеянным из-за того, что ривбельский ужин плохо переваривался, последовательное скользящее освещение провалов в моем прошлом преображало меня в существо, для которого наивысшим счастьем было бы встретить Леграндена, с которым я только что во сне разговаривал.

Потом и всю мою жизнь заслоняла от меня новая декорация наподобие тех, что ставятся на авансцене и на фоне которых, пока за ними идут приготовления к следующей картине, дается дивертисмент. Тот, в котором я принимал участие, представлял собою что-то вроде восточной сказки; я ничего не мог припомнить ни о своем прошлом, ни о самом себе, оттого что слишком близко стояла декорация, отделявшая меня от сцены; я играл роль человека, которого бьют палками и который подвергается разным наказаниям за провинность, мне самому неясную: за то, что я выпил слишком много портвейна. Потом я вдруг пробуждался и обнаруживал, что проспал симфонический концерт. Полдень миновал; в этом я удостоверялся, поглядев на часы после нескольких попыток приподняться — попыток сперва неудачных, чередовавшихся с откидываньями на подушку, но откидываньями короткими, как бывает после сна и вообще после всякого опьянения, чем бы оно ни вызывалось: перепоем или выздоровлением; впрочем, еще и не взглянув на часы, я знал, что уже больше двенадцати. Вчера вечером я был всего лишь опустошенным, невесомым существом и (ведь для того, чтобы сидеть, надо сперва полежать, а чтобы молчать, надо выспаться) все время двигался и не умолкая говорил, я был лишен устойчивости, центра тяжести, я был взметен, и мне казалось, что безотрадный этот полет может длиться, пока я не долечу до луны. Итак, во сне глаза мои не видели, который час, зато мое тело научилось определять время; оно исчисляло его не по циферблату,

обозначенному на поверхности, а по возрастающему давлению всех моих окрепших сил, — действуя, как верные часы, время, деление за делением, спускало от мозга к телу, где теперь скапливались мои силы, до самых колен непочатое обилие их запасов. Если верно, что в давнопрошедшие времена нашей родной стихией было море и что для того, чтобы окрепнуть, нужно опять погрузить в него кровь, то с не меньшим основанием это же можно сказать и о забытьи, о духовном небытии; нам кажется, что мы несколько часов находились вне времени; но силы, собиравшиеся за это время и не тратившиеся, так же точно отмеряют его своим количеством, как гири стенных часов или осыпающиеся холмики песочных. Надо заметить, что прервать такой сон не легче, чем длительное бодрствование, ибо все на свете стремится к продолжению, и если верно, что некоторые наркотики усыпляют, то долгий сон — это еще более сильный наркотик, пробуждение в таком случае дается трудно. Как матрос, уже отчетливо различающий набережную, к которой пристанет его корабль, все еще швыряемый волнами, я думал о том, что надо взглянуть на часы и встать, но мое тело ежесекундно отбрасывало в сон; причалить было непросто, и, прежде чем стать на ноги, дойти до часов и сравнить их время с тем, которое показывало богатство физических сил, каким теперь располагали усталые мои ноги, я еще раза два-три откидывался на подушку.

Наконец я видел ясно: «Два часа дня!»; я звонил, но тут же вновь погружался в сон, на этот раз, должно быть, неизмеримо более долгий, если судить по полноте отдыха и по возникавшему у меня, едва лишь я просыпался, ощущению, что прошла длинная-длинная ночь. Будившая меня Франсуаза говорила, что она пришла на мой звонок. Этот второй сон, который казался мне дольше первого и которому я был обязан таким превосходным расположением духа и таким полным забытьем, длился, быть может, не более полуминуты.

Бабушка отворяла ко мне дверь, я спрашивал ее о семье Легранден.

Сказать, что ко мне возвращались спокойствие и здоровье, было бы не совсем точно: ведь вчера меня не просто отделяло от них расстояние — всю ночь напролет я плыл против течения, да и потом, мало того, что я очутился около них, — они вошли в меня. Мои мысли опять занимали места в определенных и все еще чуть-чуть болевших точках пока еще пустой моей головы, которой суждено было когда-нибудь развалиться и уже навсегда выпустить их, — занимали, чтобы вновь зажить жизнью, которой они до этого — увы! — не умели пользоваться.

Я еще раз избежал бессонницы, потока, лавины нервных припадков. Я уже нисколько не боялся всего, что грозило мне накануне, когда я лишился

покоя. Передо мной открывалась новая жизнь; еще не сделав ни одного движения, потому что я все еще чувствовал себя разбитым, хотя и бодрым, я упивался блаженством усталости; она отделила одну от другой и переломала кости моих ног, моих рук, и сейчас мне казалось, будто они передо мной навалены и им хочется срастись, вернуть же их на свои места зависит от меня — стоит мне запеть, как зодчему в басне.

Однажды передо мной неожиданно возник образ молодой блондинки с печальным выражением лица — той, что я видел в Ривбеле, той, что мельком взглянула на меня. В течение вечера мне нравились и другие — теперь она одна поднималась из глубин моей памяти. Мне казалось, что я ей запомнился, я ждал, что она пришлет ко мне кого-нибудь из ривбельских служащих. Сен-Лу не знал ее, но думал, что она женщина порядочная. Видеться с ней, видеться постоянно было бы очень нелегко. Но ради этого я был готов на все, я только о ней и думал. Философия любит рассуждать о свободе и необходимости. Пожалуй, ни в чем так полно не выявляет себя необходимость, как когда, с помощью подъемной силы, загнанной, пока мы действуем, внутрь, она, едва лишь наша мысль успокоится, подхватывает одно из наших воспоминаний, до сих пор не возвышавшееся над другими, потому что его пригнетала сила рассеянности, и стремит ввысь, ибо, хотя мы об этом и не подозревали, очарования в нем заключалось больше, чем в каком-либо еще, мы же обращаем на это внимание двадцать четыре часа спустя. И, пожалуй, это вместе с тем и самый свободный акт, — ведь в него еще не входит привычка, своего рода умственная мания, которая в любви содействует воскрешению одного-единственного человеческого облика.

Это было как раз на другой день после того, как передо мной у моря восхитительным строем прошли девушки. Я попытался о них разведать у тех, кто почти каждый год приезжал в Бальбек и останавливался в нашем отеле. Никаких сведений они мне не дали. Почему — это мне позднее разъяснила одна фотография. Кто бы мог теперь узнать в них, только-только, но уже вышедших из того возраста, когда с людьми происходит полная перемена, бесформенную и все-таки прелестную, совсем еще ребячью, гурьбу девочек, всего лишь несколько лет назад сидевших на песке вокруг палатки, образуя что-то вроде белеющего созвездия, в котором можно было различить два глаза, блестевшие ярче, нежели другие, лукавое лицо, белокурые волосы — различить и тотчас снова потерять из виду, мгновенно слить их в одно внутри расплывчатой молочно-белой туманности?

Разумеется, в те еще столь недавние времена неясно было не впечатление от группы, как у меня вчера, когда она появилась предо мной

впервые, а сама эта группа. Тогда эти маленькие девочки находились на низшей ступени развития, на которой своеобразие еще не накладывает отпечатка на каждое лицо. Подобно примитивным организмам, у которых индивидуальное само по себе не существует, у которых оно создается не столько каждым полипом в отдельности, сколько состоящей из них колонией полипов в целом, они жались друг к дружке. Время от времени одна из них валила наземь соседку, и тогда дикий хохот, — а смех был, кажется, единственным проявлением их внутренней жизни, — всколыхивал их всех одновременно, стушевывая, сливая эти нечеткие гримасничающие лица в студенистость единой грозди, искрящейся и дрожащей. На старой карточке, которую они мне потом подарили и которую я сберег, в их детскую группу входит столько же статисток, сколько впоследствии принимало участие в шествии женщин; чувствуется, что на пляже они должны уже выделяться необычным пятном, притягивающим взгляд; но личность каждой можно постичь чисто умозрительно, считаясь с возможностью всяческих превращений в юности вплоть до того предела, когда изменившиеся формы предъявят права на другую личность, которую тоже надо будет опознать по высокому росту и вьющимся волосам, прекрасные черты которой, вероятно, искажала морщащая гримаса, видная на карточке; а так как расстояние, пройденное за короткое время внешним обликом каждой из этих девушек, давало о происшедшей в них перемене весьма смутное представление и так как, с другой стороны, то, что было в них общего, иначе говоря — коллективного, и тогда уже обозначалось резко, то даже лучшие подруги путали их иной раз на карточке, и в конце концов сомнение разрешалось благодаря какому-нибудь украшению, о котором было точно известно, что его носит только одна из них. Та пора, такая непохожая на теперешнее время, когда я их увидел у моря, такая непохожая и вместе с тем такая недавняя, миновала, а они все еще умели покатываться со смеху, в чем я удостоверился вчера, но то был уже не заливистый, почти беспричинный смех детства, судорожная разрядка, когда-то поминутно заставлявшая их головы нырять, — так стайки гольянов в Вивоне то рассеивались и исчезали, то, мгновенье спустя, опять плыли вместе; лица девушек теперь владели собой, глаза их были устремлены к определенной цели; только неуверенность, зыбкость моего первоначального, вчерашнего, восприятия могла нерасчленяемо соединить, — как это делал их былой смех на старой фотографии, — спорады, ныне обретшие своеобразие и оторвавшиеся от бледной мадрепоры.

Разумеется, когда мимо меня проходили красивые девушки, я давал

себе слово еще раз увидеться с ними. Обыкновенно такие девушки больше не появляются; да и память, скоро забывающая об их существовании, с трудом отыскивала бы их черты; наши глаза не узнали бы, их, пожалуй, и вот уже мимо нас проходят другие девушки, которых мы тоже больше не увидим. Но: иногда — и так именно и произошло с дерзкой стайкой — случай упорно приводит их к нам. Случай этот представляется нам счастливым, — мы различаем в нем; нечто вроде организующего начала, силы, упорядочивающей нашу жизнь; благодаря ему становится прочным, неотвратимым, а иногда — после перерывов, подающих надежду, что мы перестанем вспоминать, — и жестоким постоянство образов, нашу приверженность которым мы впоследствии будем рассматривать как написанную нам на роду и которые, не вмешайся случай, мы на самых первых порах забыли бы так же легко, как позабыли столько других.

Отпуск Сен-Лу кончался. Девушек я больше на пляже не встречал. Днем Сен-Лу очень мало бывал в Бальбеке и не имел возможности заняться девушками и постараться ради меня познакомиться с ними. Зато вечером он располагал временем и все так же часто увозил, меня в Ривбель. В ресторанах вроде ривбельского, так же как в городских садах, в поездах, можно встретить людей, прикрытых заурядной внешностью, но с такой фамилией, которая поражает нас, когда мы, между прочим задав вопрос, узнаем, что, вопреки нашим предположениям, это не простой смертный, а ни больше ни меньше, как министр или герцог, о котором мы много слышали. Не раз и не два в ривбельском ресторане мыс Сен-Лу наблюдали, как садился за столик незадолго до закрытия высокий мужчина крепкого телосложения, с правильными чертами лица, с сединой в бороде, с остановившимися глазами, глядевшими куда-то в пустоту. Однажды вечером мы спросили у владельца ресторана, кто этот неведомый, одинокий и запоздалый посетитель. «Как! Вы не знаете знаменитого художника Эльстира?» — воскликнул ресторатор. Сван как-то упомянул о нем при мне, а по какому поводу — это у меня из памяти выпало; но провал в воспоминаниях, так же как при чтении пропуск члена предложения, иной раз порождает не неуверенность, а преждевременную уверенность. «Это друг Свана, очень известный художник, в большой славе», — сказал я Сен-Лу. В то же мгновенье по нам обоим пробежал трепет при мысли, что Эльстир — великий художник, знаменитость, а затем — при мысли, что он не отличает нас от других посетителей и не подозревает, каким восторгом полнимся мы, когда думаем об его таланте. Конечно, то, что он не догадывался о нашем восхищении и о нашем знакомстве со Сваном, было бы для нас менее мучительно не на курорте. Но мы еще находились в той

поре, когда энтузиазм не может оставаться безмолвным, вдобавок мы попали в среду, где инкогнито душит, и вот мы за двумя нашими подписями послали Эльстиру письмо, в котором признались, что в нескольких шагах от него ужинают два страстных поклонника его таланта, два приятеля его большого друга Свана, и просили позволить засвидетельствовать ему свое почтение. Один из официантов взялся передать знаменитому человеку наше послание.

Таким знаменитым, как утверждал хозяин заведения, и каким он станет всего лишь несколько лет спустя, Эльстир, пожалуй, тогда еще не был. Но Эльстир был одним из первых посетителей ресторана, когда это было еще что-то вроде фермы, и он привел сюда за собой целую колонию художников (впрочем, все они потом перебрались в другие места, как только ферма, где ели на свежем воздухе, под навесом, превратилась в фешенебельный ресторан; Эльстир опять начал ходить в Ривбель только потому, что его жена, с которой он жил неподалеку отсюда, на время уехала). Большой талант, даже если он еще не признан, всегда вызывает восхищение, и хозяина фермы могли в этом убедить вопросы заезжих англичанок, жаждавших знать, какой образ жизни ведет Эльстир, или письма, которые тот в большом количестве получал из-за границы. Тогда же хозяин заметил еще, что Эльстир не любит, чтобы его отрывали от работы, что он встает по ночам, идет с молоденькой натурщицей к морю, и та, нагая, позирует ему при лунном свете; когда же хозяин узнал на картине Эльстира деревянный крест, стоявший при въезде в Ривбель, то сказал себе, что художник так много трудится не зря и что туристы восхищался им не напрасно.

— Наш крест! — твердил он в изумлении. — Все четыре части! Да, большой труд!

И он раздумывал: а вдруг маленький «Восход солнца над морем», который Эльстир ему подарил, — это целое состояние.

Мы видели, как Эльстир прочитал наше письмо, как положил его в карман, доужинал, попросил подать вещи, затем встал из-за стола, а мы, уверенные, что оскорбили его нашим обращением к нему, и хотели и боялись незаметно уйти. Мы ни на секунду не задумались над, казалось бы, самым важным, — над тем, что наш восторг перед Эльстиром, в искренности которого мы никому не позволили бы усомниться, который проявлялся в том, как тяжело мы дышали, ожидая ответа, и который мог бы заставить нас отважиться на любой трудный шаг, на какой угодно подвиг, если это будет нужно великому человеку, — наш восторг не был таким, каким мы его себе представляли, — преклонением почитателей: ведь мы же

ничего из работ Эльстира не видели; восторженное чувство вызывало у нас отвлеченное понятие: «великий художник», а не его, неведомое нам, творчество. То было, в сущности, преклонение пустопорожнее, рамка из возбужденных нервов, сентиментальная оправа для беспредметного восторга, то есть что-то неразрывно связанное с детством, вроде органов, отмирающих у взрослого; мы же были еще дети. Между тем Эльстир подошел к двери, потом вдруг повернулся и направился к нам. Меня охватил блаженный ужас, какой несколько лет спустя уже ничто не могло бы на меня навести, ибо привычка к обществу не допускает даже мысли, что могут явиться столь странные поводы к такого рода волнениям, к которым у нас к тому же с возрастом ослабевает способность

Эльстир сел за наш столик, но, сколько я ни пытался ввернуть в разговор что-нибудь о Сване, он ничего на это не отвечал. Я решил, что он его не знает. А вот в свою бальбекскую мастерскую он меня пригласил, — не пригласив Сен-Лу, — куда мне, пожалуй, не открыла бы доступа рекомендация Свана, будь Эльстир в самом деле с ним дружен (мы склонны преуменьшать важность той роли, какую играют в жизни бескорыстные чувства) и чем я был обязан нескольким сказанным мною словам, из коих Эльстир сделал вывод, что я люблю искусство. Он был настолько любезнее со мной, чем Сен-Лу, насколько любезность Сен-Лу была выше приветливости мелкого буржуа. По сравнению с любезностью великого художника любезность человека, принадлежащего к высшей знати, как бы эта любезность ни была обворожительна, кажется лицедейством, подделкой. Сен-Лу старался понравиться, Эльстир любил раздавать, любил отдавать себя другим. Все, что у него было, — мысли, произведения и все прочее, которое он ценил гораздо меньше, — он с радостью отдал бы тому, кто его понял. Но за отсутствием подходящего общества он жил уединенно, необщительно, и светские люди считали это позой и невоспитанностью, власти — неблагонадежностью, соседи — сумасбродством, а его родные — эгоизмом и самомнением.

И, вернее всего, первое время ему даже в одиночестве была отрадна мысль, что через свои картины он, на расстоянии, обращается к тем, кто не признавал или обидел его, что он возвышает себя в их мнении. Быть может, он жил тогда нелюдимом не от равнодушия, а из любви к людям, и, подобно тому, как я отказался от Жильберты, чтобы когда-нибудь вновь предстать перед ней, но уже в более привлекательном виде, так он смотрел на свое творчество как на возврат к иным людям, с тем чтобы, не свидевшись с ним самим, они его полюбили, они его оценили, они заговорили о нем; кто бы от чего ни отрекался, — больной, монах,

художник, герой, — он не всегда отрекается окончательно в тот самый день, когда совместно со своей прежней душой на это решается, и до того, как отречение окажет противодействие. Но если даже человек приступил к созданию произведения с мыслью о ком-то, он, создавая, все-таки жил для себя, вдали от общества, и к обществу он охладел, а к одиночеству привык и полюбил его, как все великое, которое сперва пугает нас, так как нам известно, что оно не уживается со всякими мелочами, которыми мы дорожим и с которыми в конце концов нам не жаль бывает расстаться. Пока мы еще не познали это великое, мы заняты одной мыслью: в какой мере оно совместимо с иными усладами, но услады перестают быть для нас таковыми, едва лишь мы вкусим от одиночества.

Эльстир беседовал с нами недолго. Я думал побывать у него в мастерской в ближайшее время, но на другой день мы с бабушкой, дойдя до самого конца набережной по направлению к канапвильским скалам, на обратном пути, на углу одной из улочек, выходящих на пляж, встретили девушку, — уперевшись головой в грудь, как животное, которое загоняют в хлев, с клюшками для гольфа в руке, она шла впереди некоей властной особы, по-видимому своей «англичанки» или хорошей знакомой, напоминавшей портрет «Джефри» Хогарта, особы с таким красным лицом, точно любимым ее напитком был не чай, а джин, с седеющими, но густыми усами, к которым остатки жевательного табаку пристали в виде черных колечек. Девочка, шедшая впереди, напоминала ту из стайки, у которой из-под черной шапочки смотрели смеющиеся глаза на неподвижном толстощеком лице. На этой девушке тоже была черная шапочка, но девушка показалась мне красивее той: переносица была у нее прямее, а ноздри шире и толще. Да и потом, та предстала передо мной гордой бледнолицей девушкой, эта — усмиренным розовым ребенком. Но она вела такой же велосипед, и перчатки у нее, как и у той, были из оленьей кожи, — отсюда я заключил, что различие зависит, может быть, от того, что я смотрю теперь с другой точки, и от обстоятельств, а чтобы в Бальбеке жила другая девушка, у которой все же так много общего с ней и в лице, и в манере одеваться, — в это поверить трудно. Она метнула на меня быстрый взгляд. В следующие за тем дни, когда я встречал стайку на вляже, да и позднее, когда я познакомился со всеми девушками, образовывавшими ее, у меня не было полной уверенности, что какая-нибудь из них, — даже та, которая больше всех на нее похожа, девушка с велосипедом, — и есть та, которую я встретил в конце пляжа, на углу, которая почти ничем, а все же чем-то и отличается от принимающей участие в шествии.

До этого дня я больше думал о высокой, а затем в голову мне снова

запала мысль о девушке с клюшками, то есть, по моим предположениям, о мадмуазель Симоне. Идя вместе со всеми, она делала частые остановки, и ее подругам, видимо относившимся к ней с большим почтением, тоже приходилось останавливаться. Именно такой, стоящей неподвижно, в шапочке, из-под которой блестят ее глаза, я и теперь еще вижу ее — как она вычерчивается на экране, которым служит ей море, отделенная от меня прозрачным голубым пространством, временем, протекшим с тех пор, вижу первоначальный этот образ, истончившийся в моей памяти, желанный, манящий, потом забытый, потом вновь найденный, облик, который я впоследствии часто проектировал на прошлое, чтобы иметь возможность сказать о девушке, находившейся у меня в комнате: «Это она!»

Но, пожалуй, больше всего мне хотелось познакомиться с девушкой, у которой был гераневый цвет лица и зеленые глаза. Впрочем, с какой бы из них я ни мечтал встретиться в тот или иной день, другие могли бы взволновать меня, даже если б ее не было с ними, мое желание, устремляясь то к той, то к другой, все-таки продолжало — так же, как мое неясное впечатление при первой встрече, — объединять их, образовывать из них обособленный мирок, одушевляемый общностью их жизней, мирок, который они действительно хотели создать; как утонченному язычнику или правоверному христианину хочется проникнуть к варварам, так хотелось мне, подружившись с какой-нибудь из девушек, проникнуть в омолаживающее общество, где царят здоровье, бездумность, сладострастие, жестокость, безрассудство и радость.

Я рассказал бабушке о встрече с Эльстиром, и она порадовалась тому, как много пищи для ума может дать мне дружба с ним, но находила, что до сих пор не собраться к нему — это глупо и неучтиво. А я не думал ни о ком, кроме стайки, и, не зная, в котором часу девушки пройдут по набережной, не решался оттуда уйти. Бабушку удивляла и моя элегантность: я вдруг вспомнил о моих костюмах, до сих пор покоившихся на дне чемодана. Теперь я каждый день менял их и даже написал в Париж, чтобы мне прислали галстуков и шляп.

Очень украшает жизнь на таком курорте, как Бальбек, лицо хорошенькой девушки, продавщицы раковин, пирожных или цветов, если оно, яркими красками нарисованное в нашей памяти, является для нас целью каждого из светлых и праздных дней, которые мы проводим на пляже. Тогда, благодаря этому, наши дни, хотя и не заполненные, летят, как дни трудовые, и, стрелковидные, намагниченные, легко поднимаются к тому грядущему мигу, когда, покупая песочные пирожные, розы, аммониты, мы насладимся созерцанием женского лица, его красками,

наложенными так чисто, словно это цветок. Но, по крайней мере, с этими продавщицами можно разговаривать, что прежде всего избавляет от необходимости наделять их при помощи воображения еще и другими чертами, кроме тех, какие в них обнаруживает простое зрительное восприятие, и, точно вглядываясь в портрет, воссоздавать их жизнь и преувеличивать ее красоту; самое же главное, благодаря тому, что мы с ними разговариваем, мы узнаем, когда, в котором часу можно с ними встретиться снова. А вот со стайкой девушек все было далеко не так. Распорядок их жизни был мне неведом, и поэтому в те дни, когда я их не видел, я, не имея понятия о причине их отсутствия, старался угадать, нет ли в этом какой-то закономерности, не выходят ли они через день, в такую-то погоду, и нет ли дней, когда они не показываются вовсе. Я уже представлял себе, как я, подружившись с ними, буду говорить:

«Но ведь вас не было в тот день?» — «Ах да, это же было в субботу, по субботам мы не появляемся, оттого что…» Если б еще надо было только знать, что в унылую субботу нечего беситься, что можно исходить пляж вдоль и поперек, посидеть у окна кондитерской, делая вид, что ешь эклер, зайти к продавцу редких вещей, дождаться часа купанья, концерта, прилива, заката, ночи и так и не увидеть желанной стайки! Но роковых дней могло быть и несколько. Это могла быть не непременно суббота. Может статься, тут оказывали влияние атмосферические условия, а может, они тут были ни при чем. Сколько требуется тщательных, но беспокойных наблюдений над нерегулярным, на первый взгляд, движением неведомых этих миров, пока ты наконец не убедишься, что это не простое совпадение, что твои предположения были правильны, пока ты не установишь проверенных на горьком опыте точных законов этой астрономии страсти! Вспомнив, что я не видел их в этот день на прошлой неделе, я уверял себя, что они не придут, что поджидать их на пляже нет никакого смысла. И тут-то я их и замечал. Зато в день, как я мог предполагать, основываясь на законах, регулировавших возвращение этих созвездий, счастливый они не приходили. И к первоначальной этой неуверенности, увижу я их сегодня или нет, прибавлялась еще более мучительная: увяжу ли я их когда-нибудь, да ведь и то сказать: почем я, собственно, знал — а вдруг они уезжают в Америку или возвращаются в Париж? Этого было достаточно, чтобы я полюбил их. Можно увлекаться какой-нибудь женщиной. Но чтобы дать волю этой грусти, этому ощущению чего-то непоправимого, той тоске, что предшествует любви, нам необходима, — и, быть может, именно это, в большей степени даже, чем женщина, является целью, к которой жадно стремится наша страсть, — нам необходима опасность неосуществимости.

Так уже начинали заявлять о себе силы, которые действуют неизменно на протяжении всех увлечений, идущих на смену одно другому (но все-таки чаще в больших городах, где неизвестен свободный день мастерицы, где мы пугаемся, не дождавшись ее у дверей мастерской), и которые, во всяком случае, оказывали свое влияние на меня при каждом новом моем увлечении. Быть может, они неотделимы от любви; быть может, все, что являлось особенностью первой любви, присоединяется к новым увлечениям — благодаря памяти, самовнушению, привычке — и, проходя через всю нашу жизнь, придает нечто общее разным ее обличьям.

В надежде встретить их я пользовался любым предлогом, чтобы пойти на пляж. Увидев их как-то во время завтрака, я потом уже приходил к завтраку поздно, потому что до бесконечности ждал их на набережной; в столовой я не засиживался, но, пока сидел, не отводил вопросительного взгляда от голубизны стекла; я вставал задолго до десерта, чтобы не пропустить их в случае, если они выйдут на прогулку не в обычное время, и сердился на бабушку за то, что она, совершая неумышленную жестокость, задерживала меня дольше того часа, который представлялся мне наиболее благоприятным. Чтобы расширить свой кругозор, я ставил стул сбоку стола; если я вдруг замечал какую-нибудь из них, то, поскольку все они были одной, особой породы, передо мною словно проступала в движущейся дьявольской галлюцинации часть некоего враждебного мне и все же чаемого мною видения, за секунду перед тем существовавшего — и прочно там обосновавшегося — только в моем мозгу.

Любя их всех, я не любил никого из них в отдельности, и тем не менее возможность встречи с ними являлась единственной радостью моей жизни, вселявшей в меня такие крепкие надежды, что мне были не страшны никакие препятствия, — надежды, часто сменявшиеся, однако, яростью, когда мне так и не удавалось увидеть девушек. В такие минуты они затмевали для меня бабушку; я бы тотчас загорелся мыслью о путешествии, если б это было путешествие в тот край, где находились они. На них, и только на них, с наслаждением останавливалась моя мысль, когда мне казалось, что я думаю о другом или вообще ни о чем не думаю. Когда же, сам того не подозревая, я думал о них, они превращались для меня, уже без всякого участия сознания, в холмистое, синее колыхание моря, в профиль шествия около моря. Я надеялся вновь увидеть именно море, предполагая, что мне, быть может, придется поехать в город, где будут жить они. Самая необыкновенная любовь к женщине — это всегда любовь к чему-нибудь другому.

Бабушка относилась ко мне теперь — оттого что я увлекался гольфом

и теннисом и упускал случай посмотреть, как работает, и послушать, что говорит один из самых замечательных, насколько ей было известно, художников, — с презрением, которое я объяснял себе известной узостью ее взглядов. Я еще раньше, на Елисейских полях, начал догадываться, — но вполне понял только потом, — что когда мы влюблены в женщину, мы лишь проецируем на нее наше душевное состояние; что, следовательно, важны не достоинства женщины, а глубина этого состояния, и что чувства, какие у нас вызывает заурядная девушка, помогают всплывать на поверхность нашего сознания более нам дорогим, более самобытным, более дальним, более важным частицам нашего «я», нежели те, на которые действует удовольствие беседовать с человеком выдающимся или даже счастье любоваться его творениями.

В конце концов я послушался бабушку, и это было мне тем более досадно, что Эльстир жил далеко от набережной, на одной из самых новых бальбекских улиц. Из-за жары мне пришлось сесть в трамвай, проходивший по Пляжной улице, и я старался, — чтобы ничто не мешало мне воображать, будто я в древнем царстве киммерийцев, а то, пожалуй, на родине короля Марка или там, где был когда-то лес Броселианд, — не смотреть на дешевую роскошь открывавшихся моим глазам зданий, среди которых вилла Эльстира была, пожалуй, самой безобразной в своем богатстве, но он все же снимал ее, потому что это была единственная вилла во всем Бальбеке с такой большой комнатой, где он мог устроить себе мастерскую.

Из-за этого же я, проходя по саду, отворачивался от лужайки, — меньших размеров, чем у жителей парижских пригородов, — от статуэтки влюбленного садовника, от стеклянных шаров, куда можно было смотреться, от бордюров из бегоний и от беседки, где вокруг железного стола вытягивались качалки. Но зато после всех этих подступов с печатью городского безобразия мне уже не резала глаз шоколадная резьба на панелях в мастерской; я был счастлив вполне, потому что при виде окружавших меня этюдов почувствовал, что могу возвыситься до упоительного ощущения красоты многообразных форм, которые я до того дня не отделял от общей картины жизни. И мастерская Эльстира предстала передо мной как бы лабораторией некоего нового мироздания, где Эльстир выхватил из хаоса, который являет собой все, что мы видим, и на прямоугольных холстах, развешанных и так и этак, возвел в перл создания морскую волну, в бешенстве разбрызгивающую по песку лиловую свою пену, или юношу в белом парусиновом костюме, облокотившегося на борт корабля. Куртка юноши и вспененная волна приобрели новые достоинства:

они продолжали существовать, но лишились того, что являлось их свойством, — волна утратила способность что-либо намочить, а куртка — кого-нибудь одевать.

Когда я вошел, творец придавая кистью окончательный вид заходящему солнцу.

Шторы были спущены на всех окнах, в мастерской было прохладно и — за исключением одного места, на стене, где от яркого света возникали слепящие и летучие узоры, — темно; открыто было только одно прямоугольное окошко, обрамленное жимолостью и смотревшее через сад на улицу; от этого воздух почти во всей мастерской был сумрачен, прозрачен и плотен, но зато в изломах, в которые его вделывал свет, — влажен и сверкающ, точно глыба горного хрусталя, одна грань которой, уже обтесанная и отшлифованная, там и сям блестит, как зеркало, и переливается. Эльстир по моей просьбе продолжал писать, а я передвигался в полумраке, останавливаясь то перед одной, то перед другой картиной.

По большей части тут висели не те картины Эльстира, которые мне особенно хотелось посмотреть, написанные не в первой и не во второй его манере, как говорилось о нем в английском художественном журнале, валявшемся на столе в салоне Гранд-отеля, — не в манере мифологической и не в той, в которой чувствуется японское влияние, — обе эти манеры были, как я слышал, превосходно представлены в собрании герцогини Германтской. Разумеется, в мастерской были главным образом марины, которые Эльстир писал здесь, в Бальбеке. И все же мне стало ясно, в чем их очарование: любая из них являла собой преображение тех предметов, какие писал художник, — преображение сродни тому, которое в поэзии именуется метафорой, и еще мне стало ясно, что Бог-Отец, создавая предметы, давал им названия. Эльстир же воссоздавал их, отнимая у них эти названия или давая другие. Названия предметов всегда соответствуют рассудочным представлениям, которые ничего общего не имеют с нашими верными впечатлениями и заставляют нас устранять из впечатлений все, что к этому понятию не относится.

Иной раз у окна, в бальбекском отеле, утром, когда Франсуаза раздвигала занавески, закрывавшие свет, или вечером, когда я ждал Сен-Лу, который должен был взять меня с собой, я принимал благодаря игре солнечного света более темную часть моря за далекий берег или же любовался синим текучим пространством, не зная, что это: полоса моря или неба. Границу между стихиями, которую уничтожало мое восприятие, очень скоро восстанавливал рассудок. Вот так в моей парижской комнате

мне иногда слышался спор, почти что ссора, до тех пор, пока я не устанавливал, что это, допустим, стук экипажа, и тогда я устранял пронзительные и нестройные выкрики, которые мой слух действительно различал и про которые мой рассудок знал, что это не может быть скрипом колес. Но именно те редкие мгновенья, когда мы воспринимаем природу такою, какова она есть, — поэтически, — и запечатлевал Эльстир. Одна из метафор, наиболее часто встречавшихся на маринах, висевших в его мастерской, в том и заключалась, что, сравнивая землю и море, он стирал между ними всякую грань. Это сравнение, молча и упорно повторяемое на одном и том же холсте, придавало картине многоликое и могучее единство, а оно-то и являлось причиной, — правда, не всегда осознанном, — восторга, с каким относились иные поклонники к живописи Эльстира. К такой, например, метафоре — на картине, изображающей гавань в Каркетюи, картине, которую он закончил несколько дней назад и которую я долго рассматривал, — Эльстир подготовил восприятие зрителя, пользуясь для изображения города приемами, какими пишется море, а для моря — приемами урбанистической живописи. Оттого ли, что дома закрывали часть гавани, док, а может быть, даже и море, заливом углублявшееся в сушу, как оно часто углубляется в бальбекском краю, но только по ту сторону мыса, на котором стоял город, над крышами, точно фабричные трубы или колокольни, вздымались мачты, придававшие кораблям что-то городское, словно они были возведены на земле, и это впечатление усиливали лодки вдоль мола, до того тесно прижавшиеся одна к другой, что находившиеся на них люди переговаривались, как будто их не разделяла вода, — от этого казалось, что рыбачья флотилия не так тесно связана с морем, как, скажем, далекие церкви Крикбека, окруженные со всех сторон водой, — самого города не было видно, — как бы вырастающие из моря, в солнечной и водяной пыли, словно из алебастра или из пены, опоясанные многоцветной радугой, — в них было что-то нереальное, мистическое. На переднем плане, то есть на взморье, художник приучил глаз не различать четкую границу, демаркационную линию между сушей и океаном. Люди, сталкивавшие лодки в море, бежали и по воде и по влажному песку, в котором корпуса лодок отражались, словно это уже была вода. Волны поднимались не равномерно, а в зависимости от неровностей берега, к тому же изрезанного перспективой, и от этого казалось, что корабль в открытом море, наполовину скрытый самыми крайними арсенальными постройками, плывет по городу; о женщинах, собиравших между скал креветок, можно было подумать, — потому что их окружала вода и потому что за круговым заграждением, образуемым скалами, берег

(с двух сторон, где он был особенно узок) опускался до уровня моря, — будто они в морской пещере, над которой нависают лодки и волны, пещере открытой и каким-то чудом защищенной от расступившихся перед нею зыбей. При взгляде на картину возникало ощущение гавани, где море входит в сушу, где суша уже морская, где население — земноводное, а могущество морской стихии проступает во всем; недалеко от скал, там, где начинается мол, море было неспокойно, и по усилиям моряков и по наклонному положению лодок, лежавших под острым углом к безмятежной вертикали пакгауза, церкви, городских домов, куда одни входили и откуда другие выходили на рыбную ловлю, чувствовалось, что моряки с трудом держатся на воде, точно на быстром и норовистом коне, скачки которого, если бы всадники не были так ловки, сбросили бы их на землю. Веселая компания отправлялась на морскую прогулку в лодке, в которой трясло, как в двуколке; жизнерадостный и осторожный моряк управлял ею, как будто в руках у него были вожжи, орудовал с непокорным парусом, все сидели неподвижно, чтобы лодка не накренилась и не опрокинулась, и так они летели по осиянным полям, в тени, скатываясь с гор. Утро было чудесное, хотя только что пронеслась гроза. И все еще чувствовалось бурление, умиротворявшееся прекрасным равновесием недвижных лодок, которые наслаждались солнцем и свежестью там, где море было до того спокойно, что отражения были чуть ли не более прочны и вещественны, чем суда, на которые свет ложился так, что они словно растворялись в воздухе, и которые перспектива заставляла наваливаться одно на другое. А вот сказать то же самое о море было уже нельзя. Отдельные его части так же отличались одна от другой, как отличалась выраставшая из воды церковь от судов, стоявших за городом. Только немного погодя рассудок сливал в одну стихию то, что здесь грозово чернело, то, что дальше было одного цвета с небом и такое же лакированное и что там было белым от солнца, тумана и пены, плотным, земным, обстроенным домами, напоминавшим шоссе или снежное поле, на которое, как на устрашающе отвесную кручу, взбирался корабль без парусов, точно повозка, выкарабкивающаяся из трясины, и о котором мы спустя всего лишь мгновенье, стоило нам увидеть на высоком и неровном пространстве несокрушимого плоскогорья колыхающиеся лодки, говорим себе, что это все еще, единое во всех своих столь разных обличьях, море.

Есть правильная точка зрения, что прогресса, открытий в искусстве не существует, что прогресс и открытия существуют только в науке и что коль скоро каждый художник начинает сызнова, то усилия одного не способны ни послужить подспорьем усилиям другого, ни сковать их, и все же нельзя

не признать, что, поскольку промышленность популяризирует некоторые законы, установленные искусством, то прежнее искусство с течением времени теряет долю своей оригинальности. После дебютов Эльстира мы видели так называемые «изумительные» фотографии пейзажей и городов. Если мы попытаемся понять, какой смысл вкладывают любители в это определение, то нам станет ясно, что преимущественно оно применяется к необыкновенному обличью знакомого предмета, обличью, непохожему на те, какие мы привыкли видеть, необыкновенному, но в то же время подлинному и оттого вдвойне захватывающему, захватывающему, потому что оно поражает нас, выводит из круга привычных представлений и одновременно, что-то напомнив нам, заставляет уйти в себя. Одна из таких «великолепных» фотографий послужит иллюстрацией закона перспективы, выстроит собор, который мы привыкли видеть посреди города, на таком месте, откуда он покажется в тридцать раз выше домов, превратится в бык на берегу реки, хотя на самом деле он от нее далеко. Так вот именно попытка Эльстира представлять предметы не такими, какими он их знал, а на основании оптических обманчивых представлений, из которых складывается первоначальное наше видение, привели его к применению некоторых законов перспективы, и это было потрясающе, ибо впервые открыло их искусство. Делающая поворот река, залив с обступившими его утесами казались озерами среди долины или среди гор, замкнутыми со всех сторон. На картине, изображавшей Бальбек жарким летним днем, вдавшаяся в сушу вода была словно заключена в стены из розового гранита, она не была морем — море начиналось дальше. На то, что все это — океан, указывали чайки, в представлении смотревших картину кружившие над камнями, а на самом деле дышавшие прохладой воды. То же самое полотно выявляло и другие законы: например, лилипутью прелесть белых парусов, казавшихся мотыльками, уснувшими на зеркальной голубизне, у подножья громадных утесов, или же контрасты между глубокой тенью и бледным светом. Светотенью, которую опошлила фотография, Эльстир так увлекался, что в былые годы ему нравилось писать самые настоящие миражи: замок, увенчанный башней, представал на его картине совершенно круглым, с башней над ним и башней под ним, концом вниз, и создавалось такое впечатление то ли потому, что необычайная чистота погожего дня придавала тени, отражавшейся в воде, твердость и блеск камня, то ли потому, что утренние туманы превращали камень в нечто не менее легкое, чем тень. А над морем, за рядом деревьев, начиналось другое море, розовое от заката: это было небо. Свет, как бы изобретая новые тела, ставил перед корпусом судна, на который он падал,

корпус другого, остававшийся в тени, и показывал в виде хрустальной лестницы поверхность утреннего моря, на самом деле гладкую, но изломанную освещением. Протекавшая под городскими мостами река, написанная с определенной точки, являлась глазам расчлененной: « здесь она расстилалась озером, там вытягивалась в струйку, в другом месте ее перерезала лесистая горка, куда горожане ходят вечерами дышать свежим воздухом; ритм этого перевернутого вверх дном города поддерживался лишь непреклонными вертикалями колоколен, которые не столько поднимались, сколько отвесом своей тяжести держали строй, как в церемониальном марше, и словно приводили в недоумение не столь четко различимое скопление домов внизу, лепившихся один над другим в тумане, вдоль расплющенной и распоротой реки. А (ведь первые картины Эльстира появились в те времена, когда пейзаж должно было украшать присутствие человека) на скале или в горах тропа — эта наполовину человеческая часть природы — испытывала на себе в такой же мере, как река или океан, действие закона исчезновения перспективы. И если гребень горы, пыль водопада или море мешали нам убедиться, что и тропа не прерывается, — мешали нам, но не путнику, — S мы представляли себе, что маленький старомодно одетый человечек, затерянный в этой глуши, наверное, часто останавливается на краю пропасти, где обрывалась избранная им тропа, а на триста метров выше мы утешенным взором и с легким сердцем вновь обнаруживали белизну ее песка, гостеприимного для шагов путешественника, между тем как промежуточные ее извивы, огибавшие водопад или залив, скрывал от нас склон горы.

Усилия, которые затрачивал Эльстир для того, чтобы перед лицом живой жизни отрешиться от своих умозрительных построений, были тем более поразительны, что он, становившийся, прежде чем начать писать, неучем, все забывавший в силу своей честности, ибо то, что ты знаешь, это не твое, был человеком необычайно образованным. Когда я ему признался, что бальбекская церковь меня разочаровала, он переспросил:

— То есть как? Вы разочаровались в этом портале? Да ведь это же лучшее иллюстрированное издание Библии, какое когда-либо читал народ! В Деве и во всех барельефах, рассказывающих о ее жизни, нашла себе самое нежное, самое вдохновенное выражение длинная поэма поклонения и славословия, какую средневековье сложило в честь Мадонны. Если б вы знали, с какой добросовестной точностью передан здесь текст Священного писания, и вместе с тем какую неожиданную тонкость выказал старый ваятель, какая глубина мысли и какая дивная поэзия! Ангелы несут тело Девы на большом покрове, и этот покров — такая святыня, к которой они

не смеют непосредственно прикоснуться. (Я сказал Эльстиру, что роспись на этот же сюжет есть в Андрее Первозванном-в-полях; он видел снимки его портала, но заметил, что ревностность мужичков, бегущих вокруг Девы, — это совсем не то, что степенность двух высоких ангелов, почти итальянских, таких стройных, таких нежных.) Ангел, уносящий душу Девы, чтобы воссоединить ее с телом. Елисавета, при встрече с Девой дотрагивающаяся до Марии и дивящаяся, что груди у нее набухли. Повивальная бабка с обвязанной рукой, не желавшая верить в непорочное зачатие, покуда не прикоснется. Дева, бросающая апостолу Фоме пояс в доказательство воскресения. Дева, срывающая со своей груди покров, чтобы прикрыть им наготу сына, по одну сторону которого церковь собирает его кровь, влагу евхаристии, а по другую синагога, чье царство кончалось, с завязанными глазами, держит надломанный скипетр и роняет вместе с венцом, падающим с ее головы, скрижали Ветхого завета. А муж, помогающий на Страшном суде молодой жене своей выйти из могилы, прикладывающий ее руку к своему сердцу, чтобы успокоить ее и доказать, что оно действительно бьется, — разве это не замечательно по замыслу, разве это не находка? А вспомните ангела, уносящего солнце и луну, которые теперь не нужны, ибо сказано, что свет от Креста будет в семь раз ярче, нежели сиянье светил; или ангела, который опускает руку в купель Иисуса, чтобы попробовать, тепла ли вода; или ангела, вылетающего из облаков, чтобы возложить венец на голову Девы, и всех ангелов, которые смотрят с небес, свесившись через ограду небесного Иерусалима, и поднимают руки от ужаса и от радости при виде мучений злых и блаженства избранных! Ведь здесь перед вами все круги неба, целая огромная богословская, символическая поэма. Это бред, это прозрение, это в тысячу раз выше всего, что вы увидите в Италии, хотя как раз в Италии этот тимпан был точно скопирован куда менее талантливыми скульпторами. Не было такого времени, когда все были талантливы, это чепуха, тогда бы это было похлеще золотого века. Тот, чьи изваяния находятся на этом фасаде, — поверьте мне, — так же силен в своем деле и такие же у него глубокие мысли, как и у теперешних скульпторов, которыми вы особенно восхищаетесь. Если мы с вами туда сходим, я вам это покажу. Некоторые слова из чина службы на Успение переданы до того тонко, что никакому Редону с этим не сравниться.

И все же мой жадный взгляд, когда перед ним вновь открылся фасад храма, так и не увидел широчайшего божественного откровения, о котором толковал мне Эльстир, огромной богословской поэмы, которая, как я понял, была там начертана. Я заговорил с Эльстиром о стоящих на постаментах

изваяниях святых, образующих нечто вроде аллеи.

— Эта аллея тянется из глубины веков и приводит к Иисусу Христу, — сказал Эльстир. — С одной стороны — его предки по духу, с другой — цари Иудеи, его предки по плоти. Здесь представлены все века. И если бы вы присмотрелись к тому, что вы приняли за постаменты, вы могли бы назвать по именам тех, что на них взобрались. У ног Моисея вы узнали бы золотого тельца, у ног Авраама — агнца, у ног Иосифа — беса, наущающего жену Пентефрия.

Еще я сказал Эльстиру, что надеялся увидеть памятник почти персидского искусства и что, наверно, потому-то я и разочаровался. «Ну и что же, — возразил он, — в сущности, вы не обманулись. Некоторые части совершенно восточные; одна из капителей с такой точностью воссоздает персидский сюжет, что одной жизнестойкостью восточных традиций этого не объяснишь. По всей вероятности, ваятель скопировал какой-нибудь ларец, привезенный мореплавателями». И точно: позднее Эльстир показал мне снимок с капители, на которой я увидел чуть что не китайских драконов, пожиравших друг друга, но в Бальбеке эту скульптурную деталь я не заметил в ансамбле памятника, ибо не обнаружил в нем сходства с тем, что виделось мне в словах: «почти персидская церковь».

Духовные наслаждения, какие я испытывал в мастерской Эльстира, ничуть не мешали мне чувствовать, хотя все это существовало как бы помимо нас, теплую лессировку, мерцающий полумрак комнаты, а за обрамленным жимолостью окошком, на совершенно деревенской улице, — твердую сухость выжженной солнцем земли, задернутой лишь прозрачностью дали и тенью деревьев. Быть может, то неосознанное ощущение счастья, какое вызывал во мне летний день, мощным потоком вливалось в радость любования «Гаванью Каркетюи».

Я думал, что Эльстир — скромный человек, но понял свою ошибку, заметив, что в выражении его лица появился оттенок грусти, когда, благодаря его, я не удержался от того, чтобы не сказать о славе. Те, кто считает свои произведения долговечными, — Эльстир принадлежал к числу таковых, — обыкновенно переносят их в такие времена, когда они сами превратятся в прах. я, Погружая их в раздумье о небытии, мысль о славе наводит на них грусть, оттого что она неотделима от мысли о смерти. Чтобы рассеять облако честолюбивой печали помимо моего желания омрачившей чело Эльстира, переменил разговор. «Мне советовали, — сказал я, вспомнив беседу с Легранденом в Комбре, о которой мне хотелось знать мнение Эльстира, — не ездить в Бретань, потому что это вредно для человека, и без того склонного к мечтательности». — «Да нет, — возразил

он, — если человек склонен к мечтательности, не нужно удалять его от мечтаний, не надо нормировать их. До тех пор, пока вы не перестанете отводить свой ум от мечтаний, он так их и не узнает; вы будете игрушкой множества видимостей, потому что вы не постигли их сущности. В небольшом количестве мечтания опасны, излечивает же от этого недуга не уменьшение мечтаний, а увеличение мечтаний, мечтание — и только мечтание. Надо знать все свои мечты до одной, и тогда не будешь от них страдать; существует отрыв мечты от действительности, и пользоваться этим полезно, так что я даже задаю себе вопрос: а нельзя ли прибегать к нему на всякий случай, как к предохранительному средству? Ведь утверждают же некоторые хирурги, что во избежание аппендицита всем детям хорошо бы вырезать отросток слепой кишки».

Мы с Эльстиром прошли в глубь мастерской к окну, в которое был виден сад, а за ним — узенький переулок, напоминавший проселочную дорогу. К вечеру стало прохладнее, и мы перешли к окну, чтобы подышать воздухом. Мне казалось, что я далеко от девушек из стайки, — я послушался бабушку и пошел к Эльстиру, пожертвовав надеждой увидеться с ними. Нам ведь неизвестно, где находится то, чего мы ищем; часто в течение долгого времени мы сознательно не бываем там, куда, по другим причинам, нас приглашают. Мы не подозреваем, что там-то и встретили бы того, кто занимает наши мысли. Я рассеянно смотрел на проселок, пролегавший совсем близко от мастерской Эльстира, но ему не принадлежавший. Вдруг на дороге появилась шедшая скорым шагом, в шапочке, прикрывавшей черные волосы и надвинутой чуть что не на толстые щеки, смотря, как всегда, веселым и довольно упорным взглядом, юная велосипедистка из стайки; и вслед за тем я увидел, что на этой счастливой дорожке, где каждая пылинка чудодейственно полна отрадных обещаний, под сенью деревьев девушка приветствует Эльстира дружеской улыбкой-радугой, соединившей для меня земноводный наш мир с областями, которые я до того считал недоступными. Она даже подошла поближе, не останавливаясь, пожала художнику руку, и я разглядел у нее на подбородке родимое пятнышко. «Вы знакомы с этой девушкой?» — смекнув, что Эльстир может представить меня ей, позвать ее к себе, спросил я. И эта тихая мастерская с открывавшимся из нее деревенским видом преисполнилась для меня еще большей прелести, как для ребенка — дом, где он и без того бывает с удовольствием и где, как это ему стало известно, по доброте, свойственной прекрасным вещам и благородным людям, чья щедрость беспредельна, для него готовят еще и роскошное угощение. Эльстир сообщил мне, что ее зовут Альбертина Симоне, и

назвал фамилии ее подруг, которых я постарался описать как можно точнее, чтобы не вышло недоразумений. Насчет их общественного положения я ошибся, но не так, как ошибался обычно в Бальбеке. Я легко принимал за принцев сыновей лавочников, если они ехали верхом. На сей раз я поместил в разряд людей темного происхождения дочерей разбогатевших мелких буржуа, промышленников и дельцов. Именно эта среда, при поверхностном знакомстве с нею, интересовала меня меньше всего: в ней не было ни загадочности простонародья, ни загадочности такого общества, как общество Германтов. И если б не обаяние, которое в моих ослепленных глазах придавала им блистающая пустота жизни на пляже и которое они уже не могли утратить, пожалуй, мне так и не удалось бы переубедить себя в том, что это дочки богатых купцов. Я не мог не подивиться той превосходной мастерской в высшей степени смелой и разнообразной скульптуры, какую являла собой французская буржуазия. Сколько неожиданных типов, какая выдумка в лепке лиц, какая решимость, какая свежесть, какая наивность в чертах! Старые скупые буржуа, от которых произошли эти Дианы и нимфы, казались мне величайшими из всех ваятелей. Я еще не успел разобраться в этой социальной метаморфозе, — обнаружения своих ошибок, изменения представлений о человеке своею мгновенностью напоминают химические реакции, — а уж из-за озорных лиц тех самых девушек, которых я поначалу принял за любовниц велогонщиков или чемпионов по боксу, выросла мысль, что они могут быть в очень хороших отношениях с семьей нашего знакомого нотариуса. Я не имел понятия, что представляет собой Альбертина Симоне. Она, конечно, не подозревала, что она будет значить для меня. Даже фамилию Симоне, которую я слышал на пляже, — если б меня попросили написать ее, — я бы написал через два «н»: пришло ли бы мне в голову, какое большое значение придает это семейство тому, что она пишется через одно? На низших ступенях общественной лестницы снобизм особенно крепко держится за малейший пустяк, и хотя, быть может, эти мелочи столь же незначительны, как разграничения в аристократической среде, зато они менее понятны, у каждого свои и потому сильнее поражают. Возможно, какие-то другие Симоне прогорели, а может быть, замешаны кое в чем похуже. Как бы то ни было, эти Симоне, насколько мне известно, всегда сердились, если кто-нибудь писал их фамилию черед два «н», точно их оболгали. Должно быть, они думали, что только они — Симоне с одним «н», и так же этим гордились, как Монморанситем, что они — первые французские бароны. Я спросил Эльстира, не в Бальбеке ли живут эти девушки; он ответил, что некоторые из них — да. Вилла одной из них находилась в самом конце

пляжа, там, где начинаются Канапвильские скалы. Так как эта девушка была близкой подругой Альбертины Симоне, то я окончательно утвердился в мысли, что, когда я шел с бабушкой, я встретил именно Альбертину. Правда, этих улочек, перпендикулярных к пляжу и образующих одинаковые углы, было столько, что я не мог бы точно определить, какой это был перекресток. Хочется, чтобы воспоминание было точно, но в нужный момент зрение подводит. И все же ничего невероятного не было в том, что Альбертина и девушка, шедшая к подруге, — это одно и то же лицо. И тем не менее бесчисленные облики, в которых мне потом представала темноволосая гольфистка, сколько бы они ни разнились, накладываются один на другой (ибо я знаю, что все это ее облики), и если я, держа в руках нить моих воспоминаний, пойду вспять, то мне удастся под покровом единства, как бы на внутреннем переходе, вызвать в воображении все эти облики, не нарушая пределов одного лица, а вот когда мне хочется проделать весь путь к девушке, которую я встретил однажды, идя с бабушкой, мне нужен простор. Мне представляется, что это и есть та самая Альбертина, которая часто, гуляя с подругами, останавливалась, вырисовываясь над морем; но все эти облики не сливаются с тем, ибо я не в силах по прошествии стольких лет найти между ними связь, которой я не улавливал, когда Альбертина привлекла к себе мое внимание; как бы ни старалась меня убедить теория вероятности, толстощекую девушку, которая метнула в меня такой смелый взгляд на углу улицы и пляжа и которая, как мне тогда показалось, могла бы полюбить меня, я, в точном смысле этого понятия: «увидеть вновь», так вновь и не увидел.

То, что я далеко не сразу смог себе ответить, какая девушка из стайки мне больше всего нравится, ибо каждая содержала в себе частицу общего обаяния, под власть которого я подпал мгновенно, явилось одной из причин, по которым позднее, даже в пору самой сильной моей любви — второй — любви к Альбертине, — я пользовался, так сказать, временной свободой — очень недолго — от любви к ней. Блуждая от одной подруги Альбертины к другой, прежде чем окончательно избрать Альбертину, моя любовь на некоторое время оставляла между собой и образом Альбертины нечто вроде «зазора», что давало ей возможность, как неналаженному освещению, задерживаться на других, а потом уже возвращаться к ней; связь между болью в моем сердце и воспоминанием об Альбертине представлялась мне не непременной — пожалуй, я мог бы соотнести ее с образом другой женщины. Вот эти минутные проблески и давали мне возможность рассеивать действительность, не только внешнюю действительность, как во времена моей любви к Жильберте (любви,

которую я считал состоянием внутренним, так как я из себя самого извлекал особенности, характерные черты любимого существа, все, что было в нем необходимого для моего счастья), но и действительность внутреннюю, чисто субъективную.

— Не проходит дня, чтобы какая-нибудь из этих девушек по дороге не заглянула на секундочку ко мне в мастерскую, — сказал Эльстир, и я пришел в отчаяние от мысли, что если б я, не откладывая, побывал у него, как мне советовала бабушка, то, вероятно, уже давно познакомился бы с Альбертиной.

Она ушла; из мастерской ее уже не было видно. Я решил, что она идет на набережную к подругам. Будь я сейчас там с Эльстиром, я бы с ними познакомился. Я придумывал один предлог за другим для того, чтобы он согласился пройтись со мной по пляжу. Я уже не был спокоен, как до появления девушки в окне, среди жимолости, только что таком прелестном, а теперь опустевшем. Эльстир порадовал меня, но эта радость причиняла мне муку: он сказал, что прогуляется со мною, но что ему надо закончить то, над чем он сейчас работает. Это были цветы, но не такие, портрет которых я заказал бы ему с большим удовольствием, чем портрет человека, — заказал для того, чтобы его гений раскрыл мне то, что я тщетно пытался в них углядеть: не боярышник, не розовый терновник, не васильки, не яблоневый цвет. Эльстир, продолжая писать, говорил о ботанике, но я его не слушал; он перестал интересовать меня сам по себе — теперь он был всего лишь необходимым посредником между девушками и мной; обаяние его таланта, под которым я находился каких-нибудь несколько минут назад, я ценил постольку, поскольку крохотная его частица в глазах стайки, которой он меня представит, могла перейти и ко мне.

Я ходил из угла в угол, с нетерпением ожидая, когда он кончит работать; брал в руки и рассматривал этюды, многие из которых были повернуты к стене или навалены один на другой. Так я обнаружил акварель, относившуюся, по-видимому, к давней поре жизни Эльстира, и она вызвала во мне тот ни с чем не сравнимый восторг, какой расплескивают вокруг себя картины, не только превосходно исполненные, но и написанные на столь необыкновенный и увлекательный сюжет, что часто их прелести мы относим к нему, как будто художнику надо было только открыть эту прелесть, наблюсти ее, ^ уже овеществленную в природе, и воссоздать. Сознание, что такие предметы, прекрасные сами по себе, независимо от того, как их покажет художник, что такие предметы существуют, дает удовлетворение нашему врожденному материализму,

опровергаемому разумом, и служит противовесом отвлеченности эстетики. Это (акварель) был портрет молодой женщины, — о ней можно было сказать: она некрасива, но у нее любопытный тип лица, — в чем-то вроде обшитого вишневой шелковой лентой котелка на голове; в одной руке, которую обтягивала митенка, она держала зажженную папиросу, в другой, на уровне колена, — простую широкополую соломенную шляпу для защиты от солнца. Рядом, на столе, в вазочке — гвоздики. Часто — и это как раз относится к акварели Эльстира — своей оригинальностью картины бывают обязаны главным образом тому, что художник писал их в особых условиях, поначалу не вполне ясных для нас: так, может оказаться, что необычный женский наряд — это маскарадный костюм, или — обратный пример: кажется, что старик надел красную мантию, повинуясь прихоти художника, а на самом деле потому, что он — профессор, советник или кардинал. Неопределенность облика женщины, портрет которой был у меня перед глазами, объяснялся, хотя я этого не понимал, тем, что это была молодая, былых времен, актриса в полумужском костюме. Котелок, из-под которого выбивались пышные, хотя и короткие волосы, бархатная куртка без отворотов, под которой белела манишка, — все вместе задало мне задачу: какого времени эта мода и какого пола модель, — словом, я не мог точно установить, что у меня перед глазами, ясно же мне было одно: написано это художником. И наслаждение, какое доставляла мне акварель, портила лишь боязнь, как бы из-за Эльстира, если он задержится, я не упустил девушек — солнце стояло низко, и в оконце били косые его лучи. Ничто в этой акварели не являлось простой констатацией факта и ни одна деталь не была изображена ради ее служебного предназначения: костюм — не потому что надо же, чтобы женщина была во что-то одета, вазочка — не только для цветов. Художник влюбился в стекло вазочки, и оно словно заключало воду, в которую были погружены стебли гвоздик, в нечто не менее прозрачное, чем вода, и почти такое же, как вода, жидкое; в том, как охватывала женщину одежда, была своя особая, близкая ей прелесть, точно промышленные изделия могут соперничать с чудесами природы, могут быть так же нежны, так же приятны для ощупывающего их взгляда, написаны так же свежо, как шерсть кошки, лепестки гвоздики или перья голубя. Белизна манишки, изысканная, как белизна града, с колокольчиками на игривых ее складках, похожими на колокольчики ландыша, озвезживалась наполнявшими комнату ясными отсветами заката, яркими, искусно оттененными, точно букеты цветов, вытканные на белом. Бархат куртки с его перламутровым блеском местами был словно встопорщен, взлохмачен, мохнат и напоминал растрепанность гвоздик в вазе. А главное,

чувствовалось, что Эльстир, не думая о том, не безнравствен ли маскарадный костюм для молодой актрисы, — а для нее талант, которым она блеснет в своей роли, наверно, не имел такого значения, как возбуждающая притягательность, которой она воздействует на пресыщенные и развращенные чувства иных зрителей, — ухватился за эту двойственность как за эстетический момент, каковой стоило выделить и каковой он всеми силами постарался подчеркнуть. Овал лица как будто почти признавался в том, что это лицо девушки, в которой есть что-то мальчишеское, потом это признание затихало, дальше снова появлялось, но уже вызывая мысль скорее о женоподобном юноше, порочном и мечтательном, а потом, неуловимое, ускользало вновь. Задумчивая грусть во взгляде производила особенно сильное впечатление по контрасту с кутежными и театральными аксессуарами. Впрочем, невольно приходило в голову, что эта грусть — поддельная и что юное существо, в этом своем вызывающем костюме словно ожидающее ласк, вероятно, нашло, что если оно примет романтическое выражение некоего затаенного чувства, чувства невысказанной печали, то это придаст ей известную пикантность. Внизу, под портретом было подписано: «Мисс Сакрипант, октябрь 1872». Я не мог сдержать свой восторг. «А, пустячок, юношеский набросок, костюм для, ревю в Варьете. Это уже далекое прошлое». — «А какова судьба натуры?» Удивление, вызванное моим вопросом, мгновенно сменилось на лице Эльстира безучастным и рассеянным выражением. «Дайте сюда акварель, — сказал он, — госпожа Эльстир идет, и хотя девушка в котелке никакой роли в моей жизни не играла, — можете мне поверить, — а все-таки моей жене смотреть на эту акварель незачем. Я сохранил ее только как любопытную иллюстрацию театральной жизни того времени». Должно быть, акварель давно не попадалась Эльстиру на глаза, потому что, прежде чем спрятать, он внимательно на нее посмотрел. «Оставить надо только голову, — пробормотал он, — все остальное, по правде сказать, никуда не годится, так написать руки мог только начинающий». Сообщение о том, что идет г-жа Эльстир, убило меня, — значит, мы еще дольше задержимся. Подоконник порозовел. Выходить на прогулку нам ни к чему. Девушек мы все равно уже не встретим — так не все ли равно, долго или недолго пробудет здесь г-жа Эльстир? Впрочем, она ушла довольно скоро. Мне она показалась очень скучной; она была бы хороша, если б ей было двадцать лет и если б она гнала быка в римской Кампанье, но ее черные волосы поседели; она была заурядна, но не проста, так как полагала, что величественности в обхождении и горделивой осанки требует скульптурная ее красота, у которой возраст отнял, однако, все чары. Одета она была в

высшей степени просто. Меня трогало, но и удивляло то, что Эльстир по любому поводу с почтительной нежностью, точно самые эти слова умиляли его и настраивали на благоговейный лад, обращался к ней: «Прекрасная Габриэль!» Позднее, познакомившись с мифологической живописью Эльстира, я тоже увидел в г-же Эльстир красоту. Я понял, что определенный идеальный тип, выраженный в определенных линиях, в определенных арабесках, которые постоянно встречаются в его творчестве, определенный канон Эльстир, в сущности, почти обожествил: все свое время, все мыслительные свои способности, словом, всю жизнь он посвятил задаче — как можно явственнее различать эти линии, как можно точнее их воспроизводить. То, что этот идеал внушал Эльстиру, в самом деле стало для него культом, высоким, требовательным, не допускавшим ни малейшей самоуспокоенности; этот идеал представлял собой важнейшую часть его самого — вот почему он не мог отнестись к нему беспристрастно, не мог вдохновляться им вплоть до дня, когда идеал раскрылся перед ним осуществленным вовне, в женском теле, в теле той, которая стала потом г-жой Эльстир и которая наконец доказала ему, — доказать это может только кто-нибудь другой, — что его идеал достоин преклонения, трогателен, божествен. И какое отдохновение в том, чтобы прильнуть устами к Прекрасному, которое до сих пор приходилось с такими усилиями извлекать из себя и которое теперь, таинственно воплощенное, приносило ему себя в дар, награждая его постоянным и плодотворным общением! Эльстир был тогда уже не первой молодости, — в этом возрасте ждут осуществления идеала только от могущества мысли. Он приближался к той поре, когда для возбуждения духовных сил мы нуждаемся в удовлетворении позывов плоти, когда усталость духа, толкающая нас к материализму, и уменьшение активности, связанное с пассивным подчинением различным влияниям, наводят нас на мысль, что, может быть, существуют особые тела, особый род занятий, особые ритмы, которые так естественно претворяют в жизнь наш идеал, что если мы только, даже при отсутствии дарования, воспроизведем движение плеча или поворот шеи, то у нас получится подлинное произведение искусства; это тот возраст, когда нам приятно ласкать взглядом Красоту вне нас, около нас: в гобелене, в чудном эскизе Тициана, найденном у антиквара, в возлюбленной, не менее прекрасной, чем эскиз Тициана. Как только я это постиг, я уже не мог смотреть без удовольствия на г-жу Эльстир, и тело ее утратило тяжеловесность, ибо я вложил в него мысль, что она — существо бестелесное, что это портрет, написанный Эльстиром. Для меня она была одним из его портретов, да и для него, конечно, тоже. Данные, которыми

обладает натура, ничего не значат для художника — они для него только повод, чтобы выказать свое дарование. Если нам дать посмотреть один за другим написанные Эльстиром десять портретов разных лиц, то мы сразу же угадаем, что все они принадлежат кисти Эльстира, и это для нас самое важное. Вот только после прилива гениальности, затопляющего жизнь, мозг устает, равновесие постепенно нарушается, и, подобно реке, берущей верх над сильным встречным течением, жизнь в конце концов берет свое. А пока первый период не кончился, художнику постепенно удается открыть закон, формулу бессознательного своего дара. Он знает, какие обстоятельства, если он романист, и какие виды, если он живописец, предоставят в его распоряжение натуру, и пусть эта натура сама по себе будет ему безразлична, но она ему так же необходима для его изысканий, как ученому необходима лаборатория, а художнику — мастерская. Он знает, что создал великие произведения, пользуясь теми эффектами, какие дает притушенный свет, прибегая к раскрытию угрызений совести, которые изменяют представление о вине, изображая женщин, лежащих под деревьями или наполовину погруженных в воду, точно изваяния. Настанет день, когда его мозг будет так переутомлен, что натура, которой пользовался его талант, уже не поможет ему напрячь умственную энергию, — а ведь только из этого напряжения и вырастает его творчество, — и все-таки художник не перестанет гнаться за натурой и будет счастлив сознанием, что она тут, близко, ибо она доставляет ему духовное наслаждение одним тем, что соблазняет его взяться за работу; этого мало: питая к ней нечто вроде суеверного страха, как будто выше ее нет ничего на свете, как будто в ней заключена значительная часть его произведения, в определенном смысле совершенно законченная, он удовольствуется тем, что будет посещать свои модели, поклоняться им. Он будет вести нескончаемые разговоры с раскаявшимися преступниками, угрызения совести и возрождение которых служили в свое время темой для его романов; он купит дачу там, где туман скрадывает свет; он часами будет смотреть на купающихся женщин; он будет собирать красивые ткани. Словом, красота жизни, — выражение, с известной точки зрения бессмысленное, — была той находящейся за пределами искусства стадией, на которой, как я видел, остановился Сван и до которой, вследствие оскудения таланта, вследствие преклонения перед формами, некогда его вдохновлявшими, вследствие стремления избегать малейших усилий, был рано или поздно обречен опуститься такой художник, как Эльстир.

Наконец он в последний раз прошелся кистью по цветам на картине; я потерял еще одну минуту, посмотрев на них; жертва была невелика — ведь

я же знал, что девушек на пляже нет; но если б я был уверен, что они еще там и что из-за потерянных этих минут я упущу их, я все равно посмотрел бы на картину: я сказал бы себе, что Эльстиру важнее его цветы, чем моя встреча с девушками. Характер моей бабушки, от которого был так далек мой на все распространявшийся эгоизм, тем не менее отражался во мне. Если б я только делал вид, что люблю и уважаю кого-нибудь, кто на самом деле был бы мне безразличен, и если б этот человек рисковал попасть всего-навсего в неприятное положение, а я бы в это время подвергался настоящей опасности, я бы непременно пожалел его, как будто его огорчение — это что-то серьезное, а к опасности, нависшей надо мною, отнесся бы легко: мне бы казалось, что так все это воспринимает он и что я должен смотреть его глазами. И, откровенно говоря, я бы этим не ограничился: я не только не пал бы духом при мысли, что я в опасности, — я пошел бы прямо навстречу ей, а других старался бы от нее укрыть, хотя бы сам подвергался большему риску. Объясняется это целым рядом причин, и все объяснения — не в мою пользу. Одна из причин заключается вот в чем: когда я рассуждал спокойно, выходило, что жизнью я дорожу, и, однако, всякий раз, как меня охватывало душевное волнение или даже когда у меня просто бывали расстроены нервы, иногда из-за таких пустяков, что о них и рассказывать-то не стоит, а затем происходил какой-нибудь непредвиденный случай, грозивший мне гибелью, то новая тревога казалась мне по сравнению с прежними мелкой и вызывала у меня чувство — я бы сказал — блаженного облегчения. Так, я совсем не храбрец, а между тем я знаю одну свою способность, которую, когда я рассуждаю здраво, я воспринимаю как глубоко чуждую мне, совершенно непонятную: упоение опасностью. Но даже если бы опасность, и притом — смертельная, возникла в безоблачную и счастливую пору моей жизни, я непременно, будь около меня кто-то еще, спрятал бы его, а сам остался бы на опасном месте. Когда на основании уже довольно большого опыта я заключил, что всегда действую таким образом и, кроме радости, это мне ничего не доставляет, я, к великому моему стыду, обнаружил следующее: вопреки тому, что я всегда считал и утверждал, меня очень волнует, что обо мне думают другие. Этот род ничем внешне не проявляемого самолюбия не имеет, впрочем, ничего общего ни с тщеславием, ни с гордыней. Все, что способно удовлетворить эти чувства, вот настолько меня не порадовало бы, и я их чурался. Зато я не мог лишить себя удовольствия показать тем, от кого мне удавалось скрыть те небольшие мои достоинства, которые могли бы хоть чуть-чуть возвысить меня в их глазах, что я прилагаю больше усилий, чтобы спасти от смерти их, чем себя самого. Так как движущей

силой является тут самолюбие, а не добродетель, то я нахожу вполне естественным, что они поступают иначе. Я нисколько их за это не осуждаю, а между тем я бы, пожалуй, осудил их, если б мною двигало чувство долга, — тогда бы я рассудил, что исполнение долга так же обязательно для них, как и для меня. Нет, напротив, я нахожу, что те, кто бережет свою жизнь, поступают в высшей степени благоразумно, хотя я лично не могу не жертвовать своею, а ведь я же сознаю, что это преступно и глупо, — сознаю особенно отчетливо после того, как я, кажется, наконец убедился, что жизнь многих из тех, кого я загораживаю собой при взрыве бомбы, представляет меньшую ценность. Впрочем, со дня моего прихода к Эльстиру должно было пройти много времени, прежде чем я научился судить о душевных качествах по их действительной стоимости, да и в тот день не в опасности было дело, а лишь в успехе зловредного самолюбия: в желании не показать виду, что удовольствие, о котором я так мечтал, для меня важнее, чем то, что акварелист не успеет окончить картину. И вот он ее закончил. Когда же мы с ним вышли из мастерской, я удостоверился, — в это время года дни были очень длинные, — что еще совсем не так поздно; мы направились к набережной. На какие только хитрости я ни пускался, лишь бы задержать Эльстира на том месте, где, по моим расчетам, еще могли пройти девушки! Показывая на скалы, я без конца расспрашивал о них Эльстира, чтобы он позабыл о времени и как можно дольше тут пробыл. Я решил, что у нас больше вероятия столкнуться со стайкой в конце пляжа. «Давайте подойдем чуточку ближе к скалам, — зная, что одна из девушек часто туда ходит, сказал я Эльстиру. — А вы расскажите мне о Каркетюи. Ах, как мне хочется в Каркетюи! — добавил я, не отдавая себе отчета, что, быть может, не так своеобразен самый пейзаж, необычность которого так сильно чувствовалась в „Гавани Каркетюи“ Эльстира, как своеобразно восприятие художника. — „После того, как я посмотрел вашу картину, меня, пожалуй, больше всего потянуло в Каркетюи, да еще в Пуэнт-дю-Ра, но отсюда до Пуэнт-дю-Ра — это целое путешествие“. — „Если б Каркетюи было отсюда и не ближе, я бы все-таки, пожалуй, посоветовал вам посмотреть сначала его, — заметил Эльстир. — Пуэнт-дю-Ра удивительна, но, в конце концов, это все тот же нормандский или бретонский высокий утесистый берег, вам уже знакомый. Каркетюи с его скалами на низком берегу — это совсем другое. Во Франции я нигде ничего подобного не видел, скорей это напоминает иные места во Флориде. Там тоже очень любопытно и так же необыкновенно дико. Это между Клитурпом и Нэомом, а вы знаете, какое это пустынное прибрежье; береговая линия прелестна. Здесь береговая линия ничем не

примечательна, но там — я не могу вам передать, какое это очарование, какая мягкость“.

Вечерело; надо было возвращаться; я пошел проводить Эльстира до его виллы, и вдруг, — так Мефистофель возникает перед Фаустом, — появились в конце улицы, точно простая ирреальная, дьявольская объективация темперамента, противоположного моему, объективация полуварварской жестокой жизнеспособности, которой совершенно была лишена моя слабость, моя повышенная, болезненная чувствительность, моя склонность к рефлексии, пятна той разновидности, которую нельзя ни с чем спутать, спорады животно-растительной стайки девушек, как будто не замечавших меня и в то же время, вне всякого сомнения, говоривших обо мне с насмешкой. Предчувствуя неизбежность нашей встречи, предчувствуя, что Эльстир подзовет меня, я повернулся спиной, как купальщик от волны; я внезапно остановился, мой знаменитый спутник пошел дальше, я же принялся рассматривать витрину антикварного магазина, мимо которого мы проходили, как будто меня там что-то вдруг заинтересовало: пусть, мол, девушки видят, что я думаю не только о них, и мне уже мерещилось, что, когда Эльстир подзовет меня, чтобы представить им, я посмотрю тем вопросительным взглядом, который выражает не удивление, но желание казаться удивленным, — такие мы все плохие актеры и такие хорошие физиономисты те, кто за нами наблюдает, — что я даже приставлю палец к груди, как бы спрашивая:

«Вы кого — меня зовете?» — а затем подбегу, послушно и смиренно склонив голову и напустив на себя такой вид, будто я, взяв себя в руки, стараюсь не показать, как мне досадно, что меня оторвали от любования старинным фаянсом, чтобы представить особам, с которыми у меня нет никакого желания знакомиться. Итак, я разглядывал витрину в ожидании того мгновенья, когда мое имя, которое выкрикнет Эльстир, поразит меня, как пуля, ожиданная и безвредная. Следствием уверенности в том, что меня познакомят с девушками, явилось то, что я не только прикидывался равнодушным, но и в самом деле был сейчас к ним равнодушен. Как только удовольствие познакомиться с девушками стало неизбежным, оно убавилось, умалилось, показалось меньше, чем удовольствие от разговора с Сен-Лу, от обеда с бабушкой, от прогулок по окрестностям — прогулок, о которых я уже начал жалеть, потому что из-за отношений, которые у меня завяжутся с девушками, вряд ли проявляющими большой интерес к историческим памятникам, мне, наверно, придется о них забыть. Предстоявшее мне удовольствие уменьшала не только его неминуемость, но и его нечаянность. Законы, не менее точные, чем законы гидростатики,

накладывают образы, которые мы создаем, один на другой в строгом порядке, а приближение какого-нибудь события опрокидывает этот порядок. Эльстир вот-вот меня окликнет. Совсем по-другому я часто рисовал себе, — на пляже, в комнате, — знакомство с девушками. Сейчас должно было произойти другое событие, к которому я был не подготовлен. Я не узнавал ни своего желания, ни его цели; я уже не рад был, что пошел с Эльстиром. Но главное, что снижало удовольствие, о котором я так мечтал, это уверенность в том, что уже ничто не властно отнять его у меня. И оно вновь растянулось, точно пружина, едва лишь уверенность перестала сжимать ее, как только я, решившись повернуть голову, увидел, что Эльстир в нескольких шагах от меня прощается с девушками. Лицо той, что стояла ближе к нему, полное, изнутри озаряемое ее взглядом, напоминало пирожок, в котором оставлено место для полоски неба. Ее глаза, даже когда они были неподвижны, создавали впечатление подвижности — так в ветреные дни все-таки заметна быстрота, с какой невидимый воздух движется на фоне лазури. На миг наши взгляды скрестились, — так в грозовой день проносящееся по небу облако приближается к менее быстрой туче, плывет рядом, задевает и обгоняет ее. И вот они уже, так и оставшись чужими, далеко-далеко друг от друга. Наши взгляды тоже на мгновение встретились, не зная, что нам сулит и чем грозит небосвод. Только когда ее взгляд, оставаясь таким же быстрым, прошел как раз под моим, он чуть-чуть затуманился. Так в светлую ночь гонимая ветром луна скрывается за облаком, бледнеет на миг и тут же вновь выплывает. Но Эльстир уже распрощался с девушками, не подозвав меня. Они свернули в переулок, он пошел ко мне. Сорвалось!

Я уже говорил, что в тот день Альбертина явилась моим глазам не такою, как раньше, и что она каждый раз казалась мне другой. Но в эту минуту я почувствоЬал, что некоторые изменения в облике, в значительности, в величии человека могут зависеть и от изменчивости нашего душевного состояния, вклинивающегося между ним и нами. Одним из состояний, играющих в таких случаях самую важную роль, является уверенность. (В тот вечер уверенность в знакомстве с Альбертиной, а потом разуверение за несколько секунд обесценили ее в, моих глазах, а потом бесконечно возвысили; несколько лет спустя уверенность, что Альбертина мне преданна, а потом разуверение привели к сходным изменениям.)

Правда, я еще в Комбре наблюдал, как убывает или растет в зависимости от времени дня, в зависимости от того, какое у меня настроение, — из тех двух, что делили между собой мои чувства, — тоска

по матери, такая же неуловимая днем, как неуловим лунный свет при солнце, а ночью приходившая на смену и уже стершимся и еще свежим воспоминаниям и безраздельно владевшая измученной моей душой. Но в тот день, видя, что Эльстир, не позвав меня, прощается с девушками, я пришел к следующему выводу: колебания ценности, какую могут для нас иметь радость или печаль, зависят не только от чередования этих двух душевных состояний, но и от смены незримых верований, внушающих нам безразличное отношение даже, например, к смерти, ибо они заливают ее призрачным светом, а с другой стороны, придают в наших глазах важность музыкальному вечеру, тогда как он утратил бы для нас свою прелесть, если бы при известии, что нас должны гильотинировать, верование, освещавшее музыкальный вечер, внезапно рассеялось; что-то во мне, конечно, знало о роли верований, и это была воля, но от ее знания нет никакого толку, если разум и чувство по-прежнему ничего об этой роли не ведают; разум и чувство твердо уверены, что мы хотим расстаться с любовницей, и только наша воля знает, как мы привязаны к этой женщине. Их мутит уверенность в том, что спустя мгновение мы опять с ней увидимся. Но как только уверенность пропадает, когда рассудок и чувство неожиданно узнают, что любовница уехала навсегда, почва из-под них тотчас же ускользает, они точно с цепи срываются, и небольшая утеха растет в нашем представлении до исполинских размеров.

Не только колеблющаяся уверенность, но и хилая любовь, зарождающаяся раньше уверенности, любовь изменчивая, останавливается на образе какой-нибудь женщины просто потому, что эта женщина почти недостижима. И тогда мы начинаем думать не столько о самой женщине, которую мы рисуем себе неясно, сколько о том, как бы с ней познакомиться. Настает череда волнений, и волнений бывает довольно, чтобы сосредоточить нашу любовь на этой, в сущности говоря, незнакомке. Любовь растет неудержимо, и нас не удивляет, как мало места в ней занимает земная женщина. И если внезапно, как в то мгновенье, когда Эльстир остановился с девушками, наше беспокойство, наша тоска проходит, — а ведь вся наша любовь и есть тоска, — нам вдруг представляется, что любовь улетучилась в тот миг, когда к нам в руки попалась добыча, ценность которой до сих пор не очень нас занимала. Что от Альбертины сохранялось у меня тогда в памяти? Два поворота головы на фоне моря, — головы, конечно, не такой красивой, как женские головки Веронезе, которые с точки зрения чисто эстетической должны были бы мне нравиться больше. Да другой точки зрения у меня и не было: ведь как только беспокойство проходило, я ничего не мог восстановить в памяти,

кроме этих безмолвных профилей. После того, как я увидел Альбертину, я каждый день подолгу о ней думал, мысленно вел с ней разговор, заставлял ее обращаться ко мне с вопросами, отвечать на мои, соображать, действовать, и в нескончаемой этой веренице воображаемых Альбертин, сменявшихся во мне ежечасно, настоящая Альбертина, та, какую я видел на пляже, лишь возглавляла это шествие, — так создательница роли, звезда, играет только на первых представлениях, которые открывают длинный ряд последующих. Настоящая Альбертина была силуэтом, все же, что на нее наслаивалось, шло от меня: то, что в любовь привносится нами, — даже с точки зрения количественной, — бесконечно богаче того, что исходит от любимого существа. И это верно даже по отношению к самой деятельной любви. Иная любовь способна не только образоваться, но и жить, довольствуясь малым, — и это даже в том случае, если телесное желание утолено. У бывшего учителя рисования моей бабушки от какой-то любовницы родилась дочь. Мать скончалась вскоре после родов, а учитель пережил ее не надолго — он умер с горя. Еще при его жизни бабушка и некоторые другие комбрейские дамы, никогда не говорившие при учителе об этой женщине, с которой он, впрочем, не жил открыто и не часто виделся, решили обеспечить девочку — собрать ей деньги на пожизненную ренту. Предложила это бабушка; иные из ее приятельниц заартачились: так ли уж эта девочка интересна и действительно ли она дочь учителя — с такими женщинами, как ее мамаша, никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Наконец решение состоялось. Девочка пришла благодарить. Она была некрасива и так похожа на старого учителя рисования, что всякие сомнения отпали; хороши у нее были только волосы, и одна дама сказала отцу, который ее привел: «Какие у нее чудные волосы!» Подумав, что теперь, когда преступная мать умерла, а старик отец полумертв, намек на прошлое, о котором I якобы никому не было известно, не может задеть учителя, бабушка заметила: «Наверно, это у нее наследственное. У матери ведь тоже были красивые волосы?» — «Не знаю, — с наивным видом ответил отец. — Я видел ее только в шляпе».

Надо было догонять Эльстира. Я увидел себя в окне. К незадаче с девушками прибавились другие: я обнаружил, что галстук мой на боку, из-под шляпы выбились длинные волосы, а это мне не шло; и все-таки было! хорошо, что девушки встретили меня, даже в таком виде, с Эльстиром и теперь уже не забудут; еще хорошо было то, что я по совету бабушки все-таки пошел к Эльстиру в красивом жилете, — а ведь я хотел было снять его и надеть другой, скверный, — и взял самую изящную тросточку: событие, которого мы чаем, никогда не происходит так, как это нам рисовалось,

потому что у нас не оказывается преимуществ, на которые у нас были основания рассчитывать, но зато у нас появились преимущества неожиданные, и все уравновесилось; мы безумно боялись худшего, и теперь мы начинаем думать, что в общем, в конечном итоге, судьба была к нам скорее благосклонна.

«Я был бы очень рад с ними познакомиться», — проговорил я, поравнявшись с Эльстиром. «Так что же вы уходите за тридевять земель?» Эльстир задал мне этот вопрос не потому, чтобы это была его мысль, — ведь если б он в самом деле желал исполнить мое желание, то ему ничего бы не стоило меня позвать, — но, может быть, потому, что он слышал такие фразы, которыми отделываются в чем-либо уличенные пошляки, и еще потому, что даже великие люди кое в чем похожи на пошляков и черпают обычные извинения из того же репертуара — ведь и хлеб насущный они покупают в той же булочной; не лишено вероятия также, что подобного рода слова, которые надо до известной степени понимать наоборот, поскольку буквально их значение не соответствует истине, являются неизбежным следствием, негативным изображением рефлекса. «Они спешили». Я подумал, что они-то и не дали позвать мало симпатичного им человека; иначе Эльстир непременно позвал бы меня — ведь я же так подробно о них расспрашивал, и он не мог не заметить, как я ими интересуюсь. «Я рассказывал вам о Каркетюи, — сказал он, когда я проводил его до дому. — Я сделал эскизик — на нем гораздо лучше видна береговая линия. Картина недурна, но в другом роде. Если позволите, я на память о нашей дружбе подарю вам эскиз», — прибавил он: отказывая в том, чего нам хочется, люди обычно предлагают взамен другое.

«Я бы мечтал, — если только он у вас есть, — о снимке с маленького портрета мисс Сакрипант! Да, а что значит это имя?» — «Это имя той, кого она играла в одной глупой оперетке. Но вы как будто убеждены, что я с ней знаком, — ничего подобного!» Эльстир замолчал. «А это не портрет госпожи Сван до замужества?» — спросил я, внезапно и нечаянно напав на истину, что, вообще говоря, случается не часто, но может задним числом послужить основанием для теории предчувствий — при условии, если вы забудете все опровергающие ее ошибки. Эльстир ничего мне не ответил. Конечно, это был портрет Одетты де Креси. Она не взяла его себе по многим причинам, из которых иные более чем понятны. Были и другие причины. Портрет относился к той поре, когда Одетта, еще не научившись держать в повиновении внешний свой облик, не сделала из своего лица и фигуры произведения искусства, в котором самое для нее характерное, — манера держаться, говорить, складывать губы в улыбку, складывать руки,

останавливать на чем-нибудь взгляд, погружаться в свои мысли, — наперекор возрасту, парикмахерам, портным, наперекор ей самой должно было сохраниться. Только извращенность такого пресыщенного любовника, каким был Сван, могла предпочесть многочисленным фотографиям Одетты ne varietur[21], какою стала его прелестная жена, стоявшую у него в комнате маленькую фотографию, на которой снялась в соломенной шляпе, украшенной анютиными глазками, худенькая молодая женщина, довольно некрасивая, с пышной прической, с осунувшимся лицом.

Впрочем, если бы портрет не был сделан, как фотография, которую так любил Сван, раньше, чем черты Одетты образовали иную разновидность, величавую и пленительную, но позднейшую, все равно восприятие Эльстира ничего бы от этой разновидности не оставило. Талант художника действует так же, как сверхвысокие температуры, обладающие способностью разлагать сочетания атомов и группировать их в абсолютно противоположном порядке, создавать из них другую разновидность. Всю эту искусственную гармонию, которую женщина навязала своим чертам, и то упорство, с каким она ежедневно, перед тем как выйти из дому, проверяет ее в зеркале, поправляя шляпу, приглаживая волосы, придавая большую игривость выражению лица, заботясь о нерушимости этой гармонии, взгляд великого художника разрушает в один миг и взамен производит перегруппировку женских черт сообразно со сложившимся у него живописным идеалом женщины. Равным образом часто случается, что в известном возрасте великий исследователь всюду находит элементы, необходимые для установления зависимостей, а это и есть его единственная цель. Подобно мастеровым или игрокам, у которых нет выбора и они довольствуются тем, что у них в руках, художник мог бы сказать о чем угодно: «Пригодится». Так, во времена давно прошедшие кузина принцессы Люксембургской, одна из самых надменных красавиц, увлекавшаяся новым тогда течением в искусстве, заказала свой портрет лучшему из художников-натуралистов. Глаз художника тотчас нашел то, что искал всюду. И на полотне вместо знатной дамы появилась девчонка на побегушках, а за ней — обширная декорация, наклонная, лиловая, напоминающая площадь Пигаль. Но если даже так далеко и не заходить, все равно женский портрет кисти большого художника не только совершенно не удовлетворит иных требований женщины, — скажем, требования стареющей женщины сниматься в почти детских платьицах, которые оттеняют ее все еще молодой стан и в которых она выглядит сестрой или даже дочерью своей дочери, а та в силу необходимости, ради

такого случая одета «чумичкой», — но еще 'и подчеркнет недостатки, которые женщина старается скрыть и которые, как, например, красный и даже зеленоватый цвет лица, особенно притягивают художника своей «характерностью»; такой портрет может разочаровать неискушенного зрителя и разбить вдребезги идеал, в убранстве которого эта женщина так гордо выступала и который ставил эту женщину в ее особливом, неменяющемся обличье вне человечества, возносил ее над ним:

А теперь, низвергнутая, изгнанная за пределы того обличья, которое она сама себе создала и в котором чувствовала себя неотразимой, она становится самой обыкновенной женщиной, в чье превосходство мы утратили всякую веру. В этом обличье заключалась для нас не только красота, — красота, допустим, Одетты, — но и ее личность, ее подлинность, так что при взгляде на портрет, в котором эта ее разновидность исчезла, у нас так и вертится на языке: «Как ее обезобразил художник!», или даже: «До чего она здесь непохожа!» Нам трудно поверить, что это она. Мы ее не узнаем. И все-таки для нас несомненно, что мы ее раньше видели. Но это не Одетта. Лицо, тело, облик нам хорошо знакомы. Они приводят нам на память не эту женщину, — она никогда так не держалась, обычная ее поза не вырисовывала такого необычного, вызывающего арабеска, — а других, всех, которых писал Эльстир и которых он, несмотря на всю их непохожесть, любил показывать анфас, с выглядывающей из-под юбки ножкой, с круглой широкополой шляпой в руке, прикрывающей колено, — шляпой, диск которой соотносится с другим, видным анфас, — диском лица. И наконец гениальный портрет не только размыд вает тип женщины, созданный ее кокетством и ее эгоистическим понятием о своей красоте, но, если он написан давно, он не довольствуется тем, что старит оригинал, как старит фотография, показывающая его в вышедших из моды нарядах. На портрете время обозначается не только манерой одеваться, свойственной женщине, изображенной на портрете, но и манерой письма художника. Эта манера, первая манера Эльстира, была для Одетты убийственным метрическим свидетельством, потому что она не только превращала ее самое, как и ее тогдашние фотографии, в младшую сестру известных кокоток, но превращала и ее портрет в современника многочисленных портретов, которые Мане или Уистлер писали со стольких исчезнувших моделей, ныне канувших в забвение или принадлежащих истории.

На эти мысли, которые я, провожая Эльстира, молча перебирал в уме, навело меня открытие, касавшееся сходства с оригиналом, а за этим первым открытием последовало второе, еще сильнее меня взволновавшее,

но уже имевшее непосредственное отношение к самому художнику. Он написал портрет Одетты де Креси. Неужели этот гений, для которого не было ничего невозможного, мудрец, отшельник, мыслитель, великолепный собеседник, был тот нелепый, с порочными наклонностями, художник, которого когда-то принимали у себя Вердюрены? Я спросил, не был ли он с ними знаком и не называли ли они его тогда маэстро Биш. Он ответил утвердительно, ничуть не смутившись, будто речь шла о довольно далекой поре его жизни, и словно не подозревая, как жестоко он меня разочаровал, но, подняв глаза, он прочел это на моем лице. Его лицо выразило неудовольствие. Мы почти дошли до его дома, и человек не такого большого ума и не такой большой души, вернее всего, довольно сухо попрощался бы и после этого избегал бы со мной встреч. Но Эльстир поступил иначе: как настоящий учитель, — а что он был учителем, это, вероятно, с точки зрения чистого творчества как раз и являлось единственным его недостатком, ибо художник, чтобы владеть всей истиной духовной жизни, должен быть один, он не имеет права расточать свое «я» никому, даже своим последователям, — он из любого обстоятельства, своей или чужой жизни, пытался извлечь, в назидание молодежи ту долю истины, какая в данном обстоятельстве заключена. Вот почему вместо того, чтобы отомстить за себя, он предпочел сказать мне нечто поучительное. «Нет такого благоразумного человека, — заметил он, — который в молодости не наговорил бы чего-нибудь или даже не вел бы образ жизни, воспоминание о котором было бы ему неприятно и который ему хотелось бы перечеркнуть. Но жалеть ему об этом все-таки не следует: он не может поручиться, что всякого рода нелепые или омерзительные воплощения, которые должны предшествовать последнему воплощению и через которые он прошел, не умудрили его. Я знаю юношей, сыновей и внуков выдающихся людей, которым, когда они были еще на школьной скамье, их наставники толковали о душевном благородстве и нравственной безупречности. Положим, им не о чем стараться забывать, они могли бы опубликовать все, что они говорили, и подписаться под этим, но они люди жалкие, наследники доктринеров, их мудрость негативна и бесплодна. Мудрость сама в руки не дается, ее нужно открыть, пройдя путь, который никто другой не может пройти за тебя, не может тебя от него избавить, ибо это взгляд на вещи. Кем-либо прожитая жизнь, которой вы восхищаетесь, образ действий, который представляется вам благородным, не были предуказаны ни главой семьи, ни наставником, ваши кумиры начинали совсем по-другому, на них влияло их скверное и пошлое окружение. Их жизнь — это бой и победа. Я понимаю, что на портрете, который был

написан с нас в нашу первоначальную пору, мы совсем непохожи; во всяком случае, он может произвести неприятное впечатление. И все-таки отрекаться от него не нужно, — ведь он является свидетельством, что мы действительно жили, что по законам жизни духа мы из жизни будничной, из жизни мастерских, артистических кружков, — если речь идет о художнике, — извлекли то, что выше этой жизни». Мы подошли к дому Эльстира. Мне было грустно, что я не познакомился с девушками. Но теперь у меня была надежда встретиться с ними; я уже не боялся, что они появятся на горизонте и безвозвратно исчезнут. Вокруг них уже не крутился разъединявший нас бешеный водоворот, который представлял собой не что иное, как претворение желания в непрерывную деятельность, желания подвижного, животрепещущего, питаемого тревогами, какие возбуждала во мне их недоступность, их возможная утрата. Желанию сблизиться с ними я теперь мог дать передышку, оставить его про запас вместе с многими другими, исполнение которых я откладывал, как только убеждался, что они осуществимы. Я простился с Эльстиром, я остался один. И вдруг, как ни был я разочарован, я вообразил все эти случайности, мысль о которых мне прежде и в голову не приходила: что именно Эльстир в хороших отношениях с девушками, что они, не далее как сегодня утром, были для меня всего лишь фигурами на картине. фоном для которых служило море, что они видели меня, видели, что я в хороших отношениях с великим художником., а что художник знает теперь о моем желании с ними познакомиться и, конечно, мне посодействует. Все это было мне приятно, но приятное чувство я в себе таил; оно было похоже на посетителя, который не извещает, что он пришел, пока не уйдут другие и мы не окажемся вдвоем. Тогда я обращаю на него внимание, могу сказать: «Я к вашим услугам», — и выслушать его. Иной раз от того мига, когда эти радости проникают в нас, и до того, когда мы сами можем проникнуть в себя, проходит столько часов, мы видим столько людей в этот промежуток, что у нас появляется опасение: а вдруг эти радости нас не дождутся? Но радости терпеливы, они не скучают, и когда все уходят, они тут как тут. Иной раз мы бываем утомлены — настолько, что нам представляется, будто нашему изнемогающему сознанию не хватит сил удержать воспоминания, впечатления, для которых наше непрочное «я» — единственный приют, единственная возможность воплощения. И мы бы об этом пожалели, ибо жизнь интересна только в те дни, когда к пыли действительности примешивается волшебный песок, когда какой-нибудь обыкновенный случай приобретает романтическую силу. Тогда в свете сновидения перед нами исполинским утесом вырастает неприступный мир и входит в нашу

жизнь — в нашу жизнь, где, словно пробудившись, мы видим людей, о которых мы так пылко грезили, что нам мнилось, будто лишь в сонной грезе мы их и увидим.

Успокоение, которое принесла с собой возможность познакомиться с девушками, когда мне этого захочется, было для меня тем более важно, что я бы уже не мог караулить их, так как это были последние дни пребывания здесь Сен-Лу. Бабушке хотелось отблагодарить моего друга за любезности, какие он без конца оказывал и ей и мне. Я сказал ей, что он большой поклонник Прудона, и подал ей мысль выписать сюда множество купленных ею автографов писем этого философа; Сен-Лу пришел к нам в отель в тот самый день, когда они прибыли, как раз накануне своего отъезда. Он читал их с увлечением, благоговейно переворачивая страницы, стараясь удержать в памяти отдельные фразы, а когда поднялся и извинился перед бабушкой за то, что засиделся, она сказала ему:

— Да нет, возьмите их себе, это я для вас, я выписала их, чтобы подарить вам.

Радость его была так велика, что он ничего не мог с ней поделать, точно это было физическое состояние, не зависящее от нашей воли; он покраснел, как ребенок, которого наказали, и бабушка была гораздо больше тронута его усилиями (усилиями тщетными) сдержать радость, потрясавшую его, чем любыми выражениями признательности. А он, боясь, что недостаточно горячо поблагодарил бабушку, уже на другой день, высунувшись из окна вагончика пригородной железной дороги, по которой он уезжал в свой гарнизон, все еще просил меня перед ней извиниться. Его гарнизон стоял совсем близко. Сен-Лу рассчитывал поехать в экипаже — так он часто возвращался туда по вечерам. Но на этот раз ему надо было отправить поездом свой большой багаж. И он решил, что проще будет и ему ехать поездом п6 совету директора отеля, который, когда Сен-Лу заговорил с ним об этом, ответил, что экипаж и узкоколейка «приблизительно единоравны». Он хотел сказать, что это «приблизительно все равно» (Франсуаза выразилась бы иначе: «то же да на то же»).

— Ну ладно, — заключил Сен-Лу, — я поеду на «кукушке».

Если б не усталость, я проводил бы моего друга до Донсьера; но я ему все время, пока мы сидели на Бальбекском вокзале, — то есть пока машинист ждал своих запаздывавших приятелей, без которых он не желал ехать, и пил прохладительные напитки, — твердил, что буду навещать его несколько раз в неделю. Блок тоже пришел на вокзал — к большому неудовольствию Сен-Лу, а так как наш приятель не мог не слышать, что Сен-Лу зовет меня в Донсьер завтракать, обедать, пожить у него, то Сен-Лу

в конце концов до крайности холодным тоном, который должен был служить поправкой к вынужденной любезности приглашения и дать понять Блоку, что приглашают его только из вежливости, сказал ему: «Если вы когда-нибудь проедете через Донсьер в тот день, когда я свободен, то спросите меня в полку, хотя я почти никогда не бываю свободен». Может быть, Робер боялся еще и того, что один я не приеду, а он считал, что я очень дружен с Блоком, но только стараюсь особенно этого не показывать, и ему хотелось, чтобы он был моим спутником, проводником.

Я боялся, как бы тон Сен-Лу и его манера приглашать человека, советуя не приезжать, не обидели Блока, — лучше уж Сен-Лу ничего бы ему не говорил. Но я ошибся, — после отхода поезда, пока мы шли вдвоем до перекрестка, где должны были проститься, так как одна улица вела к отелю, а другая — к вилле Блока, он все приставал ко мне, когда же мы поедем в Донсьер: Сен-Лу «так любезно его приглашал», что было бы невежливо не приехать к нему. Я был рад, что Блок или ничего не заметил, или это его почти не задело и он предпочел сделать вид, будто не заметил, что Сен-Лу приглашал его отнюдь не настойчиво, что это с его Стороны была не более чем простая учтивость. Все-таки мне хотелось, чтобы Блок не ставил себя в смешное положение и не спешил в Донсьер. Но у меня не хватало решимости дать ему совет, ибо он мог показаться Блоку обидным: ему стало бы ясно, что он к Сен-Лу навязывается, а тот хочет от него отвязаться. Блок был чересчур уж навязчив, и хотя все проистекавшие отсюда недостатки искупались в нем прекрасными душевными Качествами, которых могло и не быть у людей более тактичных, все же его бесцеремонность раздражала. Он утверждал, что мы не должны откладывать на следующую неделю поездку в Донсьер (он говорил «мы», по-видимому считая, что удобнее приехать не одному, а со мной). Всю дорогу, около гимнастического зала, прятавшегося за деревьями, около теннисной площадки, у своего дома, подле торговца раковинами он останавливал меня и умолял назначить день, но я так и не назначил, и он на прощанье сказал мне сердито: «Как хочешь, мессир. А я непременно поеду, раз он меня позвал».

Сен-Лу было очень неприятно, что он не поблагодарил как следует бабушку, и через день опять попросил меня выразить ей признательность, но уже в письме, которое я получил от него из города, где он нес гарнизонную службу, и которое, судя по штемпелю на конверте, мигом долетело до меня, чтобы сообщить, что и в стенах этого города, в кавалерийской казарме времен Людовика XVI, Сен-Лу думает обо мне. На бумаге был герб Марсантов, в гербе я различил льва, а на льве в виде

короны была шапка пэра Франции.

«Доехал я вполне благополучно, — писал он мне, — дорогой читал купленную на вокзале книгу Арведа Барина (по-моему, это русский писатель, для иностранца это, на мой взгляд, замечательно написано, но вы сообщите мне свое мнение, — вы наверное знаете эту книгу, вы же кладезь премудрости, вы все на свете читали), и вот я опять в этой грубой обстановке, где — увы! — чувствую себя изгнанником, так как здесь я лишен того, что оставил в Бальбеке; в обстановке, с которой у меня не связано ни одного светлого воспоминания, никаких духовных радостей; в обстановке, к которой вы, конечно, отнеслись бы с презрением и в которой есть, однако, своя прелесть. Мне кажется, что все здесь изменилось с тех пор, как я отсюда уехал, оттого что в этот промежуток времени для меня началась одна из важнейших эр в моей жизни — эра нашей с вами дружбы. Надеюсь, что она не кончится никогда. О ней, о вас я рассказал только одному человеку — моей подруге, которая неожиданно приехала ко мне на часок. Она мечтает познакомиться с вами, и я думаю, что вы сблизитесь, — она, как и вы, обожает литературу. Чтобы воссоздать в памяти наши беседы, чтобы вновь пережить незабвенные для меня часы, я отъединился от моих товарищей — они чудные ребята, но совершенно не способны это понять. В первый день моего пребывания здесь я даже предпочел воскресить для себя одно воспоминание о минутах, проведенных с вами, и не писать вам. Но я побоялся, что вы с вашей тонкой душевной организацией и сверхчувствительным сердцем всполошитесь, не получив от меня письма, если только ваши мысли уже не отвлеклись от лихого кавалериста, над которым вам еще предстоит как следует потрудиться, чтобы обтесать его, чтобы он стал тоньше и достойнее вас».

В сущности, это письмо очень напоминало своей ласковостью те, что Сен-Лу писал мне в моем воображении, когда я еще с ним не был знаком, в том мире грез, откуда меня вывела первая наша с ним встреча, поставив меня перед лицом леденящей действительности, в которой должна была, однако, произойти перемена. После первого письма я каждый раз, когда во время завтрака приносили почту, мгновенно узнавал его письма, потому что у них всегда было то второе лицо, которое человек показывает, когда его нет, и в чертах которого (в почерке) нам так же легко уловить индивидуальность, как в строении носа или в переливах голоса.

Я теперь с удовольствием засиживался за столом пока убирали посуду, и если это было не в то время, когда могла пройти стайка девушек, смотрел не только на море. После того, как Эльстир показал мне свои акварели, мой взгляд начали притягивать к себе те же явления и в живой жизни; я увидел

поэзию в прерванном мелькании ножей, все еще косо лежавших на столе, в выпуклой округлости брошенной салфетки, в которую солнце вшивает клин желтого бархата, в стакане, в котором именно потому, что он не допит, яснее видно изящество, с каким он расширяется кверху, а на дне его, за прозрачным стеклом, словно за сгустком дневного света, немного вина, темного, но искрящегося, в смещении объемов, в жидкостях, отблескивающих в зависимости от того, как падает на них свет, в сливах, остававшихся в полупустой компотнице, с их переходами из цвета в цвет: из зеленого в синий, а из синего в золотой, в прогуливании стареньких стульев, дважды в день расставлявшихся вокруг скатерти, покрывавшей стол, словно алтарь, на котором приносились жертвы в праздники чревоугодия и на котором, в глубине устричных раковин, оставались капли святой воды, точно в маленьких каменных кропильницах; я старался найти красоту там, где раньше мне и в голову не пришло бы ее искать, — в обиходных предметах, в глубине «натюрмортов».

Несколько дней спустя после отъезда Сен-Лу я упросил Эльстира позвать днем гостей, в том числе — Альбертину, и вдруг мне стало жаль, что привлекательностью и элегантностью, которые кое-кому бросились в глаза, когда я выходил из Гранд-отеля (и которых я достиг благодаря тому, что долго отдыхал и потратился на туалет), я не могу воспользоваться (как и влиянием Эльстира) для победы над более интересной особой; мне было жаль, что все это я промотаю только ради удовольствия познакомиться с Альбертиной. С тех пор, как я убедился, что это удовольствие от меня не уйдет, мое благоразумие давало ему не очень высокую цену. Но зато моя воля ни на одну секунду не поддавалась самообману, ибо воля — это назойливый и несменяемый слуга чередующихся в нас личностей, держащийся в тени, презираемый, бесконечно преданный, не считающийся с изменениями нашего «я» и работающий без устали, чтобы наше «я» не терпело недостатка в необходимом. Если в то мгновенье, когда мы собираемся пуститься в долгожданное путешествие, ум и чувство задают себе вопрос: а стоит ли его предпринимать? — воля, знающая, что эти бездельники сейчас же начнут расхваливать путешествие, как только вообразят, что оно не состоится, воля не препятствует им совещаться у вокзала, все больше и больше сомневаться, — она в это время покупает билеты и перед отходом поезда сажает нас в вагон. Она настолько же тверда, насколько изменчивы ум и чувство, но так как она молчалива и не любит вступать в споры, то кажется, что ее как бы и нет; ее бесповоротным решениям подчиняются другие части нашего «я», но подчиняются незаметно для себя, а вот их колебания им видны отчетливо. Итак, мое

чувство и ум вступили в пререкания относительно ценности удовольствия, какое может доставить знакомство с Альбертиной, а тем временем я рассматривал в зеркале тщеславные и непрочные прикрасы, которые уму и чувству хотелось приберечь для другого случая. Но моя воля не пропустила часа, когда надо было ехать, и сообщила кучеру адрес Эльстира. Жребий был брошен, и теперь ум и чувство могли сколько угодно жалеть о случившемся. Если бы моя воля дала другой адрес, они остались бы в дураках.

Когда я вошел к Эльстиру, мне сначала показалось, что мадмуазель Симоне в мастерской нет. Здесь сидела девушка в шелковом платье, без шляпы, но чудные волосы, нос, цвет лица — все это было мне незнакомо и никак не связывалось в моем представлении с юной велосипедисткой в шапочке, которую я встречал на взморье. И все-таки это была Альбертина. Но даже когда я ее узнал, я не обращал на нее внимания. В молодости мы, попадая в многолюдное общество, перестаем жить для себя, мы становимся другими, оттого что любой салон есть некая новая вселенная, где, по законам иной моральной перспективы, мы разглядываем людей, смотрим на танцы, следим за карточной игрой так, словно во всем этом заключается смысл нашей жизни, а между тем мы завтра же все это забудем. Путь к разговору с Альбертиной, намеченный совсем не мной, привел меня сначала к Эльстиру, потом протянулся мимо гостей, которым меня представили, затем прошел через буфет, где я ел пирожки с земляничным вареньем и, стоя, слушал музыку, и эти эпизоды оказались для меня не менее важными, чем мое знакомство с мадмуазель Симоне, на которое я теперь смотрел только как на один из эпизодов, а ведь всего лишь несколько минут назад это составляло единственную цель моего* приезда к Эльстиру, о чем я теперь начисто забыл. А впрочем, не то же ли случается в жизни активной с нашим подлинным счастьем, с нашим большим несчастьем? Мы получаем при ком-нибудь ответ от нашей любимой — ответ благоприятный или смертоносный, которого мы ждали целый год. А нам нельзя прерывать разговор, мысли наплывают одна на другую, постепенно образуя плоскость, которой лишь время от времени едва касается мысль более глубокая, но очень узкая — мысль о постигшем нас несчастье. Если ж на нашу долю выпадет не несчастье, а счастье, то лишь несколько лет спустя нам может прийти на память, что величайшее событие в нашей внутренней жизни произошло в такой обстановке, где мы даже не успели остановить на нем внимание, почти не успели осмыслить его — например, в гостях, куда мы пошли в надежде, что там-то оно и случится.

Когда Эльстир позвал меня, чтобы познакомить с Альбертиной, сидевшей поодаль, я доел кофейный эклер, а затем с неподдельным интересом начал расспрашивать о нормандских ярмарках господина почтенных лет, с которым я только что познакомился и который любовался розой у меня в петлице, почему я и счел долгом подарить эту розу ему. Затем последовало знакомство с Альбертиной, и оно доставило мне известное удовольствие и повысило меня в моих глазах. Удовольствие я, конечно, испытал позднее, когда вернулся в отель и опять стал самим собой. Удовольствия — это все равно что фотографии. То, что мы воспринимаем в присутствии любимого существа, — это всего лишь негатив, проявляем же мы его потом, у себя дома, когда обретаем внутреннюю темную комнату, куда при посторонних «вход воспрещен».

Сознание удовольствия запоздало на несколько часов, зато важность для меня этого знакомства я ощутил тотчас же. В самый момент знакомства мы, конечно, чувствуем себя так, как будто нас наградили, чувствуем себя обладателями чека на будущие удовольствия, которого мы добивались давно, и вместе с тем мы понимаем, что получение чека означает для нас конец не одним лишь тягостным поискам, — это могло бы нас только обрадовать, — но и конец жизни существа, того, которое наше воображение исказило, того, которое возвысил наш мучительный страх, что это существо так нас и не узнает. В тот момент, когда представляющий нас произносит наше имя, — особенно если он, подобно Эльстиру, расхваливает нас, — в этот волшебный миг, сходный с тем мгновеньем из феерии, когда дух повелевает одному из действующих лиц внезапно преобразиться в другое, та, к которой мы жаждали приблизиться, исчезает; да и может ли она остаться прежней, коль скоро — из-за того, что незнакомке приходится обратить внимание на наше имя и на нас самих, — в ее бесконечно далеких глазах (а мы-то думали, что наши глаза, блуждающие, не слушающиеся нас, полные отчаяния, разбегающиеся, никогда с ними не встретятся!) сознательный взгляд, непознаваемая мысль, которых мы искали в них, чудесным образом и очень просто заменяются нашим изображением, нарисованным словно в глубине улыбающегося нам зеркала! Наше воплощение в то, что представлялось нам резко от нас отличающимся, больше всего изменяет сущность той, с кем нас сейчас познакомили, и только внешний ее облик пока остается довольно туманным; и мы вправе спросить себя, во что она превратится: в божество, в стол или в таз. Но, такие же быстрые, как восколеи, у нас на глазах в пять минут вылепливающие бюст, слова, сказанные нам незнакомкой, обрисуют ее облик и придадут ему законченный вид, который поставит крест на

всевозможных догадках, еще накануне строившихся нашим влечением и нашей фантазией. Конечно, еще до этой утренней встречи Альбертина не была для меня только способным занять все наши мысли призраком, каким остается для нас случайно встретившаяся женщина, о. которой мы ничего не знаем, которую мы даже как следует не рассмотрели. Уже ее родство с г-жой Бонтан сузило баснословные эти догадки, затемнив одно из направлений, в каких они могли бы развиваться. По мере того как я сближался с этой девушкой и узнавал ее, познание ее осуществлялось посредством исключения: то, что было сотворено моей фантазией и влечением, заменялось понятием гораздо меньшей ценности, впрочем, пополнявшимся в действительности чем-то вроде того, что выплачивают акционерные общества после внесения паевого взноса и что они называют процентами. Ее фамилия, ее родственные связи — вот что прежде всего ввело в рамки мои предположения. Любезность, проявлявшаяся ею, между тем как я рассматривал вблизи родинку у нее под глазом, поставила им еще один предел; наконец, меня удивило, что она употребляет наречие «вполне» вместо «совершенно»: так, говоря об одной женщине, Альбертина сказала:

«Она вполне сумасшедшая, но все-таки очень мила», а о мужчине: «Он вполне зауряден и вполне несносен». Хотя такое употребление «вполне» мало приятно для слуха, все же оно свидетельствует об уровне цивилизации и культуры, какого я не ожидал встретить у вакханки с велосипедом, у оргийной музы гольфа. За этой первой метаморфозой последовал, однако, ряд других. Достоинства и недостатки человека, размещенные на переднем плане его лица, располагаются в совершенно ином порядке, если мы подойдем к нему с другой стороны, — так, если взглянуть с другой точки на выстроившиеся в ряд городские здания, то они эшелонируются и меняют свою относительную величину. Вначале мне показалось, что Альбертина не самонадеянна, а, наоборот, довольно застенчива; она произвела на меня впечатление скорее благовоспитанной — о всех девушках, о которых я с ней заговаривал, она отзывалась так: «У нее скверный пошиб», «у нее странный пошиб»; наконец, сейчас в ее лице притягивал к себе внимание висок, багровый и довольно неприятный, а не тот особенный взгляд, который я все время вспоминал до сегодняшней встречи. Но это мне показался второй ее лик, и только, а потом, конечно, должны были открыться другие. Таким образом, лишь обнаружив чутьем ошибки в нашем первом зрительном впечатлении, можно составить себе точное представление о каком-нибудь существе, если только, впрочем, это достижимо. Но это не достижимо; пока мы вносим поправки в наше восприятие, существо, поскольку это не бездействующая мишень, само, в

свою очередь, меняется, мы пытаемся за ним угнаться, оно перебегает с места на место, и когда мы наконец видим его яснее, это значит, что мы вернулись к прежним его изображениям, которые нам удалось прояснить, но которые уже на него не похожи.

И тем не менее, какие бы неизбежные разочарования ни приносил нам поход на то, что только промелькнуло мимо нас, что потом на досуге воспроизводило наше воображение, только этот поход целителен для наших чувств, только он не дает их порыву утихнуть. До чего тускла и скучна жизнь ленивых или застенчивых людей, которые едут в экипаже прямо к своим друзьям, о ком они до знакомства с ними никогда и не думали, и ни разу не осмелятся остановиться по дороге возле того, что их манит!

На возвратном пути я вспоминал утро у Эльстира и снова видел, как я доедаю эклер и только потом иду к Эльстиру, а он подводит меня к Альбертине, как я дарю розу господину почтенных лет, видел все подробности, которые отбираются помимо нас, в силу известных обстоятельств, и которые, образуя неповторимое, безыскусственное сочетание, вместе составляют картину первой встречи. Но у меня создалось впечатление, что на эту же картину я смотрю под другим углом зрения, издалека-издалека, — создалось в тот момент, когда я убедился, что она существовала не для меня одного, убедился же я в этом, к великому моему изумлению, несколько месяцев спустя, когда заговорил с Альбертиной о том, как состоялось наше знакомство, и она напомнила мне об эклере, о подаренном мною цветке, обо всем, что не то чтобы имело значение для меня одного, но что, как я полагал, видел только я и, однако, неожиданно для меня в особой записи сохранила память Альбертины. Уже в день первого знакомства, когда, вернувшись к себе, я смог охватить взглядом принесенное с собой воспоминание, я понял, как отлично удался фокус, понял, что разговаривал с девушкой, которая, благодаря ловкости фокусника ничего общего не имея с той, за кем я так долго следил на берегу моря, подменила ее. Впрочем, я должен был бы это предвидеть, — ведь девушка с пляжа была мною выдумана. Тем не менее, раз я в беседах с Эльстиром отождествлял ее с Альбертиной, я сознавал свой нравственный долг перед ней — быть верным в любви к Альбертине воображаемой. Пусть помолвка совершена заочно — все равно мужчина обязан жениться на той, кого ему высватали. К тому же, несмотря на то, что мою душу покинула — пусть хоть на время — тоска, усмиренная воспоминанием о благовоспитанности девушки, об ее выражении: «вполне заурядный» и о багровом виске, это же самое воспоминание будило во мне другое чувство

— чувство, правда, нежное и ничуть не мучительное, близкое к братскому, но со временем могшее стать не менее опасным, ибо оно поминутно рождало бы во мне потребность поцеловать эту новую девушку, хорошие манеры, застенчивость и для меня неожиданная незанятость которой останавливали бесполезный полет моего воображения и вызывали у меня по отношению к ней умиленную благодарность. Да и потом, поскольку память, тотчас начиная проявлять негативы, существующие совершенно независимо, нарушает всякую связь между сценами, нарушает ход событий, изображенных на негативах, то последний из показываемых ею не уничтожает предшествующих. Рядом с обыкновенной, трогательной Альбертиной, с которой я разговаривал, я видел таинственную Альбертину у моря. Теперь это были воспоминания, то есть портреты, каждый из которых казался мне не более похожим, чем другой. Прежде чем покончить с нашим первым знакомством, я хочу еще только отметить, что, когда Альбертина ушла из мастерской Эльстира, я, пытаясь вообразить родинку у нее под глазом, видел эту родинку у нее на подбородке. Вообще, когда я потом виделся с Альбертиной, я всякий раз замечал эту родинку, но моя блуждающая память водила ею потом по лицу Альбертины и помещала то здесь, то там.

Обманувшая мои ожидания бальбекская церковь не убила во мне мечты о поездке в Кемперле, в Понтавен и в Венецию, и точно так же, несмотря на разочарование, постигшее меня, едва я обнаружил, что мадмуазель Симоне очень мало отличается от других девушек, я утешал себя, что, по крайней мере, — пусть сама Альбертина не оправдала моих надежд, — благодаря ей я могу свести знакомство с ее подружками из стайки.

Первое время я все же в этом сомневался. До ее отъезда оставалось еще много времени, до моего тоже, и потому я счел за благо не стараться попасться ей на глаза, а ждать случая. Но у меня возникли большие опасения, что даже при ежедневных встречах она будет отделываться ответом на мой поклон издали, и тогда этот случай, хотя бы он и представлялся мне каждый день, ничего мне не даст.

Вскоре, дождливым и прохладным утром, меня остановила на набережной девушка в шапочке и с муфтой, до такой степени непохожая на ту, которую я видел у Эльстира, что казалось просто немыслимым признать ее за одно и то же лицо; все-таки мне это удалось, но в первую секунду я растерялся, и эта моя растерянность, должно быть, не укрылась от взгляда Альбертины. Я вспомнил ее «хорошие манеры», которыми она меня так поразила у Эльстира, и поэтому сейчас меня особенно удивили грубый ее

тон и замашки стайки. Да и висок уже не являлся центром внимания и не ручался за то, что это Альбертина, — то ли потому, что я смотрел на нее с другой стороны, то ли потому, что его прикрывала шапочка, то ли потому, что он не всегда был багров. «Ну и погода! — сказала она. — Нескончаемое бальбекское лето — все это одни разговоры. Вы здесь ничем не занимаетесь? Вас не видно ни на гольфе, ни на вечерах в казино; и верхом вы не ездите. Скучища смертная! Вы не находите, что можно одуреть, если проводить все время на пляже? Я вижу, вы любите греться на солнышке. Но ведь времени-то у вас свободного много. У нас с вами вкусы разные — я обожаю все виды спорта! Вы не были на соньских скачках? Мы туда ездили на траме. Вам бы поездка на таком драндулете удовольствия не доставила, в этом я не сомневаюсь! Мы тряслись два часа! За это время я бы на своем вело три раза туда и обратно скатала». Когда Сен-Лу называл местный поезд «кривулей» за то, что он все время извивался, то меня восхищала естественность, с какой он произносил это слово, от легкости же, с какой Альбертина выговаривала «трам» и «драндулет», я робел. Она была мастерицей по части подобного рода наименований, и я боялся, как бы она не заметила, что я — то по этой части слаб, и не стала меня презирать. А ведь я еще понятия не имел о том, каким богатством синонимов располагает стайка для наименования этой железной дороги. Когда Альбертина с кем-нибудь беседовала, то голова у нее оставалась неподвижной, ноздри же раздувались, а губы она только чуть вытягивала. Вот почему она говорила медленно и в нос, и произношение это, быть может, частично перешло к ней по наследству от ее предков-провинциалов, отчасти объяснялось ребяческой игрой под английскую флегму, отчасти — влиянием уроков учительницы-иностранки и, наконец, насморком. Эта особенность в произношении, которая, однако, пропадала, как только Альбертина сближалась с человеком и к ней возвращалась ее детская непринужденность, могла оттолкнуть от нее. Но она была своеобразна и этим пленяла меня. Если я несколько дней подряд не встречался с Альбертиной, я, волнуясь, повторял: «Вас совсем не видно на гольфе», — с тем же носовым произношением с каким она тогда проговорила эти слова, держась прямо и не двигая головой. И в такие минуты мне казалось, что нет на свете никого прелестнее ее.

Мы с ней составляли в это утро одну из тех пар, скопления и стоянки которых усеивают набережную, одну из тех пар, которым нужны эти встречи, только чтобы обменяться двумя-тремя словами, и которые потом расходятся в разные стороны и идут гулять дальше. Я воспользовался этой остановкой, чтобы посмотреть и установить окончательно, где же все-таки

находится родинка. И вот, подобно фразе из сонаты Вентейля, которая привела меня в восторг и которая по воле моего воспоминания скиталась между анданте и финалом до тех пор, пока однажды в моих руках не оказались ноты и я ее не нашел и не закрепил для нее в моей памяти место в скерцо, родинка, представлявшаяся мне то на щеке, то на подбородке, теперь навсегда остановилась на верхней губе, под носом. Вот еще так же мы с удивлением обнаруживаем стихи, которые знаем наизусть, в произведении, где мы никак не ожидали их отыскать.

В этот миг, как бы для того, чтобы у самого моря мог развернуть все многообразие своих форм роскошный ансамбль, какой представляло собою красивое шествие девушек, и золотистых и розовых, обожженных солнцем и ветром, подруги Альбертины, все до одной — с прелестными ножками, с гибким станом, и вместе с тем такие разные, идя нам навстречу, построились в ряд параллельно морю. Я попросил у Альбертины разрешения проводить ее. К сожалению, она ограничилась тем, что в знак приветствия махнула им рукой. «Ваши подружки будут недовольны, что вы не с ними», — в надежде, что мы пройдемся вместе, заметил я.

К нам подошел молодой человек с правильными чертами лица; в руке он держал ракетки. Это был игрок в баккара, чьи безумства возмущали судейшу. С холодным, безучастным видом, который для него, должно быть, являлся знаком наивысшей изысканности, он поздоровался с Альбертиной. «Вы с гольфа. Октав? — спросила она. — Ну как дела, вы были в форме?» —. «А, надоело! Все время мазал», — ответил он. «Андре была?» — «Да, у нее семьдесят семь». — «О, это рекорд!» — «Вчера у меня было восемьдесят два». Молодой человек был сыном очень богатого промышленника, которому предстояло играть довольно видную роль в организации Всемирной выставки. Меня поразило в Октаве, как и в других весьма немногочисленных приятелях девушек, вот что: знание всего, относящегося к одежде, манере держаться, сигарам, английским напиткам, лошадям, изученного ими до мельчайших подробностей, — так что рассуждали они об этом с горделивой непогрешимостью, переходившей в немногословную скромность ученого, — накапливалось у них обособленно, в отрыве от какой бы то ни было духовной культуры. У этого молодого человека не могло быть никаких колебаний насчет того, когда приличия позволяют надевать смокинг, а когда — пижаму, но он понятия не имел, в каком случае можно употребить такое-то слово, а в каком — нельзя, он не знал элементарных правил французской грамматики. Эта несогласованность двух культур, вероятно, была и у его отца, председателя Союза бальбекских домовладельцев, — в обращении к избирателям,

расклеенном на всех стенах, он писал: «Я хотел видеть мэра, чтобы с ним об этом поговорить, он не хотел слышать мои справедливые жалобы». Октав получал призы в казино за все танцы: за бостон, танго и т д., и это дало бы ему возможность, если бы он только захотел, найти себе завидную невесту на «морских купаньях», где не в переносном, а в буквальном смысле девушка отдает руку «кавалеру». Молодой человек закурил сигару, прежде спросив Альбертину: «Вы позволите?» — так, как просят разрешения — не прерывая разговора, кончить срочную работу. Он не мог «ничего не делать», хотя никогда ничего не делал. Полная бездеятельность влечет за собой в конце концов те же самые последствия, что и непосильная работа, — как в области духа, так равно и в области тела, в области мускулов, — вот почему постоянная умственная пустота, которую прикрывал задумчивый лоб Октава, в конце концов, хотя внешне Октав был все так же спокоен, начала вызывать у него бесплодный зуд мысли, не дававший ему спать по ночам, как это бывает с переутомившимися метафизиками.

Полагая, что, будь я знаком с их приятелями, я бы чаще виделся с девушками, я уж было хотел попросить Альбертину представить меня Октаву. Как только он ушел, все повторяя: «Продулся», — я сказал об этом Альбертине. Я надеялся, что она это сделает в следующий раз. «Вот еще, стану я вас знакомить с пшютом! Здесь полно пшютов. Но им не о чем с вами разговаривать. Этот очень хорошо играет в гольф, но и только». Я знаю: он не в вашем вкусе». — «Ваши подружки буду? недовольны, что вы не с ними», — в надежде, что она предложит мне догнать их, заметил я. «Да нет же, они прекрасно обойдутся без меня». Навстречу нам шел Блок — он лукаво и многозначительно улыбнулся мне, а затем, почувствовав себя неловко, так как не знал Альбертину или «знал, но не был знаком», церемонно и неприветливо наклонил голову. «Кто этот хам? — спросила Альбертина. — С какой стати он мне кланяется? Ведь я же с ним незнакома. Я ему и не ответила на поклон». Я ничего не успел сказать Альбертине, потому что Блок направился к нам. «Извини, — сказал он, — я хотел только тебе сообщить, что завтра я еду в Донсьер. Задерживаться еще было бы просто невежливо — что бы Сен-Лу-ан-Бре обо мне подумал! Имей в виду, что я еду с двухчасовым. Всех благ». Но я думал только о том, как бы опять увидеться с Альбертиной и познакомиться с ее подругами, мне казалось, что Донсьер, куда они не ездили и откуда я вернулся бы после того, как они уходили с пляжа, — это где-то на краю света. Я сказал Блоку, что не поеду. «Ну что ж, я поеду один. Воспользуюсь двумя глупейшими александрийскими стишками господина Аруэ и скажу Сен-Лу,

чтобы польстить его клерикализму:

Я слова данного держусь верней тебя:

Забудешь ты свой долг — его исполню я».

«Должна сознаться, что он довольно красивый малый, — сказала о Блоке Альбертина, — но до чего же противный!» Я не считал Блока красивым малым, но он был действительно красив. Лоб у него был довольно выпуклый, нос орлиный, выражение крайне насмешливое и уверенное в том, что оно насмешливое, словом, лицо приятное. Но Альбертине он нравиться не мог. Впрочем, быть может, это зависело от ее дурных черт: жестокости, нечуткости, свойственной всей стайке в целом, грубости со всеми окружающими. Но и потом, когда я их познакомил, неприязнь Альбертины не уменьшилась. Блок вышел из той среды, где между подтруниваньем над светом и почтением к хорошим манерам, которые непременно должны быть у человека, «моющего руки», возникло нечто среднее, отличавшееся от светских приличий и в то же время являвшее собой особенно омерзительный род светскости. Когда Блока с кем-нибудь знакомили, он кланялся, скептически улыбаясь и одновременно изъявляя преувеличенную почтительность, и, если это был мужчина, говорил: «Очень рад», — тоном, в котором слышалась издевка над этими словами и вместе с тем сознание, что таким тоном не может говорить какой-нибудь подонок. Первое мгновение Блок посвящал обычаю, который он соблюдал и над которым сам же смеялся (таким же тоном он поздравлял первого января: «С Новым годом, с новым счастьем»), а затем с хитрым и лукавым видом «говорил тонкие вещи», в которых часто было много справедливого, но которые «действовали на нервы» Альбертине. Когда, при первой встрече, я сказал ей, что его фамилия — Блок, она воскликнула: «Я готова была держать пари, что это жидюга! Что-что, а фасон давить — это они умеют». Впрочем, ютом в Блоке раздражало Альбертину еще и другое. Как многие интеллигенты, он не умел говорить просто о простых вещах. Для каждой простой вещи он подбирал изысканное выражение, а затем обобщал. Это надоедало Альбертине — она не очень любила, чтобы кто-нибудь следил за тем, что она делает, и Блок не доставил ей удовольствия, когда, заметив, что она, подвернув ногу, сидит неподвижно, изрек: «Она возлежит на шезлонге, но, в силу своей веэдесущности, одновременно играет то в нечто, именуемое гольфом, то во что-нибудь вроде тенниса». Это была всего лишь «литература», но Альбертина вообразила, что из-за этого у нее могут выйти неприятности с теми, кто ее звал и с кем она не пошла, потому что, по ее словам, она не могла двигаться, и этого была достаточно, чтобы ей стали противны лицо и самый звук голоса молодого

человека, который так выразился. Мы с Альбертиной простились, порешив на том, что как-нибудь погуляем. Я говорил с ней, не сознавая, куда падают мои слова и во что они превращаются, — я словно бросал камни в бездонную пропасть. Вообще тот, к кому обращены наши слова, наполняет их содержанием, которое он извлекает из своей сущности и которое резко отличается от того, какое вложили в эти же самые слова мы, — с этим фактом мы постоянно сталкиваемся в жизни. Но если вдобавок мы имеем дело с человеком, воспитание которого (как воспитание Альбертины для меня) является для нас загадкой, чьи склонности, круг чтения и взгляды нам неизвестны, то мы не знаем, будет ли в нем на наши слова отклик более сочувственный, чем в животном, которому все-таки можно что-нибудь втолковать. Таким образом, сделать попытку подружиться с Альбертиной означало для меня то же, что прикоснуться к неведомому, если не к невозможному, это было для меня занятие такое же нелегкое, как объездка лошади, и такое же успокоительное, как уход за пчелами или выращиванье роз.

Я был уверен всего лишь несколько часов назад, что Альбертина ответит на мой поклон издали. Прощаясь, мы строили планы совместной прогулки. Я дал себе слово, что когда опять встречусь с Альбертиной, то буду смелее, и заранее обдумал все, что я ей скажу и даже (ведь теперь я был убежден в ее легкомыслии) каких ласк я стану у нее добиваться. Но ум так же подвержен влияниям, как растение, как клетка, как химические элементы, а средой, меняющей его, когда он в нее погружается, служат обстоятельства, новое окружение. Когда я снова встретился с Альбертиной, то под влиянием перемены, происшедшей во мне только оттого, что я был с ней, я сказал ей совсем не то, что собирался сказать. Потом, вспоминая багровый висок Альбертины, я спрашивал себя: не выше ли она оценит какую-нибудь любезность, которую она восприняла бы как бескорыстную? Наконец, временами меня смущали ее взгляды, ее улыбки. Они могли свидетельствовать и о ветрености, и о глуповатой веселости в сущности порядочной резвушки. Одно и то же выражение лица, одно и то же выражение, которое она употребляла в разговоре, допускало различные толкования; я отступал перед всем этим, как отступает ученик перед трудностями перевода с греческого.

На этот раз мы почти сейчас же встретили высокую Андре, перепрыгнувшую через председателя. Альбертине пришлось представить меня ей. Глаза у ее подруги были необычайно светлые, словно дверной проем из темного помещения в комнату, освещенную солнцем и зеленоватым отблеском искрящегося моря.

Прошли мимо пятеро мужчин, которых я хорошо запомнил в первые же дни моей жизни в Бальбеке. Я часто задавал себе вопрос, что это за люди. «Господа не из шикарных, — презрительно усмехаясь, заметила Альбертина. — Старичок в желтых перчатках, этакий мышиный жеребчик, вид хоть куда, правда? — это бальбекский зубной врач, славный человечек; толстяк-это мэр, только не карапуз, того вы, наверно, видели, он — учитель танцев, тоже противный тип, он нас терпеть не может, потому что мы очень шумим в казино, ломаем стулья, не желаем танцевать на ковре, и за это он никогда не дает нам приза, хотя здесь только мы и умеем танцевать. Зубной врач — милый человек, я бы с ним поздоровалась, чтобы позлить учителя танцев, но не могу: с ними де Сент-Круа, генеральный советник, — из очень хорошей семьи, но ради денег перешел на сторону республиканцев: ни один порядочный человек с ним не здоровается. Мой дядя и он входят в правительство, а другие мои родственники от него отвернулись. Худой, в непромокаемом плаще, это — капельмейстер. Как, разве вы его не знаете? Дирижирует он божественно. Вы, не слушали „Cavaleria Rusticana“? По-моему, идеально! Вечером он дает концерт, но мы не пойдем, потому что это в зале мэрии. В казино-то ладно, но вот если мы пойдем в залу мэрии, откуда убрали распятие, мать Андре хватит удар. Вы можете мне возразить, что муж моей тети тоже в правительстве. Но тут уж ничего не поделаешь. Тетя есть тетя. Не за это же я ее люблю! У нее всегда было только одно желание — как бы от меня отделаться. Действительно заменила мне мать, — и это ее двойная заслуга, потому что она мне никто, — моя подруга, и люблю я ее как родную мать. Я вам покажу ее карточку». К нам подошел чемпион по гольфу и игрок в баккара Октав. Я подумал, что у меня с ним найдется о чем поговорить, так как выяснил из разговора, что он дальний родственник и к тому же любимчик Вердюренов. Но Октав с презрением относился к знаменитым средам и, кроме того, заметил, что Вердюрен не имеет понятия, когда полагается надевать смокинг и что поэтому с ним неудобно встречаться в некоторых «мюзик-холлах», где не так-то приятно слышать: «Здравствуй, пострел!» — из уст господина в пиджаке и черном галстуке, как у сельского нотариуса. Потом Октав с нами расстался, а вслед за ним и Андре — дойдя до своего домика, она туда вошла, за всю дорогу не проронив ни единого слова. Я особенно пожалел, что она ушла, потому что, когда я заговорил с Альбертиной о том, как ее подруга была со мной холодна, и мысленно сопоставлял трудности, должно быть мешавшие Аль-' бертине сдружить меня и своих приятельниц, и враждебность, с которой, исполняя мое желание, в первый же день, по-видимому, столкнулся Эльстир, мимо прошли девицы д'Амбрезак, и я и

Альбертина им поклонились.

Я вообразил, что знакомство с д'Амбрезак повысит меня в глазах Альбертины. Это были дочери родственницы маркизы де Вильпаризи, дочери знакомой принцессы Люксембургской. Владельцы небольшой виллы в Бальбеке, г-н и г-жа д'Амбрезак были страшнейшие богачи, но вели очень скромную жизнь, муж всегда ходил в одном и том же пиджаке, жена — в темном платье. Оба почтительнейше здоровались с моей бабушкой, но ничего этим не добивались. Дочки, очень красивые, одевались в высшей степени элегантно, но элегантность эта была городская, а не пляжная. В длинных платьях, в больших шляпах, они казались существами не той породы, что Альбертина. Она отлично знала, кто они такие. «А, вы знакомы с малышками д'Амбрезак? Значит, у вас очень шикарные знакомства. Впрочем, они очень простые, — поспешила добавить она, как будто в этом заключалось некоторое противоречие. — Они очень милы, но уж до того строго воспитаны, что их не пускают в казино, главным образом из-за нас, оттого что у нас чересчур дурной тон. Они вам нравятся? Ну, это как на чей вкус. Ни дать ни взять беленькие гусенята. В этом, наверно, есть своя прелесть. Если вы любите беленьких гусенят, то лучшего вам и желать нечего. Очевидно, они могут нравиться, раз одна из них — невеста Сен-Лу. И это большое горе для младшей — она была влюблена в этого молодого человека. Меня раздражает уже одно то, как они говорят — еле шевеля губами. И потом, они смешно одеваются. Они ходят играть в гольф в шелковых платьях. В их годы они одеваются претенциознее, чем пожилые женщины, которые знают толк в туалетах. Вот жена Эльстира — это действительно элегантная женщина». Я на это возразил, что, по-моему, она одевается удивительно просто. Альбертина засмеялась. «Одевается она очень просто, это правда, но изумительно и, чтобы достичь того, что вы называете простотой, тратит бешеные деньги». Туалеты г-жи Эльстир не задерживали на себе внимания тех, кто не отличался в этой области определенным и строгим вкусом. У меня такого вкуса не было. Эльстир, по словам Альбертины, отличался вкусом безукоризненным. Я об этом не подозревал, равно как и о том, что каждая изящная, но простая вещь у него в мастерской являла собою чудо, о котором он раньше мечтал, за которым гонялся по аукционам, всю историю которого он изучал до того дня, когда, заработав нужную сумму, он наконец получал возможность приобрести его. Но о вещах Альбертина, такая же невежественная, как я, ничего не могла мне сообщить. Зато, движимая инстинктом кокетки и, может быть, сожалением бедной девушки, которая бескорыстнее и тоньше ценит у богатых то, во что она сама не сможет

нарядиться, Альбертина много говорила мне о том, как хорошо разбирается Эльстир в костюмах, до чего он придирчив: каждая женщина кажется ему плохо одетой, о том, что для него в каждом предмете, в каждом оттенке заключен целый мир, а потому он заказывает для жены, платя бешеные деньги, шляпки, зонтики, манто, красоту которых он научил понимать Альбертину и на которые человек, лишенный вкуса, обратил бы столько же внимания, сколько я. Впрочем, Альбертина, занимавшаяся немного живописью, хотя и не питала к ней, по ее же собственному признанию, ни малейшей «склонности», вообще была без ума от Эльстира и, благодаря тому, что он много рассказывал ей и показывал, научилась разбираться в картинах, что не вязалось с ее восторгом от «Cavaleria Rusticana». Ведь на самом деле, хотя это пока еще не очень проявлялось, она была удивительно умна, а в тех глупостях, какие она говорила, была повинна не она, а ее среда и возраст. Эльстир оказывал на нее влияние благотворное, но ограниченное. Умственное ее развитие не было всесторонним. Ее вкус в живописи почти догнал вкус в области костюма и во всех формах изящного, музыкальный же ее вкус намного отстал.

Альбертина прекрасно знала, кто такие Амбрезак, но ведь человек, обладающий чем-то большим, далеко не всегда может благодаря этому добиться чего-то меньшего, — вот почему, даже после того как я поздоровался с девушками, Альбертина по-прежнему не выказала желания знакомить меня с подругами: «Вы слишком высокого о них мнения. Не думайте о них — они ничего собой не представляют. Что может найти в этих девчонках такой человек, как вы? Андре, по крайней мере, на редкость умна. Это хорошая девочка, хотя форменная чудачка, а другие, откровенно говоря, очень глупы». Как только я простился с Альбертиной, мне вдруг стало очень больно, что Сен-Лу скрыл от меня свою помолвку и так плохо поступил: посватался, не порвав с возлюбленной. Несколько дней спустя я все же был представлен Андре, она говорила со мной довольно долго, это придало мне смелости, и я предложил ей встретиться завтра, но она решительно отказалась, потому что ее мать больна и она боится оставлять ее одну. Два дня спустя Эльстир, к которому я зашел, сказал, что я очень понравился Андре; я ему на это возразил: «Да ведь и она мне понравилась в первый же день, а когда я предложил ей встретиться завтра, она отказалась». — «Да, я знаю, она мне говорила, — сказал Эльстир, — она очень жалела, но ее пригласили на пикник за десять миль отсюда, она должна была поехать туда в бреке, и ей уже нельзя было перерешить». Так как мы с Андре были еще очень мало знакомы, то ее лжи не следовало придавать значение, но раз она все-таки оказалась способной на ложь, мне

нужно было с ней раззнакомиться. Люди, совершившие тот или иной поступок, повторяют его до бесконечности. Ходите каждый год на свидание с другом, который несколько раз не явился, оттого что был простужен, — он так все и будет простужаться, опять и опять не придет на свидание — и все по той же причине, хотя для него это будут причины разные, обусловленные обстоятельствами.

Однажды утром, после того как Андре отговорилась болезнью матери, я прошелся с Альбертиной, а приметил я ее, когда она подбрасывала на шнурке какой-то странный предмет, что заставляло вспомнить «Идолопоклонство» Джотто; называется он «чертиком» и давным-давно вышел из моды, так что перед портретом девушки с чертиком будущие комментаторы, чего доброго, заспорят, как перед аллегорической фигурой в Арене, что именно у нее в руке. Почти тотчас же подошла ее подруга, та, что казалась бедной и неприветливой и при первой нашей встрече так злобно смеялась над стариком, которого Андре задела легкими своими ножками: «Бедный старикашка, мне его жаль», подошла и сказала Альбертине: «Здравствуй! Я вам не помешаю?» В шляпе ей, по-видимому, было жарко, она сняла ее, и волосы девушки тонкой и нежной листвою какого-то неведомого, чудесного растения осенили ей лоб. Возможно, что Альбертине это не понравилось, — во всяком случае, она ничего ей не ответила, она хранила гробовое молчание, а та все не уходила, хотя Альбертина держала ее от меня на известном расстоянии, то идя рядом с ней, то идя рядом со мной, а она тогда шла сзади нас. Мне ничего иного не оставалось, как попросить Альбертину познакомить меня с этой девушкой. Когда же Альбертина назвала мое имя, на лице и в синих глазах девушки, которая показалась мне такой жестокой в ту минуту, когда она проговорила: «Жаль старичишку», появилась и блеснула приветливая, дружелюбная улыбка, и она протянула мне руку. Волосы у нее были золотистые, но не только волосы, — хотя щеки у нее были розовые, а глаза синие, лицо ее было как утреннее, все еще багряное небо, где всюду прыщет и блестит золото. Загоревшись в то же мгновение, я решил, что в любви она робкое дитя, что это ради меня, из любви ко мне она осталась с нами, невзирая на невежливость Альбертины, и что теперь она, наверное, счастлива, раз ей удалось наконец улыбчивым и добрым взглядом дать мне понять, что она может быть со мной так же ласкова, как она бывает грозна с другими. Без сомнения, она заметила меня на пляже, когда я ее еще не знал, и с того дня думала обо мне; быть может, только для того, чтобы мне понравиться, она смеялась над стариканом, а потом, оттого что ей все не удавалось со мной познакомиться, вид у нее был неизменно мрачный. Из отеля я часто видел

ее по вечерам, как она гуляет по пляжу. Вероятно, в надежде встретиться со мной. А теперь, стесняясь Альбертины, так же как она стеснялась бы и всей стайки, она, очевидно, привязалась к нам, — невзирая на то, что ее подруга становилась все холоднее, — в чаянии остаться со мной вдвоем и уговориться о свидании в такой час, когда она сумеет ускользнуть от семьи и подруг и свидеться со мной в укромном месте до начала мессы или после гольфа. Встречаться с ней было особенно трудно потому, что Андре была с ней в плохих отношениях и ненавидела ее. «Я долго терпела ее дикую фальшь, ее подлость, бесконечные пакости, какие она мне делала, — сказала Андре. — Я все терпела ради других. Но последняя капля переполнила чашу моего терпения». И тут Андре рассказала мне, что эта девушка распустила про нее действительно нехорошую сплетню.

Но слова, которые обещал мне взгляд Жизели, слова, которые я бы услышал, как только Альбертина оставила бы нас вдвоем, не могли быть сказаны, потому что Альбертина упорно разъединяла нас, ответы ее становились все короче, потом она совсем перестала отвечать своей подруге, и та в конце концов ушла. Я упрекнул Альбертину в крайней неучтивости. «Вперед не будет такой навязчивой. Она девочка неплохая, но надоедливая. Всюду сует свой нос — Ну чего она к нам пристала, когда ее никто не звал? Я ее всегда отшиваю. И потом я терпеть не могу ее манеру ходить без шляпы — это дурной тон». Я смотрел на щеки Альбертины и думал, чем они пахнут, каковы они на вкус; сегодня они были не то чтобы свежи, но гладки, сплошь залиты лиловатым густым румянцем, — бывают такие, словно навощенные розы. Я залюбовался ими, как любуются цветами. «Я что-то не заметил», — возразил я. «Но вы так на нее смотрели — можно было подумать, что вы собираетесь написать ее портрет, — сказала Альбертина, не смягчившись тем, что сейчас я точно так же смотрел на нее. — Но только я не думаю, чтобы она могла вам понравиться. Она совсем не умеет флиртовать. А вы, наверное, любите флиртующих девушек. Так или иначе, в ближайшее время она уже не будет тут ни к кому приставать, а затем поневоле отлипать — скоро она возвращается в Париж». — «А другие ваши приятельницы тоже?» — «Нет, только она, она и мисс, у нее переэкзаменовка, придется бедной девке зубрить. Занятие не из веселых, смею вас уверить. Может попасться и хорошая тема. Случаи бывают разные. Одной моей подружке велели: „Расскажите о каком-нибудь несчастье, которое произошло у вас на глазах“. Вот это удача! Но одну девушку заставили ответить на вопрос (да еще письменно): „Кого бы вы хотели иметь своим другом — Альцеста или Филинта?“ Я бы засыпалась! Начнем с того, что такие вопросы девушкам все-таки не предлагают.

Девушки сходятся с девушками, и никто не может их заставить дружить с мужчинами. (От этой фразы, показавшей, что мне нечего особенно надеяться быть принятым в стайку, меня бросило в дрожь.) Но даже если задать такой вопрос молодому человеку, что бы вы на него ответили? Некоторые жаловались в „Голуа“ на трудность таких вопросов. Любопытно, что в сборнике лучших ученических сочинений, получивших премии, помещены два, в которых этот вопрос решается совершенно по-разному. Все зависит от экзаменатора. Одному хотелось, чтобы в сочинении было написано, что Филинт — льстец и обманщик, а другому — что хотя перед Альцестом нельзя не преклоняться, но что он брюзга и что, как друг, лучше Филинт. Ну как тут не запутаться несчастным ученицам, если учителя держатся разных взглядов? И это еще ничего! С каждым годом все трудней и трудней. Жизель непременно провалится, если только у нее нет связей».

Я вернулся в отель, бабушки не было, я долго ее ждал; когда она наконец пришла, я вымолил позволение отпустить меня на экскурсию, которая будет наилучшим образом обставлена и может продлиться два дня, позавтракал с бабушкой, нанял экипаж и поехал на вокзал. Я был уверен, что Жизель не удивится, встретив меня там; в Донсьере будет пересадка на парижский поезд, и там, в сквозном вагоне, когда мисс заснет, я уведу Жизель в какой-нибудь темный уголок и уговорюсь о свидании после моего возвращения в Париж, куда постараюсь как можно скорее вернуться. Я провожу ее до Кана или до Эвре, как ей захочется, и вернусь с первым же встречным поездом. А все-таки что бы она подумала, если б узнала, что я долго выбирал между ней и ее подругами, что так же, как в нее, я был влюблен в Альбертину, в девушку со светлыми глазами и в Розамунду? Теперь, когда взаимная любовь должна была связать меня с Жизелью, я испытывал угрызения совести. Впрочем, я мог сказать ей, положа руку на сердце, что Альбертина мне разонравнлась. Я видел утром, как она, почти повернувшись ко мне спиной, шла поговорить с Жизелью. Шла, недовольно опустив голову, и волосы у нее на затылке, чернее обычного, блестели так, словно она только-только вышла из воды. Я представил себе мокрую курицу, и волосы Альбертины показались мне воплощением другой ее души, не той, какую до сих пор воплощали лиловатое ее лицо и загадочное его выражение. Блестящие волосы на затылке — это все, что мой взгляд мог выхватить из ее облика в продолжение одного мгновенья, и только на них я и продолжал смотреть. Наша память похожа на витрины магазинов, где выставляется то одна, то другая фотография все того же лица. И обыкновенно самую последнюю не снимают дольше других. Кучер

погонял лошадь, а во внутреннем моем слухе звучали благодарные и нежные; слова Жизели, порожденные доброй ее улыбкой и рукопожатьем: ведь когда я не был влюблен, но хотел влюбиться, я не только носил в себе идеал зримой физической красоты, который я узнавал издали в каждой встречной на расстоянии, достаточном для того, чтобы неясные ее черты не воспротивились такому отождествлению, но и видение — всегда готовое воплотиться женщины, которая увлечется мной, станет играть со мной в пьесе на тему о любви — в пьесе, которая была у меня вся в голове еще в детстве и в которой, как это я себе представлял, пожелает играть любая милая девушка, если только ее внешность мало-мальски подойдет к роли. В этой пьесе, какова бы ни была новая «звезда», которую я молил создать новый образ или восстановить прежний, на перечне действующих лиц, на развитие действия, даже на тексте стояло: ne varietur.

Несколько дней спустя, хотя Альбертина не проявляла особенного желания представить нас друг Другу, я перезнакомился со всей стайкой в том полном составе, в каком она явилась передо мной при первой нашей встрече (за исключением Жизели, с которой из-за долгого стояния у шлагбаума и из-за перемены расписания я так и не увиделся в поезде, ушедшем за пять минут до моего приезда на вокзал, и о которой я к тому же и думать забыл) и еще кое с кем из их подруг, с которыми они по моей просьбе меня познакомили. И так как надежду на наслаждение, которого я ожидал от новой девушки, во мне пробудила другая, познакомившая меня с ней, то самая недавняя представляла собой как бы разновидность розы, полученную благодаря другого сорта розе. И, перепархивая с венчика на венчик в этой цветочной цепи, наслаждение увидеть еще одну, непохожую на другие, заставляло меня оглядываться на ту, что доставила мне это наслаждение, — оглядываться с благодарностью, к которой примешивалось, как и к новой моей надежде, желание. Скоро я стал проводить с этими девушками целые дни.

Увы, в свежайшем цветке можно различить чуть заметные точки, которые уму искушенному уже рисуют, во что превратится после засыхания или оплодотворения — цветущей сейчас плоти меняющаяся и уже предопределенная форма семени. Мы с восхищением рассматриваем нос, похожий на всплеск, восхитительно вздувающийся на утренней воде и кажущийся почти неподвижным, поддающимся зарисовке, так как море до того спокойно, что прибоя не замечаешь. Когда смотришь на человеческое лицо, кажется, будто оно не изменяется, — переворот происходит в нем чересчур медленно, и мы его не замечаем. Но достаточно было увидеть около какой-нибудь из этих девушек ее мать или тетку, чтобы измерить

путь, который под внутренним воздействием их, обычно отталкивающего, типа пройдут черты девушки меньше, чем за тридцать лет, вплоть до того часа, когда ее взгляды будут уже на закате, когда все ее лицо уйдет за горизонт и уже не будет освещено. Я знал, что так же глубоко, так же неизбежно, как еврейский патриотизм или христианский атавизм у тех, кто считает, что в них нет ничего от их расы, за розовым цветом, каким цвели Альбертина, Розамунда, Андре, до времени таятся без их ведома толстый нос, отвисшая губа, полнота, которые вызовут удивление, но которые все время находились за кулисами и ждали выхода на сцену, точь-в-точь как дрейфусизм, клерикализм, внезапный, непредвиденный, роковой, точь-в-точь как националистический и феодальный героизм, внезапно откликнувшиеся на призыв обстоятельств изнутри человеческой природы, существовавшей раньше самого индивидуума, природы, по воле которой индивидуум мыслит, живет, развивается, крепнет или умирает, не отличая ее от проявлений личности, смешивая их с проявлениями природы. Даже в смысле умственного развития мы зависим от законов природы в гораздо большей степени, чем это нам представляется: наш разум, подобно тайнобрачному растению, подобно какому-нибудь злаку, уже рождается с теми особенностями, которые мы якобы выбираем. Мы постигаем вторичные идеи, не различая первопричины (еврейской расы, французской семьи и т, д.), которая не может не вызывать их и которая в определенный момент выявляется в нас. И, быть может, одни из этих идей мы воспринимаем как итог размышлений, другие — как результат нашей негигиеничности, а на самом деле мы унаследовали от нашей семьи, как наследуют мотылькововидные форму семени, и идеи, которыми мы живем, и болезни, от которых мы умираем.

Точно в питомнике, где цветы расцветают в разное время, я видел их в старых женщинах, на бальбекском пляже, видел эти огрубевшие семена, дряблые клубни, в которые рано или поздно превратятся мои приятельницы. Но какое мне было до этого дело? Сейчас они находились в самой поре цветения. Вот почему, когда маркиза де Вильпаризи приглашала меня на прогулку, я под каким-нибудь предлогом уклонялся. Я бывал у Эльстира только вместе с новыми моими приятельницами. Вопреки обещанию, я не мог даже выбрать день, чтобы съездить в Донсьер к Сен-Лу. Светские развлечения, серьезные разговоры, даже дружеская беседа, если б они помешали мне прогуляться с девушками, произвели бы на меня такое же впечатление, как если б перед самым завтраком меня позвали не к столу, а рассматривать альбом. Мужчины, юноши, женщины старые или зрелого возраста, от общества которых мы как будто получаем

удовольствие, представляются нам расположенными на плоской и непрочной поверхности, потому что мы их осознаем через зрительное восприятие, и только; но это же зрительное восприятие становится как бы посланцем всех наших ощущений, едва лишь оно обращается на девушек; наши ощущения открывают в них различные обонятельные, осязательные, вкусовые свойства, которыми можно наслаждаться даже без помощи рук и губ; и, — умеющие благодаря искусству транспонировки, благодаря гениальному таланту синтеза, которым отличается желание, воссоздавать по цвету щек или груди прикосновение, пробование, запретные касания, — наши ощущения придают девушкам ту же медовую густоту, какую они образуют, когда берут взяток в розарии или когда пожирают глазами гроздья на винограднике.

Не боявшаяся ненастья Альбертина нередко под ливнем катила в непромокаемом плаще на велосипеде, и все же обычно, если шел дождь, мы проводили весь день в казино, куда я считал невозможным не пойти в такую погоду. Я презирал до глубины души девиц д'Амбрезак за то, что они там не бывают. И я с удовольствием принимал участие в злых шутках, которыми мои приятельницы донимали учителя танцев. Обыкновенно содержатель казино или служащие, незаконно присваивавшие себе власть распорядителя, делали нам выговор за то, что мои приятельницы, — даже Андре, о которой я именно потому и подумал, что это натура дионисийская, хотя, как раз наоборот, она была хрупка, интеллектуальна и в этом году много хворала, но со своим здоровьем не считалась и поступала так, как ей подсказывал ее возраст, а этот возраст все преодолевает и объединяет на почве веселья и больных и крепышей, — непременно влетали в вестибюль или в бальную залу с разбега, перепрыгивали через стулья, скользили по паркету, поддерживая равновесие грациозным движением рук и при этом напевая, — так ранняя их молодость смешивала все искусства, уподобляясь поэтам древнего мира, которые еще не знали жанрового разграничения и которые перемежают в эпической поэме советы по сельскому хозяйству с богословской проповедью.

Андре, показавшаяся мне в первый день холоднее других, на самом деле была неизмеримо более чутка, сердечна, тонка, чем Альбертина, в отношениях с которой она проявляла ласковую и снисходительную нежность старшей сестры. Она садилась в казино рядом со мной и могла — в отличие от Альбертины — отказаться от приглашения на тур вальса или даже, если я уставал, шла не в казино, а в отель. В ее дружбе со мной и с Альбертиной были оттенки, говорившие об изумительном понимании сердечных дел, которым она, быть может, в известной мере была обязана

своему болезненному состоянию — Она с неизменно веселой улыбкой извиняла ребячество Альбертины, объяснявшей с простодушной горячностью, какое непреоборимое искушение представляют для нее всевозможные развлечения, от которых она, в противоположность Андре, не в силах была наотрез отказаться ради беседы со мной…

Когда наставало время идти пить чай на площадке для гольфа, то она одевалась и, если мы были в этот момент все вместе, подходила к Андре: «Ну, Андре, чего ты ждешь? Ты же знаешь, что пора идти пить чай на площадке». — «Мне хочется с ним поговорить», — говорила Андре, указывая на меня. «Да ведь тебя пригласила госпожа Дюрье!» — восклицала Альбертина, как будто желание Андре побыть со мной объяснялось тем, что она забыла о приглашении. «Послушай, миленькая, не дури!» Альбертина не настаивала из боязни, как бы и ей не предложили посидеть в отеле. Она встряхивала головой. «Ну, как хочешь, — говорила она: так разговаривают с больным, которому доставляет удовольствие сжигать свою жизнь на медленном огне, — а я лечу; по-моему, твои часы отстают», — и мчалась во весь дух, «Она создание прелестное, но нестерпимое», — замечала Андре, обнимая подругу ласковой и осуждающей улыбкой. В любви Альбертины к развлечениям было что-то от Жильберты давних времен, и объяснить это можно известным, все растущим сходством между женщинами, которых мы любим одну после другой, сходством, проистекающим из стойкости нашего темперамента, потому что ведь это он их выбирает, отвергая всех тех, что не являлись бы одновременно нашей противоположностью и дополнением, то есть не утоляли бы нашей чувственности и не терзали нам сердце. Они, эти женщины, суть порождения нашего темперамента, отражения, опрокинутые проекции, «негативы» нашей восприимчивости. Следовательно, романист мог бы, следуя за течением жизни своего героя, почти одинаково описать его увлечения и благодаря этому создать впечатление, что он не повторяется, а всякий раз творит заново, ибо искусственное новаторство всегда слабее повторения, долженствующего открыть новую истину. Вместе с тем писателю необходимо замечать в характере влюбленного признаки изменчивости, обнаруживающейся по мере того, как он оказывается в новых сферах, в других широтах жизни. И, быть может, писатель поведал бы еще одну истину, если бы, обрисовав характеры других действующих лиц, он никак не охарактеризовал женщину, которую любит его герой. Мы знаем характер тех, к кому мы равнодушны, так как же мы можем постичь характер существа, чья жизнь срастается с нашей жизнью, существа, которое скоро станет для нас чем-то

неотделимым, чьи порывы заставляют нас все время строить мучительные догадки, беспрестанно одна другую сменяющие? Двигаясь за пределами сознания, любопытство, пробуждаемое в нас любимой женщиной, идет дальше ее характера; если б мы и могли на нем остановиться, то, конечно, не захотели бы. Предмет нашего волнующего исследования важнее свойств характера, похожих на ромбики кожного покрова, различные сочетания коих составляют цветовую неповторимость плоти. Лучи нашей интуиции проходят сквозь них, и изображения, которыми они нас снабжают, не являются изображениями чьего-то лица ^они воспроизводят мрачное и горестное единообразие скелета.

Андре была неслыханно богата, и она с удивительной щедростью предоставляла возможность Альбертине, бедной сиротке, пользоваться роскошью, в какой она жила. А вот к Жизели она относилась несколько иначе, чем это мне представлялось вначале. От ученицы скоро пришли вести, и когда Альбертина показала письмо Жизели, в котором та сообщала стайке, как она доехала, и извинялась, что из-за своей лени пока еще не написала другим, я с изумлением услышал, что сказала на это Андре, которая, как я думал, насмерть разругалась с Жизелью: «Я ей напишу завтра, а то если ждать письма от нее — пожалуй, прождешь долго: она такая неаккуратная!» Обратившись ко мне, Андре добавила: «Понятно, ничего выдающегося в ней нет, но она такая милая девочка, и потом, я действительно очень к ней привязана». Отсюда я сделал вывод, что Андре не может долго сердиться.

Не в дождливые дни мы ездили на велосипедах к прибрежным скалам или в поле, и я уже за час начинал прихорашиваться и горевал, когда Франсуаза не с должной тщательностью собирала меня в дорогу. Франсуаза и в Париже, если ей указывали на какую-нибудь оплошность, гордо и возмущенно распрямляла спину, уже гнувшуюся под бременем лет, — это она-то, такая смиренная, такая скромная и обворожительная в тех случаях, когда ее самолюбие бывало польщено! Так как самолюбие было главной пружиной ее жизни, то чувство удовлетворенности и хорошее настроение были у нее прямо пропорциональны трудности работы, которой с нее спрашивали. То, что она делала в Бальбеке, было так легко, что она почти все время была не в духе, и это ее неудовольствие стократ усиливалось, и на лице у нее мгновенно появлялось высокомерно-насмешливое выражение, если я, отправляясь к приятельницам, сетовал на то, что шляпа не вычищена, а галстуки измяты. Трудную работу она выполняла с таким видом, как будто это ей ничего не стоит, а при малейшем замечании относительно того, что пиджака нет на месте, она сейчас же начинала

хвастаться, что нарочно «заперла его в шкаф, чтоб ни одна пылинка на него не села», этого мало: она по всем правилам искусства произносила похвальное слово своему трудолюбию, жаловалась, что в Бальбеке еще ни разу не отдохнула, и утверждала, что на такое место никто бы, кроме нее, не пошел. «Ведь это надо так запихать свои вещи! Все шивороты — навывороты! Сам черт ногу сломит». Иной раз Франсуаза» с видом королевы смотрела на меня горящими глазами и хранила молчание, которое она, однако, нарушала, едва успев выйти в коридор и затворить за собой дверь; тут она произносила речи, как я догадывался, обидные для меня, но такие же неразличимые, как речи действующих лиц, проговаривающих первые свои слова за кулисами, еще до выхода на сцену. Впрочем, когда я собирался идти гулять с моими приятельницами, даже если все было в порядке и Франсуаза находилась в благодушном настроении, она была все-таки невыносима. Пользуясь тем, что я, испытывая потребность говорить о девушках, отпускал иногда какую-нибудь шутку, она с таинственным видом рассказывала мне о них такие вещи, которые я знал бы лучше ее, если б это была правда, но это была неправда, — просто Франсуаза не так меня понимала. У нее, как у всякого человека, были свои характерные особенности; человек никогда не бывает похож на прямой путь — он поражает нас причудливыми и неминуемыми поворотами, которые чаще всего не замечаешь и которые трудно проделывать следом за ним. Если я говорил: «Где шляпа?», или: «Черт бы ее побрал, эту Андреи, „Черт бы ее побрал, эту Альбертину“, Франсуаза всякий раз вынуждала меня неизвестно для чего идти окольными путями, которые меня очень задерживали. То же самое бывало, когда я просил ее приготовить сандвичи с честером или с салатом и купить сладких пирожков на завтрак, который я предполагал устроить на скале для себя и для девушек, хотя и они могли бы по очереди покупать что-нибудь на завтрак, если б не были такими скупыми, как уверяла Франсуаза, на помощь к которой спешила в этот миг вся доставшаяся ей по наследству провинциальная алчность и пошлость, создававшая впечатление, будто часть души покойной Евлалии вошла в св. Элигия, а другая — с большей легкостью — приняла пленительную телесную оболочку моих приятельниц из стайки. Я негодовал, выслушивая эти наветы и чувствуя, что дошел до такого места, после которого знакомая проселочная дорога, какую являл собой характер Франсуазы, становится непроходимой — к счастью, ненадолго. Наконец пиджак находился, Франсуаза приносила сандвичи, и мы с Альбертиной, Андре, Розамундой, а иногда и еще с кем-нибудь, пешком или на велосипедах, отправлялись на прогулку.

Еще совсем недавно меня больше прельщала бы такая прогулка в плохую погоду. Тогда я искал в Бальбеке «страну киммерийцев», а в этой стране солнечных дней быть не должно: они знаменовали бы для меня вторжение пошлого лета купальщиков в заволоченную туманами древнюю страну. Но к тому, что я раньше презирал, что устранял из поля моего зрения, — не только игру солнечного света, но и гонки и скачки, — теперь я жадно тянулся по той же самой причине, по какой прежде мне хотелось смотреть только на бурное море и которая состояла в том, что нынешние мои чаяния, как и прежние, были связаны с художественными моими запросами. Я несколько раз был с моими приятельницами у Эльстира, и в те дни, когда я посещал его с девушками, он чаще всего показывал наброски хорошеньких yachtswomen[22] или эскиз, сделанный на ипподроме близ Бальбека. Сперва я робко признался Эльстиру, что меня не тянет на тамошние сборища. «А зря, — заметил он, — это очень красиво и очень занятно. Взять хотя бы это странное создание — жокея: на него устремлено столько взглядов, а он мрачно стоит на краю paddock'a[23], серенький, хотя на нем ослепительная куртка, составляющий единое целое со своей гарцующей лошадью, которую он сдерживает, — как было бы интересно выписать его жокейские движения, показать яркое пятно, какое он, а также масть лошадей, образует на беговом поле! Как все изменчиво на этой сияющей шири бегового поля, где ваш взгляд изумляет столько теней, столько отблесков, которых вы нигде больше не увидите! Какими красивыми могут здесь быть женщины! Особенно чудесно было на открытии, — я видел там необычайно элегантных женщин при влажном, голландском освещении, а голландское освещение-это когда пронизывающая сырость ощущается во всем, даже в солнце. До этого мне ни разу не приходилось видеть женщин с биноклями, подъезжающих в экипажах, при таком освещении, а влажность этого освещения зависит, конечно, от близости моря. Вот бы это передать! Я вернулся со скачек в диком восторге, и мне так хотелось работать!» Потом Эльстир с еще большим восхищением, чем о скачках, заговорил о yachting'e[24], и тут я понял, что гонки, спортивные состязания, когда красиво одетые женщины купаются в иззелена-синем свету морского ипподрома, для современного художника не менее любопытный сюжет, чем празднества, которые так любили писать Веронезе и Карпаччо. «Мысль правильная, — сказал Эльстир, — тем более что город, где они писали, сообщал им нечто морское. Только красота тогдашних судов чаще всего заключалась в их тяжести, в их сложности. Там тоже бывали состязания на воде, как здесь,

обычно — в честь посольства, вроде того, которое Карпаччо изобразил в „Легенде о святой Урсуле“. Корабли тогда были громоздкие, прямо целые строения, что-то вроде амфибий, вроде маленьких Венеции внутри большой, и пришвартовывали их с помощью перекидных мостиков, украшали алым атласом и персидскими коврами, на них было полно женщин в одеждах из вишневого цвета парчи или зеленого шелка, а стояли они совсем близко от сверкавших разноцветным мрамором балконов, с которых свешивались и смотрели другие женщины в платьях с черными рукавами, а на черных рукавах — белые разрезы, отороченные жемчугом или отделанные кружевом. Уже невозможно было определить, где кончается суша, где начинается вода, что это: все еще дворец или уже корабль, каравелла, галеас, буцентавр». Альбертина с напряженным вниманием слушала Эльстира, во всех подробностях описывавшего костюмы, рисовавшего нам картины роскоши. «Ах, хоть бы когданибудь посмотреть на кружево! Венецианское кружево-это такая прелесть! — восклицала она. — Вообще мне так хочется побывать в Венеции!» «Может быть, вам скоро удастся полюбоваться тканями, которые там носили тогда, — сказал Эльстир. — До настоящего времени их можно было видеть только на картинах венецианских мастеров или — чрезвычайно редко — в церковных ризницах, а то вдруг какая-нибудь ткань попадется на распродаже. Говорят, венецианский художник Фортуни открыл секрет их выделки, и каких-нибудь несколько лет спустя дамы получат возможность гулять, а главное — сидеть у себя в платьях из той дивной парчи, которую Венеция для своих патрицианок по-восточному разузоривала. Впрочем, я не знаю, понравится ли мне это, не покажутся ли такие одежды на современных женщинах чересчур анахроничными даже во время гонок, потому что наши теперешние прогулочные суда — это полная противоположность судам тех времен, когда Венецию называли „королевой Адриатики“. Самая большая прелесть яхты, убранства яхты, туалетов yachting'a — это их морская простота, а я так люблю море! Откровенно говоря, мне больше по душе нынешние моды, нежели моды времен Веронезе и даже Карпаччо. Самое красивое в наших яхтах — особенно в небольших яхтах, громадных я не люблю, это уж почти корабли, тут, как и в шляпах, нужно соблюдать меру, — это гладкость, простота, ясность, сероватый тон, в облачные, голубоватые дни — с молочным отливом. Каюта должна иметь вид маленького кафе. То же можно сказать и о женских костюмах на яхте: очаровательны легкие туалеты, белые и гладкие, полотняные, линоновые, шелковые, тиковые — на солнце и на синеве моря они выделяются такими же ослепительно белыми пятнами, как

белые паруса. Впрочем, мало кто из женщин хорошо одевается, но уж зато некоторые — великолепно. На скачках мадмуазель Лия была в белой шляпке и с белым зонтиком, — чудо! Я бы все отдал за такой зонтик». Я жаждал узнать, чем этот зонтик разнится от других; что же касается Альбертины, то по другой причине, по причине женского кокетства, у нее эта жажда была еще сильнее. Но если Франсуаза говорила о своем воздушном пироге: «Сноровка нужна», то здесь все дело было в фасоне. «Он был маленький, кругленький, точь-в-точь китайский», — говорил о нем Эльстир. Я описал несколько дамских зонтиков, но все это было не то. Эльстир находил, что эти зонтики ужасны. Отличаясь строгим, безукоризненным вкусом, Эльстир даже в частности, — частность же была для него не частностью, а целым, — усматривал разницу между тем, что носили три четверти женщин и что внушало ему отвращение, и красивой вещью, которая приводила его в восторг и — в противоположность мне, ибо меня роскошь обеспложивала, — усиливала в нем желание писать, «чтобы постараться создать нечто столь же прекрасное».

«А вот эта девочка поняла, какие были шляпка и зонтик», — сказал Эльстир, указывая на Альбертину, у которой глаза горели завистью. «Как бы мне хотелось быть богатой, чтобы иметь яхту! — сказала она художнику. — Я бы с вами советовалась, как ее обставить. Какие чудесные путешествия я бы совершала! Хорошо было бы съездить на гонки в Кауз! И автомобиль! Как ваше мнение: красиво выглядят женские моды в автомобиле?» «Нет, — ответил Эльстир, — время для этого еще не пришло. Ведь у нас очень мало настоящих портних — одна-две: Коло, хотя очень уж она увлекается кружевами, Дусе, Шерюи, иногда Пакен. Остальные — сплошное безобразие». «Так, значит, есть громадная разница между туалетом от Коло и от какого-нибудь другого портного?» — спросил я Альбертину. «Колоссальная разница, чудила! — ответила она. — Ах, извините!.. Только, увы! то, что обойдется в триста франков у кого-нибудь, у них будет стоить две тысячи. Но зато уж — ничего похожего; только невежды могут сказать, что разницы никакой нет». — «Вы совершенно правы, — заметил Эльстир, — но все-таки разница не столь существенна, как между статуей в Реймском соборе и статуей в церкви блаженного Августина. Да, кстати относительно соборов, — продолжал он, обращаясь уже только ко мне, потому что в разговорах на эту тему девушки не участвовали, да она их, надо сознаться, нисколько и не интересовала, — я вам как-то говорил, что бальбекская церковь похожа на высокую скалу, на груду бальбекских камней, и наоборот, — тут он показал мне акварель, — посмотрите на эти утесы (эскиз я сделал совсем близко отсюда, в Кренье),

посмотрите, как эти скалы своим могучим и нежным абрисом напоминают собор». В самом деле, можно было подумать, что это высокие розовые своды. Но художник писал их в знойный день, и оттого казалось, будто жар превратил их в пыль, в летучее вещество, а половину моря выпил, привел его, на всем протяжении холста, почти в газообразное состояние. В этот день, когда свет как бы разрушил реальность, она сосредоточилась в явлениях темных и прозрачных, которые по контрасту создавали более глубокое, более осязаемое впечатление вещности: в тенях. Жаждущие прохлады, почти все они, покинув воспламененную морскую даль, укрылись от солнца у подножья скал; иные, будто дельфины, медленно плыли, хватаясь за лодки, а лодки на тусклой воде становились как будто бы шире от их синих блестящих тел. Быть может, ощущавшаяся в них жажда прохлады усиливала впечатление знойного дня и вынудила меня вслух пожалеть о том, что я не видел Кренье. Альбертина и Андре уверяли меня, что я сто раз там был. Если они не ошибались, то, значит, я не сознавал и не предугадывал, что этот вид когда-нибудь вызовет во мне такую жажду красоты, но не естественной, какой я вплоть до этого дня искал в бальбекских горах, а скорее архитектурной. Уж кто-кто, но я, который и приехал-то сюда ради того, чтобы посмотреть царство бурь, я, которому, во время прогулок с маркизой де Вильпаризи, когда мы часто видели океан только издали, в просветах между деревьями, он неизменно казался недостаточно реальным, недостаточно текучим, недостаточно живым, неспособным взметывать волны, я, который залюбовался бы его неподвижностью, только если б его укрыл зимний саван тумана, я никогда бы не поверил, что буду мечтать о море, обратившемся в белесый пар, утратившем плотность и цвет. Но Эльстир, подобно тем, что мечтали в лодках, оцепеневших от жары, так глубоко почувствовал очарование этого моря, что ему удалось передать, закрепить на полотне неразличимый отлив, биенье отрадного мига; и, глядя на чудодейственное это изображение, вы неожиданно проникались несказанною нежностью, и вам хотелось только одного: обежать весь мир в погоне за умчавшимся днем с его быстротечной и дремотной прелестью.

Итак, до посещений Эльстира, до того, как я увидел на его марине в яхте под американским флагом молодую женщину не то в барежевом, не то в линоновом платье, и в моем воображении вырисовалась невещественная «копия» платья из белого линона и «копия» флага, вызвав во мне страстное желание сейчас же увидеть недалеко от берега платья из белого линона и флаги, как будто раньше мне никогда такая возможность не представлялась, я всегда старался, когда был у моря, изгнать из поля моего зрения и

купальщиков на переднем плане, и яхты с чересчур белыми парусами, похожими на пляжные костюмы, — все мешавшее мне создать иллюзию созерцания изначальной морской стихии, развертывавшей свиток своей таинственной жизни еще до появления человеческого рода и продолжавшей жить ею в эти лучезарные дни, придававшие, как мне казалось, пошлое, повсеместное летнее обличье побережью туманов и бурь, означавшие просто-напросто перерыв, соответствующий тому, что в музыке называется паузой, а зато теперь я воспринимал плохую погоду как несчастье, которому не должно быть места в мире красоты, я жаждал вновь обрести в окружающей действительности то, что преисполняло меня восторгом, и надеялся, что дождусь такой погоды, когда с высоты скал будут видны те же синие тени, что и на картине Эльстира.

Дорогой я уже не приставлял руку щитком к глазам, как в те дни, когда, рисуя себе природу жившей духовною жизнью еще до появления человека, рисуя ее себе как нечто противоположное скучному промышленному прогрессу, от которого на меня нападала зевота в залах всемирных выставок и у модисток, я старался смотреть на ту часть моря, где не было пароходов, чтобы оно представлялось мне как бы изначальным, как бы современником тех столетий, когда оно отделилось от суши, во всяком случае — современником первых веков Греции, а это давало мне право не сомневаться, что «папаша Леконт» не погрешил против истины в стихах, которые так нравились Блоку:

> И отплыли цари на стругах легкокрылых,
> И с ними двинулся в пучину бурных вод
> Косматых эллинов воинственный народ.[25]

Я перестал презирать модисток, так как Эльстир сказал, что та бережность, с какой они расправляют в последний раз, та одухотворенная любовь, с какой они ласкают банты или перья готовой шляпы, так же для него, художника, интересны, как движения жокеев (этим он привел в восторг Альбертину). Но посмотреть на модисток я мог, только вернувшись с курорта, — в Париже, — а на скачки и гонки — в Бальбеке, но уже на будущий год. В Бальбеке исчезли даже яхты с женщинами в белых линоновых платьях.

Мы часто встречали сестер Блок, и с того дня, когда я обедал у их отца, я не мог им не кланяться. Мои приятельницы были с ними незнакомы. «Мне не позволяют водиться с израильтянками», — говорила

Альбертина. Уже самая манера произносить «исраильтянки» вместо «израильтянки» указывала, даже если вы и не слышали начала фразы, на то, что для симпатии к избранному народу нет места в душе этих юных буржуазок из благочестивых семей, этих девушек, которые, по всей вероятности, были убеждены, что евреи режут христианских детей. «Вообще ваши приятельницы — мерзость», — говорила мне Андре с улыбкой, свидетельствовавшей о том, что она и не думает считать их моими приятельницами. «Как и все, что принадлежит к их племени», — поучающим тоном знатока прибавляла Альбертина. Сказать по совести, сестры Блока, расфуфыренные и в то же время полураздетые, томные, нахальные, щеголихи и неряхи, особенно приятного впечатления не производили. А одна из их родственниц, пятнадцатилетняя девчонка, возмущала казино своим афишированным обожанием мадмуазель Лии, чей талант высоко ставил Блок-отец и у кого наибольшим успехом пользовались не мужчины.

Кое-когда мы пили чай в ближайших фермах-ресторанах. Рестораны эти назывались «Дезекор», «МарияТереза», «Гейландский крест», «Шуточка», «Калифорния», «Мария-Антуанета». Этот последний сделался излюбленным рестораном стайки.

Но иногда, вместо того чтобы идти в ресторан, мы поднимались на вершину скалы и, усевшись на траве, развязывали пакет с сандвичами и пирожками. Мои приятельницы больше любили сандвичи и удивлялись, что я довольствуюсь куском шоколадного торта, украшенного готическим узором из сахара, или пирожком с абрикосовым вареньем. Дело в том, что сандвичи с честером или салатом — пища невежественная, новая, и мне не о чем было с ними говорить. Зато шоколадный торт был сведущ, пирожки словоохотливы. Торт был безвкусен, как сливки, а в пирожках ощущалась свежесть плодов, много знавшая о Комбре, о Жильберте, и не только о комбрейской Жильберте, но и о парижской, на чаепитиях у которой я их опять нашел. Они напоминали мне о десертных тарелочках с рисунками, изображавшими сцены из «Тысячи и одной ночи», «сюжеты» которых развлекали тетю Леонию, когда Франсуаза приносила ей то Аладдина, или Волшебную лампу, то Али-Бабу, то Спящего наяву, то Синдбада-Морехода, грузящего все свои богатства на корабль в Бассоре. Мне хотелось увидеть их снова, но бабушка не знала, куда они делись, а кроме того, для нее это были самые обыкновенные тарелки, купленные где-нибудь там. Мне же они были дороги тем, что и самые тарелочки, и разноцветные рисунки на них были вделаны в серый шампанский1 Комбре, как в темную церковь — витражи с их самоцветной игрой, как в сумрак моей комнаты — проекции

волшебного фонаря, как в открывающийся из окон вокзала и с полотна местной железной дороги вид — индийские лютики и персидская сирень, как старинный китайский фарфор моей двоюродной бабушки — в ее мрачное жилище, жилище старой провинциалки.

Лежа на скале, я видел перед собой только луга, а над ними — не семь небес из христианской физики, а всего только два, одно над другим: потемнее — облако моря, наверху — побледней. Мы лакомились, а если я захватывал с собой вещичку, которая могла доставить удовольствие той или иной моей приятельнице, радость с такой внезапной стремительностью переполняла их почти прозрачные лица, мгновенно алевшие, что у губ недоставало сил сдержать ее, и, чтобы дать ей вылиться, их размыкал смех. Девушки обступали меня; и между их головками, не прижимавшимися одна к другой, разделявший их воздух прокладывал лазурные тропинки, — так садовник оставляет прогалинку, чтобы легче было двигаться среди розовых кустов.

Когда запасы наши истощались, мы играли в игры, которые до встречи с девушками показались бы мне скучными, иногда в совсем детские, вроде «Башня Берегись» или «Кто первый засмеется», но которые теперь я не променял бы и на царский престол; заря младости, еще полыхавшая на лицах девушек и уже угасшая для меня, все перед ними освещала и, как на примитивах воздушных тонов, вырисовывала на золотом фоне что-нибудь наименее важное из их жизни. Лица девушек почти все сливались в неярком багрянце зари, сквозь который подлинные их черты еще не успели пробиться. Виден был только прелестный колорит, сквозь который то, что должно было стать профилем, еще не различалось. В теперешнем профиле не было ничего определенного, он мог заключать в себе лишь скоропреходящее сходство с кем-нибудь из покойных членов семьи, которому природа оказала посмертную эту любезность. Скоро, скоро приходит час, когда больше уже нечего ждать, когда тело сковывает неподвижность, не сулящая никаких неожиданностей, когда теряешь всякую надежду при виде того, как, точно сухие листья с деревьев в разгар лета, с еще молодых голов падают или седеют волосы; оно до того кратковременно, это солнечное утро, что начинаешь любить лишь очень молодых девушек, плоть которых еще только-только подходит, как прекрасное тесто. Девушки — это тягучая масса, поминутно разминаемая мимолетным впечатлением, которому они подчиняются. Про любую из них можно сказать, что она — то статуэтка веселья, то статуэтка юной серьезности, то статуэтка ласковости, то статуэтка удивления, и все эти статуэтки лепит какое-нибудь выражение лица, бесхитростное, цельное, но

мгновенное. С этой пластичностью связано то, что девушка всякий раз по-особому чарует нас милым своим вниманием. Конечно, это должно быть присуще не только девушке, но женщина, и та, которой мы не нравимся, и та, которая не подает вида, что мы ей нравимся, является нашему взору чем-то уныло однообразным. Когда женщина достигает известного возраста, знаки ее расположения уже не вызывают легкой зыби у нее на лице, окаменевшем от борьбы за существование, раз навсегда принявшем воинственное или восторженное выражение. Одно из женских лиц — в силу вечной покорности жены мужу — скорей напоминает лицо солдата; другое, изваянное теми повседневными жертвами, какие мать приносит ради детей, — это лицо апостола. Еще одно лицо после многих испытаний и гроз становится лицом морского волка, и только одежда указывает на то, что это женщина. Конечно, если мы любим женщину, то ее предупредительность по отношению к нам еще способна по-новому волновать нас, пока мы с ней. Но в ней самой мы не находим каждый раз другую женщину. Веселость — это всего лишь оболочка ее неменяющегося лица. Но предшествует окончательному этому застыванию молодость, и вот оттого-то близость девушек действует на нас так же освежающе, как зрелище все время меняющихся, беспрестанно сталкивающихся форм, похожее на непрерывное возрождение первооснов природы, какое мы наблюдаем, стоя у моря.

Не только светским приемом или прогулкой с маркизой де Вильпаризи пожертвовал бы я ради того, чтобы поиграть в «веревочку» или в «загадки» с моими приятельницами. Несколько раз Робер де Сен-Лу извещал меня, что, так как я все не еду к нему в Донсьер, он намерен попросить отпуск на сутки и приехать в Бальбек. Всякий раз я писал ему, чтобы он не приезжал, и в качестве уважительной причины выставлял то, что именно в этот день мне будто бы необходимо вместе с бабушкой по семейным обстоятельствам куда-нибудь поблизости отлучиться. Можно не сомневаться, что он подумал обо мне плохо, узнав от своей тетки, что это за семейные обстоятельства и кто такие те, которые в подобных случаях играли роль бабушки. И все-таки я, пожалуй, был прав, жертвуя не только светскими развлечениями, но и утехами дружбы ради блаженства провести целый день в этом саду. У кого есть возможность жить для себя, — правда, это художники, а я давно убедил себя, что никогда не буду художником, — тот должен жить для себя; между тем дружба есть освобождение от этого долга, самоотречение. Даже собеседование, один из способов выразить дружеские чувства, — пустая болтовня, ничем нас не обогащающая. Мы можем проговорить всю жизнь, и это будет всего лишь бесконечное

повторение ничем не наполненного мгновенья, между тем как, когда мы заняты уединенным трудом художественного творчества, мысль идет вглубь, а это единственный путь, который нам не заказан, по которому мы, — правда, с немалым трудом, — движемся вперед к истине. А дружба мало того что бесполезна, как собеседование, — она нам вредна. Вредна потому, что ощущение скуки, которое не могут не испытывать в обществе друга, то есть оставаясь на поверхности самих себя, вместо того чтобы идти путем открытий вглубь, те из нас, для кого закон развития — закон чисто внутренний, — это ощущение скуки, когда мы опять остаемся одни, дружба уговаривает нас притупить, она заставляет нас с волнением вспоминать слова друга, принимать их как драгоценный дар, хотя мы — не здания, каменные стены которых можно утолщать снаружи, а деревья, которые добывают из своего сока каждое новое колено ствола, верхний ярус листвы. Я лгал самому себе, я перестал развиваться в том направлении, в каком действительно мог расти и быть счастливым, как в ту пору, когда я гордился тем, что меня любит, мной восхищается такой хороший, такой умный, такой тонкий человек, как Сен-Лу, когда я раздумывал не над моими неясными впечатлениями, в которых мне стоило бы разобраться, а над словами моего друга, в которых, повторяя их, — заставляя их повторять второе «я», которое живет в нас и на которое мы всегда с таким удовольствием перекладываем бремя размышлений, — я старался найти красоту, резко отличающуюся от той, какую я искал молча, когда бывал в самом деле один, но именно благодаря этой красоте в моих глазах приобрели бы большую ценность и Робер, и я сам, и моя жизнь. В той жизни, которую создавал для меня такой друг, как Робер, я чувствовал, что я бережно укрыт от одиночества, что я великодушно стремлюсь пожертвовать собой ради друга, короче — что я неспособен к самовыявлению. В обществе девушек, наоборот, испытываемое мною наслаждение было эгоистично, но зато, по крайней мере, не основывалось на лжи, которая тщится убедить нас, что мы не безысходно одиноки, и которая, когда мы с кем-нибудь беседуем, не позволяет нам признаться самим себе, что это уже не мы говорим, что мы подгоняем себя под чужой образец, а не под свой собственный, разнящийся от всех прочих. Мои беседы с девушками из стайки были неинтересны, да к тому же еще немногословны, так как я перебивал их долгим молчанием. Это не мешало мне, когда они со мной говорили с таким же удовольствием, с каким я на них смотрел, открывать в голосе каждой девушки яркую картину. Их Щебет доставлял наслаждение, радовал мой слух. Любовь помогает распознавать, различать. В лесу любитель птичьего пения без труда узнает

голос каждой птицы, а для невежды все птичьи голоса звучат одинаково. Любитель девушек знает, что человеческие голоса еще разнообразнее. В любом голосе больше нот, чем в самом сложном музыкальном инструменте. И число звукосочетаний в человеческом голосе столь же несметно, как неисчерпаемо разнообразие личностей. Когда я разговаривал с какой-нибудь моей приятельницей, я отдавал себе отчет в том, что неповторимый, в своем роде единственный портрет ее личности нарочно для меня искусно нарисован, неумолимо навязан мне как игрой ее голоса, так и игрой ее лица, и что два эти зрелища отображают, каждое в своей плоскости, одну и ту же особую реальность. Разумеется, и голос, и внешний облик еще не окончательно установились; голос еще будет ломаться, лицо изменится. У детей есть железа, выделяющая вещество, которое помогает им переваривать молоко, а у взрослых ее нет, — так и в щебете девушек были ноты, которых нет у женщин. И на этом более многозвучном инструменте они играли губами с той старательностью, с тем усердием ангелочков-музыкантов Беллини, с каким играют только в юности. С годами девушки утратят интонацию вдохновенной убежденности, придававшую очарование самым простым вещам, как, например, когда Альбертина самоуверенно каламбурила, а младшие слушали ее, как завороженные, пока на них с неудержимой стремительностью чоха не нападал дикий хохот, или когда Андре заговаривала об их школьных занятиях, еще более детских, чем их игры, по-ребячьи серьезные; и голоса их детонировали, как стихи в древности, когда поэзия еще почти не обособилась от музыки и стихотворение читалось на разных нотах. Так или иначе, в голосах девушек уже отчетливо улавливался пристрастный взгляд этих подростков на жизнь, взгляд до такой степени индивидуальный, что если бы сказать об одной: «Ей все шуточки», о другой: «Она обо всем судит безапелляционно», а о третьей: «Она всегда занимает нерешительно-выжидательную позицию», — то это было бы слишком общо. Черты нашего лица — не более чем жесты, которые в силу привычки приобрели завершенность. Природа, как гибель Помпеи, как метаморфоза, происходящая с куколкой, добивается того, что мы застываем в тот миг, когда делаем привычное движение. Равным образом в наших интонациях содержится наше мировоззрение, все, что человек думает о жизни. Разумеется, эти черты были свойственны не только моим приятельницам. Они были свойственны их родителям. Личность погружена в нечто более общее, чем она сама. Надо иметь в виду, что мы наследуем от родителей не только привычные черты лица и характерные для них переливы голоса, но и обороты речи, постоянно ими

употребляемые словосочетания, почти столь же неосознанные, как интонация, почти столь же глубокие, и они, как и она, выражают наше отношение к жизни. Правда, иным девушкам некоторые выражения родители не сообщают до известного возраста, обычно — пока они не станут женщинами. Они держат их про запас. Так, например, когда разговор шел о картинах одного из друзей Эльстира, Андре, ходившая еще с распущенными волосами, пока что не могла пользоваться выражением, какое употребляли ее мать и замужняя сестра: «Должно быть, он прелестный мужчина». Но это придет, как только ей позволят ходить в Пале-Рояль. А вот Альбертина с малых лет говорила, как хорошая знакомая ее тетки: «По-моему, это страшновато». Еще ее одарили привычкой переспрашивать — этим она подчеркивала, что ее интересует то, о чем идет речь, и что она пытается составить свое собственное мнение. Если при ней говорили, что такой-то художник хорош или же что у него красивый дом, — она переспрашивала:

«Ах, так он хороший художник? Ах, так дом у него красивый?» Наконец, еще более общим, чем доставшееся им наследство, был сок их родного края, придававший особое звучание голосам и вспаивавший интонации. Когда Андре резко брала низкую ноту, то она ничего не могла поделать с перигорской струной голосового своего инструмента, чтобы она не издала певучего звука, к тому же поразительно гармонировавшего с южной правильностью ее черт; а вечным проказам Розамунды соответствовали северный тип ее лица и северный ее голос, а также особенности говора ее родного края. Между родным краем девушки и ее темпераментом, управлявшим модуляциями голоса, мне слышался чудесный диалог. Диалог, но не спор. Ни одна из модуляций не отчуждала девушку от родины. Девушка все еще представляла собой свою родину. Надо заметить, что действие местных богатств на дарование, которое пользуется ими и которое они укрепляют, не уменьшает оригинальности его произведений, и, будь то произведение зодчего, краснодеревщика или композитора, оно не менее добросовестно отражает тончайшие черты индивидуальности художника, оттого что ему пришлось поработать над санлисским жерновым камнем или над страсбургским красным песчаником, оттого что он не тронул особой узловатости ясеня, оттого что когда он писал музыку, то принял в расчет ресурсы и пределы звучности, принял в расчет возможности флейты и альта.

Я это понимал, хотя мы так мало разговаривали между собой! Маркизе де Вильпаризи или Сен-Лу я сказал бы, что получил от встреч с ними большое удовольствие, тогда как на самом деле оно было совсем не так

велико, потому что, простившись с ними, я чувствовал себя усталым, а когда я лежал на пляже с девушками, полнота испытываемых мною чувств с лихвой вознаграждала меня за бессодержательность, за скупость наших речей и переплескивала через мою неповоротливость и несловоохотливость волны счастья, шум которых затихал около этих молодых роз.

Выздоравливающий, который целые дни проводит в, саду, не с такой остротой ощущает пропитанность множества мелочей, из которых складывается его досуг, запахом цветов и плодов, с какой я, глядя на девушек, различал их краски и ароматы, нежность которых вливалась потом в меня. Так виноград становится сладким на солнце. И своей медлительной непрерывностью эти радости, такие простые, вызывали у меня, как у тех, кто все время лежит у моря, дышит солью, загорает ощущение расслабленности, вызывали на лицо блаженную улыбку, вызывали какую-то ослепленность вплоть до помутнения в глазах.

Иной раз от чьего-нибудь отрадного знака внимания по всему моему телу пробегала дрожь, и эта дрожь умаляла на время мое влечение к другим. Так, однажды Альбертина спросила: «У кого есть карандаш?» Андре дала ей карандаш, Розамунда — бумагу, Альбертина же им сказала: «Старушонки! Подсматривать запрещается». Держа бумагу на коленях, она старалась писать как можно разборчивее, затем дала мне записку и сказала: «Только чтоб никто не видел!» Я развернул записку и прочел: «Вы мне нравитесь».

«Вместо того чтобы писать чепуху, — внезапно повернувшись с важным и властным видом к Андре и Розамунде, воскликнула она, — мне бы надо было показать вам письмо от Жизели — я его получила с утренней почтой. Экая я дура, таскаю его в кармане, а ведь оно может быть нам очень полезно!» Жизель сочла своим долгом прислать подруге с тем, чтобы она показала другим, сочинение, которое она написала на выпускном экзамене. Трудность двух тем, предложенных на выбор Жизели, превзошла опасения Альбертины. Одна из них была такая: «Софокл пишет из ада Расину, чтобы утешить его в связи с провалом „Гофолии“. Другая: „Что г-жа де Севинье могла бы написать г-же де Лафайет о том, как она жалела, что ее не было на первом представлении „Эсфири“. Так вот, Жизель, решив блеснуть и умилить экзаменаторов, выбрала первую тему, более трудную, написала замечательно, и ей поставили четырнадцать, да еще экзаменационная комиссия поздравила ее. Она получила бы общую оценку „очень хорошо“, если б не „срезалась“ на экзамене по испанскому языку. Сочинение, копию которого прислала Жизель, Альбертина нам тут же и прочитала — ей предстоял такой же экзамен, и она интересовалась

мнением Андре, потому что Андре знала гораздо больше их всех, вместе взятых, и могла „поднатаскать“ ее. „Ей здорово повезло, — заметила Альбертина. — Как раз над этой темой она корпела здесь с учительницей французского языка“. Письмо, которое Жизель написала Расину от имени Софокла, начиналось так: «Дорогой друг! Прошу меня извинить за то, что я Вам пишу, не имея чести быть лично с Вами знаком, но Ваша новая трагедия «Гофолия“ свидетельствует о том, что Вы в совершенстве изучили мои скромные творения. Вы не только заставили говорить стихами протагонистов, то есть главных действующих лиц, но сочинили стихи, — стихи прекасные, говорю Вам это без всякой лести, — и для хоров, которые, по мнению многих, были неплохи в греческой трагедии, но которые для Франции явились чем-то совершенно новым. Кроме того, Ваш талант, такой свободный, такой изящный, такой пленительный, такой настоящий, такой легкий, достигает здесь необычайной мощи, перед которой я преклоняюсь. Даже Ваш соперник Корнель не мог бы лучше очертить Гофолию и Иодая. Характеры сильные, интрига проста и занимательна. Пружиной в Вашей трагедии служит не любовь, и, на мой взгляд, в этом состоит ее громадное достоинство. Изречения, пользующиеся наибольшей известностью, не всегда являются самыми верными. Вот Вам пример:

Кто страсть любовную живописать сумеет,
Сердцами нашими, уж верно, завладеет.

Вы же доказали, что религиозное чувство, которым преисполнены Ваши хоры, действует так же сильно. Широкую публику Вы, быть может, привели в недоумение, однако настоящие знатоки отдают Вам должное. Итак, поздравляю Вас, дорогой собрат, и пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам свои лучшие чувства». Пока Альбертина читала сочинение, глаза у нее блестели. «Наверное, сдула! — воскликнула она, кончив читать. — Никогда не поверю, что все это сама Жизель придумала. Да еще стихи! У кого же это она подтибрила?» От восхищения, вызванного, впрочем, уже не сочинением Жизели, но еще усилившегося, равно как и от напряжения, у Альбертины «глаза на лоб лезли», когда она слушала Андре, к которой обратились за разъяснениями как к самой старшей и самой знающей, а та, заговорив о работе Жизели с легкой иронией, затем, нарочито небрежным тоном, хотя чувствовалось, что говорит она вполне серьезно, принялась переделывать сочинение. «Написано недурно, —

сказала Андре Альбертине, — но будь я на твоем месте и если б мне дали такую тему, — а это может случиться, ее задают очень часто, — я бы сделала по-другому. Я взялась бы за нее вот как. Прежде всего на месте Жизели я бы не кинулась в омут головой, а набросала бы на отдельном листочке план. Сначала постановка вопроса и изложение, потом общие мысли, которые необходимо развить в сочинении. Наконец, оценка, слог, заключение. Имея план, ты с пути не собьешься. Уже в экспозиции, или, если хочешь, Титина, поскольку это письмо, во вступлении, Жизель дала маху. Человеку, жившему в семнадцатом столетии, Софокл не мог бы написать: „Дорогой друг“. „Правда, правда, ей надо было написать: „Дорогой Расин“! — подхватила Альбертина. — Так было бы гораздо лучше“. — „Нет, — чуть-чуть насмешливо возразила Андре, — обращение должно было быть такое: „Милостивый государь!“ И в конце ей надо было написать что-нибудь вроде: „С глубочайшим почтением имею честь быть, милостивый государь (в крайнем случае — „милостивый государь мой“) Вашим покорнейшим слугою“. Потом Жизель утверждает, что хоры „Гофолии“ — новость. Она забыла „Эсфирь“ и еще две трагедии — они мало известны, но именно в этом году их разбирал учитель, это его конек; назови их — и можешь считать, что выдержала. Это „Еврейки“ Робера Гарнье и „Аман“ Монкретьена“. Назвав эти две пьесы, Андре не могла сдержать чувство благожелательного превосходства, отразившегося в ее улыбке, довольно, впрочем, ласковой. Альбертина возликовала. „Андре, ты чудо! — воскликнула она. — Напиши мне эти два заглавия. Представляешь себе, какой у меня будет козырь, если мне достанется этот вопрос, даже на устном? Я их назову и всех ошарашу“. Однако потом, когда Альбертина обращалась к своей образованной подруге с просьбой сказать еще раз, как называются эти пьесы, потому что ей хотелось записать названия, Андре уверяла, что они вылетели у нее из головы, и больше о них не заговаривала. „Дальше, — продолжала Андре с едва уловимым презрением к своим товаркам, на которых она смотрела как на детей, довольная, вместе с тем, что ею восхищаются, и, сама того не желая, увлекшаяся сочинением, — Софокл в аду должен быть хорошо осведомлен. Следовательно, ему должно быть известно, что „Гофолию“ давали не для широкой публики, а для Короля-Солнца и нескольких приближенных. Об успехе у знатоков у Жизели сказано неплохо, но нуждается в дополнении. Бессмертный Софокл вполне может обладать даром пророчества и предвозвестить мнение Вольтера, что „Гофолия“ — это не только „великое произведение Расина, но и человеческого гения вообще“. Альбертина впивала каждое ее слово. Глаза у нее горели. И она с глубочайшим возмущением отвергла

предложение Розамунды поиграть. „Наконец, — снова заговорила Андре все так же бесстрастно, непринужденно, слегка насмешливо и вместе с тем достаточно убежденно, — если бы Жизель записала для себя те общие мысли, которые ей следует развить, она, пожалуй, пришла бы к тому же, что сделала бы на ее месте я, — то есть показала бы разницу между религиозным духом хоров Софокла и хоров Расина. Я заставила бы Софокла заметить, что хотя хоры у Расина проникнуты религиозным чувством, как и хоры в греческой трагедии, но боги здесь и там разные. Бог Иодая ничего общего не имеет с богом Софокла. И в конце сам собой напрашивается вывод: «То, что верования различны, не имеет никакого значения“. Софокл постеснялся бы на этом настаивать. Он побоялся бы оскорбить чувства Расина и предпочел бы, сказав несколько слов об его наставниках из Пор-Ройяль, с особой похвалой отозваться о той возвышенности, какой отличается поэтический дар его соревнователя“.

От восторга и от напряжения на лице у Альбертины выступили крупные капли пота. Андре хранила все тот же улыбчиво равнодушный вид — вид денди женского пола. «А еще хорошо бы привести отзывы знаменитых критиков», — заметила она до начала игры. «Да, — согласилась Альбертина, — мне говорили. Вообще считаются наиболее важными мнения Сент-Бева и Мерле правда?» — «Да, пожалуй, — заметила Андре, но потом отказалась, невзирая на мольбы Альбертины, записать, еще две фамилии. — Мерле и Сент-Бев — это неплохо. Но главное — Дельтур и Гаск-Дефосе».

А я в это время думал о листке из блокнота, который мне дала Альбертина: «Вы мне нравитесь», — и через час, спускаясь по дороге, слишком крутой для меня, к Бальбеку, я говорил себе, что роман у меня будет с ней.

Состояние, характеризуемое рядом примет, по которым мы обыкновенно догадываемся, что мы влюблены, как, например, мое распоряжение в отеле будить мсня1д только если придет кто-нибудь из девушек, сердцебиения, мучившие меня, когда я их ждал (безразличнокого именно), бешенство, в какое я впадал, если в день их прихода не мог найти парикмахера, чтобы побриться, из-за чего я вынужден был в неприглядном виде предстать перед Альбертиной, Розамундой или Андре, — конечно, подобное состояние, вновь и вновь появляясь то из-за одной, то из-за другой, так же отличается от того, что мы называем любовью, как отличается человеческая жизнь от жизни зоофитов, существование, индивидуальность которых, если можно так выразиться, распределяется между разными организмами. Но естественная история учит нас, что у

животных такие явления наблюдаются и что хотя мы опередили животных, — правда, ненамного, — тем не менее наша жизнь служит подтверждением того, что состояния, о которых мы раньше не подозревали, но которых нам не избежать, пусть даже они потом пройдут, действительно существуют. Таким было для меня состояние влюбленности, делившееся на нескольких девушек. Делившееся или, вернее, неделившееся, так как чаще всего меня восхищала, в отрыве от остального мира, становилась для меня такой драгоценной, что надежда на завтрашнюю с ней встречу оказывалась самой большой радостью моей жизни, вся группа девушек вместе с полднем на скалах, вместе с полоской травы, где несколько часов нежились Альбертина, Розамунда и Андре, лица которых так волновали мое воображение; и я затруднился бы ответить на вопрос, из-за кого мне так дороги эти места, кого из них мне больше хочется полюбить. В начале любви, как и в конце ее, мы не всецело поглощены предметом нашей любви, — точнее, желание любить, откуда она вырастает (а впоследствии воспоминание о ней), с наслаждением путешествует по стране взаимозаменяемых блаженств, — блаженств, доставляемых нам иногда просто-напросто природой, лакомством, жильем, — действующих заодно, так что это наше желание во владениях любого из них не чувствует себя на чужбине. Притом я в присутствии девушек еще не испытывал пресыщения, порождаемого привычкой, а потому не утратил способности видеть их, иначе говоря — каждый раз при виде их приходить в глубокое изумление.

Понятно, отчасти, это изумление зависит от того, что женщина являет нам тогда новый облик; но до чего же многолика всякая женщина, до чего разнообразны черты ее лица и линии тела, из которых лишь очень немногие, когда этой женщины с нами нет, тотчас всплывают в нашей простодушно самоуправной памяти! Так как воспоминание выбирает какую-нибудь одну поразившую нас особенность, выделяет ее, преувеличивает, превращая женщину, показавшуюся нам высокой, в этюд, на котором ее рост беспределен, а женщину, явившуюся нашим глазам румяной и белокурой, — в чистейшую «гармонию розового и золотого», то, едва лишь эта женщина вновь предстает перед нами, все прочие ее свойства, свойства забытые, восстановив равновесие, обступают нас всей своей слитной многосложностью, уменьшая рост, притушая розовость, заменяя то единственное, чего мы в ней ищем, другими особенностями, и тут память нам подсказывает, что мы обратили на них внимание еще при первой встрече, а теперь мы недоумеваем, почему же они явились для нас неожиданностью. Мы напрягаем память, мы идем навстречу павлину, а перед нами — снегирь. И это неизбежное изумление не одиноко; с ним

сосуществует другое, возникающее тоже из различия, но не между стилизованными воспоминаниями и действительностью, а между женщиной, которую мы видели прошлый раз, и той, которая предстала перед нами сегодня в ином ракурсе и показала новый свой облик. Воистину лицо человеческое подобно божественному лику из восточной теогонии; это целая гроздь лиц, которые находятся в разных плоскостях и которые нельзя увидеть одновременно.

Однако главным образом наше изумление объясняется тем, что женщина показывает нам и одно и то же лицо. Нам требуется такое громадное усилие для воссоздания того, что не суть мы, — хотя бы вкуса плода, — что, только-только получив впечатление, мы незаметно для себя уже начинаем спускаться по откосу воспоминаний и — разумеется, не отдавая себе в этом отчета, — немного погодя оказываемся очень далеко от пережитого. Следовательно, всякая новая встреча представляет собой нечто вроде восстановления нашего правильного представления. Но вспоминать человека — значит, в сущности, забывать его, и если мы и вспоминаем виденное, то только в этом смысле. А пока еще мы не утратили уменья видеть, мы узнаем забытую черту в тот миг, когда она предстает перед нами, мы вынуждены выпрямлять покривившуюся линию, и вот почему беспрестанное и животворное изумление, благодаря которому ежедневные встречи с девушками у моря оказывались для меня такими целительными и успокаивающими, рождалось не только из открытий, но и из припоминаний. Прибавьте к этому волнение, связанное с тем, как много значили для меня эти встречи, и всякий раз не вполне соответствовавшее моим ожиданиям, чем обусловливалось сходство надежды на будущую встречу не с уже исчезнувшей надеждой, но с еще трепетным воспоминанием о последнем разговоре, и тогда вам легко будет себе представить, какой резкий толчок давала моим мыслям каждая прогулка, двигались же мои мысли совсем не в том направлении, какое я для них намечал на свежую голову, сидя один у себя в номере. Когда я возвращался к себе, напоминая улей, жужжащий растревожившими меня и долго еще потом звучавшими во мне словами, то намеченный мною путь был уже забыт и разрушен. Всякое существо гибнет, как только мы перестаем видеть его; затем последующее его появление — это уже новое создание, отличающееся если и не от всех, то, по крайней мере, от предыдущего. Два таких создания — это уже разнообразие, хотя бы и минимальное. Если нам запомнится решительный взгляд, выражение отваги, то при следующей встрече мы будем неминуемо удивлены, более того: почти исключительно потрясены словно бы томным профилем, какой-то особенной задумчивой

мягкостью — тем, что не отложилось в нашей памяти прошлый раз. Именно при сопоставлении воспоминания с новой действительностью выявится наше разочарование или удивление, именно это сопоставление откроет перед нами подлинную действительность, указав нам на провалы в нашей памяти. И теперь уже черты лица, в прошлый раз не замеченные и именно поэтому особенно нас поражающие на этот раз, особенно реальные, особенно тщательно исправленные, явятся предметом наших дум и воспоминаний. Томный, овальный профиль, мягкое выражение — вот что нам захочется увидеть вновь. И в следующий раз все волевое, что есть в пронизывающем взгляде, остром носе, сжатых губах, уничтожит разрыв между нашей мечтой и предметом, который она себе нарисовала неверно. Само собой разумеется, устойчивость первых впечатлений, впечатлений чисто внешних, которые создавались у меня при каждой встрече с моими приятельницами, была связана не только с обличьем, — ведь я же, как известно, был особенно чуток к их голосам, еще сильнее, пожалуй, меня волновавшим (в голосе есть не только особая, чувственно воспринимаемая поверхность, как в обличье, голос является частью той бездонной пропасти, от которой становятся такими головокружительными безнадежные поцелуи), к напоминавшему единственный в своем роде звук какого-то маленького инструмента звуку их голосов, в который каждая девушка вкладывала всю себя и который составлял отличительную ее особенность. Проведенная в одном из этих голосов какой-нибудь модуляцией борозда, мной позабытая, поражала меня своей глубиной, когда я о ней вспоминал. Таким образом поправки, которые я при каждой новой встрече вынужден был вносить, чтобы составить себе наиточнейшее представление, — это были поправки настройщика, учителя пения и рисовальщика.

Что же касается гармонического единства, где с недавнего времени, благодаря тому, что каждая девушка сопротивлялась стремлению к господству, какое обнаруживали другие, сливались волны чувств, которые поднимали во мне эти девушки, то оно было нарушено в пользу Альбертины в один из тех дней, когда мы играли в «веревочку». Это было в лесочке, росшем на скале. Стоя между двумя девушками, которые не принадлежали к стайке и которых стайка привела сюда, чтобы сегодня нас было больше, я с завистью смотрел на соседа Альбертины, молодого человека, и думал, что если бы я стоял там, где он, я мог бы дотрагиваться до руки моей приятельницы в течение тех нежданных мгновений, которые, быть может, не повторятся и которые могли бы завести меня очень далеко. Даже само по себе, вне зависимости от последствий, какие оно несомненно

повлекло бы за собой, прикосновение к руке Альбертины и было бы для меня счастьем. Не то чтобы я не видел рук красивее, чем у Альбертины. Если даже не выходить за пределы ближайшего ее окружения, руки Андре, худые и значительно более тонкие, жили как бы своей особой жизнью, подчиняющейся этой девушке и в то же время самостоятельной, и часто они вытягивались перед ней, точно породистые борзые, то в истоме, то подолгу мечтая, с внезапными змеиными извивами, так что недаром ж Эльстир написал несколько этюдов ее рук. И на одном из них, на котором Андре грела руки у огня, освещение придавало им золотистую прозрачность осенних листьев. А руки Альбертины, полнее, чем у Андре, на мгновение сдавались, но зато потом сопротивлялись руке, которая их пожимала, и от этого возникало совершенно особенное ощущение. В рукопожатии Альбертины было что-то от чувственной ласки, как бы находившей себе соответствие в лиловато-розовом цвете ее кожи. Рукопожатие помогало вам проникнуть в эту девушку, в глубь ее чувств, подобно звонкому ее смеху, неприличному, как воркованье или как иные вскрики. Она принадлежала к числу женщин, чьи руки мы пожимаем с наслаждением и с благодарностью цивилизации за то, что она превратила shake-hand[26] в действие, дозволенное встречающимся юношам и девушкам. Если б условные правила приличия заменили пожатия рук другим движением, я бы целыми днями смотрел на недоступные руки Альбертины с не менее страстным желанием прикоснуться к ним, чем желание ощутить вкус ее щек. Но в наслаждении долго держать ее руку в своей, — если б я был ее соседом в игре в «веревочку», — я предугадывал не только само это наслаждение. Сколько признаний, сколько слов, не высказанных из-за моей несмелости, мог бы я доверить иным рукопожатьям! А как бы легко было ей ответными пожатьями убедить меня в том, что я пользуюсь взаимностью! Ведь это уже сообщничество, ведь это уже начало сближения! Моя любовь могла бы продвинуться дальше за несколько мгновений, проведенных рядом с ней, чем за все время нашего с ней знакомства. Я чувствовал, что наша игра скоро прервется, что она вот-вот кончится, — ведь долго играть мы в нее не будем, — а когда ей придет конец, то будет поздно, и мне не стоялось на месте. Я нарочно не сделал никакой попытки удержать в своих руках кольцо, стал в круг и притворился, будто не замечаю, как оно движется, хотя на самом деле следил за ним, пока оно не оказалось в руке соседа Альбертины, а та разрумянилась, оживленная весельем игры, и хохотала до упаду. «А ведь мы как раз в дивном лесу», — показывая на обступившие нас деревья, молвила Андре с улыбкой во взгляде, предназначавшемся мне одному,

брошенном как бы поверх играющих, точно только мы с ней и способны были раздвоиться и сказать по поводу игры что-нибудь поэтичное. В своей утонченности она дошла до того, что — правда, без особого желания — пропела: «В этом Лесе пробежал хорек, в этом дивном Лесе пробежал хорек», — и напомнила этим людей, которые непременно устраивают в Трианоне гулянье во вкусе Людовика XVI или находят особенно остроумным спеть песенку в той обстановке, которая там описана. Если б у меня было время подумать, я, наверное, огорчился бы, так как подобная материализация была бы мне неприятна. Но мои мысли были заняты совсем другим. Играющие дивились моей неловкости — как это я до сих пор не сумел схватить кольцо? А я смотрел на Альбертину, такую красивую, такую ко всему безразличную, такую веселую, не предвидевшую, что она станет моей соседкой, как только я наконец выхвачу кольцо благодаря уловке, о которой она не подозревала и которая, если б она узнала о ней, возмутила бы ее. В пылу игры длинные волосы Альбертины растрепались и, завитками падая на ее щеки, темною своею сухостью еще яснее означали их розовость. «У вас косы как у Лауры Дианти, Элеоноры Гвиенской и той ее родственницы по нисходящей линии, которая так нравилась Шатобриану. Вам бы шло, если б волосы у вас всегда чуть-чуть свисали», — чтобы быть поближе к Альбертине, сказал я ей на ухо. Тут кольцо перешло к ее соседу. Я бросился, резким движением разжал ему кулаки, выхватил кольцо, и тогда он стал на мое место в середине круга, а я занял его место рядом с Альбертиной. За несколько минут до этого я завидовал молодому человеку, глядя, как его руки скользят по веревочке и все время встречаются с руками Альбертины. Теперь пришла моя очередь, но я от робости не стремился к этому прикосновению, от волнения не наслаждался им и только чувствовал, как колотится и как болит у меня сердце. На мгновенье Альбертина с хитрым видом повернулась ко мне своим полным и румяным лицом, давая понять, что кольцо у нее, и отвлекая мое внимание от веревочки, чтобы я не видел, где сейчас кольцо. Я сразу догадался, что многозначительные взгляды Альбертины — это тоже уловка, и все-таки меня взволновал мелькнувший у нее в глазах образ, который она создала только в интересах игры, — образ некоей тайны, сговора, которого на самом деле у нас с ней не было, но который я уже теперь считал возможным и который был бы мне необыкновенно приятен. Радостно возбужденный этой мыслью, я вдруг почувствовал, что рука Альбертины дотрагивается до моей, а ее палец, ластясь, подлезает под мой палец, и одновременно увидел, что она подмигивает мне, но так, чтобы другим это было незаметно. В одно

мгновенье выкристаллизовалось множество надежд, до этого таившихся от моего взора. «Она пользуется игрой, чтобы дать мне почувствовать, что я ей нравлюсь», — подумал я, вознесясь на самый верх блаженства, откуда я, впрочем, слетел, как только услышал, что разъяренная Альбертина говорит мне: «Да берите же скорей, ведь я вам целый час передаю!» С горя я выпустил из рук веревочку, хорек увидел кольцо, бросился на него, я опять должен был стать в круг, и теперь я в отчаянии смотрел на оголтелый хоровод вокруг меня, надо мной шутили все участницы игры, я вынужден был смеяться, хотя мне было совсем не до смеха, а в это время Альбертина продолжала отчитывать меня: «Если хочешь играть — надо быть внимательным, иначе только других подводишь. Не будем больше приглашать его играть, Андре, — или он, или я». Андре, не принимавшая горячего участия в игре и продолжавшая напевать песенку про «Дивный Лес», которую в подражание ей, но без ее увлеченности, подхватила Розамунда, решила положить конец ворчанью Альбертины и, обращаясь ко мне, сказала: «Вам очень хотелось побывать в Кренье, а мы сейчас в двух шагах оттуда. Пока эти сумасбродки беснуются так, как будто им по восемь лет, давайте я проведу вас туда прелестной тропинкой». Андре была со мной необычайно мила, и дорогой я поделился с ней своими мыслями о том, что мне нравится в Альбертине. Андре сказала, что она тоже очень любит Альбертину и что Альбертина обворожительна, и все же мои восторги, как видно, не доставили ей удовольствия. Тропинка спускалась в низину, как вдруг меня взяло за сердце воспоминание детства, так что я невольно остановился: по земле стлались зубчатые блестящие листья, и я узнал куст боярышника, увы! отцветшего в конце весны. Меня овеял воздух давних богородичных богослужений, воскресных дней, забытых верований и заблуждений. Мне хотелось вдохнуть в себя этот воздух. Я остановился, и Андре, обворожив меня своей догадливостью, предоставила мне возможность поговорить с листьями. Я спросил, как поживают цветы, цветы боярышника, похожие на жизнерадостных девушек, легкомысленных, кокетливых и богомольных. «Девушки давно уехали», — ответили мне листья. И, быть может, они подумали, что хоть я и выдаю себя за их близкого друга, а об их образе жизни не имею понятия. Друг-то я друг, но такой, который уже сколько лет обещает прийти, а все не приходит. Между тем, подобно тому, как Жильберта была моей первой любовью среди девушек, так цветы боярышника были моей первой любовью среди цветов. «Да, я знаю, они уходят в середине июня, — сказал я, — но мне приятно посмотреть на то место, где они жили. В Комбре они приходили ко мне в комнату — их приводила моя мать, когда я был болен. А потом я с

ними встречался вечерами, по субботам, в месяц богородичных богослужений. Здесь они на них бывают?» — «Ну конечно! Их всегда приглашают в храм Дионисия Пустынника — в ближайшую приходскую церковь». — «А как бы с ними повидаться?» — «Ну уж это не раньше мая будущего года». — «Но они непременно там будут?» — «Они бывают там ежегодно». — «Вот только не знаю, найду ли я туда дорогу». — «Найдете! Девушки веселые, они не хохочут, только когда поют молитвы, так что вы не заблудитесь, да и потом, вы уже в начале тропинки почувствуете их аромат».

Я догнал Андре, опять начал хвалить Альбертину. Я был уверен, что Андре передаст мои похвалы Альбертине, — такое упорство я проявлял в ее восхвалении. Но я так никогда и не узнал, дошли ли они до Альбертины. А ведь Андре была куда понятливее в сердечных делах, чем Альбертина, куда тоньше в своей любезности; каким-нибудь одним взглядом, словом, действием доставить человеку большое удовольствие, воздержаться от суждения, которое может сделать больно, пожертвовать (делая вид, что это вовсе не жертва) часом игры, даже светским приемом, garden-parti, чтобы побыть с тоскующим другом или подругой, и этим доказать им, что она предпочитает их скромное общество суетным забавам, — вот в чем обыкновенно выражалась ее чуткость. Но у тех, кто знал ее более или менее близко, складывалось впечатление, что она похожа на тех трусливых героинь, которые умеют подавлять в себе страх и чья смелость поэтому особенно похвальна; складывалось впечатление, что в глубине души она совсем не так добра, что она ежеминутно проявляет доброту только в силу своего внутреннего благородства, впечатлительности, великодушного желания прослыть хорошим товарищем. Она наговорила мне так много хорошего о моих отношениях с Альбертиной в будущем, что я проникся уверенностью в ее всемерном содействии. Но, быть может чисто случайно, она палец о палец не ударила, чтобы сблизить меня с Альбертиной, и сдается мне, что мои усилия влюбить в себя Альбертину если и не толкали ее подругу на закулисные происки, которые имели бы целью помешать им, а все-таки вызывали у нее недоброе чувство, которое она, впрочем, всячески старалась утаить и с которым по душевной своей чистоплотности, может быть, даже боролась. На свойственное Андре внимание к людям даже в мелочах Альбертина была неспособна, и тем не менее я был не уверен, что Андре добра по-настоящему, а вот в подлинной доброте Альбертины я потом убедился. Неизменно проявляя ласковую снисходительность к потрясающему легкомыслию Альбертины, Андре и словами и улыбками показывала, что она ей друг, да она и вела себя как

друг. На моих глазах она каждый день вполне бескорыстно затрачивала больше усилий, чем придворный — на то, чтобы заслужить благоволение государя, на то, чтобы как можно больше уделить Альбертине от своих щедрот, чтобы осчастливить небогатую свою подругу. Она бывала обворожительна в своей мягкости, в каждом своем печальном и нежном слове, когда при ней высказывалось сожаление, что Альбертина бедна, и Андре делала ей в тысячу раз больше услуг, чем какой-нибудь состоятельной подруге. Однако если кто-нибудь выражал сомнение в том, что Альбертина так уж бедна, едва уловимое облако спускалось на лоб и глаза Андре; можно было подумать, что она в плохом настроении. А если кто-нибудь договаривался до того, что выдать Альбертину замуж, пожалуй, будет не так трудно, как принято думать, Андре решительно протестовала и почти злобно твердила: «Увы, нет, ее замуж не выдашь! Уж я — то знаю, мне так за нее больно!» Даже мне Андре, единственная из всей стайки, никогда не передавала ничего нелестного, что могло быть кем-либо сказано за моей спиной; более того: если я сам себя чернил, она притворялась, что не верит, или так толковала мои слова, что они становились безобидными; сочетание подобных качеств и называется тактом. Такт — это свойство людей, которые, перед тем как нам выйти на поединок, расхваливают нас да еще прибавляют, что у нас не было повода для вызова, — прибавляют для того, чтобы мы сами себе казались еще храбрее от сознания, что мы проявили храбрость, когда в этом не было прямой необходимости. Эти люди представляют собой противоположность тем, кто при таких же обстоятельствах скажет: «Вам, наверно, очень не хотелось драться, но, с другой стороны, вы же не могли стерпеть оскорбление, вам нельзя было поступить иначе». Но поскольку во всем есть свои «за» и «против», то удовольствие или, в лучшем случае, безразличие, с каким наши друзья передают нам что-нибудь для нас оскорбительное, доказывает, что они не бывают в нашей шкуре, когда нам это пересказывают, и втыкают в нас булавку или нож, как в воздушный шар, искусство же всегда скрывать от нас то нехорошее, что говорят о нашем поведении, или же искусство скрывать свое собственное мнение о нем может служить доказательством, что наши друзья иного рода, друзья тактичные, в высшей степени скрытны. В скрытности ничего противного нет, если только друзья действительно не думают о нас плохо и если от того, что им о нас говорят, они страдают так же, как страдали бы мы сами. Я полагал, что это как раз относится к Андре, хотя и не был вполне уверен.

Мы вышли из лесочка и двинулись по довольно безлюдной извилистой тропе, которую Андре отлично знала. «Ну вот, — неожиданно обратилась

она ко мне, — это и есть ваш вожделенный Кренье, и вам повезло) именно в этот час и при таком освещении его написал Эльстир». Но я все еще тяжело переживал свое падение во время игры в веревочку с высоты надежд. Поэтому я с меньшим наслаждением, нежели то, которого чаял, вдруг увидел внизу, среди скал, где они укрывались от солнца, Морских богинь, которых Эльстир выследил и поймал под темным обрывом, таким же прекрасным, как на картине Леонардо, чудные Тени, прячущиеся и таящиеся, быстрые и безмолвные, готовые при каждом новом приливе света скользнуть под камень, спрыгнуть в ямку и мигом, как только лучевая угроза минует, возвращающиеся к утесу, к водорослям, под солнцем — дробителем скал, или к потускневшему Океану, чью дремоту они, неподвижные и легкие стражи, словно оберегают, держась на воде так, что видно их клейкое тело и пристальный взгляд темных очей.

Мы догнали других девушек и все вместе пошли домой. Теперь я знал, что люблю Альбертину; но — увы! — я не собирался открывать ей свое сердце, Дело в том, что со времен Елисейских полей мое понятие о любви изменилось, хотя девушки, в которых я влюблялся, были очень похожи одна на другую. Прежде всего, признание, объяснение уже не казалось мне самым важным действием, необходимым для любви; да и любовь казалась мне теперь уже не данностью, а всего лишь субъективным наслаждением. И чувство мне подсказывало, что Альбертина сделает все от нее зависящее, чтобы продлить наслаждение, если ей не будет известно, что я его испытываю.

Пока мы шли назад, образ Альбертины, купавшийся в свете, излучавшемся другими девушками, был для меня не единственным. Но, подобно луне, днем представляющей собою всего лишь белое облачко, только четкое и не меняющееся, и вновь обретающей все свое могущество, как скоро день померкнет, образ Альбертины, один этот образ, когда я вернулся в отель, взошел в моем сердце и засиял. Передо мной была как будто новая комната. Конечно, она уже давно перестала быть враждебной мне комнатой, какой я увидел ее в первый вечер. Мы беспрестанно видоизменяем наше обиталище; и чем свободнее от ощущений становимся мы в силу привычки, тем успешнее устраняем вредоносность окраски, размеров, запаха, объективировавшую наше тяжелое чувство. Это была и не та комната, которая властвовала над моей восприимчивостью — не для того, понятно, чтобы причинять мне боль, а чтобы радовать меня, то был не садок для погожих дней, не что-то вроде водоема, где, на одинаковом расстоянии от пола и от потолка, эти дни отсвечивали омытой солнечным светом лазурью, которую на мгновенье завешивал невещественный, белый,

точно знойное марево, отраженный в воде, удалявшийся парус; и не комната чистого искусства — комната разноцветных вечеров; это была комната, где я прожил так долго, что уже не видел ее. И вот у меня вновь раскрылись глаза, но сейчас я смотрел на нее с эгоистической точки зрения, а это и есть точка зрения любви. Я думал о том, что если б Альбертина ко мне зашла и обратила внимание на красивое наклонно висящее зеркало, на изящные застекленные книжные шкафы, то я бы выиграл в ее глазах. Являвшая собой что-то вроде залы для транзитных пассажиров, где я проводил некоторое время перед тем, как умчаться на пляж или в Ривбель, теперь моя комната вновь становилась вещной и отрадной, она обновлялась, оттого что каждый предмет в ней я разглядывал и оценивал глазами Альбертины.

Когда, спустя несколько дней после игры в веревочку, мы совершили очень далекую прогулку и были счастливы, найдя в Менвиле две двухместные «таратайки», — а то бы мы не вернулись к обеду, — я уже так пылко любил Альбертину, что предложил ехать со мной сначала Розамунде, потом — Андре, только не Альбертине, а затем, продолжая уговаривать Андре и Розамунду, привел всех, — пользуясь соображениями частного порядка относительно времени, часа, одежды, — к решению, словно бы против моей воли, что в видах чисто практических мне лучше всего ехать с Альбертиной, с обществом которой я будто бы заставляю себя примириться. К несчастью для меня, любовь алчет дорогого ей существа, и одной беседой с ним сыт не будешь, а потому, хотя Альбертина всю дорогу была со мной чрезвычайно мила и, довезя ее до дому, я чувствовал себя счастливым, вместе с тем я чувствовал, что изголодался по ней сильнее, чем когда мы отъезжали, ибо время, которое мы провели с ней вдвоем, казалось мне всего лишь прелюдией, которая сама по себе особого значения не имеет, к тому времени, какое настанет потом. И все же в нем была та первоначальная прелесть, которой после уже не вернешь. Я еще ни о чем не просил Альбертину. Она могла только догадываться о моих мечтах, но, не будучи уверена, она могла также предполагать, что меня вполне удовлетворили бы отношения, не имеющие определенной цели, а для моей подружки такие отношения должны были таить в себе несказанное, полное ожиданных нечаянностей упоение — упоение романа.

На следующей неделе меня не тянуло к Альбертине. Я делал вид, что отдал предпочтение Андре. Начинается любовь, нам хочется остаться для любимой незнакомцем, которого она способна полюбить, но мы испытываем в ней потребность, испытываем потребность коснуться даже не ее тела, а ее внимания, ее души. Мы вставляем в письмо какую-нибудь

колкость, которая вынудит равнодушную просить нас быть с ней поласковее, и вот любовь, применяя надежную технику, с помощью ряда повторных движений затягивает нас в шестерню, где уже невозможно не любить и не быть любимым. Я проводил с Андре то время, когда другие уходили на какое-нибудь сборище, которым, насколько мне было известно, Андре охотно жертвовала ради меня и которым она, впрочем, пожертвовала бы и с неудовольствием, из чувства душевной брезгливости, чтобы никто, и в том числе она сама, не мог подумать, будто она ценит так называемые светские развлечения. Я не стремился пробудить у Альбертины ревность тем, что Андре все вечера проводила только со мной, — я хотел лишь возвысить себя в ее глазах или уж, по крайней мере, не уронить себя, признавшись ей, что я люблю ее, а не Андре. Не говорил я об этом и Андре из боязни, что она все передаст Альбертине. Когда мы с Андре толковали о ней, я прикидывался холодным, но, думается, се не так обманывала моя холодность, как меня ее наигранная доверчивость. Она представлялась, что не сомневается в моем равнодушии к Альбертине и что хочет как можно теснее сдружить ее и меня. Вероятней другое: она не верила в мое равнодушие и не желала моего сближения с Альбертиной. Я убеждал Андре, что вовсе не увлечен ее подругой, а сам думал только о том, как бы это поближе познакомиться с г-жой Бонтан, которая приехала сюда на несколько дней и поселилась близ Бальбека и у которой Альбертина должна была погостить три дня. Естественно, от Андре я это скрыл; когда же я заговаривал с ней о родне Альбертины, то напускал на себя полнейшую безучастность. Прямые ответы Андре словно бы доказывали, что она не подозревает меня в неискренности. Но почему же у нее недавно сорвалось с языка: «А я как раз встретила тетку Альбертины»? Конечно, она не добавила: «Я прекрасно поняла из ваших как будто бы случайных слов, что вы только и думаете: нельзя ли завязать отношения с теткой Альбертины?» Но, очевидно, именно с этой мыслью, которой Андре сочла за благо не делиться со мной, в ее сознании было сопряжено «как раз». Слова эти были из той же области, что и некоторые взгляды, некоторые движения, лишенные логической, рациональной оболочки, действующей непосредственно на сознание собеседника, и тем не менее доводящие до его сознания свой истинный смысл, — так человеческое слово, в телефоне превращаясь в электричество, вновь становится словом для того, чтобы его услышали. Стремясь к тому, чтобы Андре выкинула из головы мысль, будто я интересуюсь г-жой Бонтан, я теперь говорил о ней не просто небрежно, а с раздражением: я знаю, мол, эту сумасбродку, и у меня нет ни малейшего желания возобновлять с ней знакомство. На самом же деле я именно искал

встречи с ней.

Я приставал к Эльстиру, — от всех это, однако, скрывая, — чтобы он поговорил с ней обо мне и свел нас. Он дал слово познакомить меня с ней, но не без удивления, ибо презирал ее как интриганку и неинтересную интересанку. Приняв во внимание, что если я увижусь с г-жой Бонтан, то Андре рано или поздно об этом узнает, я решил, что лучше завести с ней об этом разговор до встречи. «Чего всячески избегаешь, на то непременно и напорешься, — сказал я. — Что может быть скучнее встречи с госпожой Бонтан, но мне от этого не отвертеться: Эльстир приглашает ее и меня». — «Я в этом не сомневалась ни одной секунды!» — с горечью воскликнула Андре, и ее помутневшие от досады глаза с расширившимися зрачками устремились к чему-то видному им одним. Слова Андре очень неточно выразили ее мысль, резюмировать которую можно было бы следующим образом: «Я же вижу, что вы любите Альбертину и готовы в лепешку расшибиться, чтобы втереться в ее семью». Но слова Андре представляли собой не что иное, как поддающиеся склейке черепки ее мысли, которую я толкнул и, наперекор желанию самой Андре, взорвал. В этих словах Андре, а равно и в «как раз», самым важным был их подтекст, то есть это были такие слова, которые (в отличие от тех, что воздействуют на нас своим прямым значением) внушают нам к кому-нибудь уважение или недоверие, ссорят нас с кем-нибудь.

Раз Андре не поверила мне, когда я сказал, что до родни Альбертины мне никакого дела нет, значит, она думала, что я люблю Альбертину. И, вероятно, не была этому рада.

Обыкновенно мои свидания с ее подругой происходили при ней. Но иногда я виделся с Альбертиной наедине, и вот этих свиданий я ждал с нетерпением, но они ничего определенного мне не приносили, ни одно из них не оказывалось решительным, и я всякий раз возлагал надежды на следующее, но и оно не оправдывало их; так рушились эти выси одна за другой, точно волны, и уступали место другим.

Приблизительно через месяц после того, как мы играли в веревочку, мне сказали, что завтра утром Альбертина уезжает на два дня к г-же Бонтан с первым поездом и, чтобы не будить приятельниц, у которых она живет, переночует в Гранд-отеле, откуда идет на вокзал омнибус. Я сообщил об этом Андре. «Не может быть, — с недовольным видом сказала Андре. — А впрочем, вам от этого никакого толку: я уверена, что если Альбертина будет в гостинице одна, то видеться с вами она не захочет. Это противозаконно, — добавила Андре, воспользовавшись определением, которое она с недавнего времени очень любила употреблять в смысле:

„неприлично“. — Я так уверенно говорю, потому что хорошо знаю взгляды Альбертины. Мне лично все равно, увидитесь вы с ней или нет. Мне это совершенно безразлично».

К нам присоединился сначала Октав и, не дожидаясь вопроса, поспешил сообщить Андре, сколько очков было у него вчера на гольфе, потом Альбертина, для которой ее чертик служил чем-то вроде четок. Благодаря чертику ей было не скучно проводить несколько часов в одиночестве. Когда она к нам подошла, мое внимание тотчас привлек задорный кончик ее носа, о котором я последние дни, вспоминая Альбертину, совсем не думал; крутизна ее лба под черными волосами никак не связывалась, — и так бывало и раньше, — с тем смутным представлением, какое у меня от него сохранилось, а от его белизны я не мог оторвать глаз; отрясая прах воспоминаний, Альбертина воскресала передо мной.

Гольф приучает к развлечениям уединенным. Чертик, конечно, тоже. Однако, присоединившись к нам, Альбертина продолжала играть, поддерживая разговор, — так дама, занимая гостей, не оставляет вязанья. «Говорят, — обратилась она к Октаву, — маркиза де Вильпаризи пожаловалась вашему отцу (и в этих словах я сразу уловил характерный для нее звук голоса; всякий раз, когда я как будто удостоверялся, что забыл этот звук, я тут же припоминал, что за ним уже мелькали передо мной французское лицо Альбертины и решительный ее взгляд. Я мог бы быть слепым и все-таки прекрасно знать, что она бедовая и что есть в ней что-то провинциальное; и бедовость и провинциальность звучали в ее голосе и проступали в кончике носа. Одно стоило другого, одно дополняло другое, а голос у нее был такой, каким, говорят, будет человеческий голос в фототелефоне грядущих лет: в его звуке четко вычерчивался зрительный образ). Да она не только вашему отцу написала, а еще и бальбекскому мэру, чтобы на набережной больше не играли в чертика, мяч угодил ей в лицо». — «Да, я слышал. Глупо! Здесь и так мало развлечений».

Андре не принимала участия в разговоре, она не знала, как, впрочем, Альбертина и Октав, маркизу де Вильпаризи. «Зачем было этой даме поднимать целую историю? — наконец заговорила она. — Мяч попал и в старуху Говожо, но ведь она-то не жаловалась». — «Сейчас я вам объясню, в чем тут разница, — с важным видом сказал Октав, зажигая спичку, — по-моему, Говожо — светская дама, а Вильпаризи — проходимка. Вы сегодня будете на гольфе?» С этими словами он, вместе с Андре, удалился. Мы с Альбертиной остались вдвоем. «Видите? — сказала Альбертина. — Я стала причесываться, как вы любите; посмотрите вот на эту прядь. Все надо мной

смеются, и никто не знает, для кого я так причесываюсь. Тетка тоже будет издеваться. Я и тетке ничего не скажу». Я смотрел сбоку на щеки Альбертины: обычно бледные, сейчас от приливавшей к ним крови они рдели, они блестели, как блестят иногда зимним утром не целиком освещенные солнцем, похожие на розовый гранит камни, от которых исходит радость. Радость смотреть сейчас на щеки Альбертины была такая же захватывающая, но она вызывала другое желание — не прогулки, а поцелуя. Я спросил, верно ли то, что я слышал о ближайших ее намерениях. «Да, — ответила она, — я переночую в вашем отеле и лягу еще до ужина — я немножко простудилась. Посидите со мной, пока я поужинаю в постели, а потом мы поиграем во что хотите. Мне было бы приятно, если б вы завтра утром приехали на вокзал, да боюсь, как бы это не показалось странным — не Андре, Андре умница, а другим, которые будут меня провожать, расскажут тетке, а из этого выйдет целая история; но сегодняшний вечер мы можем провести вдвоем. Об этом тетка ничего не узнает. Пойду попрощаюсь с Андре. Значит, до скорого! Приходите пораньше, чтобы подольше побыть вместе», — добавила она, улыбаясь. Эти слова перенесли меня во времена еще более далекие, чем те, когда я любил Жильберту, — в те, когда любовь представлялась мне не только отвлеченным понятием, но и чем-то вполне достижимым. Жильберта, которую я видел на Елисейских полях, была не той, которую я вновь находил в себе самом, как только оставался один, а в подлинную Альбертину, которую я видел ежедневно, полную, как я себе представлял, буржуазных предрассудков и, наверно, очень откровенную со своей теткой, внезапно воплотилась Альбертина воображаемая, та, которая, как мне казалось, когда мы еще не были знакомы, скользила по мне взглядом на набережной, та, которой, когда она смотрела мне вслед, словно не хотелось уходить.

Ужинать я должен был с бабушкой; я чувствовал, что меня от нее отделяет тайна. Так же будет чувствовать себя и Альбертина, ибо завтра провожающие ее подруги не будут знать о том новом, что нас с ней теперь связывает, и г-жа Бонтан не заподозрит, что между ними — я, что я — в этой прическе, которую Альбертина начала носить с тайной целью понравиться мне, мне, до сих пор завидовавшему г-же Бонтан, потому что, находясь в родстве с теми же людьми, что и ее племянница, она в одно время с ней носила траур, ездила с визитом к тем же родным; и вот теперь я значу для Альбертины даже больше, чем ее тетка. У тетки она будет думать обо мне. Я не отдавал себе ясного отчета, что произойдет сейчас. Так или иначе, в Гранд-отеле и в нынешнем вечере я не почувствую пустоты; их

заполнит мое счастье. Я вызвал лифт, чтобы подняться в номер Альбертины, выходивший окнами на долину. Малейшее движение, например, то, какое я сделал, садясь на скамейку в лифте, было мне приятно, так как оно отзывалось в моем сердце; на канаты, с помощью которых поднимался лифт, на несколько ступенек, по которым я еще должен был взойти, я смотрел как на приводной механизм, как на вещественные подступы к моей радости. Мне надо было сделать несколько шагов по коридору до той комнаты, где помещалось драгоценное розовое тело, — до комнаты, которая, даже если там и произойдут упоительные события, сохранит свою неизменность, свое сходство, на взгляд неосведомленного постояльца, с любой другой комнатой, и эти ее свойства превратят находящиеся там предметы в упорно молчащих свидетелей, в добросовестных поверенных, в надежные хранилища наслаждений. Эти несколько шагов от площадки до комнаты Альбертины, эти несколько шагов, которые никто уже не властен был удержать, я делал с наслаждением, с опаской, как будто погруженный в некую новую стихию, как будто, идя вперед, я медленно перемещал счастье, и в то же время — с новым для меня ощущением всемогущества, с сознанием, что наконец-то я становлюсь наследником того, что всегда по праву принадлежало мне. Затем я вдруг подумал, что сомнений тут быть не может, — Альбертина сказала, чтобы я пришел, когда она будет в постели. Все ясно! Я затрепетал от счастья, едва не сбил с ног Франсуазу, шедшую мне навстречу, я с горящими глазами бежал к комнате моей подружки. Я застал Альбертину в постели. Открывая шею, белая рубашка меняла черты ее лица, разрумянившегося или от того, что она угрелась в постели, или от жара, или от того, что она недавно поужинала; я подумал о красках, которые несколько часов тому назад видел подле себя на набережной и вкус которых мне наконец-то предстояло ощутить; ее щеку сверху донизу пересекала одна из ее длинных волнистых черных кос, которые она, чтобы угодить мне, распустила.

Она смотрела на меня с улыбкой. За ней, в окне, простиралась освещенная луной долина. Голая шея Альбертины и пылающие ее щеки до такой степени опьянили меня, — то есть подлинным был для меня сейчас не внешний мир, а поток ощущений, который я еле сдерживал, — что нарушилось равновесие между бесконечной, неупразднимой жизнью, катившей во мне свои волны, и жизнью вселенной, такой жалкой в сравнении с ней. Видное в окно по одну сторону долины море, полные груди ближайших менвильских скал, небо, луна еще не в зените — все это казалось легче перышка моим зрачкам, — ведь я же чувствовал, что они

расширились, окрепли и могли бы удержать на своей хрупкой поверхности куда более тяжелую ношу, хотя бы даже все горы земного шара. Весь горизонт не мог бы заполнить мои глазницы. Да и жизнь всей природы показалась бы мне слишком ничтожной, вздохи моря представились бы мне слишком слабыми в сравнении с безмерно глубоким дыханием, от которого вздымалась моя грудь. Я наклонился к Альбертине и хотел поцеловать ее. Если бы я знал, что сейчас умру, то отнесся бы к этому спокойно, или, вернее, решил бы, что это невозможно, так как жизнь была не вне меня, она была во мне; я улыбнулся бы снисходительной улыбкой, если б какой-нибудь философ сказал, что рано или поздно настанет день, когда мне суждено умереть, что меня переживут вечные силы природы — силы природы, под божественными стопами которой я всего лишь пылинка; что и после меня будут эти круглые, полногрудые скалы, море, лунный свет, небеса! Как же это может быть, как существование мира может быть более длительным, чем мое, раз я не затерян в нем, раз он заключен во мне, хотя далеко не всего меня наполняет, хотя я, предчувствуя, что понадобится место для бесчисленного множества сокровищ, презрительно свалил в один угол небо, море и скалы? «Перестаньте, а то я сейчас позвоню!» — крикнула Альбертина, видя, что я хочу наброситься на нее с поцелуями. Но я убеждал себя, что не зря девушка приглашает к себе молодого человека украдкой, так, чтобы не узнала тетка, и что смелость помогает тем, кто умеет пользоваться случаем; я был до того возбужден, что круглое лицо Альбертины, озаренное как бы светом ночника изнутри, приобрело в моих глазах необычайную отчетливость и, подражая вращению огненной сферы, завертелось, как тела Микеланджело, которые уносит неподвижный и головокружительный вихрь. Сейчас я узнаю запах, вкус этого мне неведомого розового плода. Но тут я услышал тревожный, долгий и резкий звук. Альбертина звонила во всю мочь.

Я полагал, что моя любовь к Альбертине основывается на стремлении к телесному обладанию. Но когда этот вечер доказал мне, что такое обладание, видимо, невозможно и я, заключивший при первой нашей встрече на пляже, что Альбертина распутна, потом, после долгих колебаний, пришел как будто бы к твердому убеждению, что Альбертина — девушка в высшей степени порядочная, когда через неделю, вернувшись от тетки, она сухо сказала мне: «Я вас прощаю, мне жаль, что я вас огорчила, но больше так никогда не делайте», то со мной произошло нечто противоположное пережитому мной, когда Блок меня уверил, что все женщины доступны: вместо живой девушки я увидел восковую куклу, и постепенно мое стремление проникнуть в ее жизнь, последовать за нею в

тот край, где прошло ее детство, приобщиться через ее посредство к спорту оторвалось от нее, моя духовная потребность знать ее мнение по тем или иным вопросам не пережила моей убежденности в том, что я смогу поцеловать ее. Мои мечты вопреки моему представлению, что они существуют независимо, отлетели от нее, как только их перестала питать надежда на обладание. Теперь они были вольны — глядя по тому, какая из девушек сегодня особенно влекла меня к себе, а главное, глядя по тому, кого из них я с наибольшей уверенностью в успехе мог рассчитывать влюбить в себя, — перенестись на любую из подруг Альбертины, и в первую очередь на Андре. И все же, если б не было на свете Альбертины, быть может, я не испытывал бы с каждым днем усиливавшегося наслаждения, какое я получал от внимательности ко мне Андре. Альбертина никому не рассказала о том, что она меня отвергла. Она была одной из тех хорошеньких девушек, которые измлада благодаря своей миловидности, и в еще большей мере — благодаря своему всегда не совсем понятному обаянию, своей всегда не совсем понятной прелести, быть может питающимся запасами жизненных сил, которыми пользуются те, кого не так щедро одарила природа, везде — в кругу семьи, среди подруг, в свете — имеют больший успех, чем те, кто красивей, чем те, кто богаче их; она была одной из тех, от кого еще до их вступления в пору любви и в особенности — когда она для них наступает, требуют больше, чем требуют они, и даже больше, чем они могут дать. Альбертина уже в детстве привыкла к восхищению подружек, в частности — к восхищению Андре, хотя Андре была гораздо развитее ее и сама это понимала. (Быть может, именно бессознательная сила притяжения, которой обладала Альбертина, и положила начало, содействовала возникновению стайки.) Это притяжение ощущалось даже вдалеке, в более блестящем обществе, где танцевать павану Альбертину приглашали чаще, чем девушек более знатного происхождения. Эту бесприданницу, жившую бедно, на средства Бонтана, подозрительного типа, мечтавшего от нее отделаться, звали не только на обед, но и погостить люди, на которых Сен-Лу смотрел бы свысока, но которые ослепляли своим величием матерей Розамунды и Андре, женщин очень богатых, но с ними не знакомых. Так, например, Альбертина жила по нескольку недель в год в семье председателя правления крупной железнодорожной компании. Жена этого финансиста принимала у себя значительных лиц и никогда не сообщала о своем «дне» матери Андре, а та считала ее невежей и все-таки проявляла чрезвычайный интерес к тому, что происходило в доме у жены финансиста. Потому-то она каждый год и уговаривала Андре пригласить Альбертину погостить у них на вилле; она

доказывала, что это доброе дело — предоставить возможность пожить у моря девушке, у которой нет денег на путешествия и о которой тетка почти не заботится; мать Андре не надеялась, что банкир и его супруга, узнав, как она и ее дочь привечают Альбертину, будут о них хорошего мнения; и уж, конечно, еще слабее была у нее надежда на то, что Альбертина при всей своей благожелательности и хитроумии добьется приглашения для нее или, по крайней мере, для Андре на garden-parties к финансисту. Но каждый вечер за ужином, напустив на себя презрительный и равнодушный вид, она с упоением слушала рассказы Альбертины о том, что происходило в замке, когда она там жила, и кого там принимали, хотя мать Андре знала почти всех только в лицо или по имени. Мысль, что она имеет о них смутное представление, а вернее — не имеет никакого представления (она называла таких людей своими «старинными знакомыми») приводила мать Андре в мрачное настроение, — хотя расспрашивала она Альбертину сквозь зубы, с видом надменным и рассеянным, — и могла бы вызвать у нее тревогу и неуверенность в своем положении в обществе, но она сама себя успокаивала и «возвращалась к действительности», говоря метрдотелю: «Скажите повару, что горошек твердоват». После этого она уже не впадала в меланхолию. Она твердо решила выдать Андре за человека, конечно, из очень хорошей семьи, но настолько состоятельного, чтобы у нее были повар и два кучера. Это составляло основу, залог прочности положения. Но то обстоятельство, что Альбертина ужинала в замке у банкира с такой-то и такой-то дамой, что одна из них пригласила Альбертину погостить у нее зимой, в глазах матери Андре все-таки до известной степени Возвышало Альбертину, но это мирно уживалось у нее. с пренебрежением к обездоленной Альбертине — пренебрежением, усиливавшимся еще и от того, что Бонтан предал свое знамя и — по слухам, причастный даже к «панаме», — стал поддерживать правительство. Это не мешало матери Андре из чувства справедливости обливать презрением тех, кто как будто бы считал, что Альбертина — девушка низкого звания. «То есть как? На что же лучше! Она из тех Симоне, что пишутся через одно „н“. Конечно, в такой среде, в которой громадную роль играют деньги, где элегантность — порука в том, что девушку пригласят бывать в доме, но не в том, что ей сделают предложение, Альбертина не могла рассчитывать на „сносную“ партию, то есть не могла извлечь пользу из поклонения ей, ибо оно не восполняло отсутствия средств. И все же самый ее „успех“ хотя и не подавал ей матримониальных надежд, а все-таки вызывал зависть у иных злопыхательствовавших матерей, ненавидевших Альбертину за то, что ее принимали как „родную дочку“ жена банкира и даже мать Андре, с

которыми они были едва знакомы. Вот почему они говорили тем, кто дружил и с ними, и с теми двумя дамами, что те две дамы были бы возмущены, если бы знали правду: якобы Альбертина рассказывала у одной (и vice versa) обо всем, что вследствие неосторожности, с какой ее подпустили к интимной стороне жизни другой, она там вызнала, якобы она выбалтывала многое множество маленьких секретов, разглашение которых было бы крайне неприятно для заинтересованного лица. Завистницы распространяли сплетню для того, чтобы ее подхватили другие, для того, чтобы рассорить Альбертину с ее покровительницами. Но их старания, как это нередко случается, были безуспешны. Во всем этом слишком отчетливо проступала злоба, и пускавшие сплетню добивались только того, что их еще больше презирали. У матери Андре сложилось об Альбертине совершенно определенное мнение, и поколебать его было невозможно. Она смотрела на Альбертину как на „обойденную“, но прекрасную по душе девушку, думающую только о том, как бы сделать что-нибудь приятное другим.

Хотя эта особая знаменитость Альбертины не обещала никаких практических результатов, зато она наложила на подругу Андре отпечаток, характерный для тех, с кем ищут знакомства, но кто сам на знакомство не напрашивается (отпечаток, встречающийся по тем же обстоятельствам в самом высшем кругу, у необыкновенно элегантных дам), кто не хвастается своими успехами, а, скорей наоборот, скрывает их. Альбертина никогда не сообщала: «Он жаждет со мной повидаться», обо всех говорила только одно хорошее так, как будто она добивается расположения других, ищет с ними знакомства. Когда при ней говорили о молодом человеке, который за несколько минут перед тем с глазу на глаз осыпал ее горчайшими упреками за то, что она отказалась прийти к нему на свидание, она мало того, что не хвалилась своей победой, мало того, что нисколько на него не сердилась, но еще и восхищалась им: «Он прелестный мальчик». Ей было даже неприятно, что она нравится, так как этим она вызывала неудовольствие у других, а между тем она была рождена, чтобы делать людям приятное. Она так любила делать приятное, что даже пользовалась ложью, к которой прибегают иные деловые люди, иные карьеристы. Существующий в зачаточном состоянии у многих, этот вид неискренности заключается в том, что человек не довольствуется одним поступком, приятным одному лицу. Например, если тетка Альбертины выражала желание, чтобы племянница ехала с ней на какое-нибудь не очень веселое сборище, то Альбертина, согласившись, могла бы получить полное нравственное удовлетворение от того, что это приятно тетке. Но хозяева принимали ее радушно, и она

считала своим долгом сказать им, что она давно мечтала с ними повидаться и что, воспользовавшись случаем, она попросила тетю, чтобы та взяла ее с собой. И это еще не все:

Альбертина встречала там свою подругу, которую постигло большое несчастье. Альбертина говорила ей: «Я боялась, что тебе будет тяжело одной, я подумала, что со мной тебе будет легче. Если хочешь, уйдем отсюда, пойдем куда-нибудь еще, я все для тебя сделаю, только бы ты не грустила» (и тут она была искренна). Но бывало и так, что ложная цель уничтожала истинную. Когда Альбертине нужно было чего-нибудь добиться для своей подруги, она ради этого ехала к какой-нибудь даме. Но, явившись к этой милой и симпатичной даме, Альбертина бессознательно подчинялась правилу извлечения из одного и того же действия пользы множественной и, движимая наилучшими побуждениями, притворялась, будто приехала ради удовольствия повидаться. с хозяйкой дома. Хозяйка была глубоко тронута тем, что Альбертина приехала издалека только из дружеских чувств. Видя, что дама взволнована чуть не до слез, Альбертина любила ее сейчас больше прежнего. Кончалось же это вот чем: Альбертина говорила неправду, что приехала сюда из дружеских чувств, но радость дружбы брала над ней такую власть, что она начинала бояться, как бы дама не усомнилась в искренности ее действительно прекрасного к ней отношения, если она попросит за свою подругу. Дама может подумать, что Альбертина только ради этого к ней и приехала, и это правда, но отсюда она выведет заключение, что просто повидаться с ней Альбертине не хочется, и вот это уже неверно. Альбертина уходила, так и не отважившись попросить за подругу, — совсем как иные мужчины, которые, рассчитывая на успех у женщины, бывают особенно предупредительны и, чтобы она не подумала, что это — предупредительность с корыстной целью, не объясняются ей в любви. В других случаях нельзя было бы сказать, что Альбертина истинную цель приносит в жертву побочной, возникшей по ходу действия, но обе ее цели были до такой степени несовместимы, что если б тот, кто расчувствовался, когда узнал от Альбертины о первой ее цели, услышал о другой, то его умиление мгновенно уступило бы место тяжелому чувству. Значительно дальше это противоречие объяснится. А пока приведем пример совсем из другой области, доказывающий, что подобного рода противоречия постоянно обнаруживаются в самых разных обстоятельствах. Муж поселил свою любовницу в городе, где стоит его воинская часть. Жена, осведомленная о многом, ревнует его и шлет ему из Парижа отчаянные письма. Вдруг любовнице понадобилось на один день съездить в Париж. Муж не может отказать любовнице в просьбе поехать с

ней и берет отпуск на сутки. Но он человек мягкий, мысль, что жена будет из-за него страдать, для него нестерпима, и он приходит к ней и, плача настоящими слезами, говорит, что, встревоженный ее письмами, он нашел предлог, чтобы вырваться к ней, успокоить ее и обнять. Таким образом, он нашел предлог, чтобы одной этой поездкой доказать свою любовь и любовнице и жене. Но если б жена узнала, зачем он приезжал в Париж, радость несомненно сменилась бы для нее страданием, разве лишь счастье увидеться с этим бесчестным человеком возобладало бы над мучениями из-за его лжи. К числу людей, наиболее последовательно применявших принцип множественности целей, принадлежал, на мой взгляд, де Норпуа. Кое-когда он брался помирить поссорившихся друзей и благодаря этому стяжал себе славу в высшей степени обязательного человека. Но маркизу было недостаточно внушить тому, кто просил его об услуге, что он идет на это только ради него, — другому он разъяснял, что решился на этот шаг вовсе не по настоянию первого, а в интересах другого, и ему ничего не стоило убедить в этом собеседника, заранее уверенного, что имеет дело с человеком, «в высшей степени услужливым». Так, ведя двойную игру, ведя то, что на языке счетоводов именуется двойной бухгалтерией, он ни разу не подорвал своего авторитета, и оказываемые им услуги способствовали не убыванию, а, наоборот, приращению этой его особой влиятельности. Любая кажущаяся двойная услуга маркиза вдвойне упрочивала его репутацию услужливого друга, притом услужливого с толком, бьющего без промаха, приводящего свои предприятия к желанному концу, что доказывала благодарность, которую ему выражали обе стороны. Эта двойственность в обязательности являлась вместе с отходами от нее, ибо у каждого человека нет правил без исключений, характерной чертой маркиза де Норпуа. И в министерстве он часто прибегал к услугам моего отца, а тот был до того наивен, что верил, будто это маркиз оказывает ему услугу.

Альбертина имела такой успех, какого она и не добивалась, ей не надо было трезвонить о своих победах, — вот почему она никому ничего не сказала о сцене, которая разыгралась между нами у ее постели и о которой какая-нибудь уродина рассказала бы всему свету. Кстати сказать, ее поведение во время этой сцены так и осталось для меня загадкой. Гипотезу об ее безупречной нравственности (гипотезу, с помощью которой я сначала объяснял себе, почему Альбертина с такой яростью отвергла мои посягательства и не далась мне, и которая, впрочем, никак не была связана с моим представлением о доброте, о врожденном благородстве моей приятельницы) я несколько раз перестраивал. Эта гипотеза ничего общего не имела с той, какую я построил при первой моей встрече с Альбертиной.

Столько ее поступков, свидетельствовавших о другом, о внимании ко мне (внимании ласковом, подчас тревожном, настороженном, полном ревности к Андре) со всех сторон окружало ту резкость, с какой она, чтобы избавиться от меня, взялась за звонок! Так зачем же она предложила мне провести вечер у ее постели? Почему она, говоря со мной, выбирала такие ласковые выражения? Чего же стоят желание увидеться с другом, страх, что он предпочтет вашу подругу, желание сделать ему приятное, тоном героини романа сказанные слова о том, что никто не узнает о вечере, проведенном вдвоем, — чего все это стоит, если вы отказываете ему в таком простом наслаждении и если для вас это не наслаждение? Я все же не мог допустить мысли, что нравственность Альбертины заходит так далеко, и даже задавал себе вопрос, уж не кроется ли под ее резкостью кокетство: ей, например, могло показаться, что от нее дурно пахнет, и она боялась, как бы это не оттолкнуло меня от нее, или же мнительность: по незнанию физиологии любви она могла, например, подумать, что моя нервность заразна и передастся ей через поцелуй.

Она была несомненно расстроена тем, что не доставила мне удовольствия, и подарила мне золотой карандашик, движимая извращенным добросердечием, каким Отличаются люди, которых умилило ваше внимание и которые, отказав вам в том, что ваше внимание от них требует, стараются сделать вам какую-нибудь другую любезность: критик, вместо того, чтобы написать статью, которая могла бы порадовать романиста, приглашает его на обед, герцогиня не берет с собой сноба в театр, а вместо этого предоставляет ему свою ложу на тот вечер, когда ее в театре не будет. От делающих мелкие одолжения, хотя они могли бы не делать их вовсе, совесть требует сделать хоть что-нибудь. Я сказал Альбертине, что очень рад карандашу, но не так, как был бы рад в тот вечер, когда она пришла ночевать в отель, если б она позволила мне поцеловать ее. «Как бы я был счастлив! Ну что вам стоило? Меня удивляет ваш отказ». — «А я дивлюсь тому, — возразила она, — что даетесь диву вы. С какими же это девушками вы водили знакомство до меня, если вас поразило мое поведение?» — «Я очень расстроен тем, что рассердил вас, но я и сейчас не чувствую себя виноватым. По-моему, тут ничего такого нет, мне неясно, почему девушка не может доставить удовольствие, если ей это ничего не стоит. Постараемся понять друг друга, — продолжал я, вспомнив, как она и ее подруги поносили подругу актрисы Лии., и решив отчасти приноровиться к ее понятиям о нравственности, — я не хочу сказать, что девушка может позволить себе все и что ничего безнравственного нет. Ну вот хотя бы: на днях вы говорили о том, что

девочка, которая живет в Бальбеке, находится в каких-то отношениях с актрисой, — вот это, с моей точки зрения, отвратительно, до того отвратительно, что я даже начинаю думать, что все это выдумали ее враги и что все это ложь. Мне это представляется невероятным, немыслимым. Но позволить поцеловать себя, и даже больше, позволить другу, — ведь вы же называете меня своим другом…» — «Да, вы — мой друг, но у меня и до вас были друзья, я была знакома с молодыми людьми, и — уверяю вас — их дружеские чувства ко мне были не менее крепки. И, однако, никто из них себе этого не позволил. Они знали, что получат за это по морде. Да они и не помышляли об этом, мы, никого не боясь, не таясь, по-товарищески пожимали друг другу руки, о поцелуях не было и речи, но от этого наша дружба не страдала. Ну так вот, если вы дорожите дружбой со мной, то можете быть довольны: если я вас прощаю, значит, вы нравитесь мне до безумия. — Но только я уверена, что вам на меня наплевать. Признайтесь: вы увлечены Андре. Если разобраться, вы правы — она намного лучше меня, она чудная! Эх, мужчины, мужчины!» Несмотря на всю горечь моего разочарования, откровенное признание Альбертины вызвало во мне глубокое к ней уважение и преисполнило нежности. И, быть может, как раз эта нежность имела для меня важные и неприятные последствия, ибо оно зародило во мне почти родственное чувство, создало незыблемую духовную основу моей любви к Альбертине. Такое чувство может быть причиной очень тяжелых переживаний. Ведь для того, чтобы по-настоящему страдать из-за женщины, нужно во всем ей верить. В данное время этот зародыш уважения, дружбы жил в моей душе как залог. Сам по себе он не мог бы явиться помехой моему счастью, если бы он не рос, если бы он бездействовал и в дальнейшем, как бездействовал весь следующий год и, уж конечно, в конце моей первой поездки в Бальбек. Он жил во мне на правах гостя, которого все-таки благоразумнее было бы выставить, но которого безбоязненно оставляют, потому что до определенного времени он представляется совершенно безопасным — так этот зародыш хил и так ему одиноко в чужой душе.

Мои мечты были теперь вольны перенестись на любую из подруг Альбертины и, в первую очередь, на Андре, внимательность которой не так бы меня умиляла, не будь я уверен, что о ней узнает Альбертина. Разумеется, показное предпочтение, которое я уже давно отдавал Андре, послужило мне — благодаря частым беседам, изъявлениям нежности — как бы готовым материалом для любви к ней — для любви, которой до сих пор недоставало искренности и которою теперь, когда мое сердце вновь обрело свободу, я мог бы ее полюбить. Но Андре была слишком

рационалистична, слишком нервна, слишком болезненна, слишком похожа на меня, и в моей душе не могло вспыхнуть настоящее чувство к ней. Пусть Альбертина казалась мне теперь пустой, но мне было слишком хорошо известно, чем полна Андре. Я подумал при первой встрече на пляже, что передо мной любовница гонщика, помешанная на спорте, а она сообщила мне, что занялась спортом по совету врача, чтобы вылечиться от неврастении и наладить пищеварение, и что самое счастливое время ее жизни — это когда она переводит роман Джордж Элиот. Мое разочарование в Андре — следствие неправильного представления о ней — не оказало на меня, в сущности, никакого влияния. Это был один из тех неправильных взглядов, которые могут способствовать зарождению любви, но мы убеждаемся в их неправильности, когда уже ничего поправить нельзя, и они становятся для нас источником страданий. Неправильные взгляды, — они могут быть и не такими, как мое ошибочное представление об Андре, могут быть и противоположными, — часто обусловливаются, как в случае с Андре, тем, что человек старается внешне и своими повадками на кого-нибудь походить и создать на первых порах иллюзию. Игра, подражание, желание привести в восторг и добрых и злых прибавляют к сходству в наружности мнимо похожую манеру выражаться, мнимо похожую жестикуляцию. Иные виды цинизма и жестокости не выдерживают испытания, как не выдерживает его определенный вид доброты, определенный вид великодушия. Часто в человеке, известном своей щедростью, открывается тщеславный скупец, а хвастовство порочностью заставляет нас принять за Мессалину честную, опутанную предрассудками девушку. Я был уверен, что Андре — натура здоровая и простая, а она только хотела быть здоровой, как, быть может, многие из тех, кого она принимала за здоровых и кто на самом деле совсем не был здоров, подобно тому как краснорожий толстяк в белой фланелевой куртке вовсе не обязательно должен быть Геркулесом. Но в иных случаях для нашего счастья не безразлично, что человек, которого мы любили, потому что считали его здоровым, на поверку оказывается больным, набирающимся здоровья у других, — так заимствуют свет планеты, так иные тела служат не более чем проводниками электричества.

И все же Андре, подобно Розамунде и Жизели, была подругой Альбертины, даже еще более близкой, чем они проводившей с ней время и так искусно ей подражавшей, что при первой встрече я не сразу отличил одну от другой. Эти девушки — стебли роз, главная прелесть которых заключалась в том, что они выделялись на фоне моря, — были по-прежнему нераздельны, как и в те времена, когда я был с ними незнаком и

когда появление любой из них глубоко волновало меня, возвещая близость всей стайки. Еще и сейчас при виде одной из них я испытывал наслаждение, в которое известную долю — как определить ее? — вносило ожидание скорой встречам с другими, но даже если они в тот день и не появлялись, я все-таки испытывал наслаждение просто от разговора о них и от сознания, что им расскажут, что я шел на пляж.

Это было уже не просто очарование первых дней; это была самая настоящая жажда любить — безразлично, кого из них, так естественно одна переходила в другую,. Не самым большим моим горем было бы, если бы от меня отвернулась та девушка, которая мне особенно нравилась, но мне сейчас же особенно понравилась бы, потому что теперь она явилась бы средоточием моей грусти и моих мечтаний, неразличимо колыхавшихся надо всеми, та, которая бы от меня отвернулась. Впрочем, 9 данном случае я бы о всех ее подругах, в чьих глазах я вскоре утратил бы всякое очарование, бессознательно тосковал бы, тоскуя о ней, и признался бы им в той необычной, собирательной любви, какою политический деятель или актер любит публику и не может утешиться, если она, преклонявшаяся перед ним, неожиданно к нему остынет. У меня даже вдруг появлялись надежды на то, что раз Альбертина не стала моей поклонницей, то я найду себе поклонницу в лице другой — той, что, прощаясь со мною вечером, сказала что-нибудь многозначительное, бросила на меня многозначительный взгляд, устремлявший на другой день все мои мечты к ней.

Мои мечты с особым сладострастием летали теперь между ними, ибо на этих живых лицах уже достаточно закрепились характерные их черты, так что можно было уловить, хотя бы он потом и менялся, их пластичный, воздушный образ. Различиям между ними, конечно, еще далеко не соответствовали одинаковые различия в длине и ширине черт, которые, несмотря на всю их кажущуюся непохожесть, можно было, пожалуй, придать почти любой девушке. Но мы познаем лица не математическим путем. Оно, это познание, начинается не с измерения отдельных линий, — оно исходит из выражения, из целого. У Андре, например, зоркость ласковых глаз как бы соотносилась с узким носом, таким тонким, точно это была единая кривая линия, проведенная только для того, чтобы ею одной продолжить склонность к мягкости, членившейся над нею в двойной улыбке взглядов-близнецов. Такая же тонкая линия шла у нее в волосах, неровная, глубокая, напоминавшая борозду, проведенную ветром в песке. И это, наверно, было у нее наследственное: совершенно седые волосы матери Андре, взбитые точно так же, образовывали то бугорки, то впадины,

подобные снежным сугробам и ухабам, зависящим от неровностей почвы. Конечно, по сравнению с тонко очерченным носом Андре у носа Розамунды были гораздо более широкие плоскости, он напоминал высокую башню на прочнейшем фундаменте. Выражение лица способно убедить в том, что отделенное чем-либо бесконечно малым решительно ни на что не похоже, — а бесконечно малое может само создать выражение совершенно особенное, целую индивидуальность, — и все же не только бесконечно малое, содержавшееся в какой-нибудь линии, и не только своеобразие выражения способствовали тому, что лица девушек не сливались в одно. Лица моих подружек еще резче обособляла окраска, — и не столько переливчатой красотой тонов, до того разных, что я испытывал и стоя перед Розамундой, облитой изжелта-розовым светом, в котором еще отблескивали зеленоватым блеском глаза, и стоя перед Андре, белые щеки которой строго оттенялись чернотою волос, такое же наслаждение, как если бы я глядел то на герань, растущую у осиянного солнцем моря, то — в ночи — на камелию, — сколько в силу того, что бесконечно малые различия в линиях вырастали до невероятности, соотношения плоскостей изменялись до неузнаваемости благодаря новому элементу, элементу краски, великому искуснику по части распределения отливов, равно как и по части восстановления или, по крайней мере, изменения размеров. Таким образом, лица, быть может, не очень разнившиеся по своему строению, в зависимости от того, чем они заливались: пламенем рыжих, с розовым отливом, волос, белым ли светом матовой бледности, вытягивались или же расширялись, превращались во что-то иное, вроде аксессуаров русских балетов, иные из которых при дневном свете представляют собой самые обыкновенные бумажные кружочки, а когда гений Бакста погружает декорацию в бледноалое или же затопляет ее лунным светом, то они накрепко врезываются в нее, точно бирюза на фасаде дворца, или томно распускаются бенгальской розой в саду. Итак; занявшись изучением лиц, мы их измеряем, но как художники, а не как землемеры. С Альбертиной все было так же, как и с се подругами. В иные дни, осунувшаяся, с серым лицом, хмурая; с косячками фиалковой прозрачности на дне глаз, как это бывает на море, она, казалось, тосковала тоскою изгнанницы. В другие дни желания вязли на лощеной поверхности ее разгладившегося лица, и оно не пускало их дальше; если же мне удавалось бросить на нее взгляд сбоку, то я видел, что на ее щеках, матовых на поверхности, как белый воск, проступало розовое, и это рождало страстное желание поцеловать их, поймать этот иной, ускользавший оттенок. Временами счастье озаряло ее таким неверным светом, что кожа на ее лице становилась текучей, неясной

и пропускала как бы таившиеся под нею взгляды, и они окрашивали ее в другой цвет, но сама кожа была из того же вещества, что и глаза; иногда, вперив бездумный взгляд в ее усеянное коричневыми точечками лицо, на котором мерцали два голубых пятна, я принимал его за яйцо щегла, часто — за опаловый агат, отшлифованный и отполированный только в двух местах, где на буром камне прозрачными крылышками голубого мотылька сияли глаза, в которых плоть становится зеркалом и создает иллюзию, что глаза ближе, чем что-либо другое, подпускают нас к душе. Однако чаще всего цвет ее лица был ярче, и тогда вся она оживлялась; кое-когда розовым на белом лице был только самый кончик носа, тоненький, как у хитренькой кошечки, с которой хочется поиграть; иногда щеки у нее были до того гладкие, что взгляд по ним скользил, как по миниатюре из розовой эмали, и эта эмаль ее щек казалась еще нежнее, еще интимнее благодаря приподнятой над нею крышке черных волос; случалось, ее щеки принимали лилово-розовый цвет цикламена; а бывало даже и так, что когда Альбертина разрумянивалась или когда у нее был жар, то, напоминая о ее болезненности, которая примешивала к моему чувству что-то нечистое и которая придавала ее лицу порочное, нездоровое выражение, ее щеки заливал темный пурпур некоторых видов роз, и они черно краснели; и каждая из этих Альбертин была иная, как иной при каждом своем появлении бывает танцовщица, ибо ее цвета, формы, нрав меняются в зависимости от бесконечно разнообразной игры света, исходящего от направленного на нее софита. Быть может, именно потому, что такими разными были существа, которые тогда виделись мне в ней, со временем я и сам привык быть, в зависимости от того, какую Альбертину я, себе представлял, разным человеком: ревнивым, равнодушным, сладострастным, печальным, буйным, и я вновь становился то тем, то другим не только по воле воскресшего воспоминания, но и в зависимости от того, сильнее или слабее была сегодня моя вера в одно и то же воспоминание, от того, много или мало оно сегодня — для меня значило. Ведь нам постоянно приходится возвращаться к этому, к этой вере, которая почти всегда наполняет нам душу, так что мы об этом не подозреваем, но которая все-таки важнее для нашего счастья, чем тот человек, который нам виден, потому что видим мы его сквозь нее, это она временно возвеличивает человека, на которого мы глядим. Чтобы быть точным, я должен был бы дать особое имя каждому из тех «я», которое потом думало об Альбертине; и уж, во всяком случае, я должен был бы дать особое имя каждой из тех Альбертин, какие представали передо мной, всегда разные, как, — я только для удобства море называю морем, — те моря, что

сменялись одно другим и на фоне которых новоявленной нимфой выступала она. Но, самое главное, точь-в-точь как, только с гораздо большей пользой для дела, сообщают в рассказе о том, какая в тот день стояла погода, я должен был бы всякий раз давать новое имя вере, которая в такой-то день, когда я видел Альбертину, царила в моей душе, создавая атмосферу, творя внешний облик людей, как творится облик моря в зависимости от почти незаметных облачков, меняющих окраску любого предмета своею скученностью, своею подвижностью, своею рассеянностью, своею плавучестью — вроде того облачка, которое однажды вечером разорвал Эльстир, не познакомив меня с девушками, с которыми он остановился и чьи образы вдруг показались мне еще прекраснее, когда они начали удаляться, — облачка, снова наплывшего несколько дней спустя, когда я с ними познакомился, застившего их блеск, заслонявшего их, непроницаемого и тихого, как вергилиева Левкотея.

Разумеется, лицо каждой из них приобрело для меня совершенно иной смысл после того, как способ их прочтения мне был в известной мере указан их словами, словами, которым я мог приписывать тем большую ценность, что сам вызывал их на разговор своими вопросами, заставлял их разнообразить ответы, словно я был экспериментатором, ожидавшим от повторных опытов подтверждения своим догадкам. И, в сущности, это вполне законный способ решать вопрос о смысле жизни — настолько приближаться к предметам и к людям, которые издали казались нам прекрасными и таинственными, чтобы иметь возможность убедиться, что в них нет ни J» таинственности, ни красоты; это одна из гигиен, которую человек волен предпочесть другим, гигиена, быть может, не очень рекомендуемая, но с нею легче жить и — поскольку она помогает нам ни о чем не жалеть, помогает тем, что уверяет нас, что мы достигли наивысшего счастья, но что и наивысшее-то счастье стоит дешево, — легче примириться с мыслью о смерти.

Я заменил в душе девушек безнравственность, воспоминания об ежедневных интрижках основами порядочности, способными, быть может, подаваться, но до сих пор предохранявшими от всяких заблуждений тех, в ком их заложила буржуазная среда. Однако если вы допускаете неточность в самом начале, даже в какой-нибудь мелочи, если ошибочное предположение или ошибка памяти направляют вас на ложный след в поисках злостного сплетника или места, где вы что-нибудь потеряли, то может случиться, что, обнаружив ошибку, вы замените ее не истиной, а еще одной ошибкой. Думая над образом жизни моих приятельниц и над тем, как надо с ними себя вести, я сделал все выводы из слова «невинность»,

которое я прочел во время задушевных бесед с ними на их лицах. Но читал-то я, быть может, не вдумываясь, и допустил ошибку при слишком беглом чтении с листа, а слово это не было написано на их лицах, как не было написано имя Жюля Ферри на программе того утреннего спектакля, когда я в первый раз смотрел Берма, что не помешало мне уверять маркиза де Норпуа, что Жюль Ферри пишет одноактные пьесы и что это никакому сомнению не подлежит.

О какой бы моей приятельнице из стайки ни шла речь, мог ли бы я запомнить не только то лицо, которое я видел при последней встрече, коль скоро из наших воспоминаний, связанных с кем-либо, сознание отметает все, что не непосредственно необходимо для наших ежедневных встреч (и даже особенно если эти отношения пронизывает любовь, а ведь любовь, всегда ненасытная, живет в грядущем)? Цепь минувших дней бежит мимо сознания, и оно цепляется уже за конец цепи, а конец цепи часто бывает не из того же металла, что и звенья, — «исчезающие в ночи, и в нашем странствии по жизни оно признает действительно существующим только тот край, где мы находимся в настоящее время. Но все впечатления, уже такие далекие, не находили в борьбе против повседневного их искажения опоры в моей памяти; в течение долгих часов я разговаривал, закусывал, играл с девушками и уже не помнил, что ведь это они — те жестокие и сластолюбивые девы, которые, будто на фреске, шествовали мимо меня у самого ' моря.

Географы, археологи действительно приводят нас на остров Калипсо, действительно откапывают дворец Миноса. Вот только Калипсо для них обыкновенная женщина, а Минос — царь, в котором нет ничего божественного Даже достоинства и недостатки, которые, — о чем мы теперь узнаем из истории, — были свойственны этим вполне реальным лицам, часто очень отличаются от тех, коими мы наделяем сказочные существа, носившие те же имена. Так рассеялась вся чарующая океаническая мифология, которую я создал в первые дни. Но для нас не совсем безразлично то, что мы хоть изредка проводим время в тесном общении с людьми, которые раньше казались нам недоступными и к которым нас влекло, f? В отношениях с теми, кто с самого начала был нам неприятен, неизменно присутствует, даже если мы получаем от общения с этими людьми мнимое удовольствие, привкус ненатурального, привкус их недостатков, которые им удалось скрыть. Но в таких отношениях, как мои с Альбертиной и ее подругами, истинное наслаждение, лежавшее в их основе, оставляет после себя запах, которого никакие ухищрения не придадут тепличным плодам, винограду, созревшему не на солнце. Первое

время я смотрел на них как на существа сверхъестественные, но и теперь они все еще незаметно для меня вносили нечто волшебное в банальную сторону наших отношений, точнее — они предохраняли их от всякой банальности. Моя мечта так страстно желала разгадать смысл, какой таили в себе их глаза, уже знавшие меня и улыбавшиеся мне, но при первой встрече скрестившие свои взгляды с моими, будто лучи из иного мира, она так щедро и так кропотливо распределяла краски и запахи между телами девушек, лежавших на скале и без всяких церемоний протягивавших мне сандвич или игравших в загадки, что часто днем, как художник, ищущий античного величия в современности и наделяющий женщину, которая обрезает на ноге ноготь, благородством «Юноши с занозой», или, подобно Рубенсу, творящий богинь из своих знакомых женщин ради того, чтобы написать картину на мифологический сюжет, я окидывал взглядом эти прекрасные тела, бронзовые и белые, такого разного сложения, раскинувшиеся вокруг меня на траве, окидывал взглядом, не вычерпывая из них, быть может, всей той заурядности, какою их наполнила повседневность, не напоминая себе сознательно о небесном их происхождении, и вместе с тем чувствовал себя кем-то вроде Геракла или Телемака, затеявшего игру с нимфами.

Затем концерты прекратились, настало ненастье, мои приятельницы уехали из Бальбека, не все сразу, как улетают ласточки, но на одной и той же неделе. Альбертина покинула Бальбек первая, неожиданно, так что ни одна из ее подруг не могла понять, ни тогда, ни потом, почему она так внезапно вернулась в Париж, куда ее не призывали ни работа, ни увеселения «Не сказала ни что, ни как, и укатила», — ворчала Франсуаза, которой, однако, хотелось, чтобы так же стремительно выкатились и мы. Она считала, что мы нехорошо поступаем по отношению к тем, правда уже немногочисленным, служащим, которых задерживало несколько постояльцев, и по отношению к директору, который «зря расходовался». И правда, из отеля, который должен был скоро закрыться, давно уже выехали почти все; только теперь в нем стало уютно. Директор придерживался, однако, другого мнения; мимо гостиных, где можно было замерзнуть и у дверей которых уже не стояли на часах грумы, он расхаживал по коридорам, одетый в новый сюртук, по-видимому только что побывавший у парикмахера, который сделал из его испитого лица смесь, на одну четверть состоявшую из кожи, а на три четверти — из косметики, всегда в новом галстуке (такое щегольство обходится дешевле отопления и содержания персонала; кто уже не в состоянии пожертвовать десять тысяч франков на благотворительность, тому еще легко сделать широкий жест и дать пять

франков рассыльному, который принес телеграмму). Он словно производил смотр небытию, ему словно хотелось своим безукоризненным видом показать, что оскудение отеля в связи с неудачным сезоном — явление временное, и походил он на призрак монарха, возвращающийся на развалины своего дворца.

Особенно его возмущало, что из-за отсутствия пассажиров местные поезда перестали ходить до весны. «Чего здесь не хватает, — говорил директор, — так это средств передвижения». Подсчитанные убытки не мешали ему строить грандиозные планы на годы вперед. Он обладал способностью точно запоминать изящные обороты речи, если их можно было применить к отелю и если они могли придать ему блеску. «Мне не хватало подсобников, хотя в столовой у меня была бравая команда, — говорил директор, — но посыльные оставляли желать лучшего; вот увидите, какую фалангу я подберу на будущий год». А пока из-за того, что не ходили местные поезда, он посылал за почтой, да и людей иногда возил в двуколке. Я часто просил, чтобы мне позволили примоститься рядом с кучером, и это давало мне возможность совершать прогулки, не считаясь с погодой, как в ту зиму, которую я прожил в Комбре.

И все-таки иной раз из-за проливного дождя мы с бабушкой, так как казино закрылось, оставались в почти пустом отеле; и тогда нам казалось, будто мы в трюме корабля в ветреный день, а для довершения сходства с морским путешествием к нам каждый день подходил кто-нибудь из тех, с кем мы прожили три месяца бок о бок, не познакомившись: председатель реннского суда, канский старшина, американка с дочерьми, заговаривали, совещались о том, как убить время, обнаруживали таланты, обучали нас играм, приглашали выпить чаю или послушать музыку, собраться в таком-то часу, чтобы совместно придумать одно из развлечений, обладающих секретом доставлять истинное удовольствие, причем весь его секрет состоит в том, что оно, вовсе не ставя своей задачей развлекать нас, заботится лишь о том, чтобы нам не было скучно, — словом, завязывали с нами к концу нашей бальбекской жизни дружеские отношения, каждый день с кем-либо прерывавшиеся, так как все постепенно разъезжались. Я даже познакомился с богатым юношей, с одним из его знатных друзей и с актрисой, опять приехавшей в Бальбек на несколько дней; теперь этот кружок состоял из трех человек, потому что еще один друг богача уехал в Париж. Они пригласили меня пообедать в их любимом ресторане. По-моему, они были довольны, что я отказался. Но приглашали они меня чрезвычайно любезно, и хотя звал меня, собственно, богатый юноша, а другие были его гостями, но так как друг богача, маркиз Морис де

Водемон, происходил из высшей знати, то у желавшей мне польстить актрисы невольно вырвалось:

— Вы этим доставите большое удовольствие Морису.

Когда же я встретил всех трех в вестибюле, то именно маркиз де Водемон, а не юноша из богатой семьи, обратился ко мне: «Не доставите ли вы нам удовольствие пообедать с нами?»

В сущности, я как следует не насладился Бальбеком, и это только усиливало во мне желание приехать сюда еще раз. Я не мог отделаться от ощущения, что я пробыл здесь недолго. А у моих друзей было другое ощущение, и они писали мне, что, как видно, я решил здесь поселиться. На конвертах они писали: «Бальбек», мое окно выходило не в поле и не на улицу, а на водную равнину, по ночам до меня долетал ее шум, которому я, перед тем как забыться, вверял свой сон, точно ладью, и все это вместе взятое поддерживало во мне иллюзию, что благодаря соседству с волнами, хочу я этого или не хочу, в меня, спящего, проникает их очарование, подобно тому как в наш слух проникают уроки, которые мы учим во сне.

Директор предлагал мне на будущий год любую из лучших комнат, но я привязался к своей, куда я теперь входил, уже не обоняя запаха ветиверии, и где моя мысль, вначале с таким трудом поднимавшаяся на ее высоту, в конце концов точно укладывалась в ее размеры, так что потом мне пришлось, наоборот, опускать ее в Париже, когда я ложился спать в моей прежней комнате с низким потолком.

Пора было и впрямь уезжать из Бальбека — дольше оставаться в нетопленном и сыром помещении отеля без каминов и калориферов было немыслимо. Да я и почти сейчас же забыл последние эти недели. Передо мной почти всякий раз при мысли о Бальбеке воскресало то время, когда по утрам, в ясную погоду, если я собирался днем на прогулку с Альбертиной и ее подругами, бабушка по предписанию врача заставляла меня лежать в темноте. Директор требовал, чтобы на нашем этаже не шумели, и самолично следил за исполнением своих распоряжений. Свету бывало так много, что я подолгу не раздвигал широких лиловых занавесей, которые отнеслись ко мне так неприязненно в первый вечер. Но хотя Франсуаза ежевечерне закалывала их булавками, чтобы они не пропускали света, откалывать же их только она одна и умела, хотя она прикрепляла к занавесям и одеяла, и красную кретоновую скатерть, и куски разных материй, плотно завесить окно ей все-таки не удавалось, я не оставался в полной темноте, на ковер как бы осыпалась рдяность лепестков анемона, и я не мог отказать себе в удовольствии хотя бы на минутку поставить на нее голые ноги. А напротив окна, на не полностью освещенной стене виднелся

в вертикальном положении золотой цилиндр, ничем не поддерживаемый и двигавшийся медленно, будто огненный столп, ведший евреев в пустыне. Я снова ложился; по необходимости неподвижный, я получал воображаемое удовольствие от всего сразу: от игры, от купанья, от ходьбы, от того, чем мне советовало насладиться утро, и радость моя была так сильна, что сердце у меня громко стучало, точно заведенная машина, но только не двигавшаяся, вынужденная развивать скорость на месте, вращаясь вокруг себя.

Я знал, что мои приятельницы на набережной, но не видел, как они идут мимо неодинаковых звеньев моря, за которым, далеко-далеко, временами, когда разъяснивалось, был виден высившийся над голубоватыми его гребнями, похожий на итальянский поселок городок Ривбель, весь, до последнего домика, явственно различимый в свету. Я не видел моих приятельниц, но — по долетавшим до моего бельведера выкрикам газетчиков, «газетных служащих», как величала их Франсуаза, крикам купальщиков и игравших детей, оттенявшим, вроде крика морских птиц, рокот мягко рассыпавшихся волн, — догадывался, что они близко, слышал их смех, закутанный, подобно смеху нереид, в мягкий шум прибоя, достигавший моего слуха. «Мы ждали, не спуститесь ли вы, — говорила мне вечером Альбертина. — Но ставни у вас не открылись, даже когда начался концерт». В десять часов, действительно, под моими окнами гремел концерт. В перерывах, если еще не было отлива, опять до меня доносилось текучее и неутихающее скольженье валов, которые словно закутывали хрустальными своими свитками скрипичные каприччо и обрызгивали пеной прерывистые отзвучия какой-то подводной музыки. Я с нетерпением ждал, когда мне подадут одеваться. Но вот часы бьют двенадцать, наконец-то является Франсуаза. И все лето в том самом Бальбеке, куда я так рвался, потому что он представлялся мне исхлестанным вихрями и заволоченным туманами, стояла такая слепяще солнечная и такая устойчивая погода, что когда Франсуаза открывала окно, мои ожидания не обманывала загибавшая за угол наружной стены полоса света, всегда одной и той же окраски, уже не волновавшей как знамение лета, но тусклевшей, словно безжизненный, искусственный блеск эмали. И пока Франсуаза вытаскивала из оконного переплета булавки, отцепляла куски материи и раздвигала занавески, летний день, который она мне открывала, казался таким же мертвым, таким же древним, как пышная тысячелетняя мумия, и эту мумию старая служанка должна была сначала со всеми предосторожностями распеленать, а потом уже показать ее, набальзамированную, в золотом одеянье.

Комментарии

…получил приглашение в Твикенгем или Бэкингем Пэлес… — В пригороде Лондона Твикенгеме находилась резиденция графа Парижского (внук Луи-Филиппа Людовик-Филипп-Альберт Орлеанский; 1838-1894), высланного из Франции в 1886 г., так как он претендовал на престол. Лондонский Бэкингемский дворец был резиденцией английской королевской семьи.

…он будет часто появляться значительно позднее у «покровительницы» в замке Распельер. — Замок Распельер, принадлежавший маркизе де Говожо и снятый г-жой Вердюрен («покровительница»), часто становится местом действия следующих частей эпопеи Пруста. Романист поместил этот замок в окрестности также вымышленного Бальбека.

…до войны — то есть до франко-прусской войны 1870 г.

…в эпоху «16 мая»… — Пруст имеет в виду изменение политического курса французского правительства: президент республики маршал Мак-Магон образовал 16 мая 1877 г. кабинет в основном из монархистов-бонапартистов. Это вызвало оживленные дебаты в Палате депутатов, вынудившей это г. кабинет подать в отставку (21 ноября 1877 г.).

...по уплате долгов в Египте… — Имеется в виду деятельность так называемой Кассы государственного долга в Египте, которая была создана Англией и Францией в Александрии в 1876 г. В 1879 г. были учреждены должности двух генеральных контролеров, назначаемых соответственно каждой страной, принимавшей участие в управлении Египтом.

«Деба» — консервативная парижская газета. Издавалась с 1789 г, первоначально как отчет о заседаниях Национального собрания (откуда и ее название), затем превратилась в основной орган консерваторов. Закрыта в 1944 г.

Легуве Эрнест (1807-1903) — французский писатель-драматург, автор популярной в свое время пьесы «Адриенна Лекуврер». Постоянный секретарь Французской Академии.

Максим Дюкан (1822-1894) — французский поэт, романист и журналист, друг Флобера. Нападавший в молодости на академизм и заявлявший себя сторонником литературного новаторства (и вообще научного и технического прогресса), Дюкан затем стал членом Французской Академии (1880) и призывал к примирению с

действительностью.

Мезьер Альфред (1826-1915) — французский литератор, автор историографических работ умеренно республиканского толка.

Клодель Поль (1868-1955) —французский поэт и драматург символистского направления, автор пьес, проникнутых мистическими идеями: — «Залог», «Благовещение», «Атласный башмачок», в которых академическая риторика переплеталась с усложненной символикой.

Баррес Морис (1862-1923) — французский писатель. От символистского лирического восприятия действительности в своих ранних произведениях он перешел к культу «национального характера», «родной земли» и т. д. («Лишенные корней», «Колетт Бодош»), трактуемых в реакционном духе.

Жорж Берри (1852-1915) — французский политический деятель-республиканец, депутат парламента от Парижа.

Рибо Александр (1842-1923) —французский политический деятель, один из лидеров партии умеренных республиканцев; занимал посты министра финансов, министра иностранных дел, премьер-министра (1895, 1917).

Дешанель Поль (1855-1922) — французский политический деятель, один из вождей республиканской партии в 80-х и 90-х гг. Его отец Эмиль Дешанель (1819-1904) был также видным антимонархистом.

Моррас Шарль (1868-1952) —французский писатель, один из организаторов «Аксьон франсез», крайне реакционной организации, и одноименного журнала (выходил в 1908-1944 гг.), перешедших от последовательного монархизма к идеям фашизма»

Леон Доде (1867-1942) — французский писатель, сын Альфонса Доде. Л. Доде был последовательным сторонником» национализма и монархизма; во время «дела Дрейфуса» занял реакционные позиции. Пруст был долгие годы дружен с Л. Доде и посвятил ему третью часть своей эпопеи — роман «По направлению к Германтр (1920).

Феодосий — персонаж, уже встречавшийся на страницах первого романа Пруста. В этом образе находят черты болгарских князей Александра Баттенбергского (1857-1893), ставшего болгарским монархом в 1879 г. и отрекшегося от престола (из-за конфликта с Россией) в 1886 г., и Фердинанда Саксен-Кобургского (1861-1948), внука Луи-Филиппа, избранного князем в 1887 г. и провозглашенного царем в 1908 г.

Пале-Рояль — театр в Париже, основанный в 1831 г.; в нем ставились в основном водевили и комедии.

Берма. — В образе этого персонажа Пруста объединились, как

полагают, черты таких знаменитых французских актрис, как Рашель и Сара Бернар, хотя эти последние также упоминаются на страницах его романов.

«Ревю де Де Монд» — один из популярнейших и влиятельнейших французских литературных журналов XIX в., придерживавшийся умеренно либерального направления; выходит с 1829 г.

«Андромаха» — трагедия Расина, созданная в 1667 г.

«Причуды Марианны» — комедия Альфреда де Мюссе. написанная в 1833 г.

«Ты покидаешь нас? Не сетуй на докуку» — стих из трагедии Расина «Федра» (д. 2, явл. 5).

…к картине Тициана во Фрари… — Речь идет о картине Тициана «Мадонна Пезаро» (1525-1528), находящейся в венецианской церкви Санта Мария Глориоза деи Фрари.

…к картинам Карпаччо в Сан Джордже дельи Скьяви. — Пруст имеет в виду картины венецианского художника Витторе Карпаччо (1450-1525) «Св. Иероним в келье», «Св. Георгий, поражающий дракона» и др., находящиеся в венецианской церкви Сан Джордже дельи Скьяви (всего художник выполнил 9 картин для этой церкви).

«Полусвет» — популярная в свое время комедия французского писателя Александра Дюма-сына, впервые поставленная в парижском театре «Жимназ» в 1855 г.

…для памятника Юлию II… — Микеланджело работал над надгробием папы Юлия II с 1513 по 1545 г. Это надгробие, со знаменитой фигурой Моисея, находится в римской церкви Сан Пьетро ин Винкули.

…создателю гробницы Медичи в Пьетросантских каменоломнях… — Речь идет о создании знаменитой Капеллы Медичи при флорентийской церкви Сан Лоренцо. Над осуществлением этого проекта Микеланджело работал с 1520 по 1534 г., так и не доведя его до конца. Пьетросантские мраморные карьеры находятся в предгорьях Апуанских Альп, южнее знаменитых Каррарских карьеров.

Энона — наперсница Федры в одноименной трагедии Расина.

Ариция — персонаж трагедии Расина, афинская царевна, захваченная в плен и живущая в доме Тезея.

Ментор — в греческой мифологии друг Одиссея и воспитатель его сына Телемаха. Ментор стал героем популярного романа французского писателя Фенелона (1651-1715) «Приключения Телемака» (1699).

Анахарсис — герой древней истории, живший в VI в. до н. э. По происхождению скиф, он совершил путешествие по Греции и подру^жился с афинским общественным деятелем Солоном. Французский писатель

эпохи Просвещения аббат Жан-Жак Бартелеми (1716-1795) посвятил ему роман «Путешествие юного Анахарсиса по Греции» (1788).

Орсейская набережная — набережная в Париже, на которой находится французское министерство иностранных дел.

Виктория-Ньянца — озеро в Экваториальной Африке, исток Нила.

Русский четырехпроцентный заем — один из займов, предоставленных Францией царскому правительству в период русско-французского сближения 1888-1894 гг. За этот период Россия получила в виде займов более 3 млрд. франков.

Ватель — дворецкий принца Конде, покончивший самоубийством (1671) из-за того, что на обеде, который его хозяин давал в честь Людовика XIV, одно из блюд оказалось неудачным. Об этом событии подробно рассказывает в своих письмах французская писательница-эпистолограф г-жа де Севинье (1626-1696).

Вогубер— вымышленный персонаж, французский представитель при короле Феодосии. Вогубер встречается и в других романах эпопеи Пруста.

Консульта — римский дворец, построенный архитектором Фердинандо Фугой (1699-1781) в 1737 г.; в этом дворце помещается министерство иностранных дел Италии.

Дворец Фарнезе — дворец в Риме, построенный по проекту Антонио да Сангалло Младшего (1485-1546) и законченный Микеланджело. В этом дворце помещалось посольство Франции.

Галерея Каррaччи — галерея во дворце Фарнезе, расписанная в 1597-1604 гг. итальянскими художниками Агостино (1557-1602) и Аннибале (1569-1609) Карраччи.

Вильгельмштрассе — берлинская улица, на которой находилось министерство иностранных дел Германии.

Сент-Джеймский кабинет — то есть английское правительство, которое помещается в Сент-Джеймском дворце, построенном в 1532-1540 гг. и затем много раз достраивавшемся и перестраивавшемся (особенно после пожара 1809 г.). Хотя этот дворец давно уже перестал служить королевской резиденцией, он остается символом английского «двора» и правительства.

Певческий мост— мост в Петербурге через Мойку, близ которого находилось министерство иностранных дел.

Двуглавая монархия — то есть Австро-Венгрия.

Монтечиторио — дворец в Риме, в котором после объединения Италии помещалась палата депутатов.

Бельплац — площадь в Вене, где помещалось австрийское

министерство иностранных дел.

Барон Луи Жозеф-Доминик (1755-1837) — французский политический деятель, министр финансов при Людовике XVIII и Луи-Филиппе.

Академия Моральных Наук. — Это учреждение, входящее во Французский Институт (объединение различных академий), было основано в 1795 г.; в него входят ученые в области философии, истории, права и экономики. Как и во Французской Академии, в Академии Моральных Наук 40 постоянных членов.

Эттингены — старинный баварский аристократический род, отдельные члены которого носили титул герцога.

…человек, отстранивший Бисмарка… — Речь идет о кайзере Вильгельме II (1859-1941), вынудившем канцлера Бисмарка подать в отставку из-за разногласий об отношениях с Россией (1890).

Сент-Шапель — церковь в Париже, построена в 1242-1248 гг. архитектором Пьером де Монтреем. Это шедевр готики (как и упоминаемые соборы Шартра и Реймса). Церковь пристроена к Дворцу Правосудия.

Турвиль Анн де Котантен (1642-1701) —маршал Франции, видный военный деятель, командовавший французским флотом во время войн с Англией и Голландией.

Пудинг Нессельроде. — Дипломат Норпуа называет пудинг именем известного русского дипломата XIX в. Карла Васильевича Нессельроде (1780-1862), министра иностранных дел с 1816 по 1856 г.

…что скажет Бресте, если я женюсь на мадмуазель де Монморанси?.. — Маркиз Аннибал де Бреоте-Консальви, один из поклонников Одетты, часто фигурирует в романах Пруста. Здесь рядом с этим вымышленным именах названа старинная французская дворянская фамилия — Монморанси.

Менделисты — то есть последователи известного ученого-генетика Иоганна Менделя (1822-1884), изучавшего законы наследственности.

…о котором повествуется в мифологии… — В греческой мифологии немало рассказов о существах, являющихся как бы результатом скрещивания человека с каким-либо животным, например, о сиренах (девы-рыбы), кентаврах (люди-кони) и т. д.

Ломени Луи (1815-1878) — французский писатель и литературный критик, автор «Галереи современных знаменитостей».

…ни «Сен-Марса», ни «Красной печати»… — Пруст имеет в виду исторический роман Альфреда де Виньи «Сен-Марс», вышедший в 1826 г., и его же повесть «Красная печать» из книги «Неволя и величие солдата»

(1835).

Академия Надписей — научное учреждение, основанное в 1663 г. Кольбером. Ее 40 постоянных членов являются специалистами в области истории и археологии.

…прочел в книге Масперо… — Пруст имеет в виду одну из популярных работ известного французского египтолога Гастона Масперо (1846-1916), его «Историю народов Востока» (1875), «Этюды по египетской мифологии и археологии» (1893) и др.

Ассурбанипал — ассирийский царь, правивший в 668-626 гг, до н. э.

Брессан Жан-Батист (1815-1886) — популярный в свое время актер парижского театра «Комеди Франсез».

Тирон Шарль-Жозеф (1830-1891) — популярный комический актер парижского театра «Одеон».

«Авантюристка» — популярная стихотворная — комедия Эмиля Ожье (1820-1889), известного французского буржуазного драматурга второй половины XIX в., поставленная впервые на сцене «Комеди Франсез» в 1848 г.

«Зять господина Пуарье» — комедия Э. Ожье и Жюля Сандо (1811-1883), осмеивающая сословные пороки аристократии (поставлена в 1854 г. в парижском театре «Жимназ»).

Легран Поль (1816-1898) — французский актер-мимист, последователь и ученик Дебюро. Его игра отличалась большой внешней выразительностью.

Пий X — Мастаи Феррети (1792-1878), папа римский с 1846 г. Он пытался воспрепятствовать объединению Италии, так как понимал, что оно означало конец светской власти пап. По его инициативе Вселенский собор 1869-1870 гг. провозгласил догмат папской непогрешимости.

Распайль Франсуа (1794-1878) — французский ученый-химик и политический деятель, участник революций 1830 и 1848 гг.

«…вечером, в глуши лесов…» — цитата из стихотворения Альфреда де Виньи «Рог», написанного в 1825 г.

Габриэль Анж-Жак (1698-1782) — французский архитектор, построивший ряд значительных зданий в Париже (Военная школа, особняк Крийон на площади Согласия) и Версале (Малый Трианон, Опера).

Дворец промышленности. — Это обширное здание в Париже строи» лось в 1853-1855 гг. в связи со Всемирной выставкой 1855 г. по проекту архитектора Вьеля.

Трокадеро — здание в Париже, построенное архитекторами Габриэлем Давиу (1823-1881) и Бурде в связи со Всемирной выставкой 1878 г.

Порт-Сен-Мартен — триумфальная арка, воздвигнутая в Парижа в предместье Сен-Мартен в 1675 г. в честь побед короля Людовика XIV.

Порт-Сен-Дени — триумфальная арка, построенная в Париже в предместье Сен-Дени по проекту архитектора Франсуа Блонделя (1617-1686) в ознаменование перехода французских войск через Рейн в 1672 г.

«Орфей в аду» — оперетта Ж. Оффенбаха на либретто Кремье, поставленная впервые в 1858 г. в парижском театре «Буфф-Паризьен»; в новой редакции пьеса поставлена в 1874 г. театром «Гетэ».

Сен-Симон Луи де Рувруа (1675-1755) — французский политический деятель и мемуарист. Пруст хорошо знал многотомные «Мемуары» Сен-Симона и не раз ссылался на них в своих романах.

Сен-Фереоль — аристократическое семейство, восходящее к незаконному сыну Людовика XIV и мадемуазель де Ла Вальер.

Эвменида — аттическое имя Эриний, богинь мщения в древнегреческой мифологии.

Берлье Жан-Батист (1843-1911) — французский инженер-строитель, автор проектов пневматической почты и парижского метрополитена.

…как верующий отстраняет от себя ренанову «Жизнь Иисуса»… — Работы Эрнеста Ренана (1823-1892), в том числе и его «Жизнь Иисуса» (1863), были далеки от ортодоксального христианства, и по настоянию церкви философ был лишен кафедры в Коллеж де Франс.

…подобно упорядоченной вселенной Канта… — Немецкий философ Иммануил Кант (1724-1804) считал, что картина вселенной упорядочивается при помощи субъективных форм созерцания — пространства и времени.

Дворец Дария. — Речь идет о дворце персидского царя Дария I (521-486 до н. э.) в Сузах, раскопанном французскими археологами супругами Марселем-Огюстом и Жанной Дьельфуа.

Жером Жан-Леон (1824-1904) — французский живописец и скульптор академического направления, автор псевдоисторических жанровых картин из античной жизни.

…вопреки теории Вольфа… — Речь идет о теории немецкого филолога Фридриха Августа Вольфа (1759-1824), утверждавшего, что «Илиада» и «Одиссея» написаны разными авторами.

«Критика чистого разума» — одна из основных работ Канта, опубликованная в 1781 г.

«Чужестранец! Иди и расскажи спартанцам!» — Надпись в Фермопильском ущелье в память о битве, которую вел спартанский царь Леонид (490-480 гг. до н. э.) и его 300 воинов против персидского войска;

спартанцы погибли в сражении, но не пропустили врага.

Дело Дрейфуса. — Как известно, французский офицер Альфред Дрейфус (1859-1935), еврей по национальности, был осужден по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии в 1894 г. Упоминание этого скандального процесса, разделившего французское общество на два враждебных лагеря, дает возможность датировать действие романа Пруста первой половиной 90-х гг. прошлого века.

Агентство Гавас — информационное агентство, основанное в 1835 г. в Париже Шарлем Луи Гавасом для поставок иностранной информации редакциям парижских газет. В 1879 г. преобразовано в акционерное общество. Агентство Гавас было крупнейшим буржуазным телеграфным агентством Франции периода Третьей республики. Просуществовало до 1940 г.

…кузен Бет, «глупый кузен». — Игра слов, основанная на сходном звучании французского слова «глупый» и имени героини романа Бальзака «Кузина Бетта». Это как бы перевод в «мужской род» (по аналогии с названием бальзаковского романа «Кузен Понс») заглавия «Кузины Бетты».

Герцог Шартрский (1840-1910) — брат графа Парижского, внука Луи-Филиппа.

…"Из Эны». — Это название современного департамента, в который вошли земли старинных провинций Иль-де-Франс и Пикардии. Аристократы, кичащиеся древностью своего рода, указывают всегда название провинции, в ко горой жили их предки, а не департамента, так как до революции 1789 г. никаких департаментов не существовало.

Гробницы Сен-Дени. — Речь идет об усыпальнице французских королей в аббатстве Сен-Дени под Парижем; это аббатство было основано в 626 г. франкским королем Дагобертом I.

Клингсор — волшебник, персонаж немецкого рыцарского романа «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха (нач. XIII в.) и одноименной оперы Р. Вагнера (1882), написанной на сюжет этого произведения.

…владычество китайской гаммы… — Пруст имеет в виду пентатонику (пятизвучие), которой в конце века увлекались многие композиторы (например, Дебюсси); однако пентатоника, воспринимавшаяся как экзотика и архаика лишь отдаленно напоминает строй китайской музыки.

Арменонвиль — местечко под Парижем в Булонском лесу со знаменитым рестораном.

Савонарола Джироламо (1452-1498) — итальянский религиозный деятель, вождь демократического уравнительного еретического движения

во Флоренции.

Фра Бартоломео (1469-1517) — итальянский художник флорентийской школы; был сторонником движения Савонаролы и изобразил последнего на одной из своих картин.

Беноццо Гоццоли (1420-1497) — итальянский художник флорентийской школы. Его фреска «Поклонение волхвов» находится в капелле палаццо Медичи-Рикарди во Флоренции (выполнена в 1459-1460 гг.). На фреске изображены члены семьи Медичи.

Сарду Викторьен (1831-1908) — популярный французский драматург второй половины XIX в., автор многочисленных драм и комедий из жизни парижских буржуа («Простофили», «Друзья-приятели», «Мушиные лапки» и др).

Коклен Бернар-Констан (1841-1909) — французский актер, особенно выделявшийся в пьесах драматургов-классицистов. Выступал в основном на сцене «Комеди Франсез».

Винтергальтер Франц (1806-1873) — немецкий художник, жанрист и портретист, работавший главным образом в Париже. Его заказчиками были по большей части представители аристократии.

Принцесса Матильда (1820-1904) — племянница Наполеона I, дочь его брата Жерома Бонапарта. В 1840 г. вышла замуж за графа Анатолия Демидова (1812-1870), с которым вскоре разошлась. Обладая литературным и художественным вкусом, она дружила с писателями (например, с Мерчме) и даже участвовала в выставках.

…Наполеон Третий и русский император. — Брак принцессы Матильды и Луи-Наполеона расстроился в 1839 г. из-за неудачной попытки последнего свергнуть Луи-Филиппа. Обсуждался также возможный брак принцессы с русским царем Александром II.

После его статьи про императора… — Статья Ипполита Тэна (1828-1893) появилась в «Ревю де Де Монд» в 1887 г., тогда как визит Николая II в Париж состоялся в 1896 г.

Герцогиня Орлеанская Шарлотта — Елизавета Баварская, принцесса Палатинская (1652-1722) — французская аристократка, письма которой живо рисуют светское общество времен Людовика XIV.

…уроженки Вюртемберга. — Матерью принцессы Матильды была принцесса Екатерина Вюртембергская.

…посещения царем Николаем Дома инвалидов. — Это посещение состоялось 7 октября 1896 г. и широко освещалось в печати.

Принц Людовик (1864-1932) — племянник принцессы Матильды, (сын ее брата Наполеона-Жерома (1822-1891); служил в русской армии.

…компьенских вечеров… — Компьен — город недалеко от Парижа со старинным замком и парком. В период Второй империи здесь часто собиралось высшее общество и бывал двор.

Герцог де Гиз Генрих (1550-1588) —французский аристократ, видный политический деятель эпохи; он претендовал на престол и был убит по распоряжению короля Генриха III.

Вилар Луи-Эктор (1653-1734) — французский полководец, маршал Франции. Интересные воспоминания о нем оставил Сен-Симон.

Бришо — персонаж романов Пруста, профессор Сорбонны, один из завсегдатаев салона Вердюренов

Джордж Элиот (1819-1880)— псевдоним английской писательницы Мэри Анн Эванс, автора популярных в свое время социальных романов.

Гесперида — в древнегреческой мифологии одна из дочерей Геспера, божества вечерней звезды; Гесперид сторожили сад с золотыми яблоками (этот сад находился на крайнем западе земного круга).

Олимпийская метопа — квадратный промежуток на фризе одного из храмов древнегреческого города Олимпии, раскопки которого проходили на протяжении всего XIX в.

Эрехтейон — один из храмов Афинского акрополя, воздвигнутый в честь аттического героя Эрехтея, отождествлявшегося иногда с Посейдоном. Построен в 421-406 гг. до н. э.

Гегесо — изображение афинянки на стеле V в. до н. э., откопанной в 1870 г.

Керамика— древнее кладбище в Афинах.

Коры — шесть фигур «умоляющих» на южном портике Эрехтейона.

…из дивных орант Акрополя… — то есть фигур молящихся, украшавших древний Афинский акрополь.

…и помнили только о Пор-Ройяль… — Пруст имеет в виду связь Расина с аскетическим учением янсенизма, насаждавшегося в монастыре Пор-Ройяль (основан в 1204 г., переведен в Париж в 1625 г., закрыт в 1709 г. по распоряжению Людовика XIV).

Когда Расин намекнул при Людовике XIV на Скаррона… — Французский писатель Поль Скаррон (1610-1660) был мужем Франсуазы д'Обинье, которая затем, под именем г-жи де Ментенон, была воспитательницей детей Людовика XIV и многолетней возлюбленной (а потом и тайной женой) короля.

Мелюзина — героиня средневековых легенд (в основном пуатевинских) и рыцарских романов, фея, принимающая то образ необычайной красавицы, то змеи. Считалась покровительницей

феодального рода Лузиньянов.

…жертва обманчивого сходства, на котором построены «Близнецы»… — Речь идет о комедии древнеримского драматурга Плавта (ок. 254-184 гг. до н. э.), сюжет которой построен на необычайном сходстве двух братьев-близнецов.

…подобно очаровательному волхву на фреске Луини… — Речь идет о фреске итальянского художника миланской школы Бернардино Луини (ок. 1475-после 1533 г.) «Поклонение волхвов» в церкви паломников в Саронно.

Мантенья Андреа (1431-1506) — итальянский художник падуанской школы. Один из любимых художников Пруста.

«называла ее Рахилью. — Рахиль — героиня библейской мифологии.,

«Рахиль, ты мне дана» — начало популярней арии из оперы Фроманталя Галеви (1799-1862) «Жидовка» (1835) на слова Скриба.

«Фигаро» — популярная парижская газета; возникла в 1854 г. как сатирический еженедельник, преобразована в 1866 г. в ежедневную газету. Направление газеты было официозным.

П.Ж. Сталь — псевдоним известного парижского издателя Пьера-Жюля Этцеля (1814-1886). Под этим псевдонимом Этцель публиковал свои популярные книги для детей.

Лили — героиня серии детских книг Этцеля («День мадмуазель Лили», «Путешествие мадмуазель Лили» и др.).

Леспинас Жюли де (1732-1776) — хозяйка популярного литературного салона и писатель-эпистолограф. В ее салоне часто бывали многие энциклопедисты, а Даламбер был ее интимным другом. Сначала компаньонка маркизы Марии Дю Дефан (1697-1780), Леспинас затем организовала свой собственный салон, соперничавший с салоном Дю Дефан. Это привело к открытой вражде светских дам.

Анри Гревиль (подлинное имя — Алиса Флери; 1842-1902) — популярная в свое время французская романистка.

«Закон и Пророки» — то есть Ветхий завет.

Magnificat — картина Сандро Боттичелли «Мадонна во славе», выполненная в 1482-1483 гг. (Флоренция, Уффици).

…как у Весны. — Речь идет о прославленной картине Боттичелли «Аллегория Весны», написанной в 1477-1478 гг. по заказу Лоренцо Великолепного для виллы ди Кастелло. В фигуре Весны — прекрасной молодой женщины в светлой, затканной цветочными узорами одежде — видели сходство с Симонеттой Каттанео, возлюбленной Джулино Медичи.

«Прыгай в лодку» — так называлась легкая дамская накидка с короткими рукавами.

«Скучно любить, если у тебя нет больших денег» — сказал Лабрюйер. — Цитата из книги французского моралиста Лабрюйера (1645-1696) «Характеры» (глава IV «О сердце», 20). В оригинале: «Грустно любить тому, кто небогат, кто не может осыпать любимую дарами и сделать ее такой счастливой, чтобы ей уже нечего было желать». (Перевод Ю. Корнеева и Э. Линецкой.)

Иосиф и фараон в одном лице, я принялся толковать сон — Намек на известный библейский эпизод: проданный в рабство Иосиф толкует фараону его сон о семи годах изобилия и семи годах голода в земле Египетской (Бытие, 41, 1-36).

…в праздник «ледяных святых»… — то есть 11 мая. В этот день (когда отмечаются святая Эстелда и др.) часто случается похолодание и даже заморозки.

…как тансонвильская крутая тропинка… — Здесь герой вспоминает о своих детских прогулках «по направлению к Свану» в Комбре, о чем подробно рассказано в первом романе Пруста. Тансонвиль — имение Свана под Комбре.

Гипатия — легендарная афинянка, прославившаяся как видный философ и математик (ок. 370-415 гг.). Сравнение г-жи Сван с Гипатией навеяно строками Леконт де Лидя:

Она одна живет, безгрешна и извечна,
Смерть может разбросать миров дрожащих строй,
Но красота горит, рождаясь бесконечно,
И катятся миры под белою стопой!
(Перевод И. Поступольского)

Антуан де Кастелан (род. 1844) — французский политический деятель, член парламента.

Адальбер де Монморанси. — Род Монморанси известен по меньшей мере с XII в. Пруст не раз упоминает в своих книгах членов этого рода, причем далеко не всегда реально существовавших.

Сен-Лазар — вокзал в Париже.

…как ехала г-жа де Севинье из Парижа в Лориан через Шон и через Понт-Одемер. — Упоминания этих поездок г-жи де Севинье Пруст нашел в письмах последней от 2 мая и 12 августа 1689 года и 28 июня 1671 года. Лориан — город на юге Бретани, в департаменте Морбиан; Шон — городок в Пикардии; Понт-Одемер — небольшой город в департаменте Эр.

…Легранден так и не дал нам письма к сестре… — О желании родителей героя получить рекомендательное письмо к сестре Леграндена, живущей в Бальбеке, говорится в первом романе Пруста.

Сен-Ло — старый французский город на север от Парижа; в нем пользуется известностью собор Богомагери, памятник поздней готической архитектуры (XIV в.).

…восторженного путешественника, о котором пишет Рескин. — Пруст многие годы увлекался творчеством английского писателя-эссэиста и теоретика искусства Джона Рескина (1819-1900) и в 1900-1906 гг. опубликовал о нем серию статей.

Шарден Жан-Батист (1699-1779) — французский художник-реалист, в основном писавший жанровые сцены из жизни небогатых горожан, крестьян и т. д.

Уистлер Джон (1834-1903) — англо-американский художник, близкий к импрессионизму, автор многих портретов и жанровых картин.

Анна Бретонская (1477-1514) — жена французских королей Карла VIII и Людовика XII. Дочь Бретонского герцога, она принесла Бретань в качестве приданого французской короне.

Регул — политический деятель Древнего Рима, консул с 267 по 256 г. до н. э. Он славился твердостью характера и верностью своему слову.

«Воспоминания госпожи де Босержан»— Такой книги в действительности не существовало.

Г-жа де Симьян Полина (1674-1737) — внучка г-жи де Севинье, автор писем, изданных в 1773 г. Пруст цитирует ее письма 1734-1735 гг.

…Везло или Шартр, Бурж или Бове — это сокращенные названия их главных церквей. — Пруст перечисляет французские города со знаменитыми соборами романского или готического стиля — Везле с собором святой Магдалины (нач. XII в.), Шартр с кафедральным собором XIII в., Бурж с собором XIII в., Бове с собором XIII в.

Кемперлэ, Понт-Асен — небольшие городки на юге Бретани Понт-Авен был местом работы многих художников-импрессионистов, в том числе Гогена.

Энкарвиль, Маркувиль, Довиль, Понт-а-Кулевр, Арамбувиль, Сен-Марс-ле-Вье, Эрмонвиль, Менвиль. — Пруст перечисляет по большей части реально существующие бретонские города и селения, но также и вымышленные, чьи названия он образовывает по аналогии с действительно существующими.

Никербокеры — широкие панталоны, застегивающиеся под коленом. Их надевали обычно при игре в гольф.

…взглядом Миноса, Эака и Радаманта… — то есть взглядом справедливого, строгого судьи. Эти герои греческой мифологии славились мудростью своих суждений и, согласно легендам, стали после смерти

судьями в загробном мире.

Дюге-Труэн Рене (1673-1736) — французский моряк; прославился в военных кампаниях Людовика XIV. Человек добрый и бескорыстный, он был очень любим простыми матросами. Его статуя есть в бретонском городе Сен-Мало.

Кардинал Ла Балю Жан (1421-1491) — исповедник, затем государственный секретарь короля Людовика XI. Обвиненный в измене, он провел в заточении более десяти лет (1469-1480).

Ветиверия — растение, культивируемое в Индии и на Антильских островах; из его корней добывают благовония.

…"на краю мола» или в «будуаре», как сказано у Бодлера… — Неточные цитаты из Бодлера; первая — из цикла «Маленькие стихотворения в прозе» («Порт»), вторая — из «Цветов зла» («Осенняя мелодия»), где говорится:

Люблю зеленый блеск в глазах с разрезом длинным,
В твоих глазах — но все сегодня горько мне…
И что твоя любовь, твой будуар с камином
В сравнении с лучом, скользнувшим по волне.
(Перевод В. Левика)

Блондина — католическая святая, христианка, замученная в Лионе в 177 г.; она была брошена на съедение диким зверям, но те не тронули свою жертву, так как были уже сыты; тогда Бландина была растерзана быками.

«Одеон» — театр в Париже, основанный в 1797 г. и просуществовавший, несмотря на пожар 1819 г., в течение всего XIX в.

Тур д'Аржан — модный ресторан в Париже.

Ранавало III (1862-1917) — королева Мадагаскара с 1883 по 1894 г., когда она была свергнута французами и выслана ими в Алжир.

…на фреске «Жизнь Моисея», на которой Сван когда-то узнал ее в облике дочери Иофора. — Речь идет о фреске Сандро Боттичелли в Сикстинской капелле в Ватикане, изображающей сцены из жизни библейского патриарха Моисея, в частности его жену Сепфору, дочь Иофора.

Карно Сади (1837-1894) — французский инженер и политический деятель, республиканец; избран на пост президента Французской республики в 1887 г., убит в Лионе анархистом Казерно в 1894 г.

«Уж не полцарства ли тебе отдать я должен?» — Стих из трагедии Расина «Эсфирь» (стих 660).

Пятнадцатое августа. — В этот день католическая церковь отмечает Успение.

Эрцгерцог Рудольф (1858-1889) — сын австрийского императора Франца-Иосифа; покончил с собой из-за какой-то романтической истории.

…чем Платон — слова Сократа, а Иоанн Богослов — Иисуса. — Как известно, сочинения Сократа не сохранились; мы знаем о них лишь по упоминаниям Платона, у которого в диалогах принимает участие в разговорах Сократ; вполне очевидно, что многие мысли Сократа в этих диалогах приписаны ему Платоном. Из четырех Евангелий Евангелие от Иоанна считается наименее точно передающим мысли Иисуса.

…одного из учеников Тициана…— Речь идет об испанском художнике Эль Греко.

Гюстав Моро (1826-1898) — французский художник, автор пользовавшихся в свое время шумным успехом картин на античные и библейские сюжеты, представитель символизма в живописи.

Баронесса д'Анж — персонаж комедии Дюма-сына «Полусвет» (1855).

Матюрен Ренье (1573-1615) — французский поэт-сатирик. «Масетта» — одна из сатир Ренье, рисующая сатирический портрет старой куртизанки и сводни.

Главконома — нимфа речных вод (нереида), упоминаемая в «Теогонии» Гесиода (стих 256).

Нартекс — паперть христианского храма.

«Церковь оглашенных» — то есть церковь неофитов, обучаемых устно закону божию перед принятием крещения.

…воспитанницам г-жи де Ментенон… — Г-жа де Ментенон была организатором закрытых учебных заведений для девочек из дворянских семей (Сен-Сир), по примеру которых создавались аналогичные «институты» в других странах. Поздние пьесы Расина «Эсфирь» и «Гофолия» были впервые поставлены воспитанницами Сен-Сира.

«Орестея». — Речь идет о второй части («Орест») драмы Леконт де Лиля «Эринии».

…изгнание иезуитов вызвало такое возмущение… — Речь идет об изгнании иезуитов из Франции светскими властями в 1880 г.

Моле Луи-Матьс, граф (1781-1855) — французский политический деятель умеренно консервативного направления, премьер-министр с 1837 по 1839 г.

Фонтан Луи, маркиз (1757-1821) — французский политический деятель, ректор парижского университета (при Наполеоне), министр при Людовике XVIII; друг Шатобриана.

Витроль Эжен, барон (1774-1854) — французский политический деятель, министр Людовика XVIII, крайний роялист, участник заговора в

Вандее против Луи-Филиппа.

Берсо Эрнест (1816-1880) — французский философ либерального направления и журналист, директор Эколь Нормаль.

Пакье Этьен-Дени, герцог (1767-1862) — французский государственный деятель, председатель палаты пэров при Луи-Филиппе, канцлер (1837). Отличался политической гибкостью, поэтому входил в правительства разного направления.

Лебрен Анн-Шарль, герцог (1775-1839) —французский военный в политический деятель, участник наполеоновских войн; при Реставрации — пэр и сенатор.

Сальванди Нарсис-Ашиль, граф (1795-1856) — французский политический деятель и писатель. В период Реставрации входил в оппозицию, при июльской монархии был министром.

Дарю Пьер, граф (1767-1829) — французский военный деятель, генеральный интендант наполеоновской армии; автор мемуаров.

Норны — в скандинавской мифологии девы, вершащие судьбы людей.

…я слушал моих Океанид. — Морские нимфы, океаниды, утешали своими песнями прикованного к скале Прометея.

«Она источала извечную тайну печали» — неточная цитата из повести Шатобриана «Атала».

«Так слезы над ручьем льет в горести Диана» — цитата из поэмы Альфреда де Виньи «Дом пастуха» (цикл поэм «Судьбы»).

«Был сумрак величав и свадебно торжествен»— цитата из стихотворения Виктора Гюго «Спящий Вооз» (сборник «Легенда веков»).

…сам потребовал от короля отставки и руководил конклавом… — Речь идет о присутствии Шатобриана, французского посла в Риме, при избрании папы Пия VIII (февраль 1829 г.) после смерти папы Льва XII. Из-за разногласий с премьер-министром и министром иностранных дел Жюлем-Арманом Полиньяком (1780-1847) Шатобриан подал в отставку (август 1829 г.). Обо всем этом писатель рассказал в своих мемуарах.

Де Блакас Пьер-Жан-Луи, герцог (1771-1839) — французский политический деятель, крайний роялист. Был послом в Неаполе в конце 20-х гг., то есть тогда, когда Шатобриан был послом в Риме.

«Дворянский герб с перьями» — цитата из стихотворения А. де Виньи «Чистый дух».

«И ястреб золотой на шлеме у меня» — цитата из «Сонета к господину А Т.» Альфреда де Мюссе.

…когда он принимал его в Академию, он его как следует отщелкал. — Виньи был избран во Французскую Академию 8 мая 1845 г. (после

нескольких неудач). Приветственную речь при его торжественном принятии произнес граф Моле (29 января 1846 г.) порядочно отругав при этом поэта за то, что тот отказался в ответном слове восхвалять правящую династию.

…первое представление «Эрнани»… — Оно состоялось 25 февраля 1830 г. и вылилось в ожесточенную схватку сторонников классицизма и романтиков.

Герцог Немурский Луи (1814-1896) — сын Луи-Филиппа.

Багар Сезар (1639-1709) — французский скульптор и декоратор; работал только в провинции (главным образом в Нанси).

Герцогиня де Прален (1807-1847) — дочь генерала Себастиани, убитая собственным мужем, так как она препятствовала его связи с гувернанткой их детей. Через неделю после этого убийства герцог де Прален покончил с собой.

…всего лишь госпожой де Шуазель… — Род Прален был в родстве со старинной дворянской фамилией Шуазелей, известной уже в XI в.

Бассиньи — старинное графство в Шампани, входившее во владения семьи Шуазель.

Герцогиня де Ларошфуко. — Старинная дворянская фамилия Ларошфуко имела своих представителей и в XIX в., например, известен Амбру аз-Поликарп Ларошфуко-Дудовиль (1765-1841), министр Карла X. Пруст часто называет фамилию Ларошфуко в своих романах.

Дудан Хименес (1800-1872) — французский писатель, секретарь видного политического деятеля середины XIX в. герцога де Брольи. Дудан был приятелем Мериме. Письма Дудана, опубликованные посмертно, полны остроумия и веселости.

Ремюза Шарль (1797-1875) — французский писатель и общественный деятель либерального направления; автор литературно-критических статей, биографических исследований (о Жанне д'Арк и др.) и т. п.

Жубер Жозеф (1754-1824) — французский писатель-моралист, автор тонких и остроумных «Мыслей».

…готовящийся в Сомюр… — В Сомюре находилась кавалерийская школа, основанная в 1825 г.

Прудон Пьер-Жозеф (1809-1865) — французский философ-утопист, автор известного выражения «собственность — это кража».

Буальдье Франсуа-Адриен (1775-1834) — французский композитор, автор популярных в свое время комических опер («Багдадский халиф» и др.).

…в эпоху «Прекрасной Елены»… — Премьера оперетты Оффенбаха

состоялась в 1864 г. в парижском театре «Варьете».

«Нибелунги» — «Кольцо нибелунга», тетралогия Р. Вагнера («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид"» «Гибель богов»), полностью» поставлена в 1876 г. в Байрейте в специально построенном для этого театре.

…читаешь… Рескина… — Книга Д. Рескина «Камни Венеции», посвященная художественным памятникам этого города, вышла^в 1853 г.

..провинциальные дворяне Барбе д'Оревильи… — Большинство произведений французского писателя Барбе д'Оревильи (1808-1889), таких, как «Околдованная» и др., посвящено жизни французской провинции, типам провинциальных дворян и священников.

Кера. — В греческой мифологии керами назывались злые демоны ночи, иногда олицетворяющие смерть и вообще всяческое зло.

Гадес— то же, что Плутон, владыка преисподней (греч. миф.),

Самуил Бернар (1651-1739) — французский финансист; он не раз оказывал значительные денежные услуги Людовику XIV, за что получил от короля дворянское звание.

…Богоматерь, от которой якобы ведет свое происхождение род Леей. — Согласно церковной легенде, род Марии восходит к двум коленам израилевым — Леви и Иуды.

Арес — бог войны в греческой мифологии.

Амфитрида — богиня моря у древних греков.

…под тентами Менье… — Речь идет об известном французском кондитере-фабриканте Гастоне Менье, продолжившем и расширившем дело своего отца Эмиля Менье (1826-1881). Гастон Менье имел элегантную яхту «Ариана», о которой много писали газеты начала века.

Эредиа Жозе-Мария (1842-1905) —французский поэт, близкий к парнасской школе.

…председатель компании Суэцкого канала… — Компания Суэцкого канала, открытого в 1869 г., была основана в 1858 г., французским дельцом Ф. Лессепсом и носила международный характер, но на первых порах главная роль принадлежала в ней французскому капиталу.

…Паламед — это имя он унаследовал от предков, князей сицилийских. — В XI в. на Сицилии было образовано княжество, затем королевство норманнов; в XIII в. островом стала владеть Анжуйская династия. Имя Паламед, восходящее к герою греческих сказаний об осаде Трои, было довольно популярно в средние века.

Подеста — правитель города в Центральной и Северной Италии в средние века.

Женевьева Брабантская — героиня средневековой легенды V-VI вв.,

сохранившейся в пересказе Якова Ворагинского («Золотая легенда»). Женевьева и ее драматическая судьба живо интересовали в детстве героя повествования Пруста (см. роман «По направлению к Свану»).

Карьер Эжен (1849-1906) —популярный в свое время французский живописец и литограф.

Г-жа де Гриньян Франсуаза-Маргарита (1648-1705) — дочь г-жи де Севинье, основной адресат ее писем.

У Лафонтена житель Мономотапы… — Далее упоминаются сюжеты двух басен Лафонтена — «Два друга» (кн. VIII, басня XI) и «Два голубя» (кч. IX, басня II).

…Лабрюйер утверждает, что больше ничего и не надо: «Быть вместе с любимым существом; *говорить с ним — хорошо, не говорить — тоже хорошо*». — Неточная цитата из «Характеров» Лабрюйера (глава IV «О сердце», 23). У Лабрюйера сказано: «Чтобы чувствовать себя счастливыми, нам довольно быть с теми, кого мы любим: мечтать, беседовать с ними, хранить молчание, думать о них, думать о чем угодно — только бы не разлучаться с ними; остальное безразлично» (перевод Ю. Корнеева и Э. Липецкой).

Ленотр Андре (1613-1700) — прославленный французский садовый архитектор, автор планировки парков Версаля.

«На Зуэкке вы…» — цитата из «Песни» Мюссе (1834). Зуэкка — название на венецианском диалекте Джудекки, одного из островов, на котором расположена Венеция.

«Услышишь, в Падую попав…» — цитата из стихотворения Мюссе «Моему брату, возвратившемуся из Италии» (1844).

«И в Гавре, где прибой ярится…»— цитата из стихотворения Мюссе «Декабрьская ночь» (1835).

Г-жа Корнюэль Анна-Мария (1605-1694) — французская аристократка, хозяйка популярного парижского салона. Славилась остроумием и злословием.

Герцог Омальский — Анри д'Орлеан (1822-1897), четвертый сын Луи-Филиппа, французский генерал и историк.

«Принцесса Мюрат? Это какая же? Королева неаполитанская?» — Сестра Наполеона Каролина-Мария (1782-1839) вышла в 1800 г. замуж за генерала, затем маршала Мюрата и тем самым приобрела титул принцессы и позже — королевы Неаполя.

«Радикал» — парижская газета либерального направления, основанная в 1879 г.

…вроде Вилье или Катюля… — Речь идет о французских писателях

Огюсте Вилье де Лиль-Адане (1838-1889) и Катюле Мендесе (1841-1909), близких к парнасцам.

…эту сузскую фигуру… — то есть фигуру из дворца Дария в Сузах (современный Иран).

…человеке годового быка из Хорсабада. — В Хорсабаде (или Дур-Шаррукине, Ирак) были раскопаны развалины дворца ассирийского царя Саргона II со знаменитыми скульптурами.

Царь Саргон. — По-видимому, речь идет об ассирийском царе Саргоне II (721-705 гг. до н. э.), известном своей воинственностью.

Сарду, Лабиш, Ожье. — Пруст перечисляет популярных французских драматургов середины и в горой половины XIX в.

Плавт, Менандр, Калидаса. — Пруст называет великих комедиографов Древнего Рима, Древней Греции и Индии.

«Амелия, Филиппова сестра». — Амелия, дочь графа Парижского и сестра Филиппа Орлеанского (1869-1926), была женой португальского короля Карлуша I (1889-1908).

…в костюме, скопированном с Ancilla Domini... — Речь идет о фреске итальянского художника Фра Беато Анжелико (1387-1455) «Благовещение» (Флоренция, монастырь Сан Марко). На фреске с лилией в руке изображен архангел Гавриил.

Пизанелло Витторе (ок. 1380-1456 гг.) — итальянский художник и скульптор венецианской школы. Он прославился своими фресками (в Вороне), но особенно — медалями с портретами современников.

Гаиле Эмиль (1846-1904) — французский скульптор и ювелир. Кальварий — каменное распятие.

…гармонией серых и розовых тонов» во вкусе Уистлера… — Многие картины Уистлера имсюг сходные названия («Гармония в зеленом и розовом», «Симфония в сером и зеленом», «Ноктюрн в синем и золотом» и т. д.).

…мастера из Челси. — Речь идет о мастерах, работавших на фарфоровом заводе в лондонском пригороде Челси. Изделия этого завода (существовавшего с 1730 по 1780 г.) отличались большой художественностью и очень ценились.

Спорады — колонии однородных примитивных организмов. Мадрепора — коралл с очень развитым известковым скелетом. …портрет «Джефри» Хогарта… — Речь идет об одной из картин английского художника Вильяма Хогарта (1697-1764).

…на родине короля Марка… — то есть в Корнуэльсе. Речь идет о персонаже средневековых сказаний о Тристане и Изольде.

…где был когда-то лес Броселианд… — Этот лес часто упоминается в средчевековых рыцарских романах артуровского цикла. Его отождествляют с существующим и ныне Пемпонским лесом в Бретани, недалеко от города Ренна.

Андрей Первозванный-в-полях — описанная Прустом в романе «По направлению к Свану» церковь недалеко от Комбре, где любил гулять герой повествования.

Редон Одилон (1840-1916) — французский художник, близкий к импрессионистам.

Арвед Барин — псевдоним французской писательницы Шарль Венсан (1840-1908), автора историко-литературных исследований и критических статей.

Аруэ — подлинная фамилия Вольтера. Блох приписывает Вольтеру стихи из «Полиевкта» Корнеля (стихи 795-796).

«Cavaleria Rusticana» — «Сельская честь», популярная опера итальянского композитора Пьетро Масканьи (1863-1945) на сюжет Д. Верги. Поставлена в 1890 г. в римском театре «Кастанци».

«Идолопоклонство» — одна из фресок Джотто в Капелле дель Арена в Падуе.

«…Альцеста или Филинта?» — Речь идет о главных действующих лицах комедии Мольера «Мизантроп»; первый — тип прямого, бескомпромиссного человека, второй — человека мягкого и уступчивого.

«Голуа» — парижская газета, основанная в 1867 г.; в конце XIX в. была органом монархистов.

…покойной Евлалии… — Имеется в виду персонаж первого романа Пруста, приживалка-богомолка при тетке героя Леонии.

Св. Элигий (ок. 588-659 гг.) — католический святой, согласно преданию, был золотых дел мастером и хранителем казны королей Клотаря II и Дагоберта I. В конце жизни был епископом Нуайона и советником Дагоберта.

«Легенда о святой Урсуле» — серия картин итальянского художника эпохи Возрождения Витторе Карпаччо (1450-1525); эти картины находятся в Венецианской Академии.

Галеас — большое военное судно эпохи парусного флота.

Буцентавр — специальная большая лодка, предназначенная для церемонии «венчания с морем» венецианского дожа.

Кауз — английский курортный город, место популярных парусных гонок.

…в церкви блаженного Августина. — Речь идет о церкви в Париже,

построенной в 1860-1871 гг. с применением железных конструкций. Отличается помпезностью и эклектичностью архитектуры.

«И отплыли цари на стругах легкокрылых…»— Цитата из первой части «Эриний» Леконт де Лиля.

…ангелочков-музыкантов Беллини… — Речь идет о фигурах ангелов, трубящих в трубы, на картинах венецианского художника Джентиле Беллини (1429-1507).

…в связи с провалом «Гофолии». — Эта трагедия Расина ставилась з 1690 и 1702 гг., и обе постановки были неудачны.

«Эсфирь» — трагедия Расина, первое представление которой состоялось 26 января 1689 г. в Сен-Сире. Г-жа де Севинье подробно описала эту премьеру в письмах к дочери.

«Еврейки» Робера Гарнье — пьеса французского драматурга эпохи Возрождения Робера Гарнье (1534? — 1590), поставленная в 1583 г. Написанная на библейский сюжет, эта трагедия широко использует приемы античной драматургии (хоры и т. п.).

«Аман» — трагедия Антуана де Монкретьена (ок. 1575-1621), написанная в 1601 г. на библейский сюжет.

…мнение Вольтера… — Пруст приводит мысль Вольтера из его «Рассуждения о древней и новой трагедии» (1748)»

Сент-Бев — О Расине известный французский критик Шарль-Огюст Сент-Бев (1804-1869) подробно пишет в своей работе «Пор-Ройяль» (1840-1848), а также в ряде статей.

Мерле Гюстав (1828-1891) —влиятельный в свое время литературовед и литературный критик.

Дельтур Никола-Феликс (1822-1904) — французский историк, его работа «Враги Расина» вышла в 1859 г.

Гаск-Дефосе — популярный в свое время автор пособий для сдающих экзамены на звание бакалавра (эти пособия выдержали много изданий в 1886-1909 гг.).

«В этом Лесе пробежал хорек…» — начало популярной французской детской песенки-считалки.

Лаура Дианти — предполагаемая модель Тициана для его картины «Красавица с двумя зеркалами» (Париж, Лувр).

Элеонора Гвиенская, или Аквитанская (1122-1204) — жена французского короля Людовика VII, затем английского короля Генриха II Плантагенета, славившаяся своим умом и красотой (в частности, красивыми волосами).

…той ее родственницы по нисходящей линии, которая так нравилась

Шатобриану. — Пруст имеет в виду маркизу де Кюстин, возлюбленную Шатобриана. Однако маркиза де Кюстин была родственницей не Элеоноры Аквитанской, а Маргариты Провансальской, жены французского короля Людовика IX.

…завертелось, как тела Микеланджело, которые уносит неподвижный и головокружительный вихрь. — Пруст имеет в виду роспись Микеланджело Сикстинской капеллы.

…причастный даже к «панаме»… — Речь идет о так называемое «Панамском деле» — крахе акционерной кампании по прокладыванию Панамского канала (1889) и судебном процессе, вскрывшем колоссальные хищения и коррупцию. Процесс длился несколько лет — до середины 90-х гг.

Русские балеты — спектакли русской балетной труппы, которой руководил С. П. Дягилев (1872-1929) в 1909-1914 гг. (до этого Дягилевым была организована выставка русского искусства и концерты русских артистов, в частности Шаляпина). Эти спектакли, показавшие публике произведения русских (Римский-Корсаков, Стравинский, Черепнин) и французских (Дебюсси, Равель) композиторов, пользовались большим успехом. Пруст посещал эти спектакли в 1910 г.

Бакст Лев Самойлович (1866-1924) — русский художник, член объединения «Мир искусства»; работал в антрепризе Дягилева, оформив многие балетные спектакли («Павильон Армиды» Черепнина, «Дафнис и Хлоя» Равеля и др.).

Левкотея — дочь Кадма и Гармонии; ее преследовала своим гневом Гера за то, что Ино (другое имя Левкотеи) воспитала Диониса; спасаясь от гнева богини, Ино бросилась в море и стала морской богиней Левкотеей. Этот миф излагают Гомер, Пиндар и Овидий.

Жюль Ферри (1832-1893) — французский политический деятель.

Калипсо — нимфа острова Огигия; она заманила к себе Одиссея и семь лет держала его у себя в плену.

Минос— критский царь, мудрый и справедливый правитель, но упорный враг Афин (греч. миф).

«Юноша с занозой» — античная скульптура; находится в музее Ватикана.

А. Михайлов

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru

Оставить отзыв о книге
Все книги автора
Другие книги серии «В поисках утраченного времени»

---

notes

Примечания

1

С соответствующей поправкой (лат.).

2

Всем и каждому (лат.).

3

Прямым путем (лат.).

4

Няню (англ.).

5

Бойкой (англ.).

6

Королевских особах (англ.).

7

Рождество (англ.).

8

Напориста (англ.).

9

Красивый кеб (англ.).

10

Встреча (англ.).

11

Monsieur — господин (франц., сокр.).

12

Брошюра (англ.).

13

Передовые статьи (англ.).

14

Нужный человек на нужном месте (англ.).

15

Редферн сделал? (лат.).

16

Непревзойденный (лат.).

17

Качалке (англ.).

18

Приемы гостей в саду (англ.).

19

Перевод Ю. Корнеева.

20

Перевод Ю. Корнеева.

21

Не меняющейся (лат.)

22

Яхтсменок (англ.).

23

Загона (англ.).

24

Яхтенном спорте (англ).

25

Перевод М. Лозинского.

26

Рукопожатие (англ.).